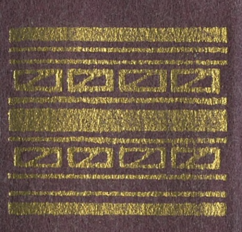





НАТАЛИЯ ИЛЬИНА

Дороги и судьбы



НАТАЛИЯ
ИЛЬИНА

Дороги и судьбы

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1985

Художник *Юлия АЛЕКСЕЕВА*

Ильина Н. И.

И 46 Дороги и судьбы: Автобиографическая проза.— М.: Сов. писатель, 1985.—560 с.

Книга Наталии Ильиной «Дороги и судьбы» — автобиографическое повествование о тех, чьи имена вошли в историю нашей культуры, и о людях неизвестных, связанных родственными узами с автором, человеком удивительной судьбы, которому пришлось познать и горечь жизни на чужбине, и радость возвращения. Лирическая интонация, стиль и ритм этого произведения сплавляют в единый поток рассказы о разнообразных судьбах людей, встреченных автором на дорогах жизни.

И $\frac{4702010200-112}{083(02)-85}$ 58—85 **ББК 84.Р7**

МАТЬ ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА

> Заметьте, что неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности.
>
> *Пушкин*

В дневниковой записи матери от августа 1922 года читаю:

«Бедные мои девочки, они вырастут на всем новом, без этого аромата старины, нежного дыхания прошлого, которое окутывало все наше детство».

Именно так и случилось. «Ароматы старины» не касались нас долгие годы, а к прошлому матери и семьи ее мы относились с глубоким равнодушием.

Отец, недурно рисовавший, изобразил акварельными красками гербы Ильиных и Воейковых: окантованные эти рисунки висели на стене столовой нашей бедной эмигрантской квартиры в те годы, когда отец еще жил с нами... Время от времени он начинал доказывать матери, что его род древнее Воейковых. Мать в спор не вступала. Не теряя, как всегда, самообладания, она удостаивала собеседника лишь короткими репликами, это и выводило отца из себя, он горячился, повышал голос. Вспыльчивый и несдержанный, он горячился еще и потому, что вечно ощущал себя уязвленным. Он был уязвлен до революции: помнил, как долго колебалась моя мать, прежде чем решилась на брак с ним. Помнил, что семья ее этот брак не одобряла. Он был уязвлен после революции: в эмигрантской жизни всегда зарабатывал меньше матери, она была главой семьи...

В детстве и отрочестве разговоры о родах и гербах меня

не интересовали, а позже раздражали и смешили... Кредиторы стучат в дверь, неизвестно, чем мы будем сегодня обедать, к чему мне эти фамильные гербы? Старые материнские альбомы с фотографиями петербургской квартиры и дома в Самайкине (имение Воейковых под Сызранью) я рассматривала без интереса, рассказы матери о ее семье слушала из вежливости, а потом меня и вежливость покинула. Гордость матери своей семьей на фоне нашей унизительной бедности казалась мне и смешной, и жалкой, я прерывала ее нетерпеливым: «Ну да, ну да! Наши предки Рим спасли!» Или вычитанным у Горького сердитым: «В карете прошлого никуда не уедешь!» Мать замолкала оскорбленно.

Мне не забыть, как я обидела мать всего за месяц до ее кончины! В ноябрьской книжке журнала «Знамя» за 1965 год публиковалось окончание моего романа «Возвращение», и там есть сцена, где Софья Павловна и графиня Эссельроде вспоминают прошлое, и Софья Павловна показывает графине старые альбомы с фотографиями. Мать не могла не узнать себя в этой сцене, тем более что в Шанхае в описанное мною время была среди наших знакомых старая графиня Нессельроде, промышлявшая уроками французского языка и гаданием на картах. Наблюдала я эту сцену с альбомом в жизни или придумала — неважно, что-то похожее было, и я не без смущения ждала реакции матери. Ждала упреков, готовилась к отпору, ничего этого не последовало, мне было просто сказано с горечью и обидой в голосе: «Как ты могла?» Мои неискренние объяснения («А с чего, дескать, ты взяла, что это о тебе?») были встречены молчанием. Несколько дней мать была со мной холоднее обычного, и больше мы к этому не возвращались.

Вот так сравнительно недавно это было, а сегодня я бы уже не стала писать с насмешкой о двух пожилых женщинах, находящих утешение в старых альбомах и воспоминаниях прежней жизни. Сегодня, когда я сама иду по склону лет, я понимаю, что человек должен ощущать свои корни, сознавать свою связь с прошлым. Сегодня я бы о многом расспросила свою мать, и сколько бы доставила ей радости моим — пусть поздно, но пробудившимся все-таки! — интересом к ее семье. Но матери нет, и уже не скажешь ей об этом.

В оставшихся после нее дневниковых тетрадях, рукописях, старых письмах — в этом бумажном ворохе я разбиралась постепенно, в течение нескольких лет. С удивлением я увидела начатые ею страницы воспоминаний, посвященные

ее бабушке с материнской стороны Анне Павловне Толстой, и ее дяде (брату отца) Александру Ивановичу Воейкову, знаменитому ученому, географу и климатологу. Впрочем, о том, что она пишет о «дядюшке-профессоре», мать в свое время говорила мне, но я, видимо, не выразила желания с этим познакомиться, а она из гордости не предложила мне...

В 1949 году Геофизической обсерватории под Ленинградом было присвоено имя А. И. Воейкова, а поселок Сельцы, где находилась обсерватория, стал называться «Воейково». В 1957 году обсерватория отмечала сто пятнадцать лет со дня рождения «первого русского климатолога» и открывала ему памятник. На эти торжества мать ездила из Москвы вместе со своим единственным оставшимся в живых братом Иваном Дмитриевичем. А я не ездила. Хотя и мне было прислано персональное приглашение: «Главная геофизическая обсерватория имени А. И. Воейкова» просила меня «одиннадцатого мая сего года принять участие в торжественном собрании и заседании Ученого совета, посвященных 115 годовщине со дня рождения и открытию памятника АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ ВОЕЙКОВУ»... В приглашении заботливо добавлялось, что «в 14 часов 30 минут из Ленинграда в поселок Воейково отправляются автобусы из такого-то места. Но я и не подумала ехать в Питер и пользоваться заботливыми автобусами. Я заранее была уверена, что на этих торжествах скука будет адовая, да и вообще не хотела пристраиваться к «семейному полонезу» — как я любила тогда выражаться... Это приглашение я куда-то сунула и забыла о нем, а много лет спустя с изумлением нашла его среди бумаг матери. Как она ухитрялась все хранить?

Там же я обнаружила письма бабушки Ольги Александровны, жившей в Ленинграде вместе с семьей своего третьего сына, горного инженера Дмитрия Дмитриевича Воейкова, и часто писавшей нам в Харбин. Эта находка меня не изумила. Я знала, как мать радовалась этим письмам, как ценила их, я помню многочисленные коробки из-под конфет, куда эти письма прятались... Осенью 1938 года мать навсегда покинула Харбин, приехав ко мне в Шанхай, в снимаемую мною десятиметровую комнату. Один из ее бедных чемоданов был набит пачками пожелтевшей бумаги. Я возмутилась. Ведь я предупреждала, что комната моя мала. Так неужели ЭТО надо было тащить с собой, неужели ЭТО нельзя было выбросить? Мне ответили очень

тихо: «Не говори чепухи. Это письма бабушки!» С этими письмами мать не рассталась до смерти.

Я удосужилась в них разобраться, вникнуть, оценить, когда после кончины матери прошло пять лет, а после кончины бабушки — свыше тридцати... Письма посвящены описанию быта ленинградской семьи дяди Дмитрия Дмитриевича, сведениям о двух других братьях матери — Павле и Иване — и сестре — Марье. Мелькают там также имена многочисленных друзей. Каждая строчка об оставшихся близких была матери нужна, важна, необходима, письма перечитывались, читались вслух, и боже мой, сколько делалось попыток заинтересовать меня этими письмами, заставить оценить эпистолярный стиль бабушки — мать неизменно им восхищалась...

Из письма бабушки от 1929 года: «Очень рада, дорогая Катя, что ты находишь мои письма «изумительными». Не пойму лишь, чем они тебя изумляют: внешностью или содержанием? По внешности они похожи на счет от деревенского сапожника, а по содержанию умалчивают почти все, о чем хотелось бы сказать... Февральское небо сегодня то плюется дождиком, то снежными крупными хлопьями. Сыро. Холодно. Сижу дома. Никого из наших нет, и я обращаюсь к обществу отсутствующих».

Из письма 1927 года: «Морозы сдались, к первому марту грозит оттепель, как и полагается на Масляной. К концу марта думаю перекочевать к Маре в Симбирск. Я отдала в краску свой белый костюм, перекрашу его в черный. Летние туфли мне сделают из кожи козы томышевского происхождения, которую задавил поезд. Мара отдала кожу в отделку, купила подошву и прислала с оказией. Некий Волков, церковный регент и музыкант, шьет сапоги и при этом сочиняет музыку без всякого инструмента. Многие пробуют себя в чужих ролях, это какой-то феномен! Не знаю, что выйдет из комбинации томышевской козы и бывшего регента Смольного хора...»

Бабушкины письма пронизаны иронией, недоступной, разумеется, моему отроческому пониманию. Не могла я понять в те годы и мужества этой старой женщины, силы ее духа. Совершенно новые, непривычные условия жизни, в которых она очутилась, когда ей было уже за шестьдесят, не вызывают у нее ни раздражения, ни жалоб. Напротив: стремление понять, принять... «У Димы были его студенты, и полдня шумели за моей стеной молодые советские фавны. Много в них естественности, бодрости, простоты. Как не

радоваться тому, что тысячи и тысячи их проснулись для культурной жизни!» «...так хотелось бы передать тебе, Катя, ощущение того, как, несмотря на трагизм многого, полной грудью дышит страна, вся в движении, в несомненном создании своего будущего». «...Ну откуда, откуда у тебя эти слова о гибели культуры, Катя? Мне подарили два первых тома переводов Гёте. Кроме переводов Вяч. Иванова и немногих лучших старых — все они сделаны молодыми поэтами. Им принадлежат статьи и очень эрудитные примечания. Книг вообще выходит множество, и все раскупаются в несколько дней...» «На прошлой неделе лежала с гриппом, и Алина читала мне вслух Маяковского. Обе мы очень ценим его огромную требовательность к человеческому духу. Морозы суровые. Мечтаем об обилии воды в теплой комнате. Мечты эти несбыточны. Надо бы отремонтировать квартиру, но нет стекол, замазки, гвоздей. Много трудного. Ну что ж. Это крест на нас возложен, от которого никто не вправе уклониться».

Сейчас, читая эти письма, я вспоминаю слова Ахматовой: «...мы ни единого удара не отклонили от себя. И знаем, что в оценке поздней оправдан будет каждый час... Но в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас».

В те далекие отроческие годы я ничего этого не понимала. И куда мне было догадаться, сколь драгоценны разбросанные по страницам писем сообщения о ценах, рынках, магазинах, примусах, керосинках, обо всех мелочах быта, из которых складывается картина жизни тех лет... Впрочем, и позже, в годы молодости (бабушка писала нам вплоть до своей предсмертной болезни, до октября 1936 года), эти письма не интересовали меня. Я занята была своей жизнью, ее бедами, ее неустройством; то, о чем писала бабушка, было так далеко, так непонятно, как если бы происходило на другой планете. Подробности жизни родственников меня не занимали: одних я не помнила, других и вообще никогда не видела!

Но вот бабушку-то, бабушку Ольгу Александровну я знала и помнила очень хорошо! Дело в том, что ранней осенью 1924 года она приезжала к нам в Харбин.

Она привезла с собой внуков, детей ее старшего сына Александра Дмитриевича, жившего, как и мы, в Харбине. Шестнадцатилетний Алек был сыном разведенной жены дяди Шуры — Надежды Александровны Башмаковой. Сведения о матери десятилетней Муси у меня самые отрывочные — я даже имени ее не знаю! Была она хороша собой,

совершенно одинока, бабушка приютила ее в Самайкине не знаю, в какой роли, дядя Шура влюбился, был роман, родилась Муся. Муся родилась в 1914 году, а мать ее скончалась от туберкулеза, кажется, годом позже, девятнадцати лет от роду. Муся была «незаконным» ребенком, но дядя Шура ее удочерил.

Той осенью 1924 года я едва успела познакомиться с Алеком и Мусей — дядя Шура сразу увез их к себе в Эхо. А бабушка стала жить с нами. Приехала ли она, чтобы остаться с нами навсегда? Не знаю. Знаю, что она и года с нами не выдержала.

По случаю ее приезда нас с Гулей (детское имя сестры Ольги) из маленькой комнаты перевели в большую и поставили туда для бабушки третью кровать, а столовой стала наша бывшая детская.

Я засыпала, когда за ширмой, отгораживающей бабушкину постель, горела лампочка, шуршали страницы,— бабушка читала перед сном. Утром я заставала ее совершенно одетой: юбка до полу, светлая блузка с кружевом у шеи... Однажды, проснувшись ночью, я увидела, что бабушка стоит ко мне спиной и смотрит в окно. А за окном тьма, ни палисадника не видно, ни пустынной Гиринской улицы, разве что кусок булыжной мостовой, освещенный фонарем,— во что она там всматривается?

Высокая, худая фигура в чем-то белом, длинном, черепаховые шпильки в седых волосах... Задумавшись, бабушка постукивала по оконному переплету костяшками пальцев, не это ли легкое постукивание разбудило меня? За ширмой горела лампочка, она-то и позволила мне, когда бабушка обернулась, увидеть ее лицо. А я уже по выражению спины понимала, что бабушке плохо, и очень боялась: не плачет ли она? Но не было видно слез на этом красивом горбоносом узком лице, бабушка и слезы вообще плохо между собой вязались. Сдержанность и величавость этой старой женщины (ей было в то время шестьдесят шесть лет) были на том же уровне, что сдержанность и величавость Ахматовой, которую я узнала тридцать лет спустя.

Слез не было. Лицо бабушки показалось мне сосредоточенно-суровым, я быстро закрыла глаза, чтобы она не заметила, что я за ней подсматриваю, а она ушла за ширму, погасила лампу и, ложась, тяжело, прерывисто вздохнула. Ужасно мне было ее жалко, утешить хотелось, но как? Это не была та бабушка-старушка, к которой можно прижаться, приласкаться... Она занималась со мной англи-

ским языком, а я во время уроков качалась на стуле и зевала, все прислушиваясь к тому, что там без меня делается во дворе, во что играют, а тут ночью, в порыве нежности и раскаянья, обещала себе больше не зевать и не качаться, но вряд ли меня надолго хватило... Вероятно, по прошествии двух-трех дней вновь зевала и качалась...

Ей было у нас плохо. Потому ли, что она видела неблагополучие и шаткость нашей семьи, несогласие моих родителей, изо всех сил, однако, старавшихся при ней не ссориться? Потому ли, что она не любила моего отца и он платил ей тем же? Или потому, что в этом русско-маньчжурском городе, в этом нелепом эмигрантском быте бабушка Ольга Александровна не могла, да и не хотела, найти свое место?

И одиноко ей было. Все друзья остались в Питере, тут — никого, за исключением одной приятельницы молодости мисс Перси Френч. (Как я позже узнала, Екатерина Максимиллиановна Перси Френч была дочерью англичанина и симбирской помещицы Киндяковой. Усадьба Киндяковых описана Гончаровым в романе «Обрыв».) Небольшого роста (куда ниже бабушки!), полная, безбровая, с маленькими глазками и тройным подбородком, она запомнилась мне главным образом своими необыкновенными шляпками, украшенными цветами и даже птицами. Она называла бабушку «Ольга», но на «вы», приезжала за ней в автомобиле, увозила к себе. Шляпки с цветами, автомобиль, шофер, выскакивающий из машины, почтительно открывающий, а затем захлопывающий дверцу,— все говорило о богатстве мисс Перси Френч, и я воображала себе прекрасный дом, в котором она живет, и большой сад и очень хотела там побывать, но меня никто туда не звал... Мисс Перси Френч не могла заменить бабушке ее друзей, Харбин — любимый Питер, а мы с мамой — оставшихся в России других детей и внуков.

Моя мать надеялась, что бабушке у нас лучше, чем в Ленинграде. Там бабушке приходилось и в магазины ходить и иногда даже стряпать — верх несчастья с точки зрения мамы, к хозяйственным заботам не приспособленной, стряпать не умевшей и уметь не желавшей. Мама преклонялась перед бабушкой Ольгой Александровной, была с ней любовно-почтительна, и, боже ты мой, как мне влетело однажды, когда мать во время моего с бабушкой урока вошла в комнату и застала меня зевающей! Живя у нас, бабушка была избавлена от хозяйственных тягот. В то время

была кухарка, уже вертелась в доме портниха Ольга Васильевна и что-то бабушке шила, и мама покупала прекрасную плотную бумагу для бабушкиных бесконечных писем, а не на оберточной ли бумаге писала она в Ленинграде? Бабушке оставалось лишь украшать наш дом своим величественным присутствием, навещать мисс Перси Френч, ходить в церковь и учить внучек английскому языку. Чем плохо было бабушке? Но она рвалась обратно. Говорила: «Я там нужнее!»

В августе 1925 года бабушка уехала обратно в Россию вместе с Алеком, и в альбоме матери сохранился плохонький любительский снимок проводов на вокзале.

Меня там не было. Живость моего нрава нередко приводила к несчастным случаям: то я едва не проткнула себе глаз палкой (шрам под глазом сохранился до сего дня!), то едва не стала горбатой, упав с дерева, то падала с велосипеда (училась ездить, не держась за руль, руки за спину), а незадолго до бабушкиного отъезда грохнулась на спину с качелей, отбила почки и была уложена в постель.

Группа на харбинском вокзале на фоне вагона...

Бабушка, одетая по-дорожному, по моде своего времени: светлый, видимо, чесучовый костюм, длинный жакет с карманами, и юбка до полу, темная шляпка, а поверх нее газовый шарфик, завязанный у подбородка. Рядом моя мать, понимавшая, что это расставание — навсегда. Алек. Среднего роста, широкоплечий, в кепке, в рубашке с закатанными рукавами, славный сероглазый Алек, рыцарского нрава юноша, любимец детей и старых дам. Мисс Перси Френч в более скромной, чем обычно, шляпке и еще шляпки каких-то старушек — мне уже не вспомнить, кто они... На первом плане — светлая головенка и бант моей сестры. И Муся с темной челочкой, с мрачным исподлобья взглядом: Мусю отрывали от бабушки, оставляли с отцом, к которому она не успела привыкнуть...

«И все они умерли, умерли...» Никого из тех, кто запечатлен на этом плохоньком снимке, нет в живых, никого, кроме моей сестры. Провожавшие бабушку старушки, включая сюда мисс Перси Френч, не могли уцелеть по возрасту; даже моей матери, тогда молодой, было бы сейчас за девяносто. Нет в живых и детей дяди Шуры. Муся, оставшаяся в Маньчжурии с отцом, умерла от туберкулеза в Циндао летом 1934 года, едва дожив до двадцатилетнего возраста. Алек, вернувшийся в Россию к матери, погиб тремя годами позже, не дожив до тридцати лет.

Долгие годы бабушкин отъезд терзал маму. Все ей казалось, что она чего-то для своей матери не сделала или что-то делала не так. Мама думала, что бабушка уехала от нас в Ленинград, потому что в нашей тесной квартире у нее не было своего угла. Говорила: «Надо было немедленно снять квартиру побольше, тогда были на это деньги, я никогда себе не прощу, что поместила бабушку с вами двумя!» Или: «Надо было тогда же разводиться с вашим отцом, все равно к этому шло, пусть бы он уходил, и тогда я отдала бы бабушке нашу комнату, а сама спала бы в столовой!» По мнению мамы, сражение за бабушку было выиграно Ленинградом в лице семьи дяди Димы именно благодаря тому, что там-то у бабушки своя комната была! И поначалу хорошая комната. Позже, когда эту квартиру разделили, отрезав от нее половину, у бабушки все-таки был собственный угол: комната при кухне, ранее предназначавшаяся для прислуги...

Меня же ее отъезд не опечалил. Нет, печали не было. Боюсь: не было ли радости? Теперь никто не будет терзать меня уроками английского языка в те часы, когда все дети играют на дворе...

Бабушка уехала, и вновь и вновь пошли от нее письма — фиолетовые чернила на серой, вроде бы с опилками бумаге, за которую цеплялось и брызгало перо. Мелкий почерк, строчки набегали друг на друга: бабушка все больше слепла...

Письмо из Симбирска, где весной 1927 года бабушка гостила у дочери Марьи Дмитриевны: «Глаза мои еще дают возможность писать, почти дотрагиваясь носом до бумаги. К сожалению, нос мой длинен, и если еще придется его приблизить, то уж некуда! Пока я вижу с помощью очков даль и красоту природы, лазурь небес и темную синеву Волги, яркую зелень молодого дуба и ветку сирени на кусту — я не жалуюсь. Вероятно, это последний раз в жизни, что я провожу весну в этих условиях... На наших столах встретились сирень, ландыш и незабудка, даже по улице несется аромат яблони, сидеть под душистым деревом над самой Волгой в полном разливе, следить за движением плавно заворачивающего к пристани парохода — такое наслаждение!»

Некоторые письма были адресованы непосредственно мне или сестре моей, а бывало — нам обеим вместе. На них, увы, следовало отвечать. До сегодня звучит в моих ушах сердитый голос матери: «Как? Ты до сих пор не написала

бабушке? Садись немедленно! Вот тебе бумага!» Я садилась немедленно — деваться некуда — и, тоскуя, выводила: «Милая бабушка! Как ты поживаешь? (Зевала. Смотрела в окно.) У нас идет дождь. Мы не ходили гулять, а играли дома. (Слегка оживляясь.) Нам подарили новую игру. Она называется «хальма»...»

...Нет, связки бабушкиных писем, обнаруженных мною в архиве матери после смерти ее, не удивили меня, я знала, что она их хранила... Воспоминания о «дядюшке-профессоре» тоже не удивили — я знала, что мать их писала, а познакомиться с ними — желания не выразила. Новостью для меня были начатые матерью мемуары, посвященные ее бабушке — Анне Павловне Толстой. Уж если знаменитый дядюшка-профессор так мало интересовал меня, то прабабка Толстая — и того меньше. Понимая это, мать не заикнулась мне, что пишет о ней. Но писала. Для кого? Для себя? Кто же пишет для себя?

Быть может, она знала, что настанет время, когда ее записки, дневники, письма, весь этот бумажный ворох понадобится мне.

Он понадобился. Не будь его — разве бы я писала сейчас то, что пишу?

* * *

И очень удивила меня обнаруженная в этом ворохе — зачетная книжка, ее-то, ее зачем хранила мать? Она менялась в лице, когда сестра или я пытались выбросить какую-нибудь бумажку,— мы-то любили выбрасывать! Мы часто переезжали, в наших бедных жилищах было тесно от бумаг и книг, но — ничего не выбрасывалось! Как мы роптали с сестрой на эту черту матери!

Я, разумеется, помнила, что с осени 1932 года по весну 1936 года слушала лекции на ориентальном факультете харбинского Института ориентальных и коммерческих наук. Основной предмет — китайский язык. Чему там еще меня учили — я забыла совершенно и никогда бы не вспомнила, если бы не эта зачетная книжка, матерью сбереженная.

Перелистывая ее, я выяснила, что училась хорошо (везде «вуд» — высшая оценка), и еще выяснила названия предметов, которым училась... История Китая и Маньчжурии, история Китайско-Восточной железной дороги, энциклопедия права, общее международное право, гражданское право, статистика...

Какая статистика? Чего статистика? Не помню! И вообще не помню ничего! В декабре 1936 года я из Харбина уехала в Шанхай, института не окончив, все, чему меня там учили, включая сюда и китайский язык (сколько ж сил и времени было на него убито!), мне никогда не пригодилось, и сейчас мне кажется, что это не я, это кто-то другой сдавал зачеты по энциклопедии права и какой-то статистике.

Среди профессоров был прокурор, по слухам — блестящий и в России когда-то широко известный, и читал он предмет, связанный с правом (гражданским ли, еще каким?), но мне не предмет запомнился, а облик этого старого элегантного человека и его остроумие, меня веселившее... Меня, видимо, радовало, что я понимаю тонкий юмор этого человека, радовало, что узнаю что-то новое, и, вероятно, я гордилась собою, что способна эти радости испытывать.

Но я не имела на них права! Ремесло мне нужно было изучать, ремесло, которым можно деньги зарабатывать, а не тратить годы на «высшее образование», на «общее развитие», о которых твердила мать. Это она сунула меня в Ориентальный институт. Она преподавала там английский язык, платили ей мало, но зато дирекция согласилась безвозмездно принять меня в студентки. Однако в нашем положении (а мы были в те годы катастрофически бедны!) высшее образование было роскошью непростительной, почему же мать не желала с этим согласиться?

Она никогда не умела взглянуть в глаза действительности, трезво ее оценить и поступать соответственно. Она долго не могла расстаться с кухаркой и даже с домашней портнихой, которые нас обкрадывали, и с квартирой, за которую нечем было платить. Мы увязали в долгах, но именины и дни рождения матери праздновались по-прежнему, с гостями и пирогами. В дневнике матери за 1931 год написано:

«Зарабатывала я много меньше прежнего, а размах остался старый. Все казалось: где-то есть управляющий, и он пришлет деньги. Но денег никто не присылал, долги росли. Бушевали прачки, зеленщики, товарники [1]. Лавина долгов давила, душила, угнетала, действовала на нервы, пугала бедную Гулю: она часто оставалась дома одна и была вынуждена вести разговоры с кредиторами...»

---

[1] Торговцы тканями и галантереей вразнос.

С осени 1932 года мы стали жить в доме, известном по имени владельца как дом Ягунова. Кухонь там не было, комнаты сдавались с обедами, и, вероятно, была у нас какая-то спиртовка, на которой мы грели воду для чая.

Вечерами я слушала лекции в Ориентальном институте, утром и днем бегала по урокам. Сестра еще ходила в школу. Мать преподавала, переводила, что-то писала для газет. Везде платили мало, часто — неаккуратно, а кроме того, мать отличалась редким неумением экономить и всегда тратила больше, чем получала... О нашем положении расскажет запись из дневника матери от 17 мая 1933 года:

«Вчера я заняла рубль у швейцара, чтобы отдать молочнику, который очень докучает бедным моим девочкам. А сегодня надо 60 копеек за чистку Гулиной юбки, иначе ее не пустят в класс. Все уже ходят в летней форме, одна Гуля в зимней! А юбка ее в чистке, а кофта у прачки, а у меня ни гроша. Фер-то кё? Завтра в классе проверочная работа, прийти необходимо, иначе Гулю оставят на второй год. Бездна отчаянья у бедняжки! А я отмахнулась: «Ну, где я тебе возьму? Пойди, наконец, к папе!» Папа! У него и двугривенного не выпросишь! Нет, сию минуту надо идти и где-то доставать деньги!»

(В Харбине ходили китайские даяны и японские иены, а позже занявшие Маньчжурию японцы ввели «валюту Маньчжоу-Го», именуемую «гоби», однако русские харбинцы называли все эти денежные единицы «рублями» и «копейками».)

Почему же у папы нельзя было и двугривенного выпросить? Это нуждается в пояснении.

Мой отец был военным. Любил охоту, стрельбу в цель, верховую езду — в семье нашей долго хранился серебряный кубок, первый приз, полученный отцом на конноспортивных состязаниях в 1911 году. Был недурен собой: зеленоглазый шатен с правильными чертами лица, с ямочками на щеках, подтянутый и стройный, казавшийся выше своего среднего роста... Как все дворянские дети тех лет, болтал по-французски, но, кроме своего военного ремесла, не знал ничего, очутившись в эмиграции — растерялся, и все тяготы жизни легли на плечи матери. Ей, как всякой женщине, хотелось на кого-то опереться, к кому-то прислониться, а опереться было не на кого. Наездник и стрелок, танцор и ухажер, за которого она вышла замуж, оказался человеком слабым, легкомысленным, лишенным честолюбия и даже — безответственным.

Все это выяснилось еще до эмигрантского периода жизни моих родителей. В дневнике матери за февраль 1914 года я нахожу такую запись, сделанную на английском языке:

«Мое замужество — ошибка. Ни опорой, ни поддержкой мой муж быть мне не может. Это просто раздражительный, легко падающий духом мальчик. Я должна думать о его экзаменах, о его академии, я должна одна думать обо всем!»

В то время они жили в военном городке под Новгородом, где служил отец и где мать, лишенная привычной петербургской жизни, очень тосковала. Она-то была и энергична, и честолюбива, это она заставила отца держать экзамены в академию, помогала ему к экзаменам готовиться, а меня еще не было на свете, и, видимо, эти занятия помогали матери переносить скуку военного городка и общество офицерских жен... Убеждена, что она сдала бы экзамены блестяще, но отец — провалился. Запись из ее дневника: «Я открыла дверь и увидела его несчастную фигуру, поднимавшуюся по лестнице. За сочинение поставили шесть[1] и к дальнейшим экзаменам не допустили».

Мать была не из тех, кто смирялся и падал духом. Куда-то ездила, хлопотала, добилась того, что отцу было разрешено вновь держать экзамены на следующий год. Но — война, затем — революция, пошли другие экзамены! Прежняя жизнь сметена. Вместо Новгорода и Петербурга — русско-китайский глубоко провинциальный Харбин, двухмесячное житье в вагоне на запасных путях харбинского вокзала, совершенно новые, непривычные условия эмигрантского существования.

Этих экзаменов отец тоже не выдержал: обо всем думала, обо всех заботилась мать, она была главой семьи. Полагаю, что в те годы она перестала чего-то ждать от своего мужа, он был ей уже совершенно ясен, относилась она к нему свысока, с оттенком иронии, близким друзьям говорила: «У меня ведь трое детей: девочки и Ильин!»

Самолюбие отца было, разумеется, уязвлено, он искал утешений на стороне и находил их. На романы его мать смотрела сквозь пальцы, однако, когда летом 1924 года он собрался было уйти к своей очередной даме, встревожилась. Мать считала, что следует сохранить семью ради детей, и сохранила, правда — ненадолго... Лучше бы не сохраняла!

---

[1] Действовала двенадцатибалльная система.

Детям плохо в искусственно сохраняемой семье, это я знаю по собственному опыту.

Родители старались не ссориться при нас, а уж если ссорились — переходили на французский язык, чтобы дети не понимали. Но дети понимали интонации, видели выражения лиц, а главное — постоянно ощущали неблагополучие дома. Я жила в вечном страхе, что ОНИ вот-вот начнут ссориться, вечерами прислушивалась к их голосам за стеной: мирно ли звучат? К обычным молитвам перед сном я прибавляла еще одну, собственного сочинения: «Сделай, господи, чтобы папа и мама не ссорились!» О мире в семье просила.

Но когда в нашем доме был мир, это был худой мир. Воскресные семейные обеды напоминали опасные прогулки по тонкому льду: каждую минуту следовало ждать, что ступишь не туда и насмерть захлебнешься... На какую-то реплику матери отец отвечал по-французски (а сердце мое уже падало), и через минуту отец — вспыльчивый, несдержанный — уже с грохотом отодвигает стул, уже хлопает дверью, уходя куда-то, а мы с сестрой сначала сидим, замерев, потом — плачем, мать строго: «Сейчас же прекратите и отправляйтесь в детскую!» — и старается делать вид перед кухаркой, что ничего особенного не произошло... Мы идем в детскую и рыдаем там. Отец обещал пойти сегодня с нами на каток или гулять, но теперь никто никуда с нами не пойдет, мать будет лежать на диване, укрывшись своей любимой бархатной накидкой, и то ли читать, то ли дремать, и в доме будет тревожно-тихо, а нам что делать и как жить — неизвестно... Как я завидовала своим школьным подругам, в домах которых царили мир, тишина, согласие... Из моего тревожного, неуютного, непрочного дома меня тянуло в чужие дома, где были белые скатерти, желтые абажуры, кипящие самовары, мама, разливающая чай, добрый папа и всегда веселые дети...

Мне было тринадцать лет, когда отец счел нужным посвятить меня в свои разногласия с матерью. Повинуясь порыву (этот человек всегда повиновался порывам!), он разбудил меня среди ночи, сел ко мне на кровать, обнял за плечи: «Друг мой, твоя мама хочет от нас уйти, попросим ее этого не делать!» Спросонок я тряслась от холода и ужаса... Из соседней комнаты — голос матери: «Оставь девочку в покое, не лги ей!» И — мне, возникшей на пороге, мне, рыдающей и твердящей: «Я отравлюсь, я отравлюсь!»: «Ни-

куда я от вас не ухожу, никогда в жизни я вас не брошу, иди спать, Тата, ради бога, иди спать!»

Это было в то время, когда мать, окончательно убедившись, что из семейной жизни ее ничего не выйдет, и в самом деле хотела расстаться с отцом. Мать встретила другого человека, и ей, давно жаждавшей поддержки и опоры, показалось, что на него опереться можно... Отец испугался развода, призвал на помощь меня и заставил маму обещать, что в течение двух лет она ничего не предпримет. Не знаю, почему именно «двух»? Знаю лишь, что сам-то он, не дождавшись конца этого срока, потребовал развода, ибо в его жизни тоже появилась другая женщина. Женщин в его жизни было много, но на этот раз дело обстояло серьезно: лучшая подруга моей матери, преподавательница английского языка, твердо решила женить его на себе. Получив развод, отец бросил службу (он служил тогда в Чаньчуне, не знаю в качестве кого, и приезжал в Харбин лишь на субботу и воскресенье) и, несмотря на данное слово, прекратил денежную помощь бывшей семье. Сначала еще платил за квартиру, затем кончилось и это. Жена отца много работала и неплохо зарабатывала (она была куда практичнее моей матери!), отец же занимался домашним хозяйством, писал мемуары и возмущенные письма в редакции газет (всегда чем-то возмущался!), занимался спортом, катался на коньках, в любые морозы ходил без шапки — закаленный был человек! Иногда в порыве отчаянья мать посылала нас к нему: «Идите к папе, в конце концов! Просите у него!» Но папа, к которому мы скрепя сердце шли, отвечал, что он, увы, безработный. И это неудивительно! Мир кишит безработными: в Америке их столько-то тысяч. В Англии — столько-то и во Франции — столько-то. Дав справку о числе безработных в мире, отец читал нам нотации. Мы обе в мать. Так же небрежны и расточительны, как она. Обувь и платья горят на нас, потому что мы не умеем заботиться о своей одежде. И тому подобное.

Вот запись из материнского дневника от 18 мая 1933 года:

«Господи, как скучна эта благородная нищета! Вчера с утра пошла выручать Гулю. Редакция, где я надеялась получить четыре рубля, меня подвела! В результате бедная конторщица, у которой у самой дочь, дала мне рубль на спасение Гулиной юбки. Сегодня бедный, обрадованный Гуль пошел в школу. Как мало человечку надо! А сейчас был управляющий с ультимативным письмом Ягунова.

Я сказала, что завтра найду деньги. Завтра рождение Таты, а вместо того чтобы порадовать чем-то девочку, пойду продавать мамино кольцо. Как все это скучно до боли, до слез... Пыльный ветер, палящее солнце, головная боль...»

Долги. Унижения. Вечная нехватка денег на самое необходимое. Тем не менее мать, в расчете неизвестно на что, снимала в доме Ягунова вторую комнату. Сначала-то мы жили в одной, но затем двумя этажами ниже освободилась комната — и мать внезапно ее сняла. Для себя лично. Мы с сестрой ужаснулись. Понять не могли, зачем нужен этот добавочный расход, этот новый долг, ибо было ясно: платить за вторую комнату нечем. Ведь и за первую — нечем!

Мы не понимали. И все вокруг тоже не понимали. Дом был набит людьми, соседи слышали, как в нашу дверь стучали молочники, товарники, зеленщики и громко ругали нас. На какие же средства? Зачем? Поступок моей матери всем казался странным. Она это чувствовала. Она писала:

«Кумушки насторожились. Они изо всех сил стараются разгадать тайну комнаты № 43. Идут разговоры, что я поссорилась с дочерьми, поэтому и перешла вниз. Чепуха какая! Всегда боюсь набросить тень на моих сумбурных, подчас грубых, подчас надоедливых, но все же таких милых и au fond des fonds [1] несчастных девочек!»

Зачем же нужна была матери вторая комната?

«Какое блаженство быть одной, сесть вечером за стол, писать, думать! Ужасно люблю возвращаться вечером в свою комнату, чувствовать свободу от мужа, от кухарки, которая влезала в мою жизнь, от детей, которые распоряжались моим досугом... Но страшно, что я зарываюсь в своих финансовых расчетах... С одной стороны, нужно одиночество для работы, а с другой — выдержит ли карман этот расход?»

Нам-то с сестрой было ясно, что карман не выдержит. И не было дня, чтобы мы не просили мать отказаться от второй комнаты. Мать и слышать об этом не хотела. Нам комната № 43 представлялась не роскошью даже, а безумием. Ей — необходимостью.

Она работала как вьючная лошадь, а денег все равно не было из-за ее непрактичности, редкой бесхозяйственности, неумения жить. Вечные нехватки и долги унижали. А кроме того, незадолго до этого мать рассталась с человеком, из-за которого произошла та ночная сцена, когда отец ме-

---

[1] В сущности *(фр.)*.

ня разбудил... Не мать бросила этого человека, он ее оставил. И она чувствовала себя оскорбленной. Нам с сестрой по крайней нашей молодости и эгоизму тогда в голову не могло прийти, чем была для матери комната № 43.

«Только что вернулась из ресторана, где чествовали нашего директора Ориентального института. Два часа ночи. Встала в шесть утра. Завтра в 7.30 первый урок. Надо спать. Но, попав в свою милую комнату, я захотела заглянуть в эту тетрадь. Из ресторана меня все тянуло домой именно из-за комнаты. Как я люблю ее! Пришла сейчас, и такое спокойствие меня охватило!»

И она записывает в тетрадь свои мысли об одиночестве и вспомнившиеся ей изречения на эту тему Метерлинка и поэта-философа Гюйо. Изречения написаны по-французски. Мать, так же, как и ее мать, моя бабушка, с одинаковой легкостью писала на трех языках; в материнском дневнике и в письмах бабушки среди русского текста то и дело встречаются фразы, а иногда целые абзацы на французском и английском...

«Я изменила своей привычке бывать всюду и везде. Сижу вечерами дома. Кто знает, быть может, последний месяц я пользуюсь своей комнатой. Много читаю. Кончила книгу Цейтлина «Декабристы» и записки Кизеветтера «На рубеже двух столетий»... Прочла книгу об истории сионизма Бема и книгу Пабста «Евреи».

(Шел тридцать третий год, газеты писали о расправе гитлеровцев с евреями, вот, видимо, почему в то время мать интересовалась «еврейским вопросом».)

«Интересны очерки о русских интеллигентах и военных; зарабатывающих себе на жизнь в Европе тяжелым трудом шоферов и рабочих... Прочла Слонима об Есенине, Маяковском, Эренбурге, Толстом... С интересом познакомилась с тонким докладом Ковьо о поэтах Франции».

А вот запись от 24 мая 33-го года:

«Сегодня дети голодные: им не дали обеда. Институт окончательно объявил неплатеж за май. Только бы не устать, только бы не впасть в отчаянье!»

27 мая. «Прочла Моруа «Cercle de famille», глупо переведенный по-русски «Круг измен». Влюблена в эту комнату, которая дает возможность уединения. Слышится благовест Софийского храма. Видны крыши домов, купола церквей, яркая майская зелень. А наверху мои бедные обиженные девочки, у которых нет самого необходимого! Вчера Наталиша получила десять рублей за урок, очень им пора-

довалась и заявила, что не будет покупать себе туфли, а отдаст эти деньги за обеды. Рано бедняжка начала бегать по урокам! Как бы хотелось расцветить ей жизнь!»

Следующая запись начинается так:

«Утро вечера мудренее. Не будем думать о денежных кошмарах. Вспомним прошлое...»

И идут страницы воспоминаний. Петербург. Поездка в Италию. Самайкино. Дача в Финляндии. М. Л. Лозинский...

«...Лозинский — это Рождество в Финляндии, это усыпанные снегом полянки, это наша милая дачка, чтение книги Ауслендера «Роза подо льдом», елка с подарками, первое радостное, большое чувство... Эта молчаливая любовь, которая была поначалу «светла, как зима» и из-за которой я так опрометчиво вышла замуж: жизнь все равно пропала, пусть хоть кто-нибудь будет счастлив!»

В этой своей записи мать приводит стихи Лозинского, ей посвященные, начинающиеся так: «Панна Воейко́ва, я сойду с ума, ждал ли я такого милого письма?» А я уже знала эти стихи, до чтения материнских дневников знала! В конце пятидесятых годов Анна Андреевна Ахматова протянула мне бумажку, исписанную незнакомым почерком: «Не вашей ли маме это было посвящено?» Добавила, что однажды Лозинский читал ей, Ахматовой, эти стихи, сказав: «Написал одной барышне». Не знаю, почему у Анны Андреевны оказался черновик этого стихотворения. Она отдала его мне, а я отнесла матери. Ничего не объясняя, просто сказала: «Взгляни-ка!» И помню выражение изумления, почти испуга, появившееся на мамином старом лице, когда она увидала эту бумажку, этот почерк, эти стихи... Молча прочитала, подняла на меня глаза, явно сделав над собой усилие, чтобы голос звучал спокойно: «Откуда это у тебя?» Я сказала — откуда.

«Милый повеса, талантливый юноша, первая настоящая любовь моей петербургской юности»,— так пишет мать о Михаиле Леонидовиче в своих более поздних дневниках. Известно ли ему было об этой любви? Что там произошло между ними? Не знаю и не узнаю никогда. Никого больше нет, ни его, ни жены его, Татьяны Борисовны, ни моей матери.

Он женился, а мать вышла замуж за моего отца, своего ровесника и дальнего родственника, который уже несколько лет добивался ее руки. Вышла par dépit [1], как говаривали

[1] С досады *(фр.)*.

в старину. Решилась на это, однако, не сразу. По дневниковым ее записям вижу: очень колебалась. И не был он ко двору в маминой семье Воейковых, сплошь состоявшей из ученых. Но все-таки: вышла. Поселилась с ним под Новгородом, и были там минуты, когда ей казалось, что она любит его,— опять сужу по дневникам...

Итак, в комнате № 43 мать вспоминала, читала, размышляла и записывала свои мысли то о символистах, то еще о каких-то литературных течениях. После целого дня беготни по редакциям и урокам, после ломбарда, где мать постоянно что-то закладывала, и иных отчаянных попыток достать рубль на обед — ее ждала комната № 43, заветная дневниковая тетрадь, вид из окна, уединение... Здесь мать забывала о своем нищенстве, становилась, как она писала, «сама собой». Эта комната была единственным местом, где мать могла уважать и любить себя за то, что она на голову, на много голов выше по развитию, по образованию всех тех, кто унижал ее в течение дня: управляющего домом Ягунова, и газетного бухгалтера, и оценщика в ломбарде, и любопытствующих соседей... Эта комната была островком среди моря невзгод, единственным местом, где мать ощущала почву под ногами.

Казалось бы: какая тут почва? За обе комнаты не плачено, за обеды — тоже, долги растут, кредиторы ежедневно наседают... Мы с сестрой осуждали мать и были по-своему правы. Когда в долг берется что-то необходимое — хлеб, молоко, обувь, это понять можно. Но снимать в долг лишнюю комнату! Но покупать в долг дорогой иллюстрированный журнал «Перезвоны»?

(Журнал этот издавался в Риге, был, кажется, ежемесячным, и каждый номер посвящался какому-нибудь художнику. Но был также номер, посвященный Эрмитажу, номер, посвященный Русскому музею и Третьяковской галерее... Репродукции этого журнала познакомили меня с Серовым, Суриковым, Нестеровым, Врубелем. В этом журнале я впервые прочитала рассказы Бунина, Шмелева, Ремизова и стихи Марины Цветаевой. Я с благодарностью вспоминаю журнал «Перезвоны», но заодно помню, как приходил и требовал денег посыльный из книжного магазина.)

Мы с сестрой полагали, что драгоценный иллюстрированный журнал в нашей нищенской жизни — почти неприличен. Это же касалось и лишней комнаты. Разве нельзя обойтись без журнала, без комнаты? Разве это предметы первой необходимости?

Но мы не понимали тогда, что у нас и у матери были разные взгляды на то, что считать первой необходимостью. Мы-то не помнили, не знали иной жизни, кроме эмигрантской. Мать сложилась и выросла в условиях совершенно других. И знала то, чего мы знать не могли: человеку, развившему свой интеллект, легче переносить невзгоды, ибо обеспечен тыл, куда можно уйти. Жизнь не удалась, рухнуло то и рухнуло это, но остаются книги, музыка, живопись, и тот, кто способен этим наслаждаться,— выстоит, не пропадет. «Пока есть книги, жизнь еще хороша!» — писала мать в дневнике. Этот тыл она стремилась обеспечить и дочерям. Сунула меня в Ориентальный институт именно для «общего развития».

А как я роптала на мать, очутившись в Шанхае! Четыре года потеряны в институте — да я бы за это время столько полезного могла выучить! Какое право имела я убивать годы на никому не нужное «высшее образование»? Мама во всем виновата, мама с ее непрактичностью, с ее полным непониманием требований жизни! Мама с ее вечным восклицанием: «Боже, до чего ты невежественна!» и с отчаянными попытками бороться с этим... В те годы, когда мы еще жили с отцом, мать уговорила старушку француженку, какими-то судьбами заброшенную в Харбин, ежедневно у нас обедать, а вместо платы учить меня и сестру французскому языку... Позже я училась музыке, а мама, взамен платы за мои уроки, занималась английским языком с дочерью преподавательницы.

И ничему-то я не доучилась! Француженка, походив год, ходить перестала, уж не помню почему... Музыку я бросила сама: слишком много времени она отнимала. И Ориентальный институт бросила, не окончив, когда догадалась, что все эти энциклопедии права и статистики мне совершенно ни к чему...

Попытки матери дать мне «общее развитие», включающее сюда непременные музыку и французский язык, представлялись мне, когда я жила в Шанхае, жалкими, даже — патетическими. Шанхай учил трезвости. В середине тридцатых годов получить там работу русскому эмигранту было очень трудно (город был наводнен эмигрантами, бежавшими из Харбина, от японцев), и все же люди, знающие ремесло, могли на что-то рассчитывать. А на что могла рассчитывать я? В иностранную фирму мне и сунуться было невозможно, я не знала ни стенографии, ни коммерческой корреспонденции, умела лишь на английской машинке пе-

чатать, но машинисток и без меня было предостаточно. Как я мечтала о службе в те годы, о своем столе за каким-нибудь из окон огромных зданий в деловой части города, о твердом жалованье... Я мечтала о прочности, а прочности не было, да и быть не могло: я ж ничего толком не умела! Со своим неоконченным высшим образованием, со своим недополученным «общим развитием» я бегала по улицам Шанхая, собирая объявления для одного журнала, деньги за подписку для другого. Меня, как волка, кормили ноги, но кормили плохо, оплата была сдельная, и, заработав доллар сегодня, я никогда не знала, заработаю ли я его завтра...

И именно там, в Шанхае, мне вспомнилась однажды ночь, когда я, проснувшись, увидела бабушку у окна нашей харбинской квартиры... Нет! Не потому она от нас уехала, что в нашей тесной квартире у нее не было своего угла! Она хотела быть дома, среди своих, среди соотечественников, не иметь отдельной от них судьбы, не быть, как мы, убежавшие, уехавшие, от всего оторванные, никуда не принадлежащие... Будь я тогда знакома с бабушкиными письмами — они мою догадку подтвердили бы... Она писала:

«Надо ехать назад, милая Катя, эти скитания безнадежны, бессмысленны. Мне важно не чувствовать себя отмирающей веткой полусгнившего дерева, хочется думать, что мои ростки еще принесут свои плоды не на чужбине, на родной почве. Горько думать, что ты за границей, когда нам здесь так не хватает образованных людей!

...Как бы я хотела обнять тебя и девочек, пока мои старые глаза еще видят, если бы, если б ты смогла поселиться около нас! Голод и все жизненные трудности не так страшны, когда есть нравственное удовлетворение».

Ей были хорошо известны все тяготы тогдашней, ее окружавшей действительности, а она — звала мою мать обратно!

По-видимому, изгнание казалось бабушке Ольге Александровне худшим из бедствий...

Но должны были пройти еще годы, годы, годы, пока эти строки бабушкиных писем попались мне на глаза...

Вернемся, однако, в Харбин, в год тридцать третий, в комнату № 43, так безрассудно снятую моей матерью... Наслаждалась она этой комнатой месяца, кажется, три, и настал час, который должен был настать.

«Моя карта бита. Завтра перехожу наверх к девочкам. Я много теряла на своем веку. Потеряла родное Самайкино, финляндскую милую дачку, всю обстановку квартиры с любимыми книгами и картинами. Потеряла мужа, наконец. Потеряла человека, которому долго верила и который этого доверия не заслуживал. Я ко всему привыкла. Почему же теперь расставание с этой просторной и светлой комнатой мне кажется верхом несчастий?»

С этого дня и до моего отъезда в Шанхай мы так и жили втроем в одной комнате. Мать спала на диване, я на сундуке, с приставленной к нему табуреткой, сестра — на раскладушке. Из дома Ягунова нас скоро выгнали за неплатеж, мы переехали в другой дом, затем в третий... Неизменными оставались лишь диван, сундук, раскладушка.

Мать лишилась прекрасных часов уединения. Но не сдалась. И читать вечерами продолжала, и дневник урывками вела...

«Читаю А. П. Керн «Воспоминания... Письма»... Одиннадцать часов, девочки хотят спать, надо гасить свет, а мне хочется выписать цитату из Керн...»

Цитата выписана. Выписана по-французски: видимо, на этом языке мать читала воспоминания Керн. А говорится в этой цитате о высоких страданиях сердца, мимо которых проходят, не догадываясь о них, самые иногда лучшие люди, как если бы они топтали цветы, не замечая этого. Мать добавляет от себя, что мысль эта перекликается со стихотворением Вл. Соловьева, и приводит стихи на память...

Керн. Соловьев. Цитаты, цветы, стихи. Продавленные пружины старого дивана, ветхие простыни, обшарпанный буфет, возимый нами с квартиры на квартиру, и мы с сестрой — длинноногие, длиннорукие, бог знает во что одетые и часто между собой ссорящиеся... Издерганные чуть не ежедневными визитами кредиторов, недоедающие, умирающие от желания быть одетыми не хуже своих подруг, но знающие, что желание это неосуществимо,— мы, видимо, вымещали свои обиды друг на друге... Мы мало виделись (я стремилась поменьше бывать дома), встречались лишь вечером, перед сном, и, встретясь, неизменно ругались. Мы спорили о том, чья очередь мыть посуду и убирать комнату, о том, кто завтра должен первый встать, чтобы вскипятить чайник, и тому подобное. Случалось, что споры наши переходили в драку.

Помню, как меня пригласил в кино один приятный мо-

лодой человек, и я, будучи дома одна, тщательно готовилась к свиданию: штопала, чистила, гладила, вертелась перед зеркалом, с тоской глядя на жалкое пальтишко, на дешевые чулки, на сношенные туфли, и вдруг вспомнила о клетчатом, шотландском, шерстяном дивной красы шарфике, подаренном моей сестре ее подругой. Мне показалось, что шарфик меня спасет, и я извлекла его из комодного ящика сестры, где все было уложено с ей свойственной маниакальной аккуратностью. Украсившись шарфиком, я собралась было покинуть помещение, как на пороге выросла откуда-то не вовремя вернувшаяся Гуля. С бьющимся сердцем, стараясь улыбаться ласково и приветливо, я сделала попытку проскользнуть в дверь, удрать, но сестра дверь загородила, страшными глазами уставясь на яркие клетки шарфика. Крикнула: «Как ты смела? Без спросу?» — «Пожалуйста,— заискивающе сказала я.— Только на этот вечер!» — «Сейчас же сними!» Тут она попыталась сдернуть шарфик с моей шеи, и я не далась, она кинулась на меня, я стала защищаться. И мы, уже плача, били друг друга, и, полагаю, что на свидание с приятным молодым человеком я так и не попала.

И еще одна драка запомнилась. Я поздно вернулась домой, но мать не спала, читала в постели, держа книгу у близоруких глаз, загородив лампу газетой. А Гуля спала. Но не на своей раскладушке, а — о ужас, о предательство! — на моем сундуке! Бывали уже эти разговоры: «Почему я должна каждый вечер расставлять походную кровать? Давай по очереди!» — «Вот еще! Ты — младшая!» А теперь она явочным порядком заняла мой сундук, но я этого не потерплю. «Мама! Почему она спит на моем месте?» — «Не знаю. Ложись. Поздно».— «Куда? Я не лягу на походную кровать!» — «Ложись, куда хочешь, только оставь меня в покое!» Мать читала.

Я разбудила бедную Гулю варварским способом: сдернула ее с сундука. Совершенно не помню, чем это кончилось, кто из нас спал в ту ночь на вожделенном сундуке. Помню лишь, как грохотала, упав на пол, приставленная табуретка, как мы колотили друг друга, что-то сердито выкрикивая... Время от времени, не поднимая головы от книги, мать произносила рассеянно: «Прекратите немедленно».

Что она читала в ту ночь? Воспоминания Керн, чьи-нибудь стихи, какую-нибудь «тонкую статью» или просто французский роман? Неважно. Важно, что она МОГЛА

читать в этой обстановке. И я до сегодня не знаю: сила это была ее или слабость.

Сестра и я были (и остались) вспыльчивыми, раздражительными, бурными в гневе, но отходчивыми. Мать голоса никогда не повышала. Сердясь, она бледнела и говорила тише обычного. Выходила из себя чрезвычайно редко, и в те годы я не видела ее плачущей. Она гордилась своей выдержкой, умением владеть собой, считая, что это дано ей породой и воспитанием. Любила рассказывать, как ее мать, моя бабушка, давным-давно сказала своим дочерям, когда они себя повели как-то не так: «Vous vous conduisez comme des petites femmes de chambre». «И я,— говорила мать,— эти слова запомнила на всю жизнь!» Я же совершенно не понимала, что в этих словах такого запоминающегося. Если бы нам с Гулей во время нашей очередной ссоры сказали: «Вы ведете себя как горничные!» — мы бы и ухом не повели, не то что запомнить на всю жизнь.

Зато на всю жизнь мне запомнилось, как мать однажды вышла из себя. Случилось это из-за коричневой вязаной кофточки с красными в виде шариков пуговицами. Стоила она десять «гоби» — мы уже жили на валюту «Маньчжоу-Го». Я давно любовалась этой кофточкой, выставленной в витрине магазина, страстно о ней мечтала и наконец не вытерпела. Получила пятнадцать «гоби» за урок и, вместо того чтобы отдать эти деньги матери (надо было заткнуть какую-то очередную дыру), вошла в магазин и, понимая, что совершаю безумие, ощущая себя растратчицей, преступницей, купила кофточку. Вечером отдала матери пять «гоби». «А остальные?» Вместо ответа я показала кофточку и какие-то слова начала бормотать в свое оправдание, но осеклась... Лицо матери окаменело, глаза сузились — это доброго не предвещало. Но уж того, что последовало, ожидать я никак не могла! «Вот как,— очень тихо произнесла мать,— вот как...» И внезапно, схватив со стола первое, что подвернулось под руку (подвернулся будильник), ударила меня им по плечу... Несколько раз она ударила меня будильником (я же, остолбенев, даже не отклонилась!), повторяя: «Кругом в долгах, а она — кофточку! Я одна разрываюсь, ваш отец знать ничего не желает, а она — кофточку!» Потом, бросив будильник, который вдруг затрезвонил на полу, заплакала. Ее слезы (я их прежде не видела!), идиотский звон будильника (я подобрала его, но не могла сообразить, как заставить умолкнуть) — разрывали мне сердце. Я тоже плакала от обиды, от жалости к себе, от

жалости к матери... Впрочем, не уверена, что в тот момент я жалела ее. Это, вероятно, потом, позже я ее жалела, потому что по сей день вижу, как она своей тонкой, слабой рукой беспомощно колотила меня будильником...

Рассказ об этом эпизоде хотелось бы кончить тем, что мы упали в объятия друг друга, смешали свои слезы, и мать простила мне кофточку, а я ей — будильник. Объятий не было. Объяснений тоже. Проявления чувств не были в характере моей матери. Пуще огня она боялась разговоров по душам — это казалось ей сентиментальностью. Она была нормальной матерью в том смысле, что любила своих детей больше всего на свете, однако чувств своих нам не показывала, и если говорила что-то ласковое, то с оттенком насмешки, будто иронизируя над тем, кто такие слова мог произносить всерьез.

Я же была и чувствительна, и эмоциональна, но отклоняющая рука матери сделала то, что я никогда не была с ней откровенна, всегда искала на стороне тех, кому могла излить душу.

Эпизод, вероятно, кончился тем, что мать, сердясь на меня уже не за кофточку, а за то, что я оказалась свидетелем ее взрыва, ее слабости, избегала на меня глядеть, была неразговорчива, холодна. И мы обе делали вид, что ничего не произошло.

* * *

В двадцатые годы еще хранилась инерция прежней жизни. Была квартира, скромная, но как-никак трехкомнатная, с ванной, окна выходили в палисадник, и палисадник считался нашим. В квартире этой часто собирались литераторы, заброшенные эмигрантской волной в Харбин: Арсений Несмелов, Леонид Ещин, Всеволод Н. Иванов, Борис Бета... И Сергей Алымов там промелькнул, и Петров-Скиталец... Они ужинали, пили водку, читали стихи — свои и чужие. В те годы квартира моих родителей была центром харбинской литературной жизни: все пишущее, все одаренное непременно проходило через этот дом. А моя мать никакими талантами не обладала. Одаренным человеком был скорее отец: он писал недурные рассказы, недурно рисовал, мог спеть и, кроме того, был веселым собутыльником, остряком и анекдотчиком. Видимо, притягательная сила квартиры объяснялась тем, что литературу мать любила, понимала, был у нее тонкий вкус и чувство

слова. Она была молода, образованна, привлекательна. Среднего роста, кареглазая, темноволосая, тонкокостная, очень стройная — моя мать с ее вздернутым носом и неправильными чертами лица красивой не была. Привлекали в ней ее женственность, мягкая ирония, тихий голос, сдержанность, умение казаться хорошо одетой в перелицованных пальто и перешитых платьях.

В первые годы нашей харбинской жизни была еще жива няня Прасковья Андреевна Матвеева, уроженка Новгородской губернии, взятая в дом незадолго до моего появления на свет. Летом 1919 года в Омске я болела дифтеритом, мать сидела около меня, а няня, обливаясь слезами, обегала все аптеки города и чистым чудом достала сыворотку. Няня, впрочем, позже уверяла, что не сыворотка спасла меня, а образок Пантелеймона Целителя, который она тогда повесила мне на шею, и я долго его носила, где-то он теперь? Когда нас везли из Омска в сыпнотифозном вагоне, у няни, боявшейся заразиться, внезапно поднялась температура (бывает, говорят, нервный сыпной тиф), но, к счастью, у меня заболел живот, и няня забыла о себе... Она умерла от воспаления легких в темные декабрьские дни 1921 года... «Как мне жаль няню Пашу! — писала из Москвы моя бабушка в феврале 1922 года.— Как бы хотелось увидеть ее, как бы хотелось знать, что она отдохнула душой на родной стороне! Завтра помяну бедную Прасковью, умевшую любить до конца, завершившую своей смертью преданность своим питомицам. Сегодня у всенощной мне все вспоминалась она, с ее суетой, благочестием и такой теплой душой, да будет ей легка чужая, далекая земля! Горячо молилась сегодня за вас, за наше будущее свидание за спасение страждущей державы Российской — так молится сейчас наша церковь. Я хожу в церковь Старого Пимена, что на Воротниках. Поют чудно, на манер Архангельских хоров, аккордами. Так хорошо постоять в церкви, под звуки знакомых песнопений, подумать обо всем былом, обо всех отсутствующих и о стольких отошедших. Сколько же, Господи, утрат за эти годы!»

Няня умерла, но налаженный ею уклад прежней русской жизни еще какое-то время по инерции продолжался. В Екатеринин день приглашался священник, служил на дому молебен и вместе с дьяконом оставался на пирог. Гости шли с полудня до вечера. В передней не хватало места для верхней одежды, ее сваливали на кровати в детской, где

тихо сидели мы с Гулей,— за стол с гостями нас не допускали. Отец своим командирским баритоном вызывал нас здороваться с новоприбывшими и прощаться с уходящими. Нам говорили: «Как выросли!», «Вылитый папа!» или «Вылитая мама!» После чего отец командовал: «Марш в детскую!» Все это повторялось в первый день Пасхи, но без отца: он сам делал в этот день визиты и возвращался сильно навеселе. У стола, уставленного куличами, пасхами (сырыми и вареными), крашеными яйцами, разноцветными, окружавшими окорок, бутылками, мать принимала визитеров. На Рождество была елка. В Великий пост — постились и говели. После смерти няни у нас были часто сменяющиеся кухарки. С каждым годом жить становилось труднее, но от молебнов на дому, пирогов, пасхальных столов, гостей, а также литераторов, закусывающих, выпивающих и стихи читающих, мать не могла отказаться долго. Эта жизнь надломилась в конце двадцатых годов, после ухода отца.

Начались переезды, причем каждая следующая квартира была хуже предыдущей.

Запись из дневника матери от августа 1932 года:

«Захотелось вдруг подвести какие-то итоги. Почему мы с девочками очутились здесь, на окраине города, в деревянном домике без всяких удобств? Предыдущая наша квартира из трех крошечных комнат стоила 35 йен, а йена котировалась больше трех долларов. Вот и приходилось мне целый день летать по городу. В 7.30 утра я выходила из дому, мчалась к Лю Цзе-жунь, получая там за урок с детьми 40 д., что было в прошлую зиму не более 12—15 йен. Проводила я там полтора часа и много времени теряла на поездку, ожидая трамвая и промерзая на холодном ветру. Три раза в неделю летала на Пристань на урок к Б., давала также уроки в Коммерческом училище. Мчалась домой, наскоро обедала, затем давала еще два урока на дому учеников, после чего — лекции в Ориентальном институте. Были и еще уроки втиснуты. Минуты свободной не оставалось. Если удавалось достать в газетах переводы — делала их ночью. А денег все равно не хватало...»

Бегала весь день, ела на ходу, иногда, не поспевая домой, и вообще весь день не ела, мерзла на трамвайных остановках, работала ночами и при своем слабом сердце все это выдерживала, я не помню, чтобы она хворала в Харбине. Иногда мне кажется, что она удерживалась от болез-

ней силой воли, твердила себе, что не имеет права болеть, если она свалится — мы погибнем.

Осенью 1919 года в Омске, когда отца с нами не было, он где-то воевал, маму свалил сыпной тиф. Вот что она сама пишет об этом:

«Моя подруга по Таганцевской гимназии Лёля Д., старшая сестра госпиталя Американского Красного Креста, рассказывала мне о зрелище, которое она застала, приехав ко мне домой. Электричества почему-то не было, горела свеча. Я лежала на кровати, передо мной на одеяле были рассыпаны часы, кольца, медальоны,— видимо, я хотела передать их няне, понимая, что мне плохо. Леля измерила температуру. Оказалось: сорок один и две. Прибежала из аптеки няня. «Не надо, нянечка,— сказала Леля,— мы вашу маму в госпиталь возьмем». Смутно помню спешные сборы, страшные, неуемные крики Таточки: «Маму, маму мою увозят!» Эти крики слышались мне еще долго, когда автомобиль увозил меня далеко за город. Эти крики спасли мне жизнь. Леля рассказывала, что, когда на другой день у меня появилась сыпь и я поняла опасность, я днем и ночью кричала в истошный голос: «Я не могу умереть, у меня дети! Я не могу умереть!» И не умерла. К няне приезжал американец Мак Найт, жестами показывал няне рост разных людей, повторяя: «Миссис Ильин, няня, Тата, — олл [1] Чита!» И так нас увезли на восток, меня в полузабытьи до наступления кризиса. Дети и няня были в том же вагоне, что больные».

...Спрашивая себя в дневнике, каким образом мы докатились до домика на окраине без удобств, мать сознается:

«Жила я, конечно, безумно. Не имела права ни на дорогую квартиру, ни на кухарку за 25 долларов. А главное, давно следовало расстаться с портнихой Ольгой Васильевной. Она, ее муж и дочь привыкли кормиться за мой счет и воровали. Я уволила кухарку, готовить нам стала Тамара, дочь Ольги Васильевны, а денег все равно не хватало!»

Мать любила покровительствовать. Ей нравились те, кто без возражений принимали ее превосходство, стояли как бы на другой ступеньке, на ступеньке пониже... Эта черта матери и сделала возможным появление в нашем доме портнихи Ольги Васильевны, которая присосалась к нам на

---

[1] Все *(англ.)*.

долгие годы. Худа она была чрезмерно, будто сжигаемая внутренним огнем, с дурными зубами и глубоко посаженными черными глазками. Ольга Васильевна у нас не жила, но появлялась ежедневно, играя при матери роль как бы камеристки... Она и шила на швейной машине покойной няни, и завивала горячими щипцами, и сплетничала, и льстила. Завивая мою мать, Ольга Васильевна восхищалась густотой ее волос, примеряя блузки — хвалила фигуру, и непременно при этом вспоминалась какая-нибудь мамина знакомая, у которой и волосы дурны, и фигура никуда не годится. Мать слушала Ольгу Васильевну благосклонно и останавливала ее, лишь когда та уж совершенно распоясывалась, теряя всякое чувство меры и в лести, и в сплетнях. Пока отец жил с нами, Ольга Васильевна не позволяла себе ругать его открыто, лишь мимикой, улыбочками, намеками, отдельными словечками, будто вырвавшимися против ее воли, давала понять, что глубоко осуждает Иосифа Сергеевича, не умеющего ценить сокровище, которое судьба дала ему в жены. А когда отец ушел, Ольга Васильевна в каждое свое появление ругала его и его новую жену, всегда принося с собой какие-нибудь свежие, их порочащие сведения... Нам с сестрой слышать это было мучительно, но вмешаться мы не могли, говорили не с нами, мы даже не присутствовали, разговор шел в соседней комнате, обращались к нашей матери, а она Ольгу Васильевну не останавливала, это-то, вероятно, и было нам мучительно.

Когда мы переезжали в ту маленькую квартирку, стоившую 35 йен в месяц, то всеми хлопотами по переезду заведовала Ольга Васильевна. В то время была у нас кухарка, но скоро Ольга Васильевна кухарку выжила, убедив мою мать, что будет дешевле, если стряпать нам будет Тамара. Постоянное присутствие дочери Ольги Васильевны в доме говорило о том, что власти над нашей семьей Ольга Васильевна делить уже ни с кем не намерена. Был у нее и муж, рыжий пьяница по фамилии Трушков, неясно чем занимавшийся. Деньги на хозяйство выдавались Ольге Васильевне, счетов мать не проверяла, ведь Ольга Васильевна — свой человек! Этот «свой человек» вскоре убедился, что дела наши идут все хуже и просвета не видно, только предлога ждал, чтобы сбежать с тонущего корабля.

Предлог представился. Мать, уходившая с утра, вернулась как-то домой раньше обычного и застала на кухне ...ю семью Трушковых. Они обедали, и перед главой семьи

стояла бутылка, купленная явно не на его счет. Вероятно, мать по этому поводу что-то сказала, и разразился скандал. Мы с Гулей обмерли, услыхав громкий, нагло-издевательский голос нашей кроткой, услужливой, льстивой Ольги Васильевны: «Барыня! Подумаешь!» Голоса матери слышно не было. По-видимому, она произнесла что-то вроде: «Немедленно вон!» Затем вошла в свою комнату и затворила дверь. Из кухни же доносились крики Трушковых. Пошумев какое-то время, они покинули нас навсегда, захватив с собою ряд вещей, им не принадлежавших.

А мы с Гулей струсили. Перед собой и друг другом делали вид, что читаем, нам было стыдно, что мы слышали, как оскорбляют нашу мать. И нас поразило, что Ольга Васильевна, вечно ругавшая нашего отца, на этот раз кричала другое: «Ушел? И хорошо сделал! От такой жены уйдешь!» Не только Ольга Васильевна, но и муж ее, и дочь были всегда смирными, услужливыми, и перемена, в них происшедшая, пронзила нас до оцепенения... Тот день врезался в память, видимо, потому, что впервые я увидела вблизи распоясавшегося хама.

Подводя итоги, стараясь понять, почему, несмотря на ее адскую работу, «денег всегда не хватало», мать в той дневниковой записи справедливо указывала на семью Трушковых как на одну из причин... В той же записи — читаю:

«Всю неделю мечтаешь об отдыхе, о том, чтобы никуда не бежать, на часы не смотреть, и вот наступает долгожданное воскресенье. И лучше бы не наступало. Боюсь воскресений. Девочки скоро уйдут от меня. Одиночество, которое уже сейчас начинает угнетать, со временем будет еще тяжелее. Красота жизни, искусство, умные люди, интересные беседы — все ушло. Впереди борьба за кусок хлеба, старость, болезни, одиночество. Ибо после всех странствий, после всех бурь житейских, к сорока пяти годам я пришла к блестящему фиаско: я одна, одна, одна!»

Года за два до этой дневниковой записи мать рассталась с человеком, которого, быть может, любила. Я едва его знала. Мне было тринадцать лет, когда я увидела его впервые. Откуда-то вернувшись, застала у нас незнакомца, мать поила его чаем, отца дома не было, он служил тогда в Чаньчуне... Мне не понравилось, как мать смотрела на незнакомца, а он — на нее, и что-то было виновато-заискивающее в их обращении со мной. Я отказалась от чая, ушла к себе, стала читать, читать не могла, все прислушивалась

о чем они там говорят, и мне не нравились интонации. А потом была та вышеописанная сцена, когда отец разбудил меня ночью, сказав, что мама хочет от нас уйти, и я рыдала и догадалась, что всему виной тот человек, которого я уже ненавидела... Больше он к нам в дом не приходил. Но однажды я встретила мать на улице с ним под руку, бросилась от них бежать, мать кинулась за мной, поймала, обняла, я вырывалась, отворачивалась, плакала... Происходило это где-то недалеко от нашего дома, были сумерки, шел снег. Мать повела меня домой, я не очень сопротивлялась, хотя твердила, что убегу, убегу, убегу,— интересно, куда я собиралась бежать? Очень жалела себя. Мать не жалела нисколько, пожалела ее лишь спустя много лет. В тот вечер я торжествовала, что ненавистный этот человек остался там один на улице, мама его бросила, ушла со мной, обеспокоена, уговаривает меня, утешает.

С той поры я этого человека больше не видела, но почему-то знала, что мать продолжает с ним встречаться, а позже почему-то знала, что между ними все кончено. Как протекал их роман, что собою представлял этот человек, почему они расстались — все это я узнала лишь после смерти матери из ее дневников. А при ее жизни разговоров о нем у нас не было, даже на улице, когда я собиралась убегать, не было. Своих чувств я больше не показывала, делала вид, что ничего не знаю о личной жизни матери, а она делала вид, что этому верит. Позже я старалась скрыть от матери свои увлечения, свои романы. Так сложились наши отношения — никогда никаких откровенных разговоров.

Своими мыслями, чувствами, впечатлениями от прочитанных книг я делилась с кем угодно, только не с матерью. Я пыталась иногда начинать беседы на отвлеченные темы, но быстро замолкала — в глазах матери мне чудились ирония, снисходительность, меня не принимали всерьез! Она тщеславилась тем, что мне легко дается учение, даже хвасталась друзьям моими способностями и памятью, но эмоциональность моего нрава, экспансивность, несдержанность — шокировали ее и раздражали. Никогда не было между нами намека на душевную близость.

Мать иронизировала над окружающими, считала себя выше их, но их мнение было для нее важно чрезвычайно. Забота о декоруме, о стороне внешней не покидала ее всю жизнь. Восхищение окружавших было для нее важнее хлеба, она придумала себе роль мужественной женщины, не склоняющей головы под ударами судьбы, никогда не жа-

лующейся, всегда немного насмешливой. При посторонних она иначе разговаривала со мной, чем наедине, называла меня «Натали» и «моя непочтительная дочь». Это сердило меня, я отказывалась участвовать в игре... Неумелая, непрактичная, она стремилась, однако, к влиятельным знакомствам, в наших жалких комнатах устраивались жалкие чаи для какого-нибудь англичанина с женой, или француза, или итальянца... Жалкость обстановки мать не смущала, напротив: «A la guerre comme á la guerre[1]. И: «Полюбуйтесь, до чего доведены люди моего круга!» Именно благодаря какому-то доброму англичанину, пившему у нас чай, я получила работу в журнале — об этом расскажу позже. Знакомство же, которое мать завела с находившимся в Харбине проездом милейшим старым французом мсье Массне, изменило впоследствии всю жизнь моей сестры.

Я дважды разлучалась с матерью: два года жила без нее в Шанхае, семь лет в СССР. Находясь от нее вдалеке, я немедленно забывала все то, что осуждала в ней, мне помнились лишь ее закрывающиеся от усталости глаза и как скрипело по ночам ее перо. На расстоянии я ощущала ее любовь, беспокойство, тревогу, во мне постоянно жило желание утешить ее и поддержать, и письма мои бывали длинными и нежными. Я не грешна перед ней, пожалуй, только тем, что никогда не оставляла ее без вестей о себе. Ее письма тоже были нежнее и раскованнее, чем наши с ней беседы, хотя гораздо сдержаннее моих, и подписывалась она неизменно так: «Мать». Однако стоило нам встретиться, как отношения тут же попадали в прежнюю колею, и опять я чувствовала, что меня не принимают всерьез, и не хотела делиться с ней тем, чем в данный момент жила.

Я знаю, что в последний московский период жизни матери, ее, уже старую женщину, мучила моя с ней неоткровенность, моя от нее отдаленность. Присущий ей гонор никогда не позволял ей высказать это прямо. Она задавала мне вопросы, а в глазах настороженность, даже испуг: она предвидела, что отвечать ей будут коротко, ничего не расскажут подробно, ничем не поделятся. В глазах испуганная мольба, а тон легкий, светский, этим тоном спрашивают: «Как живете?» — не интересуясь ответом. Я знала, что тон — маскировка, душа моя плакала от жалости, но все равно, тон меня раздражал, я ничего не могла с собой поделать, отвечала коротко, даже как-то вызывающе коротко...

---

[1] Французская пословица: «На войне как на войне».

Итак, из того домика на окраине мы поздней осенью 1932 года переехали в дом Ягунова. В то время мать имела работу, которая хоть и оплачивалась плохо, но зато отнимала мало времени. Мать числилась «ревизором всех библиотек на иностранных языках» (имелись, конечно, в виду русские библиотеки) в департаменте народного просвещения. Кажется, она получила эту работу благодаря влиятельному китайцу, члену Правления КВЖД, детей которого учила английскому (или французскому?) языку. Мать была счастлива, когда назначение было подписано: она на государственной службе. От радости не сразу спросила о размере жалованья, а спросив, обомлела: пятьдесят даянов. На это и одному-то прожить было невозможно. Но вот маме объяснили, что китайские правительственные служащие все получают немыслимо маленькие зарплаты, однако — живут, и живут неплохо. Жалованье — это формальность, декорум. Все чиновники берут взятки... (Систему оплаты государственных служащих путем сдирания трех шкур с населения я наблюдала затем в гоминдановском Шанхае.)

Итак, почетная должность ревизора библиотек. Чести много, денег мало. Обязанности матери были таковы: она должна была читать новые книги и разрешать библиотекам эти книги выдавать. Без визы департамента народного просвещения (ДНП) выдавать книги читателям не разрешалось.

Кто-то перевел на русский язык скандально знаменитый роман Лоренса «Любовник леди Чаттерлей», и владельцы библиотек (все библиотеки, конечно, были частными) намекали, что готовы заплатить за визу. Виза была дана безвозмездно.

О волнении владельцев библиотек, об их намеках мать, смеясь, рассказывала как-то своей приятельнице, а я услыхала и вмешалась: «Вот и взяла бы с них деньги, если они так хотели тебе их дать!» — «Этого, моя милая, я не умею и никогда не сумею».

Она могла покупать в долг книги и многое другое, снимать в долг комнату, годами долги не платить (убеждена, что много долгов так и остались невыплаченными!) — это не противоречило ее понятиям о чести. А взятки этим понятиям противоречили.

Из своего ревизорского положения мать извлекала другие выгоды. Свою работу (чтение новых книг) она делала дома, в ДНП появлялась не чаще раза в неделю. Служа там, мать преподавала в Ориентальном институте, давала

уроки, что-то переводила для газет, и ей казалось, что эти пятьдесят даянов, с приятной регулярностью капавшие каждый месяц, она получает даром, ей платят не за работу, а за приятное времяпрепровождение.

Но вот занявшие Маньчжурию японцы стали внедрять всюду (в том числе и в ДНП) своих людей, и летом 1933 года мать потеряла свою должность ревизора. Вместо этого хозяева города предложили матери место преподавательницы английского языка в Городской школе. Платили лишь немногим больше, существовать на жалованье было нельзя. А возможности подработать почти исчезли. В школе надо было бывать чуть ли не ежедневно. Мать приходила измученная (сорок — пятьдесят детей в классе!), что-то наспех ела и бежала дальше: в редакции, на частные уроки. А поздним вечером сидела над ученическими тетрадями.

Городская школа была бесплатная, в ней учились дети неимущих русских эмигрантов, подчинена школа была тому же департаменту народного просвещения. Учителя — эмигранты, директор — китаец. Но уже был назначен японский «советник», в актовом зале вскоре появился огромный, в человеческий рост, портрет «императора Маньчжоу-Го Пу И». Этому портрету учителя были обязаны во время ежеутренних церемоний отвешивать поясные поклоны.

У матери, несомненно, была педагогическая жилка, а это, прежде всего, отсутствие равнодушия к ученикам. Класс для нее состоял из маленьких людей с разными характерами, разными способностями, и я помню эти разговоры об удивительном Пете, все хватавшем на лету, и о бедной Лене, которая вряд ли овладеет когда-нибудь английским языком. И помню мальчиков и девочек, прибегавших в нашу комнату по каким-то делам к своей учительнице, и как мать поила их чаем, заодно обучая хорошим манерам: «Лена, не клади локти на стол!», «Петя, умей слушать, не перебивая!», «Маша! Вынь ложку из чашки!» — и все те слова, что говорились нам с сестрой в годы нашего детства и отрочества...

Она была близорука, носила лорнет на золотой цепочке с хризопразами, а затем, когда цепочка была продана, на бархатной ленточке. Но, став учительницей, мать поняла всю странность разглядывания учеников в лорнет и заменила его очками.

Давно уже не было ни молебнов, ни пирогов, ни гостей, а так, скромные чаепития в дни именин матери. И все поэ-

ты, посвящавшие ей стихи и поэмы, куда-то исчезли. И, наконец, рухнуло последнее, дававшее ей иллюзии того, что не все потеряно: комната № 43, уединенные часы интеллектуальных радостей, грошовая, но почетная работа ревизора... В то время мать со своим лорнетом еще появлялась на харбинских концертах и премьерах — благодаря связи с газетами у нее бывали контрамарки. Но вот лорнет сменили очки в роговой оправе, школа, шумные дети, поклоны портрету «императора», японский советник как главное начальство, острое ощущение эмигрантского бесправия, эмигрантской униженности. И не до концертов, не до театров. И даже — не до чтения. Горы ученических тетрадей, усталость, безнадежность.

Окончательно увязши в долгах, мы в начале лета 1934 года, со своим обшарпанным буфетом, диваном, сундуком, раскладушкой и гардеробом переселились из дома Ягунова в пустой класс Городской школы. Матери удалось убедить директора школы разрешить нам в течение трех летних месяцев жить в одном из классов. Временно исчезал главный расход — плата за комнату. Это должно было нам помочь хоть частично выплатить долги.

Мать так и провела все лето в этом неуютном бивуачном помещении, а нам с Ольгой удалось ненадолго оттуда выбраться..Наша приятельница Женя Роджерс сняла в поселке Барим у русских железнодорожников домик, состоящий из комнаты и передней, и выписала нас с сестрой погостить. Домик был со всех сторон подперт шестами, вот-вот должен был развалиться, внутри почти никакой мебели, зато дешево сдавался, стоял на отшибе, до ближайшего жилья не меньше километра. Выйдешь наружу — справа и слева сопки, а прямо — узкая, быстрая горная речка, очень холодная, однако мы в нее каждое утро окунались, оглашая окрестности визгом. Дни стояли жаркие, но с заходом солнца резко холодало, ночью мы укрывались всем, чем могли, в окошко светила продрогшая голубая луна, и беспрерывно бормотала горная речка...

В конце августа того же года мы переехали на Конную улицу Пристани тоже в дом гостиничного типа, принадлежавший некоему Литваку.

Вечером я слушала ненужные лекции в Ориентальном институте, утром бегала по урокам. И вдруг — подвернулась служба.

В какой-то географический журнал, название которого не помню, потребовался переводчик с русского языка на английский. Эту работу предложили матери, но ей пришлось бы делать выбор между журналом и школой: присутственные часы и там и там — утром. Школа — дело верное, а журнал мог быстро прогореть. И матери пришло в голову устроить в журнал меня. Она, впрочем, прекрасно знала, что я не справлюсь с переводами на английский язык, а тем более в научном журнале.

Я бойко говорила на этом языке и читала романы, но грамматику знала плохо, лексикон мой был беден, я пугалась, когда кто-нибудь из учеников моих (а я нахально давала уроки английского!) спрашивал меня слово, значение которого мне не было известно. Следовало продолжать изучение языка, но на это не было ни времени, ни денег. Годы жизни в Шанхае мои скромные познания значительно расширили, я заговорила еще бойчее, однако в грамматические тонкости так и не вникла, серьезно языка не изучала, в разговоре делала ошибки, и переводить с русского на английский и сегодня не взялась бы.

А тогда — взялась. Это, конечно, был акт отчаянья и с моей стороны, и со стороны матери. Что ж это был за журнал? Помню, что выходил он на четырех языках (китайский, японский, английский и русский) и статьи были посвящены почве, климату, природным богатствам Маньчжурии.

И вот в какой-то понедельник я отправилась на свою первую в жизни службу. Накануне был вечер волнений: сестру беспокоило, во что я буду одета, как буду выглядеть, мать — как я там буду справляться. Гуля что-то мне стирала и гладила, мать — наставляла. Инструкции были таковы: я буду переводить, как умею, затем приносить работу домой и ночью мама перевод мой исправит... В ту ночь я долго ворочалась на своем сундуке, мечтая о том, как я чудом удержусь на этой работе, буду ежемесячно получать твердое жалованье и мы сможем брать три обеда и покупать что-нибудь из одежды.

Странное дело! Я помню улицы Харбина, могу описать все квартиры и комнаты, в которых мы жили, дворы, в которых я играла, помню расположение комнат и обстановку в домах моих подруг, помню аудитории Ориентального института,— словом, помню все. А вот какова была редакция журнала, где я месяц мучилась,— не помню совершенно. Там, конечно, было несколько комнат, но из памяти вывет-

рилась даже обстановка той, где я работала. В той же комнате сидели двое молодых русских: Галя и Алеша. Галя переводила с английского на русский — это было куда проще того, что предстояло мне, и я завидовала Гале. Алеша то ли был секретарем, то ли техническим сотрудником. Алеша-то и дал мне статью для перевода, и я похолодела, начав ее читать. В этой научной статье (климат? почва?) я и русские слова не все понимала, какой уж тут английский! Я взяла в руки перо, но не смогла перевести даже первой фразы. Мне казалось, что Галя и Алеша не столько работают, сколько искоса следят за мной, и нужно изо всех сил скрывать от них, что я ничего не умею, что попала сюда по недоразумению. Мне казалось, что если я попрошу словарь, то сразу выдам свою беспомощность. Надо было создать хотя бы видимость работы, и я стала выписывать слова, которые потом, дома, найду в словаре, и располагать их в алфавитном порядке. Кто-нибудь, проходя мимо, мог увидеть, чем я занимаюсь, и я прикрывала ладонью то, что писала.

Когда я вернулась домой, после мучительных проведенных в редакции часов, матери дома не было. А ее-то мне и нужно было, не с Гулей же говорить! Она, конечно, пыталась меня расспрашивать, но я не удостаивала ее ответами. Вероятно, говорила обычное: «Отстань! Не приставай!» Бедная Гуля! Вчера она стирала и гладила, ее заботы и хлопоты были нужны, а сегодня с ней и говорить не желают! Бедная Гуля! Она жила надеждой, что в доме прибавится денег, но у старшей сестры что-то явно не ладится, быть может, ее уже выгнали, а объяснить толком ничего не хотят!

Вернулась наконец мать, и на нее я обрушиваю все пережитое за день. И всегда мне хочется сказать все сразу, сделать так, чтобы мать мгновенно поняла всю унизительность, всю невозможность моего пребывания в журнале... И я завтра туда не пойду... Алеша и Галя... И все надо мной смеются, и я ни одного слова, и не могу же я сразу просить словарь, и когда... и еще...

Меня попросили «не мчаться галопом», «прекратить ламентации», успокоиться и рассказать все по порядку. Затем меня назвали «идиоткой» за то, что я стеснялась попросить словарь, и добавили что-то еще неодобрительное...

После вечернего чая мы с мамой уселись переводить статью, а Гуля была отправлена спать на мой сундук. Мать диктовала усталым голосом, я — писала. Попадались слова,

которые надо было искать в словаре, я искала, бормоча: «Видишь? И ты не знаешь!» Записав продиктованное, я ждала продолжения, его не следовало, мать, закрыв глаза, откинулась на стуле. Думает? Спит? Мама! Она вздрагивала: да, да. Где мы остановились?

Статья была переведена ценою нескольких мучительных ночей. Перевод никуда не годился. Я видела потом эти листочки на Алешином столе. Чуть не все перечеркнуто, чуть не над каждой строчкой написана другая рукой англичанина, редактировавшего английские переводы. Я обомлела от стыда, увидев эту несчастную рукопись.

В своем стремлении хвататься за все, что может дать хоть какой-то заработок, только б схватить, только б зацепиться, только б не пропустить, мать переоценивала свои силы. Ночью, после школы, тетрадей, частных уроков, лекций — она не могла делать переводы научных статей, да еще на чужой язык! Впрочем, не научных и на свой язык — тоже не могла. В то же время (или раньше?) мать переводила роман Агаты Кристи «Убийство Роджера Экройда» для одной из эмигрантских газет — подвалы с продолжениями. Переводила урывками, между другими делами, часто — глубокой ночью. Убеждена, что перевод был сделан кое-как. Не думаю, что тогда я могла судить о его качестве, но что-то раздражало меня. Видимо, безотчетно я догадывалась, что мать не может хорошо выполнить все работы, за которые хватается. Лишь бы как-нибудь. Лишь бы деньги получить.

На что она рассчитывала, сунув меня в этот журнал? Видимо, тут действовало то легкомыслие, та надежда на чудо, которые в свое время подвигли ее на то, чтобы снять комнату № 43, когда и за одну-то платить было нечем.

И сегодня, через столько лет, мне тяжко вспоминать дни, проведенные в редакции журнала. Была осень, лучшее в Маньчжурии время. Я смотрела в окно и завидовала прохожим, они свободны, идут, куда хотят, а я — на каторге. Это и в самом деле была каторга, ибо я не работала, лишь создавала видимость работы, сидела не на своем месте, не умела делать порученного мне дела, ощущала себя самозванкой, обманщицей, подозревала всех в желании меня разоблачить, надо мной посмеяться. Мне казалось, что за стеной, за дверью кто-нибудь непременно говорит обо мне дурно. Свое пребывание в этом журнале я ощущала как нечто безнравственное, пыталась объяснить это матери, меня не хотели слушать. У матери было одно желание, что-

бы я до конца месяца как-нибудь досидела, получила жалованье, ну, а там видно будет...

Месяц я досидела, деньги получила, хотя было у меня желание от них отказаться. А быть может, я лишь сама перед собой разыгрывала сцены, как я отказываюсь,— не заслужила, дескать — и как это будет красиво и гордо, и все меня зауважают... Я сказала матери: «А было бы честнее отказаться...», сказала полувопросительно, вызывая мать на разговор, хотя знала, что беседой меня не удостоят, что в ответ мне будет холодно сказано: «Ты что, в уме?»

А затем судьба меня немного вознаградила... Один старый еврей, харбинский коммерсант, ушедший на покой, вздумал писать сценарии для Голливуда. Эти коротенькие опусы (две-три страницы на машинке) следовало переводить на английский язык. Примитивнейший сюжет, изложенный примитивнейшим языком, переводить было нетрудно... К старому коммерсанту я являлась раз в неделю, в определенный день, оставляла перевод, получала десять «гоби» и уходила счастливая, спрятав в сумку листки с новыми приключениями героев сценария...

У старика была секретарша, она отправляла в голливудские студии мои переводы (ответов не было никогда!), она печатала на машинке, она, видимо, исправляла слог старика, ибо по-русски он изъяснялся примерно так: «Возьмите тот вещь на эта окна!»

Полутемная гостиная с зашторенными окнами, с креслами в чехлах, блестящий паркет, я стою, вынув из сумки перевод, жду в тишине этой квартиры (сколько тут комнат? кто еще живет тут?), и вот слышится поскрипывание — секретарша катит старика в кресле, старик не ходит. И я рада, что он пока жив, видимо — здоров, раз катят, теперь остается лишь молить бога, чтобы у него был готов новый «сценарий», уже наш бюджет строится на этих еженедельных десятках...

Я не знала, какова семья у этого патриарха (вид почтенный: орлиный нос, седая курчавая борода), лишь однажды, когда я стояла в гостиной, прошла полная, нарядная дама с зонтиком, спросив меня мимоходом: «Папашу дожидаетe?» Дочь? Невестка? Десятки, мне выплачиваемые, жалованье секретарши, расходы на отправку сценариев в Голливуд, быть может, в графе расходов этой богатой семьи назывались так: «Папашины капризы».

Явная бессмыслица моих занятий меня не удручала. Работа была по моим силам, я с ней справлялась, я чест-

но зарабатывала свои десятки, и совесть моя была чиста. А что до бессмыслицы — то бессмысленным в те годы мне представлялось наше существование вообще: лекции в Ориентальном институте, и мамина работа в школе, и все другие ее и мои работы, то возникавшие, то исчезавшие. Я постоянно ощущала нашу беспомощность, нашу незащищенность. Кто-то внутри меня постоянно спрашивал: зачем все это? Дальше что? Но я знала, что ответов мне никто не даст, и лучше не спрашивать, а жить изо дня в день.

* * *

Отчетливо и последовательно я помню себя и все, что происходило со мной, лишь с Харбина. Мне не было шести лет, когда из вагона, стоявшего на запасных путях харбинского вокзала, мы переехали в одноэтажный, под железной крышей дом, заняв в нем одну из двух квартир. Окна выходили в палисадник с черемухой и акациями, а крыльцо — на просторный двор, где я и дети соседей играли, ссорились, плакали, мирились. Когда подросли, двора нам было уже мало, мы перенесли игры на тихую Гиринскую улицу, по которой никто не ездил, играли там в «казаки-разбойники» и в лапту, и это было ужасно, когда тебя за какую-то провинность не выпускали из дому, и ты слышала, как они там орут, визжат, бегают, и все без тебя, без тебя! Из этого дома я пошла в школу, в этом доме прочитала свою первую книгу «Приключения Тома Сойера».

Если верить словам песни «С чего начинается родина...» — так не отсюда ли, не с этого ли дома, палисадника, двора, улицы должна была начаться для меня родина? Нежную привязанность мне следовало сохранить к этим местам. Этого не случилось.

Дом, где я выросла, я вижу лишь в страшных снах. Вижу знакомые комнаты с низкими потолками, и коридор, и сени, а за маленькими окнами ночь, и я одна, и в сенях кто-то ходит и вот-вот войдет, и бежать бы, да ноги не идут... Иногда мне снятся улицы города, где прошли детство и юность, но тоже — только в кошмарах. Не знаю, отчего это, знаю лишь, что никогда не испытывала привязанности ни к дому, ни к улицам, ни к городу. «И совсем не в мире мы, а где-то на задворках мира, средь теней», — сказал поэт, и эти слова часто приходили мне на память в мои юные годы. Все казалось, что я живу на задворках, во-

круг — тени, а настоящая жизнь, настоящие люди в других местах, где нет меня.

Я не любила климат Маньчжурии: пыльные ветры весной, жара летом и бесснежные ледяные зимы. Только осень была там хороша. Ни один город — а я затем их много повидала — не вызывал у меня такого ощущения безнадежности, безвыходности, тоски, как этот город детства и юности... Мне восемнадцать лет, я еду трамваем из Модягоу на Пристань, где у меня урок: учу английскому языку одну даму, жену коммерсанта. Выхожу из трамвая, сколько-то кварталов надо пройти пешком, ноябрь, ранние сумерки, улицы Пристани, лишенные деревьев, пустынны, мрачны, и я внезапно останавливаюсь, цепенею от такого пронзительного ощущения тоски, что хоть беги к реке Сунгари и топись... А была я существом вполне нормальным, очень здоровым и по природе жизнерадостным. Но вот находили приступы тоски, вероятно потому, что не на чем было стоять, непонятно, чего хотеть, к чему стремиться, во что верить и что любить — а в юности это нужнее хлеба.

Поэт Арсений Несмелов[1], эмигрант «первого поколения», в Харбине и умерший, писал об этом городе:

...И здесь, на самом берегу реки,
Которой в мире нет непостоянней,
В глухом окаменении тоски
Живут стареющие россияне.

И здесь же, здесь, в соседстве бритых лам,
В селенье, исчезающем бесследно,
По воскресеньям православный храм
Растерянно подъемлет голос медный.

В 1935 году жившие в Маньчжурии советские граждане уезжали в СССР: Советское правительство продало японцам Китайско-Восточную железную дорогу. В большинстве своем уезжающие были людьми, никогда в СССР не жившими, одни приехали в Маньчжурию еще до революции, другие были эмигрантами, сменившими вехи, взявшими советские паспорта.

Давно не знали харбинские улицы, харбинские магази-

[1] Несмелов Арсений Иванович (1891—1946). Подлинная фамилия Митропольский. С 1920 года занимался литературным трудом в Приморье, находился в эмиграции в Маньчжурии. По непроверенным данным, умер в поезде, возвращаясь в СССР (см.: «Антология поэзии Дальнего Востока», Хабаровское книжное изд-во, 1967, где опубликован ряд стихотворений Несмелова. Оттуда же взята эта краткая справка).

ны такого оживления: получив с КВЖД деньги за выслугу лет, уезжающие скупали все: одежду, мебель, кастрюли и даже рояли. В переполненные магазины я заходила из любопытства. Суетились продавцы, доставая с полок отрезы, дамы примеряли меховые пальто, несмотря на давку и даже очереди, никто не сердится, незнакомые вступают в разговоры, спрашивая друг друга: «И вы домой едете?» Из музыкальных магазинов слышались звуки пробуемых роялей, из посудных — звон стаканов, и везде видны люди со свертками, которые понимающе друг другу улыбаются: вы домой и мы домой!

Меня, для которой пара чулок была проблемой и вечно терзало неблагополучие с обувью, не мог не волновать этот доселе невиданный размах приобретательства, эта возможность купить разом две шубы и рояль в придачу. Но еще больше волновало меня взаимопонимание отъезжающих, слово: «домой»...

В тот год с харбинского вокзала шли и шли эшелоны с теми, кто «ехал домой», и я не знаю, сколько всего ушло эшелонов, украшенных транспарантами и красными полотнищами с надписями. На одном из таких полотнищ было написано: «Матушка Россия, прими своих детей!»

Знакомых среди отъезжающих у нас не было, кроме, впрочем, профессора Устрялова. Но и знакомство с ним, начавшееся у моих родителей в колчаковском Омске, давно не поддерживалось. Устрялов сменил вехи еще в начале двадцатых годов, тогда, видимо, и прекратилось с ним знакомство моих родителей. Меня водили в гости к Устряловым, но было это в дошкольном возрасте, и все лица в памяти размыты. Помню, что Устрялов ростом был высок (или мне по малости тогдашнего моего роста так казалось?), и была у него русая бородка, и, кажется, он грассировал. Так или иначе, осталось у меня впечатление приятной барственности, выхоленности. Жена его была очень полной, белотелой, голубоглазой, и два маленьких сына тоже были беленькие и пухлые, что-то сталось с этими мальчиками?

А еще уезжали соседи, семья Ведерниковых, живущая за нашей стеной в доме Литвака на Конной улице: отец, мать и сын, мальчик лет четырнадцати-пятнадцати. Встречаясь с ними в коридоре, мы здоровались, этим знакомство и ограничивалось. Мы слышали, как выкатывали из комнаты, а затем несли по лестнице их рояль, на котором по

многу часов в день играл мальчик Толя, о нем все знали, что это — талант.

Прислушиваясь к сборам Ведерниковых, мать говорила: «Куда они едут, безумные? Хоть бы мальчика своего пожалели!» Я немедленно откликалась: «Почему безумные? Люди едут домой. На родину!» — «Эта родина сразу с поезда отправит их в концентрационный лагерь!» — «За что? Ведерников еще до революции сюда приехал, он же бывший железнодорожник. Он в белых армиях не дрался!» — «ОНИ найдут за что!» — «А их мальчику,— горячилась я, не слушая,— здесь делать нечего! Разве что в кабаках играть! А там он станет настоящим пианистом!»

(В Москве, в конце пятидесятых годов, на концерте Рихтера я столкнулась в антракте с Анатолием Ведерниковым и сразу узнала его — высокого, худого, смуглого, с поредевшими курчавыми волосами. Прежде у него были такие буйные кудри, что мать обвязывала ему голову платком, наподобие чалмы,— в этом виде я не раз видела Толю в нашем общем коридоре. Вероятно, эти буйные волосы мазали каким-нибудь брильянтином и завязывали на несколько часов, чтобы удержать их в покорности... Итак, я сразу узнала Ведерникова, да и как не узнать? Он был харбинской знаменитостью, вундеркиндом, я видела его на сцене, семилетним, в коротких штанишках, когда ноги его едва доставали до педалей... Я подошла к нему, напомнила дом Литвака, Конную улицу, и вежливое недоумение на этом смуглом с морщинками лице (сколько же, господи, лет прошло!) сменилось улыбкой узнавания. Мне не нужно было его спрашивать о том, как сложилась его судьба: ученик Генриха Нейгауза, Ведерников был уже тогда известным пианистом, имя которого с уважением произносилось ценителями музыки. А о родителях его я все хотела спросить и все не решалась, надеялась, что он сам скажет, но он не сказал, и кончился антракт, прозвенел звонок...)

Мои диалоги с матерью были полны второго смысла. Говоря о том, что Ведерников-отец не принимал участия в белом движении, я косвенно обвиняла своих родителей, в движении участие принимавших — и не закрывших ли мне этим путь на родину? Говоря о Ведерникове-сыне, которому нечего делать в Харбине, я имела в виду себя: мне здесь тоже нечего делать.

Никогда никаких прямых разговоров, только эти легкие перестрелки то под укрытием Ведерниковых, то под укры-

тием еще кого-нибудь или чего-нибудь... Кончалось это обычно такими словами матери: «Одни голые эмоции. Берешься рассуждать, а сама ничего толком не знаешь! Хоть газеты бы, что ли, читала!»

Мать была совершенно права. Я понятия не имела о том, что представляет собою Советский Союз и что там происходит. Меня волновало, что люди уезжают, а я сижу в этом постылом городе, слушаю ненужные лекции, бегаю по урокам, перевожу сценарии для полусумасшедшего старого еврея, долго ли жить так? Не то чтобы я стремилась в СССР, нет, в те годы я туда еще не собиралась, но слова «домой», «родина» и «матушка Россия» волновали меня, я одобряла уезжающих — это благородно, это правильно, человек должен жить среди своих! А мать не умилялась ни капли, такой у нее характер, от всего отгораживается иронией... Я — запальчиво: «Это лучше — всю жизнь прожить среди китайцев и японцев?» Мать — с усмешкой: «Кто знает? Быть может, и лучше!»

Мне все хотелось спора, но спора не получалось. Мать не столько вникала в мои доводы, сколько старалась догадаться — кто мне их внушил. В том году я много времени проводила у Катерины Ивановны Корнаковой, бывшей актрисы Московского Художественного театра, приехавшей в Харбин с мужем-швейцарцем Б. Ю. Бринером. Корнакова много рассказывала мне о московской актерской жизни, и матери казалось, что я говорю под влиянием Корнаковой. Я сердилась, мне хотелось доказать, что ни под чьим влиянием я не нахожусь, я повышала голос, меня прерывали: «В каком тоне ты разговариваешь с матерью?» Вот так наши беседы и кончались.

Мне было семь лет, когда умерла няня Прасковья Андреевна, и я бы не вспомнила ее лица, если б не фотография семейного альбома. Несколько снимков сделано в России, один — в Харбине. Мы только что туда приехали, жили в вагоне, волосы матери еще не отросли после сыпного тифа. Я прижимаюсь к маме, а няня, в неизменном белом головном платке в черную крапинку, в вязаной кофте поверх белого, и тоже неизменного, передника, сидит от нас поодаль, сложив на коленях руки, губы сжаты, небольшие серые глаза смотрят сурово... Еще в детстве, разглядывая эту фотографию, я беспокоилась: почему няня не рядом с нами, сидит отдельно, отстранившись, будто знать нас не хочет? Как-то я спросила об этом мать. Она ответила: «Няня сердилась на меня. Ей очень не понравилось,

что мы очутились в Маньчжурии. В тот день я едва уговорила ее сняться вместе».

Я не помнила няниного лица, но в памяти моей на всю жизнь засели ее слова, обращенные к матери: «И куды вы меня, барыня, завезли?»

И я повторяла про себя: «завезли»! Надо было остаться в России, как осталась вся мамина семья, но мы уехали, и нет нам теперь пути назад. Завезли! Прямо упрекать мать я не решалась — она умела держать меня на дистанции,— но косвенно упрекала постоянно, жалуясь на жизнь. Будто мать сама не знала, как беспросветно наше харбинское существование! Вот запись из ее дневника тех лет: «Несчастные мои девочки, что их ждет впереди? Делаю для них все, что могу, но что я могу? Боюсь за Наталью с ее горячностью, с ее манерой сначала делать, потом думать».

Она тревожилась за меня, но тревоги своей не показывала, на открытый разговор не шла. Быть может, ей казалось, что откровенные разговоры поставят нас с ней на одну доску, придадут вес и силу моим высказываниям, а их нельзя принимать всерьез, они не больше чем безответственная болтовня невежественной и эмоциональной девчонки...

Люди с непрочными адресами (а мы ведь вечно переезжали!) имели возможность получить на почте за небольшую плату собственный почтовый ящик. Номер нашего (запомнила!) был 303. Ежемесячно или поквартально следовало платить за него — не помню, знаю лишь, что тут моя мать была аккуратна, о ящике помнила всегда, плату не задерживала, готова была продать, если понадобится, последнее, но с ящиком не расставаться. Он был ее единственной связью с Россией.

«Прочитай-ка бабушкино письмо!» — говорила мать. За этими словами мне чудились другие: «Прочитай о том, как им там тяжело живется!» Отказаться читать письмо я не осмеливалась, читала через силу, стараясь удержать зевоту...

«Так меня порадовала твоя милая грамотка от 24 июля, дорогая Катя! Будто ниточка протянулась сквозь эти тысячи верст, и вы стали не так недостигаемо далеки. Спасибо тебе, что ты была у обедни в Ольгин день. И Анна Николаевна поздравила меня из Ниццы. Я обратилась к ней с просьбой в следующее письмо заколоть парочку иголок 7—8 номера. Мы бедствуем с иголками, похожими на шила, коротки и толсты, плачем о прежних пачках Виктории. Шью с грехом пополам, длинная иголка задевает нос, ко-

роткая выскакивает из пальцев... Помещение дачное меньше, чем в прошлом году, погода скверная, дождь льет, как беспутный...»

Мать говорила: «Надо будет иголок им послать. Подумать только: в стране нет приличных иголок!» Я же, протомившись до конца письма, кое-как одолев его, пропустив, однако, немало из середины, откликалась: «А все-таки как здорово, что им удается каждое лето ездить на дачу!» — «Тебе тоже удается,— холодно парировала мать,— прошлым летом ездила в Барим, этим — к Бринерам в Корею!»

Реплики с подтекстом вместо прямых, откровенных разговоров. А ведь дружеская беседа матери и дочери, уже взрослой, уже двадцатилетней, была бы так естественна! Но нет. Было нечто в характере матери, мешавшее ее душевному сближению именно с теми, кого она больше всех любила. С людьми же посторонними, ей симпатичными, все происходило иначе. К ней прибегали изливать душу ее ученики и ученицы и знакомые молодые женщины, а в последний московский период жизни мать была уважаема и любима соседями по квартире, они посвящали ее в свои дела и заботы, советов просили. Я же не посвящала ее ни во что, не советовалась ни о чем. О важных решениях своей жизни сообщала постфактум, как бы между прочим, после чего наступала долгая пауза: мать собиралась с силами, чтобы не выдать своей обиды. Собравшись с силами, произносила спокойно: «Ну, и давно ты это придумала?»

В государстве Маньчжоу-Го жить становилось все труднее. Русские эмигранты стремились в Шанхай. Он, с его иностранными концессиями и филиалами всемирно известных фирм, казался землей обетованной. Рвалась в Шанхай и я. Я готова была рваться куда угодно — лишь бы из Харбина! Втроем мы ехать не могли, не на что, да и следовало кому-то остаться в тылу. Мать долго не решалась отпускать меня. Наконец скрепя сердце согласие дала. Согласилась и на то, что я, не доучившись, брошу Ориентальный институт. Мне кажется, мать пошла на все это лишь потому, что ее пугали мои мысли о Советской России и ей хотелось вырвать меня из-под влияния Корнаковой...

В Шанхае я провела одиннадцать лет.

Приехав в СССР с репатриацией, я поначалу попала в Казань, а затем, поступив в Литературный институт, переехала в Москву. Сюда в декабре 1954 года приехала ко мне мать.

Здесь она встретила брата и сестру и других родственников, близких и дальних, нашла старую подругу по Бестужевским курсам и новых друзей нашла. Привыкшая работать всю жизнь — трудилась и здесь: готовила аспирантов к сдаче кандидатского минимума по иностранным языкам, давала уроки, перевела на русский язык повесть французского писателя Поля Берна «Лошадь без головы», дважды изданную «Детгизом» и не утерявшую популярности до сего дня: монтаж повести передают по радио.

Жизнь не согнула, не сломила мою мать. Все ей было нужно, все интересно — и новые книги, и журналы, и театры, и выставки, и концерты, и кино. Образовалось в Москве общество бывших бестужевок, старушки устраивали какие-то совместные ужины и чаепития, мать неизменно на них присутствовала. Вот ее последняя фотография: накрытый стол, седые головы, повернутые к фотографу, морщинистые лица, и среди них — лицо моей матери.

Если я иной раз обижала ее своим к ней невниманием, то от вновь обретенного отечества обид она не видела, ей даже пенсию выплачивали... И мне хочется верить, что одиннадцать последних лет, проведенных матерью в России, были лучшими в ее жизни с тех пор, как жизнь эта сломалась летом 1918 года.

Несоответствие гаснущих сил со страстным желанием везде бывать, все видеть, ничего интересного не пропустить — вот что угнетало мать последние два-три года ее жизни. Убеждена, что и кончину свою она ускорила тем, что однажды вьюжным ноябрьским вечером с любимой своей подругой, бестужевкой, Еленой Владимировной Поссе, помчалась на какой-то концерт во Дворец съездов. (От меня эта безумная эскапада была скрыта, мать знала, что я буду протестовать!) Выйдя из Дворца съездов после концерта, старые дамы долго не могли поймать такси, где-то стояли, голосовали, а ветер, а снег, мать задыхалась, принимала нитроглицерин, Елена Владимировна (гипертоник) тоже что-то принимала. До дому в конце концов добрались, но после этого мать слегла. Нет, не окончательно. Еще вставала, еще собиралась, как обычно, праздновать седьмого декабря свои именины, но в утро того дня ей стало хуже, и я отменяла гостей по телефону.

А потом ей стало лучше. Она сразу чрезвычайно оживилась и уже делала планы на лето и планы на ближайшее будущее — сговаривалась с друзьями по телефону пойти на дневной сеанс в какое-то кино, а затем вместе обедать.

Мне не забыть черный шелковый костюм и бледно-сиреневую блузку (парадные доспехи матери), висевшие на спинке стула в ее комнате, приготовленные вечером, чтобы с утра не терять времени на вынимание их из шкафа,— утром-то как раз и предстоял сеанс в кино, а затем обед с друзьями.

До утра мать не дожила. Ей стало плохо около полуночи, и была обычная в таких случаях суматоха, вызывалась «скорая помощь», примчались врачи, кто-то отодвинул стоявший на дороге, всем мешавший стул, и упала наброшенная поверх костюма бледно-сиреневая блузка, и я ее подобрала и зачем-то тщательно навешивала на стул снова — это было, когда врачи ушли, сказав, что помощи моей матери уже не требуется.

Лицо у нее было спокойное, лишь — удивленное, и, закрывая ей глаза, я благодарила бога за то, что она, по-видимому, умерла без мучений. Так мне хотелось, так мне хочется думать.

То было в ночь с 14 на 15 декабря 1965 года. До семидесятидевятилетия матери оставалось пять месяцев...

Эмигрантский журналист, поэт, прозаик Вс. Н. Иванов, вернувшийся в СССР в 1945 году, выпустивший на родине несколько книг, живший и скончавшийся в Хабаровске, посвятил моей матери свою «Беженскую поэму». Поэма издана в Харбине в 1926 году и открывается такими строками:

Моя пленительная Муза,
Вопрос к тебе тревожный есть,
Не суждена ли нам француза[1]
Весьма сомнительная честь?

И после нашей жизни бурной,
Вдали от нам родной страны,
Быть может, будем мы фигурным,
Китайским гробом почтены?

Но почему при мысли этой
Невольно чувствуется страх?
Не быть нам с песней недопетой,
В далеких и чужих гробах.

Этой «сомнительной чести», «далекого и чужого гроба» моя мать избежала. Прах ее покоится в русской земле, на старинном кладбище Введенские горы.

---

[1] Речь идет о французском эмигранте, с почестями похороненном на чужбине.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ

«Года бегут,— писала бабушка,— подрастает наше третье поколение. Какая пестрая толпа из них выйдет, какое смешение племен, наречий! Из этой встряски могут выработаться характеры, быть может, выбьются таланты, а главное, будет широкое поле для сравнений, сопоставлений, уяснений».

Первый бабушкин внук — Александр, «Алек» — появился на свет в 1908 году. Последний — двадцать лет спустя.

Четверо внуков бабушки — Александр, Юрий (сын Марьи Дмитриевны), Екатерина и Дмитрий (дети Дмитрия Дмитриевича) — жили в СССР. Трое — Муся и мы с сестрой — за рубежом.

«Приближается Пасха,— писала нам бабушка в 1932 году,— такая ранняя, что никак не наладиться к ее близости, глядя на сугробы снега и скованные морозом лужи. И все-таки приближение светлого праздника несет столько воспоминаний, нагоняет тоску об отсутствующих, подчеркивает пробелы семьи, хочется всех обнять, всех увидеть перед концом...»

Эти «пробелы семьи» бабушка пыталась заполнить своими письмами, сообщая нам в Харбин все новости о детях и внуках, живших около нее. Своей младшей дочери, Марье Дмитриевне (в 1931 году переехавшей из Ульяновска в Москву), бабушка пересылала наши письма и даже фотографии с просьбой переснять и вернуть... Серые листки, исписанные мелким бабушкиным почерком, тряслись в почтовых вагонах, осуществляя связь между разрозненными частями семьи... Когда бабушка умерла — связь надолго прервалась...

Благодаря этим письмам моя мать и ее старший брат Александр Дмитриевич, живя в Харбине, были в курсе дел и забот своих родных. Второй сын бабушки, правовед Павел Дмитриевич, работал в Москве. Четвертый — агроном Иван Дмитриевич — в Грузии, а в середине тридцатых годов перебрался в Ленинград. Оба они были бездетны. В том же городе, что бабушка, жила разведенная жена Александра Дмитриевича — Надежда Александровна Башмакова — с сыном Алеком. Туда же, поступив в институт, переехал из Ульяновска Юрий, сын Марьи Дмитриевны. Таким образом, четверо внуков бабушки жило около нее.

В 1927 году бабушка гостила у Марьи Дмитриевны.

«Сегодня дивное солнце и весенний воздух... Юрий вче-

ра ходил в техникум на занятия — он не всегда к ним так снисходителен, сегодня не пошел. Сейчас он сидит в соседней комнате, раздается стук телеграфа. Это Юрий посылает свои сообщения в пространство вселенной по радиоволне. На днях торжествовал: его сообщение принял Томск за несколько тысяч верст, ему прислали ответную открытку. Юра и Алек сами строят свои аппараты и все их совершенствуют. Страшно слушать разговоры этих мальчиков, внуков моих — все цифры, длина волны, сила тока, лампочки и пр. ...» (1927 год. Ульяновск).

«Наш Алек делает прекрасное впечатление. Его забота о матери неустанна. В своем Керамическом ин-те он зарабатывает 75 р., тратит их очень скромно. На службе Алек любим. Готовится к новому экзамену в химическое отделение университета... Сейчас много говорят о химизации страны...» (1928 год).

(А. А. Воейков уже дважды пытался поступить в университет в 25-м и 26-м годах. Ему мешало его социальное происхождение. Но наконец, в 1928 году, поступил.)

«Сентябрь принес мне большую радость: Алек принят наконец в институт. Попал он на электрохимическое отделение. Эти дни он сдает свою службу, а лекции уже идут. Но, надеюсь, он подготовлен серьезнее своих коллег. Керамический институт, его лабораторные работы продвинули его по этому пути — физик вообще он хороший. А по радио прошел большой стаж.

У Нади, кроме службы, еще лекции для студентов по искусству. Она и в воскресенье не отдыхает, а руководит экскурсиями по Эрмитажу. Редко одна экскурсия, а то две и три. Много верст исходишь по огромным залам, и все время надо удерживать внимание разношерстных слушателей. Надя храбро ведет свою работу, несмотря на больное сердце.

А помнишь, Катя, наше последнее лето и как мы копали картошку за баней? Всегда мне вспоминаются березки в овраге, их курчавая листва, яркая зелень, окаймляющая овраг, даль леса и закат...» (1928 год).

«Юрий, гордый своим первым настоящим заработком, поднес мне двадцать один рубль в удобных для расходов трешницах. Деньги, увы, текучая вода, когда литр молока стоит то, что мы прежде платили за четырнадцать бутылок. У Юрия интересные опыты по радио, юнец выйдет на дорогу, весь ушел в дело!» (1931 год).

«Кто всегда делает самое отрадное впечатление — это

наш Алек. На днях демонстрировал нам порядочное знание немецкого языка. Надо иметь порядочную настойчивость, чтобы так поздно начатый язык уже применять к делу, выпутываться из сугубо заковыристых немецких фраз. Алек мечтает летом примкнуть к экскурсии на Байкал...» (1931 год).

«Юрий уже получил премию в 300 р. за улучшение, придуманное в области радиопередач. Он работает в очень хороших условиях в новом здании при университете. Алек на будущий год кончает, занимается очень серьезно. Наши будущие ученые на хорошей дороге» (1931 год).

«Хочу тебе черкнуть радостную весть об успехах Алека. Он получил благодарность и премию в 500 р. Его работа оказалась для завода и удачной, и выгодной. Радуюсь за Алека, за удовлетворение его всегда скромных потребностей» (1932 год).

«Выступление Алека перед старыми учеными было успешно. Академики, которых он боялся, жали ему руку, говорили, что он пролил свет на некоторые темные стороны... У обоих молодцов, внуков моих, есть головы, инициатива и любовь к труду. Они не ленивы, а скорее расходуют лишнюю энергию, постоянно засиживаясь на ночь. Но мало развлечений, мало отдыха...» (1933 год).

«...Мое письмо подвигается как заезженная почтовая лошадь. С беспокойством жду известий от Алека. Хотя экспедиция считает его принятым, но еще не получено подтверждение из Москвы, формального закрепления состава участников нет. А экспедиции ехать через два дня! Весь вечер ждала сообщения, кончила тем, что позвонила сама. Надя сказала, что заведующий кадрами пригласил Алека на беседу. Чем-то все кончится?» (1933 год).

«Очень интересно мы провели вчера вечер: Надя, Алина, Катеринка и я. Слушали в Географическом обществе Самойловича о походе «Красина» пять лет тому назад и Нобиле (по-итальянски) о его трех полетах на злополучном дирижабле «Италия». Сообщение итальянца сопровождалось великолепными картинками в красках, с эффектным освещением льдов и морей, светлыми небесами, яркими горизонтами. Сам Нобиле не симпатичен, дикция его неровная, плохо слышимая, начинает на высоких нотах, кончает почти шепотком. Забавна его собака Титина, тоже одна из летчиц «Италии», которую он спас, улетая, покинув своих товарищей... Собака (белый фоксик) бегала по залу, гремя погремушкой на ошейнике. После доклада мы поймали

Самойловича и узнали, что экспедиция Алека добралась до Тикси, и если нет вестей, то это из-за перегруженности почты в Якутске и буранов, которые там затрудняют сообщение... В «Известиях» от 10 или 11 октября был интересный фельетон Макса Зингера, вернувшегося с летчиком Леваневским через Якутск. Они летели с устья Лены месяц тому назад, и уже тогда их преследовала снежная буря...» (1933 год).

«Пришла наконец телеграмма от Алека: жив и здоров! Составляем ему ответную телеграмму, а то скоро они двинутся на Новосибирские острова, куда уже опять не будет связи. Теперь к ним направляется серия ледорезов. Северный путь будет обслуживаться особенно тщательно при содействии Шмидта в Москве...» (1933 год).

«Смущаю Надю идти на доклад Визе в Географическое общество «Поход Литке». Во всяком случае пойду с Катюшей. Зову очень Диму: хоть бы один вечер он себе освободил! Интересно повидать диапозитивы. Участники похода ведь заходили также на Тикси. И очень хочется послушать Визе, вероятно, он соберет полный зал... Телеграмма от Алека кратко извещает: «Ждем зимнего пути». Теплая осень им не в помощь. Они сейчас в Киренске, надеюсь, что в этом маленьком сибирском городке они, как знатные путешественники, пользуются гостеприимством аборигенов» (1933 год).

(В 1935 году Н. А. Башмаковой и ее сыну пришлось переехать из Ленинграда в Астрахань.)

«Письмо от Нади длинное и бодрое. Алек работает, хотя пока на 250 р., но важно, что прицепился по Гидрографии, работа его будет оценена... Надя сколотила группу занятий по иностранным языкам» (1935 год).

«От Нади и Алека вести бодры, он получил еще прибавку за вечернюю работу. Новый год встречали весело, в компании двенадцати друзей. А главное, удалось найти две уютных комнаты, и мать с сыном разместились на 25 метрах, вместо прежних семи» (1936 год).

«У нас большая радость, появился 30-го Алек, веселый, жизнерадостный, загорелый, уже был в плавании, торопится вернуться к своей работе, полюбил своего начальника, чувствует, что нужен ему. Алек незаурядный математик, у него уже целая команда под его руководством. Получает он 400 р. в месяц, что все-таки прилично, и не гонит мать на службу» (1936 год).

«Юра очень занят, часто до ночи, он руководит два-

дцатью лаборантами, рано попал в начальствующие, зато почти не имеет развлечений» (1935 год).

«У людей так мало времени для чтения, что мне страшно за моих юнцов — багаж их будет узкоспециальный! Горжусь ими — оба на своей работе выдвинулись. Бабушку не забывают, несмотря на всю свою занятость, находят время меня видеть...» (1935 год).

Следующие письма бабушки посвящены жизни семьи Дмитрия Дмитриевича Воейкова...

«Увы, дорогая Катя, нам убавили наши три сажени жилплощади до двух. Наша квартира, впрочем, еще вполне прилична даже в сокращенном виде: три комнаты, один ребенок, и то большой, но к Новому году ожидается второй маленький пришелец...» (1928 год).

«Вчера Дима с семьей отправился в Ботанический сад. Семья очень мила: Алина с брюшком, Катюша выросла и хорошо выглядит. Она покладиста и горячо радуется всякому маленькому удовольствию. Возвращаясь, они увидели у Летнего сада лавку с гончарной посудой, отец купил ей плошку за 8 коп., восторг был полный. Встретились им две девочки, Катины подруги, Дима и им купил по посудинке, по их выбору. Напоминает мне нашу ярмарку в Никольском. Сколько было радости закупать всякую дрянь!» (1928 год).

«Новый 1930 год встретили мрачно. Алина слегла 30-го, на другой день после нашего с Дмитриком новолетия, бронхит грозил фокусом в легких, десять дней провела в постели. Только Алина начала поправляться, как нас напугал Дмитрик скачками температуры до сорока... Сегодня первый вечер, что он заснул тихо и без большого жара.

Получила письмо от Вани. По лекциям у него каникулы до 15 февраля... Итак, вас пять человек, передающих свои знания по разным отраслям: ты, Мара, Шура, Дима, Ваня. Мара уже выпустила целое поколение учеников, а бывшие садоводы Шуры все вспоминают его с благодарностью» (1930 год).

«Зимы у нас долго не было, Нева катила серо-синие стальные волны, гремели колеса по мостовой, и морозы начались лишь 27 января... Мало писала тебе из-за болезни Алины, а потом Дмитрика. Бубик проделал краснушку довольно легко. Морозы и валенки облегчили мои передвижения, но в первый раз за зиму я упала именно в валенках: подвели глаза и темнота. Дима готовится к первой лекции в Горном институте. Тревожит то, что от Мары око-

ло месяца нет писем. Павлик тоже не пишет, но послал мне пятнадцать рублей» (1930 год).

(Павел, Иван и Марья считали своим долгом посылать матери деньги, когда эта возможность у них была. Была она не всегда. В письмах бабушки попадаются такие фразы: «Мои банки обанкрутились, живу два месяца копейками!» Бывало и другое: «Ваня прислал мне за апрель 80 р., потом еще 70, Мара прислала 20, так что я сразу разбогатела». Бабушка и сама немного зарабатывала уроками английского и французского языков. Но: «...с уроками трудно. Надо изучать фонетический метод преподавания. Быть может, и стоило бы, но в мои годы смешно браться за новое дело. Я не императрица Елизавета Австрийская, чтобы на седьмом десятке учить греческий язык!»)

«Только что вернулась от обедни у Преображенья, молилась за вас всех... Дима очень устает, рано надо выбираться на службу, а кроме службы еще вечерние лекции в Горном институте. Слушателями своими Дима доволен, интересуются, следят за объяснениями, задают умные вопросы... Эти три недели провела тихо. Катя ходит в школу, Бубка гуляет. Раз в пять дней отец с дочкой празднуют день отдыха какой-нибудь прогулкой. Алина уходит в сад на два-три часа с Бубкой, и он не дает ей минуты присесть со своей подвижностью. То ли дело было в прошлом году, когда он дремал в своей колясочке и можно было спокойно читать...» (1930 год).

«Мы погрузились в такой мрак, дорогая Катя, что хоть весь день не туши ламп. Мое писание затруднено. Между моими глазами и повелениями маленького деспота Димика — эпистолярные мои попытки вянут, не успев расцвести. Этот проказник лучше всего чувствует себя в моей комнате...

Забавная история с часами. Часть города перешла на солнечные, другая осталась при фиктивном часе вперед. У Димы на заводе перевели на час назад, а у Катюши в школе сохранили прежнее время. Городские уличные часы не переведены, а по военному округу отдан приказ о перемене...» (1930 год).

«Если мы и не роскошествуем, то и не голодаем. Алина ухитрилась сделать квас, у нас постоянно окрошка, супы из овощей, гречневая каша. Всюду засыпаем укроп, зеленый лук, иногда бывают редис и огурцы. Молоко нам носят отличное, берем два литра через день. Я себя чувствую неплохо. Вижу, конечно, хуже, но все-таки это еще Божье чу-

до, что я могу читать, писать, и если не предъявлять слишком больших требований, то и передвигаться по улице без очков. Я только не вижу лиц и теряюсь, когда в темноте мелькают огни...» (1930 год).

«Дачу сняли в Сестрорецке, она хорошо расположена, почти круглый день под лучами солнца, а за оградой есть тропочка к речке по лугу, напоминающему мне займище в Репьевке... Сегодня туда собираюсь, день чудный, мягко, тепло. Там меня будет встречать вся маленькая орава, будут толкаться и ссориться, кому держать мою руку, и Верочка будет в обиде, потому что Катя предъявит приорность своих прав. Они забавны и своенравны. У Володи[1] — страсть к длинным рассуждениям, Вера авторитетна, Катя скорее податлива, но не без склоки. Надо будет, пока я жива, научить их иностранным языкам...» (1930 год).

«Вчера, декабрьским днем, благополучно прибыл из отпуска Дима, загорелый, здоровый. В Сухуме можно было лежать на солнышке, загорать, любоваться морем. Кормили хорошо, по четыре рубля за обед. Катюн, конечно, встречала с матерью на вокзале. Бубка затормошился дома в ожидании, влезал на подоконник, смотрел, где его папа, папуля... Большой восторг вызвали мандарины...» (1930 год).

«Вчера была годовщина смерти дядюшки-профессора. Кому вспомнить? Друзья его чуть-чуть дышат... Мы с Павликом подправили на могилке крест, выкрасили, обновили надпись... Мне легче писать, чем перечесть мое писание, я не вижу того, что стоит на столе, постоянно надо ощупью проверять...

Дима кончает книгу, Алина — работу. Она очень искусно обшивает детей, всякая тряпочка идет в дело» (1931 год).

«На днях повезло: Алина нашла Кате фуфаечку, так называемую «майку», славный такой чистый сургучный цвет, а Бубику курточку цвета хаки с кармашками, то, что здесь называют «пиджак на двухлетнего». Бубка такой большой, его рост... Помнишь нашу лампу под желтым абажуром в гостиной на Лиговке? Так он почти до половины ее вырос! Он становится все забавнее. Хватает слова из неосторожных выражений взрослых, с чувством объявляет: «на-плевать!» Вчера двигал на кухне стулья. Алина сказала: «Поставь на место, а то бабушка не увидит и упадет!» Явился ко мне: «Бабушка, ты упадешь?» — «Конечно,

---

[1] Верочка и Володя — дети друзей.

если ты там загромоздил».— «А я тебя подниму, бабушка, чтобы ты не валялась на полу!» Он постоянно слышит: «Убери свои игрушки, что это у тебя все валяется!» — и резонно применил эти слова к бабушке!» (1931 год).

«Вчера отец взял Димика в Зоологический сад, оттуда на Елагин, вернулись на пароходике. Восторг был полный. Димик целый день шептал мне в ухо, обнимая за шею: «Что, что мы еще видели! Крокодила! Бегемота в воде! Кенгуру!» Все это шепталось с особенной ажитацией. Очень он забавен в своих восклицаниях, нахватанных от старших. «Грех великий!» «Вечное поле!» — отзывается богомольной Матрешей. «Все по-дурацки!» — выражение Дуняши. Иногда Димик с выражением скажет: «Удивляюсь, как это случилось?» (1932 год).

«Как у тебя с уроками, Катя? Но — праздный вопрос. Все хочется заглянуть в вашу жизнь...

Из-за холодного ветра Бубка дома. Строго говоришь ему: «Бубка, играй, а бабушка пишет!» И поминутно умильная рожица заглядывает на бумагу: «Бабушка, кончила?» Невольно бросаешь перо и берешь его книжки... Он смешит нас своими выходками. Утром в коридоре обхватил мои колени — и ласково: «Идите, бабушка, детушка моя!» Как жаль, что ты его не увидишь в эти самые интересные годы его развития!

...Алина начала говеть, чтобы причаститься к Вербному воскресенью, а я уж займусь спасением души на последней неделе Поста, так трудно утром уйти из дому... Я плохо пишу, дорогая Катя, я плохо вижу, а всегда так много хочется сказать тебе... Но приходится писать только о том, что не близко душе...» (1932 год).

«Наш домашний праздник прошел весело, малыши даже танцевали, маленькая Наташа пела. Бубка был очень возмущен, говорил: «Что она поет? Она просто кричит!» Он устал от впечатлений, и в душе его, я думаю, была маленькая ревность: все так занялись Наташей, а она его нечаянно хлопнула по лбу ружьем и сделала царапину, которую он скрывал. Ужасно они забавны, эти маленькие люди!» (1933 год).

«...Вчера праздновали нашего юбиляра Дмитрия-старшего кренделем из торгсиновской муки. Выходной день он занял спешной работой по отчетам своих опытных плавок, которыми, кажется, интересуются в Москве. Бубилка в семь утра был поднят Катей нести папе крендель, который вчера скрывали. Картина, говорят, была неподражаема: Бу-

билка в короткой ночной рубашке, Катя в халате чинно тащили вдвоем блюдо с кренделем, а папа спал и ничего не видел. Бубка был так возмущен, что стал его будить. Жаль, что два Дмитрия не могли вместе погулять по случаю выходного дня и папиного рождения: старший Дмитрий был приклеен к своему бюро... Весна несет столько дополнительных расходов! Бубке купили матросскую шапку с лентой и золотыми буквами: «Арктика», Кате туфли на лето...

У Бубки жилка коллекционера, нижняя полка моего шкафа — целая кунсткамера! Последнее время вцеплялся во все газеты, где какой-нибудь географический чертеж, считая, что все они относятся к Челюскину, вытаскивал у Алины газету, которую она собиралась рвать, потому что на ней кто-нибудь из летчиков!» (1934 год).

«Твоя грамотка, милая Катя, была у меня под самый Новый год, под 14 января. Алина была долго на спевке, так как вчера хор, которому она аккомпанирует, выступал в концерте и имел огромный успех. Весь их ансамбль завербовали на три вечера в разных местах, даже за городом... Анна Николаевна пишет из Ниццы, что настроение подавлено окружающей нищетой, вся беспечная курортная жизнь замерла от недостатка иностранных приезжих, всюду отзывается злосчастный кризис и безработица. Пишет, что пробовала делать кукол, но нет сбыта... Темно и тепло, идет снег. Наш маленький люд задерживается с санками до часу дня, потом они занимаются и играют, очень весело и шумно. Всех оживил приезд Мары. Теперь мы и Юрия видим чаще. Наш вернувшийся полярник Алек тоже не забывает бабушку. Школьные каникулы Катюша провела разнообразно: была в театрах, в опере, на вечерах у друзей...» (1935 год).

«Осень продолжает плакать над нами... Читала Вальтер Скотта из времен Кромвеля и поражалась тому, как мало изменилось человечество за четыреста лет».

«Уже несколько лет, как я не рискую одна без провожатых ездить в Географическое общество. Сейчас эти поездки мне стали и с провожатыми недоступны. Я лишаюсь единственного места, где еще смутно проглядывалось прошлое и убеленные сединами сверстники еще говорили знакомые фразы знакомым языком...» (1936 год).

Все четверо бабушкиных внуков, около нее живших, столь горячо ею любимых, все четверо, включая тогда ма-

ленького Диму, ожиданий ее не обманули: все стали учеными, каждый — специалистом в своей области. Они живы и благополучны. Все. Кроме Алека.

* * *

Ей были дороги и мы, три внучки, которых она не забывала, несмотря на тысячи «нас разделяющих верст», и которым она постоянно писала, но по доброй воле отвечала ей только Муся, знавшая бабушку, любившая ее и тосковавшая по ней...

«Сегодня день рождения Таточки, дорогая Катя, как я помню этот день, мой приезд в Питер, и как я попала как раз к ее первому крику. Как мало времени, как много перемен!..

Получила сегодня большое письмо из Циндао от Муси. Она замечательный маленький философ и все больна, бедняжка!» (1932 год).

«Лучшие пожелания ко дню рождения, дорогая моя Катя! Храни тебя Господь, и да будет это новолетие счастливее прошлого! Я бы хотела, чтобы вы с Иосифом Сергеевичем разъехались в разные города, чтобы он не мозолил глаза своей упитанной бездеятельностью, всегда за чужой спиной. У нас здесь много разошедшихся браков, но все мужья платят на содержание детей, это строго взыскивается... Я была у обедни в Страстную субботу, но к заутрене идти побоялась, хотя так люблю шумную, радостную ночь, когда толпа со свечами тесно окружает церковь, так красиво мелькают дрожащие огоньки, так все глаза устремлены к паперти, где покажется крестный ход...» (1931 год).

Сквозь эти тысячи разделяющих верст бабушка делала попытки учить нас иностранным языкам,— разбирая ее письма, я вижу, что часть их написана по-английски и несколько по-французски... Бабушке необходимо было быть в курсе нашей жизни, наших интересов, и это ей удавалось, благодаря моей матери. Мы же с сестрой не писали. Мы отписывались. Больно и стыдно сегодня читать мне бабушкино письмо, адресованное нам с сестрой и написанное по-французски. Вот оно в переводе:

«Последнее письмо из Харбина я получила очень давно, хотелось бы знать: по вине почты или по вашей? Я знаю, мои дорогие внучки, что вы обе очень заняты, но, мне кажется, открытка не отняла бы у вас много времени, а бабушку бы — успокоила. А ведь я все лето не видела ваших

почерков! Надеюсь, ваша летняя поездка в Барим была удачной. Очень огорчена тем, что ваша мама не смогла уехать из города, чтобы отдохнуть от пыли и шума. Куда же вы переехали из школы? Много думаю о вас, так хочется, чтобы работа, которую вы будете делать, была бы вам по душе, чтобы вы стремились в ней к совершенству, находили бы радость. Вот Катюша поговаривает о химии, как о специальности, не знаю, насколько это привлекательно, но во всяком случае очень полезно и в большом требовании теперь...» (1934 год).

Ее постоянно тревожило наше будущее... Вот выдержка из письма, адресованного моей матери:

«И все я думаю о тебе, о девочках... Какое лишение именно для растущих ныне не иметь родины, как неизбежно это приводит если не к трагедии, то к поверхностно-циничному отношению к жизни. Ведь юному существу так трудно, минуя родину, связать свою судьбу с мировым целым! У нас теперь каждый из подрастающих видит в личном своем достижении, в полноте своих осуществленных сил вместе с тем служение родине. Как пустынна жизнь без этой здоровой связи с таким конкретным, как родная страна!» (1932 год).

В июле 1948 года, через двенадцать лет после кончины бабушки, я вошла в ту комнату, где Ольга Александровна провела последние годы своей жизни. Комната при кухне, длинная и узкая, с высоким петербургским окном, выходившим на запад, на крыши домов, на Суворовский проспект, по-летнему пустынный. Вот здесь, за этим столом, бабушка писала нам свои письма... Впрочем, тогда я их еще толком не читала, в них не вникла, это было у меня впереди...

В те июльские дни я познакомилась с Димой и Катей, которых прежде знала лишь по фотографиям, и с двоюродным братом Юрием, которого почти не помнила. Вот Алека, приезжавшего к нам в Харбин, я хорошо помнила. Но Алека не было.

* * *

Семья распалась летом тысяча девятьсот восемнадцатого года, когда бабушка Ольга Александровна с дочерьми и внуками жила на даче под Самарой. Туда однажды явился мой отец и увез свою семью на восток. Незадолго до кончины бабушка писала моей матери: «Я люблю вспоми-

нать Наталочку, когда мы жили на даче под Самарой и ходили гулять на широкое поле аэродрома, и она по простору зеленого луга катилась, как белая пушинка, как давно это было! Рада, что могла посмотреть на девочек в 1925 году! Скажи им, что бабушка много мысленно с ними и ценит всякую весточку...»

В моей же памяти от того грозного, переломного, насыщенного событиями лета остались только груши, только нянины попреки: опять вся измазалась, не напасешься, да разве это отстираешь, и господи боже мой! Видимо, был хороший урожай груш, мы их ели, их соком пачкались. Восемнадцатый год! Создание Красной Армии, угроза интервенции, начало гражданской войны, восстание в Ярославле, убийство Мирбаха, последние дни царской семьи, убийство Урицкого. А в моей памяти кроме няниных попреков да дурацких груш — ничего!

В том восемнадцатом году мать рассталась со своей семьей, чтобы, вернувшись через тридцать семь лет, застать в живых лишь младшего брата и сестру.

От следующего лета в колчаковском Омске уцелели уже какие-то картинки, без особой, впрочем, между собой связи, то, как я впервые прочитала на вывеске слово «аптека» и впервые услыхала слово «взаймы». (Няня: «Пойди к соседям, попроси взаймы четыре картофелины». Я пошла, вернулась: «Не дали!» — «А ты сказала: «взаймы»?» — «Не сказала». Господи боже мой! Няня отправилась к соседям сама, вернулась с картофелинами, и я решила, что «взаймы» — волшебное, двериотпирающее слово...) При звуке фамилии «Трубочкин» (где-то я услыхала ее!) сразу возникло представление о трубочках с кремом, и я ужасно жалела, что не нашей семье принадлежит это прекрасное имя...

Воистину — счастливая, невозвратимая пора детства! ТАКОЕ делалось кругом, а в моей памяти груши, да картофелины, да аптека, да слово «взаймы», да «сладкая» фамилия... Впрочем, как горела свеча, и стучали в дверь, и возникла на пороге чужая дама и измеряла маме температуру, а на стене шевелилась огромная тень, и потом маму одевали и увозили, а я орала и рвалась за ней — это помню ясно.

Мы уехали, а бабушка с другими внуками и дочерью остались в Самаре. Что с ними было дальше? Об этом расскажет Муся. Дело в том, что, разбирая материнский архив, я наткнулась на небольшой черный альбом с медной застежкой, внутри — исписанные карандашом страницы.

Почерк был мне знаком, я силилась вспомнить — чей?— не смогла, стала читать. Оказалось: дневник Муси и начатые ею воспоминания детства.

«Я часто ходила с бабушкой на базар. Одна баба говорила другой: «Ты что, родимая, картошку по тысяче продаешь, нешто бога не боязно?» А другая отвечала: «Погодь, погодь, скоро три тысячи будет!» Бабушка прятала хлеб в шкаф, а я воровала и не оставляла никому ни корочки... Мы уехали из Самары в Москву, к дяде Павлу. В теплушке ехали бабушка, дядя, тетя, я, собака и корова. От Самары до Москвы ехали два месяца. Прицепят, бывало, к нашему товарному поезду паровозы с одной и с другой стороны, чтобы знать, какой сильнее. Такой грохот поднимался, такие толчки, что мы все падали на пол, а корова мычала на весь поезд. Или отцепят нас от состава совсем и увезут на запасный путь, и там мы стоим неделю, пока опять не прицепят... В Москве бабушка, дядя Павел и я жили в комнате с маленькой печуркой, на которой готовили обед, когда он был. Хороши были те вечера, когда бабушка брала меня куда-нибудь с собою. Огни, витрины магазинов, большие дома, гремящие трамваи, звон колоколов... На Покров надели на меня коричневое платье, старые сапоги, длинную шубу, повязали бабушкиным шарфом и повезли в приют. Там какие-то женщины раздели меня и посадили в ванну, в которой купалось еще несколько детей. Потом нарядили меня в длинное, деревенское платье. Бабушка, просидев со мной часов до десяти, ушла, перекрестив меня, надев на шею медную иконку, которая у меня до сих пор. В слезах я заснула. Проснулась в больнице. Фельдшерица обходила больных и мерила температуру. У меня оказалось 40 градусов. По ошибке меня положили в заразный барак. Но через месяц я была здорова, и меня перевели в приют на Воробьевых горах. В приюте было голодно, дети ходили бледные, многие падали в обморок. Бабушку я не видела два месяца: она не знала, куда меня перевели, и все меня искала. Потом мы с бабушкой уехали в деревню, к тете Маре».

(Мусина и моя тетка Марья Дмитриевна в 18-летнем возрасте влюбилась в крестьянского сына и сошлась с ним. По тем временам происшествие было скандальное. В дневниках матери я нахожу слова «история с Марой» — и никаких подробностей. По рассказам знаю, что бабушка Ольга Александровна отнеслась к случившемуся с ей свойственной мудростью: никаких упреков, никаких слов, кото-

рыми все равно ничему уже не поможешь и ничего не изменишь... Лишних слов бабушка вообще произносить не любила, называя их «бессмысленным сотрясением воздуха». Она, прежде всего, обвенчала молодую пару, а затем, когда у них в 1910 году родился сын Юрий, отправила их в Америку учиться сельскохозяйственным наукам. Тетя Мара и ее муж Василий Андреевич пробыли в США года, кажется, три, а Юра оставался в России, на попечении бабушки. Затем вернулись и стали жить и вести хозяйство в маленьком бабушкином имении Холмы...

В то время, когда бабушка привезла Мусю к тете Маре, она с мужем и сыном жила в деревне, в крестьянской избе, имений больше не существовало.)

«Зимняя лунная ночь. Медленно шли мы с бабушкой по снежному полю. Мы только что слезли с поезда, который не доходил до деревни. Вещи оставили на вокзале, за ними потом ездил дядя Вася. Вдали показались огоньки, потом мы увидели гумна, амбары, занесенные снегом. Околица. Старый плетень. Залаяла собака, застучали крючки и запоры. Тетя Мара очень обрадовалась, увидев мать. Мой двоюродный брат Юра поцеловал меня и крепко ущипнул за руку. Дядя Вася поднял меня наверх, потрепал добродушно за уши и опустил на пол. Потом мы легли спать. Конец зимы и лето пролетели незаметно, а в августе тетя Мара и бабушка уехали в Петроград. Меня оставили в деревне. Дядя Вася, Юра и я переехали на фабрику[1], где школа, куда тетю Мару назначили заведующей. В нашем доме было четыре небольших комнаты и стеклянная веранда, которая выходила в поле. Из окон был виден лиственный лес, уже начинавший желтеть. Недалеко было магометанское кладбище без крестов, с причудливыми плитами. А если пойдешь в другую сторону, там тоже лес, а на горе стоит дом, совсем развалившийся и старый. В этом доме жила когда-то вся папина семья Воейковых, а теперь он стоит дряхлый, молчаливый. Кругом него мрак и беспорядок, будто здесь стоит гроб, который не опустили в землю. Я ходила смотреть на этот дом, и все мне чудились чьи-то голоса и музыка, а под ногами шелестели опавшие листья, и я понимала, что ничего этого нет, а может быть, никогда и не было...

Бежишь вниз по тропинке от этого мрака и тишины, и

---

[1] Суконная фабрика в Самайкине, которую мой дед Д. И. Воейков продал купцу Акчурину.

вот опушка леса, и овраг, и показывался куст желтой розы, плетень и большой старый сад. Так я любила этот сад! Ветхая избушка сторожа, огромные яблони, красные сладкие арбузы, желтые, душистые дыни. За садом — пруд, наполовину заросший камышами. По вечерам оттуда слышалось кваканье лягушек. Это мои самые лучшие в жизни воспоминания.

В начале сентября вернулась тетя Мара и привезла с собой моего брата Алека. Сначала я его дичилась, а потом очень полюбила, он всегда за меня заступался, когда мы дрались с Юркой. Мальчики поселились в шалаше, чтобы караулить сад, домой приходили только, чтобы переодеться и взять хлеба.

В конце осени Алек уехал, стало пусто и скучно. В школе начались занятия. Листья опали, пошли дожди, лес стоял хмурый. Оттуда слышался вой волков и свист ветра. Иногда я и Юрка, надев валенки и шубы, шли в лес, чтобы срубить дерево. Юра заставлял меня держать его, а сам, взмахнув топором, рубил под самый корень. Слышался стон и шелест веток, когда птица перелетала на другую ветку, а потом опять тишина. В лунные ночи тетя Мара брала меня и Юру кататься на санках с горы. Усевшись на маленькие, узкие санки втроем, мы мчались прямо на пруд, иногда дорогой кто-нибудь падал, мы летели кубарем, а на душе было весело и светло. Потом наступило лето, а осенью меня увезли в деревню Томышево, к Юриной бабушке Давыдовне, и отдали в деревенскую школу. Длинные зимние вечера, за окном метель, мы с Давыдовной сидим в натопленной избе с керосиновой лампой. Давыдовна пряла, а я читала и делала уроки. А в трубе выл ветер, будто просился в комнату. В Рождественский пост Давыдовна не давала скоромного, а когда я хныкала и не хотела есть постное, она доставала кринку молока, краюху хлеба и говорила: «На, ешь, холера, прости меня господи!» Я ела и болтала ногами, а Давыдовна все ворчала: «Вот те язык отрежут, басурманка!»

На Страстной уже стаял снег, зазеленела трава, прилетели скворцы, запели жаворонки. С деревенскими девушками я ходила в церковь говеть. Перед исповедью я встала перед Давыдовной на колени и просила прощенья. Она учила меня, что говорить батюшке: «Коли спросит — грешна? Так и бай: грешна, батюшка, грешна, да гляди не соври, слышишь, чего баю?» В тишине церкви, в старых иконах было что-то торжественное и великое. Никогда не забуду этой

первой исповеди и чувства, которое я после нее испытала. Сколько раз потом я была у исповеди, но это чувство не возвращалось, и никогда потом жизнь не казалась мне такой радостной и легкой. Летом я ходила на гумно смотреть, как молотили бабы. Когда заходило солнце, я стояла у ворот и ждала, когда пастухи пригонят стадо. Потом, загнав корову и овец в хлев, сидела на крыльце. Подоив корову, мы с Давыдовной пили парное молоко с черным хлебом.

Прошла еще одна зима, и ранней весной приехала тетя Мара и сказала, что я еду к папе в Китай. Приходили бабы, говорили: «Она там в золотых сапогах ходить будет да белые калачи есть, вот те счастье сиротское на голову валится!» Тетя Мара ехала со мной в Петроград. Подали тарантас, положили вещи, стали прощаться с дядей Васей и Юрой. Ехали медленно, вброд переехали речку. На востоке показалось зарево, оно разгоралось все больше и больше. Кучер сказал сердито: «Горит где-то!» Я прижалась к тете. На душе была тревога, тоска, было жаль чего-то невозвратимого. В Петроград мы приехали в серый весенний день. Воздух, талый снег, огромные дома — все было серое, мокрое, но приятное. Вошли мы на седьмой этаж, где жили бабушка, дядя Дмитрий с женой тетей Алиной и маленькой дочкой Катюшей. Я полюбила их. Вечером мы все собирались в гостиной, и тетя Алина садилась за рояль. Я, слушая, думала о своей матери, которую не помнила, мне так хотелось, чтобы она была рядом. Ложась спать, я плакала, и тетя Алина приходила утешать меня. В Петрограде я вновь встретила своего брата Алека и его мать тетю Надю. Иногда я целую неделю у них гостила. Тетя Надя была удивительный человек. В большой комнате, посадив меня на диван, она читала мне сказки или учила делать гоголь-моголь. Мне казалось, что от нее пахнет интересными историями и чем-то мягким, приятным, чего я не находила в других людях. Алек таскал меня на плечах, учил танцевать вальс и польку или водил меня по городу и рассказывал историю Петрограда.

Приготовления к Пасхе, в квартире пахнет вкусным. Мы с бабушкой и Катюшей ходили в магазины покупать сахарные яички. Их нельзя есть, но они такие красивые — синие, зеленые, с ленточками, звездочками. Дома мы с Катюшей лизали кастрюли и ложки, нюхали испеченные печенья. На Страстной бабушка часто ходила в церковь. Я помню ее лицо, когда она, опершись на свою палочку, молилась Богу. Слезы медленно катились по щекам и капали на пол,

а в глазах было столько веры, столько твердой, несокрушимой веры... Я тогда была совсем девчонка, мне еще десяти лет не исполнилось, я не понимала бабушку, не понимала ее жизни, ее веры, ее доброты, ее любви к людям...»

На этом обрываются Мусины воспоминания детства, так ею и не оконченные.

Ранней осенью 1924 года Муся с бабушкой и Алеком приехали в Харбин. С Мусей я тогда едва успела познакомиться, дядя Шура сразу увез детей к себе, на станцию Эхо. Муся была худенькая, мрачная, взгляд исподлобья, но, вероятно, уже тогда хорошенькая — позже она стала настоящей красоткой. Мы подружились с ней следующим летом, когда бабушка, моя мать и мы с сестрой жили в Эхо. Муся была тихой девочкой из задумывающихся, я же — громкой, непоседливой, чрезмерно живой, однако мы привязались друг к другу. Она была куда меня умнее, развитее, взрослее. Возрастная разница между нами так ничтожна, что ее и нет почти, не в этой разнице дело, а, видимо, в Мусином жизненном опыте... Когда следующей осенью бабушка и Алек уехали обратно в Россию, нас с Ольгой вновь перевели в нашу «детскую» и поставили туда третью кровать для Муси. В Эхо не было средней школы, поэтому Муся и не могла жить у отца круглый год. Но с нами она провела всего, кажется, две зимы. Врач нашел у нее туберкулезные палочки, мать испугалась, что мы с Гулей можем заразиться. Дядя Шура, наезжавший в Харбин из Эхо, снимал в Модягоу комнату у двух старушек, там, под их присмотром, стала жить Муся.

Эту девочку в который уже раз за ее короткую жизнь отрывали от тех, к кому она едва успевала привыкнуть, привязаться, увозили, перемещали, ставили в новые условия... Много лет спустя я прочитала в ее дневнике: «Ни детства нормального, ни отрочества у меня не было. Как собаку, не имеющую хозяина, меня передавали из рук в руки...»

Муся поступила в харбинскую гимназию «имени Достоевского». Кое-как с переэкзаменовками переходила из класса в класс. Убеждена, что начитанностью и развитостью Муся превосходила многих своих сверстниц. А вот училась — плохо.

Я вижу ее в форменном коричневом платье с черным передником. Прямой пробор темных волос, косы уложены на ушах корзиночками, бледная, грустно-серьезная, сероглазая, очень хорошенькая. В нашей школе когда звенел

звонок на переменку, мы вырывались наружу, как пробки из шипучего вина, бегали, скакали, орали, лишь в последних классах остепенились. А вообразить Мусю бегающей, скачущей и орущей — невозможно. Легко вообразить ее на уроке: сидит, глядит в одну точку, упорно думает о чем-то своем, постороннем, и учитель, заметив этот отсутствующий взгляд, произносит: «Воейкова!» Она не слышит. Ее толкает соседка по парте. Муся встает. «О чем я сейчас рассказывал?» — спрашивает учитель. Муся молчит. Ей ставят в журнале двойку.

Уже в те отроческие годы ее беспокоили вопросы о смысле жизни, о старости, о смерти, о том, что такое счастье... Эта погруженность в себя мешала учиться. И тлевшая в ней болезнь — тоже мешала.

В переходном возрасте почти все дурнеют. Я, например, была особенно дурна: длинная, нескладная, в веснушках, и вечно я что-то роняла, разбивала, натыкалась на мебель... Возглас матери: «Из тебя даже горничной хорошей не выйдет!» И мой оскорбленный ответ, что я в горничные не готовлюсь... А Муся и в этом невыгодном возрасте ухитрялась быть и хорошенькой, и грациозной. В нее влюблялись одноклассники, старшеклассники и даже студенты. Писали записки, назначали свидания, провожали после школы домой. Все это тоже отвлекало от учения. К тому же один из старшеклассников, музыкант школьного оркестра (звали его Алексей, и, кажется, он играл на виолончели), пользовался Мусиной взаимностью. Влюбленные встречались в харбинском питомнике, сидели на скамейке, держась за руки. Летом пришлось расстаться, Муся уехала к отцу на станцию Эхо, Алексей остался в Харбине. Переписывались. Если писем долго не было, Муся сама бегала на почту, возвращалась оттуда бледная, погружалась в себя, от всего отключалась. Было лето, парк, широкая река, свобода от школьных занятий, и всем нам так мало лет! «Муся! Идем купаться!»... «Муся! В пятнашки!» — «Не хочется». В сумерках она сидела над рекой, обхватив руками колени, и все думала, и все думала...

О чем они писали друг другу — четырнадцатилетняя девочка и семнадцатилетний мальчик? Клялись в вечной любви? Спрашивали друг друга, что такое счастье, как нужно жить и есть ли бог? Муся-то, я уверена, именно такое и писала, а насчет Алексея — не знаю. Я видела его не больше двух раз. Высокий, худой, очень блондинистый — брови и ресницы белые. Мне он показался и некрасивым, и незна-

чительным, я удивлялась про себя, каким образом он мог внушить Мусе столь сильное чувство.

Близких подруг у нее не было. Кроме меня. Но я не была ей ровней — на волнующие Мусю вопросы со мной в те годы побеседовать было нельзя. Я нуждалась в ком-то, кому могла изливать душу и просить советов,— тут Муся была неоценима. Ее же привлекали во мне веселость нрава, легкомыслие, мне удавалось и рассмешить Мусю, и в игру вовлечь — вернуть ее, короче говоря, к своему возрасту. Но ведь и ей требовалось изливать душу, искать с кем-то вместе ответы на волнующие ее вопросы, и, быть может, Алексей показался ей наиболее развитым из ее поклонников. Убеждена, что Муся наградила его множеством придуманных достоинств. А для него эта хорошенькая серьезная девочка оказалась не в подъем. Рассуждай с ней о высоких материях и держи ухо востро: скажешь не так или попробуешь отделаться шуткой — в серых глазах удивление и упрек. И письма она пишет длинные-длинные! Тут и описание природы, и мысли, и рассуждения о том, что любовь — это талант, а талант дается не каждому... Отвечать тоже приходится длинно и на уровне. Школьные сочинения — и то легче писать!

Это лишь мои догадки, но думаю, именно так и было, именно этим «не в подъем» объясняется отсутствие писем от Алексея следующим летом. Быть может, нашел себе когонибудь попроще... Муся страдала и уж совсем перестала есть — аппетит у нее вообще был скверный. И тогдашняя жена дяди Шуры Вера Федоровна, всегда ходившая в старых блузках и залатанных свитерах, восклицала: «Опять ни черта не ест! Александр Дмитриевич! Спуститесь с вершин, вспомните о нас, простых смертных! Ваша дочь не притронулась к супу!» Дядя Шура, на обеде присутствовавший, но как бы не присутствовавший, моргал, стараясь усвоить, ЧТО ему сказали, усваивал и начинал вяло пилить дочь: «Надо есть... врач велел... Ну через «не могу»... Ну хоть несколько ложек...»

Я тем временем была влюблена в студента, с которым познакомилась на даче своей школьной подруги. Любовь была совершенно безответной. По примеру Муси я вела дневник, вписывала туда цитаты, касающиеся любви, и даже пыталась стихи сочинять. Неразделенное чувство нисколько мне, однако, не мешало есть, веселиться, шуметь на переменках и получать сниженные оценки по поведению.

Люди, которым суждено недолго жить, рано взрослеют.

Времени отпущено очень мало, столько надо успеть в эти сжатые сроки! Все было уплотнено в Мусиной торопливой биографии...

«Жизнь моя какая-то неправильная,— писала она в дневнике,— я не успела побыть девочкой и быстро развилась в девушку, не успела побыть девушкой, стала замужней женщиной. Все слишком быстро, и я знаю, что это — плохо».

Весной 1930 года Мусин туберкулез обострился. Она не сдала экзаменов за шестой класс и была отправлена отцом в легочный санаторий горного курорта Ляошань. Там Муся познакомилась с Александром Михайловичем Киселевым, владельцем аптеки из Циндао. Циндао — небольшой курортный город на берегу Желтого моря — когда-то немецкая концессия в Китае. Мусе едва исполнилось шестнадцать лет, Киселеву было тогда около тридцати. Я никогда не видела Киселева, не знаю, почему он был совершенно одинок, каким образом досталась ему в собственность аптека.

Фотография в семейном альбоме: Муся и Киселев, только что поженившиеся. Темные, глубоко посаженные, пристальные глаза, прямые брови, тонкие губы — что-то в этом человеке незначительное, болезненное, внушающее жалость. Рядом — Мусино прелестное лицо. Снимок сделан в фотографии, куда обычно молодые заезжают после венчания. Жених, как водится, в черном костюме при белом галстуке бабочкой, невеста в фате, и цветы в руках. А выражение лиц — необычное. Тоска в Мусиных глазах, невесел и ее муж. Будто оба знали, что ничем хорошим все это не кончится...

Свадьба была осенью 1930 года. Той осенью Мусе предстояло сдавать экзамены, чтобы перейти в последний, седьмой класс. А ей так не хотелось! Ее б не принуждать. Ее бы снова отправить в легочный санаторий — дядя Шура уже лишился опытного поля в Эхо, занимался питомником в Сяолине, но жить и содержать дочь — было на что. Но всем, включая мою мать, казалось, что перед Мусей альтернатива: либо экзамены, либо замужество. Дядя Шура беседовал с дочерью на тему: если нет желания учиться, а встретился хороший человек — ну что ж! Быть женой и хозяйкой — доля почетная. Полагаю, что моя мать во все это как следует не вникла, спохватилась позже, а тогда ей было не до Муси.

Год как ушел отец, мы доживали последние месяцы в

нашей квартире на Гиринской улице, новая жена отца требовала церковного венчания, и тем летом шли переговоры о разводе. Требовалось доказать вину одного из супругов, отец не желал брать ответственности на себя, предпочитая виноватить бывшую жену,— короче говоря, много было тогда у матери унизительной суетни. Ей удалось отправить нас с Ольгой на месяц к друзьям в горное местечко Маоэршань. В наше отсутствие приезжала Муся советоваться с отцом и вновь уехала — выходить замуж. Дяде Шуре следовало, конечно, самому съездить в Циндао, но он не мог оторваться от своих ботанических дел! Лишь справки были наведены через каких-то знакомых, каждое лето отдыхавших в Циндао. Выяснено: Киселев человек порядочный, обеспеченный, имеет квартиру над аптекой...

Мусе должно было казаться (и казалось!), что никому, в сущности, дела до нее нет, всем она в тягость, и лишь только подвернулся человек, согласившийся взять на себя заботы о ней, как ее радостно ему спихивают. Сплавили. Отделались. Умыли руки.

Это позже моя мать опомнилась, это позже она говорила брату: «Но как ты мог? Ты обязан был хотя бы поехать туда, обязан был познакомиться с Киселевым! А главное: зачем было торопиться? Чепуха какая-то! Она же его не любит, это даже по фотографии видно! Бедная девочка!»

Мать сознавала свою вину перед Мусей, о вине этой помнила всегда, не потому ли всю жизнь хранила черную, карандашом исписанную тетрадь с медной застежкой, дневник «бедной девочки»?

Как очутился он у матери? Не знаю. Думаю, что после смерти Муси Киселев отправил дяде Шуре ее письма и тетради. Быть может, мать когда-то увидела на столе брата среди сухих растений, бумаг и лужи от пролитого чая — эту тетрадь. Выяснила, что Александр Дмитриевич не знает, что с этой тетрадью делать, и взяла себе. И хранила до смерти. Как память о Мусе. Как упрек себе.

Но ни одного прямого упрека по адресу дяди Шуры или моей матери в тетради нет. За исключением вот этих строк:

«Часто вижу во сне, как укор, что я не кончила школу... Все вспоминаю осень тридцатого года. Весной я не сдала экзамены, надо было их сдавать осенью, а мне так не хотелось! Но почему папа, почему тетя Катя не заставили меня? Конечно, все можно свалить на то, что я — больна, а значит, жизнь моя только и годится на то, чтобы выйти замуж

и бездельничать. А меня гнетет, меня давит безделье. Учиться хочется. Что-то делать полезное хочется!»

Вот другие отрывки из дневника Муси.

ГОД ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

16 октября. Снова хочу писать дневник. Но из этого, видимо, ничего не выйдет. Вот сейчас в комнату вошел муж. Я понимаю, что он должен знать обо мне все. Но у каждого человека есть такой уголок души, куда он не хочет никого пускать. Но даже не в этом дело, потому что: ну, о чем мне писать? О том, что у нас с утра до вечера играет виктрола [1], о том, что торговля в аптеке плохая, о том, что я постоянно грызусь с Шурой, о том, что пустота ужасная, и все серо, и ровно ничего не происходит! Боже! Вот уже первые шаги в жизни сделаны, сделаны глупо, ненужно, и кто в этом виноват? Я раньше говорила, что человек сам своей жизни кузнец. А теперь? Через несколько лет я буду настоящей «тетей», буду бегать, разносить сплетни, если буду здорова — нарожу детей, растолстею. Стоит ли жить для этого? Никаких желаний не осталось, никакой мечты. Впрочем, нет. Я хотела бы быть самостоятельной, зарабатывать деньги, это ужасно — за каждым грошом тянуться к мужу...

24 октября. Получила письмо от Алексея. Для чего? Зачем? И сразу столько воспоминаний. Костюмированный вечер в школе, духовой оркестр, вальс, холодная зимняя ночь, скользкий тротуар, опера «Фауст», санки, четвертый класс, питомник, неумелое пожатие руки, вымазанной чернилами, огромные послания, кино... А потом — то лето. Как я мучилась, как ждала письма, как молилась и плакала. Теперь я замужем, хоть мне так мало лет, но я взрослая женщина, и вот вдруг — письмо. И на душе смятение.

1 ноября. Жить можно только тогда, когда есть твердый фундамент, здоровое начало. А у меня ничего: ни здоровья, ни знаний, ни таланта — ничего. Часто думаю: возможна ли любовь в браке? По-моему, нет, невозможна. Дружба, привязанность, уважение, что угодно, но не любовь. Любовь такое хрупкое чувство, оно бьется от ежедневных прикосновений. Безусловно, до свадьбы или недолго после нее бывает любовь, но в том-то и штука — определить момент, когда она переходит в привязанность, в дружбу. Если супруги смогут привязаться друг к другу, уважать друг друга —

[1] Патефон.

то брак счастлив, а если нет — происходят разные недоразумения. Если мы с Шурой теперь сумеем подружиться — все будет хорошо. У нас обоих неважные характеры. Шура — хороший человек, заботится обо мне, но у него нет легкости, мягкости, нежности. Я так одинока, я, естественно, тянусь к нему, а он не понимает, чуткости ему не хватает. Папа и бабушка редко мне пишут. И Тата не пишет... Облетели листья, но осень еще не ощущается, а зимы настоящей здесь не будет. Я же так люблю зиму, холод, когда воет ветер и хлопья снега стукают о стекла окон...

15 ноября. Накопилось множество мыслей, я бы хотела их высказать, но некому, и они умрут. Вчера пришло письмо от бабушки. Это ужасно, что я никогда ее не увижу, ведь ей 72 года! Бабушка удивительный человек. Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь дурно о ней отозвался. Она всем помогает, для всех находит утешение, и так добра, и так мудра! ...Недавно мы с Шурой праздновали годовщину нашей свадьбы. Семнадцать лет мне, и уже год, как я замужем!

4 декабря. Никто не пишет, забыли! А иногда такая тоска о бабушке, о папе, о Тате, обо всех... Самое главное в жизни — научиться молчать, закусить губы и молчать. Сгонять чувства на дно души. Ведь никому, в сущности, дела нет до того, что ты чувствуешь. У тысяч людей чувства посильнее, посерьезнее моих, но они молчат.

ГОД ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ

20 января. Вчера было Крещение, но у нас не было праздника. Рождества тоже не было. Я плохая хозяйка, не умею создать дома уют, праздничное настроение. Шура, как и я, вырос без матери, вырос не дома, у него тоже нет традиций, ничего такого теплого, уютного, родного... Я часто вижу во сне, что еду в путешествие и не захватила нужных вещей. Это связано с моим чувством, что я пошла в жизнь и не взяла с собой того, что требуется.

1 февраля. Сегодня почему-то вспоминается Эхо, мое последнее лето там. Я приехала в мае. Цвели яблони, жасмин, сирень и миндаль. Мое любимое местечко было у оврага, где стекала вода с огорода. Хорошо было сидеть на досках и думать. Папин дом какой-то таинственный, в нем столько уголков, куда никто не заглядывал... Вспоминаю свои молитвы, свои просьбы Богу о письме. Прогулки за версту на почту — я не верила почтальону. Много писем

высыпали из мешка на пол, и все другим, все не мне... Помню прогулки по сопкам, пионы, красные лилии в коричневых крапинках. И свой отъезд помню. Накануне я прощалась с Эхо. Была луна. Бродила по огороду около оврага. Кричали лягушки, пахло сыростью. Ледник, забор, кусты смородины, далекий вид речки, сопки, и все залито луной. Помню дорогу к вокзалу через парк... А осенью 1924 года папа, Алек и я в плохоньком платье шли по тому же самому парку, шли от вокзала, и я не знала, куда парк ведет... Тогда мы с Алеком приехали к папе. Всего семь с половиной лет назад, а кажется — целая жизнь! Раньше я писала матери Алека, тете Наде, все спрашивая ее: что, что такое счастье? Теперь понимаю, что нет такого счастья с цветом, с весом, с запахом. А есть люди, которые умеют или не умеют воспринимать счастье... Написала папе, что я — плохая жена. Носки не штопаю, кашу не варю, сижу сложа руки и все думаю, думаю...

26 марта. Наконец-то получила письмо от Таточки! Она так редко мне пишет теперь. И письмо скучное. Раньше она была теплая, светлая девочка, я всегда к ней прибегала, когда мне бывало тяжело и грустно. С ней рядом становилось веселее, легче. Такие мы с ней разные, а вместе нам бывало хорошо. Теперь она стала взрослой, сухой. Или — другое. Мы давно не виделись, у нее своя жизнь, свои интересы, и ей просто скучно писать мне...

13 апреля. Мне восемнадцать лет! Вчера была в церкви, а молиться — не могу! Раньше со слезами стояла перед иконой Божьей матери, и так ясно, так хорошо становилось на душе. А нынче лезут всякие мысли, и ничего светлого не нахожу в себе. Скверная я стала. Быть может, люди с годами черствеют? Нет! Моя бабушка всегда умела молиться. Она не хотела здесь с нами жить. Папа и тетя Катя так умоляли ее остаться, не уезжать. Она говорила, что ей нравится Эхо, и дом, и парк, но я-то знала, что ей плохо. Спросила ее как-то: «А Таврический сад лучше, да?» Она ответила: «Я там, Муся, всю жизнь прожила». Она хотела домой. Они умоляли ее, а она говорила: «Я там нужнее». Когда она уехала, я даже плакать не могла. Сидела и сидела, уставясь в одну точку. Нет, все мои горести, все мои беды — все чепуха по сравнению с вечной неутихающей тоской по бабушке, по России.

22 апреля. Скоро Пасха. Самое безжалостное, что есть в жизни, это время. Оно идет. Будь ты счастлива, несчастлива — ему дела нет. Оно идет и идет. И уносит твою жизнь,

твою бесполезную жизнь. Идущую без толку жизнь. Шура хороший человек, но мы такие разные! Например, я читаю Мережковского «Микель Анджело», мне хочется поговорить об этой книге, а Шура даже не знает, кто такой Микель Анджело. Надо, чтобы женщина сознавала, что человек, которого она любит, выше, умнее ее и старалась бы до него дотянуться. Иначе — плохо.

1 сентября. Господи, помоги мне! Качусь куда-то вниз, не за что зацепиться. С ужасом думаю о наступлении нашей сырой зимы. Шура будет ходить из угла в угол, вздыхать, сидеть у печи, а я читать книгу за книгой, до головной боли. Будет выть ветер, сырость, тоска. Часто вспоминаю Сяолин, папин старый дом в лесу, там осень, пахнет прелым листом. Небо бледно-голубое, прозрачное, и тишина, тишина кругом. А тут сумерки. В аптеке играет виктрола. На дворе за окном плачет китайчонок. Папа мой любил сумерки. Сидел и думал о чем-то. Иногда я садилась к нему на колени, прижималась к чуть колючей щеке. Так хочется провести рукой по его мягким, седым волосам.

23 сентября. Ужасно наблюдать наступление осени. Видеть пустеющие улицы, голый пляж, закрытые кафе, идет зима с однообразными пустыми днями. По улицам будет гулять ветер, забираться в щели, выть, стонать в трубе. Я устала. Я ужасно устала. Быть может, потому, что физически чувствую себя очень скверно. Буду ли я здоровой, принесу ли хоть кому-нибудь пользу? Апатия. Пустота.

ГОД ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ

29 января. А иногда вот так, как сегодня, когда радостно светит солнце и колокола в кирке звенят нежным серебряным звоном,— мне ужасно хочется жить. И неприятные мелочи жизни, и моя болезнь — все кажется преодолимым. Нет, я хочу быть здоровой, хочу!

2 апреля. Лежу в постели, болит бок. Нет, я знаю, моя болезнь не оставит меня. Я скоро умру. Но раньше, когда я себя плохо чувствовала, я хотела умереть, а теперь я жить хочу, и это ужасно... Меня берет тоска, когда я думаю о папе. Он потерял свой любимый питомник в Сяолине, потерял службу. И теперь, когда ушла от него Вера Федоровна, он совсем один. Кто заботится о нем? Бедный мой папа! Как сурова жизнь к такому умному, глубокому человеку. И ведь он столько всего знает, столько знает, так неужели это никому не нужно?

26 мая. Пасха прошла хорошо, а потом я снова заболела. Боль в груди, задыхания. Я увидела, что смерть близка, а во мне все кричало: я жить, я жить хочу! Потом начала выздоравливать. Лежала в кресле, вокруг хорошо, весна, ландыши, акации, небо голубое, птицы поют, и такая была радость, что я живу, дышу, все это вижу! Весна, девятнадцать лет и знать, что ты умираешь! Господи, на все твоя воля, дай мне силы примириться с этим!

ГОД ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

15 февраля. Старость это не морщины, не седые волосы. Старость — это равнодушие. Мне девятнадцать лет, но я вижу, как во мне все умирает. Совсем недавно еще хотелось выздороветь, бегать, смеяться, танцевать. Недавно еще был бунт: как же так, умереть в девятнадцать лет?! А сейчас все безразлично. Во мне уже наполовину нет жизни.

24 февраля. Неужели я не умерла от голода в Самаре, от тифа в Москве только затем, чтобы умереть от чахотки в Циндао? Я ничего, ничего не сделала в жизни! Любила музыку, хотела писать, писала плохие рассказы, поняла, что я бездарность, и все-таки писала! И теперь вот — этот дневник, который веду, сама не зная зачем... Нет, нельзя умереть, ничего в жизни не сделав! Ну, хватит, хватит. Тысячи людей умирают молодыми, и мир от этого не переворачивается.

4 марта. А ведь жить, просто жить — хорошо! Смеяться, читать, слушать музыку, смотреть в окно. Сегодня такой ветер, что кажется, что он снесет дом. Дождь. Сырость. У меня опять жар.

21 марта. Иногда тоскую об Эхо так, как можно тосковать о человеке. Вижу все закоулки парка и папиного дома, цветник, веранду, кусты смородины, дорожку около оранжереи, ведущую в овраг. Ничего этого я больше не увижу. Как не увижу Россию. Как не увижу бабушку.

29 марта. Скоро Пасха. Вербная суббота, а я не пойду в церковь. Скоро мое рождение, мне будет двадцать лет, а я все так же буду лежать в постели. Мне все хуже. Температура. Кровь горлом. Сырость, холод, неделями нет солнца. Лежу и думаю о папе, о бабушке, о моем детстве в России. Вспоминаю тетю Катю, Таточку и Гулю — хочется проститься с ними, ведь я очень скоро из жизни уйду.

25 мая. Уже цветут акации, а я все больна. Почему я не могу уйти из жизни сама? Зачем мучаюсь? Трусость? Или

верю в чудо, верю, что еще поправлюсь? Не знаю. Одно знаю: я слишком много ною и хныкаю. Часто думаю: как бы поступила на моем месте бабушка? Она ведь никогда не хныкала, никогда не жаловалась. И плачущей я ее не видела. Она только в церкви плакала, когда молилась, опираясь на свою палочку...

На этом дневник обрывается. Муся скончалась двадцатого июля 1934 года, спустя почти два месяца после этой последней записи.

А мы с матерью и сестрой жили тем летом в одном из пустых классов Городской школы. Первую половину июля Ольга и я провели в Бариме, где наша подруга Женя Роджерс сняла полуразвалившийся домик. Вскоре после того как мы вернулись в Харбин, я увидела во сне Мусю. Впрочем, не увидела, лишь услыхала ее голос, меня зовущий. Будто я бегу среди каких-то высоких домов, бегу на этот зов, но Мусю нигде не могу обнаружить. Я бы забыла об этом сне, если бы на другой день не пришла телеграмма о Мусиной кончине.

Я плакала, но сильного горя не испытывала, пустоты в моей жизни эта утрата не образовала. Я не видела Мусю четыре года — большой срок для человека моих тогдашних лет — и отвыкла от нее. Единственно, что угнетало меня, это чувство вины. Я редко писала ей, я редко думала о ней. Да и всегда мы в чем-то виноваты перед своими ушедшими близкими...

А спустя два с половиной года — я уезжала в Шанхай. Пассажирские пароходы, курсирующие между Дайреном и Шанхаем, часа на три останавливались в Циндао — вот так, проездом, я побывала в этом городе. Аккуратный, чистенький, немцами построенный городок, и, кажется, черепичные крыши. За те десятилетия, что прошли с той поры, я повидала множество городов, они заслонили собой промелькнувшее Циндао — в крышах поэтому я не уверена. Лишь ощущение тоски осталось в памяти.

Зимой в курортных городах с закрытыми кафе и пустыми пляжами всегда тоскливо, я же была там именно зимой, в сырой, пасмурный, ветреный декабрьский день. Я легко нашла дом с аптекой, где жила Муся, долго глядела на него с противоположного тротуара, стараясь угадать, у какого из окон второго этажа чаще всего сидела моя покойная двоюродная сестра...

На пароходе думала: зайду, познакомлюсь с Киселевым. А тут, глядя на дом, на дверь аптеки, поняла — не зайду. А вдруг Киселев за это время женился вторично и мое появление будет совсем некстати? Да и к чему? Совестно беспокоить человека только из-за того, что мне любопытно взглянуть на него. Зайти в аптеку, притворясь покупательницей, вроде бы за аспирином? Но у Муси было полно моих фотографий, Киселев мог узнать меня...

И я топталась на другой стороне тротуара, глядя на окна второго этажа. Дом белый, ставни зеленые, а впрочем, и в этом я не уверена! Почему? Я тогда впервые рассталась с матерью и сестрой, ехала одна в Шанхай, с собой было очень мало денег, я не знала, что сулит мне завтра, будущее и пугало, и привлекало меня. И я все думала о себе и о Мусе, которую уже ничего не ждет, которой нет. Этим я была переполнена, не потому ли не увидела города на берегу Желтого моря, где Муся провела последние годы жизни и где карандашом в тетрадь писала о своей тоске и о своем отчаянье.

* * *

Вспоминая ту девочку, какой была когда-то моя сестра, я прежде всего вижу серо-голубые, наполненные слезами глаза и дрожащие губы. Я ее часто обижала, о чем теперь горько сожалею, тогда же не жалела ее ни капли. Я была полна собой, своими невзгодами, мне и в голову не приходило интересоваться тем, что думает, что чувствует живущее рядом со мной существо.

В детстве я любила рассказывать ей фантастические истории. Говорила, например, что в стене над моей кроватью, где отвалился кусок штукатурки, живут крошечные человечки, карлики. Ночью, когда все спят, карлики превращают меня в такое же маленькое существо, как они сами, я иду к ним в гости и с ними пирую. Я подробно сообщала, какие там подают пирожные, конфеты и каких сортов мороженое. Разумеется, я заставляла сестру божиться, что о моих ночных отлучках и пирах она никому не скажет. Она божилась. Умоляла: «Вожжьми меня шшобой!» — она долго говорила неправильно, шипящие вместо свистящих, «р» вместо «л». Я обещала попросить карликов, затем врала, что они принять ее не могут: живут над моей кроватью, поэтому знаются только со мной. Серо-голубые глаза немедленно влажнели, я быстро добавляла, что снова буду

просить карликов. Наконец умильные приставания Гули мне надоели, я сообщила однажды, что карлики переехали. Увидев, что сестра сейчас заревет, добавила: «Они в нашем садике закопали клад». Не помню, что именно я врала о содержании клада, помню лишь, что среди перечисленных мною предметов была шкатулка из зеленого, синего и красного стекла. Потом меня все-таки несколько тревожила совесть, когда я видела, как сестра моя, маленькая и толстая, деловито ковыряла землю в нашем палисаднике игрушечной лопаткой и при этом пыхтела.

Няня умерла, родители часто отсутствовали по вечерам, мы оставались с кухаркой. Кухарки жили на кухне и часто менялись. Лучше всех была Маруся: невысокая, плотная, с гладко причесанными соломенными волосами. При Марусе кухня была чистенькая, уютная, кровать застлана стеганым одеялом из пестрых кусочков. На кровати раскладывались карты; мы с Марусей играли в подкидного дурака и в шестьдесят шесть — это, разумеется, если родителей не было дома... Но у Маруси был пьяница муж, устраивавший иногда скандалы под кухонным окном. Стучал в стекло, орал: «Выдь, поговорим! Выдь, сказано!» И добавлял разные непонятные слова. Его поведение Маруся объясняла мне тоже непонятно: «Не сплю я с ним, вот и злобствует!» Если отец был дома, он прогонял пьяницу, но если отца не было, то Марусин муж шумел долго, и мы с Гулей плакали от страха. Из-за этих скандалов и пришлось с Марусей расстаться... Была еще Надя, крутившая роман со столяром, он иногда посещал ее по вечерам, если родителей не было дома, и Надя просила нас: «Вы папе-маме-то не говорите, что Илья Петрович заходил!» Мы не говорили. Кончилось тем, что Надя пыталась отравиться, чего-то глотнув. Видимо, это случилось в воскресное утро, ибо все были дома. Надю не могли дозваться, отец пошел на кухню посмотреть, что с ней, затем поднялась суматоха, мать отправила нас в детскую, затворила дверь, но мы все равно слышали топот ног, кем-то произнесенное слово: «Носилки», фразу: «Слева заходи, так не пройдут!» А главное — Надин истошный вопль: «Через любовь погибаю!» Были и другие кухарки, я уж и не помню всех...

Мы с Гулей сидим вечером не в детской, а в столовой, сидим в креслах друг против друга и ждем чего-то, то ли ужина, то ли чтобы кухарка велела ложиться спать. Молчим, а за окном тьма, а в доме тишина. Я внезапно объявляю: «Знаешь что? Я — сумасшедшая!» — «Нет!» — поспеш-

но говорит Гуля, и на ее пухлой мордочке появляется сложное выражение: мольба и страх одновременно. Она уже испугалась, но просит дальше ее не пугать. «Нет, да!» — восклицаю я, после чего закатываю глаза, скашиваю их, начинаю трястись, подвывать, и Гулино умоляющее: «Не надо!» — меня еще больше раззадоривает... Кончается это Гулиным ревом и появлением на пороге кухарки с криком: «Угомону на них нет!»

До сих пор не знаю, как переживала сестра неблагополучие нашего дома, ссоры родителей, что было известно ей о романе матери. Мы никогда об этом не говорили. Обсуждать такие вещи казалось нам стыдным, невозможным. Сестре приходилось хуже, чем мне. Она была меня моложе, и наше растущее безденежье ударяло по ней, когда она находилась в более раннем возрасте.

Хуже, чем мне, сестре было и потому еще, что в ее характере не было моего легкомыслия, веселости, глуповатой восторженности, стремления постоянно чем-то и кем-то увлекаться. По характеру она была скорее замкнута, очень самолюбива, унижения от визитов кредиторов переживала, мне кажется, глубже, болезненнее, чем я. К тому же я вечно убегала из дому, а она была домоседка, домовита, хозяйственна, аккуратна — вечные ее попытки прибрать, прихорошить наши случайные жилища. С детства у нее были твердые понятия о чести семьи, о невозможности выносить сор из избы, она бы лучше отрезала себе язык, чем пожаловалась кому-то постороннему на мать, на отца, на меня. Я-то душу облегчала, я-то жаловалась...

Из-за разницы возраста и характеров мы не были дружны, а, скорее, друг друга раздражали. Ольга придавала большое значение умению вести себя, хорошим манерам, постоянно указывая мне на их нарушения: «Не горбись за столом!», «Не говори так громко!», «Как ты держишь нож?»

Рассказывая что-либо, я любила украсить рассказ подробностями, нередко придуманными, с единственной целью сделать свое повествование либо пострашнее, либо посмешнее,— заинтересованные лица подруг подхлестывали меня, я увлекалась, и тут слышался мрачный голос девочки Гули: «И вшё она врет!» Не скрою: в эти минуты мне хотелось ее убить. Но я, в свою очередь, неоднократно давала ей поводы (и, кстати, более обоснованные!) для таких же преступных желаний.

На свой день рождения Ольга пригласила двух-трех одноклассниц. Среди них должна была впервые посетить нас

девочка из благополучной семьи, дочь преуспевающего коммерсанта, владельца крупного харбинского магазина. Мы жили тогда в доме Ягунова. Ольга накануне выстирала скатерть, утром ее гладила, пекла сладкий пирог, были извлечены, начищены, положены на стол остатки фамильного серебра — чайные ложки и маленькие ножи с вилками, предназначенные для фруктов. Красовалась на столе и серебряная, необычной овальной формы маленькая кастрюля с длинной деревянной ручкой — в ней когда-то варили нам манную кашу, а сейчас в нее были насыпаны конфеты. Я подозревала, что эти хлопоты были вызваны желанием не ударить лицом в грязь перед девочкой из богатой семьи. Кастрюлька и прочее должны были продемонстрировать, что мы знавали лучшие времена. И я подавала реплики такого рода: «Не забудь задрапировать умывальник какой-нибудь красивой тканью, ну, в крайнем случае маминой бархатной накидкой! А то твоя Мирра увидит умывальник в комнате и станет нас презирать!» Или: «Слушай, а где папин рисунок гербов? Вот бы его повесить на стену!» — «Мама! Скажи ей, чтобы она отстала!» Мать — строго: «Оставь девочку в покое. Не порти ей удовольствие!»

С меня взяли слово, что за чаепитием я буду вести себя пристойно, сестру не дразнить, гостей не обижать и вообще поменьше разговаривать. «Если ты так не можешь — лучше уходи!» — молила сестра. Я ответила, что могу, и намерена была слово сдержать.

И вот явились Гулины одноклассницы, принаряженные, с подарками, и самый лучший подарок принесла Мирра Фукс (тот самый клетчатый шарфик, из-за которого мы позже подрались!), и одета была всех лучше, в прелестном платьице с вышивкой, и лакированные туфли, и тонкие чулки, и мне сразу почудилось, что она дерет нос и задается,— в этом, впрочем, я тогда подозревала всех богатых... Сидела я поначалу на диване с книжкой, всем видом показывая — никому не мешаю, читаю себе! — меня представляли: «Моя старшая сестра!» Я любезно улыбалась, улыбались мне. Шелестела бумага, разворачивались подарки, Гуля восхищенно восклицала, девочки щебетали, я сидела тихо, сестра, однако, о присутствии моем не забывала, изредка опасливо в мою сторону косилась... «Настоящий шотландский, папа привез из Лондона, но не моя расцветка, мне идут теплые тона!»

С этого и пошло. За столом я сказала: «Фира, возьмите конфетку!» — «Мирра!» — поправила сестра. «Как? Ты же

всегда говорила: «Фира Мукс?» — «Неправда! Я говорила Мирра Фукс!» — «Да? Ну извините меня, Фирочка. То есть: Миррочка!» — «Пожалуйста»,— отозвалась Мирра... Что-то еще я отмочила, не помню уж — что, помню лишь, что Ольга толкнула меня ногой под столом, а я — громко: «Это ты меня толкнула?» Она — голосом почти плачущим: «Я не торкара!» В минуты волненья она, как в детстве, внезапно путала «р» и «л», свистящие и шипящие. Я — кротко: «Не торкара? Кто ж, интересно, торкнур?»

Не горжусь этим, напротив. Рада была бы взять все обратно, но ни слов своих, ни поступков обратно не возьмешь. Сестра потом плакала, мать меня ругала долго и справедливо.

И такой случай вспоминается. В хорошую погоду вечером харбинцы любили собираться «около Чурина» — крупный универсальный магазин в центре города. Молодежь гуляла взад-вперед, пожилые — сидели на скамейках. Мы с Ольгой очутились там однажды случайно, просто шли мимо, но, влившись в толпу гуляющих, сестра приосанилась, придирчиво меня оглядела и зашептала: «Не говори так громко! Не маши руками! Почему ты такая растрепанная?» — «А! — сказала я.— Ты меня стесняешься? Иди вперед. Мы незнакомы!» Дала ей отойти, потом крикнула: «Барышня!» Все стали оглядываться, оглянулась испуганно и Ольга. «Барышня, вы мне когда десять рублей отдадите? Брали до завтра, а вот уж месяц...» Она кинулась бежать от меня, а потом жаловалась матери: «Я никогда никуда с ней больше не пойду! Мама! Скажи ей!» Мать мне много чего сказала в тот вечер...

Как-то я случайно подслушала разговор матери с ее приятельницей, кажется с Вероникой Николаевной: «Иосифа Сергеевича не вижу,— говорила мать,— даже на улице не встречаю, хотелось бы забыть о нем, но, увы, Наталья унаследовала некоторые неприятные его черты и вечно напоминает мне его своими выходками!»

Как отец, я любила эпатировать, никого не щадить ради красного словца и быть застольным весельчаком. Сестра же, вслед за матерью, внешности, декоруму, чтобы все было «как у людей» — придавала огромное значение...

Сестра была очень хорошеньким светловолосым ребенком, с солнечной улыбкой, а к двадцати годам превратилась в эдакую царь-девицу — высокую, здоровую, кровь с молоком, русую, с прекрасными серо-голубыми глазами. Вскоре после моего отъезда в Шанхай Ольга вместе с Женей Род-

жерс, к тому времени осиротевшей (мать умерла от инфаркта, отец от рака), уехали в Пекин. Сестра там была гувернанткой (чтобы не сказать — нянькой!) в английской семье, Женя давала уроки. Впервые очутилась Ольга без матери и без меня, и по письмам ее, сохранившимся в материнском архиве, я вижу, как она без нас тосковала, как жаждала от нас вестей! Я писала ей редко и коротко. Я пыталась завоевать Шанхай, а это мне никак не удавалось, и не до Гули мне было. А вот Женя, которая по возрасту была ближе ко мне, дружила не со мной, а именно с Гулей, относясь к ней куда нежнее и внимательнее, чем относилась я, и в их трудные годы в Пекине заменила ей старшую сестру.

Летом 1939 года Ольга приехала в Шанхай к матери и ко мне, а Женя отправилась в Италию по зову какой-то дальней тетки. Началась война. Женя, как британская подданная, была интернирована, а затем, вместе с другими англичанами, выслана «на родину», в Англию. Эту «родину» Женя, родившаяся в Москве, на Сивцевом Вражке, увидела впервые... Поначалу ей там трудно пришлось, затем работу она нашла, и сейчас — на пенсии. Мы расстались с Женей в декабре 1936 года, когда я уехала в Шанхай, а встретились вновь в январе 1967 года в Лондоне. «Не прошло, боже мой, и сорока лет!» — сказала я, и мы обнялись. Женя была совершенно седая.

А сестра моя в октябре 1942 года уехала из Шанхая в Индокитай, где знакомый матери, добрейший, милейший старый француз месье Массне, нашел для Ольги какую-то секретарскую работу. Работала она недолго, вскоре вышла замуж за французского офицера Пьера Д. и поселилась с ним в городке Юэ. В первых числах марта 1945 года сестра поехала к друзьям в Сайгон: цель поездки — покупка приданого для будущего ребенка, сестра была беременна. Поехала налегке, с чемоданчиком, не рассчитывая пробыть в Сайгоне больше недели. Вернуться к мужу, в свой дом, суждено ей не было. На город Юэ напали японцы. Пьер был убит, дом разграблен, сожжен. Мы с матерью долго не имели от Ольги вестей, наконец поздней осенью пришло письмо. Оно сохранилось: «Не знаю, с чего начать... Пьера убили девятого марта, Вероника родилась первого сентября...»

Через год Ольга вновь вышла замуж за морского офицера, а позже инженера Мориса Л., они переехали в Париж, в январе 1953 года у них родилась дочь, названная в честь

нашей матери Катериной. Когда мы с мамой провожали Ольгу в Индокитай, никому из нас, разумеется, и в голову не приходило, что мы расстаемся почти на двадцать лет!

А случилось именно так. Я уехала в СССР с репатриацией в декабре 1947 года, а через семь лет в Москву приехала мать. С Ольгой мы постоянно переписывались, но увиделись лишь в марте 1961 года, когда она и ее девочки приехали в Москву как туристки.

Встречать их в Шереметьево я отправилась одна. За полгода до этого у матери был сердечный приступ, предстоящее свидание очень волновало ее, погода в тот день была скверная — и дождь, и снег. Решено было, что гостей мать будет ждать дома.

Самолеты из-за границы прилетали тогда туда, где сейчас аэродром для внутренних линий. В те годы можно было видеть и приземляющийся самолет, и людей, из него выходящих. Затем прибывшие шли в таможню, проходя мимо встречающих, отделенные от них лишь низенькой загородкой.

На аэродром я явилась за час до нужного времени. В авоське была книжка, которую я собиралась читать в ожидании, уютно сидя в каком-нибудь кресле, но книжку так и не открыла, в аэровокзальных креслах мне тоже не сиделось... Одно время я торчала наверху, на втором, что ли, этаже, где в зальце со стеклянными стенами, на полукруглом диване расположилась семья — двое детей, их мать и какая-то женщина, то ли подруга матери, то ли родственница. Семья была одета во все заграничное; на мальчике лет трех — комбинезон с капюшоном, похожим на шлем, голубой, блескучий материал, видимо, что-то синтетическое, и везде молнии, и мальчик производил впечатление нездешнее, эдакий малютка марсианин. Семья встречала папу из Парижа, которого год не видела, и мать с приятельницей все приставали к юному марсианину с вопросом: «Валерик, а ты папу не забыл?»

Потом я пила черный кофе в тамошнем кафе, курила, выходила наружу пройтись, затем снова зачем-то пила кофе. Жужжание разговоров, звон посуды время от времени прорезались механическим голосом. Голос объявлял об отлетах и прилетах, я собиралась прилежно за ним следить, но как раз сообщение о прибытии самолета «Эр Франс» прослушала, все ныряла в себя, удивляясь той внутренней дрожи, какая бывала у меня перед экзаменами и перед выходом на сцену. Вынырнуть заставила меня су-

матоха, сопровождаемая шумом отодвигаемых стульев, и тут за стеклом двери кафе проплыл шлем несомого на руках марсианина, и я поняла, вскочила, кинулась наружу.

Самолет уже приземлился. Дальнозоркими глазами я вижу человечков, от него идущих, вот они ближе, но лиц не различишь, но уже видно, где мужчины, а где женщины, и видно, что у женщин непокрытые головы... Моей старшей племяннице было тогда пятнадцать лет, младшей — только что исполнилось восемь, по этой-то девочке, которая ростом должна от всех отличаться, я собиралась издали узнать сестру... Но долго не было видно никаких детей, наконец, уже сравнительно недалеко от себя, от загородки, к которой мы, встречающие, приникли, я увидела девочку в пестрой косынке на голове, рядом — высокая женщина в меховом пальто. Подняла глаза, увидела худощавое, красивое, незнакомое лицо, вновь стала высматривать девочку, еще одну девочку, другой девочки не было, что-то внутри толкнуло меня, я опять взглянула на даму в меховом пальто с растрепавшимися от ветра светло-шатенистыми волосами, быстро приближавшуюся к загородке, ко мне, а дальше — туман, застлало глаза — так поразило меня, что я, пусть на мгновенье, но сестру свою не признала.

И вот мы чмокаем друг друга над загородкой, улыбаясь, произнося какие-то чепуховые ненужные слова, а старшая племянница любопытно и застенчиво глядит на меня из-за материнского плеча, а маленькая вытягивает шею, чтобы и ее поцеловали, и произносит: «Я — Катя!»

На лице сестры я вижу знакомое, напоминающее нашу мать выражение растроганности и одновременно желание эту растроганность спрятать за усмешечкой, я вижу глаза ее, манеру морщить нос, я вижу ее прежней, заграничный облик уже не мешает этому, и позже я уже никогда не могла — хотя из любопытства иногда и пыталась — увидеть ее чужой и незнакомой.

* * *

Бабушка верно предвидела, что из «представителей третьего поколения» выйдет «пестрая толпа, смешение племен, наречий...». Но мечтала о том, что ее «ростки принесут свои плоды не на чужбине, на родной почве». Ну что ж. Так и случилось. Лишь моя сестра от родной почвы оторвана, и дети ее — французы.

Разными дорогами шли по жизни семеро внуков Ольги

Александровны, но вот светлого детства, беспечной юности не выпало на долю никому из них. Каждому, однако, удалось свои испытания преодолеть, а к склону лет достигнуть относительного благополучия, ну и — устойчивости, если вообще можно говорить об устойчивости в нашем, раздираемом противоречиями, мире, в наши времена... Каждому. Кроме Муси. И кроме Алека.

КОРНАКОВА

Зимой 1933—1934 года мы продолжали жить в доме Ягунова. Мать преподавала английский язык в среднем учебном заведении и в Институте ориентальных и коммерческих наук. Я слушала там лекции и, помогая семье сводить концы с концами (они все равно не сводились!), давала частные уроки. Сестра еще ходила в школу.

В Харбине, не считая казенной Городской школы для детей неимущих эмигрантов (именно там стала работать моя мать), было несколько частных гимназий: гимназия Оксаковской, гимназия имени Достоевского и еще несколько. Школа, принадлежавшая международной организации, называвшей себя Христианский союз молодых людей (ХСМЛ), где директором был американец и часть предметов преподавалась на английском языке, была дорогой, считалась лучшей. Именно туда мать отдала нас: ее дочери должны были учиться в лучшей школе! С каждым годом становилось все труднее вносить плату за обучение, но мать не сдавалась, выворачивалась наизнанку, но деньги находила. Правда, когда моя сестра училась в последнем, седьмом классе, мать не смогла внести плату за этот год и сестра моя не получила диплома. Таким способом наказывали родителей-неплательщиков, а заодно и детей...

В конце учебного года в нашей школе обычно устраивались вечера и спектакли, режиссером и постановщиком которых бывал преподаватель истории, театральный энтузиаст Иосиф Александрович Пуцято. В феврале кто-то мне передал, чтобы я в такой-то день и час непременно явилась в школу. Мне сообщили, что на этот раз школьный спектакль обещала поставить профессиональная актриса, недавно приехавшая в Харбин вместе со своим мужем, швейцарцем Бринером. И вот Пуцято заранее собирает труппу из самых способных к сцене учеников, включая и тех, кто школу уже окончил.

Фамилия Бринер была мне хорошо знакома. Не только потому, что в Харбине существовал филиал известной на весь мир транспортной фирмы «Бринер и К°». Но и потому, что в моей школе учились брат и сестра Бринеры, оба младше меня, девочка на два класса, мальчик — на четыре. На школьных вечерах я видела их мать, Марью Дмитриевну, а отца не было, отец оставил семью, женился на другой женщине, в Харбине не живет. Покинутая семья не внушала мне жалости. Марья Дмитриевна, высокая, худощавая, с маленькой головкой и птичьим профилем, всегда была великолепно одета (помню ее черно-бурые лисы), держалась надменно, дети были выхоленные, отутюженные... Ученики носили в будние дни серо-голубые халаты, этакую рабочую одежду, одинаковую для мальчиков и девочек. По идее, между богатыми и бедными не должно было быть никакой разницы, но у Веры Бринер халат выглядел иначе, чем у других, всегда чистый, подкрахмаленный, украшенный кружевными воротничками... От частых стирок халаты линяли, теряли вид, и я подозревала, что у Веры несколько халатов, не по одному ли на каждый день?

От Юльки, Вериного брата, остались в памяти лишь крупные веснушки на круглом детском личике... В Харбине он не доучился — едва Вера окончила школу, как Марья Дмитриевна увезла своих детей в Америку. Не знаю, что сталось с Верой, а Юлька прославился на весь мир как звезда американского кино Юл Бринер.

Но мне, когда я услыхала фамилию швейцарского мужа приехавшей в Харбин актрисы, не пришло в голову, что этот муж и отец Веры с Юлькой одно и то же лицо. Этих Бринеров я всегда считала русскими, а тот ведь швейцарец. Позже я узнала, что Борис Юльевич Бринер был сыном швейцарца и русской, родился, вырос и получил образование в России. Семья Бринер владела концессией в Тетюхе, невдалеке от Владивостока. После отмены концессий все Бринеры покинули СССР, два брата с женами и сестра с мужем осели в Харбине, третий брат — в Дайрене. Фирма «Бринер и К°» давала, видимо, хороший доход, все члены семьи были людьми состоятельными, и Борис Юльевич щедро помогал оставленной семье. Перед тем, как приехать в Харбин, Бринер с женой какое-то время жили в Лондоне...

Я была польщена тем, что меня помнят и считают способной, душа моя жаждала перемен и развлечений, и в

назначенный день и час я помчалась в школу. Кроме меня явилось еще человек семь-восемь «способных», маленький, стриженный бобриком, с рыжей щеточкой усов Пуцято нас встретил и каждого представил женщине в сером меховом пальто, сидевшей в глубине комнаты, у окна, лицом к входу... Светлые пряди волос выбивались из-под неглубокой меховой шапочки, женщина кивала нам, улыбка ее казалась вымученной, неестественной, поза скованной, напряженной. В те годы мне в голову не могло прийти, что немолодой человек (Корнаковой шел тридцать девятый год, но нам она казалась вполне пожилой дамой!) может робеть перед нами, сегодняшними и вчерашними школьниками. Быть может, нам плохо удавалось скрыть любопытство, с которым мы разглядывали ее. Дело в том, что одна девочка, из породы тех, кто все обо всех знает, еще на лестнице сообщила нам оглушительную новость: «Эта актриса, которую мы сейчас увидим,— знаете, кто она? Вторая жена Верного и Юлькиного отца! Да, да, да! Из-за нее он и бросил их мать!» «Врешь!» — не верили мы. «Вот крест!» — божилась всезнающая девочка.

Ее сообщение сразу подтвердилось, когда Пуцято, усадив нас, произнес: «Екатерина Ивановна Бринер любезно согласилась помочь нам поставить спектакль». Тут в моей голове окончательно соединились та семья Бринеров и Бринер, муж актрисы. Только этим и мне, и другим со мной явившимся она и была тогда интересна... Пуцято сообщил нам, что Екатерина Ивановна Корнакова-Бринер была актрисой Художественного театра, но данные сведения впечатления на нас не произвели. МХАТ, известный нам по рассказам и книгам, был от нас так далек, как если бы находился на другой планете, а вот Вера с ниточкой жемчуга, а вот Марья Дмитриевна с мехом на плечах были живыми, осязаемыми людьми из нашего вчерашнего дня, и связь с ними этой женщины, курившей у окна, волновала нас куда больше, чем связь ее с туманным Художественным театром, в реальное существование которого в нынешней России всем нам, думаю, в глубине души плохо верилось...

Марья-то Дмитриевна куда внушительнее, куда элегантнее и держалась всегда прямо, надменно. А эта курит, сгорбившись, шапка надета кое-как, выбиваются пряди волос, шуба — ничего особенного, серый козий мех, фасон скромнейший, спортивный, полумужской...

У нее были зеленые глаза узкого разреза, высокий лоб,

немного вздернутый, с тонкими ноздрями нос, короткая верхняя губа — лицо это не казалось мне ни красивым, ни некрасивым... Понадобилось время, чтобы я узнала тайну этого изменчивого лица, умевшего в иные минуты чуть не ослеплять красотой, а в иные быть тусклым, как бы смазанным...

А как себя чувствовала она в тот зимний день в странном русско-китайском городе, в странной американо-русской школе, под любопытными взглядами неизвестных юных существ?

Совсем недавно она покинула Москву, театр, друзей, все, чем была наполнена ее жизнь. Выросла в Кяхте, в купеческой семье, переехала в Москву, кажется, восемнадцатилетней. Не знаю, где она училась театральному искусству, знаю лишь, что в двадцатые годы ее узнала и полюбила театральная Москва в спектаклях, сначала 1-й студии, а затем МХАТ-2. Была она женой А. Д. Дикого. Жили они в бывшей дворницкой, и скромное это помещение с помощью яркого ситца и синих с розами трактирных кузнецовских чашек Катерине Ивановне удалось сделать и веселым, и уютным — так мне говорили москвичи, бывавшие в дворницкой в те далекие года, и я знаю, что так оно и было,— Корнакова обладала природным безошибочным вкусом. В Москву из Владивостока приезжал по делам Борис Юльевич Бринер, который и за границу часто ездил. Он появлялся в дворницкой с цветами, духами, от него веяло запахами кожаных несессеров, серебряных туалетных приборов и иных дорогих дорожных принадлежностей, запахом дальних странствий от него тоже, конечно, веяло, и был этот концессионер и собой недурен, и влюблен, и заботлив... С ним отдохнешь, с ним жизнь будет гладкой, это не Дикий. А тот был шумен, талантлив, беспутен,— загуляв, мог надолго исчезнуть.

И вот она расстается с Диким, выходит замуж за Бринера и, когда тому пришлось навсегда покинуть Советский Союз, уезжает вместе с ним — это начало тридцатых годов. Живут в Лондоне. Катерина Ивановна за границей впервые, иностранных языков не знает, из английского ей известны лишь отдельные слова. Когда они ехали поездом по Англии, Борис Юльевич вышел на остановке что-то купить, поезд тронулся, набавил ход, Борис Юльевич не возвращался, и очень испугавшаяся Катерина Ивановна кинулась к проходящему проводнику с вопросом: «Who is my husband?» (сказав: «Кто мой муж?» — вместо «Где

мой муж?»). Проводник смотрел на нее как на сумасшедшую. Этот случай Катерина Ивановна любила рассказывать для опорочения англичан: дескать, случись такое же в России с иностранкой, едва умеющей связать по-русски два слова, русские бы прониклись сочувствием, все бы поняли, проводник мгновенно догадался бы, что ему хотят сказать... А проклятый английский кондуктор лишь плечами пожал, а другие англичане — пассажиры — глядели осуждающе, впрочем, большинство даже не глядели, уткнулись в книжки, делали вид, что их ничего не касается... Лишь русские были милы Катерине Ивановне, к иностранцам она относилась с нетерпимостью Достоевского; тот, впрочем, англичан жаловал, а эта говорила так: «Все англичане произошли от попугая». Почему именно «попугая», объяснить не берусь...

Затем — Харбин. Здесь русских сколько угодно, здесь говорят по-русски, но вскоре выяснилось, что здешний русский язык так же чужд Катерине Ивановне, как английский... Вероятно, она могла бы повторить вслед за Цветаевой: «Мне безразлично, на каком непонимаемой быть встречным...» А кто тут ее понимал? Кто знал ее?

Приехав в Харбин, Бринеры поселились в трехкомнатной квартире на Садовой улице Нового города, недалеко от здания ХСМЛ. В том же доме, двумя этажами выше, Борис Юльевич присмотрел и снял две квартиры на одной площадке, и летом 1934 года там шли перестройки, две квартиры превращались в одну, шестикомнатную. Всеми хозяйственными хлопотами ведал Борис Юльевич — сорокалетний, коренастый, широкогрудый, с приятно-красивым смуглым лицом и темной курчавящейся шевелюрой. Он и обеды сам заказывал, и прислугу нанимал и рассчитывал, а Катерина Ивановна была в своем доме гостьей. Превратить дворницкую в веселое, уютное помещение, быть элегантной, имея две юбки и одно платье,— это она умела, горазда была на всякие выдумки. А когда в ее распоряжении оказались большие деньги, возможность купить все, что ей заблагорассудится, тут ей становилось скучно, она отступала на задний план, говорила с кроткой улыбкой: «Не знаю, Боречка. Делай как хочешь». Много раз я видела эту улыбку, появлявшуюся тогда, когда Борис Юльевич пытался узнать мнение жены по какому-нибудь бытовому вопросу. Улыбка была и кроткой, и покорной: ею Катерина Ивановна пыталась замаскировать свое равнодушие, отсутствие интереса к тому, как будет решен во-

прос, и, кроме того, подчеркивала, что жена готова повиноваться своему мужу и господину...

А Бориса Юльевича хватало на все. Это он, конечно, придумал для жены «школьный спектакль», «работу с молодежью». Заинтересовать мечтал ее хоть чем-то, занять хоть чем-то... В харбинском филиале Христианского союза молодых людей Бринер был своим человеком и потому, что в школе учились прежде его дети, и потому, что он три вечера в неделю занимался гимнастикой в спортивном зале ХСМЛ. Той зимой здание ХСМЛ перестраивалось, расширялось, к старому дому был пристроен новый, в этом новом возникло просторное помещение, заменившее прежний тесный актовый зал, в котором мы сдавали последние экзамены, и танцевали на вечерах, и торжественно получали дипломы...

Прежде чем согласиться поставить школьный спектакль, Катерина Ивановна пожелала узнать, в каких условиях предстоит ей работать, какова сцена. В новом зале лишь собирались строить эстрадное возвышение. В устройстве сцены Корнакова толк знала, у нее возникла мысль о постройке деревянного, складного сооружения, которое можно в случае надобности убрать и поставить вновь. Мне легко представить себе, как Катерина Ивановна, разрумянившись, блестя глазами, похорошев, описывала своему мужу это будущее сооружение, поминутно спрашивала: «Чувствуешь, Боречка?» А тот чувствовал одно — жена его заинтересовалась, увлеклась, загорелась, стала похожей на себя прежнюю, московскую... Все расходы по постройке сцены Борис Юльевич взял на себя. Он готов был на любые траты, на покупку любых дорогих игрушек, чтобы только развлечь свою жену, чтобы не видеть ее погасшей и тусклой.

В тот день, когда я впервые встретилась с Корнаковой в инспекторском кабинете нашей школы, разговор шел под ухающие удары и стук молотков, заглушенные, впрочем, множеством закрытых дверей. Иосифу Александровичу Пуцято было, конечно, известно о меценатском жесте Бринера. Чрезвычайная почтительность Пуцято, мне кажется, смущала, даже пугала Катерину Ивановну... В Лондоне Бринер был одним из многих, а в маленьком Харбине, населенном эмигрантами, в основном неимущими, все знали, что такое транспортная фирма «Бринер

и К°», все были наслышаны о богатстве семьи. Улыбки, почтительные и любопытные взгляды обращены были не к любимице театральной Москвы «Катюше Корнаковой», а к «мадам Бринер», жене мецената, гражданина благополучной, всегда нейтральной, никем и ничем не тревожимой Швейцарии. Если бы мадам Бринер была просто скучающей дамой, понятия не имеющей об актерском ремесле, и пожелала бы ставить школьный спектакль из одного только каприза, то все равно согнали бы нас, «способных», и дали бы ей спектакль ставить.

И вот она курит в инспекторском кабинете, и я не помню ни единого ею произнесенного слова. Говорил Пуцято. Рассказывал, какие мы ставили в школе пьесы, кто из нас что играл, она же кивала с вымученной полуулыбкой, сжавшись под устремленными на нее взглядами... «Все вы в тот день были для меня на одно лицо!» — услыхала я от нее позже. Ей была тягостна роль «мадам Бринер», к этой роли она так никогда и не привыкла.

А мы, юные дикари, для которых звуком пустым было не только ее имя, но даже имя ее учителя и бога Станиславского, мы лишь старались не очень на нее пялиться, однако разглядели и скромную подпоясанную шубку, и блондинистые незавитые пряди волос, и коричневые, на низком каблуке туфли с пряжками — все это не соответствовало нашим провинциальным представлениям об элегантности. «Ничего особенного!» — шептались мы позже, спускаясь по лестнице...

На чем мы в тот день расстались, о чем договорились, тогда ли, позже ли узнала я о намерении Катерины Ивановны поставить с нами несколько одноактных пьесок — ничего этого не помню. Из пьесок запомнилась мне лишь та, в которой я сама играла. Это, впрочем, не пьеса была, а рассказ Тэффи, состоявший почти сплошь из монолога. Монолог произносит бывшая петербургская дама, ставшая в эмиграции портнихой. К портнихе приходит заказчица, к ней-то и обращен монолог, а заказчице едва удается прорваться с несколькими репликами. Портниха растрепана, полубезумна, ее волнуют сочетания цветов, она набрасывает на спинку стула яркие тряпки, любуется ими, требует, чтобы заказчица ими любовалась — это все, что я помню о рассказе, которого с тех пор не имела возможности перечитать...

Бринеры жили тогда еще в трехкомнатной квартире. Однажды утром я позвонила не без робости, и дверь от-

крыла мне сама Катерина Ивановна. Юбка, блузка, вязаная кофта поверх, сигарета в руке. «А! Пожалуйте, пожалуйте!» Из передней направо — открытая в комнату дверь, снимая пальто, я косила туда глаза — двуспальная кровать, покрытая чем-то пестрым, зеркало туалетного стола,— прямо из передней дверь в столовую, куда меня и пригласили. Овальный стол и стулья вокруг, синий диван углом, перед ним курительный столик с медной поверхностью. Разглядела я и третью комнату, называвшуюся, как я позже узнала, «корейская гостиная». Там были коричневые шторы и диван во всю стену, низкий лакированный столик, торшер с абажуром из промасленной бумаги, а на стволе торшера красовались огромные бабочкины крылья из тонкой позолоченной жести. Везде одноцветные ковры-бобрики и сияющие медные пепельницы... На квартиры русских харбинцев это не было похоже. Так, с ориентальным «кулёр-локаль», обставляли свои квартиры жившие в Китае англичане и американцы...

И был тут приятный запах, исходивший, быть может, от лакированных столиков и смешанный с хорошим английским табаком и тонкими духами,— я воспринимала эту смесь как запах богатства. Я держалась поначалу скованно, церемонно, пытаясь произвести на мадам Бринер приятное впечатление своей воспитанностью. Бормотала поминутно: «Благодарю вас!» — на спинку дивана не опиралась, сидела вытянувшись, сложив руки на коленях. Сумка моя сначала лежала рядом, затем была засунута за спину. Я удивлялась про себя тому, как скромно одета мадам Бринер, и руки без маникюра, и лицо без следа косметики, светлые стриженые волосы на косой пробор чуть подвиты и растрепаны... Дома она была иной, чем в инспекторском кабинете, разговорчива, усмехалась, обнажая красивые крупные зубы, осведомилась, как зовут меня и сколько мне лет, пыталась, видимо, вывести меня из оцепенения... Рассказала что-то о Лондоне, мимоходом ругнув англичан, упомянула о Москве, о театре... И мне внезапно: «Перестаньте крахмалиться!» Затем с усмешкой, скороговоркой: «Садитесь, я вам рад. Откиньте всякий страх и можете держать себя свободно!» Я не знала тогда, откуда эти строки, не знала и склонности Катерины Ивановны прибегать к цитатам, не вычитанным, а слышанным, слышанным, конечно, на сцене... Словечки ее и фразы я находила позже в пьесах, тогда мне не известных. Цитаты всегда произносились скороговоркой, как бы ми-

моходом, без намека на декламацию... В какой-то момент я, видимо, перестала «крахмалиться», то есть забыла о своей благовоспитанности и угнетавшем меня контрасте порыжелой черной сумки с прекрасным темно-синим сиденьем дивана... Уже я чувствовала непохожесть этой женщины на всех, кого я знала, уже не видела смущающей роскоши обстановки, видела только лицо, ко мне обращенное, подвижное, изменчивое лицо... Слова, употребляемые ею, были необычны, непривычны (вроде «крахмалиться», «зернистая мыслишка»), фразы она строила неуклюже, о грамматике мало заботясь, сказуемые часто отсутствовали, я напрягалась, чтобы понять ее, а поняв, радовалась, ибо видела то, о чем мне рассказали... Быстро двигаясь на стройных легких ногах, она сбегала в спальню, принесла книжку Тэффи, велела мне тут же рассказ прочитать, прерывая мое чтение вопросительными восклицаниями: «Ну, доходит? Чувствуете?»

Утро. Бриннер на службе. Тишина квартиры изредка нарушалась звуками из кухни, что-то звякнуло, застучал и смолк нож... На пороге столовой вдруг появился китаец в белом халате, спрашивающий хозяйку, с чем делать пирожки. С мясом? С капустой? Лицо Катерины Ивановны внезапно стало смущенным, извиняющимся, чуть ли не заискивающим,— не раз впоследствии я видела это выражение, появлявшееся на ее лице, когда она разговаривала с теми, кто был у нее в подчинении: с шофером, с поваром, с горничной... «Ничего я тут толком не знаю, не смыслю, не умею,— как бы говорило это лицо,— и вам прекрасно известно, что я ничего не умею, так не терзайте же меня вопросами!» Она сказала повару: «Ну, с чем хотите!» — и повар ушел. К китайской прислуге, говорящей по-русски, обычно обращались на «ты», но я не успела над этим задуматься, Катерина Ивановна вскочила, воскликнув: «Я полная кретинка! Ведь Боречка просил с мясом!» И побежала на кухню.

Я ушла, унося с собой книжку Тэффи, ушла растерянная, взволнованная, условившись, что снова явлюсь через три дня... Я не знала, что думать об этой женщине, таких я не видела, я вообразила ее в обществе моей матери и подумала, что друг другу они не понравятся... А мне она нравится? Она мне интересна, это я знала твердо, интересно смотреть на нее, слушать ее, и мне уже не терпелось вновь войти в эту квартиру.

В следующий раз Катерина Ивановна стала мне пока-

зывать, как надо играть безумную портниху. Сначала портниха одна в комнате что-то шьет, и я обомлела, глядя на то, как Катерина Ивановна вдевает невидимую нитку в невидимую иголку и делает стежки на невидимой материи... Но это фокус какой-то! Я готова была поклясться, что вижу и нитку, и иголку (она даже блеснула, проклятая!), но когда наваждение кончилось, в руках у Катерины Ивановны не оказалось ничего — ни иголки, ни нитки, ни куска материи. «Ну-ка, попробуйте!» Да господи, да разве я смогу... Попробовала. Не смогла. Еще раз попробовала. Ничего не получалось. Катерина Ивановна говорила: «Как вы держите иголку? Да вы шили когда-нибудь?» Шила я всегда скверно, уроки рукоделия в школе были сплошной мукой, я созналась в этом упавшим голосом, мне сказали: «Не впадайте в мрак. Пока пойдем дальше!» А дальше она принесла из спальни шарфы, косынки, две блузки (одна ярко-красная) и стала показывать, как портниха набрасывает все это одно за другим на спинку стула, пятясь, отходит, любуется сочетанием цветов, что-то безумно бормочет... Я повторила то, что показали мне, услыхала: «Не то!» — и затем: «Сядем. Закурим. Поговорим». В жизни своей я еще не курила, но взяла предложенную мне сигарету (английские сигареты «Крейвен-Эй» в круглой красной баночке) и тут же о сигарете забыла, слушая Катерину Ивановну. Она говорила то, чего у Тэффи написано не было: о петербургском прошлом портнихи, о ее жизни в эмиграции, о бедности, об одиночестве — и, говоря, несколько раз меняла выражение лица, превращаясь в эту портниху, и жалкую, и смешную... Спросила: «Прониклись?..» Несколько раз я пыталась накидывать тряпки на спинку стула так, как это сделала бы портниха, пятилась, любуясь сочетанием красок, слышала: «Нет! Не верю!» — и все начиналось сначала. Но наступил момент, когда в походке, в жестах, в лице моем, видимо, блеснуло что-то, чего от меня добивались, ибо я услыхала: «Вот! Вот-вот!»

Я стала приходить в дом Бринеров не то раз, не то два раза в неделю — остальные дни Катерина Ивановна репетировала с другими участниками спектакля. Не знаю, как с другими, а со мной она не только работала. Мы разговаривали в промежутках, и она много рассказывала мне о прежней своей жизни. Я услыхала о Диком (его неизменно называли «Алешка» и говорили: «В лице что-то от кобчика»), о московских подругах Катерины Ивановны

(«Сима Бирман», «Соня Гиацинтова», «Оля Пыжова», «Лида Дейкун»), часто поминался «Константин Сергеевич», и я, кажется, не сразу усвоила, что он и Станиславский одно и то же лицо. Кусочки мне неведомой, яркой, интересной жизни приоткрывались в этих рассказах, я слушала не дыша...

Однажды Борис Юльевич, явившись из конторы в обеденный перерыв, застал в столовой полный беспорядок: стулья отодвинуты, везде валяются портнихины тряпки, стол не накрыт... Катерина Ивановна всплеснула руками: «Господи! Боречка!» — и я вспомнила, что повар Лю уже дважды появлялся на пороге, пытаясь, видимо, сказать, что вот-вот приедет хозяин, но от Лю отмахивались: «Потом! Не мешайте!» Катерина Ивановна кинулась убирать тряпки, Лю — выносить пепельницы и накрывать на стол, а Борис Юльевич, улыбаясь, покачивая головой, распахнул обе форточки... Я бочком пробралась в переднюю, думая одеться и уйти, но наткнулась на выскочившую из спальни Катерину Ивановну: «Куда вы? Обедайте с нами!»

Проветрено, пепельницы вымыты, стулья стоят чинно, стол накрыт, у приборов подкрахмаленные салфетки —это уже не та комната, в которой я освоилась. Сейчас эта комната соответствует виду ее хозяина — отглаженные серые брюки, рыжий ворсистый пиджак, белая рубашка, подчеркивающая приятную смуглость лица. Мне казалось, что этот коренастый, широкоплечий человек привык ко всему первосортному — к лучшим местам в спальных вагонах, к дорогим отелям — и никогда ни в чем не знал недостатка... Он разложил на коленях салфетку, налил воду из графина в стакан, намазал хлеб маслом, движения уверенные, спокойные, точные, одновременно улыбался, спрашивал «Катюшу», как шла сегодня работа, задавал вопросы мне... Повар Лю немедленно превратился в слугу из хорошего дома — движения неслышные, лицо непроницаемое. Подтянулась и Катерина Ивановна, она успела в спальне пригладить волосы и губы подкрасить... Я старалась вести себя со всей доступной мне благовоспитанностью, сидела прямо, помнила о локтях и в этих заботах не замечала, что я ем. Борис Юльевич любезно осведомлялся, какова моя семья, давно ли я окончила школу, чем занимаюсь... Я отвечала коротко, скованно, и, видимо, чтобы меня подбодрить, Катерина Ивановна заявила: «Способная девушка!» — а затем начала рассказывать, как идет работа с другими, есть способные, а есть «пол-

ные бездари», от одной из пьесок придется отказаться. Борис Юльевич слушал с доброй, чуть снисходительной улыбкой,— так слушают избалованных любимых детей...

Вскоре в наших утренних занятиях приняла участие партнерша (заказчица безумной портнихи), затем репетиции были перенесены в здание ХСМЛ, на новую только что построенную сцену, и наступил вечер спектакля. Катерина Ивановна в старом японском кимоно, надетом поверх платья, завязав голову косынкой, сама нас гримирует, слышно, как гудит голосами наполняющийся зал, и внутри у меня все дрожит от страха...

Я отличилась в тот вечер. Играя безумную портниху, я накидывала на стул тряпки, пятилась, любуясь сочетанием цветов, и однажды попятилась дальше, чем следовало, шагнув туда, где деревянное возвышение сцены кончалось. Нога моя скользнула по краю, я едва не упала, но сбалансировала, удержалась, продолжала играть. Боли не почувствовала, ощутила ее позже, отыграв, откланявшись. Под порванным чулком обнаружился огромный кровоподтек. Всем, кто приходил за кулисы нас хвалить, Катерина Ивановна сообщала о моем «героизме», и я была горда и счастлива безмерно.

Несколько дней я жила происшедшим, допрашивала мать и сестру об их впечатлениях, интересовалась, кто им понравился больше всех, это вымогательство похвал им надоело, мне уже отвечали насмешливо: «Ты, конечно! Ты! Кто ж еще?» Но я не могла удержаться, я спрашивала: «А видно было, что я чуть не упала?»

Однажды весенним утром я проснулась рано, мать и сестра еще спали. Сегодня моя очередь заниматься хозяйством — кипятить воду, бежать за хлебом. Скверно, но не от этого же мне так тоскливо. А тоскливо потому, что все кончено. Работа над ролью портнихи, рассказы Катерины Ивановны и то, как мы десять дней назад вместе ездили покупать грим и я впервые услыхала слово «гумоз»,— все ушло, все прошло. Наш быт, уроки, институт, зубрежка китайских иероглифов, эти будни я легко выносила, пока они освещались праздниками — посещениями Катерины Ивановны. А сейчас впереди ничего не светит, и как жить?

Открыв в то утро наш старый гардероб, я испытала внезапную радость, не сразу осознав, чему я радуюсь... На дне гардероба валялось нечто ярко-красное, не мое, не наше, я узнала порванную блузку Катерины Ивановны,

одну из портнихиных тряпок... В голове моей возникла картина: я с блузкой в руках звоню у знакомой двери: вот, пожалуйста, это ваше, случайно захватила, и меня приглашают войти...

И все же робела, звоня. Встретили меня радостно: «А! Наталья! Пожалуйте, пожалуйте!» И настолько не удивились моему приходу, что явиться можно было бы и без предлога... Блузку — я все тыкала ее вперед, оправдываясь,— равнодушно отстранили: выбросить ее надо было, а не тащить... Я видела: мне рады. Я чувствовала: ей скучно. Я не понимала, что она делает, чем занята в те долгие часы, пока Бринер на службе. Читает? Но книг в этом доме не было заметно. А она тем временем, пробормотав свое: «Садитесь, я вам рада. Откиньте всякий страх...» — заговорила о школьном спектакле, и мы обсудили его во всех подробностях, неторопливо, вкусно, и Катерина Ивановна давала меткие характеристики участникам спектакля, смешно изобразила директора школы, американца мистера Хейга, потом изобразила суетливого Пуцято, вновь хвалила меня за «героизм» («А как нога?») и повторяла то, что уже говорила мне за кулисами,— какие куски получились «гениально», а какие смазались,— но я готова была слушать все это в тысячный раз... В окно светило солнце, сияла медная корейская пепельница, в руке моей дымилась сигарета, она не вызывала у меня такого отвращения, как прежде, и я с удовольствием думала, что, кажется, скоро научусь курить...

Явившийся к завтраку домой Борис Юльевич тоже не удивился моему присутствию, а вроде бы обрадовался, был приветлив, мил, но подействовал на меня сковывающе, мне не было с ним легко, и позже, когда я стала в этом доме своим человеком, контакта с Борисом Юльевичем у меня так и не возникло; если случайно мы оставались один на один, в разговоре провисали паузы, во время которых я мучительно придумывала, что бы такое сказать... «Ты для него не человек, ты игрушка, назначение которой развлекать его обожаемую Катюшу!» — вырвалось как-то у моей матери. Это было сказано в раздражении, однако доля истины, мне думается, тут была...

В тот мой приход с блузкой Борис Юльевич внезапно предложил мне давать Катерине Ивановне уроки английского языка. Она уже немного занималась английским в Лондоне. «С дочерью Альбиона,— вставила Катерина Ива-

новна,— с полной кретинкой!» И тут же, сложив губы трубочкой, взглянула на нас с тупым высокомерием, и я расхохоталась, а Борис Юльевич улыбнулся доброй, отеческой улыбкой.

В следующий раз я принесла с собой учебник Берлица — у матери было полно учебников. Катерина Ивановна не знала почти ничего. Начинать пришлось с «это есть стол», «это есть стул» и «это есть карандаш». Катерина Ивановна покорно за мной повторяла, но удержать ее в покорности удалось мне ненадолго. Вот она вспомнила какой-то интересный случай, происшедший с ней в Москве,— все интересное, все достойное рассказов случалось с ней только там! — и глаза ее, до этого момента скучные, узкие, блеснули, стали больше, и случай был мне рассказан, и я смеялась. Отсмеявшись, призвала ее к порядку, спросив по-английски: «Что это такое?» — «Зи пенсил, то есть, черт, тэйбл»,— мрачно отозвалась Катерина Ивановна.

Она сопротивлялась моим попыткам чему-то научить ее. Утверждала, что английский язык ее раздражает. «Как? Мужчина — он, женщина — она, а ребенок — оно? Что ж, он так в «оно» и вырастает? Кретинизм!» Я терялась, не зная, что ответить, позже вспоминала, что и по-русски «дитя» — оно, в следующий раз говорила об этом Катерине Ивановне, но впечатления на нее не производила. Как строптивая лошадь, она то брыкалась, то сворачивала с дороги, вожжи выпадали из моих неопытных рук, подобрать их мне долго не удавалось... Приходил к завтраку Борис Юльевич: «Ну как ваши занятия?» — «Чудесно!»— не моргнув лгала Катерина Ивановна. Я молчала, чувствуя себя сообщницей. Было совестно: за что мне собираются деньги платить? Я попробовала проявить твердость. В следующий раз пыталась не дать ей отвлекаться (из этого ничего не получилось), а после урока заявила: «Нет, так нельзя заниматься. Ничего у нас не выйдет!» Катерина Ивановна взглянула на меня неприязненно: «Вы плохой психолог. Нельзя вгонять человека в мрак, заранее талдыча, что у него ничего не выйдет!» Меня очень огорчили и взгляд этот, и слова, я, значит, будучи плохим психологом, не умею ее учить, к ней нужен особый подход, я не нашла его... Ушла расстроенная. А потом обиделась. Мысленно спорила с Катериной Ивановной. Требовала от нее, чтобы она сказала, хочет она учить английский язык или не хочет. И чего она, собственно,

ждет от меня? И прочее, и прочее... Горячие речи произносила, но вслух их произнести не решилась. Махнула рукой. А, в конце концов... Она взрослый человек, и будь что будет...

Уроки наши длились не больше месяца, прервались переездом Бринеров на дачу и уже не возобновлялись. Катерину Ивановну я ничему не научила, зато многое узнала сама. Я совершенно освоилась в кругу московских друзей Корнаковой, знала их имена, их характеры, их шутки и кто в каком спектакле играл... Выдались за этот месяц две ночи, когда мы с Катериной Ивановной до рассвета просиживали у остывшего самовара. Борис Юльевич уехал по делам в Мукден, и я жила у Катерины Ивановны, ночуя на диване в корейской гостиной. Утром мне надо было бежать на уроки, и я убегала, не дожидаясь пробуждения хозяйки дома. Будила меня жена повара Лю, молоденькая китаянка, бывшая здесь прачкой и уборщицей. Она отдергивала шторы, трясла меня за плечо и уходила. Огромные бабочкины крылья из позолоченной жести горели на солнце, с портрета, писанного пастелью, на меня глядел старый кореец с жидкой бороденкой, в национальной шляпе, похожей на крошечный цилиндр, мне было странно тут просыпаться, странно, что в комнате я нахожусь одна. На кремовом однотонном ковре стояли мои старые туфли, на кресле валялась одежда, это нарушало гармонию комнаты, оскорбляло ее, я быстро одевалась, пила кофе в прибранной, проветренной столовой, выскакивала на улицу, глазам было больно от солнца... Я не высыпалась, это меня нисколько не огорчало, огорчало мать — я имела неосторожность ей проболтаться, что накануне легла в четыре утра... «Она-то может полдня спать, а ты не можешь, следовало бы ей об этом подумать, а не держать тебя до утра!» — было мне сказано, а затем тоном небрежным, мимоходным, которым мать пыталась маскировать свою ревность к Катерине Ивановне: «И о чем же это вы болтали всю ночь?»

Я отвечала уклончиво. А болтали мы о многом. Я не только слушала Катерину Ивановну, но и сама говорила... О своей жизни, о детстве, о мыслях, о чувствах,— давно я нуждалась в ком-то, кому могла бы все это выплескивать. Мне льстило, что эта удивительная, ни на кого не похожая женщина, которая к тому же на двадцать лет меня старше, принимает меня на равных, всерьез... Она говорила со мной как с подругой, рассказывала об отношениях своих

с Диким, о его трудном характере, о своих романах рассказывала,— тут мне сообщить в ответ было нечего, этого опыта я еще не имела, для своих лет была довольно инфантильна, как теперь вспомнишь...

Однажды мне захотелось ей сказать, что в присутствии своей матери и ее знакомых я всегда помню, что они взрослые, что нас многое разделяет и веду я себя с ними соответственно, а ее, Катерину Ивановну, хотя она и близка к ним по возрасту, ее я воспринимаю иначе, мне с ней легко, как со сверстницей... Этой тирадой я думала Катерину Ивановну обрадовать. Случилось иначе. Слушали меня холодно, глядели отчужденно, я стала путаться в словах, наконец замолчала растерянно, и была долгая пауза... Позже я догадалась, в чем дело. Она привыкла ходить в молодых, привыкла быть «Катюшей», ей не нравилось, что ее запихивают во «взрослые» (да и слово-то это в устах человека моих уже не детских лет, видимо, ее раздражало!), ей не нравилось, что ее громоздят на одну ступеньку с моей матерью,— та была лет на семь старше Катерины Ивановны. И вообще разговоры о возрасте раздражали ее. Она была актриса, ей было под сорок, это ее беспокоило. Но где было мне сразу догадаться об этом! Я и в самом деле была плохим психологом. Огорчалась, что не могу научить ее английским глаголам и местоимениям,— чего же я хожу, за что мне деньги платят? А ей не английский язык был нужен, а общение с молодым существом, глядевшим на нее восторженно, ощущавшим ее талантливость, ее непохожесть на других.

Ей «подменили жизнь». К той, в которой она очутилась, она была неприспособлена совершенно. Не умела заполнить день магазинами, тряпками, игрой в бридж или мачжан, болтовней с дамами «своего круга» — женами харбинских коммерсантов и служащих иностранных фирм. Она называла этих дам «индюшки» и «куриные зады».

Одна из таких дам явилась к Катерине Ивановне с визитом, когда Борис Юльевич был в отъезде. Катерина Ивановна, веселая, растрепанная, только что оживленно со мной болтавшая, с появлением посетительницы преобразилась, сидела в позе школьницы, сложив на коленях руки, улыбка вымученная, приклеенная, в глазах тоска. Это она пыталась превратиться из Катюши Корнаковой в мадам Бринер, но не в надменную мадам Бринер, а в кроткую, скромную, своим высоким положением тяготящую-

ся... Дама попалась из бойких, щебетала без умолку сначала на дачные темы, затем на театральные, удивлялась, почему Катерина Ивановна не играет в Харбинском драматическом театре. «Ведь вы, говорят, играли в Художественном?..» После ухода дамы Катерина Ивановна взялась за голову и пробормотала: «Не образумлюсь, виноват, и слушаю — не понимаю!» Затем изобразила мне эту даму — маленькую, худенькую, востроглазую, в кружевах и бантиках,— я смеялась. Сказала: «Такое чувство, будто на голове у нее лира. Сама верещит, и лира на голове. Она, верно, и мужу отдается, не снимая с головы лиры!» Тут уж я хохотала взахлёб. Меня насмешила лира, ошарашила та легкость, с которой Катерина Ивановна коснулась постельной темы, и радовало, не скрою, унижение богатой и важной дамы. Богатые харбинцы к моей жизни касательства не имели, существовали в другом измерении, но вот я стала с ними пересекаться в доме Бринеров, видела их глазами Катерины Ивановны и от этого ощущала себя лучше их...

В том мае мы с матерью и сестрой доживали последние дни в доме Ягунова, нас выгоняли за неплатеж... Но уже с помощью Катерины Ивановны я была кое-как приодета. Когда-то мать моей школьной подруги пыталась подарить мне две пары чулок, я их отвергла с горькой улыбкой, сочла себя униженной и, рассказывая об этом матери, разрыдалась. «Чепуха! — сказала мать.— Выдумки! Никто не хотел тебя унизить! В этом доме знают, что твой отец умыл руки, я бьюсь одна, к тебе хорошо относятся...» — «Я не горничная, чтобы мне дарили чулки!» — «Ты ведешь себя как горничная!» — «Лучше я буду ходить в лохмотьях!» — «И все из романов,— усмехнулась мать.— Ну что ж, ходи в лохмотьях!»

А от Катерины Ивановны я без звука принимала и слегка поношенные туфли, и блузки, и те же чулки. Она давала вещи с какой-то деловитой простотой. «Ну-ка, померьте эти туфли! Не жмут?.. Гениально. Оставьте их себе!» — «Но... Но я...» Меня перебивали: «А вот вам еще блузка. Имейте в виду: вам нельзя носить никаких рюшей, оборочек, бантиков. Ваш стиль — спортивные английские фасоны!» Этот тон меня связывал, взбрыкнуть, обидеться казалось неуместным, глупым, я боялась уронить себя в глазах Катерины Ивановны... Она говорила: «Надо уметь легко брать и легко отдавать!» И этому она научила меня, и многому другому...

Мать молчала, но я чувствовала — ей не нравится, что я пропадаю у Бринеров. Она с ними познакомилась во время нашего спектакля, а затем, когда я стала давать уроки и часто в доме бывать, Борис Юльевич пригласил мою мать на ужин. Ужин парадный, видимо, один из тех приемов, которые время от времени устраивал у себя Бринер, знакомясь с харбинским «светом». Мать к этому «свету» не принадлежала, но Борис Юльевич, человек воспитанный, понимал, что раз в доме постоянно бывает дочь, надо пригласить и мать. Мать отправилась одна, меня не звали, и я втайне надеялась, что они с Катериной Ивановной — ну, не то чтобы подружатся, но хотя бы понравятся друг другу... Впрочем, не надеялась, а мечтала об этом как о чуде. Понимала, что эти женщины несовместимы.

Я легко представляю себе этот ужин, хорошо одетых дам и мужчин, мою мать в ее единственном парадном платье (черное с золотыми паутинками, дважды перешитое), мать, давно на таких приемах не бывавшую, но не только не дрогнувшую при виде богатого стола в хрустале, в серебре, в крахмальных салфетках, но ощутившую себя легко и свободно, будто и дома у нее все такое же, а не теснота, не бедность, не закопченный чайник на столе, посреди ученических тетрадей. Мать побивала украшенных драгоценностями дам умением естественно и просто держать себя, умением вести приятную застольную беседу и произвела впечатление на Бориса Юльевича, позже сказавшего мне: «Сразу видно даму из хорошей семьи!» — на что Катерина Ивановна отозвалась сердито: «Не понимаю, что это значит «хорошая семья»? «Интеллигентная семья» — это мне понятно!..» Да, мать блистала за этим ужином «нуворишей», как она презрительно охарактеризовала мне гостей Бринера, однако самого Бориса Юльевича из этого общества выделила: «Приятный человек. Жалко его».

Мать была в этом доме впервые, но ощутила в нем отсутствие хозяйки, поняла, что хорошо накрытый стол, вина и яства, вовремя приносившиеся из кухни приличной немолодой горничной в белой наколке,— результаты стараний Бориса Юльевича, успевавшего и беседовать с гостями, и угощать их, и краем глаза горничной знаки подавать... Хозяйка была, сидела во главе стола, улыбалась, но ее как бы не было. Отвечала на вопросы, иногда, будто спохватившись, говорила: «Кушайте, кушайте», а дать направление беседе, а занять гостей не умела. Впрочем,

лучше бы и не пыталась. Из этой ее попытки, кроме конфуза, ничего не вышло!

А случилось вот что. Уже перед самым десертом Катерина Ивановна, выпив столько-то рюмок водки, раскраснелась, оживилась, стала что-то рассказывать, как рассказывала, бывало, за московскими дружескими застольями, увлеклась, вдохновилась, забыла кто ее слушает. А горничная, кончив обносить десертом гостей, остановилась у плеча Катерины Ивановны, та этого не замечала, пока блюдо не было подсунуто к ее лицу... Это нарушило вдохновенное течение рассказа. Катерина Ивановна уставилась на дрожавшие перед ней порции желе, не сразу сообразив, чего хотят от нее, а сообразив, отстранила блюдо, произнеся вполне внятно: «Иди в ж...!» И тут же по легкому движению, происшедшему среди изумленных гостей, готовых, однако, делать вид, что ничего не было, услыхала себя, но притворяться, что ничего не было, не стала, не в ее характере... И она, изобразив на лице ужас, похлопала пальцами по губам — и комической скороговоркой: «Извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь!» И общий смех и укоризненно-добродушное покачивание головой Бориса Юльевича, а затем рассказы по всему Харбину: «Нет, вы подумайте, что она себе позволяет, эта новая мадам Бринер!» Изложив мне случившееся за ужином у Бринеров, мать добавила: «Несомненно, она человек своеобычный, талантливый, но впечатление такое, что совершенно необразованна!»

Впечатление это было правильным. У меня складывалось такое же. Я сама в те годы ничего толком не знала, но за моими плечами была средняя школа, и я с легкостью могла ответить на вопрос Катерины Ивановны, однажды заинтересовавшейся тем, какой царь был в России после Екатерины Первой. Ответив, я услыхала: «Смотри-ка, знает! Образованная девушка!» И, как всегда, это было сказано комической скороговоркой.

Читать ее не тянуло. В разговоре она упоминала лишь две книги двух писателей — «Зеленую шляпу» Майкла Арлена и какое-то произведение Сергеева-Цванского, не помню, какое именно... Почему только эти две книги? Видимо, тут играла роль случайность — книги эти были кем-то ей рекомендованы, подсунуты, прочитаны и застряли в ее памяти. Ей были известны авторы тех пьес, в которых она играла сама, и тех, которые ставились в Художественном театре — 1-м и 2-м. Она играла Сашеньку в

«Селе Степанчикове», видела на сцене «Братьев Карамазовых» — этим, мне кажется, было ограничено ее знакомство с Достоевским. Чехов коснулся ее инсценировками рассказов («Ведьма» и другие), Бабель — «Закатом» (роль Маруси), Шекспир — «Укрощением строптивой» (роль Катарины), Виктор Гюго — «Человеком, который смеется» (роль Джозианы) и так далее... Все ее цитаты были из каких-нибудь пьес; проговорив со мною полночи и решив наконец ложиться спать, она произносила неизменное: «День окончен, Балладина!», и я лишь годы спустя узнала, что это слова из произведения польского поэта Словацкого, ставившегося на сцене МХАТа 2-го.

Ей были чужды и музыка, и литература, а уж политика и подавно, тут она обнаруживала полную беспомощность, хотя, надо полагать, актеров учили политграмоте... И с этой вот девственностью, с этой нетронутостью знаниями она, по отзывам всех, кто видел ее на сцене, актриса была великолепная, актриса божьей милостью. О том, как высоко ценил ее дарование К. С. Станиславский, говорит его запись, сохранившаяся в архиве А. К. Тарасовой в Музее МХАТ: «...школа и студии существовали для того, чтобы выработать одного Чехова и одну Тарасову и Корнакову». Эта женщина была, по-видимому, задумана как аппарат узкого назначения, ее создали лицедейкой, актрисой, ничем больше. Для выполнения же этого предначертания она имела все: и актерский «таинственный дар», и наружность. Среднего роста, с красивыми ногами, она могла казаться и высокой, и небольшой. Зеленые глаза ее бывали и огромными, и узенькими, из ее носа, немного вздернутого, с вырезанными ноздрями, можно было сделать и прямой, и горбатый, и какой угодно.

Актриса. Ничего другого не умела, ничем другим не интересовалась. Она, конечно, этого про себя не знала, когда решилась, выйдя замуж за Бринера, уехать с ним. Очутилась в положении дамы, жены богатого человека, и растерялась, не зная, чем занять себя, не понимая, как теперь жить. Померещился ей вот какой выход: ребенок.

В июне Бринеры переехали на дачу. Потом они будут проводить летние месяцы в Северной Корее, на берегу моря, но летом 1934 года дом в Корее еще не существовал. Борис Юльевич нанял дачу в месте, которое харбинцы кратко называли так — «За Сунгари». Песчаное, унылое, почти лишенное деревьев место, но зато воздух, простор,

широкая река. Бринеры поселились там вместе с семьей Остроумовых — муж, жена, двое детей. Остроумов был юрисконсультом фирмы «Бринер и К°», а жена его, Нина Юльевна, приходилась родной сестрой Борису Юльевичу. В городе Остроумовы жили в соседнем с Бринерами доме, я была уже с этой семьей знакома.

Кончились мои уроки с Катериной Ивановной. Прощаясь, она дала мне адрес («Непременно приезжайте!») и внезапно добавила: «Между прочим, я бэрэмэнна!» Так и было сказано, с восточным акцентом, от застенчивости, что ли? Сообщение меня и смутило, и удивило. Тогда мне казалось, что пожилым женщинам, которым под сорок, в таких положениях бывать не пристало.

Они уехали за Сунгари, а мы, прогнанные из дома Ягунова, перебрались на летние месяцы в бесплатное помещение — в пустой класс школы, где мать преподавала. Первый этаж, три огромных окна, в них любопытно заглядывают прохожие, утром некуда деться от солнца и чем занавесить окна? Было чувство, что мы живем на улице. Ящики с бумагами и книгами стояли нераспакованными, скоро опять переезжать. Не знаю, чем утешались мать и сестра в этой неуютной, бивуачной, бездомной жизни, меня же поддерживала мысль о том, что я вот-вот поеду на весь день к Бринерам. Недельку-другую надо погодить, не сразу же мчаться, в ближайшее воскресенье ехать рано, а в следующее поеду непременно.

Оно наступило наконец, и я облачилась с утра в голубое полотняное платье, Катериной Ивановной подаренное, мое самое лучшее. Денег было в обрез, только на лодку туда и обратно, но больше ничего и не нужно. Я торжественно объявила домашним, что уезжаю на целый день... И вот гребет полуголый китаец-лодочник в синих вылинявших штанах, на реке много других лодок, погода жаркая, Сунгари спокойна, я сижу на корме, мне кажется, что я хорошо одета и собой недурна, мне нравится этот солнечный мир, я полна приятных мечтаний... Мне скажут: «Садитесь, я вам рад...» Потом пойдем гулять. Потом будем обедать: хорошо накрытый стол, салфетки, что-нибудь вкусное на третье... Жаль, конечно, что там супруги Остроумовы. Они со мной любезны, даже иногда вспоминают, как меня зовут, но мне неуютно в их обществе...

Высокий элегантный Остроумов с прямым, каким-то «военным» затылком и пятнышком усов над длинными, изогнутыми губами был ироничен, всегда острил, в его по-

вадке, манерах было что-то пресыщенно-снисходительное, и мне чудилось, что, видя меня, он лишь из вежливости не спрашивает: «А эта что тут делает?» Супруге его Нине Юльевне подобный вопрос не приходил в голову лишь потому, что эта благополучная дама была поглощена мужем, детьми и собой, ограничила жизнь семейным кругом и все за пределы круга выходящее ее не интересовало.

Расплатившись с лодочником, я иду по песчаному берегу, обхожу пляж с распростертыми на нем коричневыми телами, начинаются дачные постройки, и вон впереди деревянный дом повыше других и получше, это, видимо, здесь...

Катерина Ивановна и Нина Юльевна сидели в плетеных креслах у стены дома и шили. На Нине Юльевне что-то светлое, на Катерине Ивановне — пестрое, ситцевое, голова повязана косынкой. Я подошла ближе. Нина Юльевна увидела меня первая, подняла голову: «А! Здравствуйте! Катюша, к тебе!» Катерина Ивановна успела загореть. Лицо, шея, руки лакированно блестели от крема. Под ситцевым платьем уже явно обозначился живот. Она подняла на меня глаза, и я удивилась тому, как она сейчас некрасива. Я ждала улыбки, ждала, что меня спросят, почему я долго не приезжала, но ни улыбки не было, ни вопроса, взгляд недружелюбен и хмур, и я мгновенно утратила ту веселую легкость, которая не покидала меня с момента пробуждения в это солнечное утро, почувствовала себя нескладной, неуклюжей и села растерянно на какую-то скамеечку... Катерина Ивановна, хмуро со мной поздоровавшись, снова уткнулась в шитье, а Нина Юльевна завела со мной тот разговор, которым занимают малознакомых, неинтересных посетителей... Как поживает мама? Спасибо, хорошо. Да, мы недавно переехали... (Я бы и под пытками не призналась Нине Юльевне, что мы живем из милости в школе!) ...Брат? У меня нет брата. У меня сестра... Особенно скверно было оттого, что Нина Юльевна, эта равнодушная и самодовольная (как мне казалось) дама, явилась свидетелем моего унижения, а вот из вежливости выручает меня, говорит со мной, надо встать, проститься, уйти, но я будто приклеилась к проклятой скамейке и покорно отвечала на вопросы... В Ориентальном институте... Главный предмет — китайский язык... Да, очень трудный... Катерина Ивановна все шила с каменным лицом, как не идет ей низко повязанная косынка; сама зазывала меня в гости, а сейчас даже не сделала над

собой усилия, чтобы хоть улыбнуться, невоспитанный человек, распущенный человек, права мама, права... «На весь день!» — заявила я радостно, убегая из дому утром, вот тебе и на весь день! Хвасталась, что еду к Катерине Ивановне, меня там ждут, никто меня не ждал, никому я тут не нужна; встать, уйти, куда? Дома спросят насмешливо: «Ты что это так быстро?» Да и слишком долго я мечтала об этом дне на воздухе и солнце, в обществе Катерины Ивановны, чтобы сразу сдаться, все обрубить, вернуться в будни, в неуютное жилье, а впереди длинный летний пустой день... Вопреки разуму, вопреки здравому смыслу тлела, тлела надежда, что меня еще приветят, что меня так не отпустят...

Фантазия Нины Юльевны на вопросы истощилась, она стала шить, пауза длилась, становилась непереносимой, я уже мысленно командовала себе: «Раз, два...», готовясь на «три» откленться от скамейки,— и вдруг за спиной заботливый голос Бориса Юльевича: «Не жарко тебе тут, Катеринушка?» И лицо Катерины Ивановны изменилось, просияло, и — тонким, каким-то «девочкиным» голосом в ответ: «Нет, Боречка, мне хорошо!» Загорелый, в рубашке с короткими рукавами, в шортах защитного цвета, бодр, весел, спортивен был Борис Юльевич, сообщивший нам, что идет играть в волейбол. «Вот и девушку возьми с собой, что ей с нами скучать!» — тем же кротким голоском сказала Катерина Ивановна и улыбнулась ласково, не мне, Борису Юльевичу... И я поплелась с ним на площадку, где летними воскресеньями собирались члены спортивных кружков, играли в разные игры, купались, загорали... Я в своем лучшем платье странно выглядела среди людей в трусах, майках, купальных костюмах, переодеться мне было не во что, но я играла в волейбол с членами кружка «деловых людей» в компании Бориса Юльевича, играла скверно... Мяч иногда падал в реку, а затем, мокрый, в песке, пачкал мое лучшее платье, мне было все равно... Я проклинала себя за то, что не смогла уйти сама, дождалась, что меня услали, или, называя вещи своими именами, прогнали. И вот играю зачем-то в мяч со стариками, постоянно мажу, бездарна, безвольна, ни на что не годна...

Совершенно не помню, долго ли я оставалась на площадке, где в тот день обедала и обедала ли вообще... Помню лишь, что в город я возвращалась под вечер, по розовой реке, с других лодок слышались веселые голоса и

смех, платье мое было грязно и измято, я ощущала себя некрасивой, одинокой и лишней на этом, так сказать, жизненном пиру...

На дачу к Бринерам я больше не ездила, об оказанном мне приеме дома не обмолвилась ни словом, до осени Катерины Ивановны не видела. Кончилось лето и с ним бесплатное житье в школе, и мы переехали на Конную улицу Пристани, тоже в дом гостиничного типа, в мрачную комнату, куда солнце заглядывало лишь утром ненадолго... Слева от двери в углу находился умывальник, я спала головой к умывальнику, на сундуке, который стоял параллельно спинке буфета. На той же линии, правее и тоже задом к двери, стоял наш старый гардероб. Эти два предмета перегораживали комнату, создавая иллюзию передней, я спала, таким образом, в передней. Напротив входа — окно, слева у стены — диван, где спала мать, справа от окна — ее письменный стол. Посредине — стол обеденный. Рядом с ним на ночь ставилась раскладушка для сестры. Когда у нас ночевала приятельница, ее укладывали на обеденный стол. Утром мы кипятили на спиртовке чайник, днем грели на ней обед, взятый из ресторана, один на троих. Нам с сестрой этого не хватало, мы всегда были голодны, не поэтому ли я так помню волнующие запахи кофе и пирожных из кафе «Марс», мимо которого я каждый день ходила... Осень. Лекции в Ориентальном институте. Весна, спектакль, дружба с Катериной Ивановной — все позади, все кончилось, я старалась выбросить ее из головы, я не понимала, почему меня так нехорошо встретили летом, объясняла тем, что я в чем-то виновата, что-то не так сказала, не так сделала, однако вины за собой не ощущала, сердилась на Катерину Ивановну, видеть ее больше не собиралась... Однако когда кто-то передал мне ее просьбу к ней зайти, я помчалась тут же. Катерина Ивановна изменилась, расплылась, подурнела — было это за месяц-полтора до ее родов. Встретила меня радостно, спрашивала, куда я пропала, почему не появляюсь... Были у меня приготовлены какие-то горькие намеки на ту летнюю встречу, но произнести их язык не повернулся. Катерина Ивановна была так ко мне расположена, так ласкова, добра... И к тому же мне помнились ее слова когда-то, по какому-то поводу сказанные: «Что я ненавижу, так это выяснять отношения!» Катерина Ивановна делала вид, что ничего не произошло, делала вид и я. А быть может, она искренне считала, что ничего не произошло?.. Она го-

ворила, что ей осточертела эта дача за Сунгари, было смертельно скучно проводить день за днем с Ниной Юльевной, и — скороговоркой: «О чем говорить, когда не о чем говорить?» Унижение Нины Юльевны меня несколько утешило: с ней, значит, не о чем говорить, а со мной есть о чем... Катерина Ивановна сказала, что боится родов. Кажется, все идет как надо, но — боится... «Впрочем, не будем об этом. Расскажите о себе!» Я рассказывала о себе, обида моя мне уже казалась мелкой и глупой, и отношения наши вошли в прежнюю дружественную колею...

Понадобилось время, чтобы я нашла объяснение той оказанной мне летом встрече... Был, видимо, момент, когда Корнакова, ожидающая ребенка, решила, по примеру Нины Юльевны, ограничить свою жизнь домашним кругом: муж, его родственники, их дети, а другого чтобы не было ничего... О Нине Юльевне Катерина Ивановна говорила так: «Мы добродушны потому, что равнодушны». Но именно с этого органически ей чуждого человека решила брать пример. Я убеждена, что тем летом Корнакова работала над ролью: любящая мужа беременная женщина, этакое бесхитростное создание, все помыслы которой сосредоточены на предстоящем событии... И вот — деревянный дом на берегу реки, в будние дни мужья уезжают на работу, беременная женщина и ее золовка, проводив их, мирно шьют, беседуя о своем, о женском... Золовка родила двоих, мальчика и девочку, вон они там кувыркаются на песке, ей, золовке, есть о чем порассказать, поделиться опытом... К вечеру приезжают усталые мужья, их радостно встречают, ужин на веранде, бабочки бьются о стекло керосиновой лампы, с реки тянет сыростью, все пьют молоко и рано ложатся спать... Катерина Ивановна уже неплохо вжилась в образ, когда на сцене (мирное шитье и неторопливая беседа о своем, о женском) появилась я. Это появление было совершенно некстати, оно грозило выбить Корнакову из роли. Меня услали. Не знаю, надолго ли хватило Катерины Ивановны, могу лишь засвидетельствовать, что осенью она была уже прежней — с рассказами о Москве, о театре, с насмешками над собой и окружающими и с тоской в глазах.

«Талант — это наказание»,— сказал мне однажды один умный человек, и я всегда вспоминаю эти слова, когда думаю о Корнаковой. Ей было дано, а она не тратила, и талант, не находящий выхода, душил ее и мучал. Она пы-

талась обмануть его, притвориться, что его нет, искала спасения в ребенке.

Но роды ее окончились трагически: ребенок — мальчик — родился мертвым, задушенным пуповиной. Подобные несчастья, в которых никто не виноват, случаются сравнительно редко, но такое выпало именно ей на долю — кто скажет, почему? Было это в начале зимы, в ноябре ли, в декабре — не помню, не помню и того, как, от кого я узнала о несчастье, а вот визит Бориса Юльевича к нам на Конную улицу помню хорошо...

Приехал он вечером, так поздно, что мы уже готовились ко сну и комната наша была в самом для нее невыгодном виде, с застеленными на ночь диваном и сундуком, с расставленной раскладушкой — и без того тесно, а сейчас и не пройти. И были мы все трое в халатах, по нашей бедности не слишком приглядных. И вот стук в дверь, недовольный голос матери: «Кто там еще?» — и элегантный, в пальто, со шляпой в руках Борис Юльевич на пороге этого жилья, этих «недр», по выражению Достоевского... Смятение и ужас охватили нас. Впрочем, метались, запахивая халаты, лишь мы с сестрой, мать самообладания не потеряла. На мгновение изумилась, но тут же пришла в себя, встала, скомандовала: «Стул Борису Юльевичу!» — и ему, устремившемуся к ней: «Тут не пройдете, обойдите стол слева»,— и вот он целует ей руку, а она его в лоб, и лицо матери грустно-растроганное, и какие-то слова о его горе, и вопросы о здоровье Катерины Ивановны, а я тем временем за спиной Бориса Юльевича принимаю из рук сестры стул, протягиваемый мне над столом... И вот Борис Юльевич сидит, не сняв пальто, шляпа на коленях, просит прощения, что явился так поздно, а мать — против него, на своем диване, она еще не вынула шпилек из густых своих темных волос, вид у нее, несмотря на халат, вполне презентабельный, чего, кажется, нельзя сказать о нас с сестрой, но мы на глаза не попадаемся, сидим рядком на моем сундуке за буфетом, в укрытии, и умираем от любопытства — зачем это он к нам приехал? А он приехал, чтобы просить мою мать отпустить меня хоть на месяц, на два жить к ним, к Бринерам. Катерина Ивановна в очень тяжелом состоянии. Никого не желает видеть, ни с кем, кроме Бориса Юльевича, не желает разговаривать. А он служит, и на днях надо будет по делам уехать, как оставить ее наедине с ее отчаяньем? В соседнем доме живут Остроумовы, Нина Юльевна готова была

на время отъезда брата приходить ночевать, но Катерина Ивановна наотрез отказалась: «Все противны, никого видеть не хочу!» Мысль обо мне уже несколько дней как пришла в голову Борису Юльевичу, и сегодня он стал зондировать почву, и против меня Катерина Ивановна не возражала... Сказала: «Ну, пусть». Вечером он дал ей снотворное, дождался, чтобы она уснула, и поехал к нам.

Назавтра я перебралась к Бринерам, в их новую шестикомнатную квартиру, сделанную из двух. Налево из передней столовая, отделенная лишь занавесом от гостиной, а оттуда дверь еще в одну гостиную, маленькую, «корейскую». Направо от передней — две спальни и комната, назначенная быть детской. Там веселые обои с зайцами и медведями, белая мебель, белые шторы на балконной двери — радостная, солнечная, комната с маленькой кроваткой, в которой не было суждено спать сыну Бринеров и которую Катерина Ивановна в безумии своем чуть не каждую ночь приходила осенять крестным знамением, как если бы там был живой ребенок... Являлась она неслышно, в чем-то белом, широком, скользила, как привидение, а я, лежащая на кровати, предназначенной для няни, сжималась от страха, замирала, притворялась спящей...

* * *

Недели две после моего переезда к Бринерам Катерина Ивановна почти не вставала с постели, лежала, закинув руки за голову, уставясь в потолок, мало разговаривала, и вечерами мы с ней играли в какую-то примитивную карточную игру — в подкидного дурака или в шестьдесят шесть. Играла она, опершись на локоть, карты раскладывались на двуспальной кровати, на кровати же сидела и я.

Декабрь. За плотными лилово-серыми шторами ночь, в квартире мертвая тишина, слышен лишь шелест карт и наши редкие реплики, тишина эта и монотонность игры меня укачивают, да и час поздний, но я держусь... Поддерживает меня мысль о том, что бессмысленное перекидывание картами Катерину Ивановну успокаивает, вроде валерьянки для нее, этим я помогаю ей, надо терпеть... В спальне две двери — одна выходит в коридор, другая в комнату Бориса Юльевича, я сижу боком к первой двери, спиной ко второй, внезапно вижу, что Катерина Ивановна расширенными глазами уставилась поверх моей головы...

Испуганно оборачиваюсь. Дверь за спиной моей настежь открыта, в соседней комнате темно. «Человек! — медленно, едва двигая губами, произносит Катерина Ивановна, и в расширенных глазах ее ужас.— Человек в кепке. Он сейчас прошел из коридора в комнату Боречки». Ее ужас передается мне, сон проходит совершенно. Заставляю себя встать, зажечь свет в соседней комнате, даже с бьющимся сердцем заглядываю под кровать, стоящую перпендикулярно к стене. Произношу громким, бодрым голосом: «Никого тут нет!» Затем иду по всей квартире, везде зажигая огни, закрытая дверь на кухню, там, при кухне, комнатка, где спят повар Лю и его жена, приятно думать, что рядом есть живые люди, в крайнем случае разбужу их, позову на помощь, но я уже догадалась, что помощи не требуется, «человек в кепке» — галлюцинация, «бред больной души»... Вхожу в столовую, в гостиную, во вторую гостиную. Как страшно жить одной в такой огромной квартире... Внезапно с ностальгической тоской вспоминаю о комнате на Конной улице, где давно спят мать и сестра... Возвращаюсь к Катерине Ивановне. Она не спрашивает меня о результатах моего обследования, она хмуро говорит: «Вам сдавать».

Бывало, что мы играли в карты до трех-четырех часов утра, играли до тех пор, пока Катерина Ивановна не произносила: «У вас глаза не смотрят, идите спать!» Я шла в «детскую», укладывалась на удобную, пружинную, для няни предназначенную кровать, гасила свет, но не всегда успевала уснуть до появления Катерины Ивановны... В свете, падавшем из коридора, было видно, как она, склонившись над маленькой кроватью, три раза крестила ее, затем тихо удалялась.

Харбинские дамы либо из добросердечия, либо из вежливости, а иные из любопытства стремились навестить Катерину Ивановну. На звонки открывала жена повара Лю, плохо говорившая по-русски, и бормотала: «Мадама больной. Мадама не могу». Гостья оставляла визитную карточку и уходила. Но если к этому времени я уже возвращалась из Ориентального института, то отделываться от посетителей было моей обязанностью. И тут уж дама не уходила сразу. Шепотом расспрашивала: «Скажите, моя милая, как она? Что врач говорит?» Не знаю уж, за кого меня принимали — за бедную ли родственницу, за сиделку ли... Я понятия не имела о том, что говорит врач, физически Катерина Ивановна была как будто вполне

здорова, но на вопросы я все же что-то отвечала, потом, затворив за дамой дверь, шла в спальню, где на постели были уже разложены карты, и Катерина Ивановна спрашивала: «Кого черт приносил? И что им нужно!»

С родственниками было сложнее...

Старший из братьев Бринеров — Леонид Юльевич — тоже жил в Харбине, возглавляя транспортную фирму «Бринер и К°». Выше среднего роста, сухощавый, горбоносый, молчаливый, начисто лишенный чувства юмора человек... Жена его Елена Михайловна, маленькая, голубоглазая, с нежной кожей, была когда-то актрисой провинциального театра. Она, не в пример Катерине Ивановне, много читала (вполне была интеллигентна), занималась благотворительностью, и жизнь ее к тому же была заполнена заботами о дочери от первого брака — той было тогда года двадцать три и она исполняла какие-то секретарские обязанности в фирме «Бринер и К°».

С этими старшими Бринерами я познакомилась во время школьного спектакля и вновь увидела их, когда они однажды вечером явились навестить Катерину Ивановну. Я побежала ее предупредить, она изобразила на лице ужас, руками замахала, я вернулась в переднюю. Забормотала: дескать, плохо себя чувствует, дремлет, не хотите ли пройти в гостиную, и, быть может, чаю? Надеялась — тут же уйдут,— но не ушли, сняли пальто, вошли в гостиную. Леонид Юльевич что-то бурчал про себя, раздувая ноздри, ему, видимо, показалось обидным не быть допущенным до жены брата, да еще какая-то девчонка тут распоряжается... Ему явно хотелось спросить: «А вы, собственно, кто такая?» — но вопрос предупредила Елена Михайловна, с улыбкой назвала ему мое имя, добавила: «Играла в спектакле у Катерины Ивановны. Портниху. Помнишь?» — «Не помню!» — отрезал Леонид Юльевич, не смягчая устремленного на меня неприязненного взгляда. И промолчал все те двадцать минут, что тут пробыл, а я отвечала на заботливые расспросы его жены о здоровье Катерины Ивановны...

Нина Юльевна открывала входную дверь своим ключом, сидела с Катериной Ивановной, пока я бывала в институте, заходила и при мне, заботилась о быте этого дома, проветривала комнаты, ворчала: «Ты бы, Катенька, курила поменьше!» Катерина Ивановна выносила это кротко, но как-то после ухода Нины Юльевны заявила: «А ведь так и убить можно!»

Приехал Борис Юльевич, затем снова уехал, и тут уже Катерина Ивановна перешла к нормальной жизни, одевалась, выходила из спальни. Вечерами мы больше не играли в карты, а засиживались допоздна в столовой. К ужину подавалась водка. Теперь Катерине Ивановне требовалось, чтобы кто-то с ней выпивал, я шла и на это. Водку я тогда попробовала впервые, вкус ее был мне отвратителен, я терпела, надеялась привыкнуть. Пили мы, впрочем, мало, не пьянели. Катерина Ивановна лишь розовела и рассказывала ярче и сумбурнее обычного, но я научилась ее понимать. Рассказы все о том же: Москва, театр, друзья актеры. Из неактеров героями повествований бывали иногда писатели — А. Н. Толстой и К. И. Чуковский. Корнакова играла в пьесе «Любовь — книга золотая», на этой почве подружилась с Толстым, на какой почве возникла дружба с Чуковским, не помню, но помню, что говорила она о нем восторженно.

Из этого чужого города, из этой комнаты с синими шторами и китайским абажуром (промасленная бумага на лакированных палочках) Корнакова переносилась в прежнюю жизнь, к покинутым ею друзьям, вспоминала их словечки, их шутки — это падало на благодарную почву, в моих глазах не только внимание и интерес, но и восторг, и страстное желание самой увидеть тех людей, самой прикоснуться к тому, о чем мне рассказывают...

В Лондоне Корнакова встретилась с М. А. Чеховым. «Обнялись мы с Мишей и ревели так, что остановить нас не было никакой возможности!» Затем сурово: «Сколько бы вы ни ездили по свету, куда бы судьба вас ни закинула, помните — таких людей, как в Москве, не найдете нигде, в других местах таких не водится».

И я это запомнила. Запомнила крепко.

Советская Россия двадцатых и самого начала тридцатых годов была для Корнаковой сосредоточена в театре, в домах друзей, в Знаменском переулке, где после развода с Диким, Катерина Ивановна поселилась вместе с Бринерами и где была некая Паня, больше подруга, чем домработница... Поминались в рассказах еще театральные портнихи — помню фамилию Ламановой,— описывались арбатские переулки и улицы центра Москвы, освещался, короче говоря, определенный мир, за пределы которого интересы Корнаковой не выходили, ничего другого в СССР она не воспринимала, не видела...

А к нам шли письма бабушки... Мать иногда читала

их вслух. На рынке удалось купить то-то. Алина вывернула наизнанку пальто, и оно еще вполне послужит. Напрасно стояли в очереди за обувью — нужного размера не оказалось. Опять сократили жилую площадь. Трамваи переполнены. На улицах плохо убирают снег... Слушая чтение матери, я единственно о чем старалась — не зевать, хранить по возможности осмысленное выражение лица. Боялась обидеть маму. Понимала, как важны ей сведения о жизни семьи.

Казалось, что бабушка в своих письмах и Катерина Ивановна в своих рассказах говорят о двух разных странах. В первой все уныло и серо и люди задавлены бытовыми заботами. Во второй — празднично и ярко, театральные подъезды, веселые застолья, огни рампы, интереснейшие люди...

А что я знала тогда об этой стране? Ровно ничего. Газет попросту не читала — разве что отдел происшествий и кинорекламу. А политические события мира шли мимо меня, как, впрочем, и мимо Катерины Ивановны. Сообщение об убийстве Кирова мы слушали по радио с нею вместе, в присутствии Бориса Юльевича и Остроумова. Эти двое затем очень оживленно случившееся обсуждали — я не помню ни единого ими произнесенного слова. Многое из того, что говорила Корнакова, до сегодня хранится в памяти, а те слова ушли, рассеялись как дым. Не были они мне нужны тогда. В голове моей еще не возник инструмент для их восприятия.

Бывало, что мы с Катериной Ивановной полночи просиживали за разговорами, а бывало — за игрой. Настольная игра, сделанная по принципу рулетки. Плоский, в форме вытянутой подковы ящик, дно и борта деревянные, верх стеклянный. Под стеклом лунки и металлический шарик. Игроки по очереди трясут ящик, шарик, пометавшись, падает в одну из лунок, каждая лунка имеет свою цифру. Выигрывал тот, кто набирал определенное количество очков. Мы не играли на деньги, увлекательность игры была в другом. У Катерины Ивановны и у меня были роли: она изображала русского купца, впервые попавшего на рулетку, а я — пожилого коммивояжера, отца многочисленного семейства. Мы ничего специально не придумывали, совершенно не помню, откуда возникли, как появились эти персонажи — купец и коммивояжер, но они-то и придали смысл игре... Играя, мы говорили языком этих выдуманных людей, рассказывали друг другу о семьях и

случаях из своей жизни, у купца, кажется, была любовница, коммивояжер же был верным мужем, обожал своих дочерей, которых у него было пять... Проигрывая, коммивояжер ужасно ныл, а купец сердился и ругался. Фантазия наша не истощалась долго, мы импровизировали по многу часов...

Ложилась я поздно, вставала рано, но молодость и здоровье помогали мне выносить хроническое недосыпание. Оно кончалось с возвращением Бориса Юльевича. При нем за ужином водки не пили и спать ложились вовремя.

Утренние завтраки тет-а-тет с Борисом Юльевичем были мучительны. Мы обменивались какими-то словами о погоде, еще о чем-то, диалог быстро угасал, ели молча, молчание меня угнетало, около прибора Бориса Юльевича лежали газеты, хорошее воспитание мешало ему в них уткнуться, раз он не был один за столом, мне все хотелось сказать: «Читайте! Пожалуйста, читайте!» — но я не смела... Подавались хороший кофе, тосты, яйца, масло, варенье, я с легкостью поглотила бы все, что было на столе, но аппетита своего стыдилась, мне было трудно протянуть руку даже за вторым кусочком подсушенного хлеба, я вставала из-за стола голодная. За Борисом Юльевичем приходила машина, он неизменно спрашивал: не подвезти ли? Я неизменно отказывалась. Лучше пешком, чем молчать с ним в машине.

Ничего дурного я не могу сказать об этом человеке, напротив. Европеец. Джентльмен. И добр. И щедр. Никогда не слышала, чтобы он повысил голос на кого-нибудь из близких или на прислугу. Но от него, как и от брата его Леонида Юльевича и сестры Нины Юльевны, исходила скука, в них гнездившаяся. За людьми этими угадывалась цепь швейцарских предков, возглавляемая каким-нибудь прапрадедом, который начал с нуля, но терпением, трудом, трезвостью что-то сколотил, передал сыну, тот продолжил путь труда, терпения и трезвости, передал накопленное сыну — и так далее. Ни взлетов, ни падений, ни увлечений, ни отклонений. Упорное, стойкое и за стойкость награждаемое стремление к материальным благам.

Эта механическая нерусская душа особенно ощущалась в безъюморном Леониде Юльевиче и в добродушно-равнодушной Нине Юльевне. Элементы добропорядочной скуки присутствовали и в Борисе Юльевиче, однако он был все же несколько иной. Его тянуло к людям искусства, приезжая в Москву, он пропадал в МХАТе и, между

прочим, сам пел и на гитаре играл — мне это слышать не пришлось, знаю по рассказам. Кровь ли матери из российского купеческого рода была тут причиной, но билась, билась в Борисе Юльевиче антибуржуазная жилка, не будь ее, разве б он влюбился в Корнакову, разве б женился на ней — ведь более неподходящего к почтенному дому Бринеров человека в целом свете сыскать было невозможно! Дорого платил Борис Юльевич за эту жилку, за отклонение от начертанного швейцарскими предками ровного стяжательского пути. Содержал две семьи, много работал, да еще во все домашние бытовые мелочи был принужден сам вникать, а покоя у него не было, неблагополучно было в его доме... Широкоплечий, широкогрудый, коренастый, охотник и спортсмен, он казался очень здоровым человеком, а умер рано — всего двумя-тремя годами пережив свое пятидесятилетие.

Я никогда не видела, чтобы он сердился на Катерину Ивановну, а если изредка в чем-то ее упрекал, то голосом добрым, увещевательным, каким, вероятно, говорят либо с маленькими детьми, либо с безумными. Но даже я со своей молодостью и слабым из-за отсутствия опыта пониманием чужой психологии, даже я догадывалась, что не следует выписывать для Катерины Ивановны московские театральные журналы, а Борис Юльевич не догадывался, журналы выписывал.

Она читала рецензии на спектакли, она видела портреты своих московских подруг, жизнь театральной Москвы шла без нее, шла как ни в чем не бывало, она тут дохнет от тоски в этой квартире, а там разучиваются новые роли, зажигаются огни рампы, встречаются за столом друзья, понимавшие ее, Корнакову, с намека и она их — с намека, а здесь — ни единого человека, говорящего на ее языке. Отбросив журналы, она замирала у окна. Пустынная Садовая улица, редко проедет машина, пробежит рикша, вон пошла куда-то китаянка, что-то выкрикивает разносчик, край света, зачем она здесь, что она делает здесь?

На меня, застававшую ее в такие минуты, смотрела сурово, отчужденно, иногда превозмогала себя, выдавливая улыбку, а иногда ее и на это не хватало; я терялась, пугалась, на меня сердятся, за что? Я любила ее, была от нее зависима, движением брови она могла ввергнуть меня во мрак, но с той же легкостью и извлечь оттуда... Впрочем, я скоро догадалась, что дело не во мне, а в этих вот

журналах, валявшихся на диване... «Удивительно,— произносила Катерина Ивановна напряженным голосом,— такая-то (называлось имя) стала заслуженной артисткой, а клянусь вам: бездарна, как пробка!» Что я говорила на это? Что могла сказать? Но от меня ответов и не ждали, я годилась лишь на роль сочувственного слушателя.

В эти «журнальные» дни Катерина Ивановна встречала вернувшегося со службы мужа так радостно и нежно, будто не видела его год. Выхватывала пальто и шляпу, обнимала: «Боречка, Боречка!» Он каждый раз изумлялся: «Ты что, детка? Ты здорова?» Не понимал. А я — понимала. Не поручусь, впрочем, что понимала уже тогда. Тогда лишь смутно догадывалась... Она не отходила от Бориса Юльевича, торчала за его спиной, пока он мыл перед ужином руки, подавала ему полотенце, за столом не сводила с него глаз и требовала, чтобы он рассказывал, как прошел день... Только он, только любимый муж способен дать оправдание, объяснение и смысл ее здешнему существованию. Ради него принесены в жертву театр и Москва. Ради него, доброго, заботливого,— да есть ли у него недостатки?! — можно пойти на любые жертвы... «Боречка, Боречка...» «Ну, а потом, после заседания, что было?» — «Деточка, тебе это неинтересно!» — «Мне все про тебя интересно!»

Я чувствовала себя неловко, я была тут лишней... Борис Юльевич спешил включить меня в разговор. Спрашивал о лекциях, об уроках и давно ли я видела маму. Я отвечала коротко, скованно, на выручку шла Катерина Ивановна, озаряя меня доброй улыбкой: «А наша девушка все учится, скоро такая станет ученая, что с ней будет страшно разговаривать!» Мне давали понять, что я не лишняя, я «наша девушка», член семьи...

Мне не часто удавалось забегать к своим, бывало, что я видела их всего раз в неделю. Сестра говорила: «Извини, пожалуйста, к чаю нет ничего вкусного. Ты ведь у своих Бринеров к этому не привыкла!» Она считала меня какой-то перебежчицей в стан богатых... Мать — подозрительно: «От тебя табаком пахнет! Не начала ли ты курить? Этого не хватало!» Или: «Еще похудела! Ты что, не высыпаешься?» Без меня им было просторнее и сытнее, но обеим не нравилось, что я живу не дома, однако прямо мне этого не говорили, и я не говорила, что устала от напряжения и недосыпания и что мне хочется домой.

Вернуться мне удалось весной 1935 года, когда у Бри-

неров поселилась племянница Бориса Юльевича, восемнадцатилетняя Нина (домашняя кличка «Ниника»), закончившая учение в закрытом колледже Циндао.

Август 1935 года я провела на даче Бринеров в Северной Корее. Тихий океан находился от дома всего в какой-нибудь сотне метров, его шум был слышен всегда. Утром, до завтрака, я бежала купаться, иногда с Ниникой, чаще одна. На песчаном берегу ни души, купаться можно было нагишом, никогда потом не доводилось мне видеть таких пустынных пляжей и моря, не заслоненного ни единой человеческой фигурой. Далеко справа виднелись сушившиеся на камнях рыболовные сети корейцев, но ничего другого напоминавшего о присутствии человека видно не было (дача скрыта от глаз гребнем берега), океан благостен, спокоен, притворяется, будто он и в самом деле тихий, а как ревел он, как становился страшен во время тайфунов! Мне казалось, что я одна во вселенной, небо, океан и я; я играла в необитаемый остров, пока не становилось жутко, тогда я мчалась обратно к дому, а там уже встали, на веранде кипел самовар, и было весело очутиться среди людей и цивилизации.

Жизнь наша в Корее была размеренной, рано ложились, рано вставали, ни водки, ни ночных разговоров, играли в волейбол, ходили в дальние прогулки, Катерина Ивановна загорела, поздоровела...

Ей суждено было остаться бездетной, рухнула надежда на спасение ребенком, спасения приходилось искать в другом — в чем? Не ей, пассивной и вялой, махнувшей на все рукой, пришла в голову мысль открыть в Харбине студию драматического искусства, а конечно же Борису Юльевичу. И он с его деловой энергией занялся осуществлением этой идеи. Правление Коммерческого собрания согласилось предоставить будущей студии свою сцену и даже две пустовавших в подвале комнаты — для репетиций.

Поскольку тем августом в Корее Катерина Ивановна много говорила с Ниникой и со мной о будущей студии, полагаю, что начало ее уже было заложено, было известно — где, было известно — кто. Где — Коммерческое собрание. Кто — вполне конкретные молодые люди. Кроме Ниники, меня и Ады Бортновской (падчерицы Л. Ю. Бринера), студийцами пожелали стать еще человек восемь. Позже число студийцев увеличилось втрое, примерный возраст от восемнадцати до двадцати пяти лет. Были среди них те, кого я знала, были и совершенно незнакомые. От-

куда взялись они, как им стало известно о предполагаемой студии? Не помню. Ясно одно: уже до отъезда в Корею Катерина Ивановна знала, каким человеческим материалом она располагает, и уже распределила роли в пьесе, какой хотела начать спектакли студии,— «Сверчок на печи» Диккенса.

Работать мы начали в сентябре. С каждым из нас Катерина Ивановна занималась поначалу у себя дома, затем репетиции шли в подвале и всегда вечером, затягиваясь иногда допоздна. Подвал был сырой, плохо отапливался, верхнюю одежду снимали лишь те, кто в данный момент репетировал, остальные ждали очереди, сидя в пальто...

Корнакова относилась к нам требовательно, относилась так, будто мы были настоящие студийцы, обеспеченные общежитием и государственной стипендией, и, кроме театрального искусства, не занимались ничем другим... Опоздание на репетицию воспринимала болезненно, не говоря уж о неявке... До сих пор, через десятилетия, помню, что мы все пережили, когда на репетицию не пришел некий Боря (кличка «Бобус»), небольшого роста, этакий юркий и неглупый малый, способный к игре на сцене. Он учился, кажется, в Политехническом институте и где-то еще работал... Мы его долго ждали, боясь взглянуть на окаменевшую, оледеневшую Катерину Ивановну, кого-то посылали к Бобусу домой, но того дома не оказалось... Мы знали, что Бобус склонен к выпивке и загулам, свои подозрения высказывали друг другу шепотом — ведь такого Корнакова не простит! Молитвенно относилась к театру, ко всему с театром связанному, этого же требовала от нас. Можете загулять, можете исчезнуть из дому (исчезал же Дикий!), но так, чтобы на вашей работе в театре это не отражалось! С Бобусом, кажется, случилось то, что мы предполагали: шел на репетицию, встретил приятеля, откуда-то приехавшего, зашли выпить, потом добавили, и репетиция была забыта... От Катерины Ивановны это скрыли. Общими усилиями придумали версию, как-то извиняющую поведение Бобуса, и дружно врали...

В минуты неудач — кто-то опоздал, у кого-то что-то с ролью не ладилось — на лице Корнаковой появлялось выражение, нас пугавшее. В глазах, устремленных поверх нас, нас не видевших, вроде бы горькая насмешка, насмешка над собой, уголки рта опущены... Иногда в эти минуты она бормотала слова Фомы Опискина: «Где я? Кто кругом меня? Это буйволы и быки, устремившие на

меня рога свои». Иногда произносилось другое: «Да. Так нет, в общем». «Буйволы и быки» означали, что Катерина Ивановна скоро отойдет. Зажмурится, тряхнет головой, скажет: «Все на места! Повторим эту сцену!» А вот: «Да. Так нет, в общем!» — было опаснее. После этих слов, случалось, репетицию не возобновляли.

Мы с Адой Бортновской (ставшей с тех студийных лет на многие годы ближайшей моей приятельницей) шептались: «У нее на лице написано: «Да. Так нет, в общем!» Не будет сегодня репетиции!»

Мы догадывались о том, что происходило в душе Корнаковой... Вот именно: «Где я и кто кругом меня?» Что я делаю в этом подвале, с этими молодыми существами, половина из которых бездарна, надо их тянуть на помочах, каждую интонацию, каждый жест вкачивать в них насосом,— это как пытаться лепить из пересохшей, негодной глины... Не выйдет из них актеров! Чего ж я мучаюсь? К чему? Зачем?»

Говорила мертвым голосом: «Нйника, пойди наверх, позвони насчет машины». Нйника шла, вызывался бриннеровский шофер, Катерина Ивановна уезжала. Мы мрачно расходились по домам. Мы очень боялись, что она бросит нас, что студия закроется, что спектакля не будет.

Но Корнакова студии не бросала. Приходила в отчаянье, минутами ненавидела всех нас вместе или каждого в отдельности, становилась сухой, холодной, отдаленной, но не бросала. Ей студия была еще нужнее, чем нам.

Оживлялась, расцветала, хорошела, когда репетиция шла удачно, в эти минуты нежно любила тех, у кого сцена получалась, и похвалы ее были неумеренны: «Гениально! Нет, я вас просто обожаю!»

Одаренными людьми Корнакова увлекалась, то один, то другой становились ее фаворитами, фаворитов приближала к себе, звала в гости, выпивала с ними, рассказывала о Москве, о театре... Такие ужины устраивались обычно во время отъезда Бориса Юльевича, я в качестве «своего» человека почти неизменно на этих ужинах присутствовала и начинала страдать за Катерину Ивановну, когда мне казалось, что ее лексикон, а также выбор тем для рассказов становится несколько свободен... Мне казалось, что Корнакова должна соблюдать дистанцию между собой и

учениками своими, но она с безудержностью своего нрава о дистанции забывала, и фаворит, случалось, наглел. Бобус, к примеру, не явился на репетицию именно тогда, когда попал в фавориты, поверил, что он талантлив, наслушался рассказов об актерских нравах и решил, что ему все позволено.

Мы с Адой падение очередного фаворита воспринимали, должна сознаться, не без злорадства. Повторяли друг другу одно из словечек Корнаковой: «Прослабился! Бобусто! Прослабился!» Мы обе надеялись, что это послужит Катерине Ивановне уроком. Дескать, с нами, с людьми, ее понимающими, любящими, знающими ей цену, можно говорить что угодно, а вот с другими надо быть осторожней... Но Катерине Ивановне ничто не служило уроком. Кого-то приближала, откровенничала, потом отталкивала...

Она была ко мне привязана, я знаю, что была ей куда ближе, чем живущая с ней рядом племянница Ни́ника, равнодушная Ни́ника, унаследовавшая, видимо, холодную кровь от своих швейцарских предков. Корнакова видела, что я человек ей преданный, ощущала свое на меня влияние, нуждалась во мне как в аудитории... Очень я была горда, очень польщена, когда однажды в моем присутствии Катерина Ивановна сказала Борису Юльевичу: «Обожаю Наталью! Она все чувствует!» (Всегда «Наталья». «Наташей» меня называли лишь тогда, когда были мною недовольны.) Гладкими наши отношения, однако, не были. Внезапно Катерина Ивановна становилась холодна и отдаленна, и я ломала голову над вопросом: чем я «прослабилась»? Причины не находила, обижалась, сердилась, называла ее про себя самодуркой, переставала бывать у нее, виделась с ней лишь на репетициях, старалась держаться гордо и независимо. Вскорости меня вновь приближали.

Не всё и не всегда я, видимо, «чувствовала», чего-то не ухватывала, а быть может, попросту надоедала ей... Для стойкости дружеских отношений требуется взаимопитание. Она-то питала меня, а я? Что я могла дать в ответ, кроме сочувственного выслушивания? Мало у меня тогда было за душой.

...«Сверчок на печи» был поставлен на сцене Коммерческого собрания поздней осенью 1935 года, выдержал четыре спектакля при полных сборах — очень неплохо для

Харбина. Теперь, когда в книге А. Дикого «Повесть о театральной юности» я увидела фотографии постановки «Сверчка» 1-й студией МХАТ, я убедилась в том, о чем тогда лишь догадывалась: наша постановка была точной копией той постановки. Речь, разумеется, идет лишь о декорациях и мизансценах. Ни Чехова, ни Вахтангова, ни Дурасовой среди нас не было. Калеба, Тэклтона, Малютку и остальных диккенсовских персонажей играли молодые любители, актерами никогда не ставшие. Катерина Ивановна обучила нас — насколько хватило ее сил и памяти и насколько позволяла наша восприимчивость — интонациям и жестам тех прославленных актеров... Моя роль была невелика: миссис Филдинг. Действовала я лишь в одном акте: играла в карты с Джоном и произносила монолог, начинавшийся словами: «Прошлое прошло...»

А Корнакова тем временем задумала новую постановку, куда более трудную, чем «Сверчок», требующую и куда большего числа участников, и сложных декораций, и даже создания текста — инсценировки гоголевской «Ночи перед рождеством» не существовало.

В смысле декораций придумала она вот что. На сцене деревенская улица, справа и слева сделанные из фанеры хаты, улица упирается в плетень, за ним кусок белой материи, на котором нарисованы продолжение улицы и купола церкви, видневшиеся над одной из крыш фанерных хат. Две ближе всего стоящие к авансцене хаты четвертой стены не имеют, их внутренность открыта зрителю: слева хата Чуба, справа — Солохи. Освещается та хата, в которой идет действие, вторая в это время темна. Когда действие идет на деревенской улице, темны обе хаты. Ночь со звездами проецировалась на белый задник волшебным фонарем, а исчезновение месяца, полет черта, Солоха верхом на метле, Вакула верхом на черте — все это достигалось с помощью вырезанных из картона фигурок, двигавшихся на невидимых зрителю нитях. Императрица, ее свита появлялись на фоне как бы гирлянд — сшитые вместе бело-сине-красные полосы шёлковой материи, увенчанные двуглавым орлом.

Студийцы все делали сами. Нашлись среди них электрики, на ходу обучившиеся светомонтажу, нашлись люди, способные к живописи, взявшиеся писать декорации, кто-то заведовал реквизитом и так далее. Все работали

бесплатно. В Харбине тех лет прибылей от наших спектаклей ждать не следовало. Хорошо, если студия хотя бы возвращала Коммерческому собранию деньги, затраченные на костюмы и декорации. Риск Правления был, впрочем, невелик. За студией стояли Бринеры.

Лишь театральная портниха была не из числа студийцев и за свой труд что-то получала. Однако мне помнится, что эта полная, средних лет брюнетка с усиками и редким именем Христина ночи напролет торчала с нами в зрительном зале Коммерческого собрания в то предспектакльное время, когда репетировались не столько сцены из «Ночи перед рождеством», сколько трюки с освещением, волшебным фонарем и проплывающими картонными фигурками на невидимых нитях. Всем нам присутствовать при этом не было обязательно, а тем более Христине. Но присутствовали. Мало кто уходил. «Общий энтузиазм» заразителен.

Адской громоздкости была эта постановка с фанерными хатами, волшебным фонарем, с огромными, Христиной сшитыми бело-сине-красными кусками шелковой материи (на их фоне появлялась императрица), с картонными фигурками на нитках... Хаты шатались, полотно задника внезапно шло волнами, фигурки двигались зигзагами, из темного зала голос Катерины Ивановны: «Черт те что! Опять натянули кое-как!» Натягивали. Укрепляли хаты. И тут либо рвалась нитка и фигурка летела вниз, либо что-то случалось с волшебным фонарем, либо лампа перегорала...

Катерина Ивановна бегает по сцене, одна рука в кармане вязаной кофты, другая (с сигаретой) жестикулирует, показывает, где укрепить Солохину хату, чтобы не шаталась. Всматривается в темный зал: «Наталья! Где вы там? Подите сюда. Прыгайте из печки. Поглядим, будет ли эта чертовка шататься!»

Солоха, прилетевшая на метле, спускалась в трубу своей избы. Таким образом я, игравшая Солоху, появлялась перед публикой в печном отверстии... На зов Катерины Ивановны я шла за кулисы и выпрыгивала на сцену через печку. «Легче! — кричали мне.— Упирайтесь рукой. Миллион раз вам показывала!» Я молча проделывала все снова, прыгала, упираясь рукой, но меня душила обида... Некоторые, между прочим, ушли домой. В том числе Ни́ника. Ни́ника ровно ничем, кроме студии, не занята, спать может сколько хочет и тем не менее ушла. Спроси-

ла: «Тёткис! (Так она называла Катерину Ивановну.) Я поеду домой, если вам не нужна, ладно?» От Ни́ники недовольно отмахнулись: «Езжай!» Катерина Ивановна не любит, когда уходят. Считает: если не хотят дождаться конца репетиции, значит, равнодушны, значит, не болеют постановкой. А я вот не равнодушна, я — болею, сижу тут до третьего часа (а вставать мне в полвосьмого!), но этого не ценят, кричат на меня, оскорбляют... И мне вспоминались сердитые слова, вырывающиеся иногда у матери: «Неужели она не понимает, что у всех у вас есть тысячи других занятий, кроме студии? У тебя уроки. У тебя институт. А тебя держат ночи напролет! Беспредельный эгоизм!»

Я Катерину Ивановну неизменно защищала, хотя позиции мои были шатки... Она и в самом деле забывала, что из всех студийцев лишь Ада и Ни́ника защищены мощными бринеровскими крылами, а остальные в большинстве своем так же бедны и неустроены, как я... Сегодня мне трудно себе представить, каким образом я ухитрялась давать уроки, слушать лекции, сдавать зачеты, сочетая все это с репетициями и ночными предспектакльными бдениями... В минуты гнева мать рисовала «мадам Бринер» этакой избалованной дамой, этакой богачкой, ни с чем не желающей считаться, все подчиняющей своему капризу... Я знала, что это не так. Студия была не капризом, но спасением Корнаковой. Ее актерский дар и режиссерская выдумка находили какой-то выход, и пусть не было МХАТа ни 1-го, ни 2-го, а всего лишь жалкая сцена провинциального Коммерческого собрания, но и тут зажигались огни рампы, и дышал в темноте зрительный зал, и за кулисами пахло клеевой краской и гримом. Существовать без этого Корнакова не могла.

В те годы я не умела найти слов, чтобы объяснить это матери (да и сама-то понимала смутно!), и не помню уж, чем пыталась защищать Катерину Ивановну. Чаще, думаю, угрюмо отмалчивалась. Пусть бывали минуты, когда я на нее сердилась, роптала и даже мысленно соглашалась с матерью, но вслух этого не говорила. Я могла сердиться на Катерину Ивановну. Могла и пожаловаться на нее, но лишь человеку, который любил бы и понимал ее. Аде Бортновской, например. А матери — ни за что. Ей, умевшей все переживать внутри себя, ничего не выдавая наружу, ей, всегда казавшейся спокойно-холодноватой, был чужд тот человеческий тип, к которому принад-

лежала Корнакова. А кроме того, мать видела, что я нахожусь под влиянием Катерины Ивановны, сомневалась в благотворности этого влияния и ревновала меня к ней.

...В середине января 1936 года была премьера «Ночи перед рождеством», затем шли повторные спектакли, а мы уже репетировали новое... На этот раз в нашей постановке участвовала известная в Харбине эстрадная певица Софья Александровна Реджи.

Катерина Ивановна, услыхав певицу, решила непременно использовать ее в студийном спектакле. Реджи была женщиной крупного роста, скорее полной, темноволосой, голос — меццо-сопрано, иногда прорывавшийся в крик. Афиши называли ее репертуар «Песни улицы».

Первая сцена спектакля: Реджи поет «Шумит ночной Марсель в притоне «Трех бродяг»...», а мы, студийцы, изображаем женщин и мужчин, выпивающих в притоне. Входят «в перчатках черных дама, а с нею незнакомец в цилиндре и во фраке...». Появляется апаш. Танцует с дамой танго. Кто-то кого-то закалывает. Тут наши роли были бессловесны. Вторая сцена: тот же кабак, является матрос и обнаруживает среди женщин свою родную сестру — инсценировка мопассановского рассказа «В порту» (в переводе «Франсуаза»)... Тут были роли со словами и без пения Реджи. Третья сцена шла в других декорациях — летний ресторан в саду, за столиками посетители. Сюда являются шарманщик и цыганка. Опять бессловесные роли, снова пение Реджи...

По-прежнему, когда уезжал Борис Юльевич, меня звали ночевать, я спала в «корейской гостиной», и во время наших долгих застолий было гораздо меньше рассказов о Москве, о друзьях, о театре... Уже не только прошлым жила Корнакова. Пытался ли кто-нибудь до нее инсценировать песни или она была тут первооткрывателем — не знаю. Но именно этим она воспламенилась той зимой, об этом и говорила... Как сочетать пение с игрой актеров на сцене — одно не должно мешать другому, а, напротив, друг друга дополнять. Роли мимические, новый для студийцев опыт — справятся ли? Актеры, изображающие посетителей в притоне «Трех бродяг», все время должны помнить, что они — фон. Играть следовало так, чтобы не отвлекать внимание зрителей от дамы в черных перчатках, от апаша и незнакомца, а затем от матроса с Франсуазой. Кто на какую роль подойдет? Как решить мизансцены?

И, наконец, костюмы. Декорации. Обстановка притона. Призывалась портниха Христина Сергеевна. С ней Корнакова делилась мыслями насчет костюмов, набрасывала их карандашом. Самой дешевой материей был тогда коленкор, из него все и шили. Помню длинное розовое платье в обтяжку с расширяющейся от колен юбкой и от локтей рукавами, в котором я изображала одну из женщин в притоне... Посетительницу летнего ресторана я играла в том же платье, но тут оно было прикрыто накидкой. Черные и белые кусочки материи, нарезанные узкими недлинными лентами, были пришиты одной своей стороной — верхом — к куску коленкора, сплошь его закрывая. Шевелящиеся эти полоски издали создавали эффект богатой накидки из черно-белых перьев. Полосок была чертова уйма — Христина не боялась труда. Но она сама увлекалась, сама загоралась идеями Корнаковой, а та горазда была на выдумки!

Она нашла теперь, куда тратить себя, и ныряла в прошлое лишь для того, чтобы извлечь оттуда какие-то факты, могущие нам сегодня пригодиться... Какими, например, средствами был изображен на сцене кабачок в «Потопе» Бергера? Вспоминала вслух, прерывала себя: «Боже! До чего гениальным Фрезером был Миша Чехов!»

Она с любовью говорила об А. Чебане, о Николае Баталове, о В. Готовцеве, но Чехов был ее любимейшим актером. Относилась к нему нежно и восторженно.

Говоря об искусстве актера, Корнакова утверждала: лучше «недоиграть», лучше даже впасть в бледность и вялость, это грех, но все же меньший грех, чем «переиграть». Нет ничего страшнее переигрывания — на ее языке это называлось «рвать в клочья страсть» и «грызть кулису». Только чувство юмора спасает от этого смертного греха. Актер, взявшийся играть трагедию, непременно начнет «грызть кулису», если у него не хватает юмора. Чувство смешного удерживает человека в должных границах, и тому, кто этого чувства лишен, нечего делать на сцене...

Годы спустя я вычитала, что кто-то из древних греческих философов определяет юмор как «чувство меры». Именно это имела в виду Корнакова. Только она ничего нигде не вычитывала. До всего, что требовалось в ее ремесле, доходила сама. Чутьем. «Животом».

Мы судачили о студийцах, обсуждали их характеры, способности, наружность, влюбленности... От глаз Кате-

рины Ивановны не укрывалось ничего. Говорила: «Вчера видела, как они шли... Он держал ее под руку, но шел совершенно отдельно. Не любит. Это ясно». В таких делах Корнакова понимала все.

Сама она с этой стороной жизни покончила навсегда. Если б даже среди харбинцев нашелся человек, способный увлечь ее, Борису Юльевичу она бы не изменила. Всегда помнила, что ради нее он расстался со своими детьми. Знала, что хорошей женой стать ему не сумела, а теперь, с появлением студии, дом заброшен уже совершенно. А Борис Юльевич все терпит, и мало того, что занят службой и сам обеды заказывает и счета проверяет, но и в дела студии готов вникать. Такого человека грех даже в помыслах обмануть.

Вскоре после своих трагических родов сказала мне, кивнув на фотографию дочери и сына Бориса Юльевича: «За них меня бог покарал!» Аду, Нйнику, меня предостерегала против романов с женатыми и «детными»: «Этого не надо. Будете, как я, мучаться всю жизнь».

Я уже говорила о том, как ей померещился человек в кепке. В другой раз она испугалась мухи, ползшей по скатерти... «У нее глаза страшные! Как вы не чувствуете! Не муха это!» Я могла бы спросить: «А кто же?» — но не спросила. И человека в кепке, и муху, и то, что Катерина Ивановна крестила пустую детскую кроватку, объясняла ее расстроенными после несчастных родов нервами.

Крестилась. В спальне икона с лампадкой. Но была ли она религиозной? Верила в приметы, верила в потусторонние темные силы, верила в «дурной глаз», а вот в бога-то, в бога верила или нет? Поминала «божье наказание», «божью кару», но на самом деле считала — проговорилась как-то,— что в бедах ее повинна Марья Дмитриевна, оставленная жена Бринера: «Не прощает. Насылает на меня несчастья!»

Любовь, романы, связанные с ними волнения играли в ее жизни большую роль. С этим теперь было покончено. Или, как она говорила своей насмешливой скороговоркой: «Как угодно творцу, все приходит к концу!» Все позади. Но богатый опыт, накопленный ею в теории и практике «науки страсти нежной», остался при ней, им она делилась с нами, молодыми.

...На скатерти остывший самовар и светлый прямоугольник от китайского абажура, за шторами тьма, а ко-

торый час, неизвестно, поздно, вон Ни́ника зевнула, а мне не до сна. Катерина Ивановна, порозовевшая, помолодевшая, говорит о весенней ночи в Москве... Спектакль кончился, она, Корнакова, разгримировавшись, переодевшись, раньше других выскочила наружу, но не уходит, ждет того, кто был ей мил тогда, идут люди, апрельский вечер ласков и свеж, «...и так хорошо мне было, светло, я любила всех, кто шел мимо, и посылала им счастье!». Заметив Ни́никин зевок: «Час который? Вы, девки, небось давно спать хотите?» Усмехнувшись невесело, скороговоркой: «О временах, когда я, юный и невинный, гонялся в полях за весенней бабочкой, рассказывать можно долго. Айда спать!»

Я давно уже подозревала, что жизнь, которую я веду в Харбине, какая-то ненастоящая. Когда я узнала Катерину Ивановну, это подозрение превратилось в уверенность. Рядом с нею, по сравнению с нею все меня окружавшее стало казаться еще менее настоящим... Ей было восемнадцать лет, когда Дикий впервые привел ее к себе, в какую-то комнатку, где тогда жил. Оба сели. Молчали, ощущая неловкость. Она взглянула на потолок и сказала: «Сколько мух...» Он — быстро: «Пятнадцать. Я давно их всех пересчитал».

Я перебирала в памяти мои влюбленности и романы — все ненастоящее, все чепуха. О волнующем диалоге насчет мух и мечтать невозможно. Кроме банальностей, ничего не услышишь. Некоторые этого не замечают, не умеют отличить подделки от настоящего. Но я-то отличаю, я знаю: подделка, эрзац.

* * *

Услыхав о том, что в Харбин едет Шаляпин, я была изумлена безмерно. Рассказы родителей, пластинки с его голосом, репродукция кустодиевского портрета в журнале «Перезвоны»... Шаляпин? Тот самый? И я увижу его, услышу? Неужели такое чудо может случиться в этом городе?

Но случилось. Приехал. То был март 1936 года. Остановился в отеле «Модерн» на Китайской улице. Отель этот помню смутно, да и вряд ли проникала дальше вестибюля. Там были вертящаяся дверь, плюшевые портьеры, ковровые дорожки с медными прутьями на лестни-

цах... А здание гостиницы, кажется, трехэтажное, с лепными украшениями, построенное в начале века.

Что мать продала, что заложила, какими способами добыла деньги, чтобы пойти в концерт самой и нас с сестрой повести, сейчас уже не вспомню. Явление Шаляпина в Харбине и матери казалось чудом. Ей в голову не могло прийти, что Шаляпин будет петь в трех кварталах от Конной улицы, а мы по бедности останемся дома...

Концертов было всего три. Мы попали на второй. Одна, без матери и сестры, я ухитрилась попасть и на третий. Вертелась около кинотеатра, снятого под концерты, воспользовалась возникшей в дверях пробкой, проникла внутрь, затем в зал... Китаец-билетер меня заметил, пытался вывести, но я так его умоляла, что он махнул рукой...

Шаляпин был простужен, пел не в полный голос, на «бис» петь отказывался: сурово, без улыбки, кланялся, показывал на горло... Зал, переполненный бедно одетыми эмигрантами, теми, кто ни в театры, ни в концерты годами не ходили, зал этот вел себя неистово, истерически... Выкрики: «Вы наш, Федор Иваныч! Вы русский!» Рыданья. Стены и пол сотрясались от хлопков. Вышедший поклониться в последний раз Шаляпин ступал по сцене, сплошь усыпанной белыми и розовыми гвоздиками,— не помню откуда взялись они... И вот занавес задернулся, и какие-то люди, и я в их числе, в состоянии безумия кинулись на сцену подбирать растоптанные Шаляпиным гвоздики, а затем долго ждали, толпясь в каком-то заднем коридоре кинотеатра... Администрация и усовещевала нас, и стращала полицией, вдали скрипела и хлопала дверь, дул сквозной ветер, мы не уходили... Дождались. Он вышел из актерской уборной в шубе, в меховой шапке, такой, как на кустодиевском портрете, нет, не такой, мрачный, старый, и какое горькое выражение лица... Мы расступились, образовался коридор, Шаляпин шел по нему молча, глядя прямо перед собой, сердито дернулся, полуобернувшись, когда кто-то схватил и поцеловал полу его шубы, и тут взгляд его упал на мою вытянутую шею, на мои немигающие глаза. Усмехнулся: «Я, милая девушка, человек обыкновенный! Хвоста у меня нет!»

Всю дорогу домой я плакала, вытирая глаза перчаткой, ощупывая в кармане смятую гвоздику. Плакала и бормотала: «Нельзя так больше, нельзя!» Видимо, после

того, что я пережила и перечувствовала, моя жизнь показалась мне особенно серой и унылой, и я считала, что менять ее надо немедленно...

Представители «Российской фашистской партии» посетили Шаляпина и попытались его шантажировать. Требовали, чтобы выручка одного из концертов пошла в фонд партии, иначе все три концерта будут сорваны. Сорвать концерты не удалось, японские власти этого начинания не поддержали, чего Шаляпин знать не мог. Представителей тем не менее выгнал, кричал на них, топал ногами и даже швырнул им вслед что-то тяжелое — кажется, мраморное гостиничное пресс-папье.

Я знала это от Катерины Ивановны. Она ездила в «Модерн» чуть не ежедневно: с Шаляпиным была знакома по Москве... За три харбинских года впервые она встретила человека, знавшего ее «Катюшей Корнаковой», человека, одного с ней мира, говорившего на ее языке... Домой возвращалась счастливая, помолодевшая, рассказывала о его шутках, словечках, о том, как он дразнит своего секретаря и ругает антрепренера — зачем завез в эту «чертову дыру»? Шаляпин жил затворником, из гостиницы не выходил, на концерты его возили в автомобиле, никого, кроме Корнаковой, к себе не допускал. Ее называл «Катюша» и на «ты».

Я вижу, как они сидят друг против друга в казенных гостиничных креслах... На нем темно-малиновый подпоясанный халат, мягкие туфли, чем-то теплым завязано горло, большие руки на подлокотниках кресла, в глазах оживление. Слушает Корнакову. Она уехала из Москвы сравнительно недавно, ей есть что порассказать о друзьях, там оставшихся... А на ней неизменные юбка, вязаная кофта, клетчатая или в горошек блузка, туфли на низком каблуке. В руке сигарета. Рассказывает ярче, талантливее обычного — вдохновляют все знающие, все понимающие, на нее устремленные глаза... Говорили, верно, и о друзьях актерах, живущих теперь за границей: о Чехове, о Болеславском, о Григории Хмаре... Прерывались на воспоминания: «А Миша-то в «Ревизоре»...», «С Гришей был однажды вот какой случай...»

И оба, конечно, забывали о том, что рядом улица, именуемая Китайской, и бегают рикши, и вывески с иероглифами, и весь вообще этот странный маньчжурский, русскими построенный, японцами оккупированный город...

...Дважды в неделю по вечерам я учила русскому языку японца, жившего неподалеку от квартиры Бринеров. Было заведено, что после урока я заходила к Катерине Ивановне и нередко оставалась ночевать.

Много уроков я давала в те годы, лица учеников, обстановка их жилищ в памяти стерлись. А этого помню хорошо: его вежливость, его трудолюбие, синее с белым хлопчатобумажное кимоно и то, как он, отделенный от меня низким столиком, сидит на пятках не шевелясь, час не меняет позы, у меня же затекают ноги, я вытягиваю их, снова поджимаю... Комната, где мы занимаемся, японская, на полу «татами» (циновки во много слоев), обуви тут не полагается, стульев тоже, низенький стол — единственная мебель. Появлялась жена моего ученика, кланялась, ставила на «татами» лакированный поднос (зеленый дымящийся чай, маленькие рисовые печенья), снова кланялась, уходила, молодая, хорошенькая и тоже в кимоно, а на голове прямо-таки башня из черных волос, увенчанная гребнем. Я приходила к восьми часам, после лекций, в холодные, ветреные вечера чай с печеньем меня сильно оживлял, но не из-за чая же я все помню!

Нет. Дело в том, что занятия с этим славным японцем навсегда связались в моей памяти с тем, как я не увидела Шаляпина... Именно в те минуты, что я слушала старательное, спотыкающееся чтение моего ученика, поправляла его, косилась на печенье — удобно ли схватить еще одно? — именно в эти минуты в знакомой столовой с синими шторами, за столом под желтым китайским абажуром сидел дорогой гость...

Вместе со своим секретарем Шаляпин приехал к Бринерам неожиданно, без предупреждения,— телефона у них, как ни странно, не было... Хозяев врасплох не застал: вино и угощение в этом доме водились всегда. И вот жена повара Лю послана за Остроумовыми — те не простят, узнав, что был Шаляпин, а их не позвали! Остроумовы примчались сразу же, привели своих детей-подростков: детям на всю жизнь воспоминание — видели великого Шаляпина в домашней обстановке. И Ниника тут была, и она видела, а я-то, я не видела! Все сидели за столом, чокались, пили, ели, но главное — слушали. Шаляпин был в ударе, шутил, рассказывал, вспоминал — а я-то, я-то не слышала!

В этой квартире принимали иностранных дипломатов,

«деловых людей», харбинских тузов... Борис Юльевич призывал к себе в помощь Остроумовых — мастеров легкой, по верхам скользящей светской болтовни. Ведь на хозяйку дома рассчитывать не приходилось: ни звука ни по-английски, ни по-французски, да и по-русски, если на то пошло, ни звука! Приличная светская беседа, на таких приемах полагающаяся, была для Корнаковой так же недоступна, как иностранный язык. Не умела ответить на простенькие, из любезности задаваемые вопросы, жалко улыбалась, кивала, как китайский болванчик... Право, если б гостям не было известно, что это жена Бринера, ее вполне можно было принять за бедную родственницу...

А сегодня она была хозяйкой, она была главной, она была царицей! Ведь к ней, именно к ней, только к ней приехал уникальный гость: «Захотелось взглянуть, как ты живешь, Катюша!» Борис Юльевич был немедленно сброшен на второстепенную роль «Катюшиного мужа». Остальные в лице Остроумовых, их детей и Ни́ники заняли подобающие им места мужниных родственников, роли почти молчаливые... Да и что было сказать? Не тот был воздух для выдувания мыльных пузырей банальных фраз. Сегодня здесь говорил Шаляпин. Ему вторила Корнакова. Подавали изредка реплики Катюшин муж и его зять. Остальные безмолвствовали. Ах, с каким наслаждением побезмолвствовала бы тут и я! Но меня не было при этом.

Катерина Ивановна, счастливая, возбужденная, большеглазая, встретила меня словами: «Наталья! Ну что бы вам прийти раньше! Он только что уехал!» Я спросила: «Кто?» — а сердце мое уже упало, уже догадалось — кто. В столовой остатки пиршества. Мне показали на отодвинутый стул: «Вот здесь он сидел!» Катерина Ивановна стала мне рассказывать, как все было: звонок, открыла жена повара Лю, и она, Катерина Ивановна, не веря ушам, услыхала из передней голос... Перебила Ни́ника: «Тёткис, я первая услыхала и к вам побежала...» Перебивал и Борис Юльевич, тоже возбужденный и — непохоже на себя — многословный...

Их возбуждение заразило меня, я тоже радовалась, хохотала (изложили рассказанный Шаляпиным анекдот), восхищалась, восторгалась, а потом вдруг заплакала, осознав, чего я лишилась, что потеряла. Я могла сидеть

около Шаляпина, видеть его, слышать его, мало кто может таким похвастаться, а у меня было рядом, само в руки шло, и мысль об этой потере долгие годы не давала мне покоя. Да и теперь иногда не дает...

* * *

Если премьера «Ночи перед рождеством» состоялась в январе 1936 года, то следующий спектакль с участием Реджи был показан, видимо, весной, в апреле, быть может. Это говорит логика. А память не говорит ничего. Ни того не помню, как спектакль был принят, ни себя в нем не помню.

Следующий сезон Корнакова задумала открыть инсценировкой пушкинских «Цыган». Меня назначила на роль чтеца и тем летом, до отъезда в Корею, много со мной работала у себя дома. Требовала, чтобы я читала стихи без напевности, без намека на декламацию, читала как прозу, выделяя голосом не ритм, а лишь смысловую сторону. Эта манера чтения стихов, принятая в Московском Художественном театре, была мне чужда, давалась с трудом, прочитав несколько строф так, как учили меня, я соскальзывала в привычное, мне кричали: «Стоп! Все сначала!»

Эти занятия один на один помню. Другие репетиции и вся вообще жизнь студии того периода из памяти выпали.

Случилось это, вероятно, потому, что не студией были полны тогда мои мысли. Постоянные упреки матери по адресу Катерины Ивановны оказали на меня действие. А вот что писала из Ленинграда бабушка в конце апреля того года: «Радуют твои сценические успехи, дорогая моя девочка, только я надеюсь, что ты не бросишь свои занятия в институте и непременно выучишь французский язык. В жизни, которой тебе предстоит жить, нужны знания. У меня нет никакого предубеждения против сцены, но думаю, что это занятие твердых заработков тебе не даст» (письмо написано по-английски).

Возразить было нечего, тем более что работа в студии не давала мне и нетвердых заработков, времени же съедала уйму. Для меня, для таких, как я, студия роскошь, я не имею на это права! Но, споря с матерью, я говорила, что и Ориентальный институт роскошь, и на него я не имею права.

Известие о моем предстоящем отъезде в Шанхай Катерина Ивановна приняла равнодушно. Пожала плечами: ах, вот как... Я удивилась и обиделась. Думала — ко мне привязаны, думала — во мне нуждаются, и вот я уезжаю, а ей это безразлично... Единственно о чем спросила: «До «Цыган» вы не уедете, надеюсь?» В другой раз Катерина Ивановна сообщила мне, что после «Цыган» будет ставить инсценировки чеховских рассказов, в их числе «Ведьму»... «Хотела роль ведьмы дать вам, но поскольку вы собираетесь нас покинуть...» Интонация насмешливо-неприязненная, выбор слов («поскольку» и «покинуть») для речи Корнаковой необычен. Это мне дают понять, что я поступаю дурно. Без меня, конечно, обойдутся, однако странно, что я нахожу возможным бросить студию... Прямо Катерина Ивановна ничего мне не говорила, неудовольствия моим отъездом вслух не выражала, но я постоянно ощущала, что меня осуждают, и внутренне кипела. Ей-то хорошо. Ей прекрасно. Живет, ни о чем не заботясь, играет в студию, а до нас дела нет. Должна ж она понимать, что студия никакого будущего нам не сулит? Но она не желает ничего понимать. Только о себе и думает. Взбалмошный человек. Капризный. Эгоистичный. Права мама, права!

Она была для меня самым близким человеком, с ней я делилась всем, чем в данный момент жила, то у нее дома пропадала, то в студии, мать и сестру иногда неделями не видела... Теперь все изменилось. Мои отношения с Корнаковой стали натянутыми. Какое-то время я еще надеялась вернуть их к прежнему. Надеялась, что она поймет, почему я должна уехать, вникнет в безнадежность моего здешнего существования, мой отъезд благословит, мы расстанемся друзьями, обещая переписываться,— впрочем, я понимала, что писать письма человек этот неспособен... Но отношения к прежнему не вернулись.

Тем летом у матери была возможность снять комнату за Сунгари, хоть месяц отдохнуть. Но нужно было собрать деньги на мой отъезд, и мать от комнаты отказалась. Вместо отдыха взялась переводить для газеты английский детективный роман и писала письма всем уехавшим в Шанхай знакомым... Сестра была озабочена тем, как я буду одета. Что-то мне перешивала и очень беспокоилась насчет пальто: приличного пальто у меня не было. Вот мои самые близкие люди, вот кто меня по-настоящему любит. А я-то убегала от них, я пренебрегала ими — и ради кого?

Ради человека, которому судьба моя совершенно безразлична...

В канун моего отъезда — это был уже декабрь — Катерина Ивановна пригласила всех студийцев к себе домой. На этом ужине не помню Бориса Юльевича — он, очевидно, был в командировке. Поняла я дело так, что ужин устраивается в мою честь — со мной прощаются — и не пойти нельзя, хоть и совестно оставлять мать и сестру в мой последний вечер. Я дала им слово вернуться как можно раньше.

Я ошиблась. Никакого отношения к моему отъезду веселое застолье в доме Бринеров не имело. Катерина Ивановна была в ударе, ярко рассказывала, кого-то изображала, всех смешила, в мою сторону и не глядела,— да помнит ли она, что я завтра уезжаю? Пили за Катерину Ивановну, чокались, смеялись, кто-то заговорил о будущей постановке, она меня уже не касалась, я была на отлете, я была тут чужой, и как я могла подумать, что всех созвали из-за меня? И перед собой мне было стыдно, и перед домашними (но им-то я ни за что не скажу, в каком глупом положении очутилась!), и перед Адой Бортновской — она сидит рядом со мной и шепчет мне что-то утешающее... Надо поскорее выбраться из-за стола, не привлекая внимания окружающих, уйти не прощаясь, уйти по-английски...

Пальто мое валялось в комнате Нйники, я пошла туда, а выйдя (пальто на руке), наткнулась в коридорчике на Катерину Ивановну. Она сказала, что идет в спальню за сигаретами. «А вы? Уже уходите?» — «Да. Ведь я завтра...» — «Да, да, да! Вы завтра уезжаете. Ну что ж. Прощайте».

Я хотела проститься гордо. Пожать ей руку, поцеловать в щеку, поблагодарить за все и удалиться. Вместо этого уткнулась лицом в ее плечо и зарыдала. Смех и веселые выкрики, доносившиеся из столовой, сменились музыкой, поющим голосом — кто-то поставил пластинку. Голос пел: «Я помню вальса звук прелестный...» А я все смачивала слезами вязаную кофту Катерины Ивановны. Она же стояла молча и почти неподвижно, лишь гладя ладонью мою вздрагивающую спину. Затем, когда я, оторвавшись от нее и пряча свою заплаканную физиономию, стала тащить из сумки платок, сказала: «Если вам трудно придется в Шанхае и вы захотите вернуться, напишите, вышлю денег на дорогу, все для вас сделаю. А по-

ка вы там, не помогу ничем». Эти слова ее в тот момент прошли мимо меня, услыхала я их и осознала позже, и рассердилась, и осудила ее за них. А тогда, смущенная своим взрывом, своими слезами, хотела лишь поскорее удрать, чтобы никто не увидел меня, выскочила в переднюю и там под звуки: «Теперь зима, и те же ели, покрыты сумраком, стоят...» — навсегда захлопнула за собой дверь этой квартиры. Пальто надела на лестнице. Кончилось. Я больше не войду сюда. Не увижу этого дома, этой улицы. И Катерину Ивановну больше не увижу.

Так оно и случилось. Я не увидела больше ни улицы, ни серого трехэтажного дома, ни квартиры. И той Катерины Ивановны, на плече которой я рыдала декабрьским вечером 1936 года, тоже больше не увидела. Спустя десять лет в Шанхае навстречу мне вышла пожилая опустившаяся женщина, в которой мало что осталось от прежней Корнаковой.

Было ей тогда пятьдесят с небольшим, а на вид за шестьдесят. Прежде она была элегантна. Лишь невоспитанному вкусу могло померещиться, что она мало обращает внимания на свою внешность. Ее английские юбки, и блузки, и вязаные кофты, и обувь — все было дорогое, все прекрасного качества, ситцевые сарафаны и льняные летние платья хорошо сшиты, а небрежность, с которой она повязывала на шею пестрые косынки, была лишь кажущаяся. И всегда хорошие духи. И всегда тонкие чулки.

А тут, в передней шанхайской квартиры, где поселились Бринеры, я увидела женщину в бесформенном, чуть ли не бумазейном халате, в шлепанцах, в чулках гармоникой. Чулки эти поразили меня едва ли не больше, чем лицо ее — постаревшее, обрюзгшее, в каких-то лиловых прожилках — и тусклые, погасшие узкие глаза...

Незадолго до этого она с Борисом Юльевичем и приемной дочерью, девочкой лет девяти, приехала в Шанхай из Англии. Узнала я об этом либо от Нйники, либо от Ады, уже несколько лет, как переехавших в Шанхай. Все постепенно переселялись сюда из Харбина. Ада была замужем. Нйника была замужем. И я была замужем.

Накануне я звонила по телефону, о свидании условилась, меня ждали. Я работала тогда в просоветской газете «Новая жизнь», вторая половина дня была у меня

занята, пришла я около полудня. Катерина Ивановна только что встала. Впрочем, она и раньше поздно вставала.

— Наталья! Пожалуйте! Вот и свиделись! — Затем с усмешкой, в которой мелькнуло что-то прежнее: — Не глядите на меня. Меня больше нет. Я мертвая.

Затем мы сидели в какой-то комнате, в столовой, видимо. Тихо. Лишь уличный шум за окном. Не знаю, где была девочка. Борис Юльевич был на службе — и в Шанхае существовал филиал транспортной фирмы «Бринер и К°». «Ну, рассказывайте!» Что рассказывать? Как расскажешь десять лет? К тому же лицо ее (господи, до чего ж оно изменилось!) рассеянно, будто к чему-то прислушивается... Она двинулась встать, села, снова встала, сделала мне знак — сейчас, мол, приду! — зашаркала к двери, исчезла, скоро вернулась, что-то пряча под халатом. Заговорщически подмигнув, извлекла на свет божий четвертинку. «Закусить нечем! Туда (кивок в сторону кухни, куда скрылся отворивший мне дверь бой-китаец) не хочу идти, а здесь... Разве вот орешки!» Из буфета была вынута тарелка с солеными орешками, какие к пиву подают, и две рюмки. Водка разлита. Бутылка поставлена под стол. Шепотом: «Если услышите, что кто-то идет, прячьте рюмку! Ну, выпьем!»

Я старалась ужаса своего не выдать, улыбалась, подыгрывала — какая, мол, светлая мысль посетила Катерину Ивановну угостить меня водочкой и как все ловко устроено! Орешки? Прекрасно! Можно и под орешки! Мне, в это время дня пить не умевшей, вкус водки показался премерзким, к тому же она была тепловата (не под матрацем ли хранили ее?), но я выпила бойко, быстро схватила, быстро зажевала орешек и делала вид, что всем очень довольна...

Что же было с нею за эти десять лет?

Поначалу сведения о ней я получала из писем Ады Бортновской... Студия недолго существовала после моего отъезда. Студийцы один за другим разбегались, разъезжались.

И когда выяснилось, что спектакли ставить уже не с кем, Катерина Ивановна вновь решила искать спасения в ребенке. Откуда взяли девочку, кто были ее родители, мне неизвестно. Взяли ее совсем крошечной, окрестили, нарекли Екатериной. Корнакова решила посвятить себя это-

му ребенку, называла ее «Екатерина Вторая», привязалась к ней. Девочка, однако, не спасла...

Корнаковой было суждено еще раз увидеть город, который она так любила. В начале 1946 года Бринер с женой и приемной дочкой был проездом в Москве. Девочка заболела здесь ангиной, пребывание затянулось чуть ли не на месяц. Жили в гостинице «Савой». Корнакова виделась с А. Диким и его женой, с С. Бирман и другими близкими людьми. И стояла в почетном карауле на похоронах И. Москвина. И зашла однажды в свою прежнюю парикмахерскую, и старый мастер узнал ее, и оба плакали. Из Москвы Бринеры уехали в Лондон.

Она начала было забывать о том, что есть на свете люди, понимающие ее с намека, а попав в Москву, вновь очутилась среди них, говорила с ними почти как встарь... Что-то, конечно, было утрачено, но все же полно общих воспоминаний. И шуток, и словечек, только этой актерской среде понятных, тоже полно! А потом расставание, теперь уж навсегда. И снова Лондон. Снова англичане. Снова ни одного человека, говорящего на ее языке. И вообще: ни одного человека. Боречка утром уезжает на службу, девочка отводится не то к учительнице, не то в детский сад, в доме тишина, из всех углов наползает тоска — с ума сойти! Не тогда ли она начала выпивать одна, с утра?

...И вот я сижу против нее в шанхайской квартире (странная штука память — эту квартиру не помню совсем, ни сколько комнат, ни обстановки!), и мне тяжело видеть ее изменившееся лицо, и то, как она прячет бутылку, озирается, прислушивается... Что-то размякшее появилось в ней... Ну вот, увлажнились глаза! Пьяные слезы! Я осуждаю ее с позиций молодого, здорового, бодрого человека, которому кажется, что он твердо знает, что ему делать, как жить, куда стремиться,— а стремилась я в Россию. Но я жалею ее, помню, как любила ее, и прячу и жалость, и осуждение, превозмогая себя, проглатываю вторую рюмку, отвечаю на ее вопросы, и мне ужасно хочется поскорее выскочить отсюда на улицу — там солнце, спешат люди, мчатся машины, там нормальная дневная жизнь...

Я к ней редко ходила. Очень была занята. Но и в Харбине я была очень занята, однако находила время видеть ее чуть не ежедневно, радовалась ее расположению, страдала от ее невнимания и холодности. Теперь она была ко

мне неизменно расположена, встречала ласково. Сказала как-то: «Вы ведь и мое творение. Немало я в вас своего вложила... Вы, как губка, все впитывали!» И вдруг неуловимо изменила лицо, вся подобралась, вытянулась на стуле, руки на коленях, и стала, видимо, похожа на меня прежнюю, чему утренний ее растерзанный вид не помешал нисколько... Обрадовалась моему смеху: «Похоже? И какие-то идиотские бантики на платье».

Нет. Тогда в Шанхае она еще не окончательно рухнула. Рядом был Боречка, ради него удерживалась. К его приходу домой прибиралась, одевалась... А Борис Юльевич тоже изменился. Похудел, пожелтел лицом, глаза грустные. Мало что осталось от его пружинной бодрости, четкости, деловитости, оптимизма. По-прежнему ездил на службу, руководил домом, обо всех и обо всем заботился, но как-то механически. Выполнял свой долг, свои обязанности по отношению к близким выполнял, а сам уж ни на что не надеялся, никакого просвета в своей жизни не видел.

Однажды, придя к Катерине Ивановне, я увидела сваленные в углу комнаты книжные тома... «Словарь Брокгауза и Ефрона. Попросила Боречку мне купить. Привезли вот...» С усмешкой: «Насчет образованности я, как вам известно, не того... А тут Катька растет. Решила всплеснуться, пока не поздно... (Скороговоркой.) Впрочем, может, уже и поздно!»

Каким образом думала она заниматься самообразованием с помощью словаря? И открыла ли когда-нибудь хоть один том? Не знаю. Не до нее мне было в то время. Моя семейная жизнь не ладилась — я разводилась с мужем. Летом 1947 года желавшие вернуться на родину эмигранты это разрешение получили, и я готовилась к отъезду.

Из писем матери, оставшейся в Шанхае, я узнала о скоропостижной кончине Бориса Юльевича — он умер от болезни сердца спустя полгода после моего отъезда. Катерина Ивановна с дочкой уехали в Лондон.

Почему Лондон? А потому, полагаю, что там жила родная сестра Корнаковой Фанна Ивановна, еще до революции вышедшая замуж за англичанина. «Полностью обанглічанилась. Совершенно чужой мне человек!» — говорила о ней Катерина Ивановна. А поехала к ней. Гордость, видимо, запрещала Корнаковой вернуться в Москву. «Поздно. От всего отстала. Куда уж мне теперь в театр... Все

там другое, новое. Молодежь обо мне и не слыхивала...» Так говорила она мне в Шанхае.

Но сестры друг с другом не поладили, и Катерина Ивановна с дочкой стали жить отдельно. Узнав ее новый адрес, я написала ей длинное и нежное письмо. Ответа не получила, да и не рассчитывала на него.

Летом 1956 года моя сестра Ольга была в Лондоне и навестила в госпитале Святого Луки умиравшую от рака Корнакову. Она изменилась так, что ее было трудно узнать. «Наталье не ответила... Она не обидится... Она знает... Передайте ей, что часто мысленно с ней разговариваю...»

15 августа 1956 года Катерины Ивановны Корнаковой не стало.

Спустя одиннадцать лет, а именно в январе 1967 года, я была в Лондоне. Там познакомилась с некоей Ольгой Сергеевной Шипман. Она жила в Англии много лет, но русский язык не забыла. Ольга Сергеевна знала Корнакову и принимала участие в ее судьбе...

— Но чем, скажите, помочь человеку, который пьет, который рукой на себя махнул? И девчонку жалко было! Ей одеться хотелось, ей друзей позвать хотелось, а дома все разбросано, пустые бутылки... Квартира у Катерины Ивановны была жуткая, вместо отопления железная печурка, на уголь денег нет...

Я слушала Ольгу Сергеевну, сидя против нее за столиком лондонского ресторана. Было время второго завтрака. Мы вкусно ели, пили красное вино. Мне очень нравился этот ресторан, маленький, уютный, с белоснежными скатертями, с вежливой услугой... И нравилась улица, видная в большие окна. И вообще нравился Лондон...

— Не знаю, почему у нее было так мало денег. Бринер умер скоропостижно, быть может, не успел сделать нужных распоряжений, и родственники ее обделили. Думаю, так и было: ее ведь обмануть ничего не стоило, совершенное дитя во всем, что касается прозы жизни... Ну, и безалаберна до удивления — вы ж ее знали. Кроме того, пила! Когда заболела, нечем было заплатить за отдельную палату, лежала в общей, страдала от этого. В то время в Лондоне жил Юлий, то ли фильм какой крутил, то ли так приехал. Я хотела было пробиться к нему в отель «Кларидж», просить, чтобы дал денег на отдельную палату,—

что ему стоило сделать благородный жест, великодушие проявить к мачехе, в память отца хотя бы... Сдуру проболталась об этом своем намерении Катерине Ивановне, но она запретила мне к нему обращаться. Об одном велела просить его — чтобы, когда она умрет, не оставил бы девочку, о девочке бы позаботился...

Она так и не научилась говорить по-английски. Каждый почти вечер ходила в какую-то пивную, сидела там до закрытия. Сначала, вероятно, объяснялась знаками, а потом ее уже знали, сразу ставили перед ней стаканчик. И все привыкли к этой опустившейся старой женщине, часами одиноко сидящей в углу и бормочущей на непонятном языке. Я подумала, что, быть может, ее не раз приходилось из пивной выпроваживать. Кто-то подходил, стучал по столику, чтобы привлечь внимание, потом тыкал большим пальцем себе через плечо: выметайтесь, мол, время! День окончен, Балладина!

Я могла бы себе представить, как она вздрагивала, непонимающе глядела, потом понимала, кивала — сейчас уйду! — с трудом вставала... Но я не хотела в это углубляться. Я впервые была в Лондоне, который хотела увидеть с тех пор, что полюбила Диккенса, кто-то ждал меня, я куда-то торопилась, и лишь через несколько дней пожалела о том, что не попросила Ольгу Сергеевну показать мне эту пивную. И еще какие-то вопросы хотелось мне задать Ольге Сергеевне, и я все собиралась позвонить ей, но так и не собралась. Меня возили в диккенсовский Рочестер, и в Оксфорд, и в Стратфорд-он-Эйвон, водили в театры, приглашали в гости, ну, короче говоря, очень было интересно и весело. А когда спустя четыре года я вновь попала в Англию, Ольга Сергеевна уже умерла, и некому было показывать мне пивную, и некого было расспрашивать.

МОИ ВСТРЕЧИ С ВЕРТИНСКИМ

Граммофонную пластинку с его голосом я услыхала впервые, когда мне было лет четырнадцать-пятнадцать. На одной стороне: «Ты успокой меня...», на другой — «Сероглазый король». Очень меня взволновал этот голос, больше говорящий, чем поющий,— и музыка, и слова. «Но ты ушла холодной и далекой, закутав сердце в шелк и шиншилла...» Это звучало красиво, звучало загадочно, я и не стремилась узнать значение таинственного слова «шин-

шилла»... Вскоре у меня появилось еще несколько пластинок Вертинского.

Я слушала их вечерами, когда родителей не было дома. Осень. Сумерки. Не зажигая огня, я залезаю с ногами в кресло и упиваюсь голосом Вертинского сквозь шипение старого патефона. Я сижу в столовой: в углу диван, рядом мамин секретер с застекленными фотографиями над ним, посредине обеденный стол, окруженный стульями. Окна синели, уже едва различишь акации у забора нашего палисадника и две клумбы с умирающими астрами. При первых звуках рояля и голоса все привычное, будничное, надоевшее исчезало, голос уносил меня в иные, неведомые края. Где-то прекрасные женщины роняют слезы в бокалы вина («Из ваших синих подведенных глаз в бокал вина скатился вдруг алмаз...»), а попугаи твердят: «Жаме, жаме, жаме» и «плачут по-французски»... Где-то существуют притоны Сан-Франциско, и лиловые негры подают дамам манто... Я видела перед собой пролеты неизвестных улиц, куда кого-то умчал авто, и хотела мчаться в авто и видеть неизвестные улицы... «В вечерних ресторанах, в парижских балаганах, в дешевом электрическом раю...» При этих словах внутри покалывало сладкой болью: вспоминался один августовский вечер.

Я гостила на даче школьной подруги Тани Ш. в поселке Лаошагоу. Тем августом Тане исполнилось четырнадцать лет (я была на восемь месяцев младше), и Танина мать, Ольга Ивановна, после наших долгих и слезных упрашиваний согласилась отпраздновать сей торжественный день ужином в курзале — так назывались тогда дачные рестораны с эстрадной программой. Нас с Таней давно волновала доносившаяся из курзала музыка, силуэты танцующих пар, и вот мы попали в это прекрасное место, мы впервые в ресторане, как взрослые, и пусть в наши бокалы налито не вино, а какая-то сладкая водица — все равно как взрослые! В качестве кавалера для Таниной сестры, семнадцатилетней Ирины, был приглашен сын приятельницы Ольги Ивановны, студент Политехнического института Игорь. Ему двадцать один год. Он высок, строен, красив. Я влюблена в него уже две недели — любовь с первого взгляда. О взаимности и мечтать не смею: длинна, худа, нескладна, некрасива, да и лет мне мало... Но все равно эта тайная безнадежная любовь осветила то лето в Лаошагоу, где каждую минуту либо в парке, либо у реки мог попасться Игорь (при этих встречах что-то внутри у

меня обрывалось и падало), и утром было весело просыпаться при мысли, что человек этот где-то тут, рядом, я вспоминала каждое его ко мне обращенное слово вроде: «Где вы успели так загореть?» Или: «А вы, оказывается, хорошо плаваете!» Уже того хватало, что он вообще меня замечал, и я потом повторяла про себя на разные лады: «Где вы успели так загореть?», «Хорошо плаваете...»

Близкое присутствие Игоря, музыка, женщины в вечерних платьях, запах духов наполняли меня восторгом, я онемела, я не могла есть, хотя что-то вкусное дымилось на наших тарелках. Но недолго длилось это счастье. Внезапно Ольга Ивановна, сидевшая между мной и Таней, резко поднялась, схватила нас за руки и потащила к выходу... На эстраде выступал певец-юморист, а нас, от растерянности не сопротивлявшихся, тащила за руки Ольга Ивановна мимо столиков с изумленно глядящими людьми, мимо официантов, поспешно отскакивающих (у одного из них я плечом едва не вышибла поднос), тащила упорно, непреклонно, в сознании своей правоты, сердито бормоча: «Такое петь при детях!», гордая своим возмущением, гордая тем, что вовремя услыхала, спохватилась и вот спасает нас, охраняет от разврата и зла... И мы стремительно приближаемся к выходу, и грохочет пустой стул, оказавшийся на нашем пути... Парк, стволы старых вязов, освещенные ресторанными окнами, тихий, теплый вечер, по августовскому небу покатилась и упала звезда, и сыростью пахнуло от близкой реки, и уже все позади — Игорь, запахи вина и духов, наш недоеденный ужин... Мы с Таней опомнились. «Мама, ты что?» — «Ольга Ивановна, почему?» — «Потому!» — «Мама, но мы вернемся?» — «Мы идем домой!»

Таня хныкала весь обратный путь: «Всегда с тобой так!.. Вечно ты все испортишь! Что он особенного пел? Ваня с Машей...» — «Замолчи!» Я протестовать не смела, да и не могла — в горле ком, вот-вот разревусь, ведут домой, все кончено!

Добрейшая, лучших намерений исполненная Ольга Ивановна не догадывалась, что, не вытащи она нас с такой поспешностью, мы с Таней и внимания не обратили бы на слова песни, не вслушались бы, а позже не вспомнили б. А тут, насильно и шумно выведенные, вспомнили и запомнили, да так, что возмутившие Ольгу Ивановну слова («Ваня с Машей в том подвале даром время не теряли...») в памяти моей застряли на всю жизнь, столько пре-

красных стихотворных строк ушло, забыто, а эта чепуха десятки лет засоряет голову.

Мой ресторанный опыт на том и закончился, и длился-то каких-то полчаса, но впечатление от него не изглаживалось долго. От запаха духов, от где-то раздавшейся музыки внезапно и сладко щемило сердце, и я видела столик на веранде, бокалы, вечерние платья, а главное, главное — Игоревы серые глаза,— «О, как ты красив, проклятый!».

Когда я впервые услыхала Вертинского, я все еще была влюблена в Игоря, хотя за зиму видела его от силы два раза, а следующим летом и вообще не видела. Быть может, эта любовь стала бы угасать без питания, но песенки Вертинского ее оживили, подстегнули. Там ведь много говорилось о несчастной любви. Она уходит, Она бросает его, а Он молит: «Не уходи, не будь такой жестокой...» В другой песенке Она уходит, даже вещей своих не забрав: «На креслах в комнате белеют ваши блузки, вот вы ушли, и день так пуст и сер...» Неблагополучно сложились и отношения с полькой, у которой «медно-змеиные волосы» и «тонкое имя Ирэна» и которой Он с эстрады свое сердце, как мячик, бросает: «На, ловите, принцесса Ирэн!»

Я сижу в кресле, поджав ноги, забыв все на свете, отдаваясь этому говоряще-поющему голосу, и было мне грустно, но и сладко — передо мной такая длинная-длинная жизнь, и все впереди — и рестораны, и бокалы, и пролеты улиц, и авто, и манто, и, возможно, притоны Сан-Франциско...

Однажды мать, вернувшись откуда-то раньше положенного времени (я и не слышала, как она снимала в передней пальто!), вошла, повернула выключатель и — с порога: «Что это ты слушаешь с таким идиотским лицом?» Оскорбленная, я хотела остановить патефон, но мать махнула рукой: «Погоди!» Послушала стоя. Усмехнулась. «Так. Вертинский. Песенки Пьеро». Голос отзвучал, аккомпанемент стих, я сердито, не глядя на мать, подошла к шипящему патефону и тут услыхала обращенные в мою спину слова: «Не знаю, не знаю. По-моему, пошлость! (Насмешливо.) А тебе очень нравится, да?» Я молча пожала плечами. Очень была обижена — за Вертинского, за себя — и мать в эти минуты почти ненавидела.

Однако слова ее, даже брошенные мимоходом, нередко вызывавшие у меня отпор и возмущение, свое действие

оказывали. Было мне лет десять, когда мать одним-единственным словом отвадила меня от Чарской: «Что ты читаешь? Откуда? Этой дряни я тебе никогда не дарила!» На Чарскую в школьной библиотеке очередь, из рук рвут, и понятно: так интересно! Кроме Чарской, и читать ничего не хотелось. Скорее бы сделать уроки, залезть в кресло — и пошло́: страхи, приключения, ужасы, юные героини постоянно падают в обморок, сознания лишаются (ах, почему я никогда не лишаюсь, так бы иногда нужно!), пепиньерки, парфетки, медамочки, слезы, истерики... А мать сказала: «Дрянь!» Девочки моего класса: «Княжну Джаваху» читала?.. Нет? Что ты! Так здорово!» А мать сказала: «Дрянь»... Нет, я не сразу бросила читать Чарскую, но уже что-то меня настораживало, отталкивало, раздражало...

Теперь вот Вертинский. Пошлость? Не верю. Все равно буду слушать, все равно будет нравиться. Я и слушала. Мне и нравилось. Но какая-то трещина в моем отношении к Вертинскому появилась. Музыка и голос завораживали по-прежнему, действовали гипнотизирующе, но, опомнясь, я ловила себя на том, что слова некоторых песенок беспокоят меня... Возникали подозрения, что брошенные в кресло «блузки» понадобились лишь для рифмы с попугаем, плакавшим «по-французски», лиловые негры, лиловые аббаты и манто нравились меньше прежнего, вызывали сомненья «медно-змеиные волосы» и многое другое... Но не в словах ведь дело! Когда Вертинский их произносил, сомненья исчезали, ничего не надо понимать, ни во что не надо вдумываться, а просто отдаваться этому голосу, этой манере петь, этой музыке... В те отроческие и юношеские годы и дома, и у подруг я часто слушала пластинки Вертинского, слушала с восхищением, смешанным, однако, с чувством неловкости. Очень нравится, а перед собой вроде бы неловко, что нравится. Таково было влияние матери.

В 1935 году Вертинский из Америки приехал на Дальний Восток, обосновался в Шанхае и посетил Харбин. На круглых харбинских тумбах афиши: «Концерт Вертинского в зале Железнодорожного собрания». Билеты стоили дорого. Впрочем, для нашей семьи все было дорого в те годы, все не по карману. На концерт я попала благодаря Катерине Ивановне Корнаковой.

Мы сидели в первом ряду амфитеатра, напротив сцены.

Под нами рокотал партер, белый зал ярко освещен огромной люстрой, все пришли в своих лучших платьях, обстановка торжественная, я взволнована... Люстра медленно гаснет, но освещается эстрада, из-за кулис появляется высокая, элегантная, во фраке фигура, утихший было зал взрывается хлопками и вновь затихает при звуках рояля... Звучит знакомый по пластинкам голос: «Рождество в стране моей родной, детский праздник, а когда-то — мой!..», «Над розовым морем вставала луна, во льду зеленела бутылка вина...» После каждой песни буря аплодисментов, я отбивала себе ладони, косилась на Катерину Ивановну, видела ее порозовевшую щеку, блестящий глаз, она тоже хлопает, ей нравится, как я рада, что ей нравится!

А я наслаждаюсь, я плыву в блаженстве! На пластинках лишь голос, а тут он сам, с этой удивительной игрой рук, с этими неожиданными превращениями... «Матросы мне пели про птицу, которой погибших жаль... Она открывает двери матросам, попавшим в рай!» Вдруг расправил плечи, вроде бы даже прошелся враскачку, по-матросски, и «Как трудно на свете этом одной только песнею жить...» — матрос исчез, перед нами уже бродяга-поэт, усталый, ироничный...

Какой он большой, широкоплечий, а в походке, в манере кланяться что-то развинченное, капризное, чуть ли не женственное, но это идет ему, это в стиле его песенок, он — прекрасен. И зал считал, что — прекрасен! Эта элегантная фигура, прибывшая к нам из парижских ресторанов и притонов Сан-Франциско, не вписывалась в провинциальность Харбина, она чудом появилась на его подмостках, Харбин это чувствовал, был признателен, исходил аплодисментами...

«Какой актер! — говорила в антракте Катерина Ивановна.— Руки гениальные! Каждая песенка — маленькая пьеса, чувствуете?» Я радостно уцепилась за слово «актер». Вот что я в нем ощущала, даже не видя его, вот почему люблю его песни. Дома объявлю матери: «Он талантливый актер, руки гениальные, это Катерина Ивановна сказала!» В тоне моем будет слышаться: «Уж Корнакова-то понимает, кто актер, а кто не актер!» И я буду отмщена за тот далекий вечер, когда мать сказала: «Что это ты слушаешь с таким идиотским лицом?» Затем: «По-моему, пошлость!» И еще: «Голоса-то ведь нет никакого!»

Голос! А ему и не нужен голос. Он — актер. Он скорее

мелодекламатор, чем певец. И пусть слова некоторых его песенок не слишком удачны, пусть даже пошловаты, пусть. Не это главное. Главное то, что он актер, ни на кого не похожий, создатель своего особого жанра. Вот в чем его сила! Теперь, спасибо Корнаковой, я могла без чувства неловкости перед собой наслаждаться пением Вертинского.

В следующий раз я слушала его в Шанхае.

Ни фрака, ни люстры, ни белого зала, ни того приподнято-торжественного настроения, какое бывает во время концерта заезжей знаменитости. Накурено, надышано, подвыпившие люди за столиками, эстрадное возвышение для маленького джаза, всхлипывания саксофона, посетители танцуют, затем возвращаются за столики, а на площадке появляются цыгане. Мужчины в жилетах, расшитых блестками, женщины в пестрых юбках и платках, звенят мониста, пляшет знаменитый Шурик, смуглый мальчишка лет девяти, пляшет красотка Маша, девочка лет пятнадцати... Оба бойко, на ходу, почти на лету, выхватывают протягиваемые им посетителями долларовые и пятидолларовые бумажки... Дети отплясали, вперед выходят два гитариста, а рядом возникает высокая знакомая фигура, не во фраке, в обычном темном костюме, подтянутая, элегантная... «Жалобно стонет ветер осенний, листья кружатся поблекшие...» Припев: «В Самарканд поеду я, там цыгане ждут меня...» — подхватывал цыганский хор, и ему фальшивыми голосами азартно подпевал зал, а Вертинский не пел, лишь плечами поводил, лишь длинными пальцами прищелкивал... Тут из ночи в ночь исполнялся весь репертуар эмигрантских кабаков: «Очи черные», «Две гитары...», «Ехали на тройке с бубенцами...», но Вертинский в это заигранное, затрепанное, запетое вносил свое, новое, импровизировал, внезапно в тексте возникали «серебряные руки», появлялись иные жесты, и строгая фигура в темном костюме среди блесток и монист казалась не только уместной — необходимой! Тут часто пелась песенка явно не цыганского происхождения с припевом: «Ай-ай-ай, девочки, где вы теперь? Ай-ай-ай, куколки, люблю, поверь!» И лишь Вертинскому с его актерским даром и музыкальностью удавалось произносить эти слова так, что их идиотизм не вызывал ожесточения...

Позже он выступал один, в своем репертуаре, под рояль, аплодировали бешено, денег со столиков ему не бросали. Впрочем, однажды было и это... Владелец мехового магазина, сильно в ту ночь разгулявшийся, швырнул под

ноги Вертинского, когда он, отпев, раскланивался, скомканную купюру, и я видела, как изменилось лицо артиста (дернулся рот, гневно раздулись ноздри), и вот он ушел, будто не заметив брошенной банкноты, даже наступив на нее. Разгулявшийся не понял. Криком вслед: «Эй, Вертинский!» Подозвал официанта: «Поднять!» — и: «Хозяина ко мне!» Явился хозяин (русский армянин, чернявый, длинноносый, с печально-добрыми глазами) и вместе с дамами, сидевшими за столиком купца, долго его упрашивал, унимал, уговаривал...

У Вертинского был здесь свой столик, не в зале «ночного клуба», а в соседнем, ресторанном... Поклонники посылали ему туда бокалы шампанского на подносе, иногда вино, коньяк. Такие подношения он принимал. Бывало, что какая-нибудь веселая компания приглашала его за свой столик,— принимал и это. Он что-то там рассказывал, стоял хохот, и мне, сидевшей в уголке с моим скучным и добрым приятелем Мишей, ради меня таскавшимся еженедельно в это кабаре (мы заказывали кофе, иногда две бутылки пива, и официанты презирали нас), мне очень хотелось за тот веселый стол, узнать, каков Вертинский не на эстраде, в жизни, но меня туда никто не звал...

Однажды в середине ночи, ночи субботней, все столики заняты, в зале появился хозяин, руководя внесением и установкой нового столика, забегали официанты, и было ясно: на подступах богатый гость. И вот он появился, с ним две дамы, официант, почтительно семеня, ведет гостя к столу (там уже шампанское в ведерке и розы), в этот момент ни выступлений, ни танцев, зал освещен, все видят нового гостя, с ним здороваются, и он приветственно помахивает ладонью, а некоторым пожимает руку, ибо чуть не все тут его знают и он знает всех... Я вижу вдруг, что и ко мне обращены его взгляд и улыбка, чему удивлена безмерно, ибо знаю его мало, не была даже в том уверена, что он узнает меня... Я польщена этим неожиданным вниманием, тоже улыбаюсь, тоже киваю, ловлю себя на низкотщеславной мысли, что все, и, главное, нас презирающие официанты, видят расположение ко мне богатого гостя, а он приближается, он и со мной хочет за руку поздороваться, я с улыбкой приподнимаю в ответ ладонь и вдруг вижу, что и дружеский взгляд, и улыбка не ко мне обращены, а к кому-то за соседним столом, там, минуя нас с Мишей, мимоходом останавливается богатый гость, и его встречают приветственными кликами... Через минуту он уже сидит

у себя за столом, одним глазом смотрит в меню, другим куда-то в сторону, как я могла забыть про эти косящие глаза, про этот неуловимый взгляд, никогда не известно, на кого именно смотрит этот человек, впрочем, меня ведь учили, что следить надо за его правым глазом, а на левый внимания не обращать, или наоборот? Мне стыдно перед собой, перед Мишей, перед всеми, кто видел, как я, польщенно улыбаясь, потянулась вперед, руку приподняла — мне кажется, что это видели все! — и я похлопываю себя пальцами по щеке (будто за этим и руку поднимала!), но куда девать кивки, куда улыбку? Миша деликатен, смотрит в сторону, будто не заметил ничего, я же от стыда становлюсь суетливо-говорливой... Сообщаю Мише, что новый гость — это Кауфман Евгений Самойлович, издатель газет «Шанхайская заря», «Тяньцзинская заря», харбинского журнала «Рубеж» и там же выходящей вечерки «Рупор»... Добавляю не без злорадства, что в редакции «Шанхайской зари» Кауфмана называют «Женька косой» и «Женька-кровосос».

Этими печатными органами Кауфман владел, впрочем, не один, а в компании с вдовой некоего Лембича, польского еврея, сумевшего в свое время организовать сразу несколько изданий в трех городах Дальнего Востока. Портрет Лембича — горбун с умными глазами — украшал издательский кабинет «Шанхайской зари». Красивая молодая вдова Лембича в редакции появлялась не часто (запах духов из передней смешивался с прокуренным воздухом репортерской, в проеме двери промелькивала женская фигура в мехах, и кто-нибудь из репортеров произносил, дурачась, утробным голосом: «Мадам пожаловала!»), а всем заправлял Кауфман, хозяйским оком надзирая за всеми изданиями, жил между тремя городами, в Шанхае появлялся периодически.

Плотный, среднего роста, с рыжими кустиками бровей, косой, с ярко выраженной семитской внешностью, он, явившись, все вокруг себя зажигал, энергия адская! И весьма некрасив, и совсем не молод (лет пятьдесят), а рядом всегда прелестные молодые женщины, притягиваемые, быть может, не одними корыстными соображениями, а жизнелюбием этого человека. Жизнелюбие всегда привлекательно...

Тут, в кабаре «Ренессанс», Кауфман сначала танцевал с одной из своих спутниц, затем упоенно подпевал цыганам, потребовал, чтобы Вертинский повторил: «Ай-ай-ай,

куколки...», после чего кинулся приглашать его за свой стол. Кауфман не темный купец. Кауфман с Вертинским дружествен, даже почтителен, и Вертинский держится без настороженности, а просто и весело... Вон они там хохочут, чокаются, я все поглядываю на их столик и вдруг с изумлением вижу, что оба оборачиваются, смотрят на меня. Вертинский-то определенно на меня, а Кауфман — бог его знает, вечно я забываю, какой из его глаз... Встают. Идут. Нет, не к нам, конечно, а к компании, гуляющей за соседним столом... Но остановились около нас, и — голос Кауфмана (южное произношение с мягкими «ш» и «ж»): «Вот она, наша мисс Пэн!». Мне: «Александр Николаевич хвалил ваш вчерашний фельетон, интересовался: какая вы? Говорю: за чем дело стало? Я вам сейчас ее покажу! Пожелания любимого артиста выполняются нашей фирмой немедленно! Ха-ха-ха!» Я пожимаю протянутую Вертинским руку, представляю ему и Кауфману вскочившего Мишу, я растеряна, я счастлива, Кауфман в эти минуты мне симпатичен чрезвычайно, я слышу голос Вертинского: «Помилуй нас боже! Я был убежден, что псевдонимом «мисс Пэн» прикрылась пожилая толстая дама!» Кауфман торжествующе: «Я ж вам говорил!» Тут он удалился, а Вертинский подсел к нам, увидел стаканы с жалкими остатками пива, подозвал официанта: «На моем столе бутылка вина. Откройте и принесите!» Затем, обернувшись ко мне, с усмешкой: «И долго плакал от испуга, умом царицы пораженн, великолепный Соломон!» На мой вопросительный взгляд: «Откуда? Не помню. Но кажется — Саша Черный. Кстати! Вы знаете его поэму «Песнь песней»? «Царь Соломон сидел под кипарисом и ел индюшку с рисом. У ног, как воплощенный миф, лежала Суламифь». Не знаете? Сашу Черного знать следует, особенно вам, уважаемая мисс Пэн!»

Так стихами началось наше знакомство, стихами и продолжалось. Вертинский знал их великое множество, недурная память была и у меня. Вскоре возникла игра в «откуда это?»... «О, этот Юг! О, эта Ницца!» — с отвращением произносил Вертинский мучительно влажным шанхайским летом, когда и вечер не приносил облегчения. Вытирал взмокший лоб — и тут же, хитро прищурившись: «А кстати! Откуда это?.. Молчите? А просто Тютчев! Тютчева надо знать, драгоценнейшая мисс Пэн!» Вскоре мне удавалось отомстить. Я цитировала две-три строчки и — торжествующе: «Не знаете? А просто Блок!»

* * *

Теперь мне придется на некоторое время покинуть Вертинского, чтобы объяснить, каким образом я стала «мисс Пэн».

На третий, что ли, день моего приезда в Шанхай я явилась в редакцию газеты «Шанхайская заря». Главного редактора, Льва Валентиновича Арнольдова, моя мать знала молодым журналистом в Харбине двадцатых годов и написала ему письмо, спрашивая, нет ли возможности пристроить меня в газету.

Это была, разумеется, эмигрантская газета, как и большинство изданий на русском языке, выходивших в городах Дальнего Востока. Среди изданий этих были такие, которые материально поддерживались иностранцами,— газеты «Харбинское время» в Харбине и «Русь» в Шанхае субсидировались, например, японцами. Насколько мне известно, газеты и журналы, организованные Лембичем, и в том числе «Шанхайская заря», субсидий не получали, были изданиями коммерческими: не было в Шанхае эмигрантского магазина, ресторана, конторы, аптеки, врача, нотариуса, которые не рекламировались бы в «Шанхайской заре»... Газета существовала давно, считалась солидной, была, пожалуй, наиболее популярной среди шанхайских русских, поэтому и иностранные фирмы не брезговали рекламировать там свои товары. Дешевый труд китайцев-наборщиков и сотрудников-эмигрантов давал возможность издателям не только сводить концы с концами, но и доход получать...

Меня не тревожила мысль о том, что я стремлюсь попасть в сотрудники эмигрантского издания.

Я тянулась к России, рассказы Катерины Ивановны о Москве волновали меня, и время от времени я упрекала мать: зачем мы уехали? Живут же там люди! Им трудно? Будто нам здесь легко! Зато там они среди своих, а мы тут пришлые, никому не нужные. Мать всерьез меня не принимала, до споров не снисходила: ей было хорошо известно мое невежество.

В самом деле: спроси меня тогда, какие революционные партии существовали в моем отечестве, что представляла собой Февральская революция и чем отличалась от нее Октябрьская — на эти вопросы я ответить бы не смогла. Меня тянуло к России, но о том, что там происходит,

я не имела почти никакого понятия. А выросла я среди людей, которые не принимали, не признавали того, что в современной России происходит, и этот взгляд на вещи был мне привычен, время подвергнуть его сомнению для меня еще не настало, желания разобраться самой, отрешась от привычного, еще не возникло. Оно, желание это, возникнет позже, возникнет скоро, а в тот декабрьский день 1936 года, когда я впервые переступила порог «Шанхайской зари», соображения о том, что я собираюсь сотрудничать в эмигрантской газете, меня, повторяю, не тревожили. Тревожило другое. А вдруг ничего не выйдет и Арнольдов, главный редактор, не даст мне возможности устроиться в газету, получить хоть какой-то заработок...

Тревога моя была вполне основательной... Штатные места с фиксированным жалованьем разобраны давно, репортеры же работали на сдельной, построчной оплате. Уголовная и городская хроника, рецензии на концерты и спектакли, интервью с заезжими знаменитостями — все эти отделы имели постоянных авторов. Они между собою вечно грызлись, однако при виде нового человека, покушавшегося на место в газетной полосе, мгновенно и дружно объединялись, близко не подходи, а попробуешь — убить могут! Именно такое впечатление сложилось у меня однажды вечером, когда я, сопровождаемая Арнольдовым, впервые вошла в «репортерскую». Грохотали сразу пять пишущих машинок, при нашем появлении смолкли, Арнольдов представил меня, я увидела пять пар вспыхнувших ненавистью глаз, мы вышли, машинки застучали вновь с удвоенной, яростной силой, и было чувство, будто нам в спины пущена пулеметная очередь...

Арнольдов был таким же служащим, как все; как все, зависел от издателей, но эти «все» ненавидели не только Кауфмана, не только «мадам», но заодно и Арнольдова. То ли за то, что он, как редактор и бессменный автор передовиц, зарабатывал лучше других. То ли за его барственные повадки, любовь к чтению нотаций, восторженное отношение к иностранцам и членство во Французском клубе, куда эмигрантов допускали не так уж охотно...

Арнольдов жил неподалеку от редакции, являлся туда несколько раз в день и неизменно в полночь — проглядеть, подписать последние полосы. Шел по коридору своей гусиной походкой, развернув ступни, заглядывал в репортерскую — невысокий, лысый, голубоглазый, с уютным брюшком, в пухлой, женской руке сигара. Бело-розовый и

выхоленный, он одевался на иностранный манер — пиджаки из рыжего твида, серые фланелевые брюки, вязаные жилеты... А бывало, что ночью Арнольдов появлялся в лакированных ботинках и видневшемся из-под пальто смокинге, что означало: только что с банкета! В этой прокуренной, с грязными стенами репортерской он выглядел существом из иного мира, из мира коктейлей, дорогих отелей и автомобилей последних марок. Стоя на пороге, слегка покачиваясь на носках, Арнольдов снисходительным взглядом окидывал репортеров в их кургузых пиджаках, произносил: «Ну-с, ну-с, трудитесь!» — и исчезал, оставив после себя запахи сигары, одеколона, иногда чего-то приятно-алкогольного. Арнольдова начинали поносить, едва за ним закрывалась дверь, а уж смокинг особенно тяжело действовал на нервы репортеров... Интеллигентная дама средних лет, знающая иностранные языки (брала интервью и писала рецензии), и вполне малограмотный уголовный репортер в обычное время терпеть друг друга не могли, но в эти ночные часы, ругая Арнольдова, проявляли полное, почти любовное единодушие: ненависть — великая объединяющая сила...

В этих поношениях я участия не принимала, в мою сторону косились враждебно, и я знала — стоит мне выйти за дверь, будут ругать и меня. Уже пришлось однажды слышать, как интеллигентная дама, едва я вышла из комнаты, громко кого-то спросила, понимая, что я услышу ее слова: «Интересно, с какой целью Левка сунул к нам эту бездарную девчонку?»

Арнольдов был холостяком, делил квартиру со своей матерью, к женщинам был равнодушен, и лишь этот общеизвестный, часто с глумлением обсуждавшийся факт спасал меня от позорных подозрений, что я, собственным, так сказать, телом заплатила редактору за возможность проникнуть на газетные полосы... Убеждена, что репортерам полегчало бы от этого объяснения,— оно было бы так понятно, просто, общедоступно, человечно,— но, увы, к данному случаю не подходило никак, и оказываемое мне Арнольдовым покровительство терзало сотрудников газеты своей загадочностью...

В тот декабрьский день, когда я впервые переступила порог арнольдовского всегда темного кабинета (единственное окно — в стену соседнего дома), главный редактор,

сидя за своим столом у зеленой лампы, освещавшей гранки, сырые полосы и прочие бумаги, задумчиво глядел на меня, держа сигару над пепельницей... Он уже сообщил мне: штатных мест нет, возможности работать построчно тоже нет,— а я не уходила, надеялась на что-то...

В Шанхае я остановилась у некоей Анечки М., переселившейся сюда лет пять назад, а до этого жившей в Харбине и бравшей уроки английского языка у моей матери. Мать была счастлива, когда в ответ на ее письмо пришло Анечкино согласие разделить со мной комнату в пансионе. Матери казалось, что под крылышком Анечки, такой серьезной, работящей, положительной и не слишком юной (лет под тридцать), я не пропаду... Хозяйкой пансиона (комнаты сдавались с обедами) была женщина средних лет с типичной биографией хозяек шанхайских эмигрантских пансионов: в молодые годы работала в баре, нашла себе там иностранного «покровителя», а позже, выйдя в тираж, на скопленные деньги купила квартиру и стала сдавать комнаты. Комнат было пять или шесть, их снимали мелкие служащие и девушки из баров, хозяйка весь день ходила в халате и прокуренным голосом давала советы... О конторской работе в Шанхае нечего и мечтать, это лет пять назад еще можно было на такое надеяться, а сейчас — что вы! Город наводнен харбинцами, и они все едут, все едут... И надо быть очень осторожной: по городу шныряют торговцы «живым товаром», обманом увозят провинциальных дур в Гонконг или в Манилу и там продают в публичные дома...

После оцепеневшего в тисках японской оккупации Харбина Шанхай оглушил и ослепил меня многолюдьем, автомобилями, яркостью вывесок, богатством витрин, многоэтажностью современных, доселе мною не виденных зданий... В пансионе я успела наслушаться и хозяйкиных предупреждений, и телефонных разговоров, ведущихся на ломаном английском языке девушками из баров со своими возлюбленными, и чьих-то рыданий за стеной... Только двое жильцов (Анечка и билетный контролер, работавший в Трамвайной компании) уходили утром на службу, а другие обитатели пансиона — три молодые женщины — спали до полудня, затем бродили в халатах, вялые, непричесанные, бледные, к вечеру же преображались, красились, пудрились, надевали меховые накидки поверх длинных платьев, становились молодыми, красивыми и исчезали. В окно я однажды видела, как одна из них, освещенная лампой

подъезда, ежилась от сырого зимнего ветра, а затем, остановив пробегавшего рикшу, долго усаживалась в его коляску, стараясь не измять, не испачкать подол длинного платья (подобрала его, разложила на коленях), и вот уже головы и плеч ее не видно (идет дождь, над коляской поднят брезент), и рикша рванул с места, побежал, закачался брезент, а я подумала мрачно: «В пролеты улиц вас умчал авто...»

Арнольдов бывал в нашем доме в начале двадцатых годов, я смутно его помнила, но он, знавший моих родителей, видевший нас с сестрой маленькими девочками, он в те минуты казался мне пристанищем, прибежищем, спасением, не хотелось уходить из его кабинета, от стола, заваленного бумагами... Здесь делалось дело знакомое, привычное — мать и работая в школе связи с газетами не теряла, то переводила, то писала рецензии, я часто заходила в редакции с ее поручениями, и сейчас запах типографской краски, исходивший от сырых полос, казался мне чрезвычайно родным и единственно понятным в этом чужом, пугающем городе.

Газетного опыта у меня, разумеется, не было никакого. Но это не смущало ни мать, написавшую письмо, ни Арнольдова, презрительно считавшего, что с хроникерскими заметками справится каждый, ни меня. Мне бы лишь зацепиться, мне бы ногу поставить, а я все смогу, а чего не умею — прикажите — научусь!

Внезапно Арнольдов промолвил, что газете не хватает только одного: юмористического пера. «Шанхайская заря» перепечатывает из парижских газет то Тэффи, то Дон Аминадо, то еще кого-то... А хотелось бы иметь фельетониста на темы местные... Он отделаться от меня рассчитывал, от моих устремленных на него с мольбой и надеждой глаз, но отделаться ему не удалось. Напротив. Я оживилась и сообщила, что именно фельетоны писать я могу. Не только отчаянье толкнуло меня на это нескромное заявление. Я и в самом деле писала фельетоны, этакие юморески из жизни нашего класса в школьный рукописный журнал. Арнольдов удивился: «Смело, смело! Хотите сразу начинать с верхнего этажа?» Добавил наставительным тоном, что фельетонист должен обладать особой жилкой, с которой рождаются и приобрести которую не помогут ни опыт, ни образование, ни даже писательский дар... Затем сделал еще одну попытку от меня отвязаться: «Ну, если уж вы так храбры, напишите что-нибудь на пробу. Допу-

стим, о вашем путешествии из Харбина в Шанхай, о ваших спутниках, их надеждах, о первых впечатлениях от нашего «желтого Вавилона»...

Вскоре я вновь появилась в редакции, Арнольдова не застала, оставила на его имя мною написанное... Надеялась, что он мне позвонит, но звонка не последовало. Шли дни. Я ходила по иностранным конторам, предлагая свои услуги в качестве машинистки, было стыдно возвращаться в пансион ни с чем, хозяйка все убеждала меня пойти работать в бар, но Анечка, уважавшая мою мать, была против. Анечка советовала мне попробовать свои силы в качестве сборщицы объявлений: фиксированного жалованья нет, платят проценты, но некоторым удается прилично зарабатывать...

Вечерами я долго не могла уснуть, все считала, сколько у меня осталось денег и что будет, когда они кончатся. На соседней кровати мирно спала Анечка. Она работала на мелкой технической должности в мощной американской фирме «Шанхай пауэр компани» —75 долларов в месяц, этого и на пансион хватает, и одеться можно. Утром она вливается в толпу служащих, атакующих трамваи и автобусы, ах, как бы мне хотелось тоже туда влиться, и чем Анечка лучше меня, ей просто повезло, она вовремя в Шанхай приехала... Белые кружевные воротнички, белые ручки, ноготки, покрытые бледно-розовым лаком, голубоглазая, длинноносая, скучная, глубоко положительная. Мне бы любить ее, быть ей благодарной (ведь приютила!), а я не люблю, что-то в ней постоянно раздражает меня, это низко, скверно, это, видимо, зависть...

Неприязнь моя к Анечке, как я теперь понимаю, объяснялась чрезвычайной несхожестью наших натур. Анечка убеждена была (и справедливо!), что я не сделаю карьеры в качестве служащей иностранной конторы, а значит, ни на что путное не гожусь. Под взглядом Анечки я чувствовала себя нескладной, неловкой, ощущала свою неполноценность, отсюда и нелюбовь моя к ней, ибо не всегда ли наше отношение к окружающим зависит от того, какими глазами они видят нас?

Никто не звонил мне, прошло уже дней десять, я простилась с мечтой о газете, когда однажды хозяйка пансиона протянула мне «Шанхайскую зарю»: «Какая-то мисс Пэн тут пишет, как она из Харбина ехала... Ну в точности все, как вы нам рассказывали, и про старушку, что к сыну едет, и про качку на пароходе, и про...» Я выхватила газе-

ту. Я увидела знакомые слова, знакомые фразы, написанные мной, мной, мной. Не поверила глазам. Но сомнений не было: это написала я, я, я! Почему же «мисс Пэн»? Догадалась: это псевдоним, придуманный мне Арнольдовым. Впервые в жизни я видела свои слова, набранные типографским шрифтом,— незабываемые минуты! Голосом неверным от радостного волненья я сообщила хозяйке, что мисс Пэн — это я! Впечатления никакого. Выпустила из ноздрей дым. «Неужели? Да. Между прочим, Милочка говорит, что у них в «Аркадии» девчонка одна из бара то ли совсем ушла, то ли захворала. В общем, когда Милочка проснется, вы ее расспросите!»

Середина дня. Анечка на службе, девочки из баров еще спали, бодрствовали лишь мы с хозяйкой. Я уединилась с газетой в нашу с Анечкой комнату. Читала. Перечитывала. В этой комнате рожденное, моим почерком написанное, домашнее, любительское в газете преобразилось, приняло иной, серьезно-профессиональный вид, звучало иначе, звучало прекрасно... Как мило! Как остроумно! И это написала я, я, я! Мама обрадуется! Но что-то неприятное, что-то скребло? А, да! Хозяйка и Милочка из «Аркадии». Это чтоб я пошла за стойку, разливать пьяным коктейли? С ума сошли! Не понимают, с кем имеют дело. Меня напечатали!

Я позвонила Арнольдову. Он сказал веселым голосом: «А! Прочитали! Поздравляю! Слушайте, а жилка-то у вас есть, штука, между прочим, редкая, я удивлен. Как псевдоним? Понравился? (Обмякнув от счастья, я пробормотала, что понравился. Назови он меня как угодно, мне бы все понравилось!) Мама хочет с вами познакомиться, так что прошу ко мне завтра в час дня».

Я завтракала у Арнольдова. Познакомилась с мамой: полная, низенькая, седая и чернобровая старушка с живыми глазами. Мать обожала «Левушку», сын платил ей тем же. И мама, и сын хвалили меня. «Очень, очень мило!» — говорила мама. «Фельетонист из вас получится, думаю — не ошибаюсь!» — говорил сын. «Левушка никогда не ошибается!» — восклицала мама. Было мне сказано, что «Левушка» постарается убедить издателей печатать мои фельетоны регулярно, скажем, раз в неделю. Еще было сказано, чтобы я продолжала искать работу, на газетный заработок не проживешь. Но я смутно восприняла это предупреждение... Был слякотный шанхайский январь, путь мой лежал через прекрасную улицу Кардинал Мер-

сье: справа белое здание Французского клуба и забор сада, напротив многоэтажный отель «Катей Меншэнс», к нему лепится целый квартал одинаковых одноэтажных строений — магазины одежды, косметики, галантереи с манящими витринами. Катились по асфальту машины, трусцой бежали рикши, дамы в мехах входили в магазины, этот город уже не пугал меня. Вкусно накормленная, осыпанная похвалами, я была бодра, верила в себя, шагалось весело...

По коридору пансиона бродили из ванной и обратно вялые, недавно пробудившиеся «милочки», хозяйка на кухне распекала повара, я с нетерпением ожидала возвращения из конторы Анечки — мечтала ей похвастаться, сообщить, что у меня есть «жилка», что я завтракала у редактора, буду писать в газете... Я помнила, что произведение мое, накануне вечером подсунутое Анечке, было принято ею холодно... Она читала, я жадно впивалась в нее взглядом — на бледном личике ни тени улыбки, ни признака оживления, будто перед ней не фельетон, а телефонный справочник или расписание поездов... Это пугало меня, мне мерещилось, что лицо Анечки — зеркало, в котором отразились бесцветность и скука мною написанного, я пала духом, подозревала Арнольдова в побуждениях благотворительных — напечатал из жалости, из уважения к моей матери... Но сегодня, после редакторских похвал, обласканная редакторской мамой, сегодня я в себе не сомневалась! Это в Анечке с ее беленькими воротничками, светлыми кудерьками и тонким голоском — это в ней сидит скука, скука непробиваемая! Не зеркало — стена! Но именно Анечке, относившейся ко мне покровительственно и немного свысока, именно ей хотелось разъяснить, что я не идиотка, нет, я способная, я, оказывается, писать могу, и сам редактор... Это я и взялась ей внушать в тот вечер, на ходу теряя оживление и уверенность, увядая под ее снисходительно-недоверчивым взглядом...

Невысокое обо мне мнение Анечки не изменилось и позже, когда фельетоны мои с того января 1937 года стали регулярно появляться на страницах «Шанхайской зари». Те полгода, что нам оставалось жить бок о бок, Анечка читала мои произведения, настойчиво ей подсовываемые (почему я так хлопотала о ее одобрении?), читала с тем же равнодушием, серьезно к трудам моим не относилась, считала (и намекала), что я занимаюсь чепухой, в игрушки играю, на песке строю.

И по-своему была права. «Фельетонная жилка» в условиях эмигрантского существования не сулила мне никаких материальных благ. Арнольдов не мог добиться даже того, чтобы фельетоны оплачивались выше, чем хроникерские заметки. Я, впрочем, скоро поняла, что не Арнольдов был главным, после издателей, лицом в газете, а управляющий конторой Тепляков, известный среди репортеров под кличкой «Женькин цепной пес» или, короче, «Пес».

Контора — центральное, самое просторное помещение редакции — перегорожена прилавком, над ним решетки, в решетке три окошка. У окошек женщины, принимавшие плату за объявления и подписку и выдававшие гонорар сотрудникам. В левой стене комнаты (до решетки) дверь в кабинет ответственного секретаря, в задней стене (за решеткой) дверь, ведущая в «святая святых», в кабинет издателей, и рядом письменный стол Теплякова, как бы дверь охраняющего... Ведущая роль в редакции, принадлежавшая этому плотному, крупному господину средних лет, объяснялась тем, что «Шанхайская заря» предприятие чисто коммерческое, существующее на объявления. Политика и та была тут подчинена коммерции. Помню, как я, идучи к Арнольдову, так и не вошла к нему, замерла в коридорчике, услыхав за дверью голоса... Тепляков кричал на редактора. Он-де в передовице поддерживал правительство Чили, а один из постоянных клиентов газеты недавно прогорел на торговле чилийской селитрой и теперь обиделся и не желает платить за объявление! Арнольдов что-то униженно бормотал в свое оправдание... Когда мы, мелкие сотрудники, пробегали через контору в комнату ответственного секретаря, Тепляков косился на нас из-за решетки вполглаза, как, вероятно, косился бы из клетки лев цезаря Нерона на мимо шмыгнувшую мышь... Мы цепенели под этим взглядом, а позже в репортерской для поддержания своего достоинства мрачно острили, что место Теплякова именно за решеткой!

Платили нам не за строчки, за инчи[1], и почему-то по конторскому счету «инчей» получалось меньше, чем рассчитывали мы... Иногда вместо денег нам пытались всучить талоны на получение товара в прогоревший магазин, задолжавший газете...

А какое оживление царило в конторе, когда приходило известие о кончине какого-нибудь известного в городе эмигранта! Тепляков повисал на телефоне: «Иван Иваныч?

[1] Инч — английская мера длины (дюйм), равная 25,44 мм.

Слыхали? Икс Игрекович приказал долго жить. Ну что ж! Все там будем! Значит, ждем от вас объявленьице!.. То есть как в «Последние новости»? Помилуйте, они же там большевикам подыгрывают, о панихиде могут и не взять! Нет, вы уж к нам, к нам!.. Ну, спасибо, ждем!..» «Сергей Сергеич, слыхали?» и т. п.

А вот Тепляков распекает интеллигентную даму. В своей рецензии она плохо отозвалась об актрисе любительского драматического театра, а муж актрисы управляющий мехового магазина, правая рука хозяина, теперь может обидеться, объявление снять. «Если снимут, из ваших построчных вычтем!»

Нет, Арнольдов был никто по сравнению с Тепляковым! Ему, Арнольдову, прежде чем пропустить что-то в набор, следовало просмотреть все важнейшие минные поля торговых, дружеских, родственных отношений в городе, чтобы ненароком не взорвать свое утлое суденышко...

Работать в эмигрантском учреждении — только время терять, права была Анечка! В почтенной же иностранной фирме трудом, терпением, настойчивостью можно сделать карьеру, а уж если очень повезет, то устроить и личную жизнь, встретив одинокого иностранца, который оценит все твои положительные качества, включая сюда и девичью честь, сбереженную среди соблазнов и искушений «желтого Вавилона»... Это не говоря о том, что в иностранных фирмах есть законы, охраняющие интересы служащих, даже мелких, даже беспаспортных, а в предприятиях эмигрантских полный произвол... После августа 1937 года (начало японо-китайской войны) началась инфляция, цены росли, на иностранцах, получавших зарплату в своей валюте, это не отражалось, отражалось на китайцах, на эмигрантах, однако тем, кто служил в иностранных фирмах, жалованье прибавляли, мы же в «Шанхайской заре» получали те же построчные, точнее — «поинчевые». Однажды, возмущенные, полные сознания своей правоты, мы вломились в кабинет Кауфмана, откуда минут через десять вышли гуськом, понурыми овцами, не глядя друг на друга... Ибо Кауфман, дав нам высказаться,— причем один его глаз глядел вроде бы сочувственно, а другой был устремлен в потолок,— сказал печально и задушевно: «Боже ж мой, да разве я спорю? Я ж вас понимаю! Но я никого не держу. Ищите что-нибудь получше, а мы поищем других сотрудников! (Оживляясь.) И знаете? Найдем! Завтра же найдем!»

Даже в счастливые времена, когда мне удавалось захватывать чужие строки (кто-то захворал, кто-то запил), заработков моих едва хватало на оплату жилья. Но никто не мог жить на построчные. У интеллигентной дамы был муж, работавший администратором кинотеатра, репортеры уголовной и городской хроники тоже имели какие-то приработки на стороне.

По утрам я бегала собирать объявления для рекламного американского журнала и, не проявив к этому делу никаких способностей, ни одного объявления не достала, пробегала даром. Устроилась в только что открытую контору по экспорту китайской щетины, целых два месяца отстукивала на английской машинке циркулярные письма, было лето, от монотонности работы и от жары клонило в сон, но я считала, что мне безумно повезло: обещали платить пятьдесят долларов в месяц, вместе с построчными и на комнату хватит, и на еду, и даже, размечтавшись, я прикидывала, что хватит и на новые туфли... Но мои работодатели (китаец и русский эмигрант) оказались жуликами, контору открыли для отвода глаз, никакой щетины у них не было, однажды они исчезли, ни копейки не заплатив мне за второй месяц... Какое-то время удалось поработать манекенщицей в салоне дамских нарядов некоей «мадам Элен». Салон вскоре прогорел, и мадам Элен скрылась от долгов в Гонконг, не заплатив ни мне, ни двум другим манекенщицам... Эмигрантский иллюстрированный журнал «Прожектор» нанял меня «шрофом»[1] — собирать деньги с подписчиков, а также с врачей, нотариусов и мелких эмигрантских лавчонок, рекламировавшихся в журнале. С этим я справлялась, это не объявления собирать — убеждать, врать, льстить и, будучи выгнанной в дверь, вновь появляться в окне. «Шрофом» быть проще: молча суешь счет. Тебе, конечно, не рады. Заставляют ждать в передней. Иногда говорят: «Зайдите завтра!» или «Через неделю!» За утреннюю беготню и ожидание в передних «Прожектор» платил мне доллар в день.

Вечерами я стучала на машинке в прокуренной репортерской «Шанхайской зари». Писала я в те годы легко, вспомнить странно. Вокруг шум — спорят о чем-то репортеры, носится из линотипной и обратно суетливый рябой ответственный секретарь, истерично выкрикивая: «Господа!

---

[1] «Шроф» — принятое в Шанхае тех лет слово. «Шрофом» назывался тот, кто посещал должников на дому или на работе.

Не задерживайте! Линотиписты ждут!» Окна и дверь репортерской выходили на «крышу» — так назывался широкий выступ над первым этажом здания, огороженный низкими перилами и служивший сотрудникам балконом. На ту же «крышу» выходила и линотипная, куда постоянно бегал ответственный секретарь, и стоило ему отворить дверь, как в нее врывались музыка и хоровое пение: непосредственно против редакции находился ресторан «Ренессанс», где пели цыгане, где выступал Вертинский.

Но ничто не мешало мне. Шум, гром, споры, пение, а я стучу себе в уголке на машинке, посмеиваясь собственным шуткам. Недостатка в темах не было, годилось все: теснота в трамваях, разговоры в китайских лавках (смесь англо-китайских слов), и дворы, и дети, и улицы... Мои сменяющиеся работы позволили мне быстро вникнуть в быт эмигрантского населения, в его заботы, тревоги, беды, радости, надежды, разочарования... Строго говоря, писала я очерки, бытовые картинки, зарисовки, однако их принадлежность к жанру фельетона оправдывалась иронической манерой изложения. Один из фельетонов, обративший на себя внимание Вертинского (с чего и пошли наши добрые отношения), был посвящен вундеркиндам и их тщеславным родителям и начинался так: «Кто-то сказал: с годами «вундер» становится все меньше, а «кинд» — все больше».

Знакомство с Вертинским ввело меня в быт ночного Шанхая, дало новые темы...

На иностранных концессиях города не было, кажется, ни одного ночного заведения, где бы не работали русские эмигранты в самых разнообразных ролях: швейцары, официанты, музыканты, цыганские хоры, «бармены», «бар-герлс», «дансинг-герлс» (партнерши для танцев, которых называли также «такси-герлс»), акробаты, танцоры, танцовщицы... Они почему-то неизменно выдавали себя за иностранцев (мексиканцы, испанцы, норвежцы, шведы) и брали соответствующие псевдонимы. Это явление было, видимо, повсеместным, ибо эмигрантский парижский поэт Дон Аминадо с мрачным юмором советовал: «Называйтесь бразильцами, греками, но ни слова о том, что вы русские!»

Под собственным именем танцевала то в одном, то в другом ночном клубе Шанхая некая Лариса А., красивая, гибкая, синеглазая женщина, одаренная поэтесса, печаталась в эмигрантских журналах, выпустила книгу стихов «По земным лугам», но на стихи не проживешь, и вот — танцевала... В середине шестидесятых годов Е. Евтушенко,

вернувшись из заграничной поездки, передал мне привет от Ларисы... Он познакомился с ней на острове Таити, где тогда постоянно жила Лариса с мужем-французом. Стихов давно не пишет (кому? для кого?), но русский язык не забыла и очень скучает... И сразу пришли мне на память строчки из песенки Вертинского на слова Тэффи: «...к островам ли сиреневых птиц все равно, где бы мы ни причалили, не поднять нам усталых ресниц».

Был у меня фельетон «Ночная Авеню Жоффр». Некая Люся из своей жалкой чердачной комнаты с протекающим потолком идет на работу в кабаре. Там гримируется, переодевается и становится мексиканской плясуньей Лолой ди Дуарец. Возвращается домой под утро, трамваи уже не ходят, дождь, и из открытых до утра кабаков гремит модная в те годы песня: «И если жизнь на жизнь помножу, то ноль в итоге получу...»

Начавшаяся известность в кругу местной эмигрантской интеллигенции не только тешила мое тщеславие, но и поддерживала, помогая стойко переносить все ожидания в передних, и то, как мы с двумя другими манекенщицами, толкаясь плечами, переодевались в ванной комнате «салона дамских нарядов» под шипение «мадам Элен» («Не запачкайте, не сомните!»), и унижения, которым подвергал вечно нас обсчитывающий Тепляков, и многое другое... И уже не так, как прежде, терзало меня чувство неполноценности, испытываемое в присутствии Анечки и других здравомыслящих людей ее типа... Нет, ничто не могло меня заставить бросить мое малоприбыльное занятие, столкнуть меня с пути, который, между прочим, и привел меня к этой машинке, к этому столу, в этот дом, где я пишу сейчас то, что пишу.

* * *

Журнал «Прожектор», для которого я собирала деньги за подписку и объявления, скоро прогорел,— мне уже казалось, что вылетает в трубу все, к чему я прикасаюсь! Но тут на помощь пришел Вертинский, устроив меня «шрофом» в ресторан «Ренессанс».

Посетители ресторанов, кабаре, ночных клубов редко платили наличными. Обычно подписывали счета (по-шанхайски «читы»). Это, разумеется, дозволялось не всем, а лишь лицам, чья кредитоспособность не вызывала сомнений у хозяина. Система «читов» била на психологию: посети-

тель, разгулявшись, подмахивал не глядя подсунутую ему бумажку, а уж потом, трезвым утром, хватался за голову: «Как? Сто двадцать долларов? Откуда? А это что? Жуль... вуль... буль... И закусок-то нет таких, чтобы на это начиналось! И не ел я никаких «вулей»! Нарочно пишут непонятно, сволочи!» Я молчала. Я — «шроф». Мое дело передать. Счет швыряли обратно. «Пусть пришлют другой, и чтоб каждое слово разборчиво!»

Утром я получала от хозяина-армянина пачку «читов» и инструкции: к такому-то можно зайти домой, а к этому — ни в коем случае, этого надо ловить у него в конторе или в магазине. Гулял и веселился в компании неизвестной дамы, жена и знать ничего не должна, упаси боже на нее нарваться! Наставляя меня, хозяин поглаживал развалившуюся на его коленях кошку, почесывал ей за ухом, она блаженно мурлыкала, и еще немало кошек бродило по пустому залу ресторана. Мыли полы, стулья, стояли на столах кверху ножками, с трудом верилось, что через несколько часов — шум, гром, музыка, цыгане, мониста, Вертинский...

И его я тут изредка видела в утренние часы. Это означало: спать он еще не ложился. После закрытия «Ренессанса» какая-то веселая компания отправилась гулять дальше, в открытые до утра кабаки, увезла с собой Вертинского, и вот после бессонной ночи он по дороге домой зашел сюда выпить кофе и перекусить. «Дома», впрочем, у него тогда не было: случайные снимаемые комнаты либо в частных квартирах, либо в третьесортных отелях; наши с ним встречи и разговоры в те шанхайские годы неизменно происходили за столиками ресторанов или кафе... За пять лет, что я знала Вертинского в Шанхае, бывали периоды, что он в «Ренессансе» не работал, его переманивали к себе другие заведения того же типа, но, видимо, чудак армянин, любитель кошек, эти измены Вертинскому прощал, входил в положение ближнего; там ему обещали платить больше, я же прибавить не могу, чего ж обижаться?

Как у холостого парижанина есть излюбленное кафе, где ему годами за одним и тем же столиком подают утром кофе и круассаны, а в час дня завтрак, таким же привычным местом был «Ренессанс» для Вертинского, пел он там или нет... Вертинский — ночной человек. Встретить его в первую половину дня удавалось не часто, а если удавалось, то лишь в пустом и темном зале «Ренессанса»... Именно там я его видела за столиком в дальнем углу и в тот не-

долгий период, когда бегала «шрофом», и позже, когда редактировала еженедельную газетку «Шанхайский базар», а Вертинский был одним из моих немногих постоянных авторов.

Утренний Вертинский угрюм, хмур, на лице выражение брезгливости. Лениво тыкал вилкой в яичницу, не доев, отодвигал, отхлебывал черный кофе... В бытность мою «шрофом» дел к Вертинскому у меня не было, я кивала ему издали, он в ответ помахивал ладонью, иногда подзывал: «Посидите со мной. Хотите кофе?» Я косилась на хозяина, мне не сидеть, мне идти пора... «Успеете! Да сядьте ж, вам говорят!» Садилась покорно. «Бежать,— говорил Вертинский,— бежать из этой дыры, от этих кошек, из этого города, от этих людишек... Нет, объясните: зачем черт носил меня всю ночь по кабакам?» Объяснить этого я не могла, молчала. «Водку пил. Она меня не пьянит. Она меня только злит! Нет, бежать, бежать... И рад бежать, да некуда. Ужасно! Кстати, откуда это?» Я говорила, откуда... Замечая, что я сижу как на иголках: «Бог с вами, бегите. Действуйте. Хватайте за горло коммерсантов. Пили? Гуляли? Так платите, мерзавцы!» Я вставала, подхватывала сумку с «читами». «Боже, чем вы занимаетесь! Нет, бегите отсюда, бегите, пока не поздно!» Я уходила, не вполне понимая, откуда именно мне советуют бежать — из «Ренессанса» в частности или из Шанхая вообще?

Отношения у нас возникли настолько дружелюбно-простые, что я, бывало, поздно вечером, закончив работу в редакции, вместо того чтобы отправиться спать, забегала на часок в «Ренессанс», зная, что меня там приветят, даже накормят. Навстречу гремел цыганский хор, слышались гитары, голос Вертинского, я смело садилась за его столик в первом ресторанном зале, ждала... Он кончит выступление, в том зале будут танцевать, он придет сюда. Приходил. Улыбался: «А-а! Труженики пера! Усталые и, подозреваю, голодные. Сейчас что-нибудь придумаем!»

Ночной Вертинский весел, бодр, шутлив. Прекрасный рассказчик, импровизатор, мистификатор... «Видел сегодня на улице рикшу. На спине надпись: «Рикша-экспресс».— «Александр Николаевич, вы выдумали!» — «Что вы! Клянусь вам!» Или утверждал с серьезнейшим лицом, что одна портниха, у которой шьет его знакомая, сочинила стихи: «Сегодня мотор переехал собачку, ах, ужасти, больно глядеть! Стояла, бедняга, просила подачку, а он переехал, и тут же ей смерть! Так знай же, о, знай же, шофер ты жес-

токий, а может, в собачки есть дети и муж, и маму к обеду они дожидают, а ихняя мама погибла к тому ж!» Я смеялась: «Это вы сами сочинили!» — «Клянусь — портниха! Живет на Рут Валлон. Я вас с ней познакомлю!» Однажды заявил, что не мог под утро заснуть и явственно слышал разговор кошек на крыше: «Маррруся!» — говорил кот. «Я не Маррруся, а Варрвара!» — отвечала кошка... Рассказ был длинный, очень смешной, но запомнилось мне лишь начало...

Нас смешили шутки друг друга, это всегда почва для сближения. Вертинский часто влюблялся, но я никаких романтических чувств не вызывала в нем, наши отношения с самого начала сложились и продолжались как отношения друзей, я бы даже сказала — подруг. Рассказывали друг другу о своих романах, советовались, сплетничали, издевались над богатыми посетителями «Ренессанса» — не любили богатых. В «Ренессансе» бывали и иностранцы, но не часто, основная же масса «богатых» — это предприниматели из эмигрантов, люди с коммерческим складом ума, владельцы магазинов и разнообразных предприятий, а также биржевые маклеры — всю жизнь не могу усвоить, чем именно занимаются биржевики, а в хаотических условиях Шанхая тех лет понять это и вообще возможности не было... Бывали тут спекулянты, богатевшие на инфляции,— прятали товары, ждали, когда поднимутся цены, затем выбрасывали на рынок,— и так называемые «торговцы воздухом», а это вроде моих сбежавших жуликов, экспортирующих щетину, которую они в глаза не видели... Одни «торговцы воздухом» прогорали и даже попадали в тюрьму, другим же удавалось разбогатеть...

Они являлись компаниями, редко с женами, чаще с «неизвестными дамами», пили, веселились, бросали цыганам деньги, звали Вертинского с ними посидеть... Он уходил, таинственно подмигнув мне и еще кому-нибудь подсевшему за его столик — «мексиканской плясунье», например, или гитаристу, в эти минуты свободному... Подмигиванье говорило: «Сейчас я их выставлю!» (Глагол «выставить» означал «Чем-нибудь от них поживлюсь».) В открытые двери мы видели, как Вертинский что-то рассказывает торгашам и спекулянтам (те хохочут), затем приглашает танцевать одну из дам — та счастлива и горда,— после чего является обратно, а за ним шествует официант с подносом — нам несли бокалы с вином, иногда шампанское, а бывало, приносили что-то съестное на скворчащей сковородке... Значит,

Вертинский сказал: «У меня там друзья. Они еще не ужинали».

Итак, работал «сверх плана», чтобы нас накормить и напоить. Отправлялся во вражеский стан, возвращался с данью. Именно наличие двух «станов» я явственно ощущала в те годы и гордилась своей принадлежностью к этому, Вертинским возглавляемому, о котором им было сказано в песне: «...но не таким, как мы, не нам, бродягам и артистам!»

Всегда элегантный (умел носить вещи, к тому же рост, фигура, манеры), аккуратный, подтянутый (ботинки начищены, платки и воротнички белоснежны), внешне на представителя богемы не похож совершенно. А по характеру — богема, актер. Капризами, частыми сменами настроений, способностью быстро зажигаться и столь же быстро гаснуть напоминал мне Корнакову. И так же, как она, цены деньгам не знал, были — разбрасывал, раздавал, прогуливал, не было — мрачнел, сидел без них... Щадить себя не умел, о здоровье своем не думал (хотя и впадал иногда в мнительность!) и всегда был готов поделиться с теми, кто беднее его...

Многие молодые эмигрантки, работавшие в шанхайских кабаках, выросли в Харбине, в тихих, богобоязненных семьях, окончили средние школы, готовились, так сказать, к иной судьбе... У Вертинского были две посвященные им песни — «Дансинг-герл» и «Бар-герл». На его в России записанных пластинках этих песен нет, здесь он не пел их, и слов я не помню... Лишь обрывки удержались в памяти. «Вы в гимназии, церковь, суббота, хор так грустно и нежно поет, вы уже влюблены, и кого-то ваше сердце взволнованно ждет...» Затем: «Вы качаетесь с ним на качелях без конца, без конца, без конца...» Это — Харбин. Во второй, шанхайской части песни героиня уже «качается» в танце с каким-то типом «без конца, без конца, без конца». И вот кульминация, отчаянный крик: «О, как бешено хочется плюнуть в этот нагло смеющийся рот!» (Тут имеется в виду немилый, но платежеспособный партнер, с которым приходится «качаться» в танце...) Это — «Дансинг-герл». Вторую песню, «Бар-герл», не помню совсем.

Когда я слушала эти песни и видела лица женщин, слушающих Вертинского, мне вспоминалась известная сцена купринской «Ямы»: знаменитая актриса, из любопытства приехавшая с друзьями в публичный дом, поет там романс Даргомыжского «Расстались гордо мы...» и описание того,

какой эффект производит эта песня на слушательниц. Видимо, нечто подобное происходило в душах женщин, внимавших Вертинскому: была юность, первая любовь, выпускной бал, мечты о светлой, чистой жизни, и вот на тебе! — шанхайский матросский кабак! Плакали, слушая. Вертинского обожали. Поклонялись ему.

Такие же страстные поклонники, готовые за Вертинского в огонь и в воду, были у него среди молодых мужчин, мальчиков неясных профессий... Чем именно они занимались, сказать не берусь, но в конторах, во всяком случае, не трудились, это уж точно. Поскольку некоторые из них иногда ненадолго исчезали, есть все основания полагать, что деятельность их выходила за рамки закона... Мои диалоги с Вертинским: «Что-то Гриши около вас давно не видно?» — «В тюрьме. Какие-то махинации с медной проволокой... Но Левка говорит, что доказать ничего не могут, и Гришу не сегодня завтра выпустят...» Некоторые из мальчиков, упомянутый «Левка» и грузин Гига (оба красавцы!), не гнушались как будто и занятием, о котором в парижских стихах Тэффи устами молодого эмигранта сказано так: «Брошу все и пойду в альфонсы утешать американских старух...»

А бывало, придешь в «Ренессанс» — цыган нет. Исчез весь хор в полном составе. Где? «В тюрьме,— отвечал Вертинский,— они же воры. Ну, может, не все, но хватают всех, одна ведь семья!» Малютка танцор, девятилетний Шурик, любимец публики (ему бешено аплодировали, морщился один лишь Вертинский, бормоча: «Ненавижу детей в работе!»), был, говорят, заодно и первоклассным форточником, проскальзывал, как змея, в любую щель... Не пойму, зачем цыганам это нужно было. Либо заработков не хватало, либо воровали из чистой любви к искусству. Хор исчезал. Хозяин срочно искал замену, нанимались безработные в данный момент танцоры и гитаристы, но их предупреждали — работа временная, хор свое отсидит и вернется.

Широк, терпим был Александр Николаевич! Мне кажется, его привлекали так называемые «художественные натуры» (из братства «артистов и бродяг»), этим он готов был все простить, не вникая в то, чем они занимаются, на что живут... Надо же людям как-то устраиваться. Не судите да не судимы будете... Радовался, когда в ореоле богатства и блеска в «Ренессансе» появлялись его молодые друзья — Левка, Гриша, Гига, загадочная Буби (о Буби речь еще впереди)... Садился к ним за стол, бывал с ними са-

мим собой — веселым, добрым, открытым... Знал: сегодня они его угощают, завтра, возможно, ему придется их кормить. В два часа ночи «Ренессанс» закрывался, но неуемная компания желала ехать «дальше», в открытые до утра кабаки на далекой улице Ханьчжоу-Роуд, в западной части сеттльмента, в районе загородных иностранных клубов... Вызывались две или три машины-такси, компания рассаживалась. Спорили из-за того, с кем сядет Вертинский: «Дед с нами!» — «Нет, с нами!»

По-актерски, по-женски тщеславный, за своей наружностью следивший, от разговоров о возрасте уклонявшийся, явно молодящийся, он, однако, не возражал против клички «Дед». Это как бы некая игра, участникам которой полагались клички. А Вертинский любил игры.

Этот человек — дитя десятых годов,— впервые появившийся на эстраде в 1915 году, воспевавший одиноких бедных деточек, кокаином распятых на мокрых бульварах Москвы, причисляемый к декадентам, нередко сравниваемый с Игорем Северяниным, называвший себя в одной из песенок «немного сумасшедшим и больным», не был ни больным, ни тем более сумасшедшим. Требовалась железная выносливость, чтобы вести ту жизнь, какую вел Вертинский в Шанхае. Ни дома, ни женской заботы. Ежевечерние выступления. Бессонные ночи. Романы. Курение. Алкоголь. Пить этот человек умел: подвыпившим я его видела, пьяным — никогда. Позже, когда Вертинский женился, ему пришлось, зарабатывая на семью, петь уже в двух местах; кончив работу в одном из кабаре французской концессии, в третьем часу ночи он отправлялся в ночной клуб «Роз-Мари» на Ханьчжоу-Роуд, открытый до утра. И — ничего. Выдерживал. Не помню, болел ли он когда-нибудь? Право, еще в те годы, глядя на него, я вспоминала слова Чехова, утверждавшего, что эти декаденты — здоровеннейшие мужики!

Капризный и раздражительный, утром он двигался во враждебном мире (хмур, нелюдим), к вечеру же оживлялся, веселел, ощущал симпатию к ближним — свойство, присущее нервным людям, в особенности тем, кто ведет ночную жизнь... Никаких нарушений психики, однако, не замечалось в нем. Тем, кто видел его только на эстраде, кто знал его лишь как исполнителя песенок о «бананово-лимонном Сингапуре», о «лиловых неграх» и «испана-сюизах»,— этим людям трудно представить себе, каким шутником, острословом, юмористом, любителем розыгрышей бывал Вер-

тинский. И с какой быстротой сам реагировал на шутку, хохотал до слез, весь отдаваясь смеху.

А до смеху ли ему было тогда?

Он вернулся на родину в 1943 году. Я — пятью годами позже. Поначалу жила в Казани и помню, как изумили меня рассказы о Вертинском, услышанные от моих новых знакомых. В рассказах фигурировал «вагон с медикаментами», который Вертинский подарил фронту, и уж не помню, что еще, но смысл сводился к тому, что Вертинский приехал в СССР богатым человеком. Я же, слушая эти легенды, видела перед собой одну и ту же картину. Ночь. Авеню Жоффр. Фигура Вертинского в коляске педикаба (рикша на велосипеде). Рикша жмет на педали, коляска открыта, сырой ветер, седок ежится, вобрав голову в плечи, кутается в пальто — путь предстоит далекий: «Роз-Мари» на Ханьчжоу-Роуд. Я знала, что он там поет, даже слушала его там однажды, но каким образом он туда добирается, об этом не думала, и вот увидела воочию (а он не видел меня!), и замерла на тротуаре, провожая глазами эту согбенную фигуру... Было это незадолго до его отъезда в Россию...

Какой там вагон! Коляску родившейся в Шанхае дочке не на что было купить (кто-то подарил подержанную), американское сухое молоко «для малюток» тоже было не по карману, доставали друзья. Если вагон с медикаментами и в самом деле был подарен фронту, то это Вертинский мог себе позволить лишь на деньги, заработанные здесь, в России. Именно и только здесь один за другим шли концерты, дававшие полные сборы. Ничего подобного в Шанхае не было. И быть не могло.

Он пел в кабаках с цыганами и без них, была инфляция, жизнь дорожала, владельцы кабаков Вертинскому недоплачивали, хотя держались на нем, а постоять за себя он не умел. И вот одной из его поклонниц пришла в голову смелая мысль открыть собственный «ночной клуб», сделав Вертинского совладельцем: деньги ее, труд его, доходы пополам.

Ни имени, ни фамилии этой женщины не помню, а может быть, и вообще никогда не знала, все ее звали «Буби».

Эта «дама полусвета», как выражались в старину, внешним обликом напоминала не то учительницу, не то

монашенку. Всегда в чем-то темном, скромном, с глухими воротничками, гладко зачесанные, собранные узлом на затылке пепельные волосы, худощава, стройна, элегантна, и на бледном узком лице темно-карие, почти черные глаза. Красавицей ее никто б не назвал, но в этой манере одеваться, держаться (всегда серьезна, печальна, улыбка редка) был свой верно угаданный стиль, была волновавшая мужчин загадочность, и этот контраст светлых волос с черными глазами тоже привлекал своей необычностью,— подозреваю, что волосы были умело обесцвечены... Обожала стихи. И не какие-нибудь — настоящие. Блок, Ахматова, Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Иннокентий Анненский, Тютчев — Буби знала наизусть множество строк этих поэтов, любила декламировать сама (глуховатым, бесцветным голосом), но особенно любила слушать стихи в чтении Вертинского. Слушала, полуоткрыв рот, и какая-то отрешенность была в ее взгляде, граничащая с безумием... Думаю, стихи были для нее наркотиком: к ним убегала, в них погружалась, ими спасалась от жизни, которую вела...

Была ли у нее семья — мать, отец, братья, сестры? Не знаю. Откуда появилась она в Шанхае? И этого не знаю. Известно мне лишь, что в те годы был у нее богатый покровитель, кажется, американец. У наиболее благородных иностранных покровителей был обычай: отслужив в Шанхае свой срок, навсегда уезжая, своих возлюбленных они не бросали без средств, дарили им деньги, давая возможность встать на ноги, открыв «собственное дело». Некоторым женщинам встать на ноги удавалось. Оставив прежнюю профессию, они превращались во владелиц пансионов, салонов красоты, парикмахерских и мелких магазинов. Иные процветали. Для процветания требовались деловые, коммерческие качества, и жесткость, и твердость — умение не поддаваться жалости, ибо служащие вечно канючат, просят им прибавить, а пансионные жильцы тоже канючат — умоляют не набавлять...

А что делать Буби, деловых качеств лишенной начисто? Быть может, ей следовало бы, посоветовавшись со знающими людьми, вложить деньги в какое-то предприятие, стать акционером фирмы, твердо стоящей на ногах... Но она решила открыть «ночной клуб».

Видимо, она слабо себе представляла, что это значит, чего потребует... Мерещилось ей одно: обожаемый ею Вертинский, этот великий артист, наконец-то будет свободен

от хозяев, его эксплуатирующих, сам станет хозяином, совладельцем, ибо не жалованье будет получать, а часть выручки...

В газетах объявления: все, все, все приглашались на открытие нового ночного клуба «Гардения». Вертинский. «Гардения». Вертинский. Эти слова, изображенные как русскими, так и латинскими буквами, смотрели со страниц журналов и газет, кричали с афиш: Вертинский! «Гардения»!

Реклама была поставлена на широкую ногу, все остальное на ту же ногу. Снято хорошее помещение где-то на стыке французской концессии и сеттльмента, приглашен один из лучших в Шанхае джазов, переманены из других ночных клубов мексиканские танцоры, норвежские акробатки (знаменитые сестры Нильсен) и, кажется, жонглер... Мексиканцы, норвежки и жонглер — все, разумеется, были русскими эмигрантами и радостно кинулись в «Гардению», к Буби, к Вертинскому.

Ах, это была светлая поэтическая мечта — артисты сами владеют предприятием! От прозы полностью отмахнуться невозможно: кому-то надо было сидеть за кассой, кому-то закупать вино и провизию и, укрывшись в задней комнате, щелкать на счетах... Но эти за кассой сидящие, на счетах щелкающие — они просто служащие. Владеют же предприятием и делят выручку артисты, артисты, артисты. Новый, интересный опыт! Все в «Гардению»! Все туда и мчатся. Сначала из любопытства, затем становятся завсегдатаями. Ведь там, в этом ночном новом заведении, особая, ни на что не похожая атмосфера. Посетители чувствуют себя так, будто они не в ресторане, будто в гости приехали. Встречает гостей... ну пусть поначалу метрдотель, указывает столик. А затем появляется хозяин. Элегантный, с гарденией в петлице, Вертинский обходит столики, любезно беседует с новоприбывшими. И Буби в черном платье, с подведенными глазами, с узлом светлых волос на затылке приветствует гостей, но без улыбки, ведь стиль Буби — загадочная строгость, таинственная печаль... Увы! Своими глазами я этого не видела, только слышала от знакомых. Мне не довелось побывать в «Гардении».

Помню, что в «Гардению» все собиралась и откладывала: сейчас не до того, некогда, успею, не уйдет. Но не успела — ушло. Кто мог думать, что звезда «Гардении», вспыхнувшая на ночном небе Шанхая, закатится так стреми-

тельно? Всего, кажется, месяц понадобился для того, чтобы этот прекрасный ночной клуб вылетел в трубу,— срок рекордный.

Рассказывали: Буби и Вертинский бесплатно угощали друзей шампанским. Этому поверить было легко. Я так и увидела Вертинского, небрежно бросающего через плечо официанту: «Счета не подавать, запишите на меня!» Левка, Гриша, Гига и их дамы, приятельницы Буби и их кавалеры, а также многие другие ехали в «Гардению» как в гости, к друзьям, и не ошибались — их принимали как дорогих гостей. Актерский темперамент владельцев «Гардении» заставил их так вжиться в роль гостеприимных хозяев, что они, думается, и незнакомых, разыгравшись, поили бесплатно.

Рассказывали также, что лица, заказывающие вино и провизию, щелкавшие на счетах и сидевшие за кассой,— все, как на подбор, оказались жуликами. И этому легко было поверить. Буби и Вертинский в качестве владельцев предприятия должны были как магнитом притягивать к себе именно жуликов.

Короче говоря, вскоре выяснилось, что траты огромны, а выручки нет, музыканты ушли, забрав свои инструменты, за ними последовали мексиканские танцоры, норвежские акробатки и жонглер. А Буби с Вертинским и друзьями в пустом помещении допивали еще оставшиеся в погребе бутылки и совещались: как быть? Жулики, объединившись с поставщиками вин, грозились передать дело в суд.

Дошло до суда или нет, не знаю. Думаю, что Буби, как лицо ответственное, уехала либо в Гонконг, либо в Манилу — именно туда скрывались те, кого преследовали кредиторы. Во всяком случае, после истории с «Гардениеи» я больше никогда не встречала Буби. Вертинского же через какое-то время вновь увидела за столиком «Ренессанса»... Первая половина дня, в зале полутьма, моют полы, стулья кверху ножками на столах, ходят кошки. Вертинский, похожий на огромную нахохлившуюся птицу, лениво тыкает вилкой в яичницу и читает мне стихи парижского эмигрантского поэта Георгия Иванова: «Так что же делать? В Петербург вернуться? Влюбиться? Или Оперá взорвать? Иль просто лечь в холодную кровать, закрыть глаза и больше не проснуться?..» Словом, все как прежде. Я никогда не расспрашивала Вертинского о том, что имен-

но произошло в «Гардении». Я лишь думала, глядя на него: «Нет, не таким, как мы, не нам, бродягам и артистам, браться за коммерческие дела...»

* * *

А вскоре ввязалась в коммерческое дело и я.

Некая Алла Г. решила выпускать маленькую еженедельную газету рекламно-информационного типа. Такого рода бюллетень, пестрящий объявлениями, издавал в Шанхае один американский журналист и, чтобы привлечь подписчиков, печатал в своей газетке анекдоты, юморески и другое развлекательное чтение. Его примеру думала последовать Алла — за этим-то я ей и понадобилась.

Коротко знакома с Аллой я не была, но то, что знала о ней, внушало уважение. В любую погоду она бегала по улицам Шанхая, собирая объявления для нескольких газет и журналов сразу, а могла бы ничего не делать, дома сидеть — ее мать вторым браком была замужем за вполне состоятельным англичанином. Когда отчима перевели в Гонконг, Алла не пожелала следовать туда за ним и своей матерью. Уезжающие оставили ей какую-то сумму, чтобы она, как это водилось, смогла открыть «свое дело».

В те годы в Шанхае каждый мог издавать что ему вздумается, было бы на что, а разрешение у полиций обеих концессий достать было легко... Существовало немало частных типографий, бравших столько-то долларов за печатание страницы и вдобавок предоставляющих в своем помещении комнатушку, где можно было править гранки, делать расклейку материала для верстки и даже принимать посетителей.

...Терзавшие меня в Харбине проклятые вопросы (как жить? что с собой делать?) в начале моей шанхайской жизни, несмотря на трудности и неустроенность, меня не мучали. Я знала, что мне делать, я нашла себя. То, что за свой труд я получала гроши и приходилось вечно искать добавочные заработки, казалось в порядке вещей. В Париже тех лет известные писатели, крупные журналисты, сделавшие себе имя ее в России, жили чуть не впроголодь, это не говоря уже о молодых, начинающих... Выматывала, раздражала вечная борьба с Тепляковым. Возвращали фельетон: «Не пойдет. Вы тут смеетесь над конферансье. А недавно на вечере конферировал известный фотограф...» —«Да я не о нем! Я — вообще!» — «Может при-

нять на свой счет, а он наш рекламодатель. Тепляков велел снять, все!» Уж раз «Женькин пес» велел снять, это и в самом деле все!

Смеяться не разрешалось ни над кем, ни над чем. Везде рекламодатели, которые могут обидеться. Если хотите издеваться, идите на советский фильм, ругайте его. А вот этого-то мне как раз и не хотелось.

Сильное впечатление, производимое на меня советскими фильмами, не зависело ни от режиссеров, ни от актеров, ни от содержания. Стоило мне услыхать русскую речь, увидеть русские пейзажи — я начинала плакать... К решительному шагу, к переходу в советский лагерь (в Шанхае существовал «Союз возвращенцев»), я готова еще не была... Попав в «Шанхайскую зарю», я очутилась в эпицентре эмигрантской грызни, взаимных обид, раздоров, поношений, подозрений — все это казалось мне мелким, жалким, ничтожным — «...и совсем не в мире мы, а где-то на задворках мира, средь теней...». Один из эмигрантских поэтов говорил, что становится «неразговороспособен», ибо нет на свете более безнадежного и душу опустошающего ремесла, чем профессия эмигрантского литератора, брошенного в чужую стихию, где до него дела никому нет... Этих слов я не знала тогда, но, видимо, нечто подобное ощущала. Хотелось что-то менять, куда-то уйти. Куда — не знала.

Подвернулась Алла, и я радостно кинулась в несуществующую газетку, которая могла прогореть и лопнуть через месяц, совсем как «Гардения»! Вся коммерческая сторона на Алле, я же должна была заполнять своими писаниями свободное от объявлений место будущего рекламного издания. Мы решили: никакой политики! Задача: развлекать и увеселять читателя. Как именно — на мое усмотрение.

Была у меня в те годы приятельница Ирина С., русская, жена американца. В ранней молодости занималась журналистикой, писала стихи, бывала у моей матери — та любила покровительствовать юным дарованиям. Наша с Ириной разница в возрасте (четыре года) была тогда неодолима — семнадцатилетнему с тринадцатилетним общего языка не найти. Но вот мы встретились в Шанхае, друг другу обрадовались, подружились. Ирина была наполнена, насыщена, пропитана русской литературой. В ее чтении я впервые узнала поэму Андрея Белого «Первое свидание» и стихи Пастернака. Она же научила меня любить

Чехова — до тех пор он был мне чужд. И, конечно, возникла у нас (так же как и с Вертинским!) игра в «откуда это?».

Трехкомнатная квартира, детей нет, хозяйственных забот тоже (бой и повар), обеспеченность полная, живи в свое удовольствие, живи как все шанхайские иностранные дамы — утренняя прогулка с собакой, магазины, в час завтрак, затем загородный клуб. Там бридж, там мачжан, туда после работы приезжает муж, легкая выпивка, затем домой обедать, после чего каждый сидит в своем кресле, муж отдыхает, читая журналы или детективы, жена тоже читает или вяжет — телевизоров ведь тогда еще не существовало...

Монотонность жизни нарушается коктейлями, зваными обедами, зваными (дамскими) чаями... Кроме того, при клубе и гольф, и теннисный корт, и бассейн. Чем не жизнь?

А Ирина изнывала от скуки и бросилась на меня, как голодный на хлеб. В иностранном обществе, ее окружавшем, друзей себе не находила, хотя, вероятно, были там люди вполне образованные. Неглупым человеком, все понимавшим в своем инженерном ремесле, был Иринин муж Томми.

Но вот с иностранцами ей было скучно, а со мной, в те годы существом весьма невежественным, со мной ей скучно не было. Почему же? А потому, полагаю, что «Зима, крестьянин, торжествуя...», «По небу полуночи ангел летел...», «Все врут календари...», «На холмах Грузии...» и многое, многое другое, не говоря уж об именах собственных (Ноздрев, Онегин, Фома Опискин), никаких ассоциаций у иностранцев не вызывали, они росли, складывались в чем-то совсем ином, своем.

Ирина с восторгом приняла участие в «Шанхайском базаре» — помощь неоценимая: одаренный литератор отдавала нам свое перо бесплатно. Ирине не деньги, а занятие было необходимо. Отныне занята она была выше головы.

Мы печатали «Базар» в типографии, принадлежавшей китайцу. Старый дом в глубине двора восточной, «бедной» части авеню Жоффр, тут же помещалась какая-то харчевня, и красивая Ирина, шествовавшая в своих туалетах и шляпках по грязному и чадному двору, вызывала изумление окружающих...

Писали мы каждая у себя (я взяла напрокат машинку), затем сходились в отведенной нам хозяином комнатуш-

ке — голые стены, два-три расшатанных стула. Правили гранки, верстали, придумывали заголовки для отделов, куда шли иронические заметки без подписи: «В этой маленькой корзинке...», «Букашки, мошки, таракашки...» У Ирины были псевдонимы: «Елизавет Воробей» и «Рени» — для фельетонов, «Ник. Зарубин» — для статей. У меня — «мисс Пэн», «Зинаида Булкина» и «Топси». Завели «Страницу женщины» — моды, косметика, прически, как обставить квартиру, как удержать любимого человека,— переводили туда статейки из американских дамских журналов. Вообще поначалу все было тихо, невинно — вполне безобидная рекламная газетка с развлекательным чтением на пристойно-культурном уровне. Но ни Иринин, ни мой темперамент не позволили нам удержаться в этих рамках. Мы начали подкусывать, подкалывать то эмигрантские балы с их крюшонами, кокошниками и лотереями, то концерты с любительскими сопрано и пошлыми шутками конферансье... Отменили «Страницу женщины» и вместо нее завели отдел «В литературном отчаяньи», куда писали ехидные рецензии на рассказы и романы шанхайских литераторов и уличали в малограмотности репортеров...

Эмигрантская печать, сперва величаво и презрительно нашего издания не замечавшая, встрепенулась... Появилась статейка «Три девицы под окном пряли поздно вечерком...» «Девицам» советовали «чесать языки келейно, а не в печати» — не их, дескать, женское дело... В другой газете нас окрестили «базарными торговками». Худшее было впереди.

Французская полиция, в «политическом отделе» которой служили несколько пожилых эмигрантов, под явным нажимом последних запретила нам выпуск очередного номера за «натравливание одной части населения на другую». Эмигрантская пресса радостно сообщила об этом своим читателям в таких выражениях: «...приостановлен выпуск полушантажного листка непечатного свойства...», «...нарушительницам основных норм журналистской этики запрещен выпуск очередного номера!» Зато американская газета «Шанхай Ивнинг Пост энд Меркури» написала так: «Выход «Шанхайского базара», популярного русского еженедельника без политической ориентации, приостановлен французской полицией в наказание за критику выступления одной из газет, издающихся на русском языке».

Тут многое верно. К тому времени «Шанхайский базар», этакий веселый и злой журнальчик, в самом деле

стал популярен: росло число подписчиков, расхватывалась розница, взмыленная Алла все чаще врывалась в типографию с радостным известием о новом объявлении... Одно неверно: на «третьем пути» сбалансировать нам не удалось, без политической ориентации мы не обошлись, лицо издания к моменту его закрытия вполне определилось.

Нападение Германии на СССР и реакция на это событие ряда эмигрантских организаций — вот что послужило толчком, изменившим лицо газеты. У меня не сохранилось статьи, за которую нас наказали, в памяти осталась лишь первая фраза, ну, скажем прямо, не слишком корректная: «Свиное рыло высунулось и хрюкнуло!» Таков был наш отклик на опубликование в эмигрантской печати совместного заявления нескольких организаций («Союз монархистов», «Союз инвалидов» и еще какие-то «союзы») об их готовности сражаться на стороне немцев за «освобождение России».

Нас лишили возможности выпустить один номер, и он не вышел, а следующий вышел. Потеря номера оказалась ничтожной платой за те выгоды, которые нам принесла необдуманная мера французской полиции. Злорадные крики эмигрантской печати и упоминание «Базара» в печати иностранной — лучшей рекламы и придумать было нельзя! Посыпались читательские письма, нашу позицию поддерживающие, и среди них письмо Вертинского... (С первого дня Отечественной войны шанхайские эмигранты разделились на «пораженцев» и «оборонцев» — последних было значительно больше.) И, наконец, мы приобрели трех прекрасных сотрудников, присоединившихся к нам из чистого энтузиазма: З. Казакова, Вс. Н. Иванов и А. Вертинский.

Бывшая драматическая актриса Казакова (псевдоним «Алексей Лохмотьев») вполне квалифицированно и очень едко освещала театральную жизнь Шанхая. Вс. Н. Иванов писал статьи и фельетоны (псевдонимы «Н. Игнатьев» и «Княгиня Мягкая»). Вертинский вел «Почтовый ящик» («Нострадамус») и отделы «В своем углу» и «Про всё» — их подписывал собственным именем.

Это была уже иная газета, ничем не напоминавшая тот непритязательный, задуманный Аллой рекламный бюллетень. Мы выходили теперь с постоянным эпиграфом из Некрасова: «Шить на мертвых нетрудное дело, нам желательно шить на живых!» Мы занимали ярко выраженную

оборонческую позицию и уже не только развлекали читателя, но и призывали его кое над чем задуматься...

Мастер застольных бесед, шуток, анекдотов, импровизаций — их-то Вертинский у нас и публиковал. В напечатанном виде, лишенные интонаций, игры лица, жестов, рассказики эти много теряли, но вполне годились как приятно-развлекательное чтение. В «Почтовом ящике», который мы, по примеру «Сатирикона», стремились давать в каждый номер, Вертинский юмористически отвечал на им же самим придуманные читательские письма и произведения. Случалось, «Нострадамус» подводил нас: материал пора сдавать в набор, а «Почтового ящика» нет! Я бросалась искать Вертинского, а где найдешь его утром? Только в «Ренессансе». Но уж если там его нет, задерживай номер, жди допоздна, лови своего автора там, где он ночью поет, и кидайся на него с упреками, мольбами... «Дорогая, клянусь — забыл! Пусть номер выйдет без меня, мир не обрушится».— «Обрушится! — кричала я, нажимая на педаль лести, безотказно действующую на Вертинского.— Вы же знаете, как читатель вас любит, вас ждет! Ну, Александр Николаевич!»

Однажды он написал «Почтовый ящик» в перерывах между своими выступлениями карандашом на нескольких бумажных салфетках — дело происходило в маленьком кабачке «Шехеразада» (джаз, полутьма, танцующие пары, бродящий луч лилово-синего прожектора), а потом с этими салфетками в сумке я шла домой пустынными ночными улицами... Забавно было бы эти салфетки сохранить, но я ведь вечно все выбрасывала! Если б не мать, у меня и «Шанхайского базара» сейчас бы не было, любопытной газетки, моего детища, переходного этапа жизни моей. Сбереженные матерью пожелтевшие номера этой газеты (уже последнего периода ее существования) я отдала переплести, иногда их перелистываю, там на каждой странице пестро мелькают объявления: «Лосьон Телл-ми» для очищения нежной кожи...», «Где хорошо кормят? Где приятно потанцевать? Ну конечно, в «Аркадии»!», «Косметика помогает, гигиена завершает: антисептическое средство «Гоменол солюбл»...», «Марлен Дитрих, Франческа Гааль, Ольга Чехова одевались в салоне дамских нарядов «Олд Бонд Стрит»...» И многочисленные псевдонимы малочисленных сотрудников там мелькают, и прошлое проходит предо мной... Я вновь вижу чадный двор у харчевни, комнатушку при типографии, и гранки на столе, и

то, как мы с Ириной их правим, а затем, расположив на чистом листе, клеим и с помощью метранпажа выбираем шрифты, и врывается сияющая Алла — ей удалось достать объявление у самой «Шанхай пауэр компани» (Холодильники, электроплитки, утюги), его необходимо поставить на первую страницу, да, и только на первую, но мы ее уже сверстали, к черту вашу верстку, ведь всемирно известная фирма, дали пока на пробу, обещают подписать контракт на три месяца, это же деньги, вы что, шутите?

И без коммерции нам не удалось обойтись!

Я перелистываю подшивку, и прошлое проходит предо мной, и я снова вижу полутемный утренний зал «Ренессанса», моют пол, ходят кошки. Вертинский за столиком в углу хмуро пишет свои веселые мелочи для отдела «Про всё», а я терпеливо жду.

* * *

Давно рухнул барьер, отделявший меня, харбинскую девчонку, от заезжей знаменитости, прославленного «шансонье», всемирно известного певца, на которого я глазела из амфитеатра белого зала Железнодорожного собрания. Шанхайский Вертинский стал частью местного пейзажа, вписался в наше эмигрантское захолустье, ходил по этим же «авеню» и «рю», пел ежевечерне. К тому же мы подружились.

Наша «оборонческая позиция», участие Вертинского в газете «Шанхайский базар» сблизили нас еще больше. Виделись постоянно, понимали друг друга с полуслова, и я забывала о разнице лет, о его славе, и не было больше ореола, когда-то в моих глазах его окружавшего. Слушать его песни одно удовольствие, особенно в ресторанной обстановке, для которой, казалось, и создано его искусство. Дешевый электрический рай, куда люди идут, чтобы забыться. И правильно. Иной раз забыться — необходимо.

На улице дождь, трамваи уже не ходят (на чем, интересно, я домой поеду?), а, черт с ним, как-нибудь доберусь, не думать, забыть обо всем, он поет, и улетим с ним в бананово-лимонные Сингапуры или к синему и далекому океану. Вообразим себя той, которую «баюкает в легкой качели голубая «испана-сюиза». Убаюкаемся. Слушаешь и веришь, что «радость будет, что в тихой заводи все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели». Выпивка. Наркотик. Гипноз.

А потом случилось так...

Я была в гостях у Ирины, званый ужин, по-тамошнему обед. Кроме меня инженер Джим Казинс с женой Маргарет и юрист Питер Дайс — друзья Ирининого мужа Томми. Я была уже с ними знакома, Ирина не раз таскала меня с собою в американский загородный клуб. Выхоленные, хорошо одетые, благополучнейшие люди. Хотелось бы добавить — беззаботные,— но это не так. Время тревожное — война. Америка пока нейтральна, но именно «пока». К тому же Шанхай под властью японцев, они ставят палки в колеса иностранным фирмам, работать чертовски трудно, скорей бы домой! Привольной жизни иностранцев в полуколониальном Шанхае наступал конец... А жизнь их тут была в самом деле привольна: большие квартиры (у некоторых дома и сады), обилие дешевой прислуги, клубы, гольфы, теннисы, бассейны, верховая езда, повышенная зарплата — ведь оторваны от дома, ведь на краю света, за это надо платить... И Томми, и друзья его были людьми симпатичными, доброжелательными, мне нравилось бывать в их обществе, будто попадаешь на иную планету, живешь другой жизнью, от своей отключившись...

Отобедав, решили ехать в какой-нибудь ночной клуб. Выяснилось, что никто из присутствующих не слышал Вертинского. Он пел в то время в эмигрантском кабаре «Аркадия» на рю Думер. Самое просторное помещение из всех, где он в Шанхае выступал.

Овальная площадка для танцев как бы обрамлена столиками, стоящими на возвышении, джаз — на эстраде, артисты выступают там же.

Приехав, заняли два столика, их нам сдвинули официанты, почтительные и даже торжественные, нюхом, издали угадавшие приближение американцев с их твердой, с их прекрасной валютой. «Ну, где же ваш певец джаза?» — спросил Питер Дайс. Ирина сказала, что Вертинский не певец джаза. «Но он «крунер»! — заявила Маргарет.— Моя подруга его слушала, и сказала: типичный русский «крунер»!» И хотя «крунерами» американцы называют тех, кто полуговорит, полупоет, чья сила не в голосе, а в интонации, ну, то же, что французские «шансонье», «дизёр»,— а русского-то слова нет для этого! — однако и Ирину, и меня это слово обидело. «Крунеров» полно, а Вертинский один-единственный, особенный, ни на кого не похожий... Нас перебил Томми: «А, перестаньте! (Друзьям с усмешкой.) Я только и слышу от этих двух, что у русских

все особенное, все самое лучшее, и литература, и музыка, и я уж забыл, что еще...» Подвыпивший Питер фальшиво пропел: «Оччи чьорнии!» Добрая Маргарет с утешительной интонацией сообщила, что и в самом деле такую песню, как «Очи черные», завоевавшую мир, сочинили русские! Погас свет. На эстраде в луче прожектора возник Вертинский. «Прекрасно сложен и как элегантен!» — воскликнула Маргарет. Она явно продолжала свою утешительную работу... «Прощальный ужин»!» — объявил Вертинский своим капризным тоном. Звуки рояля...

«Сегодня томная луна, как пленная царевна...» «Крунер»! Ваши «крунеры» только и умеют, что подвывать и завывать... Это придумать надо: назвать Вертинского «крунером»! «Сегодня музыка больна, едва звучит напевно, она капризна и нежна, и холодна, и гневна...» Как вкрадчиво, ласково и немного насмешливо он это произнес... Он поднимает свой бокал за неизбежность смены: покорность судьбе, но тоже чуть насмешливая... Он не завидует тому, кто ее ждет (пауза)... тоскуя, а все же то ли ревность, то ли неприязнь к тому, кто там дожидается, проскальзывает... Нет, не завидует, потому что знает: он совсем не тот, кто ей для счастья нужен, он — бродяга, перекати-поле, к устойчивости домашнего очага неспособен, а тот, кто ее ждет, «он иной»! Это не пение, это резко скандированный речитатив, и в нем вновь неприязнь, насмешка... «Но пусть он ждет (гневно и торжествующе), пока мы кончим ужин!» — лукаво, даже слегка издевательски, с чувством превосходства над этим униженно там ожидающим. «Я знаю, даже кораблям необходима пристань...»

«О чем это он?» — спросил Томми. Ирина стала поспешно рассказывать — о чем: «Кто кого бросил — он ее или она его?» — поинтересовалась Маргарет. Питер отхлебнул из стакана и заявил: «Держу пари, это не шотландское виски. Это подделка!»

Вальс «Над розовым морем». Ничего вроде бы не делает, лишь плечами поводит, а почему-то видишь, как томно кружатся влюбленные пары и как все прекрасно и очаровательно: луна, море, вино, гитара... Вдруг тревога. «Послушай, о как это было давно...» Тревога нарастает: «Послушай, мне кажется даже...» — и горло перехватывает, и нет слов, только музыка... И вот будто другой совсем голос, трезвый, горький, знающий, что все прошло, жизнь растрачена впустую, надеяться не на что, да и тревожиться, собственно, уж не о чем... «И слишком устали, и слиш-

ком мы стары и для этого вальса, и для этой гитары...»

«Какой актер! — сказала Корнакова пять лет тому назад.— Руки гениальные. Каждая песня — маленькая пьеса, чувствуете?» Это она с ее актерским чутьем чувствовала, а я — нет. Кокетливая поза, салонность, явная безвкусица некоторых песен заслоняли от меня то крупное, то истинное, что есть в нем, внезапно в каком-то повороте открывающееся... Это настоящее вдруг прорвется в тоне, в интонации, во взгляде, в жесте — резким, быстрым движением руки он умеет сыграть и гнев, и презренье, и надменность, и грусть, и лукавство... Актер. Виртуозный актер театральных этюдов — вот что отличает его от всех «крунеров» мира, от всех шансонье — как же я раньше не понимала этого? В самом деле, его песенки — пьески с сюжетом, и в каждой несколько ролей... Сквозь шелуху банальности, салонности — искренность, горечь, трогающая слушателя не «убаюкивающе», а на уровне серьезного искусства,— как я раньше не видела этого?

Казинсы сказали, что им понравилось. Обидно не понимать слов, но и так можно почувствовать, что Вертинский первоклассный «крунер». «Спасибо, что вы нас сюда вытащили!» Джим и Маргарет Казинс были людьми милыми, воспитанными и к нам с Ириной дружески расположенными...

После того как Вертинский выступил вторично, пропев «Чужие города», поднялась такая буря аплодисментов и даже выкрики, что Томми, когда все это поутихло, сказал друзьям: «Ну, что я вам говорил? Русские — сумасшедшие!» Вертинского, однако, не ругал. Нам даже казалось, что Вертинский ему понравился. Признаться в этом вслух Томми не хотел. Опасался, что мы с Ириной возгордимся, задерем нос и это ослабит его позиции, он ведь вечно над нами посмеивался, вечно упрекал в пристрастии ко всему русскому... Что думал по поводу Вертинского Питер, осталось неясным. Он хоть и утверждал, что это не шотландское виски, а подделка, однако подделкой этой не слишком брезговал...

Мы вышли на ночную улицу. Толкаясь колясками, что-то выкрикивая, к нам кинулись рикши и педикабщики — чужой город шумел вокруг нас. Казинсы сели в свой автомобиль, я — к Томми с Ириной, туда же взгромоздили Питера, двинулись, над нами светила чужая звезда, а когда мы ехали вдоль набережной, вблизи которой жил Питер, было хорошо слышно, как плещется чужая вода.

* * *

Искусство Вертинского не было международным: не Рахманинов, не Менухин, не Шаляпин, не Яша Хейфец и не Анна Павлова. Правда, из мемуаров, опубликованных посмертно[1], узнаем, что в Париже Вертинского слушали такие «персоны, как король Густав Шведский, Альфонс Испанский, принц Уэльский, Вандербильты, Ротшильды», а также знаменитые киноактеры. Из Парижа Вертинский едет в Нью-Йорк, Сан-Франциско, Голливуд. Там он удостоился приглашения в «Голливуд морнинг брекфаст клаб», членами которого были киномагнаты и куда развлекать их во время утреннего кофе приглашались только мировые знаменитости...

Среди иностранцев, русского языка не знавших, встречались, несомненно, натуры артистические, ощущавшие талант Вертинского, уникальность созданного им жанра. Но я убеждена в том, что большинство иностранцев стремилось услыхать Вертинского (этого «сказителя», как называл его Шаляпин) единственно из любопытства. А это чувство насыщается быстро — послушал раз, другой, и довольно. Дело тут не только в барьере языка. То, о чем пел Вертинский, было чуждо иностранному слушателю, отклика в душе его не находило. Это особенно касается родившихся в эмиграции песен, лучших в репертуаре Вертинского, песен, в которых говорится о тоске по России, покинутой и недоступной.

Об этой «дикой жалости к оставленной земле» Вертинский с эстрады умел поведать так, что на слушателей веяло холодком истинного искусства... А вот на бумаге, в мемуарах, рассказать об этом не сумел.

Песенные тексты играли у него роль чисто служебную. Слова нужны были лишь как повод, дающий этому актеру возможность показать свою главную силу, умение легко переходить от одного настроения к другому, от кокетливой позы к естественности, от манерности к искренности, превращаться из капризного эгоиста в глубоко страдающего человека. Вертинский на эстраде — как музыка в его «Прощальном ужине»: она «капризна и нежна, и холодна, и гневна».

Но вот он взялся за перо и остался наедине со словом, не прикрашенным ни музыкой, ни интонацией, ни жестом.

---

[1] Журнал «Москва», 1962.

Со словом в его чистом виде. Дело одинокое, дело непривычное, и с ним Вертинский не справился, оказался беспомощен. Написанное им поверхностно, мелко, и обидно, обидно за автора! Он был куда сложнее, куда привлекательнее, чем легковесная фигура, вышедшая из-под его неумелого пера... «В 1935 году я решил уехать в Китай». Это почти что заключительная строка мемуаров. О жизни в Шанхае — ни звука. Но почему же именно в Китай?

Покинувшие отечество пианисты, скрипачи и балерины без русской аудитории существовать могли в том грубом смысле, что не она кормила их. Морально тяжело, но материально жить можно. Вертинский же без русского слушателя обойтись не мог ни в каком смысле, ибо искусство его только русским и было нужно.

Так почему же все-таки в Китай?

Эмигранты второго поколения, попавшие за границу малыми детьми, живя в Америке или во Франции, ходили в тамошние школы, родной язык забывали, от русских корней отрывались — не все, но многие. Этот процесс был особенно характерен для молодых русских, выросших в США. В Китае подобного слияния с местным населением произойти, конечно, не могло. Кроме того, эмигрантская молодежь Шанхая тридцатых и сороковых годов в большинстве своем выросла в Харбине, оставалась русской и по языку, и по устремлениям. Не эта ли надежда найти более молодую и обширную аудиторию плюс отчаянье и толкнули Вертинского ехать в Шанхай?

Он прекрасно знал, где его настоящая аудитория, стремился к ней и из Франции, и из Америки, но, как сообщает в своих мемуарах, дважды получал отказ на просьбы о визе. И вот очутился в Шанхае.

И я вспоминаю сейчас, как он в свои мрачные утренние часы в пустом полутемном зале «Ренессанса» читал мне стихи: «Нет, меня не пантера прыжками на парижский чердак загнала, и Виргилия нет за плечами, только есть одиночество в раме говорящего правду стекла».

* * *

Православный собор на узкой улочке Поль-Анри полон народу... На этот раз тут меньше, чем обычно, темных платков богомольных старушек и седых обнаженных го-

лов бывших бойцов белых армий... Мексиканские и испанские танцоры, норвежские акробатки, музыканты, цыгане, жонглеры, молодые люди неясных профессий,— словом, все Вертинского обожающие бродяги и артисты явились сегодня сюда... И чуть не в полном составе, «ин-корпоре», присутствуют Вертинским воспетые дансинг-герлс и баргерлс. Их сегодня узнать трудно, так скромно они одеты, такое растроганно-торжественное выражение на их почти лишенных косметики лицах.

Нет, не только кораблям необходима пристань. Понадобилась она и Вертинскому, на склоне лет серьезно полюбившему молодую девушку, не принадлежавшую к легкомысленному братству актеров и бродяг. Была она тогда скромной служащей иностранной конторы.

Появляется жених с веточкой флёр д'оранжа в петлице — одобрительный шелест в толпе: элегантен, прекрасно держится. Наверху, под куполом, звучат голоса хора, приветствующие появление невесты («Гряди, гряди, голубица!»), и снова шелест, теперь восхищенный,— хороша собой невеста. Шелест возобновляется, когда венчающиеся идут к атласному коврику: кто первый ступит? (Примета: ступивший первым будет главенствовать в семье.) Торжественный момент: красавцы шаферы Левка и Гига поднимают венцы над головой Вертинского и тем воздушно-белым, что украшает головку невесты. И вот молодые (а шаферы с венцами следом) идут вокруг аналоя, и я с трудом узнаю Левку и Гигу — так суровы, горды, исполнены сознанием своей ответственности их обычно легкомысленно-веселые физиономии. На улице день, а мог быть и вечер, дневной свет едва проникает сквозь цветные стекла окон, к тому же церковь ярко освещена сотнями колеблющихся огоньков свечей... Тепло, душно от человеческого дыхания, от запахов воска, ладана, кадильного курения, и рядом с собою я слышу всхлипывание — молодая женщина в темном шелковом платочке на голове. Кажется, кто-то из «дансинг-герлс»... «Вы в гимназии, церковь, суббота, хор так ласково, нежно поет...» Она сама мечтала о таком дне, чтобы фата и белое платье, и рядом Он, и благословляющая рука священника, и атласный коврик, и венцы, и ничего этого нет и не будет.

Свадебный прием был устроен в «Шехеразаде», там в то время пел Вертинский. Разносились коктейли и сендвичи, хлопали пробки шампанского, цыгане пели заздравную, и народу столько, что к молодым не проберешься.

* * *

В 1943 году Вертинский уехал в СССР с женой, недавно родившейся дочкой и тещей. Вскоре до нас, оставшихся в Шанхае, стали доходить вести об успехах Вертинского, о переполненных на его концертах залах.

К концу тысяча девятьсот сорок первого года мой еженедельник «Шанхайский базар», не находившийся ни под чьей защитой и всячески преследуемый полицией, перестал существовать, и с этого момента я начала работать в газете «Новая жизнь».

Однажды в телеграмме ТАСС я прочитала о Вертинском... Цитировалась только что им написанная песня, из которой до сегодня уцелела в памяти одна строфа: «О родина моя! В своей простой шинели, в пудовых сапогах, детей своих любя, ты поднялась сквозь бури и метели, спасая мир, не верящий в тебя!»

Приехав в СССР с репатриацией, я стала жить в Казани, работала там стенографисткой. В апреле 1948 года взяла десятидневный отпуск и в Москве остановилась у дяди, родного брата матери, Ивана Дмитриевича Воейкова. От него я узнала о существовании Литературного института имени Горького, и с того момента все помыслы мои были направлены к одному — стать студенткой этого института. Я там побывала, узнала, что нужно для поступления, затем прислала из Казани требуемые документы и сборник, изданный в Шанхае, куда вошли мои лучшие фельетоны, опубликованные в «Новой жизни». В последних числах июля я вновь появилась в Москве. Мне казалось (и справедливо!), что от того, признала или нет приемная комиссия мои произведения достойными и допустила ли меня к экзаменам, зависит вся моя дальнейшая судьба.

Уже знакомая решетка сада на Тверском бульваре, дома не видно за буйной зрелой зеленью дубов и лип, на лестнице следы известки, в коридоре брошенная стремянка (ступеньки истоптаны белым), двери в пустые аудитории настежь, безлюдье, лето, лето... Перед дверью в канцелярию я суеверно перекрестилась («Господи, помоги!»), готовила себя к худшему, худшего не произошло, пока пути не отрезаны, лишь в августе станет известно, допустили меня к экзаменам или нет. Дни отсрочки я собиралась провести в Ленинской библиотеке, продолжать готовиться к

экзаменам, но мне сказали: «Хорошо бы вам заручиться поддержкой писателя, писателя с именем! Чтобы он поддержал ваше заявление о приеме, рекомендовал бы вас!»

По коридору, пахнущему ремонтом, по асфальтовой дорожке сада, пестрой от солнца и тени листвы, я шла походкой человека, не знающего, куда он идет... Минуту назад все было ясно: мчусь в Ленинскую библиотеку, ныряю в книги. Отпало. Зачем туда нырять, если без рекомендации писателя с именем к экзаменам вряд ли допустят? Двигаться следовало в ином, неизвестном направлении, ибо кто он, этот писатель с именем, где его искать?

Середина дня. Жарко. На тротуарах полно по-летнему одетых людей, все бегут куда-то. Из распахнутых дверей шашлычной дохнуло запахами еды и пива. Внезапно я очутилась в центре куда-то энергично устремившейся группы людей, оказалась у всех на дороге, вырвалась оттуда, бормоча извинения. Это была очередь, ждущая троллейбуса, а он как раз подошел, встал, отдуваясь... Мне захотелось посидеть на бульваре, у памятника Пушкину, стоявшего тогда еще на Тверском бульваре, собраться с мыслями, покурить, но все скамейки заняты. Я пересекла бульвар, очутилась на улице Горького, зачем-то на другую ее сторону перешла, тупо постояла у витрины магазина ВТО, не видя, что там выставлено, снова двинулась...

Это судьба моя вмешалась и вела меня. Заставила задержаться у Дома ВТО, точно рассчитав время, оторвала от бессмысленного созерцания витрины, повернула, толкнула вперед, кинула в новый водоворотец (толпа, выходящая из Елисеевского магазина) и ткнула лбом в плечо какого-то высокого мужчины. Проделав все это, судьба отошла в сторонку и за дальнейшим ходом событий наблюдала уже издали.

Дальнейший ход был таков. Столкнутые друг с другом мужчина и я одновременно извинились, отпрянули, после чего тоже одновременно воскликнули: «Боже мой!» Он к этому добавил: «И вы здесь! Когда приехали?» В руке его пакетик — что-то съестное в пергаментной бумаге. «Можете себе представить,— сказал он,— тут нет вестфальской ветчины! Мало того! О ней тут даже не слыхивали!»

Все тот же. Барственная осанка, грассирует, и вестфальской ветчины ему не хватает, гурману!

Тревожно: «Как вы находите, я очень постарел?» — «Что вы! Ни капли!» Успокоился, переложил пакетик в левую руку, взял меня под локоть. «А вы? Где вы? Как

вы?» Не просто вежливость. Истинное желание узнать, вникнуть, помочь, если потребуется...

Богат и славен — об этом я знала еще в Шанхае. А в Казани мне говорили, что некоторые репатрианты, попав в Москву, первым делом кидаются разыскивать Вертинского, надоедают ему просьбами. Именно поэтому видеть его я не собиралась — слишком неравны наши положения. И вдруг эта неожиданная встреча на улице, и я вижу, он рад мне, и я польщена, и мне приятно...

«Не торопитесь? Тогда зайдем ко мне, это два шага — вот дом! «Москва. Улица Горького», звучит шикарно! Адрес это, знаете ли, не последнее дело». На лестнице: «Недавно купил по случаю наполеоновский стол... А квартира — великолепная! Ну, да сейчас сами увидите!»

Мы поднимались на лифте, и весело мне было глядеть на знакомое лицо, на высоченный, с залысинами лоб, глубоко посаженные глаза, горбатый нос, морщины, сбегавшие от углов тонкого рта (ах, постарел, все-таки постарел!), и на большие, длиннопалые руки. Как я была благодарна судьбе, столкнувшей меня в этот жаркий день, в этом еще чужом мне городе, чужими людьми наполненном, с другом моих шанхайских лет, добрым, великодушным, наивно-хвастливым, по-женски тщеславным, по-детски способным приходить в восторг от чепухи и впадать в мрак тоже от чепухи. Актер. Богема. И пусть сейчас богат, а все равно — бессребреник!

Семья на даче, квартира пуста. Мне был продемонстрирован просторный кабинет: диван, кресла, рояль, великолепный, светлого дерева, письменный стол.

За полгода жизни в СССР я еще не видывала четырехкомнатных квартир, одной семье принадлежащих, и такой мебели не видывала, и я поражена, громко всем восхищаюсь, а хозяин радуется моему восхищению, как дитя.

Утром следующего дня я вновь явилась в этот дом, чтобы вместе с Вертинским ехать к нему на дачу. То было мое первое знакомство с московской электричкой и Подмосковьем: дачный поселок Валентиновка...

Перед домом с верандой зеленая лужайка. По ней бегут две маленькие девочки, устремившиеся навстречу отцу. Он наклоняется, подхватывает на руки одну, потом вторую и так, держа их в объятиях, идет к крыльцу, а мне над его широкими плечами видны два повернутых к нему личика, два ангельских профиля, какие хорошенькие девочки (старшую я видела грудной, младшую вижу впер-

вые), а я иду за ними, подобрав брошенную на траву авоську с продуктами, и слышу детский щебет и нежное мурлыканье отца. На крыльце молодая мать, рядом бабушка (далеко еще не старая бабушка), малюток опускают на землю, обнимают жену, целуют руку теще. Зеленые кроны деревьев на фоне безоблачного неба, и какие-то деревенские звуки, чириканье птиц, отдаленное собачье тявканье. Пасторальная симфония. Вертинский в роли дачного мужа (передаю бабушке авоську с продуктами), в роли нежного отца — девчонки от него ни на шаг, так и лепятся, одна ухватилась за край пиджака, другая вцепилась в штанину. Сперва сидим на лужайке в плетеных креслах, затем зовут на веранду. На полу солнечные блики, на столе белая скатерть, тарелки с разной снедью, ну, и запотелый графинчик. Чокаемся. Как чокались сотни раз в «Ренессансе», в «Шехеразаде», в «Роз-Мари», где еще? Надышано, накурено, джазы, саксофоны, лиловые лучи прожекторов, разрезающие тьму, танцоры, жонглеры, «дансинг-герлс», «бар-герлс» — «ай-ай-ай, куколки, где вы теперь?».

Сквозь мелкие квадратные стекла веранды — зеленая лужайка, белые стволы берез, за столом детское воркованье, добрый голос бабушки («Грибков, грибков еще возьмите!»), и где-то птицы поют. Сельская идиллия.

На следующий день Вертинский давал концерт в зале ВТО. Я сижу рядом с женой Вертинского, и она называет мне имена лиц, заполняющих зал... Это громкие имена знаменитых актеров, певцов, поэтов, и если какое-нибудь имя я слышу впервые, то все равно знаю, тот, кому оно принадлежит, тоже знаменит, ибо чуть не у каждого мужчины и у многих женщин значки лауреатов. Одна лишь я, по-видимому, не знаменита в этом зале, чем и выделяюсь среди присутствующих.

И когда на освещенной эстраде появилась знакомая фигура во фраке, послышался рояль, голос, мне вспомнился Харбин, белый зал Железнодорожного собрания, где я впервые увидела Вертинского, и показалось, что с тех пор прошла вечность, а всего лишь тринадцать лет! И еще мне увиделась ночная авеню Жоффр, осень, согбенная спина в коляске педикаба: это Вертинский из «Шехеразады» едет в кабаре «Роз-Мари».

После концерта мы ужинали в ресторане ВТО вместе со знаменитым Утесовым, его женой и дочерью, к нашему столику беспрестанно подходили еще разные знаменитости как мужского, так и женского пола, было много хорошо

одетых дам, пахло духами, и мне казалось, что я попала на Олимп, нахожусь среди небожителей.

Вот когда я догадалась, что проникнуть к «писателю с именем» мне поможет именно Вертинский. Он и помог. Очень охотно. Тут же, не успела я договорить, написал письмо своим хорошо мне знакомым крупным и острым почерком... С этим письмом я явилась к писателю, мне было велено оставить свою книжку фельетонов и вновь прийти через неделю. Книжка была прочитана, одобрена, писатель счел возможным рекомендовать меня в Литературный институт. Я была допущена к экзаменам.

Переехав в Москву, я стала бывать у Вертинского. Бывала вместе с другими гостями, бывала и одна.

Вечером телефонный звонок. Вертинский требует, чтобы я явилась к нему немедленно, безотлагательно. Когда такое приказание было дано в первый раз, я мчалась на улицу Горького, себя не помня, думала, что-то случилось, зачем-то нужна моя помощь... Позже требование срочно явиться меня уже не пугало. Знала: ничего не случилось. Просто у него пустой вечер. Ему скучно.

В квартире тишина, девочки спят, бабушки не видно, жена, поприветствовав меня, вновь удаляется в спальню (читает там полулежа), хозяин дома в прекрасном шелковом халате со стегаными отворотами мрачно сидит в углу полутемного, одной лампой освещенного кабинета. На столике два бокала, початая бутылка шампанского (его Вертинский предпочитал всем винам). И начиналось: «А помните?.. А помните?..» С кем еще в Москве мог он вспоминать вслух «Шехеразаду», «Ренессанс», хозяина-армянина, Левку, Гигу, цыган, красотку Машу (как плясала!), негра-пианиста из «Роз-Мари» (как играл!) и всю нашу бедную, шаткую, пеструю шанхайскую жизнь?

Казалось бы, скучать некогда. Концерты один за другим. Гастроли по всей стране: сколько-то месяцев в году этот старый человек проводил в поездках, в номерах провинциальных гостиниц, переносил сибирские жестокие морозы и среднеазиатскую жестокую жару. К этому еще работа в кино. Снимался в роли кардинала («Заговор обреченных»), в роли князя («Анна на шее»), и если не спас эти фильмы (спасти их, особенно «Заговор», не удалось бы никому!), то своим участием оба фильма украсил — актер, актер! Радоваться бы свободным вечерам, отдыхать бы, пить молоко (не шампанское!), рано ложиться спать — возраст почтенный! Но ночная жизнь, которую он столько лет

вел, вошла в кровь отравой, пустых вечеров не терпел, стремился заполнять их либо шумным сборищем гостей, либо рестораном. К одинокому вечернему времяпрепровождению приспособлен не был. Тосковал.

Кончились годы скитаний, шаткости, неустроенности, бездомности. Этот бродяга «с душою цыганской» на склоне лет обрел семейный очаг, прочность, признание, материальное благополучие. А вот — тосковал. И только ли пустыми вечерами? И как вообще жилось ему душевно? Не знаю. Я видела его все реже.

Занята я в те годы была выше головы: училась, на жизнь зарабатывала (в журнале «Крокодил»), да еще роман «Возвращение» затеяла писать. Выше головы занят был и Вертинский, к тому же часто уезжал. Жизнь разводила нас в разные стороны.

Однажды кто-то из общих знакомых передал мне: Вертинский обижен, сердится — дескать, пропала, исчезла, знать о себе не дает. Меня кольнула совесть: обещала себе непременно позвонить ему, повидаться. Собиралась и missing

Он скончался в Ленинграде в 1957 году. Рассказывали: умер в гостиничном номере, куда перед тем как идти в ресторан с друзьями, зашел переодеться. Верен этот рассказ или нет — не знаю. Знаю одно: скончался скоропостижно, от долгой предсмертной болезни был избавлен.

Умер той легкой смертью, которую Поэт просил у бога, той смертью, о которой все мы будем молить.

МОЯ НЕВЕДОМАЯ ЗЕМЛЯ

Любительские фотографии в альбоме матери: я, облаченная в белый медицинский халат, счастливо улыбаюсь, прислонясь к стволу березы. Лето, зелень. Сад при Институте ортопедии и восстановительной хирургии в Казани... Мы с дядей Иваном Дмитриевичем сидим рядком на диване, фон — настенный ковер. Москва. Комната дядюшки в Гагаринском переулке. Снова я во весь рост, снимали издали, лица почти не видно, зато хорошо виден фон — петергофские фонтаны.

Эти фотографии (их много!) и письма, написанные мною матери в годы нашей семилетней разлуки, позволяют мне ясно вспомнить то далекое время. Мать сохранила не только фотографии и письма, но и открытки, опущенные в

почтовые ящики во время долгого теплушечного странствия из Находки в Казань.

Советское правительство взяло на себя расходы по отправке на родину бывших эмигрантов. Уезжающие (две с половиной тысячи семей) были разделены на пять групп. Первая покинула Шанхай в августе 1947 года. Последняя — 30 ноября. Я уезжала с этой последней группой. Мы ехали пароходом до Находки, а оттуда железной дорогой в глубь страны.

Первое письмо датировано 6 декабря 1947 года.

«Пришли вчера поздно вечером, увидели огоньки. Сейчас утром стоим в бухте, еще не пришвартовались. Красиво и сурово: джеклондоновский вид — свинцово-зеленое море, сопки, покрытые снегом. Плыли хорошо, если не считать двух первых дней: была сильная качка. Почти все женщины и многие мужчины лежали, болея морской болезнью. Похвастаюсь: я, хоть и чувствовала себя скверно, весь тяжелый понедельник была на ногах, даже работала на машинке в салоне парохода, машинка ездила по столу, а я старалась не глядеть в иллюминатор — там то море появлялось, то небо. Я обязалась выпустить стенгазету к пяти вечера вторника и — выпустила! Сама написала туда лишь маленький фельетон, занята была тем, что умоляла работать остальных, собирала разбежавшихся художников... Холодно. Всего 11 градусов мороза, но открытое море, ветер. А вообще, мамочка, все хорошо, у меня светлые надежды на будущее. Ведь я еду в страну, где от энергии, активности и труда человека зависит все!»

«*12 декабря*... Живем в Находке без особых удобств, но прилично. Но рада, что тебя тут нет. Летом здесь должно быть превосходно, а зимой не так уж весело. К морозу привыкла, почти не мерзну. Старикам и детям наша жизнь в бараках все же тяжела. То, что для меня интересное приключение, для тебя было бы нелегким путешествием. Морально чувствую себя прекрасно. Выпустила здесь стенгазету. Верю в социализм. Верю в себя».

В Находке мы непредвиденно задержались — уехали оттуда лишь в новогоднюю ночь 31 декабря. Это объяснялось сильными снегопадами, которые препятствовали движению железнодорожных составов. Мы пережили в Находке денежную реформу, отмену карточек и впервые приняли участие в выборах. Тяжелый багаж, сундуки и ящики огромных размеров (некоторые везли с собой мебель и даже рояли!), стояли на пристани под открытым небом, наши мужчины,

охраняя эти вещи, дежурили круглосуточно, по очереди. Бараки были деревянные, сравнительно светлые, с двухъярусными нарами, в передней печка-плита. Топили ее дровами, и было тепло. Обжились. Расстелили на нарах свои одеяла, стало даже уютно. Непереносимой была лишь уборная — два дощатых промерзших строения, каждое на десяток «персон»... Погода стояла ясная, морозная, утром из всех труб шли розовые дымки. Здешний поселок с рынком находились далеко, бараки стояли в чистом поле, где беспрепятственно гулял ветер с моря, и было радостно открыть обитую войлоком дверь, очутиться в тепле, а на плите кипел чей-то чайник — чай мы пили постоянно.

В Находке нам дали список городов, где местные власти должны были позаботиться о репатриантах, обеспечить их работой и, на первое время, жильем. Все эти города, за исключением Казани, были уральские и сибирские. Мы сами выбирали город, где хотели бы поселиться. Старики, женщины с малыми детьми и те, кто был слаб здоровьем, отправлялись из Находки обычным железнодорожным составом. Остальные ехали в теплушках.

«*14 января 48-го года.* Пишу на ходу поезда. Отправлю письмо из Омска, где мы будем, может быть, завтра утром. Нас в теплушках двадцать человек, плюс вещи. Тяжелый багаж едет в других вагонах. Спим бок о бок на нарах. С погодой везет! Так тепло, что мы с Юрой и Ромой два раза ехали на площадке вагона. Имена у станций зловещие: «Зима», «Тулуп», а температура — семь градусов! А говорят, бывает и 40 и 45! Едим варенец, простоквашу, масло... Денег у нас хватает... Много говорю с местными жителями. Все очень довольны денежной реформой и отменой карточек. Красота вокруг удивительная. Леса. Поля. Деревни, занесенные снегом. У меня чувство, будто все это я уже видела, все мне знакомое, все родное. Не волнуйся обо мне. Каждый день благодарю бога, что я поехала, что я в России».

(Рома, брат моей школьной подруги, знаком был мне с детства. Его семья — беременная жена и теща — уехали из Находки раньше нас, обычным классным вагоном. Рома с тех пор так и живет в Казани, он известный там врач, сейчас отец взрослых детей. С Юрой мы подружились в Шанхае в годы наших «возвращенческих» настроений. В середине пятидесятых годов Юра из Казани переехал в Москву, его ценят как первоклассного переводчика на английский язык. И он тоже отец взрослых детей.)

Были мы молоды, совершенно здоровы, трудности пути не смущали нас, все было интересно — мы впервые видели страну, в которой родились. Воспринимали ее, однако, поразному. Пейзажи напоминали мне картины русских художников; бревенчатые избы, синеющий вдали лес, снежные поля — вызывали литературные ассоциации, я растроганно шептала блоковские строки: «Приюти ты в далях необъятных! Как и жить и плакать без тебя!»

С Юрой дело обстояло иначе. Он, воспитанник тяньцзинского католического колледжа, в то время английский язык знал лучше, чем русский. В Шанхае, где Юра служил в иностранной фирме, кто-то дал ему прочитать «Манифест Коммунистической партии». Отсюда все и пошло. Юра стал читать исключительно марксистскую литературу, это стало его религией. У него был темперамент проповедника и нетерпимость фанатика... Помню, как я была поражена, услыхав от него, что Уинстон Черчилль — дурак. Да. Дурак. Логика была такова: капитализм обречен, мир идет к социализму, вот ход истории, и глупцы те, кто этого не видят. Русской литературы в католическом колледже не «проходили», она Юру миновала, да и вообще его рационалистическому складу искусство было чуждо. Волновавшие меня леса, поля и избы Юру не трогали. Он не в Россию ехал. Он ехал в страну, которая первая из всех стран мира решилась перейти от слов к делу, на практике испробовать великую международную систему — социализм.

А Рома? Он был ироничнее и сдержаннее нас. Его реакции, его впечатления в памяти не удержались.

«Много беседую с местными жителями»,— сообщила я матери. Интересно, что именно я имела в виду? На пути мы встречали лишь замотанных платками баб, выходивших к эшелону с кусками замерзшего молока и кастрюлями вареной картошки. Глядели на нас изумленно: одеты мы были престранно... Летом 1947 года в Шанхае по дешевке распродавалось американское военное обмундирование — полушубки, грубые рыжие полуботинки, брюки защитного цвета, а также зеленые армейские одеяла и полотенца. На многих из нас были удобные в пути, теплые легкие полушубки, внутри мех, сверху брезент, а на спине намалеваны черные несмываемые буквы: U.S.N. (Юнайтед Стейтс Нейви — флот США). Женщины в брюках, невиданная обувь, эти буквы на спинах — было от чего прийти в изумление. Старушка, у которой я покупала однажды молоко (ах, чудесная старушка, морщины, выцветшие голубые глаза, а

под вязаным платком еще и белый!) прошамкала: «Милые ж вы мои! Вы кто ж будете? Не французы?» — «Какие французы? Русские мы, бабушка, русские!» — твердила я, с наслаждением повторяя слово «русские» и едва удерживаясь, чтобы не обнять старушку. «Откуда путь держите?» — «Из Китая».— «Ишь ты! А хлеб белый там есть?» — «Есть, бабушка».— «Чего ж уехали?» — «Но... Но мы в России хотим жить!» — я тут несколько сникла, меркантильность собеседницы огорчила меня — разве хлебом единым? «Так, так»,— неопределенно пробормотала отсталая старушка...

В Свердловске мы стояли пятеро суток, большая часть репатриантов нашей группы там оседала, две или три теплушки, направлявшиеся в Казань, отцепляли, прицепляли к другому составу, перегоняли с одних путей на другие. Утром мы выскакивали из теплушки на паутину рельсов. В этом уральском городе поздно рассветало, лишь взглянув на небо, мы видели — светает, а среди товарных составов темно по-ночному, мы брели в потемках, держась за руки. В темном лесу бродили неизвестные личности, жаждавшие чем-нибудь поживиться у странных приезжих. Нас окликали: «Граждане! Продать ничего не желаете?» Мы желали. В крупные города наш эшелон попадал обычно ночью, до Свердловска городов при дневном свете мы не видели, только деревни, станции, полустанки. А тут, погуляв в первый день по улицам, нам, всем троим, захотелось вкусной еды, музыки и вообще красивой жизни... Вот мы однажды и продали бродившим среди составов личностям свои наручные часы. Юра и Рома сделали это, не дрогнув, а я заколебалась — как же теперь без часов? Покупатель ободрил меня словами: «Ничего, гражданочка, новые будут. В своем отечестве не пропадете!» Очень пришлись мне по душе эти слова, я не раз цитировала их в письмах. Я в своем отечестве. Я не пропаду.

«*22 января 48-го года. Свердловск...* Семнадцатого декабря были отменены карточки, жизнь на глазах становится легче, лучше...» (С чем, интересно знать, я сравнивала? Что я знала о жизни при карточках?)

«Какая должна быть здоровая экономика, чтобы после такой войны так скоро, так ощутимо облегчить жизнь людей! Магазины Свердловска завалены продуктами: сыр, масло, варенье, конфеты, хлеб, мясо... Итак, обилие — это первое, что нас радостно поразило. Второе — истинная свобода и демократия. Мы, репатрианты, полноправные граж-

дане нашей страны и можем свободно разъезжать по всему Советскому Союзу. Мы как все, мама! Не будет больше комплекса неполноценности, который нас мучил в Шанхае, где мы были «граждане без национальности», «белые второго сорта»...»

Однако с самого начала подразумевалось, что мы, приехав в страну, становимся полноправными гражданами, а беспрепятственное передвижение граждан по территории своего отечества не заслуживало, думается, такого восторга и удивления. Дело тут было в том, что мы (во всяком случае Юра и я) не считали себя равными советским гражданам. Ведь мы выросли и сложились в условиях капитализма, а здешние люди воспитаны передовой системой социализма. Значит, нам предстояло много над собой работать, чтобы достигнуть уровня советского человека. И вдруг нам говорят, не дожидаясь, пока мы дорастем: вы, как все, поезжайте куда хотите, живите, где понравится. Ну, правда, было добавлено, что в городах, перечисленных в списке, нас сразу пропишут, дадут общежитие и работу, а в городах иных — прописки, жилья и работы придется добиваться самим, о том, что такое «прописка», мы имели, между прочим, представление самое смутное. Но это пустяки! Главное то, что мы свободны ехать куда хотим, между нами и здешними людьми не делают разницы. Это-то я и называла «свободой и демократией».

О советском человеке у Юры были представления, впрочем, несколько преувеличенные. Юра полагал: украсть этот человек не может. Зачем, скажите, красть в обществе, где нет безработицы, где каждый может честно заработать? Беспокойство репатриантов о своих чемоданах казалось Юре проявлением невоспитанности и политической отсталости... Сам он, помогая во время погрузок и разгрузок, свои вещи оставлял напоследок, бросал как попало, не оглядывался на них, и один чемодан у него таки исчез. Это Юру огорчило, но позиций его не пошатнуло: из каждого правила есть исключения, и не будем забывать о пережитках капитализма в сознании людей... Я, в своем увлечении теорией, так далеко не заходила, за своими вещами приглядывала...

«Третье, от чего я в восторге (писала я матери), это доступность образования, поощрение культуры. Знаешь, даже в небольших селах — прекрасные библиотеки, журналы, все, что хочешь. А уж в Свердловске — трудно описать, как здорово! Мы походили по библиотекам, посидели в читаль-

ном зале. Сколько людей учится! Платить за учение не надо, наоборот, учащимся платят стипендии. Приехав в Казань, я непременно поступлю в институт. Ты так всегда хотела, мама, чтобы у меня было высшее образование. Оно будет у меня!»

Мы долго ехали. До Казани наши теплушки доскрипели, дотряслись лишь в последних числах января. Нас поместили в Дом колхозника, предварительно освободив его от других постояльцев, и выдали безвозмездные ссуды: семейным тысяча рублей, одиночкам — шестьсот. В общежитии было тесно, рядами, как в больнице, стояли койки, но чисто и тепло. Вечером уборщица приносила огромный самовар, ставила на стол, и к этому времени на деревянной лестнице слышались тяжелые хромающие шаги. К нам шел представитель Совета Министров Татарской АССР — товарищ Колесов. Ему было поручено заниматься нашим трудоустройством.

Нелегкое поручение! Столкнулись два мира, две системы. Среди приезжих были люди, ставившие Колесова в тупик. Он переспрашивал, страдальчески морщась: «Кто? Кто? Извините: не понял!» — «Брокер!» — с достоинством отвечал мужчина средних лет. «Как?» — «Ну — брокер! Маклер, что ли, по-вашему. Комиссионер!» — «А что именно... Чем именно вы занимались?» — «Покупал. Продавал. Перепродавал. В общем: крутился!» — «Крутился...— растерянно повторял Колесов.— Куда ж мне вас?» Или: «Имела салон дамских нарядов!» — «Портниха?» — оживлялся Колесов. «Почему портниха? Имела свое дело. А иголки в руках и не держала никогда!»

Врач. Инженер-электрик. Дамский мастер. Слесарь. Часовщик. Маникюрша. Это было понятно, Колесов светлел лицом, тут же, за столом у самовара, писал бумажки, ставил печать. «Завтра пойдете в такую-то больницу, вот адрес, в институт, в парикмахерскую, в часовую мастерскую — вас возьмут на работу!» Но бывало, что радость Колесова длилась недолго. Маникюрша на другой же день швыряла бумажку на стол. «Не приняли?» — «Очень даже радостно приняли, только за эти деньги я работать не буду. Копейки за маникюр платят! Найдите мне другое что-нибудь!»

Колесов замолкал. Сидел понурившись, опершись на палку двумя руками, положив на них подбородок... От друзей-шанхайцев, приехавших в Казань с предыдущей группой, нам с Юрой было известно, что Колесов — старый

большевик, ходит на протезе — потерял ногу в гражданскую войну. Мы Колесова очень уважали. А когда он так сидел, понурившись, жалели и любили... Крупный, седой, с простым русским лицом, небольшими внимательными серыми глазами — Колесов был человеком добрым, тем труднее ему с нами приходилось. Его уже нет в живых. Я всегда вспоминаю о нем тепло...

Юра и я решили, что мы обузой Колесову не будем, сами найдем себе работу. Но где тот участок, на котором мы сможем беззаветно трудиться, принося пользу стране?

Это и было главной темой наших споров во время многосуточного пребывания на верхних нарах теплушки, где невозможно было читать (трясло, подкидывало), а сидеть — лишь согнувшись в три погибели... За мной был десятилетний опыт работы в печати, а летом 1946 года лучшие мои фельетоны и публицистические статьи, публиковавшиеся в шанхайской просоветской газете «Новая жизнь», вышли отдельной книжкой. Но Юре и заикнуться нельзя было о том, что я бы хотела продолжать заниматься журналистикой. Впрочем, я и сама понимала: рано. Это позже, когда я кончу филологический вуз, вникну в советскую жизнь. А пока у меня есть хорошая профессия: стенография — в годы войны в Шанхае я брала уроки у старушки, когда-то стенографистки Государственной думы. И на машинке я печатала с пулеметной скоростью... Однако Юра считал, что нам следует идти работать на завод. Надо изживать привитые капитализмом недостатки, а в здоровом рабочем коллективе процесс изживания пойдет быстрее. Тесное общение с рабочим классом даст нам куда больше любых институтов. Я ловила Юру на противоречии: «Нам? А стране? Ты же твердишь, что сперва о стране, не о себе надо думать! Какую пользу я принесу на заводе, если ничего не умею делать?» — «Научат! Научишься! Я для начала готов хоть кирпичи таскать!»

В теплушке полутьма, единственное крошечное оконце замерзло, говорим мы шепотом, полулежа, я устаю от этого прямолинейного, ригористического мышления, спор надоел, я уже не спорю, я отругиваюсь: «Вот ты и таскай, а я не буду!» Минутами я ненавижу Юру. В его присутствии нельзя пожаловаться на холод, на жажду, на неудобства пути. Такое называется «хныканье». Хнычет, как известно, обыватель, который дальше носа своего не видит, обобщать неспособен, а лица, политически подкованные, должны служить обывателю примером, а не ныть вместе с ним. Да-

же невинные восклицания типа: «Чаю хочется!» — осуждались Юрой. Очень был строг! В Казани он пошел на завод, именно на кирпичный, собираясь таскать кирпичи (слово и дело у этого человека не расходились!), но вмешался Колесов, Юру в рабочие не взяли, а посадили в контору помощником бухгалтера. Позже Юра стал преподавать английский язык в средней школе.

Твердо решив не быть обузой Колесову, я однажды утром взяла свою портативную пишущую машинку и двинулась в путь. План такой: я иду по улице Баумана (главная улица Казани), захожу в учреждения и предлагаю свои услуги в качестве стенографистки-машинистки. Первым на пути моем возник банк. Я потребовала провести меня прямо к директору. Очень удивились, но провели. Директор, моложавый блондин, смотрел на меня во все глаза, пока я втолковывала ему, что знаю стенографию, могу быстро, слепым методом, печатать на машинке и сейчас ему это продемонстрирую. Я поставила машинку на стол для совещаний, проворно сдернула чехол и сказала: «Говорите что-нибудь!» Директор смотрел онемело. Затем дар речи вернулся к нему, он что-то заговорил, я застучала на машинке. Потом произошло следующее. Директор снял телефонную трубку, набрал номер и — радостно: «Вань? Ты? Слушай! Ко мне тут одна пришла... Ну, из этих, из приезжих... На машинке печатает — ты не поверишь: цирк! Говорит, будто знает еще и эту... стенографию. А? Тебе ж нужна была? Вот я и пошлю. Мне-то пока ни к чему, а ты хватай, пользуйся моей добротой, ха-ха!»

Я очутилась в учреждении, именуемом военкоматом. Там меня ждали. Сотрудники столпились в дверях, глядя на демонстрацию быстрого печатания на машинке слепым методом. Думается, они были мне благодарны за этот аттракцион, скрасивший их рабочие будни. Меня хотели тут же оформить, но опомнились, переглянулись. А направление? Я догадалась, что «направлением» называется бумажка с печатью, выдаваемая Колесовым. Обещала принести бумажку завтра.

Я шла по улице Баумана и улыбалась. Бог ты мой, не успела я выйти, как устроилась на работу. И вспомнились мои первые недели в Шанхае, сомкнутый строй серых зданий на набережной, бронзовые львы Гонконг-Шанхайского банка, лестницы, лифты... К директорам меня там не допускали. Отказывал («Машинисток не требуется!») кто-нибудь из мелких служащих. Незадолго до моего отъезда из Хар-

бина «старшая мадам Бринер» (мать моей подруги Ады Бортновской) подарила мне пальто под леопарда, и еще была на мне фетровая коричневая шляпа с зеленым перышком. В Харбине казалось, что я прекрасно экипирована, а в Шанхае под прищуренно холодными взглядами служащих иностранных фирм я ощущала себя дурно одетой, жалкой провинциалкой... После четвертого или пятого отказа я уходила в своем дареном пальто и в шляпе с перышком и, минуя лифт, шла вниз по лестнице, в лифте люди, а лестница пустынна, там я могла не заботиться о выражении своего лица, там могла даже громко всхлипнуть... Строгая обстановка была в иностранных фирмах, шуршат бумаги, стрекочут машинки, на тебя, вошедшую, и глаз никто не поднимет, все заняты... А тут, в Казани, так все славно, так по-домашнему, к стулу никто не пришит, все бросили работу, глядели, как я печатаю... И этот телефонный разговор: «Вань? Ты? Слушай!»...

Вокруг говорят по-русски. Русские буквы вывесок. И полицейские здесь русские или татары (но все равно, свои, свои!), а не аннамиты в шлемах, как на Французской концессии Шанхая, и не чернобородые индусы в чалмах, как на сеттльменте... Впрочем, полицейские называются тут «милиционеры», не забыть бы! Я шла и улыбалась. Я в своем отечестве. И здесь во мне нуждаются. Ведь не успела я выйти... Вечером похвастаюсь Колесову: «А я уже устроилась!»

Но к вечеру я поостыла. Меня терзали сомнения. Работать придется ежедневно с утра до пяти вечера, жалованье триста рублей. Здесь самая дешевая квартирная плата в мире, так. Но мне-то, но нам-то комнату придется снимать, а за снимаемую частным образом комнату просят двести в месяц. За угол — сто. Я уже приценивалась. Хотелось поскорее уйти из общежития, надоело все время быть на людях, дверь бы за собой наконец закрыть! Закроешь тут дверь на триста в месяц! И я не пошла на другой день в военкомат.

Вместо этого отправилась в Институт ортопедии и восстановительной хирургии. От Ромы, получившего работу по медицинской линии, услыхала, что институту требуется стенографистка.

Я сижу в просторном кабинете (три окна, ковер во весь пол), а напротив за большим письменным столом — директор института. Черные с проседью волосы, живые умные глаза, смуглолиц, широкоплеч, крепко скроен, чистейший

подкрахмаленный белый халат — хирург, заслуженный врач Татарской АССР Лазарь Ильич Шулутко. Приятный, низкий интеллигентный голос. Стенографистка нужна позарез, но, увы, такой штатной единицы институт не имеет. Меня могут оформить на должность медицинской сестры. Я ничего этого не понимаю и не пытаюсь вникнуть. Я чувствую доверие к этому человеку, мне нравятся его руки, широкие, смуглые, чисто промытые, с квадратными ногтями, умные, умелые руки. В тот момент я знала лишь, что этот человек — директор института, а о том, что он хирург и заслуженный врач, узнала позже. Всю жизнь я ощущаю уважение и симпатию к людям, которые что-то умеют делать первоклассно. Видимо, это я почувствовала в своем собеседнике, и этим объяснялось мое к нему доверие... А он тем временем говорил, что я буду получать в месяц триста сорок рублей, на которые мне не прожить. «Но вы будете заняты у нас немного, не чаще раза в неделю, и найдете работу по совместительству. И вас будут приглашать записывать совещания в другие учреждения за сдельную оплату. В Казани стенографистки дефицитны — вы будете хорошо зарабатывать!»

Все так и случилось. Вскоре я устроилась по совместительству в Казанскую консерваторию, подвернулось и много другой работы — я записывала обсуждение спектаклей в казанском ВТО, лекции в Медицинском институте, совещания в Ветеринарном институте. Я была нарасхват. Зарабатывала больше тысячи рублей в месяц.

Но пришло это не сразу. Первые два-три месяца, кроме скромной зарплаты медицинской сестры, не было ничего, были зато вещи, охотно принимаемые на продажу комиссионным магазином. Американский полушубок, одеяло и еще разные вещи, без которых я могла обойтись, помогли мне перенести первые месяцы.

Найти комнату оказалось куда труднее, чем работу... Кончилось тем, что я сняла угол за сто рублей в месяц.

«*19 февраля 1948 года.* У меня так много радостных впечатлений, мамочка, что просто не знаю, с чего начать. Атмосфера города такая умная, культурная, все учатся, в театрах полно, в читальных залах полно! Люди милые, внимательные. В моем Институте ортопедии для сотрудников дают прекрасные обеды, значит, не нужно возиться дома с готовкой. Все ко мне очень хорошо относятся. Я уже помогала редактировать здешнюю стенгазету, в следующий номер, освоившись, что-нибудь напишу сама... Нашла комна-

ту. Она, правда, проходная, но я отгорожусь занавеской, и будет полкомнаты. Зато люди, у которых я буду жить, очень милые. Бабушка-старушка, дочь-вдова и 12-летний мальчик Женя. Простые, славные люди. Мне тут будет хорошо».

Эти простые, славные люди занимали половину деревянного домика, каких в те годы много было в Казани. Удобств, конечно, никаких. Кухня и две комнаты. В тупиковой помещались мать с сыном, в проходной — мы с бабкой. Бабка спала на сундуке, справа от входа, у окна, я же, отделившись занавеской, жила в левой, безоконной части комнаты. Там, вдоль стены, стояла походная, из Шанхая привезенная кровать, хозяйский стол и стул. Одежда висела на гвоздях, вбитых в стену, белье лежало в чемодане, а сундук, с основным моим имуществом, оставался на кухне.

Бабка была маленькая, сухонькая, подвижная и бойкая на язык старуха, работавшая где-то уборщицей. Дочь ее Дуся (вдова или мать-одиночка, я так и не выяснила) работала «плановиком», слово для меня непонятное. Понятно было лишь то, что Дуся занималась конторским трудом, что удивляло меня. Женщина она была темная, даже читала с запинками, книг в жилье не водилось, за исключением Жениных истрепанных, чернилами залитых учебников.

В письме от начала марта я отзывалась о моих хозяйках уже куда сдержаннее: «Работой я довольна, а вот с бытом скверно. Уж очень шумно. Мать и дочь часто пререкаются, и обе кричат на Женю (малоприятный мальчик!), все это происходит под радио, которое я умолила их выключать хотя бы по вечерам, когда они спать ложатся. Читать, думать, писать очень трудно».

Мать и дочь начинали «пререкаться» (как я мягко выразилась) с шести утра — вставали тут рано. Их голоса и радио будили меня. Дочь называла мать «хрычовкой» и «старой каргой», старуха живо парировала удары, применяя слова, для печати не всегда пригодные. Бывало, что обе, соединив усилия, ругали не друг друга, а Женю. За двойку. За дыру в штанах. За потерянную варежку. Слышались уже не только голоса, но и рев, и глухие удары — Женю били. Все это шло на фоне бодрых звуков, доносящихся из черной тарелки на стене: утренняя зарядка, веселая музычка...

По вечерам тоже кричали. Мать и дочь вообще не умели

разговаривать нормальными голосами. К счастью, спать укладывались рано.

Февраль. На улице мороз. Черная ночь за маленьким замерзшим окном. Кряхтит, бормочет старуха на своем сундуке, но наконец затихла. Я вынимаю вилку из розетки радио. Я выговорила себе это право с тем, чтобы в полночь, когда передачи кончаются, снова вилку втыкать. Без меня тут тарелка говорила, пела, играла всегда, под это они засыпали, странные люди! Тишина наконец. Господи. Тишина. Мое недолгое счастливое время. Я почти счастлива в эти часы. После бараков Находки, после теплушечных нар, после тесноты общежития — свой угол, отделенный занавеской. Моя кровать, моя настольная лампа, уютно освещающая стол, книги, фотографию мамы в деревянной рамке. Я ложусь спать в полночь, в моем распоряжении два часа тишины, как бы умнее истратить это богатство, чтобы ни одна из ста двадцати минут не пропала даром? Запишу впечатления дня. Потом почитаю.

Бывало, что летели прахом и эти два часа. Кто-то ломает входную дверь. Бабка: «Господи Иисусе Христе!» Дребезжит оконное стекло, выбить его, что ли, хотят? Дуся: «Ой? Что это?» Голос не испуганный, скорее кокетливый. Дуся-то знает, кто ломится в ее жилье. «Мама! Отвори!» — «Сама отворяй, бесстыжая!» Отворяет все же бабка: ей проще. Она спит, почти не раздеваясь, укрывшись полушубком. Тяжелые мужские шаги.

Дусиного возлюбленного звали Федя. Являлся он, к счастью, редко. А лицо его я видела всего один раз за те пять месяцев, что провела в этом углу. Идучи однажды через комнату, Федя споткнулся (был нетрезв) и, удерживая равновесие, вцепился в мою занавеску. Веревка оборвалась, Федя грохнулся и, сидя на полу, уставился на открывшуюся его взору картину. Необычность моего одеяния (китайский стеганый халат), книги, лампа, раскрытая пишущая машинка — поразили Федю до остолбенения. Дуся и бабка помогали ему подняться, а он бормотал, тыкая в мою сторону пальцем. «Чё это, а? Чё это?»

Иногда, вернувшись «домой», я заставала Дусю то в моей блузке, то в моем свитере, то в моей юбке. «А чего тут такого? Не украла ж я! Вот вам ваша кофта целая и нигде ни пятнышка! Разок надела, ничего от нее не убыло!» Не могла же я сказать Дусе, что мне неприятно надевать после нее блузку. Брезгую? Оскорбительно! И я лишь бормотала, что нехорошо брать вещи без спросу.

Но я сама была повинна в этой бесцеремонности.

По сравнению с некоторыми шанхайцами, привезшими с собою много носильных вещей, мебель и рояли, я была бедна. Но по сравнению с Дусей и бабкой — богата до неприличия. Мне было стыдно своего богатства. Я не делила со здешними людьми трудностей, выпавших на долю страны, не перенесла страшной, столько жизней унесшей, всех разорившей войны. Я не запирала сундук. И потому что опасалась обидеть замком хозяек, и потому что ощущала свою вину — не делила, не переносила. Первый месяц, что я тут жила, от меня только и слышали: «Нет мыла? Возьмите мое! Мне в Шанхае говорили, что тут трудности с мылом, я много привезла!», «Нет сахара? У меня есть!», «Пусть Женя наденет мои варежки, у меня две пары!»

Сначала брать стеснялись. Потом стесняться перестали. Вскоре в обращении Дуси со мной я ощутила снисходительность, чтобы не сказать фамильярность, говорили со мной добродушно, но — свысока... (Спустя двенадцать лет, в августе 1960 года, в глухой деревне под Костромой, куда мой муж поехал на охоту, а я из любопытства с ним, я видела, что тамошние жители точно так же обходились с местным дурачком Пашей — добродушно, но свысока...) Вот Дуся и стала брать мои вещи, не считая нужным ни спрашивать, ни извиняться. А чего извиняться перед юродивой, у которой все нараспашку, которая сама лезет все предлагать, и будто постоянно в чем-то оправдывается? Уже стоило мне отвернуться, как мальчик Женя поспешно хватал и заглатывал бутерброд, приготовленный мною для утреннего чая. Я беспомощно начинала: «Но, Женя! Но послушай!» Меня пренебрежительно обрывала Дуся: «Неуж для ребенка вам куска хлеба жалко?»

Хуже было с бабкой. В перебранки матери и дочери я не вмешивалась, но однажды, когда Дуся заорала: «И когда ты сдохнешь, старая карга?», не стерпела, кинулась защищать старуху, она вам мать, она старый человек, и как не стыдно? Вместо ответа Дуся быстрым движением извлекла из кармана старухиного полушубка какие-то вещи: с ужасом я узнала свои чулки, два маленьких полотенца и шелковую комбинацию. «Видели? Мать! Воровка она, и больше она никто!» Старуха, на секунду растерявшаяся, опомнилась и с живостью обозвала дочь женщиной легкого поведения, выразив это понятие односложно и энергично. Дуся не осталась в долгу. Я же крепко задумалась.

После того как старуха спустила на рынке мою лучшую

юбку, я стала жить тут как на вокзале. Уходя в институт, снимала висящую на гвоздях одежду, прятала в сундук, сундук запирала. По дороге на работу покупала бутылку молока и булочку — в жилище своем я перестала есть, возвращалась туда лишь вечером. Я не обязана была являться в институт ежедневно, но являлась, а куда мне было деться? В научной библиотеке у меня был свой стол, там я и сидела. После окончания рабочего дня шла к своим друзьям в гостиницу «Казань».

В октябре 1947 года с третьей группой репатриантов из Шанхая в Казань в полном составе приехал джаз-оркестр. Сколько-то музыкантов было присоединено к оркестрам ресторанов гостиниц «Казань» и «Татарстан», трое или четверо влились в эстрадный ансамбль кинотеатра, а еще несколько человек стали играть в оркестре Театра оперы и балета.

Не на это рассчитывали приезжие. Они, знавшие друг друга с юных лет, годами игравшие вместе сначала на школьных и студенческих вечерах в Харбине, затем в ночных клубах Шанхая и Циндао, надеялись так и остаться единым оркестром. Но городу Казани некуда было деть джаз из девятнадцати человек. К тому же шла зима 1947/48 года, и такие западные затеи, как джаз, не были нужны народу. Позже джаз народу понадобился, но это произошло спустя много лет, когда оркестр почти распался, уцелело лишь его ядро из шести человек. Ядро обросло местными, здешними музыкантами, и ныне это один из популярнейших в Советском Союзе эстрадных оркестров, гастролирующий по стране и за рубежом.

Душа оркестра, его создатель и дирижер — Олег, брат его, саксофонист Игорь, и трубач по имени Виталий были моими близкими друзьями. Мы немного знали друг друга по Харбину, но сблизились, подружились в Шанхае в годы войны.

Олег, Игорь и Виталий, а также еще несколько музыкантов джаза, были активными членами «Союза возвращенцев». У «Союза» был свой печатный орган: десятидневная газета «Родина». Музыканты поддерживали газету и деньгами, и трудом. Они в нее писали и ее печатали, качая ногой, по очереди, педаль примитивнейшей печатной машины «американки». Не на их ли деньги и была эта «американка» куплена? Без музыкантов не было бы газеты «Родина». Но

ее не было бы и без Николая Петереца, журналиста-профессионала. Он был редактором. Он писал основные статьи. Он и жил в том жалком помещении, где находилась редакция и типография газеты. До возвращения на родину Петерец не дожил. Умер во время войны.

* * *

Мне придется из Казани вернуться на время в Шанхай, рассказать о Петереце, иначе многое в нас, тогдашних, не будет понятно читателю...

В «Союзе возвращенцев» я не состояла, познакомилась с Петерецом лишь летом 1941 года, когда «Родина» превратилась в ежедневную газету «Новая жизнь».

Петерец редактировал ее до смерти. Он умер рано, не дожив до сорока лет. Сведения мои о его молодости скудны. Насколько мне известно, в двадцатые годы он сугубо отрицательно относился к советской власти, а в тридцатые годы стал ее любить. В молодости пописывал стихи. Образованный, начитанный, памятливый человек. Слеплен из того теста, из какого лепят фанатиков.

Внешне очень непривлекателен: узкоплеч, хил, колченог, и со зрением неладно. Глаза его косили и казались странными из-за сильно увеличивающих стекол очков. Копна серо-коричневых волос, худые, желтые от курева, с длинными ногтями пальцы, мятые штаны с мешками на коленях, грязные, обтрепанные воротнички и обшлага... В плохих романах такой наружностью обладают персонажи отрицательные. А этот был вполне положителен: и добр, и честен, и образован. Но — фанатик. Всегда им владела «одна, но пламенная страсть»!

Видимо, в начале тридцатых годов Петерец из Харбина переезжает в Шанхай и работает там в газете, которую я условно назову «Шанхайские новости», а владельцу дам вымышленную фамилию Аверкин. От других эмигрантских изданий газета «Шанхайские новости» отличалась тем, что никаких выпадов против СССР не допускала. Аверкин был журналистом опытным, вкусы читателей знал и сумел сделать свою газету популярной. И дельцом он был опытным: сотрудников эксплуатировал нещадно. Петерец там и писал, и редактировал, а получал ровно столько, чтобы не умереть с голоду. Рассказывали: Аверкин любил прогуливаться по редакции в халате (жил в том же помещении), а летом — в одних трусах, обмахивался веером, назы-

вал сотрудников «мои рабы» и приговаривал: «Куда б вы делись без меня? С голоду бы подохли! Старайтесь, а то выгоню!» Черты самодурства не были чужды Аверкину.

А Петерец? Сидел, вероятно не поднимая головы, в худых желтых пальцах сигарета, и пальцы эти дрожали от ненависти, от сознания бессилия. Деться некуда. Ничего не умел Петерец, кроме журналистской работы, иностранных языков не знал, о физическом труде и речи быть не могло — хил, колченог. Только и оставалось, что стараться для Аверкина.

Еще в сороковом году Петерец поражал всех, кто читал газету «Родина», своим знанием трудов классиков марксизма, которых цитировал беспрестанно. Видимо, эту работу по освоению трудов классиков марксизма Петерец начал в те годы, когда работал на Аверкина.

Я вижу, как этот человек возвращается ночью в свой сарай (это непременно был либо сарай, либо бывший гараж, либо еще что-нибудь, едва для жилья приспособленное!), греет на спиртовке воду, заваривает крепчайший кофе, курит, читает, запустив пальцы в нечесаную копну волос. Пыльная без абажура лампочка освещает грязный пол, паутину в углах, железную койку с набросанным на нее тряпьем. А Петерец читает, изредка поднимая голову, устремляя невидящий взор на стену в пятнах сырости, и его бедные близорукие косящие глаза наполняются слезами чистейшего восторга. Теперь он знал, что капитализм обречен, должен исчезнуть, а с ним исчезнут эксплуататоры, и крупные акулы, и мелкие гады типа Аверкина. И главное знал Петерец: социализм не утопия, не мечта человечества, а реальность. Социализм есть, существует, победил! Отныне все помыслы бедного Петереца были устремлены к стране победившего социализма, к земле обетованной. Впрочем, нет. Петерец уже не был бедным, хотя какое-то время еще работал на Аверкина. Петерец был богат. Душа его, жаждавшая веры, веру обрела.

«Союзы возвращения на родину» стали возникать в местах эмигрантских расселений после опубликования Конституции 1936 года. Таких, как Петерец, изучающих марксизм и стремившихся именно в страну победившего социализма, было, полагаю, немного. Люди просто хотели домой. Давно хотели, но — боялись. И вот появилась Конституция, где ясно сказано, что всем гражданам СССР даны равные права, лишенцев больше нет, пролетариат простил и бывших собственников, и даже тех, кто против него сражался...

Появление Конституции выбило почву из-под ног эмиграции, восклицал Петерец в газете «Родина», а позже, уже в «Новой жизни», утверждал, что героизм, проявленный советскими людьми в их борьбе против немецких фашистов,— лучшее доказательство правильности расширения демократических свобод, дарованных Конституцией.

Я бы, разумеется, не вспомнила, что именно восклицал и что именно утверждал Петерец, не сохранись у меня посмертного сборника его статей, изданного в Шанхае в 1946 году. Сейчас, просматривая этот сборник, я понимаю, почему в свое время я со скукой читала Петереца, с трудом продираясь сквозь нагромождение бесцветных газетных фраз, а продравшись, облегченно вздыхала — какие-то мысли автора уловить удалось. Теперь я вижу: этот человек с его одержимостью был мне органически чужд.

В передовой статье одного из первых номеров «Родины» эта газета обещала читателю помочь понять всю правду об СССР. Петерец и друзья его, увезенные из России в детстве, никогда в СССР не жившие, полагали, что они эту правду знают. Петерец утверждал, что разговоры о необходимости личного присутствия в стране продиктованы невежеством и ленью — нежеланием вдуматься, вникнуть, вчитаться. Надо изучать классиков марксизма и регулярно знакомиться с советской печатью. Каждому слову этой печати Петерец и его единомышленники верили свято. Иностранной и эмигрантской — не верили. Эта печать, говорили они, лжет и клевещет, ибо многих социализм пугает, а отсюда — ненависть к стране победившего социализма.

В общество этих энтузиастов я попала летом 1941 года, а первая статья моя появилась на страницах «Новой жизни» в январе следующего года. Начиналась она так:

«Наше детство прошло в том, что мы — бежали, и глагол «бежать» был одним из первых слов, услышанных нами в этом мире... Мы играли на железнодорожных насыпях с другими детьми, которые тоже бежали. Мы лепили снежную бабу в каком-то сибирском городе. Омск? Иркутск? Мы нигде не задерживались долго. Взрослые повторяли знакомые слова: «Они близко. Надо бежать!» Кто были эти «они»? Нас тогда это мало интересовало...»

В статье я поминала няню с ее неизменным «И куда вы меня, барыня, завезли?», рассказывала о том, как мы, молодые эмигранты, плакали на советских фильмах... «Мы видели на экране здоровые, веселые лица людей нашего возраста, нашего поколения и горестно недоумевали, почему

мы не там, не с ними, а сидим здесь и печатаем английские письма на английских машинках... Мы начали протестовать. Мы говорили: «Россия есть!» — «Нет, нет, нет!» — страстно кричали представители старшего поколения, и эта страстность казалась нам подозрительной. Мы думали: «Они не могут простить большевикам своей утерянной привольной жизни, не могут забыть, что в гражданской войне их разбили, не могут примириться с тем, что «там» обходятся без них... И все мы были похожи на Катю из чеховской «Скучной истории», а старшее поколение на старого профессора. Мы говорили им: «Вот вы прожили долгую жизнь. Вы страдали. Вы много видели. Скажите ж нам, что нам делать, как жить?» — «Право, Катя, не знаю»,— смущенно отвечал старый профессор. И тогда мы отошли от них и пошли своей дорогой».

Мать и сестра снимали тогда комнату в пансионе некой княгини Ухтомской. Я жила отдельно. О том, что я собралась идти «своей дорогой», я мать не предуведомила, появление статьи было для нее неожиданностью... В пансионе Ухтомской жили в основном люди аристократического происхождения, были и титулованные — графиня Нессельроде, барон и баронесса Меллер-Закомельские, причем баронесса была урожденной герцогиней Лейхтенбергской. Баронесса занималась вязаньем, графиня гадала на картах и давала уроки французского языка. Князь Ухтомский служил во французском консульстве на какой-то мелкой должности, боюсь, не швейцаром ли? Барон... Не помню уж, что делал барон. Помню, что все они нуждались, с трудом платили за пансион, громкие имена не вязались с внешностью этих людей, плохо одетых и жалких. Вежливые, тихие, уснащавшие свою речь французскими фразами — все они преображались и сверкали глазами, стоило при них произнести слово «большевик»... Мать сказала мне: «Я в твои дела не вмешиваюсь, но на все, знаешь ли, есть манера! Не худо было бы меня предупредить. Вечером в пансионе все на меня набрасываются, а я даже не знаю, о чем идет речь!»

Вскоре матери и сестре пришлось из пансиона переехать, их жизнь там сделалась невыносимой. В Шанхае кипели страсти, с первого дня войны эмигранты разделились на «оборонцев» и «пораженцев». Вторая моя статья называлась «В защиту оборонцев!» и кончалась словами Лермонтова: «...насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом!»

То было началом моей громкой деятельности в «Новой

жизни», куда я, вплоть до отъезда в СССР, писала фельетоны и публицистические статьи... Однажды молодой человек, который ухаживал за сестрой Ольгой, пригласил ее ужинать в «Офицерское собрание». Поужинать им не удалось. Молодого человека отозвали в сторонку и попросили удалиться, выразив удивление, что он позволил себе привести в эти белые стены «сестру коммунистки»... Короче говоря, матери и сестре солоно приходилось из-за меня. К счастью, мать в то время от эмигрантских учреждений не зависела, преподавала историю в английской школе «Томас Хэнбери скул». А сестра в октябре 1942 года уехала в Индокитай.

А какая я была «коммунистка»? Понятия не имела о том, что означает это слово, равно как и слово «социализм». Эта серость, эта отсталость огорчали Петереца и его друзей. Я все порывалась называть СССР — Россией, меня одергивали, объясняли, почему это неверно, и наконец дружно взялись просвещать. Почему-то первой книгой, которую дали мне, была работа Плеханова: «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». Я не поняла там ничего, начиная со слова «монистический». Дали что-то другое, попроще, не помню уж — что именно. Зато очень помню, какое впечатление произвел на меня рассказ о Девятом января 1905 года. Плакала, читая. Они идут к Зимнему, безоружные, полные доверия к царю, а их встречают огнем! Но как случилось, что я узнаю об этом впервые на третьем десятке лет своей жизни? Ведь в школе мы проходили историю России! Выходит, умалчивали! Выходит, лгали!

То, что не умалчивали, не лгали, а просто не фиксировали на этой истории нашего отроческого внимания, не приходило мне в голову. И того я не знала тогда, что в памяти человека застревает лишь то, к чему его интерес уже пробужден, что ему самому хочется понять...

Я была крайне взволнована. Царь-то, оказывается, был слаб, труслив, ничтожен, правительство его продажно, без революции обойтись нельзя было, революция в этих условиях — дело праведное! Кого-то надо было упрекать в том, что я столь долго пребывала в заблуждении и невежестве. Кого? Мать, конечно!

Я врывалась к ней вечером, заставала ее за грудой ученических тетрадей и — с порога: «Тебе известно, что происходило 9 января 1905 года?» Мать поднимала усталые близорукие глаза. «О чем ты? А-а. Разумеется, известно.

Дальше что?» — «А почему я этого не знала?» — «Неужели? (В голосе легкая насмешка.) Боюсь, ты и сейчас многого не знаешь. Разденься, сядь, успокойся. Чаю хочешь?»

(Я думала: вылитый профессор из «Скучной истории»! «Давай, Катя, чай пить». Ответить им нечего, вот они и пристают с чаем! Завезли! Обманули!)

«Но ты признаешь, что революция была необходима, что без нее Россия обойтись не могла?»

Не помню уж, что отвечала мне мать. Помню лишь, что до спора со мной, как всегда, не снисходила. Мой вспыхнувший интерес к политике рассматривала как очередное увлечение.

А я уже читала Ленина (был такой красненький двухтомник избранных сочинений, продававшийся в магазине советской книги Шанхая), открывала для себя бездну нового, с изумлением узнала, что революций было две, одна «буржуазная», другая «социалистическая», небось с буржуазной такие, как моя мать и многие здешние эмигранты, еще примирились бы, а вот социалистическую встретили в штыки!

Мои новые друзья во главе с Петерецем были довольны: я делала успехи. Еще недавно я смотрела на вещи примитивно: Германия напала на Россию, я русская, я с теми, кто хочет победы России. Поэтому-то и пришла в советскую газету. Стихийный патриотизм, которым нечего гордиться, ибо он нет-нет да и толкнет человека в сторону великодержавного шовинизма. Туда меня он и толкал подчас, и я, с помощью моих наставников, его преодолевала, всеми силами стремясь любить страну победившего социализма...

К зиме 1947/48 года, ко дню своего отъезда из Шанхая, я была уже достаточно подкована политически, хотя далеко не так, как мои друзья музыканты, верные ученики и последователи Петереца. Поминали его и цитировали постоянно и всё огорчались, что он не дожил до счастливых дней возвращения.

* * *

Музыканты поселились в общежитии актеров оперы, в здании гостиницы «Казань». Ход через двор, захламленный и грязный, затем служебная «черная» лестница, а наверху (третий, кажется, этаж) широкий коридор. С одной стороны окна, с другой — двери, прямо — общая уборная. Жили тесно. Олег и Игорь делили комнату со своей матерью. Ви-

талий — с братом-скрипачом, женой его и двумя детьми. Была ли тут кухня или все стряпали на керосинках у себя — не помню. По сравнению с тем, что имела я, условия тут были прекрасные: водопровод, центральное отопление. Душевых и ванн не было, ходили в баню. Я тогда впервые познакомилась с банями, понравились они мне позже, в Москве, «Сандуновские», с бассейном, а в Казани тех лет терялись часы на очереди перед баней, внутри же — теснота, духота, запахи скверного мыла, размокших мочалок. В гостиницу я являлась ежедневно, часам к пяти.

Игоря уже не было, он играл в кино, уходил к первому сеансу. Мы с Олегом и Виталием сидели в просторной, обычно пустой гостиной, комната отдыха постояльцев — столы, покрытые чем-то зеленым, журналы, газеты, настольные игры. Мы делились впечатлениями дня, читали газеты, обсуждали прочитанное — наш долг быть в курсе жизни страны. Если мы чего-то не понимали, нам немедленно все разъяснял Виталий. Этот был слеплен из того же материала, что Юра, ригористический, рациональный ум, искусству чуждый. Еще тогда я удивлялась несовместимости Виталия с музыкой и права оказалась, вскоре он музыку бросил («Рабочие нужны стране больше, чем музыканты!»), пошел в электросварщики, совмещал работу с учением в институте и сейчас инженер, живет в Свердловске. Олег все огорчался, что народу не нужен джаз, не мог понять, чем дурна музыка джаза, родившаяся из негритянского фольклора. Виталий и это умел объяснить. Он не был так резок и нетерпим, как Юра, собеседника старался убедить, а если тот уж очень упорствовал — посмеивался снисходительно.

Мы стремились видеть хорошие стороны во всем, с чем сталкивались. Своих хозяек, свой быт я описывала в тонах юмористических, об украденной юбке упомянула мимоходом (не мещанка я, чтобы придавать значение юбкам!), про себя же, однако, юбку очень оплакивала. Меня не то что жалели, но признавали: с жильем не повезло, надо искать другое. А пока терпеть, не хныкать. Страна еще не оправилась после войны. Всем живется нелегко, а нам, приезжим, чем-то и труднее, чем здешним жителям, но это только справедливо. Ничего, ничего. Мы дома, в своем отечестве, выбьемся, надо верить в страну, верить в себя, учиться, работать, брать пример с советских людей.

В те первые трудные месяцы казанской жизни — что бы я делала без друзей своих? Общение с ними вселяло бодрость, не допускало до расслабляющей жалости к себе...

Мы пили вечерний чай в буфете гостиницы, а затем я провожала Олега и Виталия до оперного театра.

На улице мороз. В Шанхае зимы были теплые, сырые, мы радуемся морозу, сухому и трескучему, это прекрасно, это куда полезнее здоровью, чем сырость! Зимой в Шанхае дожди, а тут снег, много снега... И я вспоминаю: на днях, в очереди, услыхала, как кто-то радовался обилию снега, снежная зима нужна для хорошего урожая. А я никогда прежде не знала о влиянии снега на урожай! И вообще не интересовалась тем, что происходит на полях Китая — урожай ли, недород ли... Там я была пришлой, чужой, жизнь страны, ее беды, ее войны, ее трауры и праздники — задевали, разумеется, и нас, жителей случайных и временных, задевали рикошетом, эдакое похмелье в чужом пиру. А тут все касается меня непосредственно. Моя страна. Мои соотечественники, с которыми я отныне все делю. И сознание связанности моей судьбы с судьбами этих женщин в платках, мужчин в полушубках и валенках — тронуло, умилило... (Годы спустя, то на эскалаторе московского метро, то в большой очереди — а вокруг русский говор — меня внезапно обжигало сознание моей принадлежности стране, общей судьбы с людьми, ее населяющими, и каждый раз умиляло, до увлажнения глаз...) Той казанской зимой я впервые узнала это чувство, мне хочется рассказать о нем друзьям, они понимают меня, они испытывали нечто похожее...

Идем через сквер. Тут каток, веселые голоса, даже музыка — очень бодрит! Выходим на улицу Куйбышева, поднимаемся к Большой Галактионовской — тут мой институт, а неподалеку Театр оперы и балета... Смотрите! Сколько мы тут ни ходим, а ни разу не встретили нищего. В Шанхае же на каждом углу — калеки, лохмотья, протянутые руки... Смотрите! Все встречные одеты пусть некрасиво, но тепло, оборванцев тут нет!.. Ярко освещенный подъезд театра. Прощаемся. Музыканты с черными футлярами под мышкой исчезают за дверью, я иду обратно на улицу Куйбышева, «домой». Горят редкие уличные фонари, встречных мало, улицы пустоваты, а не поздно, восьмой час вечера, как тихо в этом городе, как непохоже на город...

Наступают самые трудные часы моей казанской жизни, часы вечернего одиночества. Иду через двор по тропинке, протоптанной в снегу, стучу в бабкино замерзшее окно. Ничего, ничего, ничего. Все-таки свой угол. Моя кровать, книги, машинка. Печка топлена. Тепло, даже — уютно. Зажжем

настольную лампу. Ничего, ничего. На кого они кричат: друг на друга или на Женю? Не вслушиваться. Попробовать читать. Скоро они откричатся, лягут, выключу радио, буду писать. Счастье, что стук машинки спать им не мешает, впрочем, им ведь и радио не мешало. Ничего, ничего. Я тверда. Дух мой бодр.

«Быт мой нелегок (пишу я матери), но внутренне мне легко. Потому что я знаю: человеку, умеющему и желающему работать, открыты все пути. Тут много тяжелого — послевоенные трудности. Но это преодолимо. Сколько мне надо учиться! Я должна постичь как следует марксизм-ленинизм, без этого не станешь советским журналистом, и хорошим человеком тоже не станешь... Читаю «Былое и думы» Герцена. Потрясающая книга! Многое мне было бы понятнее, если б я раньше читала ее!»

В другом письме я требую, чтобы мать регулярно покупала «Литературную газету» («...там много интересного, много умного и правильного!») и почему-то набрасываюсь на Андре Моруа: «...буржуазная мелкотравчатая поверхностная культура, песок в глаза среднему интеллигенту. Его «биографии» это несерьезные анекдоты о великих людях, помесь исторических фактов с бульварной литературой... Так спадают с моих глаз эти покровы буржуазной культуры, гниющей культуры, мама! У нас тут так: если знание — то знание истинное, никаких красивых фраз для прикрытия своего невежества!.. Чувствую, как умнею. Грущу лишь о тебе, о том, что Гуля наша — иностранка, о том, что пришлось разлучиться...»

Ответы матери на мои письма не сохранились — это она всё хранила, я же норовила все выбрасывать. Она писала о своей жизни, о друзьях, в обсуждение Герцена и «Литгазеты» не вдавалась, игнорировала. Лишь однажды не стерпела, осадила меня — это письмо я хорошо помню! Андре Моруа мать защищать не стала, она просто удивилась развязности моих суждений. «Уверена ли ты, что умнеешь? У меня этого впечатления не возникло. И не находишь ли ты, что уже время остепениться, поменьше восклицать, побольше размышлять? Желаю тебе трезвости, ты не девочка».

Да уж какая девочка! И я, и друзья мои вступили в четвертый десяток. Юре, самому из нас младшему, скоро должно было стукнуть тридцать. За нашими плечами жизненный опыт, включая сюда неудачные романы, несложившиеся

браки и разводы. Прожито почти полжизни! Свежесть наших восприятий не возрастом объяснялась, а биографией.

Письмо матери задело меня, потому и запомнилось. Утешалась я тем, что мать сама продукт «буржуазной культуры», к тому же — человек пожилой. Глупо было затевать с нею этот разговор. У меня есть другие собеседники, готовые осуждать Андре Моруа... Подозреваю, что с произведениями этого писателя музыканты знакомы не были, но это не помешало бы им возмущаться — достаточно и того, что он представитель «буржуазной культуры». Мы были тогда такие отважные, такие смельчаки, очертя голову кидались рассуждать о чем угодно, брались с чужих слов и обвинять, и оправдывать, и клеймить, и восторгаться...

Да, письмо задело меня, ибо я ощущала справедливость материнских слов. Но ругала себя лишь за одно: за характер. Идиотский нрав! Вечно лезу проповедовать, вечно стремлюсь навязать другому то, во что верю сама. Пора научиться сдержанности.

Самобичевание не помешало мне, однако, возобновить проповеди в письме к сестре, в Париж... Ее муж, недавно демобилизованный морской офицер, в те годы и работал, и учился, жили они бедно, но той зимой стало им легче, и сестра радостно сообщала, что они, впервые за много лет, собираются отдохнуть в Ницце, на Лазурном берегу.

Париж. Ницца. Лазурный берег. Как «громы медные» прозвучали в ушах моих эти слова той казанской зимой, в том домишке, в том углу у занавески. Завидовала ли я сестре, которая видит Париж и скоро увидит Ниццу? Вероятно — да, хотя и себе в этом не призналась бы. Я сама выбрала свой путь, для меня он единственный, другого не могло быть, эта вера держала меня и, добавлю, не покинула до сегодня. И в своем ватном халате, под бабкин храп я вставляла в машинку новый лист сквернейшей бумаги оберточного типа, телесного цвета, с неровно обрезанными краями,— бумагу выдавали в институте... Того письма нет, сестра ведь тоже все выбрасывала, но я помню его, из-за Ниццы, вероятно, и помню... Я радовалась за Ольгу, это прекрасно — повидать Лазурный берег, но не надо забывать о тех, у кого этой возможности нет. Ссылаясь на заметки нашей печати, я информировала сестру о положении французского рабочего класса и умоляла ее не «обуржуазиться»...

Но сохранилось письмо, отправленное мною в те же дни Катерине Ивановне Корнаковой. Я послала его на адрес матери, а она, перед тем как передать, сняла копию.

Корнакову я видела за несколько дней до моего отъезда: Бринеры устроили мне прощальный ужин, пригласив мою мать, Аду, еще каких-то друзей. На людях, на шуму, в присутствии Бориса Юльевича, Корнакова казалась веселой, спокойной, а в передней, прощаясь, шепнула мне: «Зайдите еще раз утром, как сможете, ладно?» Я обещала. И не зашла. Ясно видела, как все будет: халат, четвертинка и — слезы. Нечто подобное было за неделю до прощального ужина — я забежала к Катерине Ивановне на минутку, а просидела чуть не два часа. Разговорились за четвертинкой, почти как встарь, но от выражения ее глаз щемило сердце. И вспоминались мне тогда слова Цветаевой: «Русской ржи от меня поклон, ниве, где баба застится...» Корнакова поклонов не передавала и вообще больше слушала, чем сама говорила, время от времени повторяя: «Только бы вам в Москву попасть, Наталья, в Москву бы!» А в глазах — загнанность, безнадежность, тоска... Несмотря на уйму предотъездных дел, я могла бы выбрать часок, чтобы забежать к ней,— но не забежала. Себя щадила. Рядом была мать, которую страшил мой отъезд,— как я смеялась над этими страхами! — мать, изо всех сил старавшаяся быть такой, как всегда, чтобы никаких жалких слов, чтоб ни слезинки, и это удалось ей. Но годы спустя, стоило мне закрыть глаза, как я видела ее напряженно-спокойное лицо на шанхайской пристани, от которой под музыку и радостные клики отходил наш пароход. И вот уже лица не различишь, и фигура ее в сером пальто потеряла очертания, и берег все дальше, бежали по небу низкие облака, на реке дул пронзительный ветер, а я думала: какое у нее лицо сейчас, когда она знает, что я ее больше не вижу?

Я писала Корнаковой:

28 февраля 1948 г. Катерина Ивановна дорогая, знаю свою вину: обещала зайти и не зашла. Очень замоталась последние дни перед отъездом. Но ведь мы с вами простились! Еще раньше простились, до этого ужина на людях. Помните, как однажды днем, недельки за полторы до моего отъезда, мы с вами сидели вдвоем и так хорошо говорили! В том числе о людях «русских-русских» и «русских-нерусских»... Мне здесь все близко. И эти домики, и зимние закаты, и санки с бубенчиками, и старинные пузатые комоды, которые я видела в одном доме. Все тут мое. И народ мой и в горе, и в радости. Мне кажется, что по складу своему — я здешняя. Я больше подхожу сюда, чем к людям, от которых уехала. Уж вы-то это понимаете! Вы, которая так ни-

когда и не сжилась с теми людьми... Ужасно правильно, что я приехала, все время это ощущаю!»

Кому я адресовала эти строки с сильным налетом литературщины? Человеку, в чужую почву не вросшему, от этого страдавшему, от этого погибшему. Корнакова и без меня знала, что не «сжилась» и не «вжилась»,— это письмо могло лишь обострить ее неутихающую боль. Но я не думала о ней. О себе думала, в себя была погружена... «Народ мой и в горе, и в радости»! Ничего я об этом народе не знала, ни к чему привыкнуть еще не успела, в новую жизнь не вжилась, многое тяготило меня. Не отсюда ли взялись в письме «красивости» и восклицательные знаки? Убеждая других — убеждала себя.

В те ночные часы я пыталась и дневник вести, записывая мысли, родившиеся во время бесед с друзьями, впечатления дня... «Лотки на улицах. Не страшно купить пирожок с такого лотка, ибо все государственное, продукты на лотках не хуже, чем в магазинах. И, кроме того, знаешь: дороже с тебя не возьмут, не обжулят. Цены везде одинаковые!» Или: «Только люди, рисующие себе будущее «огромным академическим пайком» (Маяковский), могут думать лишь о правах, о привилегиях, а не о долге. Новый советский человек предъявляет иные требования к себе и к другим!»

Я взвинчивала себя этими писаниями, щеки мои горели, тяготы быта, убогость жилья, безденежье —все пустяки, все преодолимо! Я ложилась спать, уважая себя, с миром в душе. Но вот из сладкого небытия меня вырывали громкие голоса хозяек и музыка радио. У потолка уже горела лампочка, седьмой час утра, но за окном ночь, печка остыла, холодно, подтыкаю со всех сторон одеяло, поворачиваюсь лицом к стене, пытаюсь снова нырнуть в сон, но не удается, действительность вцепилась в меня, держит на поверхности. Грязные, отставшие от стены обои, закопченные углы потолка, мимо занавески ходят, переругиваются, хлопает входная дверь, звякает на кухне ведро, бабка ходила за водой, вода ледяная, ею надо будет сейчас умываться у примитивного умывальника, а до этого еще выскакивать на улицу в мороз — и не до сна! И не хочется жить. Господи, что я тут делаю, в этом ужасном углу, рядом с людьми, с которыми нет и не будет общего языка? Зачем я здесь? Вспоминаю ванную с белым кафелем в однокомнатной квартире, где, после развода с мужем, я жила одна, и страшный вопрос — а надо ли было все бросать и ехать

сюда? — обжигает меня, и глаза горячеют от слез... Никогда не созналась я ни друзьям, ни матери в письмах в этих приступах слабости, делала вид, что никаких сомнений не испытываю. Но испытывала. Беззащитен человек, насильственно вырванный из сна в утренние, предрассветные часы...

Очень запомнился мне вечер, когда я, вернувшись в свое жилье, застала у хозяек гостя, родственника из деревни. Гостя угощали, выпивали, хохотали и даже, кажется, пели, чему гремящее радио не препятствовало нисколько. Мне бы вот, жаждавшей общения с народом, который мой «и в горе, и в радости», с ними бы, за стол (приглашали!), поговорить бы, выпить, спеть. Но нет! Потопталась на пороге, соврала, что еще куда-то надо идти, и ушла, решив — вернусь, когда гость уйдет и все лягут спать. Что гость не уйдет, а останется ночевать, причем положат его на пол поперек нашей с бабкой комнаты, головой к окну, ногами ко мне, и ступни его в толстых деревенских носках займут и мою площадь под занавеской (длинен был гость!),— это не пришло мне в голову. Я ушла, захватив с собой книгу для чтения. Куда ж ушла?

А в кафе. Убеждена была, что подобные учреждения, где люди пьют кофе, читают газеты, беседуют с друзьями, имеются в каждом городе. Ну, я готовилась к тому, что кафе будет плохонькое, неуютное, без мягких кресел, нечто вроде буфета в гостинице «Казань», но что никаких кафе тут не водится — к такому готова не была. Уныло брела со своей книжкой вниз по улице Куйбышева, и наконец желанная вывеска: «Чайная». Ага. Они, значит, тут не кофе, они чай пьют.

Клубы махорочного дыма, громкие голоса, запахи алкоголя, мокрых валенок, мокрой овчины. Я дрогнула на пороге, но все же вошла. Увидела слева от двери, в углу, свободный столик, села. Никто не снимал верхней одежды, не сняла шубы и я. Стойка, за стойкой толстая женщина, она ни к кому не подходила, шли к ней, сами несли за свои столики стаканы, тарелки. Но ко мне женщина подошла, видимо из любопытства, от удивления. «Чего вам?» Я попросила чаю и что-нибудь к чаю. Думала: принесут расписной фаянсовый чайник, ну и баранки,— это мне мерещились русские трактиры, описанные в литературе. Но принесли на тарелке два граненых, косо стоящих, друг к другу прислоненных стакана, наполненных мутной светлой жидкостью, легкую до невесомости алюминиевую мятую лож-

ку, а на второй тарелке два куска грубо накромсанного черного хлеба. Мутная жидкость вкусом чай не напоминала, но была горячей и сладкой. Входная дверь скрипела, распахиваясь, врывался морозный воздух, в облаках пара появлялись люди в тулупах, стеганках, дверь на пружине захлопывалась со звуком пушечного выстрела. Я уже заметила, что была тут единственной женщиной (не считая той, за стойкой), и чая тут, кажется, не пили. Но никто не приставал ко мне, никто не пытался сесть за мой столик, никто не обидел меня. Вероятно, кидали в мою сторону изумленные взгляды, кивали на меня здешней тете Клаве или тете Маше, а она шептала: «Сам, что ли, не видишь? Из этих она, из приезжих! Сидит вон, чай пьет, надо же!» Казанское население знало о существовании странных приезжих, узнавало их на улице по необычной одежде. И кто знает, может быть, на заводских собраниях рабочих и служащих информировали: дескать, приехали к нам, есть распоряжение на работу их брать, относиться по-хорошему, но кто знает, какие они, из-за границы прибыли, там увидим, а пока поосторожней с ними...

Меня обходили сторонкой, и никто не пытался заговорить со мной. И я сидела в этом дымном и чадном, набитом людьми помещении в одиночестве, как если бы вокруг моего столика был очерчен магический круг, через который и самые пьяные переступить не решались, а может быть, сильно пьяных и не было в тот вечер. Их бы я запомнила, а у меня, кроме общей атмосферы этой чайной, в памяти не удержалось ничего, ни одного лица, ни одной фигуры. Отделенная от народа, который «мой и в горе, и в радости», прозрачной, но непробиваемой стеной, я была погружена в себя. Книжку свою так и не вынула, читать не хотелось, да и темно в углу. Плакала. Старалась лишь не всхлипывать громко, а могла бы и громко — голоса, смех, скрипение и выстрелы двери. Слезы капали в чай, мочили хлеб. Боже мой, а надо ли мне было ехать сюда? Зачем я здесь? Что я делаю здесь?

Вот, кажется, именно после этого вечера, после ночи, в течение которой я часто просыпалась, с тоской глядя на смутные очертания чужих ног под моей занавеской, я поведала о тяжестях своего быта Лазарю Ильичу Шулутко. Сидела в его кабинете, печатала на машинке, а он, диктуя, расхаживал взад-вперед, однажды остановился, участливо всмотрелся в мое лицо, спросил: «А живется вам как?» Я рассказала, как мне живется,— рассказ этот, думаю, на-

поминал старую солдатскую песню: «Очень чижало, ну, а в общем — ничего!» Шулутко вздохнул, головой покачал. Надо искать комнату. А пока вечерами можно пользоваться институтской научной библиотекой и здесь, а не в углу у бабки, проводить вечера. Гардеробщице будет велено давать мне ключ, и тут, в тишине, я смогу и писать, и читать, и возвращаться в жилище свое только на ночь.

В письме от 18 марта я писала матери:

«Встаю в семь. Моюсь, одеваюсь и, захватив бутылку молока, иду в институт. В кабинете физкультуры занимаюсь гимнастикой натощак. Затем иду в библиотеку. Там еще пусто. На подоконнике между рамами лежит мой пакетик масла, там же я и недопитое молоко держу — это мой холодильник. Завтракаю и сажусь за работу. Раз или два в неделю в институте бывают совещания, научные конференции, я записываю выступления, а на следующий день расшифровываю. Потом хожу по нашим профессорам и врачам, они читают и исправляют, если я где наврала. Все вокруг стараются мне помочь. Народ в институте великолепный. Молодые женщины, опытные хирурги, бывшие на фронте, убеленные сединами профессора, и чудесная старушка доцент, маленькая, некрасивая, в очках, с такими добрыми и умными глазами. Она работает над докторской диссертацией, проводит утра в библиотеке. Итак, утром расшифровываю. Но бывают утра пустые, все сделано, новых совещаний нет.

Тогда я тренируюсь в стенографии, пишу письма, читаю. В час тридцать обед. Обедаем внизу в большой столовой с огромными окнами и столами, покрытыми клеенками. Сидят врачи в белых халатах и шапочках, я тоже в белом халате. Если нет совещаний, я могу идти домой. Но не иду. Читаю. Иногда немного гуляю. А к четырем-пяти иду в гостиницу «Казань». Вечером, проводив Олега и Виталия в оперу, возвращаюсь в библиотеку, где теперь постоянно живет моя пишущая машинка. Домой ухожу к десяти вечера, когда мои прекрасные хозяйки ложатся спать. У музыкантов бывают свободные вечера, их мы проводим вместе, ходим в кино и уже были раз в здешнем драматическом театре. Жизнь моя скучновата, зато полезна. Много времени для писания, чтения, размышления. Хотела поступить на вечерние курсы марксизма-ленинизма, но не приняли, принимают лишь с осени. Если мне не удается попасть в филологический вуз, поступлю на курсы. Так что все очень хорошо, милая моя мамочка!»

Мне и в самом деле было хорошо в этом институте, где все, начиная от директора и кончая гардеробщицей, дружелюбно ко мне относились, старались облегчить мои первые шаги в новой, непривычной жизни... Позже, уже живя в Москве, я несколько раз ездила теплоходом по Волге, и, попадая проездом в Казань, мчалась на Большую Галактионовскую. Открывала дверь, меня охватывал особый, присущий лечебным учреждениям запах, сразу вызывая в памяти ту первую трудную зиму, но грусти не будил, напротив, было весело думать, насколько жизнь моя с тех пор изменилась к лучшему... Под белыми шапочками врачей знакомые лица, и все мне рады, все меня помнят, и я бежала на второй этаж, обнималась с секретаршей директора Марьей Борисовной, иногда узнавала, что Шулутко на месте нет, он в отъезде или на совещании («так будет жалеть, что вас не видел!»), и я знала, что это не из вежливости сказано, он и в самом деле будет жалеть, он был ко мне расположен, как мы всегда бываем расположены к тем, кому сделали добро. В свои приезды в Москву Лазарь Ильич звонил мне, бывал в гостях. Его уже нет в живых. Столько лет прошло с той казанской зимы, нет в живых, вероятно, уже многих сотрудников этого института, о котором я до конца дней своих сохраню нежную и благодарную память.

Научная библиотека — комната просторная и светлая, три высоких окна. Стены в книжных стеллажах. Справа от входа, спиной к стеллажам сидел старичок библиотекарь. На той же линии у самого окна — столик, отданный в мое распоряжение. Я проводила здесь дни и вечера. Я фактически здесь поселилась. Машинка моя не покидала этот стол, ящики забиты моими бумагами, книгами и даже такими предметами, как мыло, крем, одеколон, полотенце. А на подоконнике между рамами красовалась бутылка молока, пакетик масла. Окончательно тут прижившись, я стала вывешивать за окно и колбасу, и иные скоропортящиеся продукты. Директор в библиотеке почти не появлялся, нужные ему книги, вероятно, приносили ему в кабинет. Но однажды директор появился: сопровождал гостей из Москвы, которым демонстрировал институт — водил по палатам, по ординаторским, показывал отделение патофизиологии, помещавшееся в особом домике во дворе. Дошла очередь до научной библиотеки. Прекрасное помещение! Светло, чисто, тепло, тихо. Можно проводить часы, трудясь над диссертацией, а можно забежать на минутку, за справкой,

библиотекарь немедленно отыщет нужную книгу, а забежавший, иногда присев, а иногда на ходу, книгу перелистает, найдет что надо, убежит...

С вежливостью, ему свойственной, директор представил гостям библиотекаря, представил меня (наша стенографистка!), и тут взгляд его, внимательный, хозяйский, желавший убедиться, что краснеть перед гостями за беспорядок в помещении не придется, остановился на окне. Бутылка молока. Рядом пакетик. На веревке, прикрепленной к форточке, еще пакетик, слегка колеблемый мартовским ветром. Вполне естественно, даже мило, эдак заботливо для тех времен, когда холодильники еще не стали предметом привычного домашнего обихода и за всеми окнами жилых помещений непременно что-то висело. Но в библиотеке! Да еще научной! Глазами директора я оценила все неприличие этой бутылки, этих пакетов, собственным телом заслонить бы окно от взоров гостей (они, на мое счастье, увлеклись беседой с библиотекарем!), но я приросла к полу, двинуться не могла и, вероятно, сильно покраснела. По моим заграничным понятиям, человека, спутавшего деловое помещение с жилым, следовало либо уволить, либо, в лучшем случае, прочитать ему строгую нотацию на тему о том, что всему свое место. Я воображала такие язвительные слова: «А раскладушку свою вы еще сюда не принесли?» Никакой нотации, никаких упреков не последовало и позже. А в тот день директор, кинув взгляд на окно и все поняв, сразу отвернулся, подошел к гостям, заговорил с ними, увел их... Как же я была ему благодарна за это!

В библиотеке ежеутренне проводила несколько часов доцент Наталья Алексеевна Герасимова. Та самая, о которой я писала матери: «Некрасивая старушка с добрыми и умными глазами». Полагаю, что «старушке» было тогда немногим больше пятидесяти. Понятия о старости смещаются, в двадцать лет для нас стары сорокалетние, в тридцать — пятидесятилетние. Герасимова трудилась над диссертацией, прилежно исписывая страницу за страницей. Невысокая, с крупной не по росту головой, с крупными чертами лица, будто вылепленного наспех, небрежно, кое-как, она ходила вперевалку и напоминала мне медвежонка... Я стучала на машинке, расшифровывая очередную стенограмму, в медицине была невежественна до изумления, даже слово «травма» узнала тогда впервые! Расшифровка терминов то и дело ставила меня в тупик, я обращалась к Герасимовой, частенько этим злоупотребляла, но

никогда ни в тоне голоса ее, ни в лице не проскальзывало и намека на раздражение. А я, ставя себя сегодня на ее место, раздражалась бы. Дескать, мало того, что эта чертова стенографистка стучит под ухом на машинке, нет, ей еще поминутно помогай, подсказывай, бросай ради нее свою работу, едва вникнешь, как умоляющий голос: «Наталья Алексеевна! Извините, но я...» И перебита мысль. Погружайся потом вновь. Так бы, конечно, думала я, человек раздражительный, плохо выносящий помехи в работе. Что думала Герасимова — не знаю. Она сдвигала на лоб очки, с секунду глядела невидяще, мысли еще там, в работе, но вот ее маленькие глаза прояснялись, видели меня, идущую к ее столу, и она улыбалась доброй своей улыбкой: «Давайте, давайте, что у вас?» Я вообще не помню, чтобы эта женщина на кого-то сердилась, повышала голос. Такая тихая, скромная, вежливая, мухи не обидит, а дело свое, видимо, знала прекрасно, не помню, каков был ее медицинский профиль, но помню, что в институте ее очень уважали, очень с нею считались.

Она была уроженкой Казани, в семье ее были врачами и покойный отец, и единственный брат. Училась она в знаменитом Казанском университете, славном своими химической и лингвистической школами, по рождению, воспитанию и характеру принадлежала к той, в литературе описанной, плеяде русских врачей-бессребреников. Она делила квартиру с семьей брата, и я не раз бывала в ее комнате, тесно заставленной книжными полками и старинной мебелью,— не там ли я видела «пузатый комод»? Посредине круглый стол, накрытый не то плюшевой, не то бархатной скатертью с бахромой, а поверх настилалась белая — Наталья Алексеевна не отпускала меня без угощения. И всегда пыталась всучить мне деньги. До сих пор в ушах моих звучит этот тихий глуховатый голос: «Вам деньги не нужны ли?» Я отказывалась. Она настаивала. «Поймите, у меня лишние, они мне сейчас не нужны!» Я не выдерживала. Брала у нее то пятьдесят рублей, то сто. Мне говорили: «Вы отдавать не торопитесь. Отдадите, когда будет нетрудно». В свое оправдание скажу, что я все же торопилась. Что-нибудь продавала и расплачивалась с Натальей Алексеевной...

Я была плохой стенографисткой. Это ремесло нуждается в постоянных упражнениях, а я давно не имела практики. Я созналась в этом Шулутко во время нашего перво-

го разговора. Он сказал: «Ничего. В штат мы вас зачислим сразу, а на совещаниях начнем занимать не сразу. Восстанавливайте свою стенографию!»

Я заставляла своих друзей мне диктовать. Писала под радио — вот когда оно, постоянно бормочущее в моем жилье, мне пригодилось. Бродила по институту, записывала разговоры санитарок, больных — при институте была клиника. Меня поразило, что Шулутко согласился платить мне жалованье даром. Не совсем, правда, даром — он вызывал меня с машинкой в свой кабинет, диктовал письма, статьи... И вот недельки через три после поступления я в качестве стенографистки присутствую в конференц-зале. Сижу за маленьким столом, правее стола президиума и кафедры, на которую поднимаются выступающие. За окном — бело, метель. И в зале бело — халаты, шапочки. Присутствуют врачи из других институтов. Ловлю на себе любопытные взгляды.

Легко вообразить, какие слова шептались в белых рядах: «Из этих, из приезжих!» — «Да ну? То-то я смотрю, какая-то она не такая!» Моя персона явно уводила внимание присутствующих в сторону. Но вот раздался баритон Шулутко, открывающего совещание, я хватаю карандаш, погружаюсь в блокнот, в стенографические закорючки. Шулутко говорит медленно, внятно, вроде бы я все записала, на кафедру поднимается врач Тарнопольский. С ним я знакома. Он ободряюще мне улыбается: дескать, о вас помню, торопиться не буду, спасибо ему, милый он человек, но вот ему что-то возразили с места, милый человек разгорячился, заговорил быстро, не успеваю, не успеваю, и что это значит — «травматизм», и что такое «филатовский стебель», и какая-то «регенерация» или «дегенерация» ткани?

Назавтра, расшифровывая свои закорючки, я пришла в ужас. Бред шизофреника, бессвязные фразы, пропуски. Какая я стенографистка? Я самозванка. Пойти и сознаться в этом директору. Лучше сразу, не тянуть. В то утро Герасимовой почему-то не было в библиотеке, но вбежал Тарнопольский за книгой. «Как дела? Справляетесь?» Я твердо ответила, что не справляюсь и справляться, видимо, не буду никогда. Ничего не смыслю в медицине. Плохо смыслю, как выяснилось, и в стенографии. Грустно, что я всех подвела.

Молодой, моих примерно лет, скорее высокий, с приятно интеллигентным черноглазым лицом и темной бородкой

«анри-катр»[1] — Тарнопольский засмеялся. Пустяки! Состряпаем! Все будет в лучшем виде!

И мы состряпали. Стряпал, впрочем, он, иногда заглядывая в мои отрывочные записи, чтобы вспомнить, кто за кем выступал, а я лишь печатала под его диктовку. Происходило это в ординаторской в тот же вечер — то ли Тарнопольский дежурил, то ли задержался после работы... И все стало «в лучшем виде». Не стенограмма, конечно, но вполне внятное изложение конференции. С этим текстом уже не стыдно было ходить по врачам, просить их проверить ими сказанное.

Следующее совещание с малым числом участников, происходившее в кабинете Шулутко, я записала уже лучше, хотя своими силами все расшифровать не смогла, помогала Наталья Алексеевна.

Образовался у меня в институте и еще один друг — профессор Товий Давидович Эпштейн; этого высокого, элегантного старого человека, давно уже, думаю, нет в живых... Что-то он в институте возглавлял, был у него свой просторный кабинет, где я часто сиживала. Приду со своей неточной, не говоря о пропусках, записью его выступления, он глянет — оставьте, я сделаю и передам вам в конце дня, а пока присядьте, покурите (подвигал пепельницу). Ему интересны были не только мои рассказы о жизни ТАМ, но и восприятие мое здешней жизни, слушал, откинувшись в кресле, усмехался... В моих отношениях с Шулутко был налет официальности, с ним в то время я себя просто не чувствовала, а с этим — чувствовала. Будто этого старого господина, такого вежливого, приятного в обращении, я знаю давно, знаю с детства. Он вникал в мою жизнь, рассказывал о Казани, советовал мне осенью непременно поступить в вуз. Я бывала дома у Герасимовой, была приглашаема в гости Тарнопольским и его женой, у Эпштейна же не бывала никогда, и не знаю, как он жил, какова была его семья... В конце дня я получала от него «исправленную» стенограмму. На деле же Товий Давидович свое выступление писал сызнова, это, видимо, ему проще было, чем исправлять... Так же поступали и некоторые другие врачи. Я считалась стенографисткой, но мое присутствие на совещаниях вело лишь к тому, что у врачей появилась дополнительная работа — записывать свои устные выступления, опираясь на мой приблизительный текст. Но никогда

[1] Под Генриха IV *(фр.)*.

ни от кого я не услышала слова упрека. Извинялась. В ответ говорили: «Ничего, научитесь!»

Я и научилась в результате. А как зато мне было просто записывать лекции в казанской консерватории, куда меня взяли в штат в середине мая того же года. И как просто было стенографировать совещания в казанском ВТО, где я работала на сдельной оплате следующую зиму. Помогал мне и мой литературный опыт. Среди выступавших бывали татары, не блестяще владевшие русской речью, в моей же расшифрованной стенограмме они говорили правильно, падежей не путали, моя слава стенографистки росла, я не успевала откликаться на все приглашения.

Но я всегда помнила, что это пришло благодаря терпению сотрудников Института ортопедии. Оно смущало и изумляло меня. В иностранных фирмах Шанхая стенографисткам устраивали конкурс, брали на работу лучшую, то же и с машинистками: желающих много, мест мало. Кто бы там терпел мою, с позволения сказать, стенографию? За границей человека немедленно бы уволили, если б увидели, что он не справляется: там непрофессионализма не терпели, даром денег не платили.

А здесь пусть мало, но платили. Скоро я убедилась, что в своем непрофессионализме не одинока. В институте было две машинистки. Обе понятия не имели о слепой десятипальцевой системе, работали медленно, с опечатками... Когда я получала свою первую зарплату, меня поразила кассирша. В Шанхае кассиры обращались с пачками денег так, как опытные картежники с колодами карт: считали молниеносно, впечатление такое, что перед глазами что-то разноцветно мелькнуло, жик, готово, пачка пересчитана, разноцветно мелькает следующая. А здешняя кассирша считала неловко, по-домашнему. Возьмет пачку и откладывает в сторону десяточки, одну за другой, неторопливо; перед окошком дышит, переминается с ноги на ногу очередь белых халатов, кассирша отложенные десяточки еще раз пересчитывает, перекладывает, а как же — деньги, дело ответственное, не ошибиться бы... Я очень удивлялась. В институте первоклассные хирурги, многознающие ученые, опытные врачи, а люди, занимающие мелкие технические должности, работают неумело, непрофессионально, кое-как...

Обе машинистки впервые в жизни услыхали от меня, что машинописи за границей учатся в специальных школах. На выпускных экзаменах требовалась не только быстрота и отсутствие опечаток, но и ритмичность, ровность ударов по

клавишам, все буквы на бумаге должны были иметь одинаковый цвет. Машинистки удивились, сказали: «Ну надо же!» — и продолжали печатать по-своему. И правы были. Их переучить было уже невозможно. Но вот профессор Эпштейн и доцент Герасимова моим рассказом заинтересовались чрезвычайно, оба купили себе портативные пишущие машинки и попросили меня их учить. Годы спустя, в Москве, получая от Натальи Алексеевны напечатанные на машинке письма, я радовалась, читая в них: «Машинка экономит мне уйму времени, мне уже кажется странным, что я могла без нее обходиться».

В казанских магазинах сахару той зимой не было. Но замдиректора по хозяйственной части (пожилой, суровый, ходивший в галифе и френче) для сотрудников сахар доставал. Появлялась продавщица, столовая в эти часы превращалась в магазин, один из столов — в прилавок. Случалось это два-три раза в месяц и всегда неожиданно. В научную библиотеку врывалась либо санитарка, либо кто-нибудь из врачей: «Сахар дают!» В столовой уже толпятся белые халаты. В одни руки — полкило. «Можно, я возьму для Лидии Григорьевны? Она на операции!» — «Нельзя. Сама должна прийти!» (это произносит завхоз, наблюдающий за порядком). «А если не успеет?» — «Останется без сахара!» Для кого-то, однако, исключения делались. Для Шулутко. Еще, быть может, для трех-четырех профессоров. Но остальные, включая сюда доцента Герасимову, свои полкило выстаивали, оставив работу.

Я думала: какая дичь! Сахара должно хватить на всех, его привозят столько, чтобы досталось каждому, кто работает в институте, по числу сотрудников привозят. Зачем же отрывать людей от дела, заставлять врачей, сестер, санитарок стоять в этой идиотской (ибо бессмысленной!) очереди? Это можно организовать куда проще, разумнее. Я придумала — как — и отправилась однажды со своим рацпредложением к завхозу. Была уже с ним знакома. Он давал мне бумажки, предъявив которые кладовщику, я получала из склада ленты для машинки, карандаши, резинки и ту телесного цвета бумагу, на которой печатала. Завхоз моим предложением не восхитился. Сурово сказал: «Есть приказ: в порядке ЖИВОЙ очереди!» — «Но не все ли равно...» — «Не все равно! ЖИВАЯ очередь, слово вам понятно?» — «Слово-то понятно, но ведь глупо...» Меня перебили, слегка повысив голос: «Умно или глупо — не наше с вами дело. Сказано: живая очередь!»

Мне доверили перепечатывание в стенгазету заметок и даже их редактирование. Был и фельетон на тему: «Что кому снится». Кому именно и что именно снилось, я забыла, помню только, что фельетон показался мне слабым, беспомощным и начисто лишенным юмора. Что ж, понятно, перо не профессиональное. Мне бы вот в следующий номер написать. Эдакую сатирическую заметку о бесплодной растрате времени в сахарных очередях. Но я скоро одумалась. В самом деле: кроме меня, никто против этих очередей не возражает, я одинока в своем возмущении. Наталья Алексеевна с моей точкой зрения вроде бы и согласилась, но как-то вяло. Дескать: что тут сделаешь?

Виталий, Олег и начавший появляться по воскресеньям Юра (соскучился без нас на своем кирпичном заводе!) твердо заявили, что соваться с фельетонами мне рано. Мы еще не вжились, нам многое непонятно. Виталий учил, смотреть на вещи надо шире. Пусть машинистки, кассиры и еще там кто-то, с твоей точки зрения, плохо работают, пусть очереди за сахаром тебе кажутся бессмысленными, но все это ничуть не мешает твоему институту получать ежегодно переходящее Красное знамя, быть лучшим в республике. Это вот основное, а иначе можно «утонуть в болоте мелкого критиканства» — Виталий любил такие выражения. Юра пошел дальше. Выдвинул вот какую теорию: сатира должна отмереть у нас вообще. В сатирических перьях нуждалась старая Россия и нуждается капиталистический мир. А нам эти перья ни к чему. Имеющиеся отдельные недостатки — это болезни роста. Со временем они отпадут сами собой, и сатирическим бичом тут только вред принесешь, а не пользу. (Между прочим: эту же примерно мысль недолгое время спустя я встретила в статье известного советского журналиста, ныне покойного,— дескать, чичиковы, ноздревы, собакевичи, а также городничие у нас давно вывелись, эти типы встречаются только за рубежом, и, значит, фельетонистам оттачивать перья следует в основном на заграничном материале.) Я тогда Юре возражала, цитируя Маяковского: «...чтоб критика дрянь косила!» — в ответ слышала, что слова Маяковского относятся к двадцатым годам, когда «пережитки в сознании» еще совсем не были изжиты, а сегодня, да еще после победоносной войны... Разгорячившись, Юра и дальше пошел (ах, его всегда заносило так далеко!), заявив, что чувство юмора — вредный дар. Его надо в себе гасить, бороться с ним. Я онемела от изумления и возмущения. Виталий — и тот удивил-

ся: «Ну, братец, ты загнул!» Но удержать Юру возможности не было. Возражения его лишь разжигали, он несся дальше, от грешной земли отрывался уже полностью, летел ввысь, достигал состояния невесомости... Да, да, да! Юмор толкает человека видеть во всем темные стороны, видеть недостатки в первую очередь, приводит к зубоскальству, вспомните, до чего докатился Зощенко! И тому подобное. И в том же духе.

(Забегая вперед, скажу, что дикие эти рассуждения бесследно для меня не прошли. В журнале «Крокодил», в начале 50-х годов, я писала сатирические заметки только на международные темы и очень, очень стремилась переквалифицироваться в очеркистку. По заданию журнала «Огонек» летом 1952 года я ездила в командировку в шахтерский поселок близ города Шахты, написала затем голубой очерк под дамским заголовком: «Самое дорогое!» Очерк получился бездарным, беспомощным — а как я мучилась над ним, как переделывала, переписывала и как теперь рада, что топорное это произведение света не увидело. А тогда огорчалась: сколько сил на него убито, сколько мук он мне стоил. Тогда мне не приходило в голову, что эти «муки творчества» как раз и называются: становиться «на горло собственной песне».)

В том же марте меня принимали в профсоюз. Предложили подняться на кафедру и рассказать о себе. Не знаю, как тут проходили другие профсоюзные собрания, а на это сбежались все, будто в зале кино показывают. Ни единого свободного стула. В дверях тоже толпятся белые халаты... Я начинаю сухо: родилась тогда-то, там-то, из Петрограда увезли трехлетней, в Харбин попала пятилетней, там училась, в конце 36-го года переехала в Шанхай. Меня слушают напряженно, зал замер, не дышит, это вдохновляет меня, я рассказываю о своей газетке «Шанхайский базар», а затем о работе в «Новой жизни»... Когда я кончила, в разных местах внезапно вспыхнули и тут же погасли аплодисменты, видимо правилами не предусмотренные, и голос председателя: «Вопросы будут?» Они были, кажется, но я не помню их, помню краткое выступление одного из врачей: «Человек с первых дней войны к нам пришел, с нами пошел, чего тут рассуждать? Принять ее в профсоюз, и точка!» Приняли единогласно.

Я описывала матери это собрание в таких восторженных тонах, будто меня, по крайней мере, посвятили в ры-

царский орден. Я в профсоюзе! Я полноправный член институтской семьи!

Я была плохой стенографисткой, но беспокоило меня это лишь самое первое время. Верила — постигну. Поддерживало доброе ко мне отношение, добрый интерес. И я ощущала свою в институте нужность. Вот директору пригодилась моя быстрота на машинке — диктует мне письма, статьи. Я полезна Эпштейну, Герасимовой — учу их печатать. Принимаю активное участие в стенгазете. Мне было хорошо в институте.

Но вот наступал вечер. Проводив музыкантов до дверей оперного театра, я вновь шла в институт. Брала внизу ключ, поднималась на третий этаж по пустынной сейчас лестнице, входила в темную библиотеку. В незанавешенные большие окна видны покрытые снегом крыши домов, огоньки бегущей вниз улицы Куйбышева, я зажигала на своем столе лампу, окна чернели, в них уже ничего не видно, кроме отражения зеленого абажура. Круг света на столе, углы комнаты тонут в полумраке. Откроем машинку. Поработаем. Тишина. Впрочем, изредка доносится заглушенное расстоянием треньканье гитары из какой-то палаты или слышатся отдаленные голоса, и что-то звякнуло — нянечки разносят больным ужин, и опять тихо. Та самая блаженная тишина, о которой я так мечтала в своем убогом жилище, и та, к работе располагающая, строгость уставленной книжными полками большой комнаты. Никто не мешает тебе, трудись же! Но я ловлю себя на том, что вслушиваюсь в едва различимые звуки гитары, стараясь распознать мотив. ЭТО тебе мешает? Нисколько. Напротив. Звуки приятны. Ну так — действуй. Читай. Мысли. Пиши. А я, вместо этого, вспоминаю ночное небо Шанхая в пляшущих разноцветных неоновых рекламах, огни двадцатиэтажного небоскреба «Парк-отеля», музыку из открытых дверей баров, подъезды кинотеатров, мчащиеся машины, а на тротуарах — люди, люди, люди, кипучая жизнь огромного города. Зеленое отражение лампы в черном стекле окна. А за ним белые крыши низеньких домов, пустые улицы, деревенская тишина. Внезапно, по ковровой дорожке коридора,— тупые, ритмичные удары — туп-прыг, туп-прыг, и приоткрывается дверь библиотеки. Больничная пижама, одна штанина подвязана, у человека нет ноги, допрыгал сюда на костылях. Заглянул, смутился: «Извините!» — «Пожалуйста, пожалуйста. Да вы зайдите!» — «Нет, зачем же? Не буду вам мешать!» И дверь закрылась, и снова

«туп-прыг» по коридору. Мне хочется броситься вслед, ради бога, войдите, ради бога, помешайте мне, поговорите со мной, избавьте от одиночества, от этой опостылевшей машинки, которая уставилась на меня белыми клавишами, черными буквами. Чего ей надо? Не хочу я работать, утром наработано, расшифровано, напечатано, дальше что? Записывать впечатления дня? Надоело! Размышлять? Над чем это? Господи, какая тоска!

Спокойно. Не распускаться. Взять себя в руки!

Я беру себя в руки и отстукиваю письмо к матери.

«Это так хорошо, мам, что я в Казани! Казань — тишина. Казань — возможность думать, работать. Казань дала мне уже то, что я становлюсь приличной стенографисткой. Так что все хорошо, все полезно. Ну, сознаюсь, бывает и одиноко, и скучновато. Каждое воскресенье вижу Юру. Каждый день Виталия и Олега. Но вечерами музыканты заняты, а Юра далеко живет. Они чудесные ребята, прекрасные друзья, но едиными ими не может быть сыт человек. Мы все ведем умные разговоры, а хочется и глупых... Так что видишь, мама, я, как филатовский стебель, не прижилась еще к новой почве. Обрати внимание на роскошное медицинское сравнение. Скоро я, кажется, буду готова сдать кандидатский минимум — уже просто блещу медицинскими терминами!»...

...Лет семь спустя я услыхала от Анны Андреевны Ахматовой, что уединение и скука человеку полезны. Человек остается с собою один на один, без отвлечений, без рассеяний. Никуда от себя не уйдешь, волей-неволей в себя и вглядишься, а такое делать следует. Ахматова добавила с усмешкой: «Иногда возникают мысли».

И мне сразу вспомнилось, что мысль написать роман явилась у меня именно в один из тех казанских тоскливых вечеров... Впрочем, громкое слово «роман» мне тогда и не мерещилось, и я не уверена, позволительно ли назвать мыслью то, что во мне однажды забрезжило... Было примерно так. Сидя за столом, я глядела в черное стекло, в котором, кроме отражения зеленой лампы,— ничего, и воображала за ним эти пустынные улицы, снег на крышах низеньких домов, и в их окнах оранжевый свет, здесь почему-то у всех шелковые, оранжевые абажуры, такой у Тарнопольских, такой у Герасимовой, что она делает сейчас, пьет, верно, чай в своей комнате с пузатым комодом... Печально тренькала гитара, кто это играет, не тот ли безногий, что ко мне заглядывал? Он, конечно, потерял ногу

на войне, большинство пациентов института жертвы войны, в свое время им отняли руку или ногу, но вот заболела культя, понадобилась вторая операция... И пришли мне тогда в голову строки Блока: «Да, ночные пути роковые развели нас и вновь свели, и опять мы к тебе, Россия, добрели из чужой земли». От этих строк, как круги по воде, пошли виденья. Я вновь увидела сибирский полустанок, старушку с молоком на перроне, ее вопрос: «Чего ж приехали?», увидела замерший зал, слушающие лица на профсоюзном собрании... И внезапно мне страстно захотелось рассказать, объяснить, почему я, почему мы так стремились в Россию из чужой земли... Этот рассказ, вылившийся затем в роман «Возвращение», я начала писать тремя годами позже, в Москве, а тогда, в Казани, мысль моя, не успев расцвести, была тут же затоптана друзьями. Они темы «о нас» не одобрили. Надо идти вперед, вживаться в здешнюю жизнь, ее осмысливать, а уход в прошлое этот процесс задержит, ему помешает. И еще что-то в этом роде. Намерение рассказать «о нас» было оставлено.

Апрель. Днем пригревало, снег таял, по тротуарам круто идущей вниз улицы Куйбышева мчались, бормоча, ручьи и сверкали на солнце, я впервые видела русскую весну, мое убогое жилье после уличного сияния и света казалось особенно невыносимым. Мной «овладело беспокойство, охота к перемене мест»... Я переписывалась со своими ленинградскими тетками и с дядей Ваней, жившим в Москве, меня звали погостить. Я выпросила у Шулутко десять дней отпуска за свой счет. Матери писала: «...отпуска мне не полагается, ведь я работаю всего два месяца, но наш директор умница, не формалист, пошел мне навстречу...»

Я продала артистке казанской филармонии свое вечернее платье (шелковое, до полу, с открытой спиной), купила билет в жестком вагоне и поехала в Москву. Из письма, написанного в то время матери, я узнаю, что по дороге видела «апрельские черные с кусками снега поля, деревеньки, древний город Муром (слово-то, мама, слово какое!), и все казалось мне близким, и все брало за душу». Но в памяти моей из этого путешествия осталась почему-то лишь станция Черусти. Поезд прибыл туда под вечер, стоял минут пятнадцать, я вышла пройтись. Ничего особенного тут не было, обычные вокзальные строения, невзрачные киоски, чахлые деревья в станционном сквере. Вечер был тих, благостен, пахло весной, и было розово закатное небо, и вне-

запно сердце мое дрогнуло при мысли, что я рядом с Москвой, еще каких-то три-четыре часа — и я увижу ее, увижу Москву, да может ли это быть?

* * *

Дядя Иван Дмитриевич явился на вокзал с моей фотографией, узнать меня не надеялся. И все же: дал мне пройти мимо. Я прошла было, но обернулась. Что-то знакомое почудилось мне в мешковатой, глубоко штатской фигуре, что-то напоминающее дядю Шуру, хотя тот роста огромного, этот же среднего. Лицо тоже напоминало дядю Шуру, не чертами, чем-то неуловимым. Я сказала уверенно: «Здравствуй, дядя Ваня!»

Мы ехали в метро, и я восхищалась всеми видными в окно станциями, и особенно сразила меня строгой, элегантной белизной та, где мы вышли: «Дворец Советов». Темный, тогда еще булыжником мощенный Гагаринский переулок, справа и слева ампирные особнячки, это я в самом деле иду по Москве? Одноэтажный старый дом, крыльцо, обитая войлоком дверь, за ней просторная, безлюдная в вечерний поздний час кухня, слабо освещенная лампочкой у потолка, столы под клеенками, керосинки, кастрюли, затем темные закоулки большой коммунальной квартиры. И вот на шаги наши распахивается дверь, я попадаю в объятия седой, полной женщины в очках, которая сразу требует, чтобы я называла ее «тетя Инна» и «ты». Стол, белая скатерть, желтый шелковый абажур, у одной стены диван, у другой — кровать, два зашторенных окна, картины, фотографии, комната просторна, уютна. Меня кормят, меня расспрашивают, дядя Ваня, не в пример дяде Шуре, собеседника видит, к собеседнику внимателен, понимает шутку, хорошо смеется. А с письменного в простенке стола глядят на меня фотографии бабушки и «дядюшки-профессора», всю жизнь знакомые, и я ощущаю родственную нежность к дяде Ване и к полной громкоголосой женщине, его жене. Спать меня укладывают на маленькой, примыкающей к комнате утепленной веранде, и я долго не могу заснуть, и все мне не верится, что за темными, мелкими квадратами стекол — Москва. Я ее еще не видела. Я увижу ее завтра.

Одноэтажный особнячок в Гагаринском переулке принадлежал когда-то профессору Герье (известные «курсы Герье») и после революции по распоряжению Советского

правительства был оставлен в собственность профессора. В 1948 году, когда я впервые переступила порог этого дома, им владела дочь Герье — Софья Владимировна. Она занимала две комнаты, в одной, просторной, жила сама, в другой, поменьше, старушка домработница. Женщина одинокая, безмужняя, бездетная, Софья Владимировна не могла избежать уплотнения, но, видимо, часть соседей ей было разрешено подобрать самой. Тут жили интеллигентные люди, под стать самой Софье Владимировне, трудившейся в те годы над составлением русско-итальянского словаря,— словарь этот вышел в 1953 году. Были здесь, однако, жильцы и иного плана, не вписывавшиеся в компанию образованных старушек и семейств, вроде моего дядюшки-агронома, его жены, художницы-иллюстраторши, и еще одного художника с женой и детьми. Каких-то жильцов, значит, Софье Владимировне подселили, ее мнения не спрашивая, власть ее над отцовским домом была призрачна, попросту нереальна, и, кроме хлопот и беспокойств, не приносила ничего. Кажется, именно в том году или годом позже, Софья Владимировна от домовладения отказалась, передав свой старый особняк государству.

Полагаю, что при жизни профессора Герье существовал парадный подъезд, выходивший на Гагаринский переулок. Но я этой двери не помню, ее, видимо, уничтожили бесследно, превратив в часть стены. Теперь войти в дом можно было лишь через черный ход, со стороны Мало-Власьевского переулка, и вошедший попадал в рев примусов, в шипение сковородок, в кухонный чад и дым.

Комнаты квартиры расположены по правую и левую сторону кухни. Справа, напротив висевшего в коридорчике телефона (стена сплошь исписана шестизначными цифрами телефонных номеров), в большой, метров в двадцать пять, комнате обитала Екатерина Александровна Булыгина с племянницей Оленькой. Не берусь определить возраст Оленьки, уже тогда седой, из-за чего она казалась мне вполне старой, а возможно, ей и пятидесяти не было: я ведь все видела иными, чем теперь, молодыми глазами. А вот то, что Булыгиной было семьдесят семь лет, знаю точно, это сообщил мне дядя Ваня, а я запомнила.

Никогда не бывшая замужем, в дореволюционные годы начальница («*maman*») казанского института благородных девиц, Екатерина Александровна была женщиной роста высокого, очень худой и, несмотря на годы, прямой. Строгий, умный взгляд небольших выцветших голубых глаз. Оде-

валась по старинке — юбки по щиколотку, блузки с кружевцом и брошью у шеи, а седые жиденькие волосы зачесаны наверх и собраны на темени в маленький кукиш. Ей под восемьдесят, но «добытчиком» семьи была именно она (Оленька вела хозяйство), числясь в штате кафедры иностранных языков Академии наук и готовя аспирантов к сдаче кандидатского минимума по французскому и немецкому языкам. Снисходя к преклонному возрасту Булыгиной, кафедра посылала учеников к ней на дом.

Хорошо помню ее явление на пороге дяди Ваниной комнаты в следующее утро моего приезда. Утро воскресное, мы за столом. Стук в дверь. Вошла. «Сиди, Иван, сиди! Инна, не суетись, кофе я пила и вообще на минутку... (Мне.) А ну, покажись. Так. Длинная. На мать похожа. Глаза, впрочем, отцовские. Я твоего отца не любила, пустой человек. Зайди потом ко мне. Ольга на базар побежала, а ей тоже интересно на тебя глянуть. Зайдешь?» — «Да, Екатерина Александровна». Строго: «Я тебе не Екатерина Александровна. Я тебе тетя Катя!»

За ширмочкой кровать под белым покрывалом с горой подушек, над изголовьем икона Казанской божией матери — тут спала тетя Катя, Ольга же ночевала на диванчике у стола — за этим столом ели, за ним принимали гостей. Против двери большое окно, справа от него в углу целый иконостас с неугасимой лампадой, а стена над старинным секретером сплошь завешана фотографиями и портретами. Над старцами с раздвоенными бородами, над дамами в шляпках с цветами и птицами доминировал большой, писанный маслом портрет юного темноусого военного в эполетах и золотых шнурах на выпяченной груди. Именно на нем скрещивались родственные линии Булыгиных и Воейковых, что тетя Катя в тот мой первый приход подробнейше мне растолковала. Поминалась фамилия «Мертваго», может быть, это была фамилия военного, а может, родственные связи шли по двум линиям—и через военного, и через Мертваго. Бог его знает. Я не вслушивалась. За окном весна, за окном Москва, я еще не ходила по ее улицам, а тут свалившаяся мне на голову новая тетя толкует о предках, кто на ком женился, сколько у кого было детей, я думала про себя насмешливо: «Иван Иваныч Фандерфлит женат на тетке Воронцова...» Все это я уже слышала, живя в эмиграции, и подобные фотографии в альбомах видела, не держите меня на этом островке прошлого, пустите на волю, к новому, к сегодняшнему... Сегодняшняя

жизнь была, однако, тут же, рядом, давала о себе знать шумом кухни и чьим-то пронзительным женским голосом, кричавшим в телефон: «Учти, через час не придешь — все! Охотников много!» Оленька, почтительно внимавшая тете Кате, при звуках этого голоса страдальчески сморщилась, а Екатерина Александровна молвила: «Какое счастье, что я глохну!» — и затем: «Итак, твоя бабушка приходилась мне двоюродной теткой, а твоя мать, следовательно...»

Страстное желание сбежать я изо всех сил скрывала, в этой старухе, в ее ровном, не привыкшем к возражениям голосе было нечто внушавшее уважение, я держалась школьницей, лицемерно бормотала: «Да? Как интересно!» Покончив с предками, Булыгина указала мне на фотографию сравнительно молодых мужчины и женщины, загорелых, одетых по-летнему, вполне современных, сказав: «Племянник Николай (Ольгин двоюродный брат) с женой. Живут под Парижем. Небольшая ферма. Вполне устроены и жизнью довольны». Подала голос Оленька: «Ах, ма тант!» — «Перестань, трусиха!» — презрительно отозвалась Екатерина Александровна.

Смысл этого краткого диалога дошел до моего сознания позже... В те годы не было принято иметь родственников за границей. Это потом они у всех появились и к ним стали даже в гости ездить. Но Екатерина Александровна была выше этого. Несмотря на мольбы Ольги, с парижским племянником переписывалась и вообще не скрывала ничего, ни своего родства «с тем самым Булыгиным из Думы», ни своего неодобрения нынешним положением дел в России. Советское правительство она называла «они», и никак больше. Позже, когда я, поступив в Литературный институт, стала жить в Москве и часто забегала к дяде Ване, Булыгина, увидев меня в коридоре, сухо приказывала: «Зайди ко мне». Я заходила. На столе «Правда». «Ты газеты читаешь?» — «Да, тетя Катя».— «Ну, разумеется! — насмешливо.— И вообще превзошла все науки. Так вот, объясни, что это о н и опять придумали?» Тыкала пальцем в какую-то статью или заметку, и горестный возглас Оленьки: «Ma tante, la fenêtre est ouverte»[1]! — «А, боже мой, ну закрой его, если тебе так хочется». Я просматривала заметку — и объясняла. Меня ничто не ставило в тупик в те годы: все могла объяснить. Слушали молча, но мне становилось не по себе от пристального взгляда тети Кати,

[1] Тетя, окно открыто! *(фр.)*

какой-то тревожащий меня огонек чудился в ее светло-голубых глазах.

Я не нравилась ей. Она ощущала мое равнодушие к предкам, ее раздражала моя восторженность. Еще в то первое свидание она спросила меня: «А зачем ты сюда приехала?» Я задохнулась от изумления. Как это зачем? Чтобы жить на родине! Чтобы не быть эмигранткой! Русский человек дома должен жить, а не у французов, у американцев, у китайцев! И потом — здесь не только наша родина. Россия построила социализм, эта первая в мире страна... Начала я пылко, но под взглядом Екатерины Александровны стала увядать, хотя меня не прерывали, а когда я умолкла, было сказано: «Хорошо. Беги. Будешь писать матери — кланяйся!»

...Сохранив светлый разум, Екатерина Александровна дожила до девяноста лет и тихо скончалась в той самой комнате. Я не могла не испытывать уважения к этой старухе, независимой, не согнувшейся, работавшей чуть не до последних дней своей долгой жизни, хотя и называла ее про себя «каретой прошлого»... Случайно я подслушала как-то ее разговор с тетей Инной: та похвасталась, что я на круглые «отлично» сдала экзамены за первый курс Литинститута. «Способности явно в Воейковых,— констатировала Екатерина Александровна.— Ну, а ум — в отца. И легкомыслие в него же».

В этом доме было что-то много комнат и много жильцов. Из них, кроме Булыгиной, запомнилась мне Зинаида Михайловна Гагина, бывший член Петербургского теософского общества. Ей и тогда уже было за восемьдесят. Маленькая, худенькая, в просторных не то платьях, не то халатах, и — белые, пышные, стриженые волосы, как нимб вокруг головы. На сморщенном личике выражение доброй ко всем расположенности, доброта эта светилась и в больших голубых глазах, впрочем, в них и безумие угадывалось. Она смутно воспринимала окружающее. Меня, например, упорно считала восемнадцатилетней, как я ей ни втолковывала, что давно этот возраст миновала... В погожие летние дни она любила сидеть в саду дяди Вани. Его веранда выходила на клочок земли, отгороженный забором от двух переулков. Этот уголок дядя Ваня превратил в цветущий сад: молодые деревья, кусты сирени, черемуха, клумба с цветами, дикий виноград. Летом все это шелестело, благоухало, изумляло прохожих. Зинаида Михайловна просиживала там часами: руки на коленях, глаза

устремлены ввысь к верхушке сиреневого куста, на лице мир, тишина, покой. Иногда она что-то шептала. Молилась? Разговаривала с цветами, с кустами? За ней являлась домашняя работница Герье — эдакая нянюшка, круглая, уютная, в белом переднике, и говорила: «Пожалуйте в комнату, вам кушать принесли».

Ни на кухне, ни у телефона Зинаида Михайловна не появлялась, с земными делами, с земной суетой она покончила. Не сеяла, не жала, в житницы не собирала, и отец ее небесный заботился о ней. Кров над ее седой головой обеспечивался Софьей Владимировной, уютная нянюшка-старушка стирала и убирала, а кормили Зинаиду Михайловну бывшие члены Петербургского теософского общества.

Ежедневно в одно и то же время скрипела дверь и на кухне появлялась высокая, худая старуха, в чем-то длинном, темном, в шляпке, а в руке — эмалированные судки. Старуха произносила: «Добрый день!»: затем пересекала кухню по диагонали, разжимая тонкие уста, чтобы сказать: «Пардон!», если в кухонной тесноте кого-либо задевала. Я слышала, что старух, носивших обеды Гагиной, было три или четыре, и ходили они по очереди. Но то ли они были похожи друг на друга, то ли я видела лишь одну...

Дом в Гагаринском держался долго. Вокруг него в обоих переулках, переименованных, возвышенных до ранга «улиц» («улица Рылеева», «улица Танеева»), рушились старые особнячки, возникали безлично-комфортные розовые здания с лоджиями, а этот простоял всю первую половину семидесятых годов, будто забыли о нем. Лишь летом 1975 года я увидела вместо дома зеленую, травой поросшую лужайку. Мило, невинно выглядела эта лужайка под ярким солнцем, казалась маленькой, и не верилось, что на ней помещалось столько комнат, столько коридоров и закоулков и гудела голосами и когда-то примусами большая кухня... От сада дяди Вани уцелела сравнительно молодая, им посаженная береза и сиреневый куст, только всего. Рядом с кустом была скамейка, на которой любил сиживать вечерами мой дядюшка, и мне сразу увиделось, как он сидит тут, среди зелени и цветов, дела рук своих, седой, семидесятилетний человек. И жена его выходила посидеть с ним рядом, грузная, крупная, в сильных по близорукости очках и тоже совсем седая. Бывало, прохожие останавливались полюбоваться на эту мирную сценку и улыбались добрыми улыбками.

...Из четырех сыновей бабушки Иван оказался самым счастливым. Старшие, Александр и Павел, последние годы жизни провели в одиночестве, без ухода и заботы близких, а сами позаботиться о себе не умели. Правовед Павел Дмитриевич был, как мне говорили, кладезем юридических познаний, держал в голове все законы и прошлые, и нынешние, помнил все исключения, отступления, прецеденты. Читал на четырех, не считая русского, языках. Не человек, а ходячий справочник, в этом качестве его ценили, но началась война, не до юриспруденции тут было, да и столица опустела, и я не знаю, от какой болезни скончался Павел Дмитриевич в своей одинокой комнате на какой-то из Тверских-Ямских... В горькой нужде и одиночестве умер в Харбине и Александр Дмитриевич, плодовод, садовод, метеоролог и тоже кладезь знаний... Каковы были последние дни третьего сына бабушки, горного инженера Дмитрия Дмитриевича, где и когда именно он умер — знать мне не дано. А Иван Дмитриевич был окружен заботами жены, женщины энергичной, к жизни приспособленной, и умер в декабре 1963 года в возрасте семидесяти четырех лет, скоропостижно, от сердца. Прах его покоится на кладбище Введенские горы. На могиле серый полированный камень, на нем золотые буквы, а на кусочке земли, зажатом каменной подковкой, растут анютины глазки, посаженные вдовой.

Матери свое пребывание в Москве я описывала так:

«...Наутро, после приезда, сделала уж не знаю сколько верст пешком — глядела на Кремль, на Василия Блаженного, на Красную площадь, ходила по арбатским переулкам. Ужасно мне понравилась Собачья площадка, дом Хомякова, старые особнячки, в которых живали и бывали Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Аксаков... Нет, должен русский человек жить там, где складывалась его история, делалась его литература! Была, конечно, в Третьяковской галерее. Дядя с теткой водили меня в МХАТ, мы видели «Пиквикский клуб» и «Школу злословия»... А метро тут какое! Каждая станция — подземный дворец!»

Но о самом главном, что случилось со мной в Москве,— ни слова.

Случилось же вот что. Однажды дядя Ваня, вернувшись с работы (был он старшим научным сотрудником в Министерстве сельского хозяйства), извлек из своего портфеля специально для меня им раздобытый проспект высших

учебных заведений Москвы. Вот когда я узнала о существовании Литературного института имени Горького, где дают высшее образование литературно одаренным молодым людям. О чем-то именно в этом роде я мечтала, но надеяться не смела, такого же не бывает, а оказалось, есть, существует!

Утром я была на Тверском бульваре. Решетка, за ней сад, там в глубине желто-белый особняк, на воротах барельеф — профиль Герцена, он родился в этом доме! Тепло, апрель, лужи, голые ветви деревьев, голубое весеннее с облачками небо: «О, весна без конца и без краю, без конца и без краю мечта...» — я шла по дорожке, ведущей к подъезду, и сердце мое колотилось.

Двери, выходящие в коридор, закрыты, идут лекции, коридор пуст, и уж не вспомнить мне, как я попала именно туда, куда нужно: к секретарю кабинета литературы Лидии Васильевне Шепилиной. Один раз тогда я ее и видела, позже она в институте уже не работала, наружность ее в памяти отложилась смутно. Помню лишь ее ко мне доброжелательный интерес и то, как она изумленно округлила глаза, узнав, что я репатриантка. О существовании репатриантов она слыхом не слыхивала, что удивило меня: казалось, что о нас, понаехавших после войны из Китая, из Франции, все должны знать! Ошеломляющее впечатление произвело на Лидию Васильевну известие, что я нахожусь в СССР всего четыре месяца. «А родились вы где? Там?» Я — гордо: «Нет. В России». Мы беседовали приятно, ощущая друг к другу симпатию, и теперь Лидии Васильевне захотелось, в свою очередь, чем-нибудь ошеломить меня. «Идут семинары. В одной из аудиторий — Федин. Хотите взглянуть на него?» Хочу ли я взглянуть на живого Федина? «Необыкновенное лето» я читала в Казани, с «Городами и годами» познакомилась еще в Шанхае... Так хочу ли я увидеть Федина? О господи!

И я гляжу в щель двери, придерживаемой рукою Лидии Васильевны. В щелку только Федина и видно, студентов — нет, лишь голос слышен, что-то читающий, а Федин слушает, сидя за маленьким столом. Внешность Федина (выпуклые светлые глаза, назад зачесанные седеющие волосы, посадка головы) показалась мне достойно джентльменской, я видела его портреты, он похож, это именно Федин, я крайне взволнована. Мое волненье лестно Лидии Васильевне, ей хочется еще чем-то поразить это существо, явившееся в Литературный институт, подумать только, из

Шанхая! Шепчет, что в соседней аудитории Паустовский, но это на меня не действует, я тогда еще не читала Паустовского, притворяюсь удивленной лишь из вежливости...

Вернувшись в Казань, я и друзьям не обмолвилась о Литинституте — сглазить боялась. Сообщила лишь (и им, и матери), что с осени непременно буду пытаться поступить в какой-нибудь филологический вуз. Поскольку друзья мои тоже собирались продолжать образование, то к вступительным экзаменам по русской литературе, истории и географии мы стали готовиться вместе. Я писала матери: «Мы зубрим все. Никогда не думала, что я такая невежда! Герцена открыла впервые лишь недавно, о Чернышевском не имела почти никакого понятия. Не человек я была, а мыльный пузырь!»

Письма мои по-прежнему полны восторгов. Я впервые приняла участие в первомайской демонстрации (шагала с сотрудниками института), впервые увидела Волгу, и впервые в моей жизни случилось так, что не я искала работу — работа искала меня. «С 15 мая,— писала я матери,— меня зачислили в штат консерватории по совместительству, как здесь говорят. Жалованье: 450 р. Летом я там не нужна, а денежки все равно будут идти, здорово, а? Три дня записывала пленум композиторов Татарии, и за эту сдельную работу получила 750 р. Какое счастье, что я выучила стенографию!»

В конце июня мне удалось наконец расстаться с бабкой и Дусей.

Надо пожить в углу, чтобы мимо тебя постоянно ходили чужие люди, чтоб весь день орало радио и ты никогда не чувствовала себя дома, чтобы оценить эту радость — вынуть и разложить свои вещи, расставить книги, а главное — дверь за собой закрыть!

Это был старинный кирпичный двухэтажный дом на улице Свердлова. Думаю, что в те времена, когда эта улица называлась иначе, на первом этаже, находившемся на уровне тротуара, была лавка, а владельцы жили над нею. Помещение лавки и было переделано в две маленькие квартиры, в одной из них я сняла комнату. Вход со двора. Открыв дверь, попадаешь на кухню, служившую хозяевам столовой. Направо дверь в мою комнату (окна на улицу, головы прохожих выше окошек), налево, отделен-

ные от меня кухней, жили хозяйки, тоже мать и дочь, ничем, к счастью, не напоминавшие Дусю и бабку.

Мать, Анна Ивановна, работавшая в сберегательной кассе, голоса никогда не повышала, называла меня лишь по имени-отчеству (не Дуся!), честность ее не вызывала сомнений, за год жизни в этой комнате из моих вещей ничего не пропало — не бабка! Отношения у нас сложились корректно-отдаленные, мы были разделены как бы стеклянной стенкой, пробивать которую ни у меня, ни у Анны Ивановны охоты не возникало. Что-то было в ней уклончивое, смесь робости и хитрости, такая тихая, скромная и вместе с тем — себе на уме... Дочь Валя, плотная, румяная блондинка, училась на третьем, кажется, курсе Экономического института, не напоминала мать (маленькую брюнетку) ни наружностью, ни нравом — веселая, громкоголосая, певунья и хохотунья. Но Валина шумливость, ее хохот и песни не раздражали меня, не мешали моим книжным и стенографическим занятиям, ибо в доме царила атмосфера семейного согласия, никто не ссорился, злых слов не выкрикивал, и всегда молчала черная тарелка радио в кухонном углу...

И я поначалу наслаждалась своей комнатой, хотя дверь, о которой я мечтала, долгожданная эта дверь не закрывалась. Притворить ее можно было, плотно затворить — нет. Рассохлась. Всегда щель. Хотя уборная и здесь была во дворе. И хотя за счастье своего, отдельного жилья надо было платить 200 рублей в месяц плюс шесть кубометров дров за зиму. Дровами снабдил меня институт. Сотрудники института за меня радовались, а я всем хвасталась, что вот наконец живу по-человечески, могу вечерами работать и в научной библиотеке теперь, спасибо, не нуждаюсь!

«*26 июня*... Отпуск полагается мне лишь через 11 месяцев, но добрый Шулутко позволил мне уехать 15 июля. Консерватория тоже отпускает до 1 сентября, летом я им не нужна. Часть отпуска беру за свой счет, съезжу к теткам в Ленинград, на обратном пути побуду в Москве у дяди Вани. Господи, неужели я действительно увижу Ленинград?»

Ранним июльским утром я увидела «тот город, мной любимый с детства». Я его совсем не помнила, но кровную с ним связь ощущала всегда. Тут росла моя мать, тут жила ее семья, учился в Морском корпусе отец, здесь

родились мы с сестрой. Я любила этот город заочно. Знала наизусть все воспевающие его стихи, от «Невы державное течение» до строк эмигрантских поэтов... В Москве, садясь вечером в вагон, я знала, что идет он прямиком в Ленинград, не следует удивляться, что именно туда я и попаду. А все же, когда утром я увидела над зданием вокзала большие буквы: «ЛЕНИНГРАД», внутри у меня что-то задрожало.

Оставила чемодан в камере хранения, пошла пешком. Расспрашивая встречных, вышла на Суворовский проспект, а дальше спрашивать никого не требовалось, надо идти, идти, пока не возникнет дом с нужным номером. Номер дома, номер квартиры я знала наизусть, я бы вспомнила их, разбуди меня ночью, я видела их написанными рукой матери на сотнях конвертов и рукой бабушки (обратный адрес) тоже на сотнях. Шла я медленно, озираясь, прохожих мало, широкая прямая улица пустынна, там, вдали, ее замыкает белый храм с куполами, это что же, это Смольный? Шла и шептала: «Я приехала к тебе, Петербург, Петроград, Ленинград. Я вижу тебя наконец!» И вот он, этот дом, и лестница, и дверь, и я звоню. На пороге пожилая женщина, смуглая, темноволосая, на мою мать похожая, лицо строго-вопросительное: дескать, кто вы и к кому в такую рань явились? Я не успеваю открыть рот, чтобы произнести «тетя Мара», как лицо ее изменилось, осветилось, мы обнялись, затем я попадаю в объятия вдовы моего дяди, тети Алины,— она выбежала из комнаты в халате, с распущенными по плечам русыми волосами, с гребенкой в руках... А вот мой двоюродный брат Дима, бывший «Бубилка», бабушкин любимец,— теперь это длинный, худой, светловолосый и голубоглазый девятнадцатилетний юноша. И кузина Катя появляется из комнаты за кухней (бывшей бабушкиной) — ученая молодая женщина, химик, кончающий аспирантуру... Еще не ушла на работу Евдокия Николаевна Урядова, медицинская сестра, всю жизнь жившая около Воейковых... Меня называют моим детским именем «Тата», спрашивают, почему я не известила о дне приезда и где мои вещи... Мы пьем кофе в большой комнате, «столовой», хотя тут же за ширмой кровать тети Алины и диван, на котором спит Дима. А еще тут буфет, рояль, книжный шкаф, кроме обеденного стола еще и письменный, а со стен глядят на меня все те же фотографии, «дядюшки-профессора» и бабушки Ольги Александровны...

В тот день я впервые увидела комнату, где бабушка писала свои бесчисленные письма: нам в Харбин, Мусе в Циндао, младшей дочери Марье Дмитриевне и сыну Павлу в Москву, Алеку и его матери в Астрахань, а также раскиданным по свету друзьям — в Симбирск, в Самару, в Ниццу, в Париж. Позже из этих писем я узнаю, что марки были главным ее расходом: «За один только месяц я опустила в почтовый ящик сорок четыре конверта... Скорее за перо, пока мой маленький деспот Дима гуляет и занят на улице всякими «ту-ту», трамваями, собаками и голубями. Быть может, до его возвращения удастся кончить письмо, а то и еще одно написать. Мои корреспондентки старенькие и ценят ласку».

В письмах, адресованных Марье Дмитриевне, я найду упоминания о каких-то московских старушках: «Ты ничего не придумала, Мара, чтобы помочь моим двум старушкам, которые живут на Каляевской?» О старушках, живших в Ленинграде, бабушка заботилась сама: «Была сегодня у Зои Сергеевны, отнесла ей две булочки...», «Завтра думаю навестить слепую старушку, два дня собираю ей булочек, сухарей, пирожных...»

Зрение ее становилось все хуже: «Я не вижу того, что стоит на моем столе, постоянно надо ощупью проверять. Мне легче написать, чем перечесть мое писание...» В последние годы жизни она жаловалась на колено, которое «дурно выносит сиденье за столом». Эти боли заставили ее уменьшить «безмерно обильную корреспонденцию», но не прекратить.

Но в то июльское туро, когда я впервые вошла в дом на Суворовском проспекте, я не испытывала особого интереса к покойной бабушке и ее письмам. Мать требовала, чтобы я их читала, и приходилось откладывать интересную книгу и погружаться в изучение этого мелкого почерка, этих фиолетовых, друг на друга набегающих строчек. Никакого вознаграждения мои усилия не сулили — я не знала, я не помнила тех, о ком писала бабушка, ну, купили наконец валенки или заменили, слава богу, примус на керосинку, очень рада, но мне-то, мне-то что до этого? И засело в глубине души отталкивание от этих писем, в котором я и себе не осмелилась бы признаться. С детства внушено: бабушка человек удивительный, письма ее — драгоценны, это не подлежало обсуждению...

Молодая, полная энергии, веры в себя, уверенности в том, что здесь, на этой земле, я найду наконец свое место

и будет у меня высшее образование (о Литературный институт!), радостно возбужденная свиданием с Ленинградом, знакомством с родственниками и добрым приемом — ступила я в то утро на порог комнаты, где жила и умерла бабушка... «Теперь это моя комната,— говорила кузина Катя,— но все так и осталось, как было при бабушке, ее стол, ее диван, а вот ее чернильница...» Я слушала, придав своему лицу выражение вежливого интереса... Предмет, названный «чернильницей», не был похож на чернильницу. Эдакий кувшинчик восточного вида, медный с резьбой, с прямоугольной ручкой, хороших пропорций: вытянутый узкий вверх, овальный низ и подставка, как бы повторяющая этот овал в расширенном виде... На откидной крышке сидела медная бабочка с медными же выточенными крылышками, внутри стеклянная чашка, сохранившая фиолетовый с ядовито-зеленым отблеском цвет чернил, которыми пользовалась бабушка...

Я повертела в руках этот музейный экспонат, поставила на место, затем выглянула в настежь распахнутое, высоченное окно, а под ним, а за ним крыши, крыши и безоблачное небо, чудесный летний день, сейчас пойдем с Димой на вокзал за чемоданом, а потом, а потом... Медный всадник, Летний сад, Исаакий, нет, неужели я действительно в этом городе?

Через двадцать лет в одном из бабушкиных писем я прочитаю: «Июнь, а шквалистый ветер несет серые дождевые тучи, холодно, дует с моря. Наш седьмой этаж невыгодный собиратель ветров. Окно в моей комнате довольно ветхого вида, со щелями. Внутреннюю раму пришлось унести на чердак, слишком с ней опасно, чтобы когда-нибудь налетевший буран стукнул бы это громоздкое сооружение. Открытые, они достают до моего стола. Невозможно допустить, чтобы разбилось стекло, 25—30 рублей из кармана, и очень трудно достать. Люди месяцами живут с разбитыми стеклами» (1932 год).

И должно было пройти с того июля 1948 года двадцать лет, чтобы я вошла в бабушкину комнату уже совсем с иными чувствами... Бывала я в ней часто (обе мои тетки и Катя до начала семидесятых годов жили на Суворовском проспекте), и мне легко вообразить бабушку за ее столом, отодвинутым от окна, чуть не в центр этой длинной и узкой комнаты... Стол обыкновенный, не тумбы с ящиками — ножки. Потертый кожаный бювар, в стакане карандаши и перья, и медный кувшинчик-чернильница.

Я вижу бабушку, склонившуюся над столом так низко, что ее нос с горбинкой почти касается бумаги, вижу черепаховые шпильки в седых волосах. Перо иногда попадает мимо чашечки, тыкается в медную стенку чернильницы, и бабушка ощупывает ее левой рукой, на безымянном пальце перстень с камеей... Рядом щебечет и требует к себе внимания седьмой внук Дмитрий, и вот заныло колено, но бабушка пишет. Она знает, что исписанные ею листки — это нити, связывающие детей и внуков, раскиданных по свету. Когда она умерла — эти нити надолго порвались...

А когда она умерла? День, месяц, год? А от какой болезни? Подумать только, я и этого не знала! О годе представление имела (кажется, тридцать шестой?), о дне и месяце — никакого, и не вспомнила бы, не найди я в материнском архиве голубоватый, порванный на сгибах конверт с полустершейся карандашной надписью: «Письмо Мары о смерти мамы. Октябрь, 1936»...

Значит — было письмо. А до него, как из письма выясняется,— телеграмма. И я еще не уехала в Шанхай, и мы жили на Конной улице, все было при мне, на моих глазах — телеграмма, письмо, лицо матери,— а я не помню ничего!

Вот панихиду в маленькой церкви харбинского женского монастыря — панихиду помню, да и то, думается, из-за молодой монахини, поразившей мое воображение... Она возникала то у одной, то у другой иконы, поправляя клонящиеся свечи, и я, глядя на тонкие пальцы, профиль, ресницы опущенных глаз, мысленно ставила себя на ее место и содрогалась: впереди длинная жизнь, и ничего в этой жизни не будет, кроме молитв, постов, постов, молитв, господи боже, как можно пойти на такое, что может заставить человека пойти на такое? В церкви шелест, все опускаются на колени, рядом со мной оледенелое, замкнутое лицо матери, мне стыдно, что я не делю ее горя, стыдно, что думаю о постороннем, я стараюсь слушать панихиду, стараюсь молиться (но я этого никогда не умела!), пытаюсь растрогаться, выжать слезу, твердя про себя «бабушки больше нет», слеза не выжималась...

«После двух дней улучшения наступил период возбуждения и бреда,— писала моей матери ее сестра.— Она все куда-то ехала, вспоминала Волгу, перебирала все пристани, ты где-то встречала ее, она торопилась сойти с парохода, чтобы не пропустить тебя, повторяя: «Катя

ждет... Катя...» Ей дали снотворного, она заснула и спала с маленькими перерывами 36 часов. Врачи предполагали воспаление легких... Через два дня принятыми мерами удалось добиться улучшения. Она пришла в себя, хотела встать, мы стали надеяться на благополучный исход. Но в ночь на 8 октября у нее поднялась икота, которую врачи не могли остановить. Сердце ослабело, дыхание становилось затрудненным... В 0 часов 42 минуты одиннадцатого октября она перестала дышать. Смерть наступила спокойно... Последние дни выражение лица ее было страдальческое, но в гробу она точно спала... Мы еще не пришли в себя, и пережитое кажется ужасным сном. В сердце пустота и холод, и окружающее так серо, так пусто без ее светлого и примиряющего взгляда».

Теперь я знаю, что судьба была милосердна к бабушке Ольге Александровне: она пережила только Мусю. Другие ее внуки и дети были тогда живы и здоровы.

Я прекрасно проводила время в своем родном городе (родном, родном, не Харбин же мне считать родным!) в том июле 1948 года. У Димы были каникулы, он всюду со мной ездил, и, если бы не некоторое беспокойство о Литинституте (примут ли?), я была бы совершенно счастлива. Вот отрывок из моего очередного восторженного письма матери:

«Мы с Димой были в Петергофе, бродили затем по садам лицея, где Пушкин «безмятежно расцветал», ездили на Елагин остров, ходили по Эрмитажу... Я смотрела на Медного всадника и думала, неужели это тот самый, который за Евгением «со звонким топотом скакал», неужели тот самый и я его вижу? Не верилось, что я хожу по набережной Невы, взбираюсь на Исаакия, гляжу на адмиралтейскую иглу, что я в Ленинграде, в моем Ленинграде! С тетей Марой и Катей были на могиле бабушки. Она похоронена в Шувалове, в удивительно красивом месте, на склоне холма, вокруг сосны, впереди озеро. День был дивный, солнечный, слегка прохладный... Дважды была в Русском музее. Шрамов войны почти не видно, полуразрушенные дома восстанавливаются, на месте совсем разрушенных разбиты скверы...»

В последних числах июля я вернулась в Москву и сразу ринулась в Литинститут. Там мне посоветовали заручиться рекомендацией какого-нибудь «писателя с именем». Мне удалось это сделать, и в августе я была допущена к экзаменам.

На первых же двух — диктант и сочинение — я провалилась. Из предложенных для сочинений тем я выбрала о Маяковском, я его тогда любила и писала, помнится, вдохновенно. Но что именно писала — из памяти выветрилось. «А сочинение ваше какое-то странное!» — сказал мне директор института В. С. Сидорин, беседовавший со мной после этих позорных провалов. Я не поняла, какие «странности» имелись в виду, а спросить не решилась.

Думаю, что дело было вот в чем. В советских учебных заведениях, ни в средних, ни в высших, я не училась, Маяковского, следовательно, не «проходила», и какими словами полагалось о нем писать в то время, мне, естественно, ведомо не было.

Что касается диктанта, то причины моего провала были ясны совершенно: две орфографические ошибки и девять не туда поставленных запятых...

...Диктовали нам отрывок смутно знакомый, когда-то читанный. Тургенев? Описывалось ясное летнее утро в среднерусской полосе, лужайка, лесная тропинка, пчельник, и мелькнуло прилагательное, заставившее меня содрогнуться: «дощатый»? «досчатый»? Спокойно. Спокойно. Если сомневаешься — напиши и так, и эдак, инстинкт одно отвергнет, другое примет. Написала. Фокус не удался: инстинкт ничего не отвергал, колебался, а раздумывать некогда, и могильным холодом повеяло на меня от этого радостного солнечного утра, от лужайки, пчельника, лесной тропинки... Проза лилась тут нескончаемыми потоками, их следовало сдерживать то тире, то запятой, то точкой с запятой. Инстинкт, придушенный страхом, умолк окончательно, и не на что опереться: школьные годы давно позади, грамматика забыта... Куда-то настойчиво просилась точка с запятой, но куда, куда именно? А будь они прокляты, эти фразы длиною в полстраницы, эта неторопливая описательность классиков XIX века! И мне вдруг представился Тургенев в шлафроке, в сафьяновых туфлях, уютно сидящий за столом (в окне вид либо Парижа, либо какого-нибудь аккуратного немецкого городка), с ностальгической грустью описывающий из своего прекрасного далека скромный русский пейзаж, и я ощутила к Тургеневу глубокую неприязнь...

Аудитория невелика, светла (высокие старинные окна, за ними зелень сада), нас, сидящих за черными, учеб-

ными, исцарапанными столами, немного, каждый на виду, заглянуть бы в листок соседа (как он там вышел из положения с «дощатый, «досчатый»?), но не могу! Преподаватель, диктуя, то и дело поднимает на нас глаза, он вскинет — а я заглядываю, позор! Не школьница. Не девчонка. Я тут едва ли не старше всех. Впрочем, не сильно старше, пришедших со школьной скамьи что-то не видать, большинству за двадцать, некоторым под тридцать, а то и больше — институт особый и время особое: совсем недавно окончилась война.

И вот, через два, что ли, дня, мы вновь сидим за исцарапанными черными столами. На моем, к примеру, чей-то перочинный нож сработал целую фразу: «Я люблю подмосковные рощи». Сколько усердия, сколько терпения, не пером писано — ножом, каждая буква усилие, какова, интересно, была цель этих трудов, испортивших казенную мебель? Я усмехнулась, помнится, не ведая, что сейчас мне будет не до смеха...

Вошли двое. Тот, кто диктовал нам, и с ним — заместитель директора. В их лицах, в их поступи было что-то грозно-торжественное: суд идет! Это и в самом деле был суд, явившийся назвать имена тех, кто не вынес первых испытаний, и объявить приговор: их осуждали на недопуск к дальнейшим экзаменам, закрывали дверь в институт...

Замдиректора поднял к лицу бумагу со списком осужденных, начал читать голосом нейтрально-спокойным, и вдруг громовой удар, будто рядом разрядили огнестрельное оружие,— так выстрелила мне в ухо моя собственная фамилия. Замдиректора теперь уже беззвучно, как в немом кино, шевелил губами — я оглохла.

В том же оглушенном состоянии я вышла из института, шла по бульвару, бормоча: «Я люблю подмосковные рощи...» Шла и шла, ничего кругом не видя, надо бы на троллейбусе, но я шла и шла, и к реальности, к Москве, к жаркому августовскому дню меня вернули рядом взвизгнувшие тормоза, чьи-то проклятья и лицо милиционера, передо мной возникшее. Я увидела залитую солнцем Арбатскую площадь (в те годы бестуннельную), мы с милиционером стояли в самом ее центре, автомобили огибали нас, я, оказывается, пыталась пересечь площадь по диагонали (что внесло смятение в ряды движущегося транспорта) и едва не стала жертвой «наезда»: из остановившейся неподалеку машины мне кричали что-то неодобритель-

ное и грозили кулаком. Милиционер жестом пресек это справедливое негодование, еще одним мановением руки приказал машине исчезнуть (она исчезла), после чего, указав мне на странность, а также недопустимость моего поведения, потребовал штраф в десять рублей. У меня не было десяти рублей. Отпустили так. Милиционер оказался душевным человеком. А быть может, вид у меня был такой, что дрогнул бы и камень.

Затем я лежала на веранде в Гагаринском переулке, лицом к стене, делая вид, что сплю, дверь в сад — настежь, мимо меня ходили на цыпочках, тетя Инна шептала: «Кажется — заснула. Пришла такая расстроенная! Провалилась на экзамене». И позже, вернувшемуся со службы дяде Ване: «Ваня, подумай! Она провалилась!» О моем позоре тетка сочла нужным уведомить всех обитателей квартиры, а также, думаю, своих знакомых, в тот день звонивших.

Под вечер я не выдержала, сказала, что голова болит, хочу проветриться. Тяжко было идти через кухню (сочувственные взгляды), но вот дверь затворилась, я на улице, среди прохожих, они ничего не знают обо мне. Я ходила по арбатским милым переулкам, и они сами привели меня на улицу Вахтангова. На этой улице, когда она называлась Николо-Песковским переулком, в доме, уже не существующем, родились и отец мой, и дед, и прадед... Ильины — москвичи, ну, а мне в Москве не жить, не жить, не жить. И в Литературном институте не учиться! Все кончено. Провалилась. И перед Симоновым-то как стыдно!

Симонов и был тот «писатель с именем», который рекомендовал меня в Литинститут. В то время Симонов был главным редактором «Нового мира», и я явилась туда с письмом Вертинского, моего старого друга по Шанхаю... Я ждала в редакции, пока меня примут, часа два или больше, в комнату, лишенную окон, где я сидела, выходило много дверей, из них выбегали, в них вбегали сотрудники (у некоторых гранки в руках), кипела жизнь, доселе мне неизвестная. Сотрудникам я страстно завидовала: счастливцы, работают в советской печати! Что там два часа! Я готова была тут сутки просидеть, наблюдая, изучая, впитывая. Да и куда мне торопиться? Меня приняли наконец. Взяли мою книжку фельетонов, велели вновь явиться через неделю. Явилась. Ждала. Приняли. Похвалили книжку, сообщили, что рекомендательное письмо в институт отправлено. Вот меня и допустили к

экзаменам. А я, боже мой, провалилась. Стыд-то, стыд какой!

Но стыд стыдом, а позвонить Симонову я обязана, поблагодарить его хотя бы через секретаршу. Этот человек, такой занятой, тратил на меня свое дорогое время, книжку читал, письмо писал... Нельзя же молча исчезнуть.

Звонила на другой день, из автомата. Бодрым голосом сообщила секретарше, что я, увы, провалилась, и просила передать... Мне сказали: «Сейчас соединю!» Но зачем? Я просто хочу... Моих протестов либо не слышали, либо секретарши уже не было на проводе, трубка оживилась неразборчивым редакционным шумом, и чей-то смех (они там бегают с гранками, счастливцы!), и голос Симонова, уже поставленного в известность, ибо первыми его словами были: «Неужели провалились? Как же так?» А вот так. Сама виновата. Плохо подготовилась, и вот результат. Даже пошутила насчет рабы, которая сама себя бьет, ибо нечисто жнет. Довольная собой (красиво держусь!), я собиралась перейти к изъявлению благодарности, но меня перебили: «Постараюсь что-нибудь придумать». Все. Трубка омертвела.

Я вышла из телефонной будки удивленная, смущенная, растерянная. Он понял, надеюсь, что я ни на что не жаловалась, ни о чем не просила, единственно долг вежливости хотела выполнить? Что он хочет придумать? Что тут можно придумать? Забыть. Завтра еду в Казань.

Но в тот же день я была вызвана телефонным звонком к директору Литинститута В. Сидорину. Он предложил мне подать заявление на заочный, куда меня примут без экзаменов. Если же весной я пройду испытания за первый курс — переведут на очный. «Идем вам навстречу из уважения к вашему несомненному литературному дарованию».

И в тот вечер я, как герой пастернаковского «Марбурга», не чуя под собой от радости ног, шаталась по городу и декламировала, на все лады повторяя: «несомненное литературное дарование...», «из уважения к вашему несомненному...».

Разумеется, об этих словах узнал весь дом в Гагаринском без хлопот с моей стороны — я похвасталась лишь тете Инне. И уже кухня меня поздравляла, и коридоры выражали свое удовольствие, и вот почему так мажорно начинается мое письмо к матери от 30 августа: «Мамочка, все хорошо, меня приняли в институт! Правда, на заоч-

ный, но неважно, год не пропадет. Это правильно, что я провалилась, это хлестнуло меня по моей самоуверенности. Уж теперь-то я грамматику одолею!..»

В то раннее утро моего возвращения Казань, неторопливо просыпающаяся, своим провинциальным обликом похожая на город детства и юности Харбин, показалась мне уютной, привычной, эдаким пристанищем усталого путника. После головокружительных шести недель знакомства с Ленинградом, переходов от надежды к отчаянью и снова к надежде в Москве — тишина, покой, ясность, моя линия в жизни определилась, я знаю, что мне делать, как жить.

* * *

И наступила вторая казанская зима. Зима 1948/49 года.

С первыми же холодами на правой от входа стене моей комнаты проступила мохнатая изморозь. Когда печку топили, по стене текли ручейки. Хозяйка Анна Ивановна топила печку лишь вечером, возвращаясь с работы. Ни Вале, ни мне драгоценные ключи от дровяного сарая не доверялись. Время от времени по неизвестным причинам гасло электричество, это продолжалось час, два, а то и больше, мне же дорога каждая минута, даже секунда, то расшифровка стенограмм, то конспектирование учебников, то контрольные работы на темы, присланные институтом. «Живу в вечном цейтноте,— писала я матери,— кроме Института ортопедии и консерватории стенографирую то там, то сям, зарабатываю хорошо. Могла бы зарабатывать и больше, но тогда пришлось бы жертвовать учением. Я же, что бы то ни было, заставляю себя сидеть над учебниками ежедневно».

В казанских магазинах свечи были, я купила их много и приучила себя не впадать в отчаянье при внезапном исчезновении электрического света. Зажигала свечу. Утешала себя тем, что люди прошлого века и вообще не знали электричества, именно при свечах писали наши классики свои бессмертные произведения. Правда, им не приходилось разбирать стенографические закорючки (скудный свет свечи замедлял процесс расшифровки), но зато слепой метод печатания на машинке помогал мне в эти безрадостные часы.

Вспоминая ту зиму, я прежде всего вижу два замерз-

ших окошка — они постоянно находились перед моими глазами. За окнами ничего не видно, они как замерзли с первыми морозами, так до весны и не отошли. «Что там, изморозь или гроза?» — мрачно думала я ахматовскими словами. А может, вьюга? Не слышно шагов прохожих, они там, верно, все уже вымерзли. На мне, поверх свитера, подпоясанный для тепла ватный халат, на руках старые вязаные перчатки с отрезанными наподобие митенок пальцами, я стучу на машинке, время от времени поправляя клонящуюся, на дно какой-то банки прилепленную свечу, иногда вскакиваю, чтобы потопать застывшими ногами, размяться, погреть руки, сунув их под мышки, на стене шевелится огромная тень, все предметы комнаты тонут во тьме, и боже мой, который час, и когда наконец вернется Анна Ивановна, да черт с ним, со светом, хоть бы печку затопили, уж что-нибудь одно, либо холод, либо тьма, это жить нельзя, когда то и другое вместе!

Чтобы радовать мать своими успехами, я посылала ей отзывы профессоров Литинститута на мои работы. Часть отзывов поэтому сохранилась. Перечитывая сегодня соображения преподавателя литературы относительно моего разбора повести Чехова «В овраге», я вижу, что меня упрекают в «чрезмерно рационалистическом подходе к творчеству». Это — результат влияния моих друзей, Виталия и Юры, постоянно учивших меня «преодолевать эстетизм» и рассматривать произведения литературы с точки зрения пользы, ими приносимой делу социализма... Между прочим, Юра, учившийся в католическом колледже, лишь недавно, в школе рабочей молодежи, начал знакомство с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем и Тургеневым. Достоевского не читал, имена Блока и Пастернака были для него звуком пустым... И этот человек учил меня понимать литературу! Но мне это почему-то тогда не казалось странным. Тот же Юра вместе с Виталием постоянно учили музыкального Олега «правильному отношению к музыке». И Олегу это не казалось странным. Мы с ним считались шаткими художественными натурами, нас могло занести не туда, куда следует, мы нуждались в руководстве, и вот нами руководили...

Свидания с друзьями сократились той зимой до одного раза в неделю. Виталий и Олег проводили у меня свои свободные вечера. К нам присоединялся Юра. «Наши посиделки не потеря времени,— сообщала я матери,— мы стали даже, по предложению Виталия, планировать свои

встречи. В следующий раз Юра расскажет нам о положении в Китае. Мне поручено сообщить о постепенном закрепощении крестьян в России, а Виталий собирается осветить нам аграрный вопрос конца XIX — начала XX века. Видишь, как мы потрясающе умны?»

Что и говорить: умны мы были потрясающе. И, принимая во внимание наш возраст, добавлю: умны не по летам! Виталий, к примеру, выдвинул однажды такую теорию: профессия писателя скоро отомрет. Классики минувшего века описывали, в сущности, жизнь бездельников. А в наше время нельзя описать человека вне его труда. Значит, прежде чем браться за перо, писатель обязан изучить профессию своего героя, превращаясь то во врача, то в инженера, то в токаря, то в шахтера. Это можно, но зачем? Кто лучше расскажет о труде токаря, чем сам токарь? Вывод: писатели-профессионалы нам скоро просто не понадобятся.

Лет семь спустя моя московская квартирная хозяйка нередко сетовала, что лишь отсутствие времени мешает ей засесть за роман. Она была весьма слабо образованной женщиной, и меня смешили ее слова. А той казанской зимой идиотская теория Виталия не рассмешила почему-то ни капли. А в самом деле: почему бы токарям самим не взяться за перо, оттеснив писателей-профессионалов?

В письме от 10 февраля я пишу матери: «...на второй семестр благополучно перешла по письменным работам. От нас, как ты знаешь, требуют еще и творчества. Написала недавно рассказ. С интересом жду оценки».

Я и сегодня с интересом познакомилась бы с этой оценкой... Видимо, она была благосклонной, ибо «зачет по творчеству» я получила. И рассказ бы этот перечитала не без волненья: он был написан на тогда модную тему — эвон куда меня заносило! Но рассказа не сохранилось. Я все обещала послать его матери, но так и не нашлось времени на перепечатывание. Смутно припоминаю лишь одну сценку: диалог молодого писателя из рабочих с эстетствующим критиком, происходящий на лоне природы,— беседуют у дачного забора, разделяющего их владения. Легко могу вообразить, что молодой писатель учит критика правильному подходу к литературе (слогом Виталия и Юры), а эстетствующий старикашка упорствует, не желая сдавать своих обветшалых позиций...

«Радуюсь моей работе в консерватории,— писала я матери,— идешь по залу, и из всех аудиторий музыка, му-

зыка, музыка. Я тут заодно и учусь, ибо стенографирую лекции по истории музыки...»

Но не только лекции стенографировала я в консерватории. В кабинете директора устраивались совещания, некоторые преподаватели обвиняли друг друга, и не мне было судить — справедливо или нет, но бывало, что после такого совещания застревал в душе неприятный осадок. Объяснить я его не могла, все ведь хорошо, справедливо, правильно... И я старалась осадок не взбалтывать, не тревожить, застрял там где-то на донышке души — и пусть, сам, быть может, рассосется, исчезнет...

Друзья мои и я были тогда такие твердые, несгибаемые, исполненные оптимизма, не знающие сомнений, глубоко положительные персонажи. Стремились к всегдашней ясности. Часто цитировали Маяковского, божились им, а вот почему-то ни разу не вспомнили тогда его прекрасных слов: «Тот, кто постоянно ясен — тот, по-моему, просто глуп!»

И странно мне читать мои письма к матери, той зимой написанные: «У вас тревожно в Китае, милая мама, а мы живем тут так просто и мирно!»

Я читаю сегодня эти письма, и мне слышится шепот мисс Бетси Тротвуд из любимейшего романа моего отрочества, все повторявшей, глядя на Дэвида Копперфилда: «Слепой, слепой, слепой!»

Комната моя оказалась и сырой, и холодной, и лишь мое тогдашнее железное здоровье помогло мне перенести зиму, ни разу не захворав. Посещала иногда тревога, в причинах которой я разобраться не могла и, видимо, не хотела. Было боязно хоть чем-то пошатнуть, сдвинуть душевное равновесие, ощущение покоя и прочности, доселе мне незнакомое. Я уважала себя: научилась хорошо делать свое дело, ни записи, ни расшифровка не доставляли мне прежних мучений. И я была тут нужна, меня постоянно звали стенографировать. Ушло чувство неполноценности, даже униженности, нередко посещавшее меня в Шанхае. Не шроф, ожидающий в передней. Не сборщица объявлений, от которой не чают, как отделаться. Стенографистка. Почетная профессия. «Сюда, пожалуйста. Вам удобно? Света достаточно?»

И главное: кончились метанья, суета, неуверенность. Отныне путь мой прям и ясен: меня ведут к заветной цели, через пять лет диплом советского вуза и профессия: «литератор». Мне надлежит лишь добросовестно следо-

вать указаниям, лишь выполнять, твердо зная, что именно требуется от меня. А учиться так весело! (Слова: «как весело учиться!» я нахожу в одном из писем к матери, той зимой написанном.) Голова моя сохранила свежесть и способность восприятия, память пусть и не та, что была в юности, а все же совсем недурна, учение дается легко, я любила себя за это.

Я не была тогда, разумеется, знакома со строками Ахматовой: «...но как нам быть с тем ужасом, который был бегом времени когда-то наречен?» — однако страх перед бегом времени испытывала постоянно, сама, видимо, не отдавая себе в этом отчета. Но догадывалась: совладать с этим ужасом может помочь лишь одно — сознание, что минуты и часы уходят не напрасно, что день не потерян.

Теперь я знала, *чем* заполнять вереницу дней, на пять лет вперед знала, была цель, было к чему стремиться, неумолимость бегущего времени не страшила — этим, думаю, объясняется душевное равновесие, обретенное той зимой.

«Вот мне за тридцать, милая мама,— писала я в Шанхай,— а чувство такое, будто жизнь лишь началась и все впереди... Сейчас весна, и по крутым казанским улицам бегут ручьи...»

* * *

В июне заочникам предстояло сдать восемь экзаменов и два зачета. Между испытаниями — два-три дня перерыва, профессора давали нам консультации, разъясняли то, чего мы во время наших одиноких зимних занятий не были в состоянии одолеть своими силами. На первом курсе кроме меня было еще две заочницы, но обе москвички, все же остальные — заочники (сколько их было? восемь? десять? — не помню!); представительниц «слабого пола» в этом институте было значительно меньше, чем «сильного»... Меня поселили на втором этаже в общежитии «девочек» («мальчики» обитали во флигеле), я была в комнате шестой, напротив, дверь в дверь, жили еще четыре студентки, одна из них была старше меня, все остальные моложе, но курсами старше. Они учились на очном отделении, свои экзамены либо сдали, либо досдавали, постепенно разъезжались, к концу месяца я осталась в комнате одна...

Но всю первую половину июня институт гудел наро-

дом, жил полной жизнью, звенели звонки, распахивались двери аудиторий, студенты курили в коридорах и на скамейках в саду, мелькали лица, многие из которых (чего я тогда знать не могла!) из жизни моей не уйдут, так все и будут мелькать передо мной, постепенно старея, то в писательских Домах творчества, то в клубе, то во дворе дома, где я живу,— больше тридцати лет прошло с того июня, и как же изменились эти лица, начиная с моего собственного!

Государственные экзамены были главным событием июня; они шли в зале, их принимала комиссия, что-то важное и торжественное совершалось за плотно затворенными дверями,— проходя мимо, все невольно замолкали от уважения... Однажды я почти наткнулась на выходящего из зала Федина, следом идут другие члены комиссии, а рядом с Фединым молодая женщина, блондинка, лицо огорченное, едва ли не заплаканное, а он говорит ей красивым барственным голосом: «Но, дорогая моя, а чего ж другого вы могли ждать, если в «Онегине» вы перепутали...» Тут их от меня заслонили, я так и не узнала, что именно перепутала эта несчастная и неужели провалилась?

Нет. Просто получила тройку. Это мне сообщают студентки, делившие со мной комнату. Их осведомленность потрясает меня. Я случайно, идучи из сада, наткнулась на выход комиссии, эти же трое так наверху и пребывали, и вот им уже все известно — и *кто* перепутал, и *что* перепутал, и даже какая отметка!

Студенток, деливших со мной комнату, было пятеро, но две из них из памяти моей почти выпали, обе скоро уехали, обе в Литинституте не доучились, с тех пор я с ними не встречалась. Трое же других учились на старших курсах, им скоро предстояли госэкзамены, и они близко принимали к сердцу судьбу тех, кто сдавал теперь... И были они переполнены своими делами, заботами, романами... Моя ближайшая соседка по койке, вернувшись однажды вечером из сада, улеглась, взяла книгу, но я видела — не читает. С таким вдохновенно-мечтательным выражением лица никто не читает, да и страницы не переворачивались... А не произошло ли именно в тот вечер решительного и счастливого объяснения? И она, и муж ее (как он был в те годы молод, худ и обтрепан!) до сего дня встречаются на моем пути, это дружная пара, у них взрослая дочь, внучка — целая жизнь прошла с тех пор...

К нам в комнату захаживали студенты. Один, высокого роста малый (вот его я никогда больше не видела!), навещал маленькую и пухленькую блондинку, говорившую со своим поклонником капризным тоном и вечно нагружавшую его поручениями,— проверяла, видимо, свою над ним власть... Насчет романов третьей — шатенка с красивыми серо-голубыми глазами — сказать ничего не могу. Была она сурова, неулыбчива, уверена в себе... И когда однажды к ней зашел студент (темно-курчавый, в очках, серьезный до мрачности), было ясно: визит чисто деловой. О студенте этом мне было позже сказано: «Талантливый прозаик. Любимец Федина».

И эти трое были прозаиками, одну хвалил Паустовский, другую отметил Федин, повесть какой-то из них была уже опубликована или принята к опубликованию,— короче говоря, я остро ощущала дистанцию, меня от них отделявшую. Они эту дистанцию тоже ощущали. На фоне всех волновавших госэкзаменов, а также событий их собственных биографий, испытания заочников-первокурсников (для меня едва ли не вопрос жизни и смерти!) этих институтских старожилок волновать, естественно, не могли. Моя особа тоже не сильно занимала их внимание... Поначалу, правда, удивились, узнав, что я живу в СССР всего полтора года, а прежде жила в Китае, но подробностями особо не заинтересовались... Из вежливости, однако, спросили — что я пишу? Фельетоны уронили меня в их глазах, фельетоны это несерьезно, это вам не романы, не повести, не рассказы... «Что? Сразу на машинке?» Тут мои акции упали окончательно. Пером надо писать, пером! И не вечным, а тем, которое макаешь в чернильницу, это сам Федин говорит! Пока макаешь, идет истинный процесс творчества, а из механического стукания пальцев по клавишам ничего путного не родится! Я, хотя неравенство свое с ними ощущала, держалась, однако, независимо, позиций не сдавала, спорила... В таком случае, быть может, есть смысл вернуться к гусиным перьям? И между прочим, Хемингуэй, кое-что путное родивший, пишет исключительно на машинке...

Звенели звонки, распахивались двери аудиторий, к нам беспрестанно забегали соседки из комнаты напротив, все четверо сдавали госэкзамены, их рассказы слушались с волненьем... Однажды одна из них исчезла, ей идти сдавать, а ее нет нигде, бегали, искали, окликали, под кровати заглядывали... Она не сумасшедшая прятаться под

кроватью! Нет, она именно сумасшедшая, с нее станет! Утром была сама не своя, глядела на фотографию своего ребенка и причитала: «Знал бы ты, что ждет твою мамочку!» Но в чем дело? Ведь уже три экзамена благополучно сданы! Но именно этого она боялась больше всего... Нервы не выдержали, вы же знаете, сколько ей пришлось пережить, когда...

Я вместе со всеми бегала, искала, включалась в разговоры о нервах и экзаменационных страхах, как весело ощущать себя не чужеродным телом среди институтских старожилок, а быть активной участницей этой волнующей жизни... Беглянку наконец обнаружили за каким-то коридорным шкафом, извлекли оттуда — маленькую, дрожащую,— говорили с ней добрыми, увещевательными голосами, пытались отнять фотографию (не дала, сунула за шиворот, а перед моими глазами мелькнуло изображение голого младенца на подушке), повели под руки вниз на экзаменационное судилище.

Все кончилось благополучно, и, помнится мне, через несколько дней, когда госэкзамены уже позади и зал с распахнутыми дверями утратил свой таинственно пугающий вид, оттуда однажды вечером раздались звуки рояля и женское хоровое пение — то прощались друг с другом обитательницы общежития для «девочек» — одни уезжали на каникулы, другие расставались с институтом навсегда... Я вошла, устроилась в уголке и слушала песни («мы кончаем нашу пятилетку на Тверском бульваре, двадцать пять!», и о бригантине, которая в далеком море поднимает паруса), сладостно мечтая о том, как я вольюсь в институтскую семью и стану в этом доме совсем своей...

Среди же моих сокурсников-заочников, приехавших из разных городов страны, я стала ощущать себя «своей» с первых минут знакомства. Нам предстояли одни и те же испытания, нас волновали одни и те же страхи, необычность моей биографии и тут никого особенно не занимала, до того ли, ведь решалась наша судьба (не сдадим экзамены — отчислят!), общий язык был найден мгновенно, ко мне сразу же стали обращаться на «ты»... Вместе сидели на консультациях, впервые знакомясь с профессорами, как школьники дрожали на экзаменах («как школьники, хотя за двадцать было всем, некоторые и на войне побывали, а у одного сияла на груди Звезда Героя), вместе ходили обедать в столовую театра, тогда еще называвшегося «Камерный»,— дешево и от института два шага —

и, когда мы веселой гурьбой дружно шагали по Тверскому бульвару, годы скатывались с моих плеч, я забывала, что почти полжизни прожито, казалось — все только начинается, все еще впереди.

Соседки по общежитию, смотревшие на меня несколько сверху вниз, как всегда старший по курсу, по классу смотрит на младшего, были доброжелательны, делились со мной опытом, давая краткие характеристики педагогам, с которыми мне предстояло иметь дело... Такой-то, например, требует понимания предмета и своих мыслей, а такому-то нужно, чтобы студент знал наизусть все даты, на датах и заваливает... А вот есть один... Лекции читает поразительно — художественный театр! — а пятерки на экзаменах ставит с необыкновенной легкостью, ставит, едва дослушав! То ли у него свои понятия об экзаменах, то ли от студентов ничего путного не ждет. Впрочем, был случай, когда кто-то получил у этого профессора четверку!

(Речь шла о С. М. Бонди. Легенду о чрезвычайном происшествии, о полученной у Бонди четверке, я и позже слышала, но никто не знал, в каком из вузов, где преподавал Сергей Михайлович, это случилось, с кем случилось и — почему. Все соглашались: чтобы довести Бонди до такой крайности, надо было совершить нечто чудовищное: либо не знать ни единой пушкинской строки, либо приписать Пушкину чьи-нибудь слабые стихи.)

Николай Иванович Радциг — история древнего мира. Не придирается, лишних вопросов не задает, но билет свой знать следует... А вот с братом его, Сергеем Ивановичем (античная литература),— не просто! Этот чудак настолько влюблен в свой предмет, что слабое с ним знакомство воспринимает как личное оскорбление, даже заплакать может, да, да, были такие случаи! Вопросы помимо билета задает исключительно из любви к своим Софоклам и Еврипидам, чтобы подольше о них побеседовать! Он, видимо, думает, что студент, бросив другие дела, должен посвятить все свое время изучению греческой и римской литератур, а в часы отдыха, прикрыв от наслаждения глаза, декламировать произведения Горация и Цицерона...

Со Славой Владимировной Щириной (основы марксизма) дело иметь можно. Если видит, что человек поработал, знает пусть не все, но хоть что-то, пойдет навстречу, поможет, задаст наводящие вопросы. Но — строга. В надежде на чудо к ней лучше не соваться.

Александр Александрович Реформатский. Введение в языковедение.

Это имя оживило моих соседок по комнате, а также гостью из комнаты напротив... Они весело переглянулись, и тут же — одна запела, а другие подхватили:

Нам зачет не страшен, братцы,
Мы сдадим его, ей-ей!
А вот Радциг, Реформатский —
Эти будут пострашней!

Затем — посыпались рассказы. Реформатский — человек веселый. Шутник. Предмет его прескучный, а на лекциях — не соскучишься! Только у Бонди бывает так же интересно... Со студентами обращается дружелюбно, чуть не на равных, многие хвастались, что выпивали с ним в шашлычной на Тверском бульваре... И думали, наивные люди, что дружеские беседы с профессором за рюмкой водки или за стаканом пива — помогут, на экзамен шли, особо не волнуясь, надеясь на то, что им окажут снисхождение... И что же? Помните, как один провалившийся все пел: «Как я ошибся, как наказан!» Потому что, сколько с Реформатским ни пей, сколько с ним ни шути, как ни воображай, что ты лично ему очень симпатичен,— на экзамене этот непредсказуемый человек смотрит на тебя так, будто видит впервые... А ведь еще что делает Реформатский? Раздаст билеты и уйдет. Ну, естественно, все извлекают учебники и быстренько — кто повторяет ответы на свои вопросы, а кто и конспектирует... Реформатскому это неважно, ему важно выяснить — понимает студент то, о чем так бойко рассказывает, или не понимает. Гостья из комнаты напротив вспомнила, как весной 1944 года она решила сдать «Введение...» досрочно, явилась к Реформатскому домой, взяла билет и вроде бы билет этот знала, но вдруг растерялась, испугалась, онемела... Молчание длилось. Вопрос профессора: «Скажите, сколько сахару вы едите в месяц?» — «Я и тут молчу, на этот раз от изумления, затем соображаю, о чем речь, отвечаю: «Совсем не ем. У меня сын маленький, все — ему».— «Так вот. Будем считать, что вы у меня не были, я вас не видел. Идите, постарайтесь хоть немного есть сахару, ну а в сессию снова придете».

Все эти рассказы рисовали Реформатского в чрезвычайно симпатичном свете, однако утешали меня мало. Ибо, по общим отзывам, провалиться у него было проще

простого, а заработать пятерку можно лишь тяжким трудом. Я-то трудилась, и все же...

«Введение в языковедение» начиналось со второго семестра, и в январе 1949 года секретарь заочного отделения З. Н. Болотова среди других программ выслала и программу этого предмета. Проглядев ее, я обомлела. Аккомодации. Ассимиляции. Эвфемизмы. Супплетивизм. Да еще какая-то фузия! В жизни своей я не сталкивалась с этими словами, что они, господи, означают? И были еще в программе какие-то чертежи, упоминания каких-то губных «м» и зубных «н» и какие-то загадочные рисунки... Ничего себе! Лишь память и прилежание требовались для одоления таких дисциплин, как история, литература, основы марксизма, даже — теория литературы. Там все было понятно. А тут! Одолею ли я? Одолею. Раз надо — одолею. В читальне казанской библиотеки я достала указанный в программе учебник А. А. Реформатского и стала одолевать. А вскоре послала отчаянно-умоляющее письмо в институт с вложением шести рублей (стоимость учебника), и Зоя Николаевна Болотова, добрейший человек, учебник мне купила и выслала...

Как жаль, что у меня не сохранилось испещренного пометками и подчеркиваниями, моими слезами и пóтом облитого, потрепанного, именно того экземпляра светло-коричневой, в 1947 году Учпедгизом изданной, тоненькой книжки! Тоненькой. Но — томов премногих тяжелей! Я очень страдала над ней, доходя до всего своим умом, но кое-что мне так и не далось, я не могла понять «варианты и вариации фонем», не могла, как ни билась, и не было среди моих казанских знакомых никого, кто мог помочь мне... Отмерзли два маленьких окошка в моей комнате, за ними замелькали прохожие с усеченными головами, стали светлеть, светлеть вечера, близился май, за ним июнь, а я все еще мучилась с этими вариациями...

Мои соседки по общежитию утешали: «Ничего. Ведь у вас будут консультации. Он сам все объяснит!» Утешали. Но и пугали. Одна из них, как-то встреченная внизу в коридоре, сказала: «А хотите взглянуть, как Реформатский принимает экзамен?» Она осторожно приоткрыла дверь, ведущую в одну из аудиторий, и жестом пригласила меня заглянуть в щель. Я заглянула. В аудитории находились двое друг против друга сидевших, друг на друга молча глядевших... Один — плечистый, с высоким, увеличенным лысиной лбом, поставив локоть на стол и зажав

в кулаке рыжевато-русую бороду, глядел выжидательно и загадочно. На лице другого (молод, бледен, вихраст) выражение мольбы и муки, и при ярком из окна свете были видны капли пота, блестевшие на этом страдальчески наморщенном челе... Было впечатление, что я увидела один из кругов меня ожидавшего ада... «Второй раз сдает,— деловито сообщил мой Виргилий, когда мы отошли.— И, по-моему, снова заваливается!» «По-моему, тоже!» — ответила я не своим голосом.

Меня поражало легкомыслие некоторых новых друзей моих, заочников-первокурсников. Особенно поразил меня один из них, весельчак не первой молодости, житель Калуги, приехавший оттуда на собственном мотоциклете. «А эту книжку,— сказал он, кивнув на учебник Реформатского,— я не открывал еще!» «Ты сошел с ума!» — вскричала я. «А что? — не сдавался весельчак.— Три дня дают на подготовку. Успею!» Он не успел, конечно. И легкомыслие его было жестоко наказано...

Я же изумляла новых друзей своим прилежанием. Вечерами меня звали гулять, Москву смотреть — а я сидела за книгами. В те июньские дни отмечалось стопятидесятилетие со дня рождения Пушкина, у памятника — венки, цветы, речи, толпы, весь наш институт туда побежал, а я в опустевшем, вымершем доме в полном одиночестве сидела за книгами. В двух шагах, на Тверском бульваре, выступали известные ученые, писатели, актеры, такого я никогда не видела и, вероятно, никогда не увижу, это беспокоило меня, но я стойко беспокойство преодолевала. Главная цель — хорошо сдать экзамены, этой цели следует все подчинить. И я подчиняла.

Ни в харбинской средней школе, ни в Ориентальном институте особым прилежанием я не отличалась, «первые ученики», «зубрилы», тихони, поедавшие глазами учителей, раздражали меня. А тут я сама превратилась в зубрилу, да еще в моралистку. Читала нотации своим сокурсникам. На нашу долю выпало счастье, нас допустили в Литературный институт, нас учат бесплатно (а «очникам» и стипендии дают!), так чем мы можем ответить государству на эту заботу? Только одним: старанием, прилежанием! Проповедники-моралисты не всегда бывают искренни (говорят одно, делают другое), я же подкрепляла свои слова примером (от книг не оторвешь!), и, видимо, эта убежденность плюс особенности моей биографии позволяли сокурсникам выносить мои проповеди без раздражения.

Вполне, однако, возможно, что за глаза меня называли «чудачкой» (хорошо, если не «занудой»!), но относились ко мне добродушно и нередко прибегали к моей помощи. Одному я объясняла разницу между глухими и звонкими согласными, с другим беседовала о ямбах и хореях, третьему излагала содержание романа, в обязательном чтении указанного, но этим студентом не прочитанного... Быть может, я не так бы уж спешила на помощь ближнему, если б эти занятия уводили меня от главной цели, но они не уводили, напротив. Помогая другим, я повторяла пройденное... Казалось бы: после таких трудов можно не бояться экзаменов. Но я боялась. Неизвестно чего ждать от преподавателей. Одну из наших соседок на госэкзамене член комиссии попросил описать платье, в котором была Вера Павловна из романа «Что делать?» во время своего четвертого сна! Спрошенная на вопрос ответить не смогла и получила сниженный балл. Услыхав этот жуткий рассказ, я чуть было не кинулась в институтскую библиотеку, намереваясь вновь перелистать роман (в свое время я одолевала его со скукой, тщетно убеждая себя его любить), но порыв свой сдержала. Не надо суетиться. Видит бог, я сделала все, что было в моих силах, и — будь что будет!

Хорошо ли я сдала экзамены? Я их сдала отлично. Все восемь. Что именно меня спрашивали, как все это происходило — уже не помню. В памяти застряли лишь три — те, которых я опасалась больше всего...

Экзамен по основам марксизма принимали двое: завкафедрой Леонтьев и С. В. Щирина. Отвечая на вопросы билета, я блеснула знанием трудов, указанных в программе как чтение не обязательное, а лишь дополнительное, чем порадовала экзаменаторов (они одобрительно переглядывались), говорила вдохновенно, а когда умолкла, то Слава Владимировна воскликнула, обращаясь к коллеге: «Вы подумайте, ведь она всего полтора года живет в СССР!» Счастливая и гордая, я покинула аудиторию...

Сергей Иванович Радциг: хрупкость и белоснежность. Мал ростом, худощав, белейшая маленькая борода, белейшие волосы, белый костюм, и такой весь чистенький-чистенький. Я села напротив него, отдала свой билет, а Сергей Иванович взглянул на меня влажными глазами: он только что плакал. Студенту, отвечавшему до меня, был задан вопрос: «Какие переводы Пушкина из Анакреонта вам известны?» Студенту эти переводы известны не были.

Молчание длилось. И вдруг Сергей Иванович воздел к небу свои маленькие руки и вскричал прерывистым голосом: «Заросла, заросла народная тропа!» Всхлипнул и высморкался... Печально, не ожидая ничего доброго, глядел он сейчас на меня невысохшими глазами. Я хорошо знала свой билет. Этого оказалось мало, чтобы совсем уж утешить Сергея Ивановича. Мне были заданы дополнительные вопросы, из которых последний помню до сегодня: «Что вы можете сказать о Петронии?» Я так много могла сказать о Петронии, что меня пришлось удерживать: «Довольно, довольно!» Счастливая и гордая...

И, наконец, «Введение в языковедение»...

Все преподаватели, которым предстояло принимать у нас экзамены, давали нам консультации. Эти предварительные знакомства с педагогами в памяти не сохранились, хотя все, кто в те годы учил нас, были специалистами своего дела и лекции их были несомненно интересны. Но в их поведении ничего необычного, а значит, запоминающегося не было. Входили, садились за кафедру, вставали, прохаживались, вновь садились, все обычно, академично, между студентами и профессором ощущалось расстояние, эдакая невидимая перегородка...

Реформатский вошел в аудиторию стремительно, под мышкой старый, туго набитый портфель (казалось, вот-вот лопнет!), потертый синий пиджак, рубашка без галстука, швырнул портфель на стол, поздоровался с нами (лицо располагающе добродушное, взгляд проницательный и не без хитрости), тут же обернулся к доске и — грозно: «А где тряпка? Да-с. Все бедность, да бедность, да беспорядки нашей жизни!» Обращаясь к студентам, сидевшим к нему ближе других: «А ну, отцы, кто из вас поживее, бегите за тряпкой!» «Отцы» рванулись бежать оба, одного удержали, другому было крикнуто вслед: «Да чтоб была влажная!» И никакой академичности, никаких перегородок, тем более что к месту, для профессора предназначенному, Реформатский и не подошел, сказал, кивнув в ту сторону: «К кафе́драм почтения нету!» Стал спрашивать, кому что непонятно в его учебнике, и тут же объяснял (на доске писал быстро, четко, сильно нажимая на мел, мел крошился), и уже мне казалось странным, что я так мучилась над «вариациями», все оказалось просто... В ответ на чей-то вопрос Реформатский заговорил об идиомах и нас включил в разговор, восклицая: «Ну кто еще даст пример?» Не лекция — оживленная беседа. Не все,

однако, в эту беседу включились, двое или трое студентов сидели тихо, вопросов не задавали, и, покосившись в сторону одного из этих молчальников, Реформатский сказал: «Вам, я вижу, все ясно? Что ж. Очень рад!» Интонация добродушная, а во взгляде ехидство... На следующей консультации нас уже называли кого по имени, кого по имени-отчеству, а к концу занятий довольно точно определили, кто из каких мест родом... Профессор запнулся лишь на мне, сказав: «Что-то, пожалуй, питерское, но не убежден! Надо вас еще послушать!»

(В том июне 1949 года ни ему, ни мне не могло прийти в голову, что скоро я стану его женой, и «слушать» меня он будет много, долго, вплоть до последнего часа своей жизни!)

Эта способность узнавать по произношению, кто откуда родом, была нам тогда непонятна, казалась волшебством, фокусом, в аудитории удивление, оживление, предстоящий экзамен пугал уже меньше, непохоже, чтобы этот чудаковатый, добродушный человек кого-то заваливал, нет, поможет, вытянет! Но я хорошо помнила предостережения моих соседок по комнате...

И все было именно так, как они рассказывали... Билеты розданы, Реформатский удаляется, мы вытаскиваем учебники, судорожно перелистываем, шелест, чей-то отчаянный шепот: «Жень! А где искать ассимиляции?» — «Да там же оглавление есть, ищи сам!» Одни повторяют ответы на билетные вопросы, другие — переписывают, ох, успеть бы, за дверью громкие шаги (нарочито громкие!) и голос Реформатского, он кого-то окликает, с кем-то вступает в разговор — сигнал предупреждения, пора прятать учебники. Спрятали. Профессор вошел, уселся и — нам: «Кто готов — пожалуйте!»

Экзамен длился долго. Никто так тщательно не проверял знаний студента, как Реформатский. Для тех, кто не поленился вникнуть в его нелегкую науку, экзамен превращался в приятную дружескую беседу, кончавшуюся не только отличным баллом в зачетке, но и добрым словом, похвалой.

Но так называемая «кривая» на экзаменах Реформатского не вывозила никогда, и для студентов легкомысленных, неподготовленных экзамен превращался в маленькую пытку... Сдавшие покидали аудиторию, одни счастливые и веселые, другие... Помню, как один мой однокашник появился в коридоре с таким лицом, будто вышел из ба-

ни, сел на первый попавшийся стул или скамью, вцепился руками в голову (казалось, он пытается приподнять себя за волосы) и забормотал: «Дубина. Осел. Остолоп». Не мучителя проклинали, провалившись, проклинали себя. Как же достигал этого Реформатский?

Позже я услыхала от него такие слова: «Мой покойный учитель, Дмитрий Николаевич Ушаков, говаривал: «Студент — он бывает со всячинкой, но его, сукиного сына, любить нужно!»

Учеников в то время у Реформатского было множество — он одновременно преподавал в Горпеде (Педагогический институт имени Потемкина), но аудитория, даже самая многолюдная, безликой массой для него не бывала — студенты быстро ощущали его к ним небезразличие, его к ним живой интерес... Годы и годы спустя, старым человеком, Реформатский помнил не только всех своих учеников, но даже — кто из них как учился! «Такой-то? Как же, помню. Троешник». Или: «Такой-то? На твердую четверку знал, выше не шел». Верный завету своего учителя, Реформатский любил студента. Студент платил ему тем же...

В октябре 1950 года мне представился случай воочию убедиться в том, как популярен Реформатский среди своих учеников... Александр Александрович позвал меня пойти с ним в Горпед на обсуждение повести Юрия Трифонова «Студенты», опубликованной в «Новом мире». Мы явились в институт с опозданием, нас провели через боковую дверь, и, войдя, мы очутились за спинами президиума и того, кто в этот момент выступал... Внезапно зал взорвался аплодисментами. Недоумение президиума, растерянность выступавшего — с чего это они? Но глаза сидящих в зале устремлены поверх голов и членов президиума, и выступавшего, тот оборачивается, улыбается и сам начинает аплодировать... И я была изумлена, пока не догадалась: студенты увидели Реформатского и бурно выражают свою радость... К нему подскакивают, его ведут, усаживают, а зал все рукоплещет, я плетусь следом, ощущая неловкость,— эдакое триумфальное шествие под аплодисменты, не ко мне относящиеся. Усадили в первый ряд. Зал успокоился. Выступавший вспомнил, на чем остановился. Обсуждение продолжается.

Прямо передо мной, на том же уровне (эстрады не

было), лица тех, кто сидит за столом президиума, я, недавний житель Москвы, не знаю никого. Лишь одно лицо мне знакомо: очки, курчавящиеся темные волосы, серьезен до мрачности, выпускник нашего института, любимец Федина, талантливый прозаик, Юрий Трифонов... Я читала его роман, роман мне нравится. И всем нравится. Трифонова очень хвалили в тот вечер и как писателя, и как человека.

За моей спиной дышит, волнуется бурно на все реагирующий зал, передо мной серьезное, замкнутое лицо Трифонова... Совсем молодой, куда моложе меня, и вот уже такой роман написал, и вот уже слава, не рад он ей, что ли? Мне казалось, что он похож не на писателя, а на преуспевающего чиновника (боится уронить себя улыбкой!), мне чудилось в нем высокомерие, как же мало тогда я знала его, как плохо видела!

Сблизились мы позже. Гораздо, гораздо позже!

С 1968 года по 1977 включительно Александр Александрович и я проводили летние месяцы в маленьком доме на дачном участке друзей в том же поселке, что Трифонов. Виделись часто.

...Вечер. Август. За окном тьма, шуршит дождь по листьям берез, обступивших домик, печка топлена, тепло... Юра сидит на кровати, сгорбившись, уперевшись локтями в колени, Александр Александрович — к своему столу боком, к гостю — лицом. Разговор о шахматах, о литературе; об истории России, иногда — воспоминания о Литинституте. Я в соседней комнате накрываю стол (сейчас будем чай пить!) и подаю реплики. Очень уютно.

Но как же мы все трое постарели, как изменились с того вечера в Горпеде! Нелегкие пути привели каждого из нас к этой идиллической сценке на даче, к этой мирной беседе под шуршанье дождя за окном. Много чего происходило с нами и в жизни личной, и в жизни не личной за те двадцать с лишним лет, что прошли с обсуждения повести «Студенты»...

...В один из таких вечеров я — Юре: «Дай мне перечитать «Студенты». Я их совсем забыла!» Юра: «Не дам. Ну зачем тебе? Ведь я теперь пишу совсем иначе!» Я не настаивала. Я понимала его. И я не радуюсь, когда меня просят дать почитать роман «Возвращение». Я давно догадалась, что не беллетрист я, не романист, выше средне-

го уровня мне тут не подняться, а поняв это, ушла в тот жанр, к которому ощутила влечение с юности: в сатиру, в фельетон. Юра же долго, мучительно искал себя, искал свою тему, в «Отблеске костра», в некоторых маленьких рассказах («Игры в сумерках», например) к ней приближался, но окончательно нашел в «Обмене».

Своя наконец найденная тема позволила Трифонову подняться на иную ступень. Трифонов семидесятых годов — это сложившийся крупный прозаик, совсем уже иного качества, чем автор «Студентов». Он нашел себя, нашел дело, ему судьбой назначенное, попал в свое русло. У каждого из нас есть такое русло, только не каждому удается его найти, в него попасть...

...Тьма за окошками, дождь шумит, пьем чай. За столом с нами сидит уже не прежний кудрявый, худой, спортивный Юра с его немного напускной молодой мрачностью. Поредели его темные волосы, он полноват, немного вял, немного увалень, бросил курить, перестал играть в теннис. Умно-внимательный взгляд из-под очков, идущее от него ощущение честности, надежности, доброты придают его облику нечто «пьербезуховское». Много знал, много думал, умел рассказать, но и собеседника умел слушать и слышать. Мгновенно на все откликался, понимал с намека, ценил шутку — эта его незабываемая усмешка: дрогнут губы, веселеют глаза, светлеет лицо. А громко смеялся редко. Грустный человек.

Александр Александрович любил его и называл так: «Юра Три».

Их обоих больше нет. Да, даже Юры, который был моложе меня.

Рушатся куски жизни.

А тогда, летом сорок девятого года, мне казалось, что настоящая моя жизнь только началась, все прежнее было лишь к ней подготовкой, лишь черновиком...

Сдав экзамены за первый курс, я отправилась в Ленинград предаваться заслуженному отдыху. Матери оттуда пишу:

«Гощу у тетушек, ничего не делаю, шляюсь по городу, езжу по окрестностям. Дима перешел на четвертый курс, Катя кончает аспирантуру. Как же я опоздала по сравнению с ними! Но ничего. За мною мой жизненный опыт, он поможет мне, когда я начну писать... Все вспоминает-

ся московский июнь, экзамены, страхи, волненья и то, как было прекрасно ощущать себя членом студенческой семьи. Мне очень хорошо в моем отечестве, мама! Я отслужу, я отработаю, я всей остальной жизнью отплачу за то, как меня тут встретили, как отнеслись ко мне, сколько всего мне тут дали!»

Любительская фотография в альбоме матери: сад Литературного института, весна, на фоне стены Дома Герцена группа студентов-второкурсников. Среди них мое счастливое лицо.

АННА АХМАТОВА, КАКОЙ Я ЕЕ ВИДЕЛА

Ее имя, строчки стихов ее я знала с тех пор, что помню себя. В харбинской квартире моих родителей собирались литераторы, читали свои и чужие стихи, мы с сестрой так и засыпали под гремевшие за дверью голоса... И позже, обнаружив среди книг матери три тоненьких («Четки», «Белая стая», «Anno Domini»), я убедилась, что некоторые стихи этих сборников давно знаю.

(Прочного пристанища, дома, у меня не было множество лет, и в Харбине, и в Шанхае, и в первое десятилетие жизни в СССР вечно приходилось переезжать, чужие комнаты, чужие углы, и столько всего за эти годы утрачено, утеряно, а книги Ахматовой сохранились. Однажды я созналась Анне Андреевне, что стихи ее сопровождали меня всю жизнь, и показала ей эти сквозь скитания пронесенные, чудом уцелевшие книжки... Одну из них, самую потрепанную,— «Anno Domini» — Ахматова своим почерком, своей надписью сделала бесценной.)

До встречи с ней я видела ее такой, какой она была изображена Альтманом в «Четках» (сплошные ломаные линии) и Анненковым в «Anno Domini»,— лебединая шея, гребень, челка... Петербург, десятые годы, «Бродячая собака»: «Как я любила их, те сборища ночные...» Башня Вячеслава Иванова, где впервые были прочитаны стихи, на всю Россию прославившие перчатку, надетую не на ту руку... Петербурга больше нет. Есть Ленинград, откуда нам пишет бабушка. Вообразить Ахматову в Ленинграде, описываемом бабушкой, было трудно. Видимо, поэтому в отроческие и юношеские годы мне казалось, что Ахматовой на свете больше нет.

В Шанхае в годы войны и вплоть до отъезда в СССР я работала в газете «Новая жизнь», знакомилась с марк-

систской литературой, училась по-новому видеть мир, регулярно читала советскую прессу. Очень, помнится, удивилась, встретив там имя Ахматовой... Она была для меня фигурой легендарной, ушедшей, как град Китеж, вместе с Петербургом десятых годов в небытие. Оказалось, живая, реальная женщина. Но уж, верно, древняя старуха? Подсчитала, сколько ей примерно лет, и вновь удивилась: всего пятьдесят семь. Не так много. Ровесница моей матери.

В «Новую жизнь» я писала, кроме фельетонов, и публицистические статьи. Одна из них называлась так: «В традициях великой русской литературы» — и появилась на страницах газеты в октябре 1946 года. Статьи не сохранилось, к своим произведениям я относилась небрежно, многое утрачено, а жаль... Помнится, я клеймила там упадочную теорию искусства для искусства, призывая в союзники Белинского, Некрасова, Добролюбова и Чернышевского. Впрочем, запомнился мне лишь заголовок статьи, а также дух и направленность этого опуса, написанного с гневом, страстью и непримиримостью неофита.

...Могло ли мне прийти тогда в голову, что ровно через девять лет, а именно в октябре 1955 года, я буду рассказывать об этой статье Анее Ахматовой? Мы сидим с ней на диване, сумерки, заплаканные стекла окна, за ним — полуобнаженные деревья подмосковного сада, на плечах Анны Андреевны вязаный платок. Она спрашивает: «И обо мне там что-нибудь было?» Я — стыдливо: «Было. Кажется, я упрекала вас за то, что вы ушли в мирок интимных переживаний...» Она с усмешкой: «Что ж. Ведь вас здесь не стояло!»

Эту пародию на реплику, нередко доносящуюся из очереди, я услыхала тогда из уст Ахматовой впервые. Еще не раз в течение нашего одиннадцатилетнего знакомства она обратится ко мне с этими словами...

За несколько лет до этого, очевидно, в самом начале пятидесятых годов, я услыхала от кого-то, что Ахматова в Москве. Мне сказали, что она часто сюда приезжает, останавливается на квартире В. Е. Ардова. Меня поразило, что Ахматова, продолжавшая быть для меня фигурой легендарной, живет сейчас в том же городе, что и я, ходит по тем же улицам, ее можно запросто встретить. И еще поразило, что — у Ардова. Я была с ним отдаленно знако-

ма, встречалась в редакции «Крокодила», где, учась в Литинституте, внештатно работала. На очередной «летучке» я все косилась на Ардова, потихоньку его разглядывала (шутник, гаер, остряк, бородка ассирийская), никак не могла понять: что общего у него с Ахматовой? Позже поняла. Этим «общим» была жена Ардова Нина Антоновна Ольшевская (в те годы режиссер Театра Красной Армии), преданно и нежно любившая Ахматову, всячески о ней заботившаяся...

Лето тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года я проводила в подмосковном поселке Голицыно, где снимала комнату. Институт я годом раньше окончила, продолжала сотрудничать в «Крокодиле», подрабатывала и в журнале «Новый мир» в качестве литературного консультанта: писала отзывы на романы и повести, получаемые в так называемом «самотеке». Моего ежедневного присутствия в столице не требовалось, поэтому-то я и могла жить за городом. Столовалась в Доме творчества писателей.

Уютный дом всего на девять комнат; обедали за табльдотом на большой веранде, на стол по-домашнему ставилась большая суповая миска, а к пяти вечера появлялся огромный медный самовар. Никакого привкуса казенщины, казалось, что мы в гостях у радушной хозяйки. Этой хозяйкой была Серафима Ивановна Фонская, тогдашний директор дома.

Крупная, грузная, седая, с очень живыми черными глазами, Серафима Ивановна редко бывала в своем директорском кабинете. Если что надо, ищи ее на кухне. Серафима Ивановна лично наблюдала за работой поварихи и сама что-то жарила, что-то пекла из чистой любви к искусству, из желания порадовать своих писателей. Так и говорила: «Мои писатели». Во время наших трапез появлялась на веранде, давала указания подавальщице («Маша! Ты забыла, что Петр Иванович на диете!»), страдала, если видела, что кто-то мало ест... Интересы ее кухней и бытом не ограничивались. Принимала участие в литературных беседах, ведущихся за столом, вступала в споры, мнения свои отстаивала страстно — эмоциональнейшая женщина!

Однажды, когда разговор зашел о Куприне, я неосторожно заметила, что не люблю его как писателя, и боже, как рассердилась на меня Серафима Ивановна! Позже, проходя по коридорчику, где телефон, я в ужасе увидела,

что Серафима Ивановна плачет... Она сидела в кресле, глядя перед собой невидящими глазами, по полным щекам ее катились слезы, она рассеянно вытирала их передником, они катились снова... Я спросила: «Серафима Ивановна, что вы?» Она махнула рукой, отвернулась. И уж не помню, кто сказал мне с упреком: «А ведь из-за вас! Куприн жил в этом доме, когда вернулся из-за границы, Серафима Ивановна его обожала, а вы брякнули: «Не люблю!» Вот она и расстроилась!»

Вскоре я вновь увидела Серафиму Ивановну плачущей в том же коридорчике, в том же кресле... На этот раз она плакала от радостного волнения, и не я была повинна в этих слезах... Я шла через «телефонный коридорчик» и остолбенела, пронзенная именем, которое Серафима Ивановна прерывающимся голосом выкрикивала в трубку: «Ахматова! Господи! Это же наша юность!.. Да, да, восьмая освободится через два дня, ей там хорошо будет! Боже мой, да я... (громкое всхлипыванье), да я все для нее сделаю!»

К себе, в снимаемую мной комнату, я шла в состоянии оглушения и ослепления. Было ясно, что Серафима Ивановна разговаривала с Литфондом. Ей сообщили, что в дом едет Ахматова. Остальное было неясно, ибо я никак не могла себе вообразить, что здесь, рядом, появится живая Ахматова, будет, как все, завтракать, обедать и ужинать на веранде, жить в восьмой комнате...

В то время я жадно приобщалась к советской жизни, старалась изо всех сил ее понять, ее осмыслить и полагала, что Ахматовой (она ведь из того, ушедшего мира!) жизнь эта чужда и стихи ее несозвучны эпохе... Но я любила их, они вошли в плоть и кровь мою, и имя «Ахматова» меня волновало...

Она появилась на веранде во время обеда, сопровождаемая красивой, смуглой и стройной женщиной средних лет... Оговорюсь: наружность спутницы Ахматовой (ею была Н. А. Ольшевская) я заметила позже, тогда же мой взор был прикован к Анне Андреевне, и владело мною в тот миг чувство, похожее на то, какое я испытала, впервые увидев фальконетовский памятник Петру Первому: «Неужели это тот самый памятник и я, я его вижу?»

Когда она возникла в дверях, я вскочила на ноги. Позже, вспоминая этот день вместе с Анной Андреевной, я

уверяла ее, что встали все. Она усмехнулась: «Этого не было. Это вам померещилось». Не знаю. Может быть, и померещилось. Видела-то я только ее.

Ни лебединой шеи, ни челки, ни ломаных линий — ничего из ахматовского, по портретам знакомого облика. И все же эта высокая, полная, седая женщина, медленно ступившая на веранду, медленно, без улыбки, отчетливо произнесшая: «Здравствуйте!», любезно и величаво наклонившая голову в ответ на призывы нервно суетившейся Серафимы Ивановны («Сюда, сюда прошу вас!»), могла быть только Ахматовой. Она села. Веранда, только что гудевшая оживленными голосами, затихла, замерла.

С тех пор так и пошло. Наши оживленные застольные беседы замолкали с ее появлением. Никто не решался болтать при ней все, что приходило в голову. «Люди часто не слышат, что они говорят!» — сказала мне позже Анна Андреевна. В ее присутствии люди начинали себя слышать — так она действовала на окружающих. И не в том было дело, что они знали ее стихи, ее жизнь. Присутствие Ахматовой сковывало и тех, кто ничего о ней не знал. В ее молчаливости, в посадке головы, в выражении лица, во всем облике было нечто, внушавшее каждому почтение и даже — робость.

Через несколько дней я застала Ахматову за столом у самовара в одиночестве. К чаю являлись не все, а Нина Антоновна утром уехала в Москву. Чаепитие наше прошло в совершенном молчании. Ахматова встала. И тут я внезапно, сама своей смелости удивившись, спросила: не хочет ли она погулять?

Иду с ней рядом по тогда еще не мощенным голицынским улицам (она опирается на мою руку) и все украдкой поглядываю на ее знаменитый горбоносый профиль. Профиль не изменился.

Молчит. За ее молчанием напряженности не ощущалось, она умела молчать. Но я-то не умела. Казалось, надо непременно говорить о чем-то, о чем? Не о том же, что я с детства знаю ее стихи, все знают с детства, это она тысячи раз слышала, это ей неинтересно. Но что интересно?

Дошли до ближнего лесочка, Анна Андреевна села на пенек, отдыхая; я стояла. И уж не помню, от чего я оттолкнулась, чтобы начать рассказывать о Катерине Ива-

новне Корнаковой. Корнакову в Москве помнили, любили, о том, как сложилась ее жизнь за рубежом, тогда почти никто не знал, знала я, и мой рассказ неизменно слушался с вниманием. Тем летом в Голицыне я писала первую книгу «Возвращения» — эмигранты, их судьбы, их тоска и стремление на родину было любимой моей темой, этим я была переполнена и убеждена, что это интересно всем.

И, конечно, сознательно или подсознательно, мне хотелось заинтересовать Анну Андреевну своим рассказом, своей особой. Все эти дни я видела ее лицо замкнутым, суровым, иногда отдаленно любезным и жаждала увидеть его другим — размороженным. Но операция не удавалась. Лицо Ахматовой замкнуто по-прежнему, и я не понимаю выражения устремленных на меня серо-зеленых глаз. Ясно одно: теплого и ободряющего внимания нет в этом взгляде, контакта не возникает, и произносимые мною слова с каждым мгновением становятся все бесцветнее, все скучнее... «И вот она начала пить...» — пробормотала я, комкая повествование, в отчаянье от того, что вообще его затеяла...

Ахматова шевельнулась, протянула руку, показывая, что надо помочь ей встать, и я помогла, и мы снова двинулись в путь. Я молчала до самого дома, если не считать фраз: «Осторожно, тут лужа» и «Вы не устали?»

За ужином, как всегда, Анна Андреевна сидела прямо, молча, наклоном головы благодаря тех, кто передавал ей тарелку или хлеб, и, кончив еду раньше других, удалилась в свою комнату. За столом сразу наступило оживление, послышались голоса, смех... Внезапно она вновь возникла в проеме двери и, сделав мне знак рукой и глазами, снова исчезла. Должна ли я понять это так, что она приглашает меня к себе? Робея, постучалась в дверь ее комнаты, услыхала: «Войдите». Анна Андреевна сидела на диване, указала мне место рядом, подвинула пепельницу.

Сама она, как я позже узнала, бросила курить после инфаркта, а когда-то курила много, курильщиков понимала и не только никогда не запрещала курить в своем присутствии, напротив — приглашала. «Куренье — это цепь унижений!» — ее слова. От этой цепи унижений Ахматова сразу, с порога, стремилась избавить человека курящего.

Она была другая, чем за столом, чем на прогулке... Она была любезной хозяйкой, заботившейся об удобствах гостьи. «Курите, курите, спички у вас есть?» Я не хотела

курить, я перед тем, как войти, погасила сигарету, но покорно чиркнула спичкой... Не помню, с чего начался наш разговор, кажется, с английских детективных романов. Уж об этом я могла бы поговорить, я их сотни прочитала, этих романов. Но воли себе не давала, взвешивала каждое слово... В какой-то связи было затем упомянуто имя Цветаевой, и Анна Андреевна сказала: «Она умерла сегодня». Значит, то было 31 августа. И еще одна фраза Ахматовой запомнилась. Она расспрашивала меня о моей жизни (в глазах любезное внимание), и я сообщила, что вот-де в прошлом году окончила Литературный институт, попасть туда было нелегко и вряд ли бы я попала, если б не помог... Тут я назвала имя Симонова, и Анна Андреевна сказала: «Рада за него».

Нина Антоновна Ольшевская из Москвы не возвращалась, и вместо нее я стала каждый день гулять с Анной Андреевной. Тем летом ей исполнилось шестьдесят пять лет. Она ходила медленно и, начиная задыхаться, останавливалась. Без провожатого, без руки, на которую можно опереться, Ахматова, видимо, ходить не могла... Мы ходили, сидели на голицынских скамейках, на лесных пнях, мало говорили, много молчали, и я не знала, о чем думала она, когда молчала, я же думала только о ней. В голову постоянно приходили ее стихи, я и не подозревала, что столько их помню наизусть...

Сентябрь. Красные, желтые, оранжевые пятна среди зелени... «Осень ранняя развесила флаги желтые на вязах...» Глядя на лицо Ахматовой, замкнутое, строгое, я вспоминала: «Так много камней брошено в меня, что ни один из них уже не страшен...» И еще: «Во мне печаль, которой царь Давид по-царски одарил тысячелетия...»

Жизнь ее была мне известна лишь в самых общих чертах. Хотелось знать все подробнее, но я никогда не осмеливалась задать ей вопрос, а она ни звука о себе не говорила.

Однажды, сидя рядом с Анной Андреевной на какой-то уличной скамейке, я стала ей рассказывать о писателях, живших в Доме творчества до ее приезда. Слушали меня благосклонно, и, осмелев, я одного писателя изобразила: как он кланяется, как закуривает... Внезапно глаза моей слушательницы блеснули, лицо сморщилось, осветилось, стало домашне-добрым,— она засмеялась, и видела я это в первый раз.

Наступил день ее отъезда. Не надо ли помочь уло-

житься? Мне ответили: «Надо». И вот она сидит на диване, а я укладываю ее бедные вещи в бедный чемодан. Тут вошла Серафима Ивановна и, прижимая к груди букет, произнесла прощальную речь. Благодарила Ахматову за приезд, просила посетить голицынский дом зимой: «У нас зимой камин топится!» Речь была нескладная, взволнованная, а с последней фразы Серафима Ивановна и слезть не могла, беспомощно несколько раз повторив: «Приезжайте! У нас камин!» Я жалела запутавшуюся Серафиму Ивановну, я бы тоже запуталась под этим строгим взглядом! Анна Андреевна затем произносит: «Благодарю вас!» — и раскрасневшаяся Серафима Ивановна, неловко сунув букет на стол, как-то боком покидает комнату. Обратившись ко мне, Ахматова замечает: «Очень мило!» А я закрываю чемодан — дешевый, черный, потрепанный. Закрылся он легко, там всего очень мало. Королевские манеры, и этот чемодан, и вещи в чемодане!

И вот она усажена в голицынский «пикап» (букет в руки, вещи сзади), и шофер Юра завел мотор, и машина исчезла, и провожающие разошлись, а я вернулась в свою комнату, к машинке, к оставленной работе. Работалось плохо. Все я вспоминала Ахматову, ее лицо, ее слова и ту, давнюю свою шанхайскую статью вспоминала...

На место Анны Андреевны уже кто-то приехал, за вечерним табльдотом было очень оживленно, и мне еще недавно нравилась новая среда, в которую я попала, разговоры нравились, шутки нравились, а тут все стало казаться пустой болтовней... Ликующие. Праздно болтающие. Было одиноко и грустно.

Четыре года спустя я услыхала от Ахматовой врезавшиеся мне в память слова: «ПОЭТ ВСЕГДА ПРАВ». Не эту ли правоту поэта я ощутила тогда?

В декабре того же года (я уже жила в Москве) мне позвонил Виктор Ефимович Ардов. Ахматова здесь, приехала делегатом на Второй съезд писателей, живет в гостинице, но в данный момент находится у Ардовых и выражает желание меня видеть. Мне было подробно рассказано, куда идти от метро «Новокузнецкая», куда повернуть, войдя во двор: направо под арку, налево в подъезд.

И вот я в квартире Ардовых. Передняя образует угол, внутри угла шестиметровая комната, в которой обычно

жила, приезжая в Москву, Ахматова. Сколько раз мне предстояло бывать в этом крошечном, с высоким потолком, похожем на шкаф помещении! Прямо из передней дверь в общую проходную комнату, там большой стол и у стены диван с высокой прямой спинкой. Посторонних в тот вечер, кроме меня, никого не было, а народу много: Алеша Баталов (сын Нины Антоновны от первого брака) с женой Ирочкой, сыновья Ардовых Миша и Боря, сам Ардов, Нина Антоновна, Анна Андреевна... Меня сразу включили в обсуждение цвета и фасона нового платья Анны Андреевны (только что кончилась примерка, происходившая в кабинете Ардова), потом вовлекли еще в какой-то разговор, было весело, непринужденно, пили чай... Ардов обращался с Анной Андреевной бесцеремонно, называя ее «мама» (с грузинским акцентом) и «мадам Цигельперчик» (с еврейским акцентом)... Нина Антоновна спрашивала с грубоватой заботливостью: «Лекарство опять не приняли?» Отодвигала масло: «Хватит, вам больше нельзя». Мальчики были весело-почтительны. Анна Андреевна была совершенно другой, чем в Голицыне, смеялась на шутки Ардова, и чувствовалось, что она привязана к Нине Антоновне и к мальчикам и что в этом доме ей хорошо.

Через несколько дней я навестила Анну Андреевну в гостинице «Москва», где Ахматова занимала большой двухкомнатный номер, деля его с какой-то ленинградской писательницей, тоже делегаткой съезда. Эта дама, к счастью, отсутствовала, мы с Анной Андреевной сидели вдвоем. Она сказала: «Чем бы вас угостить?» — и, глядя искоса, как бы прощупывая почву, добавила: «Может быть, купить вина?» Я мгновенно вскочила и выразила горячее желание тут же пойти в буфет и принести вина... Какое-то время спустя, вспоминая этот гостиничный визит, Анна Андреевна говорила с усмешкой: «Помнится, вы очень оживились при слове «вино»...» Это была первая бутылка сухого вина, которую мы распили с Анной Андреевной.

Лето 1955 года она провела в Москве, у Ардовых. Я бывала у нее, она приезжала ко мне на улицу Кирова. Со мною и А. А. Реформатским она провела день своего рождения — двадцать третьего июня. Я часто видела Ахматову, однако все еще ощущала скованность в ее присутствии... Помню теплый летний вечер, мы с ней сидим в сквере на Ордынке, куда Анна Андреевна ходила иногда подышать воздухом, больше молчим, чем говорим. Затем я про-

водила Ахматову до дверей ее квартиры. Хотела проститься. «Зайдите, посидите со мной немного». В квартире тихо, кажется, кроме домработницы, нам отворившей, дома не было никого. В своей похожей на шкаф комнатушке Ахматова села не на кровать, как обычно, а к столу. Я — на стул около. Она надела очки, положила перед собой какие-то листочки. «Я вам сейчас почитаю». И стала читать вступление к «Поэме без героя»:

Из года сорокового,
Как с башни, на все гляжу,
Как будто прощаюсь снова
С тем, с чем давно простилась,
Как будто перекрестилась
И под темные своды схожу.

Впервые я слышала те мерные, торжественные интонации, с которыми Ахматова читала стихи. И строки эти слышала впервые. Я глядела на ее прекрасный профиль, на крупную седую голову, радовалась, даже тщеславилась (она мне читает!), но плохо воспринимала то, что слушала. Это позже я оценила и полюбила «Поэму без героя», а тогда мне, видимо, мешали суетные, отвлекавшие меня мысли...

В октябре того же года за чайным столом Ардовых возник разговор о Голицыне. Нина Антоновна считала, что Ахматовой необходимо побыть на воздухе хоть недели две. Ехать туда одна Анна Андреевна категорически отказалась. Я вызвалась пожить там вместе с ней.

Мы снова в Голицыне. Осень, ранние сумерки, частые дожди, народу мало, не все комнаты заняты. И снова за общими трапезами я вижу Ахматову величественно-строгой, сурово-неприступной. Теперь я знаю, что это броня ее, в которую она облекается в присутствии посторонних. У кого хватит решимости прорваться сквозь эту броню с фамильярностью, с бестактным вопросом? Разве что у безумцев! Такие изредка находились. Подошла как-то к Анне Андреевне одна старушка, числившаяся в членах Союза писателей, но давно ничего не писавшая и явно выжившая из ума, и спросила шепотом: «А как поживает Зощенко?» — «Хорошо, благодарю вас»,— ответствовала Ахматова.

В сумерках между чаем и ужином сидели в ее комнате, в той же восьмой... Как-то речь зашла о Блоке, о мемуарах Любови Дмитриевны. К этим мемуарам Ахматова относилась презрительно и произнесла запомнившуюся

мне фразу: «Чтобы остаться Прекрасной Дамой, от нее требовалось только одно: промолчать!» В другой раз был упомянут Герцен. О нем, о жене его Ахматова говорила тем тоном, каким говорят о близких знакомых, а о семейной их драме так, будто она произошла вчера. Ахматова не прощала Наталье Александровне, что она вовлекла Герцена в свои отношения с Гервегом: «Терпеть не могу женщин, которые вмешивают мужей в свои любовные дела». И еще: «Уверяю вас, она умерла от любви к Гервегу...»

Помня, что Анна Андреевна читает по-английски, я дала ей роман Сомерсета Моэма «Бремя страстей человеческих». Роман этот мне нравился, Моэма я знала хорошо и вполне была готова побеседовать об этом авторе. Но я совсем не была готова к той уничижительной критике, которой Ахматова этот роман подвергла. Она издевалась над автором, ловя его на противоречиях, утверждала, что страдания героя смешны, ибо — ничтожны. Я пыталась возражать, но логика Ахматовой безупречна, ирония несокрушима, и я замолчала беспомощно... Просто было неловко, что роман этот мне нравился. Слабо утешала себя тем, что читала его давно и не перечитывала...

Впервые тогда я услыхала суждения Ахматовой о литературе, очень страстные, очень личные. Литература была делом ее близко касающимся, непосредственно задевающим, тут она ничего прощать не собиралась, тут была неумолима. «За такое на Сенной бьют батожьем!» — это гневное восклицание я услыхала от нее позже в связи с появившимся в газете весьма слабым стихотворением.

Той поздней осенью, когда я проводила наедине с Ахматовой многие часы, моя робость, моя скованность постепенно исчезали. Я ощущала ее дружелюбие, видела, что меня принимают такой, какая я есть, и нечего пыжиться, влезать на котурны, стараясь казаться умнее и начитаннее, чем на самом деле... О дистанции, нас разделяющей, всегда, разумеется, помнила, однако поняла, что с этим человеком говорить можно о чем угодно: о меню обеда, о погоде, о новой блузке, удачно мною купленной в голицынском магазине... Тут уместно добавить, что Ахматова хотя и называла себя с усмешкой Серафимом Саровским (мирские дела не для нее!), однако украшения любила — ожерелья, броши, перстни, — вопрос «идет или не идет» не был для нее безразличен. Этому, впрочем, важности не придавала. Есть новое платье — хорошо, нет — и так обойдемся. Годами ходила в старой, с потрепанным

воротником шубе, что очень беспокоило Нину Антоновну, взвалившую на себя все бытовые заботы Ахматовой. Но эта старая женщина с величавой осанкой украшала все, что бы на себя ни надевала, включая и шубу с потрепанным воротником...

И сплетничать с ней можно было, и новой блузкой хвастаться, и погоду обсуждать — банальнейшие темы! Но ничто не звучало банально в устах Ахматовой...

Я: «Ну и отвратительная сегодня погодка!»

Она: «Что вы! Восхитительная. Такая трагическая осень. Ветер рвет последние листья, солнце выходит на это посмотреть, заламывает руки и в отчаянии уходит».

...Много лет спустя, прочитав в романе Торнтона Уайлдера «Мартовские иды» рассуждения Цезаря о молчаливых женщинах (чья молчаливость, однако, не вызвана пустотой или рассеянностью), я подумала, что все тут сказанное можно целиком отнести к Ахматовой...

«Но когда их (молчаливых) что-нибудь побуждало заговорить, кто мог сравниться с ними в красноречии или остроумии?.. Банальность непереносима в устах того, кто придает ей важность. Однако вся наша жизнь в них погрязла... Молчаливая женщина умеет мысленно отделить мелочи, которым надлежит кануть в Лету, от мелочей, еще заслуживающих внимания».

Ахматова видела вещи под каким-то иным, непривычным углом: всякие обыденности в устах ее становились значительными — это поражало меня. Той осенью в Голицыне я открыла в ней блестящий сатирический дар, а несколькими годами позже и дар комический, что тоже поразило меня... Как-то в Москве я зашла за ней к Ардовым, чтобы вместе ехать куда-то. Анна Андреевна стояла посреди комнаты в туфлях на босу ногу, держа в руке чулок. Увидев меня, объявила: «Если вдуматься — одного чулка мало!»

Юмор Ахматовой был мне близок, доставлял наслаждение необыкновенное, я хохотала до слез, она меня останавливала, сама не сдерживая улыбки: «Перестаньте смеяться над старухой!»

У этой величавой женщины, умевшей оцепеняюще действовать на присутствующих, был абсолютный слух на юмор, а основной признак такого слуха — это, мне думается, умение смеяться над собой, умение видеть себя в смешном свете.

Забегая вперед, расскажу вот о каком случае.

Осенью следующего, 1956 года, по зову Ахматовой (обычно говорилось по телефону так: «Не могли бы вы сейчас каким-нибудь чудом ко мне приехать?») я явилась в квартиру Ардовых. Холодильник в углу передней служил гостям местом свалки шапок, шляп, муфт и кашне. На этот раз поверхность холодильника украшала лишь одна дамская шляпа светло-коричневого фетра, пронзенная позолоченной булавкой с желтым прозрачным камнем. Вокруг холодильника витал тонкий запах духов.

Из столовой — смех Ахматовой и чей-то голос, женский, низкий — где я слышала его прежде?

Седые волосы над подвижным, с нежной кожей лицом, темные насмешливые глаза узкого разреза — Раневская. Я узнала ее с порога. Только что рассмешила Ахматову, чрезвычайно этим довольна, написано на лице, сохраняющем, однако, полную серьезность, лишь в глазах что-то посверкивает... (Ближе познакомившись с Раневской, я узнала, что она, говоря смешное, всегда серьезна, почти печальна, и, лишь доведя собеседника до хохота, сама усмехается, произнося негромко и хрипловато: «Хэ-хэ-хэ».)

На Анне Андреевне ее любимое одеяние, великолепный, очень ей идущий темно-лиловый халат. И диван, на котором она сидит,— старинный, красного дерева, с прямой спинкой,— тоже идет ей... Раневская — в кресле, стоящем под углом к дивану. В кино я видела ее в ролях либо комических, либо трагикомических, бог знает во что одетую, а в жизни элегантна, подтянута, светло-серый костюм, английская блузка... Анна Андреевна познакомила нас, делая это, как всегда, церемонно: «Фаина Григорьевна, позвольте вам представить...» И меня по имени-отчеству, хотя обычно называла без отчества. Раневская сказала: «Очень приятно». В присутствии хорошо воспитанных людей я вспоминаю все, чему меня учили в детстве и что нередко позволяю себе забывать. Подтянулась, заявила, что и мне очень, очень приятно, села на предложенный стул, привстав, приняла из рук Ахматовой чашку чаю и вообще слегка накрахмалилась. Это, однако, скоро со мной прошло, я ослабела от смеха...

Дело в том, что Раневская запела. Она исполняла романс на восточный, ею самой придуманный мотив, закатывала глаза, ломала руки: «Не любишь, не хочешь смотреть? О, как ты красив, п-р-рок-лятый! И я не могу взлететь, а с детства была крылатой!» Милостивый боже, стихи Ахматовой из сборника «Четки»! В присутствии автора

эти строки пародируют, над ними издеваются! «И только кр-расный тюльпан, тюльпан у тебя в петлице!»— прошептала напоследок восточная певица, уже как бы в изнеможении... Мы тоже изнемогали от смеха, и автор «романса», и я... Ахматова, вытирая глаза (умела смеяться до слез!), умоляюще: «Фаина! Теперь — швею!»

Восточная дама, томящаяся от безнадежной любви, исчезла. Выглянула было Раневская (седая, насмешливая, в сером костюме) и тут же пропала. Перед нами очутилось существо кроткое, жалкое, запуганное — бедная швея. Отодвинув чашку, швея завертела ручку невидимой швейной машины и запела голосом унылым, монотонным, каким, вероятно, певали городские романсы старорежимные швеи на своих чердаках или в своих подвалах... Однако это не были слова нехитрого городского романса. Это были слова одного из трагичнейших стихотворений Ахматовой: «Соседка из жалости — два квартала, старухи, как водится,— до ворот, а тот, чью руку я держала, до самой ямы со мной пойдет».

Ахматова плакала от смеха. Я тоже плакала. Но не только от смеха. От изумления и восхищения.

Раневская называла Ахматову «рабби» — библейское обращение к учителю. Надо было слышать, как Раневская вопрошала ученически кротко: «Рабби! Объясните мне, пожалуйста...»— «Фаина, чего не знаю, того не знаю».— «И вы хотите, чтобы я поверила, рабби? Вы знаете все!»

...А я той голицынской осенью 1955 года стала шутливо называть Анну Андреевну «мэм» — не из-за наших ли разговоров об английской литературе? Она не протестовала, ей это нравилось, так это и осталось. С той поры, обращаясь к ней, я уже ни разу не назвала ее по имени-отчеству. И выработался никогда не изменяемый «зачин» телефонных разговоров. Если звонила она, то, узнав ее голос, я — вопросильно: «Мэм?» — «Она!» — отвечала Анна Андреевна. Когда звонила я, называть себя мне не требовалось. Я начинала: «Мэм...»— и слышала в ответ: «Ну?»

Смесь почтительности и фамильярности, звучавшая в обращении «мэм», придала новую окраску нашим отношениям. Я спрашивала: «Мэм, можно я немного похвастаюсь?» Она отвечала: «Даю вам три минуты».— «Это слишком, мэм, я уложусь в полторы».— «Попробуйте». Свое восхищение ее стихами или радость по поводу того, что она нынче хорошо выглядит, я выражала примерно так: «Вам не кажется, мэм, что вы просто гений?» И: «До че-

го вы сегодня красивы, мэм!» Она откликалась: «Не льсти — не люблю, как говорил купец у Островского».

Ноябрь 1955 года Ахматова провела в Ленинграде, а в конце этого месяца вновь приехала в Москву, куда привели ее дела, связанные с выходом книги переводов корейских поэтов, и другие — личные дела...

Однажды зимой Ахматова была у меня на улице Кирова. Собирались обедать, поджидали А. А. Реформатского, задержавшегося на заседании. Он пришел наконец. «А я только что слышал строчку ваших стихов, Анна Андреевна, которых раньше не знал... «Ржавеет золото, и истлевает сталь...» «От кого вы это слышали?»— спросила Анна Андреевна таким странным, взволнованным голосом, что я, возившаяся у стола, изумленно обернулась. Александр Александрович перестал улыбаться, почувствовав за этим что-то серьезное, стал рассказывать... Он курил в коридоре, стоя у окна, и борода его (в те годы рыжевато-русая), видимо, золотилась на солнце, ибо проходивший мимо В. В. Виноградов произнес: «Помните, у Ахматовой? «Ржавеет золото, и истлевает сталь...» — «И все? И ничего не добавил?»— «Ничего!»— «Надо немедленно позвонить Виноградову, быть может, он помнит! Или у него записано. Это мои стихи из сожженной тетради, я забыла про них! А кому-то читала, кто-то запомнил, записал, быть может!» Анна Андреевна попросила карандаш и бумагу, стала восстанавливать эти утраченные стихи, звонила Виноградову. Стихотворение было восстановлено. В сборнике «Бег времени» опубликована его последняя строфа:

Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор. К смерти все готово.
Всего прочнее на земле — печаль
И долговечней — царственное слово.

Той зимой к Ардовым приехала родственница, тоже старая женщина, и Анне Андреевне было негде жить. Уехать к себе в Ленинград она не могла — держали в Москве дела. Бывало так, что день она проводила у меня в маленькой комнате на улице Кирова, вечером же я провожала ее на ночлег к кому-нибудь из друзей — к Марии Сергеевне Петровых, к Фаине Григорьевне Раневской или на квартиру Шенгели. А. А. Реформатский называл это «бедуинский образ жизни», и Анне Андреевне это выражение понравилось, рассмешило ее, и потом она говорила так: «Когда это было, не помните? Кажется, во время очередного «бедуинского образа жизни».

Мы влезаем в переполненный автобус, идущий на Хорошевское шоссе, где живет М. Петровых. Мест нет. Ахматова пробирается вперед, я задерживаюсь около кондукторши. Взяв билеты, поднимаю глаза и среди чужих голов и плеч различаю хорошо мне знакомый вязаный платок и черный рукав шубы. Рука протянута кверху, держится за поручень. Обледенелые стекла автобуса, тусклый свет, плечи и головы стоящих покачиваются, и внезапно меня охватывает чувство удивления и ужаса. Старая женщина в потрепанной шубе, замотанная платком, ведь это — она, она, но этого никто не знает, всем все кажется нормальным. Ее толкают: «На следующей выходите?» Я крикнула: «Уступите кто-нибудь место!» Не помню, уступили или нет. Только это ощущение беспомощного отчаянья и запомнилось...

В декабре того же 1955 года Ахматову увезли во Вторую градскую больницу. Приступ аппендицита — еще и это! Оперировать тогда не решились, аппендикс вырезали несколькими годами позже. Ахматова лежала в палате, где было еще четверо больных. Одна из них ночами стонала, бредила, кричала — была не в себе. Уже выписавшись, Анна Андреевна рассказывала, что женщина эта каждое утро, указывая на койку Ахматовой, громко спрашивала: «А та бабка еще не померла?» Рассказывала с юмором, посмеиваясь. А пока была в больнице, куда ее друзья ежедневно по очереди к ней ходили, ни звуком не обмолвилась ни о ночных стонах, ни об утренних вопросах и вообще не проронила ни слова жалобы.

Февраль — март 1956 года. Морозы в феврале до тридцати пяти градусов. Я живу на улице Обуха, в очередной снимаемой комнате. Вокруг чужие вещи: легкомысленные шатающиеся столики, за которыми трудно писать, расстроенное пианино, пыльные ковры, на стенах фотографии в затейливых рамках и расписные, с золотыми ободками тарелки. И все же я довольна. Тихо, толстые стены старого дома, соседей не слышно, можно работать. Хотелось, чтобы друзья за меня радовались, и я была очень огорчена словами своей в те годы близкой приятельницы... Оглядев тарелки и рамки, она воскликнула: «Как вы можете тут жить? Я бы не могла!»

А Анна Андреевна, войдя, сказала: «Здесь божественно тепло!».

Бессмысленных слов (ведь я ничего не могла изменить!) она не говорила никогда. Тем паче слов, которые

способны задеть или встревожить собеседника. Английская поговорка: «Воспитанный человек никогда не бывает груб без намерения» — подходила к ней как ни к кому другому. Так называемых «неосторожных слов» у нее не вырывалось. Она твердо знала, что она говорит и зачем.

В этой «божественно теплой комнате» Ахматова проводила иногда весь день,— видимо, опять был период «бедуинского образа жизни». Я стучала на машинке, она — читала. Перечитывала она тогда «Отца Сергия» Толстого, и почему-то у нас называлось это так: «Пэр Сэрж». «Дайте-ка мне «Пэра Сэржа»!» — говорила Анна Андреевна. Я шла за едой в кулинарию у Покровских ворот, обедали. Вечером вызывалось по телефону такси, и я провожала Анну Андреевну в тот дом, где она должна была ночевать.

Ранней весной того года набранное типографским шрифтом имя Ахматовой появилось на титульном листе маленькой книжки «Корейская классическая поэзия. Перевод Анны Ахматовой».

Вечером 13 мая мне позвонили от Ардовых: завтра приезжает Анна Андреевна, а встретить ее некому. Утром четырнадцатого я отправилась на вокзал. Было ясно, солнечно, уже зелено. Вот я стою на перроне, передо мной медленно плывут вагоны, и в окне я вижу лицо Ахматовой. Оно поразило меня выражением какого-то гневного страдания. Будто ничего доброго не ждет она и от этого своего приезда. Ничего, кроме бед, не ждет, и вполне к этому готова. «У меня только так и бывает!» — часто слышала я от нее.

Оглушенная «шумом внутренней тревоги» (она любила эти пушкинские слова и часто их повторяла), Ахматова не видела ни перрона, ни людей и увидала меня лишь в тот момент, когда поезд остановился и я подошла к окну вплотную. Лицо ее смягчилось, подобрело, а я подумала: «Неужели, неужели у нее всегда такое лицо, когда она одна?»

Но на этот раз она приехала не «новое горе встречать...» [1]. Это был счастливый приезд: после долгой разлуки Ахматова свиделась со своим единственным сыном — Львом Николаевичем Гумилевым.

---

[1] Из стихотворения Ахматовой: «Что нам разлука? — Лихая забава...»

При первой их встрече я не присутствовала, знаю все лишь по рассказам... Попав к Ардовым на третий, что ли, день после возвращения Льва Николаевича, я застала его уже чисто выбритым, в новом, темно-синем, только что купленном, плохо сидевшем на нем костюме... Я привезла коньяк, и все, кто в те дни приходил, тоже непременно приносили что-нибудь выпить, и мне запомнилось бесконечное сидение за столом, сменяющиеся лица (кто-то уходил, кто-то новый приходил), майский, без электрического освещения, вечер, синие облачка сигаретного дыма, грассирующее произношение нервно-возбужденного Льва Николаевича и то, что было весело смотреть на светлое лицо Анны Андреевны.

В июне того же года я была в Ленинграде и впервые увидела Ахматову дома, на улице Красной Конницы. В квартире этой, кроме Ахматовой и И. И. Пуниной[1] с мужем и дочерью, одну комнату занимали люди посторонние.

Незадолго до этого Литфонд выделил Ахматовой маленькую дачу в Комарове (полторы комнаты, веранда и кухня), которую Анна Андреевна окрестила «будкой». В последующие годы именно там я навещала Ахматову, а на улице Красной Конницы бывала лишь в тот давний приезд, и мне смутно запомнилась эта квартира... На стене комнаты Ахматовой висел писанный маслом портрет О. Глебовой-Судейкиной (о ней рассказано в «Поэме без героя»), против входа — стеллаж, уставленный книгами и дающий комнате уют, какой всегда дают книги, от остального же впечатление заброшенности, давно не вытираемой пыли... И высокое окно старой петербургской квартиры, сквозь запыленные стекла которого был виден широкий, по-летнему пустынный Суворовский проспект...

Ахматовская беспомощность в быту была мне уже известна. Кто же заботился об Анне Андреевне? В Москве я слыхала, что существует домработница, но видеть ее мне не довелось... Забегая вперед, скажу, что в течение многих лет каждую весну вставал вопрос: кто сможет поехать с Ахматовой в Комарово? Кто будет носить из колодца воду и готовить обед? Эти заботы брали на себя по очереди друзья, и однажды вышло так, что никто не смог поехать,

---

[1] Дочь искусствоведа Н. Пунина, третьего мужа Ахматовой.

и об Анне Андреевне пеклась жена поэта Гитовича Сильва Соломоновна, жившая в соседней «будке»...

Тот мой приезд запомнился тем, что Ахматова показывала мне свой город и немного — мой, ведь я в нем родилась. Она была еще так подвижна тем летом! Мы ездили в воспетый ею Приморский Парк Победы, ходили по Невскому, часто останавливались: Анна Андреевна рассказывала мне чуть не о каждом доме, кто в нем жил и что в нем было...

...А не ставший моей могилой,
Ты, крамольный, опальный, милый,
Побледнел, помертвел, затих.
Разлучение наше мнимо:
Я с тобою неразлучима,
Тень моя на стенах твоих,
Отраженье мое в каналах,
Звук шагов в Эрмитажных залах,
Где со мною мой друг бродил,
И на старом Волковом Поле,
Где могу я рыдать на воле
Над безмолвием братских могил.

Еще не кончились белые ночи, и мы с Анной Андреевной, не зажигая огня, ужинали в моем номере «Европейской» гостиницы...

Позже, когда мы с А. А. Реформатским переехали в новый дом на Аэропортовской, Ахматова была у нас и читала «Поэму без героя». «А ведь герой тут есть,— сказал Реформатский.— Герой поэмы — Петербург». Ахматова согласилась с этим.

* * *

Февраль 1957 года. А. А. Реформатский отсутствует — он в командировке. В комнате, которую мы с ним тогда снимали на улице Щукина, гости — Ахматова и моя тогдашняя приятельница Т. С. Айзенман. В первом часу ночи я пытаюсь вызвать такси по телефону, но номер все время занят. Субботняя ночь. На улице метель. Я предложила дойти до стоянки такси на Зубовской площади. Оделись, двинулись. Ветер дул в лицо, снег слепил, Анна Андреевна начала задыхаться. Решили так: она не делает дальше ни шагу, останавливается здесь, на Садовой, у столба, Татьяна Семеновна остается с ней, я же бегу на ту сторону площади, к стоянке.

Прибежав, я обомлела — длинная очередь. В хвост

становиться бесполезно, прождешь минут сорок, если не больше, не стоять же ей столько у столба! Что делать? Оставить ее ночевать у меня, а самой пойти к Тане, жившей рядом, в Мансуровском? Я обдумывала, стоя от очереди в стороне, поглядывая туда, однако. Вот подошла машина, кто-то сел, но ожидающих меньше не стало, надо уходить, чудес не бывает.

Но оказалось, что чудеса бывают! Прямо на меня надвигались трое: мужчина в распахнутом пальто, в сдвинутой на затылок шапке и двое военных — фуражки, шинели. Ветер, метель, у всех подняты воротники, а этот распахнут, этому не холодно, он выпил, ему чудесно, продолжить бы веселье, не спать же заваливаться! Он приблизился, и я узнала его... Не буду называть его имени, скажу лишь, что это был один известный деятель искусств. Я видела его фотографии в газетах и кто-то когда-то где-то показал мне его. Я-то его в общем узнала. Он же меня, разумеется, знать не мог.

Он видел женщину, одиноко стоящую в сторонке, чего-то ждущую. Не его ли она ждала? «А что,— сказал он,— если бы нам где-нибудь посидеть, поужинать?» Я ответила: «Почему же? С удовольствием». Он тут же обернулся к сопровождавшим его лицам, деликатно стоявшим поодаль, сделал знак, и оба они кинулись куда-то, и я поняла: за такси. Кидаться им далеко не пришлось, машина шла, очередь затрепетала, но военные успели перехватить машину, на ходу открыв дверцу, вскочив внутрь... И вот, описав петлю вокруг очереди, машина останавливается около нас, военные выходят, держат дверцу... Глухой ропот, отдельные негодующие восклицания доносились справа, из очереди, все понявшей, очень возмущенной, но за права свои бороться не осмеливающейся... Я сажусь первая, мой спутник ныряет следом, военные, прощаясь, берут под козырек, шофер спрашивает: «Куда?» Я быстро: «В центр!» Военные исчезают, очередь тоже, автомобиль наш выезжает на Садовую, разворачивается, слегка буксуя на снегу... «Так куда же мы?» — спрашивает мой спутник. «Видите ли...» — начала я и назвала его по имени-отчеству, и он отпрянул. «Вы меня знаете?» — «Ну кто ж вас не знает? Так вот. Надо отвезти на Ордынку одну даму... Шофер, медленнее! Остановитесь вон там, у столба справа, видите?» А уже сквозь завесу снега проступали темные очертания двух фигур — высокой, платком замотанной Анны Андреевны и маленькой Т. Айзенман. «Да-

му? — сердито-изумленно спрашивали тем временем меня.— «Какую даму?» — «Ахматову».— «Что? Ту самую?»— «Ту самую»,— сказала я — и шоферу: «Вот здесь».

Двигаясь уже, видимо, как во сне, мой спутник вылез из машины первым, я за ним. «Анна Андреевна! Позвольте вам представить...» И я назвала имя, отчество и фамилию. Сдавленно ахнула Таня Айзенман, а лицо Анны Андреевны совсем спокойно и слегка надменно, как всегда в присутствии посторонних. И будто не удивило ее ни капли, что я, исчезнув в поисках машины, вынырнула из метели в сопровождении известного деятеля искусств... Она произнесла: «Здравствуйте!» И хорошо мне знакомым, полным величия жестом протянула руку в старой черной перчатке. А тот, кому протянули руку, склонился над ней почтительно. Он уже был другой. Не бонвиван в распахнутом пальто, которому сам черт не брат, а человек, у которого из-под ног выбита почва: растерянный, не знающий, как ему вести себя, и от изумления совершенно отрезвевший...

Наспех простившись, Таня Айзенман пошла к себе, а мы сели в машину: Анна Андреевна и я — сзади, а тот, кто ехал с нами,— к шоферу. Я откинулась на спинку сиденья, облегченно закурила, мне было весело. Анна Андреевна сидела выпрямившись. Наш благодетель обернулся. Он опомнился, он составил план действий: надо развлекать Ахматову разговором. О чем бы ей интересно? О Париже, разумеется. Недавно он там был. Еще раз убедился в любви к нам простых французов. Анна Андреевна время от времени произносила: «Да, да». Я молчала гробом. Мне что? Мне главное, чтобы ее до места доставили, ее доставят, все прекрасно, в машине тепло, я отдыхала, я наслаждалась ситуацией... Тема о Париже исчерпана. Благодетель мучительно ищет новую тему, нашел, обернулся: «А у меня на даче до чего хорошо, благодать!»—«Да, да».—«Вы как-нибудь непременно приезжайте!» Молчание. Пауза. Он добавил уже, видимо, от отчаяния: «Я вам рыбалку организую!» — «Благодарю вас». Наступило прочное молчание. И вот — приехали. Во двор въехать нельзя — идет какой-то очередной ремонт. Тусклый фонарь освещает сваленные доски, трубы, строительный мусор. Направо под арку, в подъезд Ардовых, не войдешь, надо идти кружным путем, через дополнительный двор. Двинулись. Анна Андреевна оперлась на предложенную ей нашим спутником руку. Они впереди, я за ними. Я жалела, что одна наслаж-

даюсь неописуемым зрелищем этого захламленного двора и медленно, величественно ступающей Ахматовой в ее невероятной, с облезлым воротником шубе (каждую осень разговоры, что надо бы новую!) и богато одетого (темно-серое зимнее пальто, меховая шапка) почтительно рядом семенящего нового нашего знакомого... Мне кажется, вид двора поразил его, он все изумленно озирался, о чем-то спрашивал Анну Андреевну... Она отвечала односложно, он смолк, и вот входная дверь, и лестница, и сваленный под лестницей хлам...

Обратно по двум дворам мы с этим человеком шли совершенно молча, дошли до ожидающего такси. «Куда отвезти вас?» — «Обратно, пожалуйста, откуда мы приехали». Ему было со мной неловко, тягостно. Говорили о чем-то незначительном, о погоде, вероятно. Больше молчали. Воображаю, с каким облегчением он вздохнул, когда остался в машине один...

* * *

В самом конце 1958 года мне удалось привести в исполнение давнюю свою мечту: купить автомобиль, который я стала водить сама. С тех пор повелось: когда Анна Андреевна уезжала в Ленинград, я везла ее на вокзал.

Я не видела человека, который переносил бы переезды так болезненно! А ведь могла бы, казалось, привыкнуть: постоянно ездила из Ленинграда в Москву и обратно, раза по четыре в год ездила. Но каждый раз, уезжая, становилась сама не своя. Выражалось это в застылости, окаменелости, трагически-гневном выражении лица: шествие по перрону всегда проходило в полнейшем молчании — никто не решался его нарушить. Выражалась эта болезнь и в том, что Ахматова, внезапно остановившись, начинала судорожно шарить в сумке билет, вытаскивать и засовывать обратно какие-то бумажки, а лицо — белое, а глаза — безумные, и ни помочь ничем нельзя, ни сказать ничего нельзя. Провожающие, замерев, испуганно переглядывались, но наконец билет найден, все облегченно двигаются дальше. Войдя в вагон, усевшись, Анна Андреевна приходила в себя и успокаивалась совершенно.

Чего она боялась? Думаю, именно этого шествия по перрону, иногда длинного... Видимо, каждый раз ее мучил страх, что она не дойдет, что ей станет плохо.

Впервые я везла Анну Андреевну на вокзал в дожд-

ливый вечер ранней весны, когда водительского опыта было у меня еще очень мало. Щетки едва успевают прочищать стекло, огни светофоров, фонарей, машин отражаются в мокрой поверхности асфальта, я плохо вижу, а кроме того, не знаю, разрешен ли левый поворот на нужную нам улицу. До того вечера я еще ни разу самостоятельно не ездила на площадь трех вокзалов и предвидела дьявольские сложности: как повернуть, к какому входу подъехать, где оставить машину? А рядом сидит безмолвная, напряженная Ахматова, а сзади чрезвычайно оживленно разговаривают и хохочут две провожающие Анну Андреевну дамы и Боря Ардов. Веселятся напоследок. Знают, что на перроне уже не повеселишься.

Своими сомнениями, опасениями я, разумеется, ни с кем не делюсь, да и кто мне может помочь? Я молчу, но мысленно ропщу. Господи, думаю я, почему не вызвали такси? Всегда вызывали такси, вот бы и сегодня вызвали, я ведь не навязывалась! Это она придумала: «Не нужно такси, меня отвезет Наташа». Вот тут бы мне и сознаться, что я по этим улицам еще в жизни не ездила, а я вместо этого бодренько воскликнула: «Ну конечно отвезу!» И, значит, сама виновата. Значит, вези.

Кончилось все благополучно. И довезла, и оштрафована не была, и машину куда надо поставила, и затем догнала молчаливое шествие на перроне, и простилась с Анной Андреевной, уже посаженной в вагон, уже успокоенной. Радоваться бы! Но слаб человек! Меня огорчало, щемило как-то, что никто моей доблести не заметил, стараний не оценил, слова одобрения не произнес. Все восприняли все как должное: сел человек за руль и привез куда следовало.

И вот, когда прошло много времени и я давно забыла об этой поездке, Анна Андреевна внезапно произносит: «А вам надо пальмовую ветвь дать за то, как вы меня весной в дождь на вокзал везли!» Оказывается, все оценила, все поняла. Те, кто сзади смеялся и разговаривал, не заметили ничего, а она с ее предотъездным безумием, она, про которую я думала, что она ничего кругом не видит,— она видела все. И все запомнила.

Много раз затем поражала меня ее чуткость, ее полное понимание того, как настроен человек, рядом с ней сидящий, что он чувствует, что думает... Она сама про себя говорила, что на семь аршин под землей видит. И видела.

Беспомощная, зависимая от окружающих, вынужден-

ная к ним постоянно прибегать (то сопровождать ее надо было куда-то, то купить для нее что-то), она совершенно точно знала, кого можно попросить, а кого нельзя. Она умела не ставить ни себя, ни другого в неловкое положение отказывающего и отказ выслушивающего.

И память ее меня поражала. Бывало, расскажешь ей что-то с тобой случившееся, тебя касающееся, забудешь, а она помнит. Несколько раз у меня были случаи убедиться в том, что мои обиды, на которые я в свое время жаловалась ей и которые потом забывала, она помнила. Она не забывала ничего. Это удивляло меня и трогало.

Ходить ей было трудно, поездки в автомобиле давали ей возможность видеть улицы города, видеть природу. Мы с ней много ездили, и пассажиром она была идеальным. Не вскрикивала, не вздрагивала, не предупреждала о надвигающемся грузовике, не поучала, не давала советов. Она полностью полагалась на человека, сидевшего за рулем, и если бывали минуты испуга, то Анна Андреевна никогда этого не показывала, вела себя так, будто не в машине сидела, а в кресле дома...

В середине марта 1960 года я приехала к Ардовым навестить Анну Андреевну и услыхала сетования Нины Антоновны: Алеше Баталову ночью ехать в Ленинград, а он находится в санатории в Архангельском, и случилось так, что вывезти его оттуда некому, и что делать? Я легкомысленно предложила съездить за ним вместе с Анной Андреевной. Отправились. Смеркалось, внезапно крупными хлопьями повалил снег. Я и тогда еще не была опытным водителем, ездить по снегу не умела, снега боялась и, кроме того, обнаружила в машине неисправность (забыла, какую именно), мелкую, видимо (доехали!), но всю дорогу меня раздражавшую. Когда мы двигались мимо метро «Аэропорт», мимо моего дома, я молила бога, чтобы Анна Андреевна хоть намекнула бы на то, что ехать не стоит. Мы завернули бы ко мне, позвонили бы Нине, пусть придумывает что-нибудь другое. И прекрасно можно вызвать такси, отправить в Архангельское! Но Анна Андреевна желанных слов не произносила, спокойно беседовала о чем-то. Я же не хотела признаваться в том, что трушу. А трусила. Особенно скверно стало на загородном шоссе: черная ночь, слепят фары встречных, обочины не видно, и страшно соскользнуть туда колесами. По темному шоссе

мы ехали в полном молчании. Раза два приходилось тормозить, и как медленно я ни ехала, машина шла юзом, и я выкручивала руль вспотевшими ладонями. Анна Андреевна молчала и не задала даже вопроса, который задал бы каждый на ее месте: а знаю ли я, где санаторий, найду ли его во тьме? Минутами мне казалось, что Анна Андреевна так спокойна, ибо просто не понимает опасности. Как же я была счастлива, когда, свернув с шоссе, увидела освещенные ворота санатория!

Обратно машину вел Баталов, прекрасный шофер, все знавший об автомобилях. Он и мелкую неисправность сразу устранил. Мы с Анной Андреевной сели на заднее сиденье, и после пережитого я была как пьяная — много говорила...

Впоследствии из этой поездки Анна Андреевна сделала очень смешной рассказ для друзей и знакомых. Из рассказа было очевидно, что она прекрасно отдавала себе отчет в опасности и даже эту опасность преувеличивала... «По дороге выяснилось, что не действуют тормоза!» — говорила она. Нарочно, чтобы было смешнее и страшнее, преувеличивала или в самом деле думала, что тормоза не работали? Не знаю.

О ее самообладании говорит и другой связанный с автомобилем случай. Однажды летом мы с А. А. Реформатским приехали в Ленинград на машине и навестили в Комарове Анну Андреевну. У нее в гостях были два молодых поэта. Поехали вместе на Щучье озеро. Поэты купались, Александр Александрович гулял, мы с Анной Андреевной разговаривали, сидя на берегу. Затем мы обе сели в машину, и так как она стояла носом к обрывчику (под ним песок и озеро), я дала задний ход. Вдруг слышу голос одного из поэтов: «Остановитесь!» Остановилась. В чем дело? Вижу, что Александр Александрович и оба молодых человека как-то странно, в упор, глядят на меня. Я догадалась, что они не хотят пугать Ахматову и мне надо тихонько вылезти и посмотреть самой, в чем дело. Вылезла. Увидела, что сзади яма, справа тоже яма, причем колеса на краю, едва только не висят в воздухе. Пока я старалась понять, каким образом вообще сюда заехала и как теперь выезжать, вдруг взревел мотор. Оказалось, Анна Андреевна, выглянув в окно и увидев, что висит над ямой, разумно решила машину покинуть, а так как направо выйти было невозможно, она передвинулась на сиденье, чтобы выйти через шоферскую дверцу. А по дороге задела ногой

акселератор. Итак, мотор ревет, я кидаюсь к машине, все кидаются туда же, я мысленно кляну себя за то, что, вылезая, не выключила мотор: боже, как должен был испугать ее этот страшный рев! Но вот Анна Андреевна благополучно выходит и произносит, улыбаясь: «Я — в роли Чаплина!»

...Мы с ней много ездили. Она любила арбатские переулки, улицу Кропоткина (всегда называла ее Пречистенкой), часто просила меня отвезти ее в 3-й Зачатьевский... В этом переулке она жила когда-то, написала о нем: «Переулочек, переул, горло петелькой затянул...» Очень любила церковь Вознесения в Коломенском, куда мы непременно ездили два-три раза в год. Она садилась там на скамью спиной к воротам и долго смотрела на церковь. Как-то я сказала: «Здорово, правда, что я купила машину?» — «А я-то вас отговаривала. Говорила: «Не покупайте, Наташа, машину, купите лучше шубу!» В ответ я долго смеялась. Она выдумала насчет «отговаривала» и насчет «шубы». Это была ее манера шутить.

В октябре 1959 года мы поехали в Троице-Сергиевскую лавру, как Анна Андреевна всегда называла Загорск. Была с нами Татьяна Семеновна Айзенман. Погода выдалась теплая, серенькая, моросил дождь. Как всегда, мы то говорили, то молчали, потом Анна Андреевна замолчала надолго, и мы с Т. С. этого молчания не нарушали. Внезапно Анна Андреевна произносит торжествующим голосом: «А я стихи сочинила!» И тут же прочитала их.

Это стихотворение, начинавшееся так: «Не стращай меня грозной судьбой и великою северной скукой...» — было позже опубликовано в «Новом мире». И под стихами написано: «Ярославское шоссе». Анна Андреевна собиралась и номер моей машины под стихами поставить (дескать, место написания), но в редакции ее отговорили, справедливо указав, что это звучит таинственно и похоже на шифр... В тот день мы с Татьяной Семеновной услыхали первый вариант стихотворения, ничего толком не поняли и сознались в этом. Анна Андреевна сказала: «Над ним надо еще работать».

Еще она любила березовую рощу, находившуюся недалеко от Успенского шоссе: только березы, все примерно одного возраста, почти без подлеска, без единого другого дерева, занимающие большой участок и дающие впечатление светящейся белизны. Впервые я свезла туда Анну Андреевну осенью, потом была долгая зима, и вот весной

мы снова туда приехали, и, увидев рощу, Анна Андреевна сказала: «Так она есть? Она существует? А мне все казалось, что это был сон».

Однажды в автомобиле, рассказав мне случай из своей жизни, Ахматова внезапно добавила: «Вы — прозаик. За вами не пропадет». В тот момент я пропустила это мимо ушей, лишь через несколько дней спохватилась. Боже мой, ведь я знаю ее уже пятый год, столько всего от нее слышала, и столько всего за мной уже пропало: нет у меня привычки ни дневники вести, ни записные книжки заводить... Вот, видимо, с того момента, спохватившись, я и стала записывать ахматовские, чем-то меня поразившие фразы. Речь Ахматовой была настолько своеобразна, точна, порой афористична, что передавать ее своими словами, восстанавливать по памяти, опираясь лишь на смысл сказанного,— такое было бы бесстыдством. Записывать следовало по горячим следам, в тот же день. Это не всегда удавалось. Поэтому записей мало и они отрывочны.

«Она проводит время в неустанных заботах о себе самой». (Это об одной нашей общей знакомой.)

Про себя насмешливо: «С большой прямотой напросилась на комплимент».

«Всегда мне были подозрительны люди, которые слишком любят животных, и те, которые их не любят совсем».

«Хвастовство ослабляет человека. Открываются тысячи ахиллесовых пят».

(Гневно.) «Нельзя писать о войне таким же тоном, каким женщина рассказывает о своих недомоганиях». (Это по поводу статьи одной писательницы.)

«Приходилось видеть, как женщина преследует мужчину... (Пауза, а затем очень убежденно и раздельно.) Из этого никогда ничего, кроме сраму, не получалось».

Выслушав исповедь одной своей знакомой, задумчиво:

«Со мной все бывало. И это со мной было».

На мой вопрос, как она относится к стихам одной поэтессы, сказала: «Длинно пишет. Все пишут длинно. А момент лирического волнения краток».

(Она терпеть не могла, когда ее называли «поэтесса». Гневалась: «Я — поэт».)

На чей-то вопрос, как она относится к произведениям Александра Грина, ответила:

«Перевод с неизвестного».

Говорили о прозе, и я о том, как отражается личность автора на всем, что он пишет. Она:

«А в лирике нет. Лирические стихи лучшая броня, лучшее прикрытие. Там себя не выдашь».

Об одной своей молодой приятельнице, много помогавшей ей с бумагами и рукописями, сказала:

«Она все делает тихо, как бабочкино крыло».

«Рухнул в себя, как в пропасть!» (Эти слова я слышала от нее не раз. Они произносились по адресу эгоцентриков, и интонация Ахматовой бывала гневной...)

Как-то она сказала, что не любит Чехова. Я: «Почему?» Она: «Подумайте сами». Я стала думать. Придумала вот что: ее стремление к ясности, конкретности, точности не признает недоговоренности, некоей пастелевости... Короче, придумала я нечто шаткое и малоубедительное, однако рискнула ей это сказать... В тот день она приехала из Ленинграда, лежала в маленькой комнате Ардовых, усталая, полубольная. В такие дни приглашала к себе так: «Приезжайте, если вам не скучно сидеть с больной старухой...» Итак, я высказала свои мыслишки, а она рассердилась, села на кровати.

«При чем тут это? Совершенно не в этом дело... Чехов и стихи несовместимы!..»

Кажется, в тот же вечер насмешливо говорила о Бальзаке, о его романе с полькой, разоблачая общепринятый взгляд на длинную, верную, нежную любовь... «Скрывался от долгов, называл себя безутешной «вёв Мари», в землях польки увидел выход, а она его надула».

Как-то заговорили о Толстом и Достоевском. Она:

«Вы делаете ошибку, свойственную многим русским интеллигентам, противопоставляя Толстого Достоевскому. Неверно. Они как две самые высокие башни одного и того же величественного здания. Самые высокие. Вершины. В них лучшее, что есть в русском духе».

И еще о Достоевском:

«Преступление и наказание» единственный его роман, правильно построенный. В остальных действие происходило раньше, а мы присутствуем лишь при развязке, самой последней».

О романе «Подросток»:

«Русский большой роман не может быть построен на шантажном письме, зашитом в подкладку. Это ошибка

гения... Подросток учился у Тушара, с детства учился, а стеснялся своего дурного французского языка. Это Федор Михайлович себя вставил, как он себя чувствовал, попав в общество... И опять себя, когда подросток рассуждает о любви, о том, что после первой ночи он ее убьет... Не мысли мальчика, а самого Федора Михайловича... И тут же он перепутал из Библии...»

Она сказала, что̀ именно перепутал, но, к сожалению, это я забыла.

Жалею и о том, что не записала вовремя ее великолепную гневную речь, посвященную роману «Анна Каренина». Она утверждала, что Толстой в романе этом сказал: женщина, изменившая мужу пусть по самой страстной любви, становится женщиной потерянной... Она утверждала, что Толстой, в начале романа влюбленный в Анну, в конце романа ненавидит ее и всячески унижает. И доказывала это цитатами. Но невозможно своими словами передать ее речь... Надо было слушать ее самое, видеть ее гневное лицо. А гневалась она потому, что ненавидела всякую домостроевщину. Не раз я слышала от нее слова: «Я всегда за развод».

Ноябрь, 1960 год. Сидим в маленькой комнате у Ардовых. Анна Андреевна вспоминала прошлое в связи с тем, что в апреле будущего года исполнится пятьдесят лет с тех пор, как стихи ее впервые появились в журнале «Аполлон» и очень быстро был отклик в газете «Новое время» — пародия Буренина...

Я спросила, какие именно стихи были тогда опубликованы.

— Смрадный «Сероглазый король» и еще что-то... Не помню уж что...

Ее раздражал успех, выпавший на долю «Сероглазого короля». Об этих стихах она говорила тоном оправдания: «Мне же было тогда двадцать лет, и это была попытка баллады».

...Между прочим, она очень сердилась, что А. Вертинский пел эти стихи и использовал для своих песенок тексты еще нескольких стихотворений Ахматовой, переделывая и перекраивая их... «Это не в добрых нравах литературы!» — сурово говорила Анна Андреевна. Эту фразу, кстати, я от нее нередко слышала и по другим поводам...

Позже в тот же ноябрьский вечер младший сын Ардовых Борис, ученик театральной студии, рассказал вот что... Накануне в студии был какой-то торжественный вечер, и для студийцев играла знаменитая пожилая актриса. Боря Ардов на вечере не был, и товарищи упрекнули его: «Что ж ты не пришел? Неудобно! Старуха так старалась!»

И Анна Андреевна — мне:

«Не дай вам бог до этого дожить!»

...Я вполне освоилась в ее обществе, свободно молчала, свободно говорила все, что приходило в голову. Последним, быть может, несколько злоупотребляла. Бывало, что Анна Андреевна произносила шутливо-жалобно: «Почему я, такая нежная, должна это слушать?» (Она пародировала Бальмонта, который когда-то сказал что-то в этом роде...) В наступившей простоте отношений я временами забывала, кто рядом со мной! Ее драгоценное общество неизменно доставляло мне радость, но одновременно я жалела ее — и потому, что она стала глохнуть, и потому, что ей было трудно ходить. Это отношение, однако, надо было тщательно скрывать: «Я не любила с давних дней, чтобы меня жалели...» Если, забывшись, я говорила: «Итак, мэм, я вас привезу...» или: «Я вас отвезу...» — меня строго поправляли: «Вы, видимо, хотели сказать, что мы вместе поедем?»

Весной 1961 года в Гослитиздате вышел сборник: «Анна Ахматова. Стихотворения (1909—1960)». Небольшая, изящная книжка с послесловием А. Суркова, а вместо предисловия автобиография Ахматовой «Коротко о себе». На моем экземпляре надпись рукой Анны Андреевны: «Наталии Ильиной в хороший летний день, дружественно. Ахматова. 3 июня 1961 года».

В двадцатых числах этого же месяца мы с ней ездили в Переделкино: Ахматова везла свою книгу в подарок Чуковскому. Вечер был удивительный — тихий, теплый, розовый. Сев на садовую скамью, Ахматова произнесла: «Здесь хорошо до преступности!»

Как они были прекрасны рядом — Ахматова и Чуковский! Она полная, седая, величественная в чесучовом просторном платье, и он в белом пиджаке, с белой на смуглом лбу прядью, длинный, худой, слегка и почтительно к ней наклонившийся... Я оставила их на скамье вдвоем, любовалась на них издали, прохаживаясь по участку. И странно мне было, что эти два человека, имена которых я знаю всю жизнь,— тут, рядом, и я благодарила судьбу, подарив-

шую мне встречу с ними и их доброе ко мне отношение... Никогда у меня не было фотоаппарата, снимать я не умела и не жалела об этом. А тут вдруг пожалела. Хотелось остановить мгновение, чтобы всегда, когда захочу, снова увидеть их двоих, сидящих рядом на скамейке. Они оба стары. Оба скоро уйдут...

Позже мы ужинали на веранде... Вслух вспоминали о том, как в начале пятидесятых годов Анна Андреевна была в гостях у Корнея Ивановича и сюда, на веранду, спасаясь от грянувшего ливня, забежал Фадеев. И Анна Андреевна обратилась к нему с трудной личной просьбой. Вспоминая об этом, она сравнила себя с толстовской Анной Михайловной Друбецкой с ее «исплаканным лицом».

— Вы не были исплаканной! — возразил Корней Иванович.

— У меня для этого были все основания. Куда больше оснований, чем у Друбецкой!

Июнь 1962 года. Мы едем куда-то в машине, и происходит такой диалог:

— Мэм, вам нравится летать на самолете?

— Нет. В этом есть что-то преступное. Глядишь на землю, она маленькая-маленькая, нереальная. И легко можно подумать: а почему бы не бросить бомбу? Очень просто!

Затем мы говорили об одном писателе, чей роман кому-то не понравился и был подвергнут ожесточенным нападкам критики...

Анна Андреевна (повествовательным тоном): «...и тогда его знакомые с ним раззнакомились и стали чьими-то чужими знакомыми...»

В августе того же года я была по делам в Ленинграде и два дня прогостила в Комарове у Ахматовой. Утром мы с ней пошли гулять. Прогулка не была длинной, для нее имелись раз и навсегда установленные границы: «Вот до этой скамейки я обычно дохожу». И мы сели на скамейку.

В конце минувшего 1961 года Анна Андреевна лежала в ленинградской больнице — там-то ей вырезали наконец аппендикс. И сейчас она стала рассказывать мне о том, как ее навестил в больнице один швед...

— И была на нем рубашка ослепительно белая, как ангельское крыло. И я думала: пока у нас была война, ре-

волюция, опять война, пока мы обагряли руки в крови, сидели в блокаде — в Швеции только тем и занимались, что гладили и стирали эту рубашку... Швед ушел, а старухи в палате все повторяли, как зачарованные: «Рубашка, рубашка...»

Позже в тот же день на веранде «будки» Ахматова читала мне написанные в больнице стихи «Родная земля» («В заветных ладанках не носим на груди, о ней стихи навзрыд не сочиняем, наш горький сон она не бередит, не кажется обетованным раем...») и затем стихотворение: «Комаровские наброски» с эпиграфом из Цветаевой: «О Муза Плача...»

...И отступилась я здесь от всего,
От земного всякого блага.
Духом, хранителем «места сего»
Стала лесная коряга.

Все мы немного у жизни в гостях,
Жить — это только привычка.
Чудится мне на воздушных путях
Двух голосов перекличка.

Двух? А еще у восточной стены,
В зарослях крепкой малины,
Темная, свежая ветвь бузины...
Это — письмо от Марины.

О двух своих встречах с Цветаевой Анна Андреевна рассказала мне в январе 1963 года... Обе встречи произошли в начале июня 1941 года. До тех пор Ахматова и Цветаева друг друга не видели никогда. Пастернак передал Анне Андреевне, что Цветаева хотела бы встретиться с нею, и сообщил телефон Цветаевой.

«Звоню. Прошу позвать ее. Слышу: «Да?» — «Говорит Ахматова».— «Слушаю». Я удивилась. Ведь она же хотела меня видеть? Но говорю: «Как мы сделаем? Мне к вам прийти или вы ко мне придете?» — «Лучше я к вам приду».— «Тогда я позову сейчас нормального человека, чтобы он объяснил, как до нас добраться».— «А нормальный человек сможет объяснить ненормальному?»

Пришла на другой день в двенадцать дня. А ушла в час ночи. Сидели вот в этой маленькой комнате. Сердобольные Ардовы нам еду какую-то посылали...

О чем говорили? Не верю, что можно многие годы точно помнить, о чем люди говорили, не верю, когда по памяти восстанавливают. Помню, что она спросила меня: «Как

вы могли написать: «Отними и ребенка, и друга, и таинственный песенный дар...»? Разве вы не знаете, что в стихах все сбывается?» Я: «А как вы могли написать поэму «Молодец»?» Она: «Но ведь это я не о себе!» Я хотела было сказать: «А разве вы не знаете, что в стихах — все о себе?» Но не сказала.

На другой день в семь утра (она вставала по парижской привычке очень рано) позвонила по телефону — это кухарка мне передала,— что снова хочет меня видеть. Позже созвонились. Я в тот вечер была занята, ехала к Николаю Ивановичу Харджиеву в Марьину рощу. Марина Ивановна сказала: «Я приду туда». Пришла. Подарила «Поэму воздуха», которую за ночь переписала своей рукой. Вещь сложная, кризисная. Вышли от Харджиева вместе, пешком. Она предупредила меня, что не может ездить ни в автобусах, ни в троллейбусах. Только в трамвае. Или уж пешком... Я шла в Театр Красной Армии, где в тот вечер играла Нина Ольшевская... Вечер был удивительно светлый. У театра мы расстались. Вот и вся была у меня Марина».

...Итак, Ахматова говорила, что лирические стихи — лучшая броня, лучшее прикрытие, там себя не выдашь. А с другой стороны говорила и так: в стихах все о себе.

Мне казалось, что одно противоречит другому, и я не знала, как это противоречие примирить, пока не наткнулась однажды на слова Гоголя о Пушкине: «Даже в те поры, когда метался он сам в чаду страстей, поэзия была для него святыня — точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей; не вошла туда нагишом растрепанная действительность. А между тем всё там — история его самого. Но это ни для кого не зримо. Читатель слышал одно только благоухание, но какие вещества перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благоухание, того никто не может услышать» [1].

Как-то в другой раз, когда я расспрашивала о Цветаевой Анну Андреевну, она сказала, что у ранней Цветаевой было много безвкусицы... «Любила Ростана. А эта шкура

---

[1] Гоголь Н. В. Собр. соч. в 6-ти т., т. VI. М., 1937, с. 434.

из «Нездешнего вечера», на которой она сидела! Безвкусица во многом. А сумела стать большим поэтом!»

Помолчав, добавила: «Недостойная поэта тема — богатые и бедные!»

Говоря о характере Цветаевой, Анна Андреевна вспомнила такой диалог между ними.

Цветаева сказала:

«Я многих спрашивала: «Какая вы?»

Я, поддавшись на эту удочку, заинтересованно: «И что ж вам отвечали?» — «Отвечали: «Просто дама!»

(Черновые наброски этих записок я дала прочитать дочери Цветаевой Ариадне Сергеевне Эфрон. Прочитав, она написала мне письмо, постскриптум которого мне кажется нужным здесь привести. Подчеркнутые слова подчеркнуты автором письма:

«О «безвкусице» ранней Цветаевой: безвкусицы не было, было всегда (у М. Ц.!) — «с этой безмерностью в мире мер...». М. Ц. была безмерна, А. А. — гармонична; отсюда разница их (творческого) отношения друг к другу. Безмерность одной принимала (и любила) гармоничность другой, ну, а гармоничность не способна воспринимать безмерность: это ведь немножко не comme il faut с точки зрения гармонии».)

Как-то в присутствии Анны Андреевны я спросила Марию Сергеевну Петровых об одной молодой поэтессе. «Она способная!» — ответила Мария Сергеевна. И тут Ахматова гневно:

«Способных поэтов не бывает! Или поэт, или нет! Это не та работа, когда, вставши рано поутру, умывшись, садишься за стол: дай, дескать, потружусь. Стихи — это катастрофа. Только так они и пишутся. Если не так — читатель сразу поймет и почувствует!»

Гневалась она и вступала в споры, лишь когда речь касалась предметов, близко принимаемых ею к сердцу. По другим поводам до споров и опровержений не снисходила... Помню, как, представляя меня двум пожилым дамам, двум сестрам, приятельницам своим, Ахматова сказала обо мне: «Она родилась в Петербурге, на Песках». Я моментально возразила, что улица, где я родилась, находится близ Суворовского проспекта и при чем, дескать, тут Пески. Ахматова промолчала. Это лишь потом я узнала (из собственной метрики), что родилась я и в самом деле на

Песках: так это место называлось... Совестно вспомнить, сколько вообще глупостей и по куда более серьезным поводам я наболтала в присутствии Ахматовой! А она не одергивала, она не останавливала меня. Позже, устыдившись, я говорила: «Мэм! Ну почему вы меня сразу не поправили?» Она, с усмешкой: «А я все ждала, Наташенька, когда вы дойдете своим умом».

Летом 1964 года у меня гостила моя сестра Ольга, жена француза, со своей младшей дочерью Катей. Последние числа августа мы втроем провели в Ленинграде, жили в «Европейской» гостинице. Анна Андреевна всегда была в курсе моих дел, знала, что летом приедет моя сестра, и было условлено, что я привезу ее в Комарово. О дне и часе мы условиться не могли, телефона в Комарове не было, и я всегда являлась к Ахматовой более или менее неожиданно, никогда не зная, что я там застану.

Сестре моей очень хотелось увидеть Ахматову. Одиннадцатилетней Кате этого не хотелось совсем. В электричке Катя мрачно осведомилась: «Там есть дети?» Я сказала, что детей там нет. «Ни один? Зачем я буду туда ехать?» — «Когда-нибудь ты будешь гордиться тем, что видела старую даму, к которой мы едем! — торжественно произнесла моя сестра.— Это великий русский поэт!» Ни слова, ни торжественность интонации не произвели впечатления на Катю, твердившую: «А я что буду делать у эта старая дама?» Мы вышли на станции Комарово, и Катя заявила, что умирает с голоду. Потом сообщила, что ей нужно и еще что-то. Мы сводили ее, куда ей требовалось, затем зашли в булочную, купили пирожков. Мы с сестрой не рассчитывали на то, что у Ахматовой нас накормят. Я — потому, что представления не имела, что в данное время делается на комаровской даче, кто ходит за Анной Андреевной, как налажен там быт. Сестра же, всю жизнь живущая за рубежом, знала, что люди едят в определенное время, и если человек не позавтракал в час дня, то в три ему есть не дадут, хоть он умри. Можно ожидать лишь чашки чая в четыре-пять пополудни. Ну, а в семь нормальные люди обедают. До семи оставаться в Комарове мы, разумеется, не собирались...

Все оказалось иначе. Зеленая «будка» была полна народу. На кухне хлопотала старушка, заведовав в то лето бытом Ахматовой. На столе веранды Нина Антоновна чистила собранные ею грибы. Были тут еще какие-то

молодые люди. Один из них сообщил, что сейчас отправится на велосипеде в станционный магазин за водкой.

Катя, уверенная, что ее ждет монашеская тишина одинокого жилья старой дамы, и все говорят вполголоса, и никаких детей, и дикая скука, воспрянула духом. Тут же осведомилась, нет ли второго велосипеда. Он был. «Я могу тоже ехать?» На лице сестры отразилось колебание, но я быстро сказала: «Пусть, пусть ее едет!»

Тем временем хозяйку дома, находившуюся в своей комнате, рисовал карандашом ленинградский художник, молодой и мне неизвестный. В лиловом просторном платье, очень ей шедшем, откинув крупную седую голову, Анна Андреевна сидела у стола и выглядела очень величественно. Указала мне пальцем в щеку (целовать сюда!), любезно улыбнулась моей сестре: «Здравствуйте!» Потом осведомилась: где же девочка? Что должна быть девочка, Ахматова помнила. Она всегда все помнила. Я ответила, что девочка уехала за водкой. «Прекрасно!» — сказала Анна Андреевна. Держа на коленях деревянную доску с прикрепленным к ней листом ватмана, художник тем временем делал свое дело. По-моему, делал его плохо. На рисунке Ахматова была похожа не на живого человека, а на статую Свободы.

А с веранды раздавались голоса, а из кухни — шипение жарившихся грибов, и вот их прямо на сковороде поставили на стол. Сеанс окончился, художник исчез, на веранду вышла Ахматова, и веселая, беспорядочная трапеза получила официальное название «обеда». После грибов ели суп, тарелок не хватало, их тут же бегали мыть. Из Ленинграда нагрянули новые гости — Боря Ардов с молодыми поэтами и актерами обоего пола. Анна Андреевна удалилась к себе отдохнуть, а мы пили чай, слушали музыку: пришли Женя Чуковский с женой Галей Шостакович и принесли магнитофон с пленкой — новое произведение Дмитрия Дмитриевича... Перед ужином вспомнили, что в доме ВТО живет Раневская, кто-то вызвался сбегать за ней...

Не помню, сколько народу сидело за ужином, что-то много... Раневская была в ударе, много и смешно рассказывала, стоял хохот. Ахматова смеялась до слез, сестра моя, изумленно на нее поглядывая, шептала мне: «Но она совсем не такая, как я думала! Она — веселая!» И еще: «Нет, это может быть только у русских!» Под словом «это» разумелось, видимо, то, что мы много часов не вылезали

из-за стола, сами мыли тарелки и всех новопришедших независимо от времени их появления тут же кормили...

На станцию мы поспели к поезду, уходившему в первом часу ночи. Ехали большой компанией — Боря Ардов, поэты, актеры. В вагоне Катя азартно играла с ними в карты, мешая русские слова с французскими, и была чрезвычайно возбуждена, видимо, потому что ей давно было пора спать. Вероятно, это был первый случай в Катиной жизни, что ее не уложили вовремя. Но часы, проведенные у Ахматовой, совершенно выбили из колеи Катину мать. Она не могла еще переварить слышанное, виденное. Она и сама, конечно, не знала, чего ждала, но уж во всяком случае не этого веселого бедлама.

* * *

Случись это несколькими годами раньше, и я была бы удивлена. Но к тому лету я уже привыкла, что Анна Андреевна постоянно окружена людьми. Последние годы своей жизни Ахматова допускала к себе всех, кто хотел ее видеть, круг ее знакомых расширялся безудержно.

Прежде все было иначе. Поздней осенью 1955 года ко мне на улицу Кирова без телефонного звонка зашла одна моя знакомая и застала у меня Ахматову. На глазах моих Анна Андреевна облачилась в свою непробиваемую броню и уже только на вопросы отвечала, и то кратко, и уже вообразить было нельзя, что она бывает иной... Приятельница моя оробела, не засиживалась, я ее не удерживала, и, одеваясь в передней (а я провожала), говорила не полным голосом, а шепотом, будто рядом больной. Сильное впечатление умела произвести Ахматова на свежего человека!

Около нее был в то время узкий круг людей, дружба с которыми исчислялась десятилетиями. Новых людей допускала к себе с трудом. И вот все изменилось.

Для этого, разумеется, были свои причины.

В 1956 году имя Ахматовой, набранное типографским шрифтом, появилось на титульном листе переводов корейской классической поэзии. В конце 1958 года Государственное издательство художественной литературы выпустило еще одну книжку, куда входили не только переводы, но и стихи Ахматовой. Вскоре это же издательство стало готовить новую книгу стихов, без переводов. Эта толстень-

кая, малого формата, изящная книжка появилась весной 1961 года.

И началось! Письма читателей. Звонки из редакций. Все журналы хотят печатать Ахматову, и все газеты хотят того же. И рвутся корреспонденты брать интервью о творческих планах. Вновь пришла к Ахматовой громкая слава, о которой она когда-то могла отозваться так презрительно: «А наутро притащится слава погремушкой над ухом трещать» — и так равнодушно-надменно: «Отдай другим игрушку мира славу, иди домой и ничего не жди».

А теперь эти игрушки и погремушки стали тешить Ахматову. К материальным благам по-прежнему «без внимания» (ее выражение), в новой ленинградской квартире почти не жила, в Москве скиталась по друзьям, лето — в комаровской «будке», и шуба старая, и с обувью неблагополучно. Но поклонение и лесть, и оробелые поклонники обоего пола, и цветы, и телефонные звонки, и весь день расписан, и зовут выступить или хотя бы только присутствовать — это стало нужным.

Придешь к ней, сядешь, закуришь, а Анна Андреевна с лицом таинственным и значительным вынимает из сумки (черной, порыжелой, всегда туго набитой) листок. Протягивает. Листок оказывался либо письмом читателя, недавно открывшего для себя Ахматову и свежо этому удивившегося, либо бумагой с грифом какого-нибудь института, где некто занялся изучением творчества Ахматовой и просит добавочных сведений. Иногда из сумки извлекалась газетная вырезка или страница журнала... Прочитав, следовало что-то говорить, а лучше — восклицать. Хвалить читателя за чуткость. Об институте, занявшемся изучением ахматовского творчества, говорить: «Давно пора!» Газетную заметку следовало либо одобрять, либо ею возмущаться.

Я, случалось, путала. Одобряла, а ждали от меня возмущения, ибо в статейке проскользнуло что-то Ахматовой не понравившееся... Я, значит, радостно восклицаю, а по лицу ее, по гневно сузившимся глазам вижу, что попала не в струю, пытаюсь на ходу перестроиться, мечтая, однако, чтобы мне подсказали: чем именно надо возмущаться? Подсказывали: «Вы что ж, не заметили...» Я горячо протестовала: ну конечно заметила! Только сначала хотела отметить положительную сторону явления, а уж потом...

И она, видевшая на семь аршин под землею, она, муд-

рейшая, она, всезнающая, всепонимающая, она перестала чувствовать фальшь!

Слышу: «Ахматова сказала...», «Ахматова считает...» Спрашиваю: «Откуда вы знаете?»— «От такого-то. Он на днях у нее был». Имя «такого-то» мне знакомо и мною не уважаемо. Думаю: «Господи, его-то она зачем пустила к себе? И зачем ей вообще нужны эти разношерстные толпы?»

Осуждала. Смела осуждать. А ведь дрогнула она лишь в одном: стала менее строга к себе, позволила себе немного расслабиться, молчание и отшельничество утомили ее. И все осталось при ней. Ее «таинственный песенный дар» не покинул ее до смерти. Пронзительный ум (встречала ли я кого-нибудь умнее?), великолепная ирония, умение давать меткие характеристики, точность и взвешенность каждого слова — все было с ней до конца. Но она не была ни святой, ни статуей, ничто человеческое не было ей чуждо... В каком-то из писем Льва Толстого в период его работы над «Анной Карениной» проскальзывает такая примерно мысль: пишешь, пишешь (дело одинокое!), и наступает наконец минута, когда непременно надо, чтобы тебя похвалили. Это, значит, и гению нужно.

Когда-то в моем отношении к Ахматовой было нечто от внимающего учителю робкого ученика. Затем, привыкнув и освоившись, решив, что и она не без слабостей, я стала чрезмерно свободно ощущать себя в ее высоком присутствии. Мало того. Уже мои дела, мои заботы нередко казались мне важнее ее общества. Исчезло постоянно жившее во мне желание что-то сделать для нее, чем-то ей услужить. Боже мой, да вокруг нее столько теперь топчется поклонников, вот пусть они и побегают, их очередь. Бывало, она звонила мне: «Не могли бы вы каким-нибудь чудом...» И чем бы я ни была занята, я все бросала и мчалась к ней. Позже — своих дел ради нее я бросать не собиралась. Она это знала. Она знала все. И последние два-три года своей жизни уже ни о чем не просила меня.

...Сейчас, перечитывая ее стихи, написанные в последнее десятилетие ее жизни, в период моего с ней знакомства, из ее уст впервые слышанные,— сейчас я остро понимаю, *кто* был рядом со мной и как недостаточно я это ценила. Но прошлого не вернешь. Содеянного не поправишь.

Итак, прямо не просила ни о чем. Позвонив мне по

телефону, говорила: «Что у вас слышно?» А я немедленно начинала себя чувствовать виноватой.

Почему же? А потому, что мне было известно, как она любит поездки за город, на природу, и я понимала, что могла бы чаще доставлять ей эти невинные радости. За словами: «Что у вас слышно?» — мне чудились другие: «Куда вы исчезли? Почему не найдете времени покатать меня?»

Я становилась суетливо-говорливой, ибо ложь, как известно, многословна, а полуправда — тем более. Да вот работаю, не поднимая головы. Пишу. Прикована к машинке, как каторжник к тачке! Ну, и там еще разные бытовые моменты... Однако скоро должно полегчать. Например, в среду. А что, если нам в среду поехать покататься, мэм? В ответ гордое: «Не знаю, что будет в среду. Звоните!» Трубка положена.

Я приезжаю за ней. Она меня ждет, она готова. В передней я помогаю ей надеть пальто, и вот, натягивая перчатки, она говорит тем, у кого в данный момент живет: «Если будут звонить, отвечайте, что я уехала кататься!» И несоответствие этих отдающих девятнадцатым веком слов с ее одеждой, бездомностью, чужой передней и тем, что нет ни ландо, ни кучера, а есть только я, которая не так уж охотно пожертвовала своим рабочим утром, чтобы везти ее «кататься», каждый раз пронзало меня жалостью.

До последних дней своей жизни она оставалась и величавой, и красивой, но время не было милосердно и к ней. Она полнела. С ее высоким ростом это не бросалось в глаза, к тому же я часто и регулярно ее видела. Но теперь, глядя на фотографии, я замечаю, как потучнела она за последние три-четыре года, как ее твердо очерченное лицо римлянки эту твердость очертаний утрачивало, расплываясь. Она полнела оттого, что мало двигалась. Двигаться же ей становилось все труднее.

Теперь, когда мы приезжали в Коломенское, я, несмотря на запрет, подводила машину к самым воротам, ведущим к церкви Вознесения: Ахматовой уже не под силу было одолеть расстояние от законной стоянки автомобилей до ворот. Как-то рядом случился милиционер, начал сурово на меня надвигаться, но, увидев с трудом выходившую из машины старую женщину, махнул рукой, отвернулся, ушел.

И уже только в Коломенском выходила из машины Анна Андреевна, иначе не увидеть ей любимой церкви.

В других подмосковных местах, куда мы ездили, оставалась на месте: «Погуляйте, а я тут посижу!»

Мы ездили в Архангельское, воспетое Пушкиным, в березовую рощу неподалеку от Успенского шоссе, в красивое местечко на реке Сходня. Приехали туда однажды в ноябре, когда листья давно облетели, и Ахматова сказала: «Природа готовится к зиме. Взгляните, какой она стала прибранной и строгой». По дороге в Архангельское, если начинать путь с Волоколамского шоссе, есть место, где Москва-река делает поворот, и тут кто-нибудь из нас непременно произносил неизменную фразу: «Там, где река образовала свой самый выпуклый изгиб...»

Эти подмосковные места навсегда связаны для меня с Ахматовой. А когда я снова вижу любимую ею березовую рощу, в ушах моих звучит медленный ахматовский голос: «Так она есть? Она существует? А мне все казалось, что это был сон».

* * *

Торопливо, словно стремясь возместить недоданное, судьба в конце жизни Ахматовой стала кидать ей все то, в чем ей было так долго отказано...

Летом 1964 года стало известно, что Ахматовой присуждена одна из крупнейших премий Италии — «Этна-Таормина». Получать премию Анна Андреевна ездила в Италию.

Вернувшись в Москву, остановилась, как всегда, у друзей. На другой день после ее приезда я отправилась ее навестить. Увидев меня, Анна Андреевна сообщила:

— Все правда! Везувий действительно есть!

На мой вопрос, каков Рим:

— Сатанинский город. Сатана его строил до того, как пал. Состязался с богом: ты, дескать, так, а я — так!

В июне 1965 года Ахматова собиралась ехать в Англию, где ей предстояло получить почетное звание доктора Оксфордского университета. Сопровождать ее должна была дочь И. Н. Пуниной — Аня Каминская. Эта поездка едва не сорвалась из-за нелепой случайности.

Уезжали они из квартиры Ардовых. Утром в день отъезда я туда позвонила и узнала, что билетов на поезд еще нет, но вот-вот будут, они готовы, за ними только что по-

ехали в Иностранную комиссию Союза писателей. Поезд уходил с Белорусского вокзала в шесть с минутами вечера, времени много, оснований для беспокойства никаких. К Ардовым я решила не ехать, и без меня там много провожающих, думала проститься с Ахматовой на вокзале. Сидела дома, работала, а на душе почему-то неспокойно, и в пятом часу вечера я позвонила вновь. Узнала — билетов нет до сих пор. Как? Почему? Ведь еще утром... Да, да, утром-то их привезли, но они оказались не такими, поехали их менять... Отвечали мне голосом взволнованным, торопливым, я не стала выяснять по телефону, что означает «не такими», решила просто ехать к Ардовым. Села в машину, отправилась. Свернуть с Ордынки в ворота мне помешала выходившая в этот момент из тех же ворот машина — такси. Рядом с шофером — Ахматова. Сидит, выпрямившись, глядит прямо перед собой, и на лице хорошо мне знакомое выражение гневного страдания. Меня она не видела. Она ничего в этот момент не видела. Она прислушивалась к шуму внутренней тревоги... Куда она, господи, едет? И неужели одна? Нет. На заднем сиденье я усмотрела фигуру Анатолия Генриховича Наймана.

Во дворе я застала друзей Анны Андреевны, чьим гостеприимством она пользовалась во время своих «бедуинских» периодов,— Любовь Давыдовну Большинцову и Нику Николаевну Глен. Была с ними и Юлия Марковна Живова. Все трое шагали к воротам, но, увидев меня, задержались. Поведали о случившемся. Билеты утром привезли, казалось, все в порядке, пока кому-то не пришло в голову в них как следует вглядеться. Вглядевшись, ужаснулись. Позвонили в Иностранную комиссию. Там тоже ужаснулись. Велели билеты вернуть, их поедут менять, а как привезут — сразу позвонят.

(Уже не помню, что именно было не в порядке с билетами. То ли их выдали на разные числа, то ли какой-то бумажки им не хватало...)

Слушая торопливый рассказ, я представляла себе лицо Ахматовой в тот момент, когда это недоразумение выяснилось... Она, панически боявшаяся вокзалов, она, любившая туда являться за час, а то и за полтора до отхода поезда,— она вместе со всеми не ужасалась, и в этом я была убеждена. Она, единственная, внешне оставалась совершенно спокойной, и на лице ее было написано: «Чему вы удивляетесь? У меня только т а к и бывает!»

Сидели, значит, и ждали звонка. Его долго не было. Его нет и до сих пор... Полчаса назад Боря Ардов и Аня Каминская решили для экономии времени сами отправиться в Иностранную комиссию и оттуда, получив билеты, ехать прямо на вокзал. Что касается Анны Андреевны...

Итак, ждали звонка. Текли минуты. Звонки раздавались, трубку нервно хватали, но каждый раз звонок был не тот, не оттуда, и снова ожидание, и ползут минуты, и страшно взглянуть на часы, а еще страшнее на Анну Андреевну... Впрочем, подумала я, она вряд ли делила со всеми это ожидание у телефона в столовой. Удалилась, вероятно, в свою маленькую комнату, сидела на тахте, выпрямившись, раскинув руки, упершись в тахту ладонями (поза, всем друзьям ее хорошо знакомая!), лицо высокомерное. В столовой, надо полагать, тихо переговаривались: «Она ела что-нибудь?» — «С утра — ничего!» — «Надо бы...» — «Предлагали — не хочет!» И лишь Нина Антоновна, не вполне еще оправившаяся после долгой и тяжкой болезни (вот поэтому-то не она сопровождала Ахматову в Рим и в Англию не ехала!), лишь Нина Антоновна, самый близкий Ахматовой человек, бесстрашно заходила в маленькую комнату, для остальных такую же недоступную, как если бы там находился лев. Спрашивала: «Чаю не принести вам? А ну, примите-ка валидол!» Именно этот тон — грубовато-домашний, а не успокоительно-соболезнующий. Соболезнований Ахматова не принимала. Она выше этого. Она «без внимания». И вообще: готова ко всему.

Боря и Аня, значит, уехали в Иностранную комиссию и, дождавшись там билетов,— на вокзал. Получалось, что и Анну Андреевну следовало отправить на вокзал... «Ну вот что,— вероятно, сказала бесстрашно вошедшая в маленькую комнату Нина Антоновна,— мы такси вызвали. Поедете на вокзал, и Толя с вами». Я убеждена, что Ахматова не снизошла до вопроса: означает ли это, что билеты получены? Молча пожала плечами: делайте, мол, что хотите... Это уж сама Нина Антоновна добавила: «Билеты прямо туда привезут».

Дамы, застигнутые мною в ардовском дворе, шли, оказывается, к воротам, чтобы ловить такси и тоже ехать на вокзал. Подвернулась я, и они сели в мою машину. Едва я успела тронуться, как из подъезда Ардовых выскочила И. Н. Пунина. Куда? Какие там вокзалы! Надо немедля ехать в Иностранную комиссию и там ждать Аню и Борю.

Они вот-вот получат билеты, такси может подвернуться не сразу, туда надо подать машину, это сейчас самое важное! Дамы вновь устремились к воротам, а ко мне села Ирина Николаевна... Мы въехали во двор Союза писателей в тот самый момент, когда из флигеля Иностранной комиссии вышли Аня и Боря. Билеты получены, все в порядке, немедленно на вокзал!

Я взглянула на часы и содрогнулась: до отхода поезда оставалось не больше получаса. Воображать, с каким лицом сидит сейчас Ахматова в зале ожидания Белорусского вокзала, я не стала: ни на секунду нельзя отвлекаться, надо сосредоточиться на главном — вовремя довезти.

Ехали в гробовом молчании. Не одна я знала, который час, не одна я считала минуты до отхода поезда... Хватило бы любой случайности — лопнувшей шины, свистка милиционера, транспортной пробки, любой непредвиденной задержки,— и поездка в Англию сорвалась бы. Именно сорвалась, не отложилась, ибо вторично этого Ахматова уже не вынесла бы. Я вполне понимала тяжесть лежащей на мне ответственности.

Своих пассажиров я высадила у самого входа и видела, как они тут же ринулись бежать... А сама задержалась, не сразу нашла место, куда поставить машину. Поэтому застала лишь заключительный момент шествия по перрону: Анне Андреевне помогали взойти в вагон. Нитроглицерин, как мне сообщили, она уже принимала. Лица ее я не видела. Увидела несколькими минутами позже, успокоенным, в окне поплывшего вагона.

Вернувшись из Англии, Ахматова уехала в Комарово, и там, в последних числах августа, я навестила ее.

К удивлению моему, других гостей в тот день у Анны Андреевны не было, я оказалась единственной... Появление мое на ступеньках веранды было для Ахматовой неожиданным, и я с благодарностью вспоминаю ее осветившееся радостью лицо. Она сказала юмористически-жалобным голосом: «Человека забыли!» Была в тот день ясная, веселая, добрая. Мы вместе обедали и даже вина выпили. Она читала стихи. Именно в тот день я впервые услыхала сильно меня тронувшее стихотворение «Памяти В. С. Срезневской»:

> Почти не может быть, ведь ты была всегда:
> В тени блаженных лип, в блокаде и в больнице,

В тюремной камере и там, где злые птицы,
И травы пышные, и страшная вода.
О, как менялось все, но ты была всегда...

Уходить не хотелось, но пришлось: ночью я ехала в Москву. Я шла к калитке, Анна Андреевна стояла на крыльце, провожая. Нет, не было у меня никаких предчувствий. Никакой внутренний голос не шептал мне, что я в последний раз вижу ее в этом зеленом домике, в этой «будке». Тут был ее дом. Письменный стол, похожий на клавесин, старинные бронзовые подсвечники, ветхое, но красивое покрывало на тахте (тахта — матрас на кирпичах), продавленное кресло, случайные стулья, скверная клеенка на столе веранды — вся обстановка домика носила на себе отпечаток самой хозяйки: смесь изысканности и равнодушия ко всему материальному...

Я шла к калитке, она стояла на крыльце, провожая. Я оглянулась, улыбнулась, махнула рукой, вышла, скрипнув калиткой, зашагала к станции. И ничто не шепнуло мне, что никогда больше не увижу я Анну Андреевну около этой «будки», на этой песчаной, ею воспетой земле:

Земля хотя и не родная,
Но памятная навсегда,
И в море нежно-ледяная
И несоленая вода.

На дне песок белее мела,
А воздух пьяный, как вино,
И сосен розовое тело
В закатный час обнажено...

В ноябре того же 1965 года у Ахматовой случился последний инфаркт. Из квартиры Ардовых ее увезли в Боткинскую больницу. Она долго там пролежала, больше трех месяцев...

В декабре заболела, а в ночь на пятнадцатое скончалась моя мать. В эти дни смерти и похорон меня ни на минуту не покидали, постоянно звеня в ушах, ахматовские строки: «Почти не может быть, ведь ты была всегда... О, как менялось все, но ты была всегда...»

Январь 1966 года. Ахматовой лучше, к ней пускают посетителей, а я не могу навестить ее. Моя мать, сверстница Анны Андреевны, умерла от болезни сердца, и мне казалось, что известие это не только огорчит, но и испугает Ахматову. Притворяться же, делать вид, что в жизни моей за это время ничего не произошло, я не могла... Уже доходили до меня слухи, что Анна Андреевна удивлена

моим отсутствием, уже передавали мне ее слова: «Интересно, с каким лицом явится ко мне теперь Наташа?» Я явилась наконец с тем лицом, какое у меня было тогда: с лицом печальным. Анна Андреевна сидела в кресле в больничном коридоре, было ей значительно лучше и я сочла возможным сообщить печальную весть. Всей правды, однако, не сказала: солгала, что мама умерла от воспаления легких.

Именно там, в этом коридоре (а мимо мелькали белые халаты, больничные пижамы, и кто-то рядом говорил по телефону-автомату), именно там я видела Ахматову в последний раз.

Это уже февраль был. Я приехала в больницу вместе с Еленой Сергеевной Булгаковой. Ахматова очень любила М. А. Булгакова (его памяти посвящены стихи: «Вот это я тебе, взамен могильных роз, взамен кадильного куренья...») и сохранила нежную привязанность к его вдове...

Анна Андреевна сидела в том же кресле, встретила нас радостно. Сообщила, что сегодня не только ходила по коридору, «как большая», но и немного по лестнице... Значит, опасность миновала, значит, выздоравливает. Так нам казалось в те минуты, и так казалось Ахматовой — она была веселой, раскованной, говорливой, не часто я ее видела такой! До слез рассмешила нас, рассказав с ей свойственным сатирическим блеском один забавный случай из своей жизни... Так и простились с ней, смеясь...

Через несколько дней мы с А. А. Реформатским уехали в «Малеевку» — писательский Дом творчества около Рузы. Там я узнала, что все произошло так, как было задумано: в самых первых числах марта Анна Андреевна из больницы выписалась и вместе с Ниной Антоновной отправилась в санаторий в Домодедове.

О кончине Ахматовой я узнала утром шестого марта. А восьмого в «Малеевку» на мое имя пришла телеграмма: «Прощание девятого с десяти до одиннадцати утра морг Склифосовского похороны десятого Ленинграде».

Каждый московский житель знает здание Института имени Склифосовского, знала и я, а вот где морг, не знала. И мы вместе с приятелем, поэтом-переводчиком, случайно встретившимся мне в пути, долго блуждали в переулках за Институтом, спрашивая встречных. День был туманный, серый, с сеткой мелкого упорного дождя. Мы шли по какому-то лишенному тротуаров переулку и прижимались к забору, когда, разбрызгивая лужи, нас обгонял

очередной похоронный автобус. Наличие таких автобусов говорило, что мы на правильном пути.

И вот — ворота, двор, люди. Мы пришли туда, куда надо: много знакомых лиц. Я бы сказала, что двор был удивительно мрачен, если бы не понимала, что веселых дворов около моргов не бывает... Против ворот серое невысокое здание, каменные выщербленные ступени крыльца. Сразу из передней большая комната, в ней — гроб. Я шагнула к нему, но подбежала Аня Каминская: «Здесь не она! Побудьте здесь, говорите всем, что это не она!» Я просьбу выполнила. Постояла у чужого гроба, направляя вливавшуюся цепочку людей в соседнюю комнату.

А там была она. Мертвое лицо ее было суровым, напряженным, и мне показалось, что это выражение я знаю, видела на ее живом лице... Остро пахли цветы, покрывавшие гроб. А люди все шли и шли. Здесь были те, кто любил ее, кто понимал, что с ней ушло. И не тому следовало удивляться, что этих людей так много, а тому, каким образом все они узнали, куда надо было прийти проститься. И еще следовало удивляться порядку. В комнате, где стоял ее гроб, было очень тесно, но никакой давки: все видели, что задерживаться тут нельзя. Каждый входивший приближался к гробу, целовал ее ледяную руку, ледяной лоб и вновь выходил наружу, давая место другим.

Всему этому, однако, я удивлялась позже. Тогда я не удивлялась ничему. Духота и запах цветов в помещении, сырость, серость, дождь и лужи во дворе, мелькание лиц знакомых и незнакомых — от всего этого на душе было странно, смутно, и все мне виделось, как она стоит на крыльце своего домика в Комарове (я знала, что похоронят ее на тамошнем кладбище), и в ушах звенели, звенели, не желая уходить, ее стихи, ее слова:

Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни,
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет...

. . . .

И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда...

Видимо, эта погруженность в себя помешала мне запомнить тех, кто выступал на траурном митинге. Помню лишь, что официальных, шаблонных, мертвых слов про-

изнесено не было. Стояли среди луж, а тот, кто говорил, стоял на крыльце. Когда в ворота въезжал очередной похоронный автобус, он давал гудки нам в спины, мы расступались, а говоривший делал паузу, пережидая гудки и урчание мотора.

Не заезжая домой, я отправилась на Белорусский вокзал и оттуда в «Малеевку».

Электричка вырвалась из окрестностей города, за окном пошли мелькать подмосковные пейзажи, уже нет зимы, но нет и весны, хмурость, серость, природа строга, обнажена, готовится к переменам, белые пятна снега, размываемые дождем на черных полях, она все это так любила, она этого больше не увидит... «Многое еще, наверно, хочет быть воспетым голосом моим...» Голос смолк.

Я вспомнила, как она сидела в кресле в больничном коридоре, рассказывала смешное, и мы смеялись... И вновь возникла перед глазами эта комната, цветы, нескончаемая цепочка людей, медленно двигавшаяся вокруг гроба, и внезапно мне почудилось, что я разгадала выражение ее мертвого лица. Оно говорило то, что я столько раз слышала от нее при жизни:

«У меня только т а к и бывает».

КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ

Никого ни о чем не нужно было спрашивать: путь от станции до дома был мне заранее подробно описан. Справа на горе должно было показаться кладбище — оно показалось, далее следовало ждать мостика — появился и мостик, а потом все прямо, прямо, справа поле, затем возникнет улица Серафимовича, на нее надо свернуть. Улица возникла, называлась она именно так, как надо, я свернула. Августовский день был тих, ясен, шагалось легко, и было странно и весело думать, что сейчас я увижу живого Чуковского.

Это было давно — в 1955 году. Тогда мне казалось, что семьдесят три года — это чрезвычайно много, и я ждала, что увижу глубокого старика, благостного, тихого, с добрыми, слегка слезящимися глазами. Старец сидит в кресле на балконе, прикрыв ноги пледом, меня к нему подводят, представляют, я осторожно пожимаю его сухую стар-

ческую руку, говоря, что счастлива его видеть, мне шепчут: «Громче!» — я повышаю голос — старик глух, конечно.

Все в тот день шло как по-писаному, ничто моих ожиданий не обмануло. И кладбище, и мостик, и улица Серафимовича возникали вовремя, с нужными интервалами, когда следовало, появились и зеленые ворота, и двухэтажный за ними дом желтого цвета. Единственно кто так и не появился, это старик с укутанными пледом ногами, встречи с которым я ждала. Старика не было. Был длинный, худощавый веселый человек, с белой прядью на лбу, с острым смеющимся взглядом, с большими смуглыми руками, теплыми и мягкими,— всегда, видя Корнея Ивановича, я изумленно косилась на эти руки без единой приметы старости, и такими руки эти сохранились до смерти.

Вероятно, во время пути от электрички к дому я готовила какие-то слова, которые скажу Чуковскому... Еще в Шанхае я читала его сборник «Искусство перевода», его критические статьи о Вербицкой и Чарской, язвительное остроумие этих работ меня восхищало, многие фразы оттуда я помнила наизусть... Но ничего приготовленного сказать не пришлось. С той минуты, что я попала в орбиту веселого длинного седовласого человека, меня завертело, как щепку... Вот я схвачена за руку и повлечена в глубь участка, где много скамеек,— каждое лето тут устраивается костер для детей... Тут же, отпустив мою руку, Корней Иванович прыгнул на скамейку, пробежался по ней, засмеялся, спрыгнул не помню уж, что́ показывая на участке, затем мы побежали к дому, именно побежали, и он, одним духом перешагивая длинными ногами через ступеньки, взлетел по лестнице, я — за ним...

Знал ли он, что я готовилась к встрече с тихим стариком, и доказывал прыжками и бегом, что стариков в этом доме не водится, а тихих — тем более?

Примчались мы в его кабинет. Ничего я там толком в тот раз не рассмотрела (помню лишь ощущение уюта от обилия книг и радости оттого, что я здесь!), я глаз не отрывала от Корнея Ивановича... Боюсь, не глядела ли я на него разинув рот, что случалось со мной в детстве во время сильных зрелищных переживаний. А он доставал с полок и показывал мне какие-то книги, что-то спрашивал меня своим высоким и насмешливым голосом, я, вероятно, отвечала — не онемела же я в этот день, хотя могла оне-

меть... И вот он что-то пишет на одной из вынутых книг («От двух до пяти»), я догадываюсь, что книгу надписывают мне. Но могла ли я ожидать такой надписи? «Дорогой с первого взгляда...» — это по-русски и затем несколько ласковых слов по-английски...

Когда я шла к станции, было уже совсем темно: ни поля слева не видно, ни кладбищенских крестов на горе. Тепло. Тихо. В электричке я вынула книгу, поупивалась немного надписью на ней, хотела читать, читать не могла. Смотрела в окно, за которым ничего, кроме тьмы, не было видно, перебирала в памяти все с самого начала, вспоминала ласковые слова, сказанные Корнеем Ивановичем,— тогда я еще не знала, как он на них расточителен...

К тому времени числилась за мной одна-единая книжка, изданная в Шанхае, небольшой сборник, куда вошли лучшие фельетоны, написанные для газеты «Новая жизнь»,— с помощью этого сборника я поступала в Литературный институт. Книжку я давала читать друзьям. Выяснилось, что и Корней Иванович читал ее и она понравилась ему...

Я вернулась туда, что было в те годы моим домом,— в снимаемую мной комнату, в чужие девять метров, скудно обставленные, украшенные мною в потугах на уют какими-то занавесками... Я легла спать. Я не могла заснуть. Все видела перед собой удивительного человека, как он прыгал, как смеялся и как обнял меня на прощанье. И высокий его насмешливый голос слышала... Я верила в себя в ту ночь. Чужие углы, люди, с которыми я вынуждена жить бок о бок, скоро уйдут, это ненадолго, я выбьюсь, я способная, он так сказал, он знает, что говорит...

До следующего, сильно мне запомнившегося визита к Чуковскому осенью 1956 года я еще несколько раз побывала в Переделкине. Летом там всегда жили родные Корнея Ивановича, их-то я и ездила навещать. С Чуковским встречалась за ужином на веранде, он неизменно был со мною добр, казалось, что он ко мне расположен... На этой веранде я впервые увидела Ираклия Андроникова, тот рассказывал и показывал, а Корней Иванович не спускал с него восхищенно-влюбленных глаз. А я думала о том, что нет лучше слушателя, чем Корней Иванович, и завидовала тем, кем он восхищается.

Я была настолько убеждена в добром ко мне отношении Чуковского, что однажды, глазом не моргнув, взялась сопровождать в Переделкино одного молодого критика. Тому надо было выпросить у Чуковского статью для журнала, но был он с Корнеем Ивановичем едва знаком, ехать один стеснялся. Спросил меня: «В каких вы отношениях?» — «В прекрасных!» — «Поедем со мной?» — «Поедем».

Осенью 1956 года в переделкинском доме Корнея Ивановича телефона еще не было, предупредить о своем появлении мы не могли. Меня это не беспокоило: Корней Иванович встречает меня весело и ласково, он будет мне рад. Свою уверенность в добром приеме я внушила и моему спутнику, он тоже перестал беспокоиться... Мимо кладбищенской горы, мимо поля мы шли под моросящим осенним дождем, шли весело, предвкушая тепло и уют, а главное — встречу с Корнеем Ивановичем. Дверь не заперта, в доме очень тихо, из кухни появилась женщина, которая в то время вела здесь хозяйство. А Корнея Ивановича нет. Он в Москве. Уезжать нам показалось обидно, и были все основания думать, что он скоро вернется,— я знала, что в Москве он никогда не ночует, а спать ложится рано. Хотелось снять промокшие плащи, посидеть, но женщина сразу же нас покинула, ушла на кухню, войти не предложила, и мы, растерянно потоптавшись в передней, снова вышли наружу. Решили ждать, гуляя. Стали ходить по переделкинским улицам, делая круги вокруг дома Корнея Ивановича, дождь все моросил, и не было надежды, что он когда-нибудь кончится... Вынужденная наша прогулка длилась чуть не час, и однажды, подойдя к воротам дома, мы увидели, что во дворе произошли изменения, двор ожил — стоит машина, распахнуты двери гаража... Значит, вернулся!

Снова вошли в дом. Снова появилась на пороге кухни женщина, крикнула: «Корней Иванович! Пришли они!» Наверху растворилась дверь кабинета: «Кто пришел? Кто ко мне пришел?» Высокий, знакомый голос, а интонация незнакомая, раздраженная, даже — сердитая. Но ведь мы сообщили женщине наши фамилии, сказали, что будем ждать, гуляя. Забыла передать? Мне казалось: я сейчас назову себя, и Корней Иванович сразу подобреет — он ведь так хорошо ко мне относится! И я торопливо назвалась, и фамилию моего спутника тоже назвала... «Так вот это кто!» — произнесли наверху, но радости в этих словах

не послышалось, интонация их была загадочна, непонятна... Длинные ноги зашагали по лестнице, Корней Иванович спускался к нам. Он улыбался. Он воскликнул: «Душенька!» — и поцеловал меня. Протянул руку моему спутнику. «Какие мокрые!» — «Это потому, что мы все гуляли, уже час тут ходим!» — суетливо заговорила я, ибо, несмотря на «душеньку», несмотря на поцелуй, смутно мне было и тревожно... «Ай-ай-ай! А я-то хотел предложить вам погулять со мной. Я в это время всегда гуляю!» И снял с вешалки свой плащ и, надевая его, улыбался нам, но в этой улыбке, в прищуренном взгляде мне почудилось что-то насмешливое, что-то недоброе... «У меня, Корней Иванович,— начал было критик,— у меня к вам дело, вернее — просьба...» — «Дела потом, сейчас гулять!» — пошел к выходу, обернулся: «Или вам очень не хочется?» Жалкими, неискренними голосами мы ответили, что нет, почему же, нам хочется, и пошли следом за Корнеем Ивановичем в своих промокших плащах и еще около часу ходили с ним теми же улицами, теми же кругами, а дождь все моросил... Не помню, о чем говорили, не помню, что рассказывал нам Чуковский, помню лишь, что он оживился, голос его звучал весело, и веселость эта меня утешила, успокоила, а успокаиваться не надо было... Позже мне пришло в голову: а не вывел ли нас Корней Иванович из дому в надежде, что мы туда не вернемся, на ходу простимся, пойдем на станцию,— не эта ли надежда развеселила его?

В кабинет свой Корней Иванович нас не допустил, ввел в комнату второго этажа, напротив кабинета. Уселись втроем у круглого стола, и мой спутник критик изложил свою просьбу о статье. Отвечали ему уклончиво, ничего не обещая, и снова мне чудилось что-то насмешливое во взгляде, улыбке, манере Корнея Ивановича. Он и шутил, и вновь что-то рассказывал, и веселым казался, но под этой веселостью вспыхивали синие искры раздражения, я ощущала их почти физически, была подавлена, молчалива... А на дворе стемнело, и слышно было, как шелестит по листьям дождь... В дверь постучали: «Ужинать!» И тут же Корней Иванович вскочил. Я думала: спустимся вниз, оденемся, уедем. Нас будут, конечно, оставлять ужинать, но мы не останемся. Эту мысль с помощью морганий и кивков я довела до сведения своего спутника, он кивнул в ответ, лицо у него было растерянное,— несмотря на веселое многословие Корнея Ивановиа, оставалось неясным, согла-

сился он написать статью для журнала или не согласился... После двухчасовой прогулки под дождем смертельно хотелось есть, и я с тоской вообразила, как мы снова шагаем к станции, мимо поля... Видимо, это же вообразил мой спутник, ибо и в его глазах отразилась глубокая тоска. Сошли вниз. Уважая себя за принятое решение немедленно уехать, я твердо направилась к вешалке, протянула руку к своему плащу, а глаза мои невольно скосились в открытую дверь столовой: лампа, скатерть, розовые кружки колбасы, желтизна сыра, белизна творога и три, три прибора — накрыто на нас, рассчитано на нас, но мы не останемся, боже упаси, однако, если нас будут упрашивать...

Я не успела снять плащ. Его сняла рука, протянувшаяся над моим плечом. Я обернулась. Корней Иванович с ласковейшей из улыбок подает мне дождевик, и я просовываю руки в его холодные, мокрые рукава,— хотелось бы мне видеть собственное лицо в тот момент, когда я обернулась! А критик, мой спутник, топчется рядом, одеваясь, но я не смотрю на него, мне стыдно смотреть на него... Мы прощаемся. Корней Иванович весел, что-то шутливо говорит, я плохо слышу — что, уйти бы скорее! И внезапно нам, уже открывшим входную дверь, вслед: «Послушайте! Вы же, вероятно, голодные? Не дать ли вам с собой бутербродов?» — «Нет, что вы, что вы!» И через минуту вновь улица Серафимовича, и поле, и мостик, и невидимое в темноте кладбище, и дождь, и тревожный вой электрички вдали... Мы быстро шагали, стараясь оживленно беседовать. О приеме, нам оказанном, разумеется, ни звука, оба делали друг перед другом вид, что все хорошо, что поездка удалась... «Какое у вас впечатление, напишет он статью?» — спрашивал мой спутник. «Мне кажется, да!» — бодро отвечала я. Трудно давалась мне эта бодрость, мне было хуже, чем моему спутнику. Он-то ведь стеснялся ехать к Чуковскому. А я — нисколько. Хвасталась, что отношения прекрасные. Намекала, что меня будут рады видеть. А рады мне не были. Из дому почти выгнали. Да еще унизили этим предложением дать с собой бутерброды.

...Обида на Корнея Ивановича не заживала долго, хотя разумом я понимала, что винить следовало только себя. Мало того что ворвалась незваная, непрошеная, да еще гостя с собой привела. В тот день Чуковский ездил в Москву, значит, видел много людей, говорил с ними, отдавая себя (всегда отдавал себя, ибо общение «малой кровью» доступно ему не было), и, конечно, едучи домой,

мечтал об уединении и тишине своего переделкинского убежища. Но убежище было обложено. Мы подстерегали Корнея Ивановича, описывая круги вокруг его дома.

Ну, сказал бы сразу, по-хорошему: дескать, устал! О делах говорить неспособен. На другие темы — тоже неспособен. Извините старика! Вместо этого шутил, улыбался, называл «душенькой», надел масочку любезного весельчака, но подкалывал нас, нарушителей своего покоя, но издевался над нами. Сложный человек. Лукавый. Коварный. К нему близко не подходи: опасно. Ток.

Март 1957 года. В журнале «Знамя» печатается мой роман «Возвращение». До тех пор я появлялась в печати лишь с маленькими фельетонами и сатирическими заметками — этого мало, чтобы стать членом Союза писателей. Но вот вышел роман, и есть основания надеяться, что в Союз писателей меня допустят. Требовались три рекомендации. С этой просьбой я обратилась к двум писателям — знала, что они хорошо отнеслись к роману,— и рекомендации от них получила. В обеих ни звука не было сказано о моей фельетонной деятельности, а хвалился роман. Это казалось мне естественным, я и сама считала, что лишь это крупное, на двадцать с лишним листов, произведение дает мне право на звание «писателя».

О третьей рекомендации я хотела просить Корнея Ивановича, хотела, но не решалась. Не странно ли? Тех двух просить решилась сразу, хотя знакома с ними была отдаленно, за столом у них не сиживала, книг своих они мне не дарили, «душенькой» не называли. Удерживала меня, конечно, прошлогодняя история, когда мы с критиком ушли в дождь... После этого я с Корнеем Ивановичем не встречалась: история эта заставила меня увидеть его в ином свете, относиться к нему с опаской, кончилось тем, что я обратилась к своей приятельнице, постоянно жившей в Переделкине, с просьбой позондировать почву... Почва была позондирована, мне дали знать, что Корней Иванович рекомендацию написать согласен, и вот в марте я еду в Переделкино. Явилась я не одна, а сопровождаемая все той же доброй приятельницей. Корней Иванович встретил нас любезно, но отдаленно-сдержанно: не обнимал, «душеньками» не называл, не шутил — с порога было дано понять, что визит наш чисто деловой...

Рекомендация была написана в нашем присутствии и прочитана вслух. В ней было сказано все, что следовало, написана она была, видимо, так, как полагалось, но она

задела меня... Чем же? А тем, что Чуковский хвалил мою книгу фельетонов, вышедшую в 1946 году, называя ее «талантливой», о романе же упомянул мимоходом, отозвавшись сдержанно: «интересный». Я же той давней книжке значения не придавала, роман казался мне моим высшим литературным достижением. Именно роман, полагала я, дает мне право на членство в Союзе писателей. Видимо, Корнею Ивановичу роман не понравился. И я решила, что Чуковский обо мне как о литераторе мнения невысокого, а рекомендацию дает просто из желания помочь. Я уже знала, что он многим помогает, и деньги взаймы готов дать, и о жилье для людей хлопочет... Мне же решил помочь рекомендацией, а поскольку, рекомендуя человека, надо его хвалить, то он и вознес не по заслугам ту старую книжку...

Приятельница моя благодарила Корнея Ивановича, держала себя весело, непринужденно. Я бы на ее месте тоже веселилась: похлопотала за человека, хлопоты увенчались успехом, сделанное добро всегда веселит... Благодарила, разумеется, облагодетельствованная, я; впрочем, кроме слов «Спасибо, Корней Иванович!», я вряд ли что-нибудь из себя выжала. Мне было тягостно, неловко, я не участвовала в завязавшейся беседе...

Затем мы стали прощаться, и нас не удерживали. На перекрестке мы с приятельницей расставались: ей — налево, мне — направо, к станции. «Ну, довольны?» — «Да, да, очень. Еще раз спасибо».

Март. Темно. Мокрый снег. Чтобы утешить себя, я стала вспоминать хвалебные слова по поводу романа, написанные в двух других рекомендациях, и оживилась было, но снова пала духом... Дело в том, что один из двух рекомендателей мне совсем не нравился как писатель и я не верила его вкусу. Были сомнения и по поводу второго. Я хотела похвал Корнея Ивановича, а он-то и не хвалил... И подозрение, что Чуковский написал рекомендацию, руководствуясь не столько литературными, сколько благотворительными соображениями, угнетало меня...

Очень скоро после этого в Доме литераторов отмечали семидесятипятилетие Чуковского. Нового здания тогда еще не существовало, юбиляра чествовали в старом зале, где нынче ресторан. Сцены там не было, вместо эстрады маленькое возвышение, и юбиляр и те, кто сидел в президиуме, находились близко от первого ряда, рукой подать, и

это, конечно, было одной из причин того, что празднование не носило характера помпезной официальности. Но главной причиной уютной, непринужденно домашней атмосферы была личность юбиляра. Толком я не помню ни речей поздравителей, ни ответов Чуковского, помню лишь, что в публике много смеялись и совершенно отсутствовала та чопорная скованность, та боязнь улыбки и острого слова, которая так, увы, характерна для выступающих на наших юбилейных и прочих торжествах... Если кто и пытался по привычке накрахмалиться и говорить мертвыми шаблонами, то веселое лицо Чуковского и его реплики заставляли говорившего опомниться и вновь принять человеческий облик...

Юбиляр был прекрасен. Яркая седина его тогда еще мало поредевших волос не старила Корнея Ивановича,— напротив, молодила. Ничего обрюзгшего, усталого не было в этом смуглом лице с веселым носом и жизнелюбивым, мягким ртом. Среди присутствующих находился писатель лет на десять моложе юбиляра, но он-то, этот писатель, как раз и выглядел на семьдесят пять лет: мешочки под глазами, желто-серые редкие волосы, отвисшие щеки, опущенные углы рта. И руки со вздувшимися жилами, с желтыми пятнами. Контрастность наружности этих двух людей поразила меня, и позже я поделилась своими наблюдениями с Анной Андреевной Ахматовой. Она сказала: «Да, да, Корней стал красивее, чем был в молодости. Тогда он был гораздо хуже, уверяю вас». И, помолчав, добавила: «Это иногда случается».

Сидела я где-то в средних рядах. В глубине души я завидовала тем, кто в конце вечера запросто подходил к Корнею Ивановичу и кого он дружески обнимал, расточая улыбки и добрые слова. Среди подходивших были люди, казавшиеся мне ничтожными, даже дурными. Но и их обнимали, и им говорили что-то ласковое. «Он этого не думает,— утешала я себя,— это у него такая маска, маска веселого добряка. Актер. Лукавец».

А мне не хотелось быть одной из многих, кому он скажет «душенька» и тут же забудет о твоем существовании. Мне хотелось, чтобы он выделял меня из массы, чтобы ему нравилось то, что я пишу; но этого не было — ведь к лучшему мною написанному он отнесся равнодушно.

Эти вот самолюбивые соображения и удержали меня от того, чтобы подойти в тот вечер к Чуковскому и поздравить его с семидесятипятилетием.

* * *

Мечты о похвалах Корнея Ивановича вскоре осуществились... Мне передавали его добрые отзывы о моих появлявшихся в печати фельетонах... Когда в начале 1960 года в «Библиотеке «Крокодила» вышел мой сборник фельетонов и пародий, Корней Иванович позвонил мне по телефону и сказал слова, которые я на радостях тут же записала:

«Эти дни я был болен и мрачен, а ваша книжка меня исцелила. Вчера занимался ею весь день, читал ее вслух, мне читали вслух... Ведь то, что вы написали,— это краткая энциклопедия современной литературы! Я теперь понял ваш метод: вы делаете мозаику, но, конечно, вдохновенно... Пришлите, пожалуйста, две-три книжки для моих друзей. Или научите: где их достать? Готов заплатить по весу золота! Спасибо вам за исцеление!»

Счастлива я была этим отзывом безмерно и долго им хвасталась родным и друзьям...

И все же мое отношение к Корнею Ивановичу было по-прежнему окрашено осторожностью. В Переделкино я ездила навещать друзей, бывала и в доме Чуковского, в гостях у его родных, виделась с Корнеем Ивановичем, он бывал со мной добр, даже ласков, но тот осенний вечер с дождем я не забывала и относилась к Чуковскому с опаской. И было у меня немало случаев убедиться, что опасения мои вполне основательны...

В разные мои приезды приходилось слышать... Голос кого-то из домашних: «Корней Иванович! К вам идет такая-то!» Голос сверху: «Остановите ее! Скажите, что я умер!» Но удержать посетительницу не удается, поздно, и вот она стучит каблучками по лестнице, и затем слышен разыгрывающий радостное удивление голос Корнея Ивановича: «Вот это кто! Душенька! Драгоценная!» Звуки поцелуев. К ужину на веранде Корней Иванович появляется один, без дамы. «Едва догадалась уйти! Два часа украла!»

Идем мы с ним гулять. Навстречу пара — муж и жена средних лет, мне неизвестные, то ли переделкинские постоянные жители, то ли обитатели Дома творчества. Корней Иванович здоровается с мужем, что-то радостно восклицая, а жену прижимает к груди, целует, ласково и томно заглядывая ей в глаза... Расстались. Отошли. «Корней Иванович, кто это?» — «Это? Такой-то. Пишет пло-

хо».— «А она?» — «Бог ее знает. Второй раз в жизни ее вижу».

На территории Дома творчества... Подходит маленькая старушка, то ли писательница, то ли переводчица: «Корней Иванович, а я к вам собиралась. Вы обещали надписать фотографию. Помните? Нас вместе сняли!» — «Как же не помнить! — нежным, воркующим голосом ответствует Корней Иванович.— Давайте сюда эту фотографию!» Фотография приносится: на скамейке рядом старушка и Корней Иванович, она к нему прильнула, он обнимает ее за плечи. Ни на секунду не задумавшись, Корней Иванович пишет на нижнем, белом фоне фотографии: «...с пламенной любовью!» Поднимает на старушку глаза: «А ваша мама не рассердится?» Старушка радостно смеется. Я не уверена, что смеялась бы на ее месте... И тем более не смеялась бы, если б слышала, что Корней Иванович сказал, когда мы вышли за калитку: «Удачно мы ее встретили. Ведь она ко мне собиралась идти». «Время бы украла»,— подсказала я. «Именно»,— сказал Корней Иванович.

Как быть с ним, с этим лукавым человеком? Как узнать, когда слово его искренне, когда нет? Как узнать, когда он рад тебя видеть, а когда нет?

Краем уха я слышала (от самого ли Корнея Ивановича или от его близких) о длящейся несколько лет переписке его с одной молодой англичанкой. Она переводила на английский язык какие-то работы Чуковского, и он отзывался о ней похвально. И вот она приехала в Москву вместе со своим мужем. У нас с англичанкой оказались общие друзья, у них мы однажды встретились, обедали, а после обеда англичанка спросила, не отвезу ли я ее и ее мужа к Чуковскому. «Мы уже навещали Корнея Ивановича и так с ним подружились! Я никогда не видела такого обаятельного человека!» Я спросила англичанку, сговорилась ли она заранее о встрече с обаятельным человеком. Не будет ли визит неожиданным? «Не сговорились, но это неважно. Я знаю, он будет нам рад!» Я помнила, как он хорошо говорил об этой англичанке (в ее отсутствие говорил — значит, искренне) и посадила заморских гостей в свой автомобиль... Но вот будет ли он рад и мне? В этом я не была уверена и решила быть, как всегда с ним, осторожной. В Переделкине я ввела машину во двор к одной моей приятельнице, которой не боялась быть в тягость, и

пешком повела англичан к Чуковскому — это было в двух шагах... Довела до калитки, сказала, что когда они соберутся ехать обратно, то найдут меня там, где стоит машина. Затем вернулась к приятельнице, а у нее в гостях была одна поэтесса; мы сидели в саду, болтали... Прошло не больше пятнадцати минут с того момента, что я рассталась с англичанами, как вдруг вижу их входящими в калитку, а с ними Корнея Ивановича... Как он был оживлен, как весел, как ласков! Всех нас трех обнял, расцеловал и потребовал, чтобы мы с ним и англичанами немедленно шли гулять. Пошли. Любимая прогулка Корнея Ивановича — вокруг поля. Шагал, как всегда, быстро, молодо, смеялся, шутил, острил, разговор шел по-русски: англичанка прекрасно наш язык понимала, мужу ее мы по очереди переводили... Чудесная была прогулка, веселая прогулка, однако что-то наигранное чудилось мне в веселости Корнея Ивановича, под оживлением вспыхивали синие искорки, или это казалось мне? Обошли поле, снова вышли на перекресток улиц Тренева и Серафимовича, англичане уверенно свернули к дому Чуковского, явно собираясь там посидеть (ведь они прийти не успели, как их вывели гулять!). Мы — заколебались, однако Корней Иванович схватил под руку поэтессу, повлек ее за собой, на ходу умоляя прочитать одно ее прекрасное стихотворение... Поэтесса отнекивается, он настаивает: «Душенька! Умоляю вас! Вот и они послушают!» «Они» — относилось к англичанам, которые, взявшись за руки, веселые, как дети, оживленно болтая на родном языке, неуклонно приближались к воротам дома Чуковского.

Но до этих ворот дойти им не было суждено. Все мы были остановлены почему-то у ворот детской библиотеки. «Сюда! Сюда! — командовал Корней Иванович.— Сюда!» Мы вошли, недоумевая. На лицах англичан было написано радостное предвкушение чего-то интересного. Что еще собирается показать им этот кудесник, этот волшебник, этот обаятельнейший человек? А он взял поэтессу за талию, легко приподнял и поставил на камень, как на эстраду: «Читайте! Читайте, милая, читайте, душенька!» Она — что ей оставалось? — стала читать свои стихи. Лицо Корнея Ивановича мгновенно стало серьезно-слушающим; не отрываясь глядел он на читающую, впивал каждое слово и даже молитвенно сложил ладони. Посерьезнели и гости. Имя поэтессы было, несомненно, знакомо англичанке, и, мне кажется, она восприняла этот неожиданный

уличный дивертисмент как честь, оказанную им, гостям из Англии. Что касается англичанина, то он в первую минуту глядел изумленно, но затем, видимо, сказал себе, что, попав в среду русских, удивляться ничему не следует, от русских всего можно ждать — то они поют, то они декламируют в самое неподходящее время и в самом неожиданном месте... «Еще! Еще!» — вскричал Корней Иванович, когда стихи были дочитаны, зааплодировал, и англичане захлопали в ладоши, улыбаясь, благодаря, а я все поглядывала на Корнея Ивановича — уж больно восторженно аплодирует, уж больно молитвенно слушал, наигрыш тут какой-то, что за этим кроется? Читать другие стихи поэтесса отказалась наотрез, мы вышли из ворот, Корней Иванович — первый, англичане — за ним... Они свернули было направо, но Корней Иванович вдруг обернулся, схватил в свои объятия растерявшуюся англичанку, прижал ее к груди, говоря, что был несказанно рад видеть ее и ее супруга и как жалко расставаться!

На лице англичанки, видневшемся у плеча Корнея Ивановича, было написано горестное недоумение. «Но я... но мы...» — пыталась она сказать, но слова ее потонули в потоке нежных слов Корнея Ивановича: он выражал отчаяние по поводу того, что милые гости на днях едут к себе на родину и он больше их не увидит, но «мы будем писать друг другу, не правда ли?» — «Да, да, будем!» — бормотала окончательно растерявшаяся англичанка, а Корней Иванович, отпустив ее, уже горячо жмет руку ее мужу; тот беспомощно и вопросительно смотрит на жену (в чем, дескать, дело? почему он уже прощается?)... Затем Корней Иванович посылает всем нам воздушные поцелуи, и вот его уже нет рядом, быстрые шаги, взмахи длинных рук, идет к себе, свернул на мостик, исчез в калитке... В нашей маленькой группе стало очень тихо, и утешающий голос приятельницы моей: «Идемте ко мне чай пить!»

Итак, пока мы беззаботно гуляли вокруг поля, изобретательный мозг Корнея Ивановича трудился, придумывая наиболее безболезненный, наименее обидный способ отделаться от гостей. Способ был найден. Остановка во дворе библиотеки, чтение стихов — это какое-то действо, действо закончилось, теперь можно было притвориться, что именно за этим (стихи послушать) мы заходили сюда, а выйдя, простимся и расстанемся. Думаю, что англичане восприняли происшедшее именно так, как того хотел Корней Иванович: произошло глупое недоразумение. Мы-то хотели

зайти к чудесному старику, посидеть с ним, а он не понял, он стал прощаться, думал, видимо, что мы торопимся... А мы совсем не торопились! Надо было ему это объяснить, но не удалось, так бурно и поспешно вышло это прощание, до чего же обидно! Англичанка, конечно, не была в силах представить себе, что чудесный Чуковский, столько лет с ней переписывавшийся, полюбивший ее сначала заочно, затем очно, бурно обрадовавшийся, когда сегодня она неожиданно вновь его посетила, что этот добрейший, любезнейший, обаятельнейший человек попросту от нее отделался.

Почему же он отделался? По всей вероятности, в тот день, когда явились англичане, он мало работал из-за того, что ночью дурно спал, был недоволен собой и не был в силах себя отдавать, себя растрачивать — ведь иначе общаться он не умел. Ему нечего было тратить в тот день, и он тут же вывел гостей на прогулку, чтобы больше в дом не вводить. Это ему блестяще удалось. Я долго смеялась, вспоминая молитвенно-слушающее лицо Корнея Ивановича во время чтения стихов и эту прощальную сцену с объятиями... Актер. Фокусник. Мастер лукавства!

Не проще ли сказать посетителю: «Извините, но у меня срочная работа!» или: «Извините, я сегодня устал»? Возраст Корнея Ивановича давно дал ему право ссылаться на усталость. Этим правом он, однако, не пользовался никогда. О том, что занят и уделить время посетителю не может, тоже не говорил никогда. Почему же? Вероятно, потому, что подобные прямолинейные заявления казались ему грубостью. Грубости же он не терпел, избегал ее всячески.

И вот при виде неожиданно и не вовремя явившегося гостя Корней Иванович владел собой настолько, что даже делал вид, что гостю рад. Разыгрывал приятное удивление. Выводил гостя на прогулку, оживленно беседуя с ним по дороге. На эти игры тратил себя, но иначе, видимо, поступить не мог — таков был его характер, таковы были его каноны вежливости. Он считал, что этот мягкий, лукавый и — добавлю — несколько громоздкий способ отделываться от посетителей менее для них обиден, чем если сразу, с порога, заявить: «Извините. Принять вас не могу. Устал». Возразить тут нечего, каждый, в конце концов, поступает соответственно своим взглядам. Но вот само стремление гостям не поддаваться, их жертвой не быть, не

ломать ради них рабочего дня — это стремление мне очень понятно и глубоко мною уважаемо.

Он нуждался в людях, был к ним жадно любопытен, общение было ему необходимо. Однако делу — время, потехе — час. Работа в жизни Чуковского занимала главное место, он трудился ежедневно, по многу часов, не делая скидок ни на возраст, ни на бессонницу, которой страдал смолоду... День его был строго распределен по часам — что и должно быть у каждого, кто не ходит на службу, а трудится дома. Кто-то в шутку сказал, что русский писатель любит, когда ему мешают работать. В этом отношении Корней Иванович русским писателем не был: помех не любил, расхлябанность ненавидел. И русской мягкотелости по отношению к гостям, даже к тем, кто явился издалека, не проявлял.

Он вторично подарил мне свою книгу «От двух до пяти», в новом издании, с надписью «Обожаемой Ильиной!». Этой надписью я уже не упивалась. Мне он пишет «обожаемой», другому — «с пламенной любовью», третьему — еще что-то в этом роде, но все это ровно ничего не значит. Я знала, с какой щедростью расточает он направо и налево ласковые слова, действуя, видимо, по принципу: ему (ей) приятно, а мне — ничего не стоит. Я уже встречала дам, которые со скромной гордостью намекали, что они милы Чуковскому, он так всегда бывает счастлив их видеть, и среди намекавших была та, завидев которую в окно, Корней Иванович просил домашних сказать, что он умер... Чуковский прекрасен. Общество его драгоценно. Но: необходима осторожность.

Ездила я в Переделкино только летом, когда там жили родные Корнея Ивановича, по их зову. Позже, когда у меня появился автомобиль, возила в гости к Чуковскому Анну Ахматову. Я понимала, что у Корнея Ивановича бывают те люди, с которыми его связывает какое-то общее дело. К нему ездят молодые ученые из Института русского языка, помогающие в работе над книгой «Живой, как жизнь», ездят переводчики, ездят редакторы. А также все те, кто оказывает Чуковскому помощь в его работе: читают корректуры, достают материалы, приводят в порядок бумаги... А в гости ходят переделкинские обитатели, или постоянные, или живущие в Доме творчества...

Общих дел у меня с ним не было, в Переделкине я не живала никогда, ехать к нему из Москвы без приглашения невозможно, напрашиваться самой, звоня, тоже невоз-

можно. Какой повод? Хочется его видеть? Тебе-то хочется, а ему, быть может, нет. Гость, приехавший издалека,— трудный гость.

Я считала, что мои добрые отношения с Корнеем Ивановичем держатся на том, что я ему не навязываюсь. Появившись в его доме, я объявляла с порога, что визит сюда не был моей специальной целью: навещала, дескать, кого-то из переделкинских друзей, а к нему заглянула узнать — как он? Этим я снимала с Чуковского все обязательства по отношению к себе. Хочет — общается со мной, хочет — нет.

Иногда он бывал мне рад. Звал наверх, в свой кабинет... Однажды, услыхав от меня, что я не люблю Салтыкова-Щедрина, немедленно достал с полки том статей, куда входили литературные и театральные рецензии. Корней Иванович догадался, что этих статей я не читала и вообще Щедрина знаю плохо. Так оно и было. Мне опостылели «Сказки», чем-то раздражали «Господа Головлевы» — и то, и другое входило в программу «обязательного чтения» Литературного института. Чтение это набило мне оскомину, продолжать знакомство с Щедриным не хотелось. Это заставил меня сделать Корней Иванович. И я благодарна ему, что заставил...

Мы ходили с ним гулять. Шли мимо дачи Пастернака к реке, вокруг поля, я каждый раз удивлялась широкому, молодому шагу Чуковского. Многое он во время этих прогулок рассказывал, чего я по легкомыслию не записала. О работе в «Русском слове», о Тэффи. О молодой Ахматовой. А однажды говорил о тех, кто кричит ему: «Мы всю жизнь вас любим. Выросли на вашем «Крокодиле». И цитируют: «По улице ходила большая крокодила...» Корней Иванович имел право на это сердиться. Но он говорил об этом с веселой насмешкой. Добр он был? Не знаю. Знаю, что был он широк, мудр, терпим. Намека в нем не было на узость, на сектантство, на ту «несгибаемую принципиальность», от которой не тошно только ее обладателю...

В какой-то из моих приездов Корней Иванович внезапно сообщил, что в домике на его участке пустует комната, где летом можно прекрасно жить, и почему бы мне там не пожить или хотя бы оставаться ночевать? Мы с ним тут же отправились смотреть пустующую комнату, а вернее — домик, из этой комнаты состоящий, и я говорила: «А что же! Здесь чудесно! В самом деле, надо мне здесь пожить!» Хотя прекрасно знала, что жить тут не буду, ночевать

тоже не буду и никогда этим добрым предложением не воспользуюсь. С Корнеем Ивановичем необходима осторожность. Я должна сохранить от него полную независимость... Но с тех пор это так и называлось: «ваша комната», и я, приняв участие в игре, говорила: «моя комната».

На следующее лето в комнате стал жить вернувшийся из армии внук Корнея Ивановича. Я спросила как-то: «Митя живет в доме?» — «Нет. В вашей комнате».

* * *

За годы жизни в Москве прошлое уходило все дальше, отодвигалось, размывалось. Не я, кто-то другой видел бронзовых львов, стерегущих двери Гонконг-Шанхайского банка на набережной, и латаные паруса джонок на желтой реке... Кто-то другой ходил в школу из того дома под железной крышей, с палисадником... Но случалось и иное. Та прежняя, не похожая на теперешнюю жизнь внезапно надвигалась на меня, ощущалась реальнее, чем эта, и в такие минуты мне не верилось, что я в самом деле здесь, в Москве, в России.

...Однажды Корней Иванович в добрый час своего ко мне расположения развернул передо мной «Чукоккалу», этот бесценный альбом, заполненный автографами, рисунками, стихами тех, чьи имена вошли в историю русской культуры... «Корнакова, Катя Корнакова...» — внезапно прочитала я на одной из страниц и сказала: «Боже мой!»

Это были стихи Чуковским написанные, Корнаковой посвященные, стихи неоконченные: пропущена строка, не хватает слова...

Корнакова, Катя Корнакова,
Слышу крик монгольского орла,
И летит из лука из тугого
Дикая монгольская стрела.
. . . .
Кто-то... озорной
К нам сюда на пыльные паркеты
Бешеной швырнул тебя рукой.

И лихим безумным метеором
Ты неслась с безумием в очах
По пустым, по ледяным просторам
В мировых безумных сквозняках.

Мы конечно же говорили о Катерине Ивановне в тот день... Вероятно, я рассказывала Корнею Ивановичу о ее жизни в Харбине, о последних годах ее в Лондоне.

Мои неуверенные «вероятно» и «думаю» объясняются тем, что этот разговор полностью выпал из памяти. А выпал он потому, что я в те минуты как бы отсутствовала. Я была в Харбине. Видела перед собой плотные коричневые шторы, китайский абажур из промасленной бумаги, неубранные остатки ужина на столе, дымящуюся сигарету в руке Корнаковой, ее зеленые глаза, ее похорошевшее от возбуждения лицо — она говорит мне о Москве, о друзьях своих, о Корнее Ивановиче. О каких-то играх, которые они вместе придумывали. О каких-то стихах, которые он писал ей. Видимо, вот об этих. Об этих самых.

Могла ли я думать в тот харбинский вечер, что мне предстоит увидеть Чуковского, познакомиться с ним и с ним говорить о ней, о ней, к этому времени уже скончавшейся?

...Пройдет еще несколько лет, и я разыщу на лондонском протестантском кладбище ее могилу: православный крест и холм. «Где нынче крест и тень ветвей...»,— а вот тени ветвей как раз и не было. Зеленое поле, обнесенное каменной оградой, газон, гравием посыпанные дорожки, ряды могил, почти на всех одинаковые белые плиты, почти на всех одинаковые надписи: «In loving memory...» («Светлой памяти...»), зелено-белая пустыня, кроме меня и сестры моей — ни единой человеческой фигуры. Будет холодный майский день тысяча девятьсот семьдесят пятого года, с ледяным, пронизывающим ветром (откуда бы ему в мае взяться?), и это при безоблачном небе, при рассиявшемся солнце. Холод и свет. И в этом ярком свете все особенно бело, особенно зелено, и еще отчетливее кидается в глаза казенное однообразие белых плит, их как шнурком выровненные ряды, не прикрываемые древесными стволами, не затеняемые листвой,— почему это в листьях, в их шуршании, в их пестрой тени, есть нечто утешительное? — все беспощадно обнажено, прямолинейно, безнадежно... И мне, когда я буду стоять у этого здесь единственного православного креста, глядеть на русские буквы — «Екатерина Ивановна Корнакова-Бринер. 1895—1956»,— мне вспомнится строка из стихов Чуковского: «Бешеной швырнул тебя рукой...»

Но Лондон и это кладбище были тогда еще впереди, а в тот день я сидела рядом с Корнеем Ивановичем у стола его, в его кабинете, а слева балконная дверь, за ней де-

ревья, а перед нами окно и опять деревья с уже пожелтевшими, осыпающимися листьями. Осень. Подмосковье. Россия.

* * *

В тот день, когда Корней Иванович на территории Дома творчества писал на полях фотографии «с пламенной любовью», в тот же день подошла к нему женщина, умоляя послушать ее стихи для детей. Я, признаться, обмерла, увидев в ее руках множество машинописных страниц. Чужая рукопись для писателя — это как направленное на него дуло орудия,— так или примерно так сказано в «Драме» Чехова... Но Корней Иванович не дрогнул, не уклонился. Не стал бормотать, что, мол, когда-нибудь в другой раз. Нет. Тут он от человека не отделывался. Стал слушать. Не поэма ли это была? Дама читала долго, однообразность ритма меня укачивала, я уже ничего не воспринимала, думала лишь о том, как бы сбежать, не обидев читающую... На мое счастье, запросилась домой Марина, правнучка Корнея Ивановича, чей юный возраст (три года) позволял ей говорить вслух все, что приходило в голову. Я тут же вскочила, выразив горячее желание отвести ребенка домой. И отвела, благодаря судьбу за этот удачный предлог... Однако все же за Корнеем Ивановичем вернулась. И попала уже на конец его речи. Держа рукопись в руках, он высказывал свои соображения об услышанном. Говорил о том, что должно быть в стихах для детей и чего там быть не должно, говорил о форме стиха, о рифмах, о ритме, и я пожалела, что уходила, а позже пожалела, что не записала того, что удалось услышать...

Как-то в моем присутствии к Корнею Ивановичу приехал один поэт, с тем чтобы почитать свои новые стихи...

Я любила наблюдать за Корнеем Ивановичем, когда он кого-нибудь слушал... Услыхав что-то удачное, ему понравившееся, Чуковский, радуясь, оглядывал присутствующих, приглашая их разделить его восхищение. Если ему что-то не нравилось, темнел лицом, ни на кого не глядел... Я не знала другого человека, который умел бы так остро и мгновенно на все реагировать и так страдать — вероятно, почти физически — от фальши и пошлости.

В эти минуты я думала о том, что этот старый человек, сидящий сейчас на своем уже постеленном на ночь диване, давно не ездит в Москву, дом свой покидает лишь для прогулок или для санатория в Барвихе, но ничто из того, что в столице делается, мимо Чуковского не проходит. К нему все несут сюда. И нет в Москве литературно одаренного человека, не побывавшего в этой комнате. Люди, в которых Корней Иванович видел талант, казались ему и добрыми, и красивыми... Очень помню, как он сказал мне про одного поэта, только что прочитавшего свои стихи: «Красивый он, правда? Вам не кажется?» Мне не казалось, ибо красивым поэт не был... Литературные похвалы Корнея Ивановича были щедры, однако это не были бездумно разбрасываемые «душеньки», «обожаемые» и «драгоценные». Нет. Тут Корней Иванович думал, что говорил, тут не лукавил, но увлекающаяся его натура не знала удержу... Он говорил: «Старик Чуковский вас заметил и, в гроб сходя, благословил!» Он восклицал в наивысший момент увлечения: «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь!» Я уже говорила о том жадном любопытстве, которое Чуковский испытывал к людям. Ему — если употребить тут английское выражение — всегда надо было понять: что заставляет человека тикать? Бывало и так: стоило Корнею Ивановичу понять, какими пружинами вызвано тиканье, как интерес к данному индивиду пропадал... Увлекшись человеком, Корней Иванович внезапно, без ощутимой причины, к нему охладевал. Эмоциональные люди ведут себя так в молодости, очаровываясь и разочаровываясь. Чуковский остался таким навсегда.

Еще в 1934 году, работая в издательстве «Academia», А. А. Реформатский послал Чуковскому запрос о некоторых случаях орфографии Некрасова и получил от Корнея Ивановича немедленный и подробный ответ. Переписка их затем возобновилась в шестидесятые годы. Знакомство, таким образом, было заочное. Впервые они встретились в ноябре 1962 года. Кроме А. А. Реформатского я в тот день везла в Переделкино двух молодых языковедов, с которыми Корней Иванович затеял телепередачу о русском языке. В то время он также работал над книгой «Живой, как жизнь» и ему требовалась помощь лингвистов.

Погода была хмурая, с морозцем, с поземкой, приехали мы к часу дня, были кормлены чудесными пирожками,

угощены и водкой. Корней Иванович дал в ранней юности зарок не брать в рот спиртного, и если эту мальчишескую клятву когда-нибудь и нарушал, то не на моей памяти. Однако для гостей в его доме спиртные напитки водились...

Александр Александрович знал, что Чуковский не утратил ни ясности разума, ни яркой своей талантливости. Но ведь человеку восемьдесят лет. Возраст почтенный. Умен, талантлив, остер, работоспособен — это известно, а все же, все же... Воображать себе старца в кресле, как воображала когда-то я, Александр Александрович не мог: был подготовлен моими же рассказами. Но, конечно, того, что ему предстояло увидеть, не ожидал. Этого никто никогда не ожидал.

Вот мы все сидим наверху, в кабинете, идет ученая беседа (я в ней по невежеству участия не принимаю, лишь слушаю). Реформатский что-то уронил и нагнулся было, но уроненная вещь уже в руках Корнея Ивановича, успевшего и вскочить, и подбежать, и наклониться, он подает ее с низким поклоном Александру Александровичу, изумленному, смущенному, а главное — восхищенному. Разговор о деле продолжается, и вот Александр Александрович сказал что-то важное, могущее помочь Корнею Ивановичу в его работе, и тот уже стоит на коленях, благодаря, отвешивая земные поклоны, и общий смех, и новое восторженное смущение Александра Александровича... Затем был веселый спектакль с оксфордской мантией и шапочкой — тем летом Корней Иванович ездил в Англию, где был удостоен степени доктора Оксфордского университета... Облачившись в мантию, Корней Иванович изображал нам оксфордскую церемонию, цитировал по памяти адрес, который читали ему и в котором ему было дано шутливое звание «Корнелиус аткве Крокодилиус»... (До чего мне понравился этот «Крокодилиус!». То, что оксфордские ученые не окаменели во время торжественной церемонии, позволили себе шутки в торжественном адресе, говорило об их высокой цивилизованности, и это было совершенно в духе самого Корнея Ивановича!) Еще было рассказано о шагах. Их надо было десять сделать виновнику торжества, но церемониймейстер, увидев длину чуковских ног, сократил число шагов до восьми... «Итак, па де дис заменили на па д'юит!» — весело заметил Александр Александрович... А Чуковский, изображая нам все это, двигался, вертелся, склонялся, разгибался с резиновой гибкостью —

это восьмидесятилетний? Да на такое не каждый пятидесятилетний способен! Я вспомнила данное мне представление с прыганьем на скамейки в мой первый приезд и видела, что Александр Александрович так же покорен и изумлен, как была покорена и изумлена я...

Через два дня пришло письмо от Корнея Ивановича, датированное тем днем, когда мы его посетили,— 18 ноября... Он писал, что после нашего отъезда к нему приехали из города гости и он читал им вслух мои новые пародии: «...слышали бы вы, какой хохот стоял в моей комнате... пародии густые и терпкие, в каждом слове ненависть к пошлячеству...» В конце письма было сказано: «Сегодняшний визит ко мне Александра Александровича был истинным благодеянием».

Итак, весь тот день у него были гости. С языковедами Корней Иванович работал, затем их развлекал. Веселил и следующих гостей. После этого у него хватило сил писать письмо. Никакой срочности в этом не было. Письмо можно было написать завтра, а можно было вообще не писать. Но нет, Чуковскому хотелось тут же, не откладывая, порадовать автора (хохотали!) и порадовать Реформатского — визит его принес пользу.

На это письмо не я, к стыду своему, отозвалась, а Александр Александрович:

«Спасибо за прием 18 ноября. Великолепно! Сплендид! Феерично! Ваши доспехи и на «па де дис» и «па д'юит» при индокторации в Оксфорде — незабываемы, А пирожки-то!!! Ищу формулу касательно того, как «звуки светятся» и как «краски звучат» (об этом просил Корней Иванович).

Вновь последовало длинное письмо Корнея Ивановича, из которого хочу привести несколько строк, касающихся пародий:

«В защиту пародий где-то писал Тынянов о том, что пародии не оплеуха, а, напротив, комплимент... Из пародий Н. И. мне очень понравились на Леонова и Паустовского. Кстати, знает ли Н. И. пародию Зощенки на меня? Пародия была так убийственна, что я должен был начисто отказаться от своей литературной манеры».

Переписка Чуковского и Реформатского продолжалась в характерном для нее делово-шутливом тоне. «Магистре магно, Корнелио атква Крокодилио иллюстриссимо!» —

так обращался А. А. к Корнею Ивановичу, благодаря его за присылку книги «Высокое искусство», восхищаясь многими страницами этой книги, но и делая замечания по поводу неточностей... «Польщен вашим благосклонным отзывом о моей неуклюжей книжке»,— отзывается Корней Иванович и обещает в следующем издании исправить неточности...

Летом, кажется, 1963 года я вновь повезла в гости к Корнею Ивановичу А. А. Реформатского и двух молодых лингвистов. Подробности этого визита памятью не удержаны, помню лишь, что за обедом на веранде много шутили и смеялись, а потом все вместе отправились гулять, и во время этой прогулки (мы с Корнеем Ивановичем шли впереди, а Александр Александрович с языковедами за нами), Чуковский сказал мне: «Вы заметили, как Митя смотрел на А. А.? Глаз не сводил. Он таких веселых людей до сих пор только в театре видел!» А позже на мои слова о том, что я люблю лингвистическую молодежь из окружения Реформатского и эта среда мне милее среды писательской, ответил: «Понимаю. Писатели могут жить не думая, а эти — не могут!»

По запискам Александра Александровича я вижу, что в последний раз он был в Переделкине 1 августа 1965 года. Мы вновь обедали у Корнея Ивановича, провели с ним несколько приятных часов. «Был Корней Иванович оживлен, остроумен, сыпал воспоминаниями из разных времен»,— записал А. А. Если б не эти записи, я бы сегодня не вспомнила, о чем рассказывал Корней Иванович... А рассказывал он о Шаляпине, о Бунине, об А. Н. Тихонове (Сереброве), о Репине, о жене его Нордман-Северовой, о Мейерхольде... Записано еще и вот что: «Ходили за Н. К. Гудзием в Дом творчества, потом сидели у Чуковского, пережидая дождь, и была нам показана целая выставка книг... Был разговор о том, как я ужаснулся, поняв, что я уже старше Римского-Корсакова, такого «патриарха», а Корней Иванович сказал: «Ничего, А. А., я тоже уже старше Льва Толстого!»

Ну, а что помню я о том августовском с ливнями дне? Помню, как добр, ласков, радушен был Корней Иванович, как мы втроем отправились за Гудзием в Дом творчества и затем какое-то время сидели там на балконе: А. А. беседовал с Николаем Каллиниковичем, я — с Корнеем Ивановичем... Затем мы с А. А. собрались уезжать, пошли к машине, стоявшей во дворе у дома Чуковского, Гудзий

пошел нас проводить, и едва мы вошли во двор, как грянул ливень, и мы не уехали, еще сколько-то времени провели у Корнея Ивановича, в кабинете его, там-то он и показывал нам «целую выставку книг»... И вдруг заметил задумчиво, как бы с самим собой говоря: «Дождь-то зарядил. Теперь они долго не уйдут!» И светло нам всем улыбнулся: шучу, дескать, шучу! И боязнь наскучить этому человеку, быть в тягость, усыпленная было его радушием и веселостью, мгновенно проснулась во мне, я стала торопить Александра Александровича: едем, едем, бог с ним, с дождем. А. А., наслаждавшийся обществом Чуковского и Гудзия, был удивлен моей настойчивостью: здесь так хорошо, чего ей не сидится?

А потом наступила полоса смертей. В октябре умер Николай Каллиникович Гудзий. Четвертого ноября скоропостижно скончался Николай Корнеевич Чуковский.

В декабре умерла моя мать. В марте — Ахматова.

Корней Иванович, потрясенный смертью сына, какое-то время провел в больнице, и сейчас мне не вспомнить, когда после того августовского визита я увидела его в следующий раз. Но дата, его рукой написанная на третьем томе сочинений, говорит о том, что я была в Переделкине в 1966 году и снова в августе. В этот том входила работа «Живой, как жизнь» — вот почему книга дарилась Александру Александровичу. Надпись на книге Чуковский делал при мне, сидя за своим столом и тешась тем, что каждую строчку писал фломастером другого цвета: зеленым, синим, красным... С обычной щедростью своих дарственных надписей Корней Иванович вывел на титульном листе: «С благоговением...»

Видимо, фломастеры тогда у нас только появились, Корней Иванович и письма в то время ими писал, и тоже разноцветными строчками. А писем он писал множество.

Наш век не эпистолярный век, и сегодня, по-моему, уже никто не пишет писем. Разучились. Всем лень. Все делают вид, что безумно заняты... Как каждый литератор, выпустивший книжку, я дарю ее друзьям, посылаю знакомым. Вскоре возникает ощущение, что книга брошена в пропасть: не то чтобы письма, телефонного звонка — и того нет! Но я и сама, бывало, за присланную мне книгу не благодарила вовремя, знаю за собой этот грех и в других бросить камня не смею. Занятостью, однако, себя не оправдывала, понимала: просто было лень сделать над собой

усилие. Обычная распущенность. Обычная невежливость, за которой равнодушие к ближнему.

Я не знаю никого, кто работал бы так, как работал Чуковский. И никого, кто с бо̀льшим правом, чем он, в его годы, мог бы ссылаться на усталость. Но именно Чуковский всегда отзывался на посланные ему письма и книги. И не просто отзывался: спасибо, дескать, получил, когда-нибудь прочитаю... Нет, Корней Иванович даримые ему книги читал и авторам их подробно сообщал свои соображения. У меня нет знакомого литератора, который не мог бы похвастаться одним, двумя, а то и несколькими письмами Чуковского. Чем объяснить это? Видимо, тем горячим интересом к людям, который был одной из составных частей обаяния Чуковского, и питал его, и во многом был источником сил его.

* * *

Избалованная вниманием Корнея Ивановича к моей фельетонной деятельности, я однажды послала ему рукопись статьи о «дамских романах». То была моя первая попытка в жанре сатирической критики, жанре особом, в котором работал когда-то молодой Чуковский. Я прекрасно знала, как занят старый Чуковский, но это меня не удержало... Статья была длинная, чуть не двадцать машинописных страниц, однако Корней Иванович позвонил мне так скоро, что было ясно: прочитал в тот же день, что получил. Без всяких попыток смягчить сказанное ни словами, ни переливами голоса, Корней Иванович ругал статью: «Есть натяжки. Есть места, где кажется, будто вы подмигиваете читателю. Начало скучнейшее, через него трудно перевалить. Разве можно так начинать? Надо сразу брать быка за рога!»

Суровость эта меня поначалу огорчила, а затем — обрадовала. Прямота этого лукавого человека — вот что обрадовало меня. Я знала, как Корней Иванович очаровывал иной раз собеседника такими, к примеру, двусмысленными комплиментами: «С какой грацией вам удалось обойти все острые углы!» Стоило очарованному собеседнику в эти слова вдуматься, как он пугался: ведь под красивым словом «грация» имелись в виду легковесность, поверхностность, нежелание или неумение вникнуть в суть. А мне он сказал все прямо, спасибо ему! Это значит: он уверен, что я могу написать лучше, что данный вариант не предел

моих возможностей. Ругал откровенно и резко. Значит, верит в меня. Так я поняла звонок Корнея Ивановича и тут же села за письмо к нему...

«...Ваша «ругань» мне не менее дорога, чем Ваши добрые слова, потому что говорит о Вашей заинтересованности в том, что я делаю. Разумеется, очень огорчило меня, что статья Вам не понравилась, но, честное слово (и клянусь: это не кокетство!), я ценю, когда меня ругают люди, которым я верю, которых высоко ставлю. Ибо знаю по всей жизни моей, что ничто не приносило мне столько пользы».

На письмо это мгновенно пришла в ответ открытка:

«Вот и хорошо, дорогая Н. И. Умница! А я уже боялся распечатывать конверт. Думал: достанется мне за мою грубость!»

И ничего он не боялся. И прекрасно знал, что не достанется! Всегдашнее актерство, всегдашнее лукавство этого удивительного человека!

* * *

Музыка была ему чужда совершенно, разбирался ли он в живописи — не знаю, но уж зато в искусстве слова понимал все, тут у него был слух абсолютный, и это касалось как поэзии, так и прозы. Он обладал обостренным и азартным языковым чутьем и, кажется, был единственным литератором нашего времени, который занимался проблемами языка не поверхностно-любительски, а настолько углубленно и серьезно, что языковеды считали его стилистические исследования в книгах «Высокое искусство» и «Живой, как жизнь» руководством в своей работе.

Если Чуковскому нравилось какое-либо литературное произведение, то можно было ручаться: автор с русским языком в ладах, его чувствует, грехов против него не допустил — уж их бы старик Чуковский заметил, уж их бы не благословил...

Теперь вот о каком случае... В толстом журнале появилась повесть одной писательницы, чрезвычайно понравившаяся Корнею Ивановичу. Но ученый языковедческий журнал внезапно обрушился на повесть, утверждая, что это типичный пример «дамского творчества», и ссылался на мой фельетон «К вопросу о традиции и новаторстве в жанре дамской повести». Но эта повесть ничего общего не имела с теми ремесленными, халтурными, так называемы-

ми «бульварными» произведениями, которые я высмеивала... Автор повести обвинялся также в пренебрежительном, высокомерном отношении к людям иного, более «низкого» круга. Дело в том, что некоторые персонажи повести говорили на смеси канцелярщины с просторечием. Эту смесь автор как бы ставил под увеличительное стекло, показывая ее уродство и борясь таким способом против коверкания родного языка. Казалось бы, журналу следовало поддержать автора в его борьбе за чистоту русской речи, а журнал вместо этого брал под защиту канцелярщину, смешанную с просторечием, называя эту адскую смесь «народным языком» и упрекая автора повести в «снобистском отношении» к этому языку!

Странно было видеть эту статью, бездоказательную и демагогическую, на страницах ученого журнала. Еще страннее было то, что под статьей стояла подпись некоего С.— человека и не глупого, и одаренного. Особенно неприятно были поражены статьей те, кто знал С. лично и хорошо к нему относился. Среди них был Корней Иванович.

Поскольку С. в своей работе ссылался на меня, беря меня как бы в союзники, я написала открытое письмо в журнал, но письмо опубликовано не было. Вскоре я узнала, что в Институте русского языка будут обсуждаться номера журнала, и решила на обсуждение пойти и там выступить. Защитить несправедливо обруганную повесть пожелал и Чуковский. Свое выступление он наговорил на магнитофонную пленку и через своего секретаря Клару Израилевну Лозовскую передал пленку в Институт русского языка.

...Переполненный зал. С. гордо сидит на эстраде, в президиуме. Мне удалось прорваться с выступлением; как реагировал на мои слова С.— не знаю, я его не видела, смотрела в зал. Зато очень хорошо видела, как он воспринял остальное. Я была в зале, когда председатель произнес: «Слово предоставляется Корнею Ивановичу Чуковскому». Вокруг задвигались, зашептались, заоборачивались: где, где тут Чуковский? Изменившееся, испуганно-изумленное и внезапно покрывшееся испариной лицо С.: и он всматривался в зал... Звучит высокий, насмешливый, неповторимый голос. «Был ли Гомер мужчиной? Нет. Гомер был, несомненно, женщиной!» Именно так — сразу огорошить, сразу быка за рога — начинал этот человек свои статьи, свои выступления... В зале улыбки, веселые

переглядывания... А насмешливый голос звучит, и каждое слово больно стегает С., и тот уже глаза не может поднять, уставился в зеленую скатерть стола, лицо побагровевшее, чуть ли не апоплексическое... Этот неожиданно возникший в стенах Института голос поразил и смутил того, к кому обращался. В те годы смутить С. еще было возможно.

Так защитил Чуковский произведение, которое считал талантливым, а нападки на него несправедливыми. Это случилось в канун его восьмидесятипятилетия. Он лучше многих понимал, как драгоценно время, он хорошо знал пределы своих сил. Но готов был тратить и то и другое, если мог кого-то защитить, кому-то помочь. Знаю, что за многих он хлопотал и устно, и письменно. Однако делал это лишь тогда, когда был уверен: вмешательство действие окажет, пусть даже минимальное. Если же заранее чувствовал, что никакие вмешательства изменить ничего не смогут, то предпочитал об учиненных несправедливостях не знать, не обсуждать их, не сетовать, не возмущаться... Не раз бывала я свидетелем тому, как Корней Иванович уклонялся от словесных прений, в его присутствии иногда вскипавших, либо менял тему, либо отделывался шуткой, либо молчал. Подобные разговоры — занятие бесплодное, ненужная растрата времени, нервов, сил. Не болтать надо, а работать, работать, работать. Делать все, что в силах твоих, для русской культуры, для просвещения. Этим всю жизнь и занимался, и других к этому призывал...

Перерывы между моими посещениями Переделкина бывали долгими, длились иногда несколько месяцев, бывало — и год... Один раз за лето я появлюсь в доме Корнея Ивановича, затем надолго исчезну, и как-то он сделал такую шутливую приписку в письме к А. А. Реформатскому: «Что с Н. И.? Если Вам случится ее увидеть — кланяйтесь!» Я не видела Корнея Ивановича, но от близких его всегда знала, как он, что он, где он — дома ли, в Барвихе ли, в больнице ли... Переделкино было так доступно, всего полчаса езды на машине, а я не ехала. Корней Иванович не казался мне доступным, поэтому я привыкла жить, месяцами его не видя.

В июне 1968 года под вечер я поехала к Корнею Ивановичу, чтобы дать ему прочитать мои записки об Анне Ахматовой. О дне и часе приезда сговорились по телефону, и я ехала в Переделкино радостно, как всегда, когда твердо знала, что меня ждут, что мое появление не будет некстати.

Вечер был ясен, розов, тих. У Корнея Ивановича были гости, мне незнакомые,— муж и жена, преподаватели средней школы, и один писатель. Сидели на балконе второго этажа, куда выходил кабинет. Встретили меня весело, любезно, у присутствующих были располагающие к себе лица, мил и добр был Корней Иванович, смутивший меня, однако, тем, что сразу же сказал: «Ну, где ваши мемуары?» Я протянула ему привезенную папку, полагая, что потом, когда у него будет желание и время, он мою рукопись прочитает... Но он тут же папку открыл и, к смятению моему, начал читать вслух. Он читал, а мне казалось, что я выставлена на всеобщее посмеяние, что в написанном мною есть, несомненно, неудачные места, а Корней Иванович спуску не даст, их-то и подчеркнет насмешливым своим голосом. Да и длинно это! Чуть не сорок страниц на машинке, неужели он собирается все читать?

Но голос Корнея Ивановича был нейтрально-серьезен, на лицах присутствующих я увидела внимание и интерес, успокоилась, опасаясь теперь лишь того, что Корней Иванович устанет — вон уже восьмую страницу дочитывает. Я взяла у него рукопись, стала читать сама. Читалось легко, как это бывает, когда ощущаешь интерес слушателей; поглядывала на Корнея Ивановича: он смеялся, он одобрительно восклицал, глаза ласково-внимательные. Ему нравится! Ему, слава богу, нравится! Однако похвалы его, высказанные после чтения, полного доверия моего не вызвали: больно щедры!

Время двигалось к семи, гости Корнея Ивановича нас покинули, мы остались на балконе вдвоем; Корней Иванович все продолжал говорить о моей рукописи, и еще мы вспоминали о том, какой была Анна Андреевна в последние годы своей жизни...

Второй раз тем летом я была у Корнея Ивановича в июле. У меня гостила сестра Ольга и пятнадцатилетняя племянница Катя. Я стремилась показывать им в России все самое лучшее: возила их в свое время в Комарово, к Ахматовой, познакомила на Пахре с Твардовским, очередь

была за Чуковским. И вот я везла их к нему, предварительно созвонившись, сговорившись.

Не без чувства вины ступила я на порог переделкинского дома со своими гостями... Им-то, конечно, интересно видеть Чуковского (будет о чем, вернувшись, порассказать!), а ему интересно ли? Пользуясь добрым его ко мне расположением, я навязываю ему своих родственников, отнимаю у него драгоценные часы работы или отдыха... Какой может быть отдых с людьми незнакомыми, с другой планеты явившимися, не имеющими с Корнеем Ивановичем никаких пересекающихся линий? Ему придется развлекать их, увеселять, тратить себя — ради чего? Все это я понимала прекрасно, но, как застенчивый воришка Альхен из «Двенадцати стульев», краснея и угрызаясь, родственников на голову Корнея Ивановича все же посадила. Он это вынес прекрасно. Был добр, мил, шутлив, синие искры раздражения, которых я испуганно ждала, не вспыхнули ни разу. Оглядев мою сестру, заметил: «А она красивее вас!» Спросил ее: «Юмор — это ваша семейная черта?» Сестра лишь улыбалась в ответ, не зная, что сказать, глядя на Корнея Ивановича восторженно... Она уже была им покорена, как и всякий, кого он хотел покорить...

Всю обратную дорогу мы только о нем и говорили, восхищаясь им все трое, включая Катю, представления, конечно, не имевшую о том, с каким человеком она познакомилась... Отравляла мою радость лишь вот какая забота: а что Корней Иванович? Не воскликнул ли после нашего ухода: «Украли вечер!»? Не сердится ли на меня?

Лишь через год я узнала, что Корней Иванович не сердился. Он прочитал мне несколько строк своего дневника, посвященных этому визиту,— добрых строк. Быть может, если б я это знала, я бы поехала к нему раньше и не прошел бы целый год, пока я увидела его в следующий раз...

В январе 1969 года Корней Иванович захворал и лег в больницу. Пробыл там долго, до мая, там его хорошо лечили, там ему нравилось — это я знала от его близких. Наступил июнь. Я вдруг подумала, что давненько не была в Переделкине, не съездить ли? И, созвонившись с Кларой Израилевной, согласовав с ней день и час, поехала.

«По странному совпадению,— сказал Корней Иванович, когда я вошла на балкон,— вы застали у меня тех

же гостей, что и в прошлом году». В самом деле — тут снова были преподаватели средней школы, муж и жена. Корней Иванович сидел на своем диване (матрац на ножках), гости — на стульях, спиной к стене дома, я устроилась рядом с ними. Корней Иванович оглядывал меня смеющимися, ласковыми глазами... «Он прекрасен, ясен, никаких следов болезни, ничуть за год не изменился!» — записала я, вернувшись в тот вечер домой. Это, впрочем, от Корнея Ивановича я узнала, что прошел год. Сказал с упреком: «Целый год не могла приехать!» Я удивилась: «Разве год? Неужели год? Почему вы помните?» Позже, когда гости ушли, он сказал — почему. Оба моих прошлогодних посещения были записаны в его дневнике.

Но сначала мы сидели вчетвером. Корней Иванович попросил меня пересесть к нему на диван. «Но я курю!» — «Ничего, я так вас люблю, что вытерплю». Зная его расточительность на ласковые слова, я всегда убеждала себя им не верить, не поверила и тут, но ощущала его ко мне расположенность, была этим обрадована и смущена, села с ним рядом, и от смущения, чтобы что-то сказать, сказала: «А мы с вами знакомы почти пятнадцать лет! Как давно!» Он ответил: «Нет, недавно. Пятнадцать лет — это очень мало». И стал рассказывать о том, как ему на днях позвонила сестра Бориса Житкова, которую он знал в детстве: «Услыхав в телефон дребезжащий голос девяностолетней старухи, я вспомнил ее маленькой девочкой...» Корней Иванович рассказывал, а я вроде бы рассказу помогала, вставляя какие-то фразы, и он поглядел на меня усмешливо: «Ведь я забыл с кем имею дело. С помощью ваших легких комментариев рассказчик сразу превращается в глупца».

Гости ушли, мы с Корнеем Ивановичем остались вдвоем, и тут он принес дневник и прочитал мне запись от 26 июня минувшего года о том, как я читала у него свои воспоминания об Ахматовой, и свое отношение к этим воспоминаниям... Только тогда я убедилась в искренности его прошлогодних похвал, и рада была безмерно... «Ведешь дневник, — сказал он, — чтобы перечитывать в старости. А уж зачем я его виду — не знаю. По инерции».

Июньский вечер был светел и тих. Кажется, в первый раз за годы и годы я была с Корнеем Ивановичем вдвоем и ощущала его расположение, верила ему, и было мне легко и хорошо. Говорили о многом. Коснулись того, что же такое юмор. «Юмор — это вкус!» — сказал Корней Ива-

нович. Сообщил, что перечитывал недавно «Введение в языкознание» А. А. Реформатского и «еще раз убедился в том, что он — большой ученый».

Заговорили о Твардовском... Корней Иванович сказал: «Живой классик среди нас ходит. Его «Страна Муравия» — пушкинско-некрасовская традиция, осовремененная... Тридцать три года назад я написал ему письмо по поводу «Страны Муравии», а недавно снова написал, прочитав в «Новом мире» его последние стихи. Они великолепны! Он ответил мне хорошим письмом... А «Теркин»? Как много несерьезного, поверхностного пишут про войну, а тут — настоящее и правдивое».

Простился со мной Корней Иванович ласково, велел не пропадать, и я сказала: «Могу приехать в следующую среду, если хотите!» — «Приезжайте!»

Однако ехать к нему через неделю я не собиралась. Сболтнула, что приеду, но не всерьез, и он, конечно, понимает, что не всерьез. Когда-нибудь через месяц я вновь его навещу, а через неделю и не подумаю, он и ждать меня не будет и не вспомнит, что я вроде бы обещала...

Оказалось: помнил. Оказалось: ждал. Я узнала это из письма, написанного им 25 июня, то есть именно в следующую среду... Писал он вечером, утомленный, даже почерк нетвердый. В тот день его одолели гости: два японца со свитой, пионеры из лагеря, писатели из Дома творчества... «...со всеми болтал, всем отдавал всего себя и боялся, что войдете вы и застанете меня полоумным...» Вышло, значит, к лучшему, что я не приехала, но — помнил! В письме просил меня позвонить и приехать поскорее, ибо «жаждет чтения вслух» и нет ли у меня «нового фельетона или хотя бы набросков».

Я позвонила в Переделкино тут же, как прочитала письмо. Сказала, что приеду в следующую среду, можно ли к пяти часам? Мне ответили: нет. Раньше. К двум, к обеду.

Снова был прекрасный летний день, и снова мы с Корнеем Ивановичем сидим на балконе. Из верстки 6-го тома он прочитал мне вслух статью о Чарской, мне знакомую, но читанную давно... Статью эту Корней Иванович хотел освежить в моей памяти, чтобы кое-что мне объяснить... Он считал, что мои фельетоны-рецензии не достигают стопроцентного эффекта, ибо я не уделяю должного внимания композиции статьи, ее построению... Я не возражала, хотя в правоте Корнея Ивановича уверена не была. Он,

кажется мне, упускал из виду то, что свои язвительные рецензии писал в другое время.

Затем Корней Иванович сказал, что хочет прочитать мне очень давнюю пьесу, написанную им для своих тогда еще маленьких детей... «Пьеса скверная, но в ней есть сюжет и есть мысль, кажется, неплохая...» Он начал читать, часто прерывая чтение такими словами: «Это неудачно... Это скучно... У вас такое умное лицо, что мне стыдно читать!» Я в ответ восклицала: «Что вы, Корней Иванович! Совсем не скучно. Мне очень интересно. Честное слово!» Впервые я увидела этого блестящего человека, насмешливости и лукавства которого всегда немного опасалась, неуверенным в себе, даже смущенным, и лестно мне было видеть это смущение, слышать его оправдания... Он кончил читать, сказал, что пьесу берет Малый театр, но он, Корней Иванович, считает, что над пьесой надо еще работать... «И вот я хочу отдать ее в ваши добрые руки. Быть может, вы сумеете что-то с ней сделать?» Я ответила, что в драматургии ничего не понимаю, пьес не писала отроду, но если он настаивает, попробовать могу... Все это я произнесла упавшим голосом, ибо меня стало беспокоить вот какое подозрение: не из-за пьесы ли звали меня, не из-за нее ли привечали? Корнею Ивановичу не захотелось самому возиться с этим давним произведением, он подумал: «Кто бы мог?» И решил свалить на меня, за этим и звал!

И я мгновенно ощутила связанность, скованность, неловкость, потому что не знала: что дальше? Если меня звали за делом, то дело сделано и не пора ли освободить Корнея Ивановича от своего присутствия? Я сказала: «Вы, вероятно, хотите отдохнуть, а я пойду погулять».— «Нет. Гулять мы вместе пойдем, позже, а сейчас вы будете мне читать. У вас есть что?» Строго говоря, у меня не было ничего. Но уже какое-то время назад я задумала фельетон об экранизациях классиков и что-то уже делать начала — так, наметки... Прочитав в письме Корнея Ивановича, что он «жаждет чтения вслух» и нет ли у меня черновиков будущих фельетонов, я занялась «экранизацией», привела в порядок несколько первых страниц. Корней Иванович выслушал их так великолепно, прерывал меня такими лестными возгласами, что я совершенно уверилась в том, что фельетон удастся.

Мы гуляли, ужинали, а затем Корней Иванович вышел меня проводить к стоявшей на дворе машине. В колясочке

сидел маленький Митя, правнук Корнея Ивановича. «Ну вот, через неделю, в следующую среду, вы допишете фельетон и прочитаете мне».— «Нет, недели мало. Не успею. Лучше через две недели».— «Он уже ползать начнет, когда вы приедете в следующий раз,— сказал Корней Иванович, кивнув на маленького Митю.— Две недели для него — очень много!»

Мне бы тут и понять, что и для Корнея Ивановича две недели — много, мне бы сказать, что я приеду раньше, но я не сказала этого. Мне еще не приходило в голову, что Корнею Ивановичу мои посещения стали нужны.

Велено мне было приехать к двум, к обеду, но в ту среду, через две недели, павшую на 16 июля, к двум я приехать не могла. Утром позвонила, что явлюсь к половине пятого, и приехала ровно в назначенный час. Внизу меня встретила Клара Израилевна: «Корней Иванович вас ждет не дождется!» Я поднялась. Он был на балконе. «Ну, наконец-то!» — «Корней Иванович, я не опоздала. Я вовремя! И кстати, что у вас с часами? Сейчас не четыре десять, а четыре тридцать пять!» — «Это они мне часы переставили, чтобы я спокойнее вас ждал». Под местоимением «они» подразумевалась, видимо, Клара Израилевна...

Переставленные часы, его ожидание и нетерпение поразили меня и тронули. Годами я держалась вдали от этого человека, не имея касательства к его жизни. И вдруг оказалось, что он в какой-то мере зависит от меня, что я могу огорчить его своим неприездом, своим опозданием. Огорчать его нельзя не только потому, что он удивительный, ни на кого не похожий, но и потому, что он очень стар. Впервые я увидела его старым, и во мне дрогнула жалость к нему, которой раньше и в помине не было... В эту минуту (господи, ждал, часы переставили!) растаяли все мои опасения, и боязнь ему надоесть, и боязнь его лукавства, актерства, неискренности. С этой минуты он стал мне дорог, как очень близкий человек.

Он позвал на балкон Клару Израилевну. Он требовал, чтобы и она послушала мой фельетон. А фельетона еще не было. Я хоть и трудилась над ним, но вещь еще далеко не была завершена... Но он вызвал Клару. Ему, видите ли, просто обидно наслаждаться одному. Он и в прошлый раз жалел, что слушал в одиночестве! Не позвать ли еще внуков — Митю с Аней? Я умолила этого не делать. Я была испугана этими приготовлениями.

И снова он слушал, прерывая мое чтение одобрительными возгласами. Я не сомневалась в его искренности, но в том, что фельетон мой так уж удачен, сомневалась. Я уже поняла, что взгляд этого неуемного человека по причинам, никогда мною не разгаданным, остановился сейчас на мне, я ему мила сейчас, а потому все, что я пишу и делаю, прекрасно.

Он прочитал мне свою неоконченную статью об англо-американских детективах, начинавшуюся по-чуковски — сразу быка за рога: «Хотите ли вы убить музыканта?» И еще запомнилось: «...бутылка благодаря манипуляциям какой-то безнравственной личности...» Это был смолоду любимый мною стиль сатирических рецензий Чуковского. Тут уж смеялась и радовалась я.

Пошли гулять. Он сдал, дорогой мой Корней Иванович, не было больше этого молодого шага. Походка стала старческой, с шарканьем, и ростом он стал ниже, осел. Этому давно бы пора случиться, но случилось это лишь теперь, на пороге девяностолетия... Быть может, услышав мои мысли, он сказал: «Ходить стал хуже. В больнице залежался. Ничего, расхожусь, пройдет». Бодрился! Но вдруг упрекнул маленькую Марину, которая отправилась с нами на велосипеде и требовала, чтобы прадед за нею поспевал и подталкивал велосипед палкой: «Я так не могу. Я же старенький». И опять во мне дрогнула жалость.

Ему почему-то нравилось ходить на территорию Дома творчества. Там к нему с приветственными криками бросались писатели обоего пола и всех возрастов. Корнея Ивановича окружали, и он спрашивал — кто что делает, кто что пишет, усаживался на садовую скамью, шутил, рассказывал, внимательно слушал, когда рассказывали ему. Некоторые из тех, кого Корней Иванович обнимал, кому улыбался, с кем беседовал, казались мне людьми, внимания его не стоящими... Мне, например, было глубоко неинтересно знать, как они живут и над чем в данный момент трудятся. А ему это знать нужно было...

Следующая среда почему-то почти вся из памяти выпала.

Помню лишь прогулку под дождем. Это не июльский был дождь, а скорее осенний, моросящий, упорный, на территории Дома творчества пусто, все сидят в своих комнатах... Мы прошли территорию насквозь, войдя в калитку с улицы Серафимовича и выйдя через главные ворота... И тут, у ворот, Корней Иванович сказал вдруг: «А в сущ-

ности, я очень одинок». И после паузы: «Когда-то, поселившись здесь, я думал: буду жить среди писателей, будем ходить друг к другу, читать друг другу... И ничего из этого не вышло!» Во мне проснулось пылкое желание заменить собою всех тех, кто не ходит к нему, не читает ему, сделать все, что в моих силах, чтобы он ощущал себя менее одиноким, и я заявила, что приеду в следующую среду, приеду непременно...

(Это «пылкое желание» делает, быть может, честь моему сердцу, но чести уму не делает. Могла бы и тогда догадаться, что одинок он совсем не потому, что кто-то к нему не ходит, чего-то ему не читает. Ведь и ходили. И читали. Пожелай он — и вообще отбою бы не было от тех, кто жаждет с ним общения. Людей вокруг много, а вот никого ему в рост, никого из современников рядом не оставалось. Однако и не в этом дело, не только в этом! Чувство одиночества было, как я позже узнала, ему и прежде, и в молодые годы, свойственно. Таков был его характер, строй его души. Думается мне, что всякая крупная, незаурядная личность — одинока. Таким образом, помочь Корнею Ивановичу, избавить его от этого ощущения пустынности — не мог никто, а я, разумеется, ничуть не больше, чем кто-нибудь другой...)

Итак, значит, я поклялась явиться через неделю, хотя и не забыла, что в следующую среду должна ехать на три дня в Ленинград. Но в тот момент мне казалось, что визиту к Корнею Ивановичу это не помешает: уеду от него часов в восемь, «Стрела» уходит в полночь... Позже, опомнившись, все взвесив, я поняла, что сочетать в один вечер посещение Переделкина и отъезд в Питер — чрезмерно, и позвонила Корнею Ивановичу... «Как вы себя чувствуете?» — «Превосходно до той минуты, пока не понял, что вы хотите меня обмануть...» Если бы я предвидела, какие считанные месяцы осталось ему жить, если бы знала, какие считанные часы осталось мне его видеть, я нашла бы силы и поехать к нему, и на поезд в тот вечер поспеть...

Через две недели был уже август; сырой, пасмурный, прохладный день. Корней Иванович ждал меня в своем кабинете. И опять первый вопрос: что фельетон? Переделала ли я его? Я переделала. Дело в том, что в мой прошлый приезд Корней Иванович сказал: «Вы заставляете своего начинающего экранизатора экранизировать роман «Бесы». Смеяться над этим будем только мы с вами и те немногие, кто хорошо этот роман знают. Надо взять что-

то другое, широко известное. То, что в школе проходят, то, что каждый знает с детства».

Я стала читать. Корней Иванович слушал меня, сидя на своем диване. На этот раз начинающий экранизатор перекраивал для кино не «Бесы», а «Мертвые души», но первые страницы фельетона остались без изменения, их Корнею Ивановичу приходилось слушать чуть ли не в пятый раз, и мне совестно было это читать, но он сказал: «Нет, нет! Все с самого начала! Я люблю слушать много раз!» Кто еще мог сказать такое?

Я дошла до нового куска, до «Мертвых душ», на лице Корнея Ивановича радостное удивление, и вот, услыхав какие-то особенно понравившиеся ему строки, восьмидесятисемилетний Чуковский выразил удовольствие тем, что, упершись локтями в диванное сиденье, помахал в воздухе длинными своими ногами...

Мы гуляли затем. Зашли к Вере Васильевне Смирновой узнать о здоровье ее мужа И. И. Халтурина. Веру Васильевну не застали, она была в Москве, у мужа в больнице, приняла нас ее родственница. Она сообщила, что Ивану Игнатьевичу совсем плохо, конца ждут каждую минуту... Конца ждали каждую минуту, но Халтурин на месяц пережил Чуковского, такого ясного и бодрого, находившегося тем августом 1969 года в полном здравии. Никто не знает ни дня, ни часа.

Позже мы сидели с Корнеем Ивановичем на балконе, и я слушала рассказы о Блоке, о Любови Дмитриевне, об их отношениях... Любовь Дмитриевна талантливо пела хулиганские песенки, находила их, запоминала, и многое из ее находок вошло в поэму «Двенадцать». Эту поэму Любовь Дмитриевна читала великолепно...

Кажется, именно в этот мой приезд Корней Иванович подарил мне свою фотографию. На нижнем белом фоне ее было написано: «После того, как Н. И. читала мне свой мемуар об Ахматовой». Ниже:

Ты чужою была для меня Ильиной,
А теперь ты мне стала родной Ильиной.

Есть надписи и на обороте фотографии. Этакие, видимо, пробы пера.

Наверху:

Я не знаю иной
Ильиной.

Для меня ты одна
Ильина.

И в самом низу:

«Вот таким был К. И. Ч. в 1968 году. Как давно это было!

Апрель 1988 г. Н. И.»

А в следующий мой приезд день выдался на редкость жаркий. Корней Иванович ждал меня в саду. И снова вместо приветствия: «Что с фельетоном?» Ответила, что на днях отдала фельетон В. Я. Лакшину, а сегодня утром выслушала его соображения. Экземпляром с карандашными пометками Лакшина мы и занялись с Корнеем Ивановичем, сдвинув плетеные кресла... Корней Иванович высоко ценил дарование Лакшина, восхищался его статьями, а о редакторских его талантах узнал в тот день, видимо, впервые... И загорелся, увлекся, восклицал: «Глядите! Тут он вашу мысль углубил, и как тактично! А тут вписал свою фразу, но совершенно в вашем стиле, какой молодец, какая умница!» Лишь два-три предложения Лакшина Корней Иванович отверг... Тот, например, предлагал убрать слово «сожитель», а Корней Иванович сказал: «Здесь он неправ. Канцелярские обороты и бытовые вульгаризмы фельетона — это маска. Их надо все сохранить».

Какая жаркая погода стояла в тот августовский день, будто стремясь вознаградить всех за дождливое лето! Открытые настежь окна дома, кресла в саду, весело визжавшая Марина с голыми ножками, Анечка с маленьким Митей на руках и Корней Иванович с непокрытой головой — этакий веселый седой патриарх... (Сколько жарких летних дней я видела в Переделкине около Корнея Ивановича,— могла ли я знать, что этот — последний?)

Он не хотел сегодня читать мне вслух. Не хотел идти в Дом творчества. Хотел ехать на кладбище, на могилу жены. «Быть может, вы поедете один, с шофером?» — «Нет, поедем вместе».— «Я тоже, я тоже! — закричала Марина.— Я с вами! Можно, прадед?» (Как-то я спросила Корнея Ивановича: почему девочка называет его «прадед»? «Дед» — не проще ли? — «Может быть, и проще, но зачем же генерала называть полковником?»)

И вот мы втроем на кладбище, на могиле Марьи Борисовны. В следующий раз мне было суждено увидеть эту могилу через два месяца, тридцать первого октября. Шел

мокрый снег, скользили ноги на глинистой размокшей земле, хоронили Корнея Ивановича.

А в тот жаркий день и представить себе было невозможно, что все так близко: и слякоть, и снег, и навечное расставание с этим человеком... Марина бегала у ограды, сама с собой щебеча, мы же сидели на скамейке, говоря о чем-то, к смерти не относящемся... Вскоре Марине это надоело, она запросилась домой, выскочила из ограды, побежала к машине, я тоже вышла, подумав, что, быть может, Корней Иванович хочет побыть здесь один. Оглянулась. Он стоял, склонившись над могилой, обеими руками опираясь о палку, лицо у него было грустно-молящее, никогда прежде я не видела этого выражения на лице Корнея Ивановича... Я всегда перед ним робела, ощущая его масштабы, и вместе со всеми постоянно забывала о его возрасте, а тут вновь увидела его старым и одиноким и даже — беззащитным, и вновь пронзила меня жалость.

Вечерело, но все еще жарко, и какие-то люди выпивали на могиле, мимо которой мы ехали, и добродушный пьяница умилился, увидев в машине маленькую Марину, и крикнул: «А вот и Наташенька на кладбище приехала!» Корней Иванович усмехнулся: «Ему сегодня все девочки — Наташи!»

Вернувшись, разбирали привезенную из Москвы почту... В одной из бандеролей книга с репродукциями Сарьяна, с его дарственной надписью, и, перелистывая ее, Корней Иванович шутливо наставлял меня, о чем говорить с Сарьяном, если мне доведется увидеть его,— в сентябре я собиралась в Армению. «Вы скажете: «Особенно сильное впечатление на меня произвело полотно...» Мы оба смеялись. И уже ничего внушающего жалость не было в нем — не дедушка, потерявший бабушку и сам последние деньки доживающий у детей и внуков, а острый, лукавый, язвительный человек, сохранивший всю свою умственную потенцию, причем не он у детей и внуков живет, а они у него! Так он и сказал, когда мы сели за накрытый для ужина стол, а его невестка и Митя с Аней в столовую еще не явились. «Начнем без них. Я здесь, в конце концов, хозяин!»

Уехала я чуть не в десять вечера. Было ясно, что долгих пропусков отныне не будет. Я буду ездить в Переделкино каждую неделю, даже зимой... День фиксирован: среда. По словам Корнея Ивановича, этот день для него

связан с ощущением праздника: у Репина были по средам встречи друзей. Всего две среды оставались до моего отъезда в Армению.

Третьего сентября лил холодный дождь, мы сидели с Корнеем Ивановичем в кабинете. И опять первый вопрос о фельетоне... Я сократила его, кое-что переделала, что-то дописала, и Корней Иванович читал все сначала (в который, господи, раз!) и смеялся новому...

Потом он читал мне свое. Это были маленькие статьи о том, как он писал детские стихи, прелестные статьи о вдохновении, о труде, о требовательности к себе, о детской психологии. Я слушала с интересом и вниманием, огорчали меня лишь проверяющий взгляд (не скучно ли?) и то, что время от времени он говорил: «Ну, это не вышло. Это я пропущу!» Или: «Это читать не стоит, скучно». Я страстно протестовала: дескать, о скуке и речи быть не может. Он не верил. Мнительность. Все ему чудилось, что он не тот, что был, пишет не так, склероз... Как мне позже говорили его близкие, ему мерещился склероз еще в пятидесятилетнем возрасте, а на склероз и в восемьдесят семь намека не было... Он все проверял себя — тот ли?— и на других себя проверял... Меня переполняло желание доказать ему, что пишет он так же прекрасно, как прежде, лучше, чем прежде, и что он вообще прекрасный и удивительный... Он отмахивался: «А-а, все старики одинаковы!» — «Только не вы. Вы в особом ряду!»

Тринадцатого сентября я должна была лететь в Армению. Предотъездных дел скопилась, как всегда, целая куча. Я же на другой или на третий день после визита к Чуковскому села писать ему письмо. Я только что видела Корнея Ивановича. Вновь собиралась к нему в последнюю оставшуюся до отъезда среду. Но мне казалось необходимым не откладывая сообщить ему, что его маленькие статьи очень хороши,— все мне помнился его проверяющий взгляд, его в себе неуверенность... Устно я уже говорила: «Получилось». Теперь была намерена повторить это письменно. «Боюсь сосчитать,— писала я,— сколько накопилось у меня писем, ждущих ответа. А я вместо этого пишу Вам, которого видела только вчера, и которого опять скоро увижу, и которому, следовательно, писать совершенно не должна. Чего ж Вам, короче говоря, боле?»

В последний мой приезд было опять пасмурно и дождливо, кончились летние дни. Я постучалась в дверь кабинета. Молчание. Открыла дверь. Пусто. Пусто и на бал-

коне. Сошла вниз. Увидела Митю: «Где Корней Иванович?» — «На «кукушке» (так у них назывался второй балкон). Митя добавил: «А мы вас к обеду ждали!»

Корней Иванович в пальто и кепке сидел нахохлившись, взглянул на меня мрачно. «Не люблю, когда женщины меня обманывают!» — «Но, Корней Иванович! Я не говорила, что приеду к обеду. Я сказала: в четыре тридцать. И не опоздала ни на минуту!» Промолчал.

В тот раз он читал мне статью, предназначенную в сборник памяти академика В. В. Виноградова, статью, над которой тогда работал... Над сколькими вещами он работал одновременно в то последнее лето своей жизни! А я, которая была больше чем на тридцать лет его моложе, только тем и занималась, что обсасывала один-единственный фельетон!.. В статье Корней Иванович полемизировал с комментариями В. Набокова к «Евгению Онегину». Статья была острая, по-чуковски язвительная, и как грустно, что она так и осталась незаконченной...

Затем в кабинете он дал мне несколько книг для чтения в дороге. Две подарил. «Макс Бирбом. Современник Оскара Уайльда. Как? Неужели никогда не читали?» Не читала. Даже имени не слыхивала. И вновь подивилась про себя тому, как много знал Чуковский и до чего же я рядом с ним невежественна!

И вот мы вышли из столь давно любимой мною комнаты с большим перед окном письменным столом, с диваном в белом чехле, покрытым красным пледом (на него Корней Иванович только что становился коленями, доставая с наддиванной полки книги), с фотографиями на стенах и книгами, книгами, книгами... Мне уже не было суждено увидеть в стенах этой комнаты Корнея Ивановича.

Сыро, пасмурно, но мы отправились гулять, а про письмо мое — ни звука, а мне все хотелось спросить: получено ли оно? Спрашивать не пришлось. По дороге он вдруг сказал: «А ведь вы меня жалеете...» И я поняла — письмо получено. И хотела протестовать: не так, дескать, оно понято! Совсем я не жалею! Разве можно жалеть такого, как он, до этих лет дожившего, ничего не потерявшего, всеми уважаемого, многими любимого... Едва я набрала воздух, чтобы все горячо выпалить, как Корней Иванович добавил: «Но это хорошо». И я промолчала.

Потом сидели внизу, в маленькой комнате, именуемой «курительная», о многом говорили и вошел Митя звать ужинать. Я встала, шевельнулся в плетеном кресле Кор-

ней Иванович,— как он, бывало, еще совсем недавно быстро вскакивал! Он протянул руку, подняться помог ему Митя, но это уже произошло за моей спиной. Я шла к двери. Не хотела, чтобы он видел, что я видела, как ему стало трудно вставать...

За ужином я попросила водки, и мы выпили с Митей. Мне ехать, я за рулем, но очень захотелось выпить за прощальным ужином...

Я развеселилась... Вспоминались один за другим смешные случаи, хотелось их тут же рассказать. Не в водке было дело, всего и выпито было, что две рюмки. Меня пьянила хорошая аудитория. А ведь другого такого слушателя, как Корней Иванович, не сыщешь!

Он не был, однако, тем слушателем, которого рассмешить просто и который, поверив в рассказчика, готов смеяться авансом. Этого человека каждый раз надо было завоевывать сызнова. Поначалу он глядит настороженно, недоверчиво, спрашивая глазами: что это ты затеяла? Как у тебя, интересно знать, концы с концами сойдутся? Но концы с концами сходятся — это видно по светлеющему лицу Корнея Ивановича, по глазам, вдруг подобревшим, и вот он уже хохочет, откидываясь на спинку стула, запрокинув голову, опершись о край стола вытянутыми руками.

В тот вечер я заявила, разойдясь: «А вот еще одна история, очень смешная!» Он тут же переспросил серьезно, с упреком: «Смешная? Даже очень? Нет. Я вижу, вам нельзя было давать пить!»

Иными словами, он упрекнул меня в том, что я забыла законы жанра. Нельзя предупреждать слушателя (читателя), что сейчас его будут смешить. Это мало того что нескромно. Это рассказу будущему вредит. Я упрека не испугалась. Очень была уверена в том, что история смешна и что рассказать ее сумею, и рассказала; и снова хохочет, откинув голову, Корней Иванович и повторяет, но на этот раз смеющимся, добрым голосом: «Не надо было давать вам пить!»

Сентябрьским темным вечером с накрапывающим дождем я уезжала, осветив фарами асфальтовую дорожку двора, простившись с вышедшим меня проводить Корнеем Ивановичем. Настроение у меня было радостно-приподнятое. Весело мне было, что я лечу в Армению, где никогда не бывала, и проживу там две недели, а вернувшись, сно-

ва увижу Корнея Ивановича. Откуда мне было знать, что я уехала от него навсегда?

А через неделю высоко в горах, близ городка Дилижана, я писала Корнею Ивановичу письмо. Сказала, уезжая: «Я вам напишу из Армении!» Он: «Только не открытку! На открытке мало текста». И вот я писала письмо. Машинки со мной не было, писать пришлось рукой, чему я давно разучилась, и медленность процесса раздражала, и, пожалуй, уж никому, кроме Корнея Ивановича, я не заставила бы себя писать длинное письмо...

Видя в открытую настежь балконную дверь черную ночь и далеко внизу огоньки села с русским именем Головино, я думала о том, что знаю Чуковского почти пятнадцать лет и сколько раз за эти годы уезжала из Москвы и дальше, чем в Армению, и на более долгие сроки, но писать Корнею Ивановичу мне в голову не приходило, и разлуки с ним я не ощущала... Но стоило этому человеку пожелать приблизить меня к себе, как он сделался мне необходим, и вот уже хочется с ним делиться всем, что я вижу, всем, о чем думаю, и уже я скучаю о нем, и мне кажется, что я не видела его целую вечность.

Четвертого октября, прилетев накануне в Москву, я позвонила в Переделкино. Подошла Анечка. Потом — он. «Дорогая Наталья Иосифовна!» — «Дорогой Корней Иванович! Как вы?» — «Жив. Письмо Ваше получил».— «Простите за скверный почерк!» — «Нет, ничего. Я больше люблю, когда не на машинке».— «Я к вам приеду, как всегда, в среду. В два часа».— «А-а,— сказал он,— вы поняли?»

Я весело положила трубку. Почему он сказал: «А-а, вы поняли?» А потому, что он давно хотел, чтобы я приезжала к двум, не к пяти, и ждал, когда я это сама пойму. И меня радовало и то, что он этого хотел, и то, что я это поняла. Но главного я все же не поняла: ехать к нему надо было не дожидаясь среды. «Кто смеет молвить: «До свиданья» чрез бездну двух или трех дней?» — говорил любимый Корнеем Ивановичем Тютчев...

Моя переделкинская среда никогда не наступила. В воскресенье 5 октября Корнея Ивановича отвезли в больницу, и в следующий раз я увидела его неузнаваемо исхудавшее, истерзанное болезнью лицо в гробу, в цветах, в зале Центрального дома литераторов, в набитом до отказа, молчащем зале. Тяжело было видеть это мертвое, такое не похожее на него, измученное лицо. Все казалось,

что это не он, что «это» не может быть он... И я глядела на огромную, над гробом висевшую, увеличенную фотографию, где он снят во весь рост, в пальто, в любимой своей кепке, с палкой в руках, и лицо серьезное, а в глазах ум и лукавство и готовность усмехнуться. Таким я хотела его запомнить. Таким и помню.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ СО СТАРЫМ ДРУГОМ...

...было бы вовсе недурно, если б каждый путешественник гонялся не столько за абсолютной верностью (которой достичь он почти всегда не в силах), сколько за искренностью; не боялся бы иногда не скрыть иного личного своего впечатления или приключения, хотя бы оно и не доставляло ему большой славы, и не справлялся бы с известными авторитетами...

Ф. М. Достоевский. «Зимние заметки о летних впечатлениях» [1]

«Вы помните Сан-Джиминьяно? Как там звонят колокола!»

Строчки из какого-то стихотворения. Кем оно написано и что там дальше? Не знаю.

Видимо, я запомнила их с голоса Леонида Ещина, молодого каппелевского офицера, бывавшего у моих родителей в начале двадцатых годов, а позже спившегося, опустившегося, погибшего. «Пускай, я умру под забором, как пес, пусть жизнь меня в землю втоптала, я верю: то бог меня снегом занес, то вьюга меня целовала». И это он читал тогда, и это я помню с тех пор. Спустя годы, натыкаясь в стихотворных сборниках на давно знакомые строки, я вновь слышала голос Ещина. Он и сам писал стихи, некоторые посвящены моей матери, в ее архиве хранится тетрадь, исписанная почерком скорее мелким, но с крупными прописными буквами. Там нет «Сан-Джиминьяно», но все мне кажется, что слова эти — Ещина.

Моя мать на Бестужевских курсах изучала эпоху

---

[1] Все последующие эпиграфы также взяты из «Зимних заметок...» Достоевского.

итальянского Возрождения и была отправлена своим дядей А. И. Воейковым в Италию. Дядюшка-профессор считал: если человек занимается эпохой Возрождения, то он обязан подышать воздухом его колыбели. И мать какое-то время этим воздухом дышала, влюбилась во Флоренцию и, конечно, ездила в Сан-Джиминьяно, это — рядом.

Годы и годы слово «Сан-Джиминьяно» звучало во мне музыкой стиха, воспринималось как стихи, никакого реального города, места под солнцем за этим не ощущалось. Убеждена, что я услышала их в одноэтажном домике под железной крышей, в нашей первой беженской квартире в Харбине, на Гиринской улице.

И вот, когда после Харбина двадцатых годов прошло более полувека (жизнь прошла!), я иду по крутой и узкой средневековой улице, и чем выше, тем виднее знаменитые квадратные башни, и я не верю, что это тот самый Сан-Джиминьяно и я — в нем.

Рядом мой старый друг, мы познакомились в Шанхае летом 1942 года — тоже уже «жизнь тому назад». Оба мы, мягко говоря, немолоды: ему за семьдесят, мне за шестьдесят. И нельзя сказать, чтобы здоровы. Он перенес два инфаркта. Неблагополучно со слухом — только что купили новую батарейку для аппарата,— неладно со зрением: несколько пар очков для разного света, для разных расстояний. Это, однако, не мешало ему водить машину. Не все в порядке и со мной: полиартрит. На улицах, в храмах мой спутник время от времени — заботливо: «Не устали? Хотите посидеть?» Я в усталости сознавалась, он — никогда, мужское самолюбие. Лишь однажды в жару, на длинном мосту перед Венецией — шли пешком — попросил таблетку (он вечно все терял, его лекарство держу при себе), и я, испугавшись повернутого ко мне серого лица, нащупывая в сумке позолоченную коробочку и извлекая из нее белую горошину, очень ясно вообразила в эти секунды: ему плохо, он падает, а я мечусь на этом чужом мосту, хватаю за руки прохожих...

Но Венеция была позже. А сегодня мы, покинув автостраду, свернули на неширокое, ведущее в Сан-Джиминьяно шоссе, едем спокойно, пятьдесят — шестьдесят километров, и внезапно на каком-то повороте показался стройный и отчетливый силуэт этого «города прекрасных башен». Замедляем ход, въезжаем в старинные ворота, ищем место, где оставить машину, оставляем, идем пешком наверх, и чем выше, тем виднее знаменитые башни, в четыр-

надцатом веке построенные для военных надобностей, а сегодня неизвестно кого и от чего охраняющие, но зато ставшие славой и гордостью этого маленького города. Слегка задыхаясь, мы ступили на площадь делла Цистерна, свое название получившую от каменного в центре колодца (тринадцатый век), сохранившего на боках своих впадины от веревок, привязанных к кувшинам, коими черпали воду... Мы ступили на тяжелые каменные плиты площади — суровые дома, выступающие карнизы, много слепых, закрытых ставнями окон, трава из расщелин башен, и я, уже видевшая площадь Кампо в Сиене, думаю о том, что, видимо, лишь итальянским городам удалось пронести сквозь века и до наших дней удержать свой облик, сложившийся в их «треченто» и «кватроченто». А тут же яркие тенты и цветные зонты над столиками кафе, сувениры, разложенные на лотках, развешанные на стендах — глиняные тарелки, плетеные корзины, медные тазы и кастрюли,— а на каменных плитах площади несколько автомобилей разных форм и расцветок, легкомысленная современность, вторгшаяся в мрачное средневековье.

Мы зашли, разумеется, в одну из двух знаменитых церквей Сан-Джиминьяно, но вот в какую? Сан-Агостино или Коледжиата? Не помню. Значит — чем именно была знаменита данная церковь, фресками ли, мозаикой ли, из головы выветрилось. Понимаю, что эта забывчивость, говорящая о поверхностном отношении к открывшимся мне красотам, не украшает меня, я виновна, однако, думается, заслуживаю снисхождения.

Наше путешествие было строго ограничено во времени: моему спутнику необходимо вернуться в Париж не позже 30 сентября, а мне удалось попасть в Рим лишь тринадцатого. За эти две недели мой друг был намерен мне много чего показать, все спланировал заранее, уделив одним городам двое суток, другим — сутки, а в третьи мы должны были заезжать по пути и, проведя там несколько часов (обед и торопливый осмотр достопримечательностей), мчаться дальше. В Сиену и Сан-Джиминьяно (двое суток на Сиену, из них полдня на Сан-Джиминьяно) я попала после того, как на меня обрушился Рим (трое с половиной суток), Рим с его музеями, площадями, фонтанами, Ватиканом, Сикстинской капеллой, остатками античных императорских сооружений и толпами, толпами, толпами туристов. Я пребывала, таким образом, в состоянии некоторого ошеломления.

Всю жизнь я слышала о книге Муратова «Образы Италии», всю жизнь собиралась читать ее, но истинной потребности не возникало. Но вот, узнав, что еду в Италию (не мечта — реальность!), раздобыла книгу, погрузилась в нее. Этот бесценный двухтомник, рассказывающий об истории и об искусстве итальянских городов, я читала прилежно, но голова моя не была в состоянии удержать всех сведений, на нее вылившихся, я путала Борромини с Бернини (это еще куда ни шло, оба «барокко», оба современники), делала ошибки и более серьезные, однако коечто память удержала, и знакомство с трудом Муратова все же помогло мне хоть как-то упорядочить мои разнообразные и пестрые впечатления.

Наступил час второго завтрака, и мы могли бы неприхотливо закусить в кафе — их полно на тротуарах! — но спутник мой был человеком именно прихотливым: не кафе ему подавай, а ресторан, да и то самый лучший. В «самом лучшем» все столы были заняты, нам предложили подождать минут тридцать. Я ждать была готова. Мой спутник — нет.

Человек состоятельный, он привык к тому, что в «обществе потребления» (им, кстати, беспрестанно проклинаемом!) за деньги можно получить все, и очень сердился, если этого изредка не происходило. А ведь богат был не всегда. Его родители, попавшие в Париж с беженской волной девятнадцатого-двадцатого года, ценой различных жертв ухитрились дать сыну образование. Сын оказался не только трудолюбив, но и талантлив. Были у него, видимо, те семь пядей во лбу, та страстная любовь к им избранной профессии инженера-строителя, какие позволили ему в неравных условиях («апатрид», французский язык не родной) и институт отлично окончить, и работу найти, поначалу в Индокитае, затем в Париже... Теперь он на пенсии, и что-то скоплено, да и фирма его то и дело обращается к нему, известному, крупному специалисту, за консультациями, не бесплатными. И забыта трудная молодость, и он, путешествуя, уже не знает иных отелей, кроме лучших, и иных ресторанов не знает. Мне — с виноватой усмешкой: «Что делать, голубчик, я привык к комфорту!»

Ждать? Ну вот еще! Найдем что-нибудь другое. Должен же быть другой порядочный ресторан в этом городе! Ресторан был куда скромнее предыдущего, но зато столики на улице. Это я считала своей обязанностью воскли-

цать: «Но зато!» Там бы мы сидели в помещении, а тут на воздухе, и какая прелесть эта улица, нам просто повезло, что мы в тот ресторан не попали! Утешен. Разгладились морщины на челе. Каким молодым я помню это чело, это лицо тем августом тысяча девятьсот сорок второго года!

Принесли карту вин. В Риме мы пили только белое, переехав в Тоскану, перешли на красное — кьянти. Кьянти бывает разное. Лучшее это то, где на этикетке изображен черный петух. Вот какими еще сведениями я обогащаюсь, путешествуя, но, если вдуматься, к чему мне они?

Беда! Кьянти с черным петухом тут не оказалось. За спиной своей я слышу взволнованный шепот, доносящийся из недр ресторана. Угадываю его значение. Синьор, неизвестной национальности (объясняется на плохом итальянском, а с синьорой говорит на языке, доселе в Сан-Джиминьяно не слышанном!), требует «черного петуха», а его нет! Сама хозяйка, прижимая к груди две бутылки, выходит к привередливому чужеземцу. Это вино не хуже «петуха» и это не хуже! Сообщается возраст вин, место рождения и еще какие-то подробности их биографии... Какую из бутылок позволит открыть синьор? Синьор колеблется. Неужели этот капризник потащит меня еще куда-нибудь в поисках «петуха», дался ему этот «петух», надо включаться, пока не поздно! Включаюсь. Настаиваю на открытии вот этой бутылки (тычу наугад), хозяйка смотрит на меня благодарно, кивает ласково, мы победили, бутылка открывается, вино пригубливается, и я восклицаю, что оно вполне, вполне... Спутнику моему не так уж хочется куда-то еще идти, он соглашается, что вино терпимо, ну и место тут в самом деле премилое, вот только этот чертов фургон! Но чертов фургон, повернутый к нам своим рекламами обклеенным боком и мешавший видеть перспективу улочки с ее древними, пережившими столетия, стенами, вскоре отъехал — и жаловаться было уже совершенно не на что!

Позавтракав в Сан-Джиминьяно, мы покинули «город прекрасных башен», направляясь в Сиену. Туда мы явились из Рима накануне под вечер, остановились в отеле «Италия», я успела лишь одну площадь Кампо повидать, а в Сиене многое надо смотреть, и было решено устремиться прямиком к знаменитому Дуомо... Мне очень хотелось заглянуть в отель, покинутый нами утром, умыться, переодеться — оба мы выглядели непрезентабельно. Пятно от

томатного соуса на светлой рубашке моего спутника, у меня — измятое платье, испачканные туфли. Хозяйка ресторана, взволнованная дискуссией о винах, заправляя салат, плеснула оливковым маслом на одну из моих летних туфель, и это темное пятно, алчно въевшееся в синюю «джинсовую» материю, томило меня и раздражало. Отчиститься бы, отмыться! Но я не смела об этом заикнуться. Следовало, пока светло, посмотреть Дуомо, и то, что внутри Дуомо, и палаццо Публико, туризм не отдых («о травай!» — «за работу!» — обычно восклицал мой спутник, поднимаясь из-за столика кафе или ресторана), работать же надо добросовестно, и не могла я сознаться, что готова чем-то пожертвовать, чего-то не увидеть ради приведения себя в порядок! Вместо того чтобы рваться посмотреть еще одну фреску, еще одну мозаику, я предпочитаю, затворившись в отельном номере, отмываться и отчищаться. Подобные мелкие соображения огорчили бы моего спутника, дарившего мне Италию, да так щедро!

Ну вот мы и отправились в Сиену — и, минуя отель, прямиком к знаменитому Дуомо, а по дороге я беседовала об этом «городе Мадонны» (кое-что помнила из Муратова), о том, что Данте называл Сиену «высокомерной», о ее войнах с Флоренцией... Об испачканной туфле и пятне на рубашке своего спутника старалась забыть. Вспоминала в утешение, что многие туристы одеты весьма небрежно, иные — чуть не в лохмотьях, нынче такая мода. Впрочем, моды этой придерживается в основном молодежь, люди же нашего возраста пока не утратили склонности к опрятности и приличию...

Первая забота туриста, въехавшего в город за рулем автомобиля, найти место, куда этот автомобиль поставить. Тут нельзя, тут нельзя, а вон на той улочке, кажется, можно, но, черт возьми, въезд с этой стороны запрещен, ищи теперь, как попасть на нее, попробуем что-нибудь другое, ах, дьявол, не втиснешься, откуда это нанесло столько туристов, каждый год езжу в Италию, но такого... Это бормочет мой спутник и время от времени — мне:

— Извините, что я ругаюсь, но мне так легче!

Этот человек с его инфарктами, слуховым аппаратом и множеством очков мучается сейчас за рулем спортивного «фиата» с откидной крышей и муки эти принял ради меня. Сколько лет слышу от него: «Вы должны увидеть Италию! Я не успокоюсь, пока не покажу вам Италию!» И вот покинут остров Корфу, где спутник мой и его жена прово-

дят обычно летние месяцы и где намерены были оставаться до конца сентября. Вместо тишины уединенного бунгало — жара, туристы, автомобили, мотоциклисты, Италия, спутником моим столько раз виденная, что он сейчас вполне без нее обошелся бы... Ради меня. Стараюсь помнить об этом все время. Его капризы, раздражительность, вечные упреки по адресу «общества потребления» иной раз смешат, а иной — сердят. Интересно знать, что бы он делал без этого проклинаемого общества, он, с его избалованностью?

Вторая забота туриста после пешего хождения по городу, после музеев и храмов — вспомнить, где именно он оставил машину, найти ее... Сколько времени уходило у нас на эти поиски!

Поблуждав в автомобиле по улицам Сиены, мы наконец нашли маленькую площадь, законную стоянку, втиснуть машину, конечно, некуда, но на счастье наше кто-то уезжал, уехал, повезло, втиснулись, освободились, двинулись пешком наверх, к Дуомо.

Идем по фантастическим улицам, ухитрившимся остаться почти такими же, какими их сделали строители треченто и кватроченто. Красный цвет кирпичных стен, кое-где вбиты железные граненые палки-крючки для привязывания коней, над дверями старинные фонари, из окон (глубокие впадины в толстенных стенах) высунуты наружу деревянные жерди, на них сушится белье, и странно, что в этих средневековых домах живут и стирают. И странно видеть бесчисленные ноги в джинсах, шагающие по древним камням мостовой.

Перед нами Дуомо во всем великолепии белого купола, окон, стен и черно-белой полосатой башни. Великолепно и внутри: чаша для святой воды при входе, вновь радующая глаз полосатость мрамора (колонны, часть стен), статуи святых в нишах, белая кафедра, окруженная колоннадой с мраморными львами. Но вот увидеть главную достопримечательность собора, мозаичный пол, названный Муратовым «колоссальной гравюрой на мраморе», нам не удастся. Два столетия трудились над этим полом лучшие художники Сиены, и малые мастера и простые ремесленники, сотворившие общими усилиями это коллективное чудо. Нынче это чудо закрыли, затянули плотной материей, пытаясь спасти его от туристских ног, от туристских орд, приоткрыт лишь кусочек (метра полтора?) — это чтоб дать топчущимся вокруг кусочка туристам хоть какое-то

представление о гравюре на мраморе. И мы, мой друг и я, тоже, как все, потоптались и тоже, как все, вслух выражали свое изумление, свое восхищение — этот олень будто нарисован, будто одним легким, тонким штрихом обозначен его силуэт, а ведь тут не рисунок, тут мозаика, «легкий штрих» сложен из полосок черного мрамора, да, не боялись труда эти средневековые искусники, эти умельцы!

Побродив по собору, оглядев чашу, кафедру со львами, ниши со статуями, мы зашли затем в примыкающую к Дуомо библиотеку, чьи стены расписаны Пинтуриккио — десять больших фресок, изображающие разные приключения из жизни папы Пия II. Мой друг, в своей роли гида, что-то мне объяснял, что-то показывал («взгляните на эту фреску, теперь на эту...»), я покорно взглядывала, после строгости внутреннего убранства собора фрески не нравились мне, но я не решалась в этом сознаться. Истинной подготовки к восприятию изобразительного искусства нет у меня, поговорить о статуе, о фреске языком профессионала («легкость и грация композиции...», «колористическое чутье»...) не умею. Претит и рабское восхищение общепринятым (ах, Боттичелли! ах, Микеланджело!), и снобистское отрицание общепринятого. Хочется иметь собственное независимое мнение, а ему из-за недостаточной воспитанности вкуса не вполне доверяешь.

Потом мы отправились в палаццо Публико на площади Кампо. Мы там много чего посмотрели, бесчисленные коварные мадонны щурили на нас свои длинные глаза [1], но я уже их слабо воспринимала.

А затем мы уселись за столик кафе на тротуаре площади Кампо. Я увидела ее накануне и полюбила. И сейчас, отдыхая после туристских трудов, я вбирала в себя рыже-золотистый цвет домов с округленными, повторяющими изгиб площади стенами; не округлена лишь стена палаццо Публико с его узкой и высокой башней и второй башней — квадратной, приземистой, зубчатой. Дома тесно примыкают друг к другу, площадь — огромный продолговатый полукруг, и в некоторых зданиях есть присущая средневековью мрачность, затаенность какая-то...

Я только что видела Рим. Мне предстояло видеть Фло-

---

[1] «Где коварные мадонны щурят длинные глаза» (А. Блок. Итальянские стихи).

ренцию и Венецию. Но про себя я уже решила, что Кампо станет одним из моих самых любимых воспоминаний, ее буду видеть, ею утешаться в горькие минуты, каких еще немало впереди... И я глядела на эти рыжие дома, на готические окна Палаццо, на маленький, с белыми стенами фонтан, но главное — стремилась удержать в памяти ощущение радости от облика и цвета площади, смешанное, однако, с печалью.

Вот так же стояли эти дома, когда тут бывал Данте, скакали всадники, ходили закутанные в плащи мужчины, пробегали женщины (их вообразить труднее, не знала, как они одевались), ну и монахи тут мелькали, спрятав в широкие рукава скрещенные руки (а не жгли ли случайно на этой площади кого-нибудь, как в Руане Жанну, как в Риме Джордано Бруно?), и шла вся эта непонятная жизнь четырнадцатого, боже мой, века, навсегда исчезнувшая жизнь, как исчезнем мы с нашими автомобилями, фото-, кино- и прочими аппаратами, джинсами, электроникой, рекламами...

Мы отдыхали, мы что-то пили, мы собирались вскоре покинуть кафе и перейти в ресторан (тут же, под боком, на открытом воздухе) и там вкусно поесть, я уже забыла о нашем непрезентабельном виде, он не заботил меня, я глядела на темнеющее итальянское небо, на полосатую, отовсюду видную башню Дуомо, на эти алые дома, в сумеречном свете заметно мрачнеющие (не хотела бы я жить в средневековье!), и на прибывающих пестро и разнообразно одетых туристов (мой спутник — мне, озабоченно: «Надо в ресторан переходить, а то все займут!»), я наслаждалась жизнью.

Мы перешли в ресторан. Совсем стемнело, и внезапно зажглись фонари, сильные, типа прожекторов, фонари, и по-новому в этом вечернем наряде предстали рыжие дома, и еще ярче на фоне густо-лилового неба рисовалась снизу подсвеченная башня Дуомо...

Все столы заняты, бегают в белых куртках официанты, вокруг гул голосов, двунадесять языков, Вавилонская башня. Не молчим и мы. Отдохнув и слегка уже насытившись, затрагиваем в разговоре разнообразные темы: архитектура итальянских городов, их будущее («вечная российская озабоченность по поводу Пизанской башни»,— прочитала я как-то в одной хорошей книге), и литературы касаемся, иногда — политики. Говорим. Нет — кричим. Я — чтобы услышал мой глуховатый собеседник, он — чтоб

услышала я. У него дефекты речи: картавит, не выговаривает «л», а «ш» у него похоже на «ф». Если в ресторане или в уличном шуме он говорит не в полный голос — я не все улавливаю. Частенько спорим: оба спорщики. На этот раз наша тема — литература, и почему-то — американская. Я ловлю своего собеседника на слабом знакомстве с предметом.

— Вы забыли Сэлинджера!

— Кого?

Ору. Орем оба. Как часто в итальянских ресторанах мы забывали о нас окружающей толпе, уверенные, что языка нашего никто не понимает, ощущали себя на острове, переставали соседей видеть...

— А «Королевскую рать» вы хоть читали?

— Что?

«Вся королевская рать»!

На этот раз я выкрикиваю название романа на родном языке его автора. И внезапно откуда-то справа мягкий мужской голос:

— Мадам говорит по-английски?

Рядом супружеская пара, пожилые американцы. Я видела, как они пришли, как усаживались,— он высокий, худой, седые усы, подтянут, при галстуке. Она значительно моложе или же просто хорошо сохранилась — чистое, гладкое, розовое лицо, увенчанное серебряными волосами. Я помнила, как она, поймав мой взгляд, слегка мне улыбнулась, американская, с молоком матери всосанная, автоматическая, приятная, пусть и обманчивая, приветливость. Но в этой улыбке была не только автоматика. Ею, улыбкой, меня, нас включали в члены своего круга, своего клана — пожилые люди путешествуют ради удовольствия, в средствах не стесняются, едят в дорогом ресторане, живут в недешевом отеле,— американцы эти, как потом выяснилось, жили в том же отеле, и нас заприметили.

Поначалу я их видела, затем, увлекшись обозрением вечерней площади, затем едой, затем разговором, о соседях забыла, почти, но не совсем, изредка косилась на них, таких красивых, эдакий образец пожилых туристов, их фотоснимок на фоне палаццо Публико был бы, думается, лучшим украшением цветной рекламы известного бюро путешествий Томаса Кука...

И перед ними бутылка вина, и они что-то ели, но не орали, как мы, да и вообще больше молчали, изредка об-

мениваясь фразами, репликами супругов, много лет вместе проживших... Какие-то фразы эти я уловила, потому и поняла, что соседи — американцы.

Они явно скучали. И мы — я в мятом платье, мой спутник без пиджака, в испачканной рубашке, оба растрепанные, оба орущие, будто дома, а не в порядочном ресторане,— пробудили любопытство американцев. Он осведомился: что за язык? Русский. А-а. Так ему и казалось, что это какой-то из славянских... Русский. Значит? Да, я живу в Москве, а мой старый друг (жест в его сторону), он живет в Париже. Нас, конечно, приняли за мужа и жену, я догадывалась, что мое сообщение изумит американцев, но знала, что изумления они не выдадут, и не выдали, ничто не дрогнуло в их лицах, стоически хранивших приветливо-любезное выражение... В ответ сообщили о себе. Он — доктор наук, профессор, историк, вышел на пенсию, живет в Калифорнии, и вот они с женой путешествуют по Европе на автомобиле... Мы тоже на автомобиле. Они приехали вчера из Флоренции... А мы туда — завтра...

В этой завязавшейся беседе мой спутник участия не принимал: в английском языке особо не силен, а главное — глухота мешала. Лишь кивал и улыбался. Когда я указала на него («Мой старый друг»), либо услыхал, либо жест понял — слегка поклонился. На его лице тоже появилась любезная приветливость, эдакая вежливая маска, и вместо свободно ведущего себя человека (в пылу нашего разговора он еще и вина плеснул на свою многострадальную рубашку!) против меня сидел уже кто-то иной, ну — растрепанный, ну — грязный (мало ли на свете чудаков!), но явно принадлежащий к приличному европейскому обществу.

Завтра во Флоренцию? А известно ли вам, что отели там переполнены, свободного номера не достанешь? Эти слова обращены к моему спутнику, тот приветливо кивает, но я вижу — не услышал, не понял, и громко, порусски:

— Они говорят, что...

И им за него:

— Известно! Пытались заказать номер по телефону из Рима, но...

— Имейте в виду: и в Венеции сейчас трудно с отелями!

Ну, а еще мы болтали о прелестях Сиены и Сан-Джиминьяно... В Рим американцы не собирались: они не любят больших городов.

Беседа журчала, приятная беседа за кофе людей одного круга, состоятельных туристов, путешествующих на автомобиле...

— Верона?

— Нет еще, но мы туда собираемся...

Внезапно я увидела со стороны американцев себя, свой голос услышала... «Флоренция»... «Венеция»... «Верона»... «В Ватикане не протолкнешься»... «Автострады»... «Отели»... Что-то хлестаковское, что-то самозванское ощутила я в своей болтовне. Почему же? А потому, что меня принимают за человека, привычного к такому образу жизни, и я словно бы этому подыгрываю... Ярко освещенная площадь, древние дома, полосатый купол в темном небе, этот ресторан, официанты, тугие, накрахмаленные скатерти (свою мы, конечно, чем-то сразу залили!), эти американцы с рекламной картинки, по-свойски беседующие со мной о пользе и трудностях автомобильных путешествий по Италии,— в этот кадр я не вписываюсь. А тем, что попала сюда, обязана чуду, или, проще говоря,— вот этому человеку. А ведь он, в некотором роде, и сам, пожалуй, чудо!

А он, тем временем, отключенный глухотой от нашей беседы (ему, однако, постоянно улыбались, показывая, что уважают и помнят, а он улыбался в ответ), он, повторяю я, подозвав официанта, собирался расплачиваться. С этого процесса — не спускать глаз. Либо не разберет какой-нибудь цифры и переплатит (уклонялся почему-то исключительно в сторону переплаты, в обратную — никогда!), либо сдачу сунет мимо кармана... Американцы, уже расплатившиеся, заметили мою озабоченность, прощаются, уходят.

Вскоре встаем и мы.

И снова средневековые улицы, уже вечерние... А при выходе на очередную площадь — потрясшее меня зрелище: высокие и узкие черные треугольники кипарисов на фоне ярко освещенной, красной стены церкви святого Доминика, увенчанной башней. Постояли. Стараюсь запомнить, унести с собой эту стену, эту башню, кипарисы, освещение... Идем дальше, и некоторое время разыскиваем ту маленькую площадь, на которой мы оставили автомобиль.

2

Неужели ж и в самом деле есть какое-то химическое соединение человеческого духа с родной землей, что оторваться от нее ни за что нельзя, и хоть и оторвешься, так все-таки назад воротишься.

В августе тысяча девятьсот сорок второго года я жила одна в маленькой чердачной квартире, стояла обычная влажная шанхайская жара, крыша, раскаленная за день, и ночью не остывала. На столе моем всегда раскрытая машинка. Обливаясь пóтом, я писала фельетоны и публицистические статьи в газету «Новая жизнь». Несмотря на мучительную жару, на бедность, на тревогу (шла битва за Сталинград) — думаю, что была даже счастлива тогда: нашла себя, нашла выход своему публицистическому пылу, знала, кого любить, кого ненавидеть, во что верить, куда стремиться.

Стремилась я в Россию.

На этой почве мы и подружились. Как мы познакомились, где и кто познакомил нас — не помню. Помню лишь, как этот человек расхаживал по моей комнате, постоянно забывая о скошенном к окну потолке, стукался лбом, смущался, и я — раздраженно:

— Да сядьте вы наконец!

Я была его значительно моложе, но с самого начала усвоила тон старшей, что объяснялось, видимо, его застенчивостью, вежливостью, уже тогда казавшейся старомодной (шаркал ногой, здороваясь), а главное — выражением доброты, особенно ясно проступавшем на его лице, когда он снимал очки и беспомощно моргал голубыми глазами. Долговязый, в открытой, с короткими рукавами рубашке, в шортах и длинных до колен носках (обычный летний мужской костюм тех мест, того климата), он часто снимал очки, вытирая вспотевшее чело маленьким махровым полотенцем,— и это полотенце, носимое за поясом штанов, было неизменной принадлежностью летнего костюма. И что-то детское было в том, что этот человек не выговаривал ни «р», ни «л», а вместо «ш» — что-то похожее на «ф».

Он работал тогда в Сайгоне, приехал в Шанхай на два месяца, в командировку. Познакомившись со мной, разговорившись, почуял родную душу, стал приходить. Вместе слушали вечерние радиопередачи. Настежь распахнутое

маленькое окно, никакой прохлады в него не вливается, зато отчетливо слышны звуки китайского музыкального инструмента, типа флейты, одни и те же постоянно повторяющиеся высокие ноты, и это — каждый вечер, я привыкла, я вроде бы и не слышу, ничего, кроме голоса из радио, не слышу, но — жара, чердак, флейта навсегда связались в моей памяти с теми тревожными днями.

Я России не помнила, он — помнил, увезли одиннадцатилетним. Оба мы родились в том городе, о котором Ахматовой сказано: «А я один на свете город знаю и ощупью его во сне найду». Мы много говорили о нем, о блокаде, всего ужаса ее вообразить не могли, да и кто, этого не переживший, мог? Россия и война были нашей главной темой. Ну, и о себе мы говорили. О том, как мы оба, отринув все, в чем росли, в чем воспитывались, дошли своим умом до понимания правильности всего того, что делается в СССР.

И было много сходного в наших судьбах, судьбах эмигрантов второго поколения, сходных, несмотря на разницу лет, на то, что он рос, учился, жил во Франции, я — в Китае.

По-французски он говорил свободно, но с акцентом, по первым словам было ясно — иностранец. Ему следовало учиться особенно хорошо, чтобы неравенство с другими сгладить, как бы засыпать эту канаву, этот ров, отделявший его от молодых французов, живущих в собственной стране,— уже этим они были лучше него. Учился он блестяще, и были способности к профессии, еще с детства им выбранной, и все же стоило что-то не так сказать, позволить себе чем-то возмутиться, как в ответ немедленно: «Если вам у нас не нравится, почему вы не едете к себе?» Это произносилось ехидно-торжествующе — знали ведь, что ему оставалось только промолчать.

— И клянусь вам, отсюда вся моя застенчивость, которую я прекрасно сознаю, но с которой ничего не могу поделать! Когда вечно ощущаешь себя виноватым...

Волнуясь, он начинал ходить по комнате, стукался о косяк, снимал очки, моргал, тер лоб, и я — ему: «Сядьте вы наконец!»

Мне слышать слов «если вам у нас не нравится» — не приходилось, их могли сказать только китайцы, но не в

их школах я училась и работала не у них. Однако ощущение неполноценности, неравенства с другими, живущими в Китае, иностранцами присутствовало всегда. А от них приходилось слышать иные слова: «белые второго сорта...», «люди без национальности!»

— Да, да, апатъиды! — подхватывал мой картавящий собеседник.

О, как хорошо из-за сходности наших судеб мы тогда понимали друг друга!

Но он любил Францию, был ей всем обязан, видел в ней вторую отчизну...

— Если б случилось так, что Россия воевала бы сейчас не против немцев, а против французов, мне бы оставалось одно: застрелиться!

А я себя и не спрашивала никогда, какие чувства испытываю к стране, в которой выросла. Харбин и Шанхай были городами особыми, китайцы там жили своей жизнью, от нас отделившись...

И были минуты, когда нам казалось, что мы готовы ринуться в Россию немедленно, выехать завтра, лишь бы туда пустили! Там трудно, но ничто не страшно, когда ты у себя, среди своих, делишь их судьбу, и никто не бросит тебе в лицо: «саль этранже!»

Осуждали родителей: зачем уехали, зачем нас увезли? Он родителей своих глубоко почитал, нежно любил (оба живы, оба в Париже) и говорил с ему часто свойственной извинительной интонацией: «В то время они просто не понимали...»

И до чего мы с ним были уверены, что сами все хорошо поняли и продолжаем понимать!

Расстались мы в первых числах октября: командировка кончилась, он вернулся в Индокитай. А вновь встретились спустя два десятилетия и тоже в октябре: Париж. Год 1965.

Встречи после длительной разлуки всегда поначалу пугают: глядя на другого, ясно понимаешь, до чего ж изменился и сам, и сразу, с ходу начинаешь утешительную работу («Да не так уж... Я б вас сразу узнала!»), ожидая и получая подобные же утешения от него...

За те пятнадцать лет, что и с той поры миновали, долгих перерывов в наших встречах не случалось — я ездила за границу к сестре, он и жена его туристами приезжали в СССР,— и в дальнейшем старели мы уже почти на гла-

зах друг у друга, а значит, постепенно, не так заметно...

Это только тогда, в 1965 году, я заметила в нем ощутимую перемену, а он, конечно, во мне... Был он поджарым, загорелым, молодо-быстрым в движениях, летняя вольная одежда субтропического климата выглядела на нем не только уместно, но и шла ему, и еще молодила... Погрузнел. Поседел. Побледнел — от загара и следа не осталось. Облачен в строгий костюм с жилетом, при галстуке — вид благополучного европейского джентльмена. А за стеклами очков — прежние добрые голубые глаза.

Европеец. Вот только неясно: какой национальности? Его французский язык выдавал нефранцуза. По-русски изъяснялся по-прежнему свободно, без акцента, но что-то не устраивало меня, с чем-то не соглашалось мое ухо. Прежде я над его русским языком не задумывалась: говорит нормально, говорит, как все мы... А тогда — задумалась. И поняла, что я, прожив уже столько лет в своем отечестве, теперь иначе слышу, иначе воспринимаю речь эмигрантов, у некоторых из них вполне правильную,— и все же неживую, застывшую, законсервированную. Позже, впрочем, в его речи уже и неправильности появились, и галлицизмы: родители умерли, жена — француженка, по-русски говорить месяцами не приходилось...

Уже тогда, во время нашей первой встречи в Париже, я видела, что моему старому другу удалось пронести сквозь годы нетронутым восторженное отношение к Советскому Союзу, ничем не поколебленную уверенность: все, что делалось, все, что делается,— все правильно, все на благо! Ведь какой рывок сделала страна! Из отсталой, аграрной — мощная индустриальная держава. Очень гордился. Своей принадлежностью к русской нации гордился.

Тогда же, во второй половине шестидесятых годов, впервые, после детства, приехал в Россию вместе с женой, остановились в отеле «Берлин», и очень пришлась ему по вкусу эта старая гостиница с расточительным простором ее комнат, мебелью прошлого века, убранством — лампа в виде обнаженной бронзовой девы со светильником в руке... «Берлин» стал излюбленной гостиницей, там, приезжая, и жил всегда, лишь раз попал в «Интурист» — остался недоволен. Да, вполне комфортабельно, да, все, что не-

обходимо,— налицо, но учтен каждый сантиметр, никаких излишеств, скучный прагматизм двадцатого века, ведь от излишеств, от необязательного и получаешь радость, а без этого — скука, скука... Он вообще терпеть не мог современных коробочных зданий и в Париже живет в старом доме, в старом квартале.

А в вечер своего первого приезда позвонил мне из отеля:

— У нас в ванной из крана идет горячая вода!

Таким радостным голосом сообщают друзьям о выигрыше в лотерею, и я не сразу усвоила, о чем речь, а усвоив, сказала:

— Разве вы готовились с ведром к колодцу ходить?

Назавтра новый телефонный звонок, чуть не в полночь... В тот день я наотрез отказалась идти с ним и женой его в кино: фильм, экранизация знаменитого романа прошлого века, я видела, он мне резко не понравился, смотреть его вторично не собиралась... Но мой старый друг был от фильма в восторге. Жена — тоже. Да, да, она все поняла, она же читала роман!

Как мне попало в тот вечер! Как ругали меня за то, что я ругала фильм, утверждали, что я его просто не поняла. Они вот поняли, а я — нет. Трудно было не вспылить от этих слов, я и вспылила, отругивалась, а потом, положив трубку, пожалела о своей несдержанности.

Разве я сама не была такой же? Разве, живя в Шанхае, не восхищалась любым, повторяю — любым! — советским фильмом, только за то, видимо, что на экране русские пейзажи, а с экрана — русская речь. Быстро забываешь себя, ту, какой была когда-то! Быть может, я и горячей воде тоже бы изумилась, хотя верила в мощную индустриальную державу, как смутно мы всё себе представляли, какой загадкой была для нас эта заочно любимая страна, о, эмигрантское, за рубежом выросшее племя; я сама к нему принадлежала, но забыла, все забыла, и ОНИ — из того племени — уже и смешат и раздражают...

Уже не вспомнить, сколько раз после того первого посещения СССР мой старый друг сюда приезжал — групповой туризм не любил, средства позволяли ездить в порядке туризма индивидуального... В Москве — отель «Берлин», в Ленинграде — «Астория» или «Европейская», каж-

дый приезд открывал ему еще какие-то новые, светлые стороны нашей жизни, этими открытиями он делился со мной вечерами за рюмкой хорошей водки в прекрасном номере «Берлина» («Зачем идти в ресторан? Нам все принесут сюда!»), нам все и приносили, включая зернистую икру в таком количестве, что ее хотелось есть ложками, а мой друг радостно замечал:

— Как у вас все дешево!

За окном декабрь, снега и вьюги, в номере уютно, горит светильник в руке бронзовой девы, мой друг — задумчиво:

— В Париже сейчас дождь, слякоть, сырость... Какой у вас здоровый климат! И никакие морозы не страшны, раз в домах так тепло!

Войдя впервые в мою квартиру, он сразу кинулся ощупывать батареи центрального отопления и восхитился — горячи! — затем взглянул на пол и снова восхитился — прекрасный паркет, у нас бы он стоил бешеные деньги.

В один из его зимних приездов мои близкие друзья, постоянно живущие за городом, пригласили его с женой и меня встречать Новый год. Мы там ночевали, а на следующее утро только и было разговоров, что — о белочке. Белочка, сидевшая на выступе за окном, белочка на фоне стволов берез и кустов, покрытых снегом, вот что увидели, проснувшись, парижане... Лет семь прошло с того деревенского утра, но оно не забыто, о нем рассказано всем знакомым французам в Париже (воображаю их снисходительно-вежливые улыбки!), о нем, об этом зимнем утре, я и недавно слышала во время нашего путешествия... Мы стояли на одном из флорентийских мостов, любуясь розовой от заката рекой Арно, аркой другого, дальнего моста, и я не знаю, какие ассоциации пробудили в голове моего друга белочку, почему он внезапно сказал:

— Никогда не забуду, как я проснулся и увидел белку за окном!

А в тот новогодний день в деревне я повела гостей гулять. По европейской привычке мой старый друг отправился на прогулку с непокрытой головой, нас не слушал, уверял, что на дворе тепло, день и в самом деле был тихий, мягкий, но как только мы вышли на открытое место — заснеженное поле, справа вдали темнела деревень-

ка, на горизонте синяя полоска леса,— откуда-то взялся ветер, вздыбил седые волосы моего друга, жена и я заставили его надеть на голову кашне (сдался, надел, повязал у подбородка наподобие бабьего платка), и мы вновь двинулись вдоль опушки. Мы с женой его перекидывались какими-то фразами, он шел следом, от нас отдельно, шел молча, и я, изредка оборачиваясь, видела растроганное выражение его лица... До сегодня стоит у меня перед глазами эта длинная фигура с бабьим платком на голове на фоне снежного поля, дальнего леса, зимнего неба.

Нет, он хвалил не все подряд. Он замечал у нас кое-какие недостатки и очень хорошо знал, что надо делать для их устранения. Настолько все прекрасно понимал, что вот даже и советовал («у вас...», «стоит вам...»); и уж кому-кому, а не мне на это раздражаться, разве я сама не была такой же? Едва успев сюда приехать, ничего толком не поняв, бралась судить, бралась учить. И все же раздражалась.

Он ухитрился законсервировать, пронести нетронутым сквозь десятилетия и свое восхищение Сталиным. Нет, нет, он не закрывал глаза на его отдельные ошибки, на то, что во времена его правления были нарушения законности и безвинно страдали люди,— но ведь это Россия! Благодаря мягкости, доброте, великодушию русского характера люди ухитрялись и в лагерях как-то существовать и — выживать, ну, одним словом... Тут мой друг, примирительно мне улыбаясь, ищет подходящее русское выражение, не находит и произносит: «он с'арранж!»

Вот это «он с'арранж» (как-то устраивались), сказанное, помнится, за чашкой послеобеденного кофе, за коньячком, налитым на дно широких внизу и сужающихся кверху бокалов, поставленных на низкий столик, а мы сидим в удобных, мягких креслах, это «с'арранж» произвело на меня сильное впечатление... В присутствии жены его (разговор происходил у них дома, в Париже) мы говорили на ее родном языке, иногда срывались на русский, сорвались и тут, и ей, естественно, невдомек было, почему единственные понятные слова «он с'арранж!» вызвали у меня такую бурную реакцию... А он улыбается своей доброй улыбкой, пытается превратить все в шутку (что меня сердит еще больше), жена требует объяснений, я беру себя в руки (с трудом!), молчу, пока он излагает ей

предмет беседы, она вникла, кивает и мне — примирительно: «Что ж вы рассердились? Ведь он такой патриот!»

...Он не был доволен своей жизнью, своей, казалось бы, блестяще удавшейся жизнью: репутация фирмы на высоте, заказы сыпались со всех сторон, фирма богатела, вместе с ней богател и он, много путешествовал, а последние годы вместе с женой проводил летние месяцы в Греции, на Корфу: уединенное бунгало, морские прогулки на собственной моторной лодке. Вечерами читали русскую классику. Я не раз слышала: «Тем летом мы с женой взялись за «Братьев Карамазовых». «Брались» они так: он читал по-русски, она этот же роман во французском переводе. Или: «Начали перечитывать «Анну Каренину»...

Жена моего друга вполне разделяла его критическое отношение к обществу потребления, к уродствам и несправедливостям, им порожденным. Оба, и муж и жена, считали бестактным жаловаться на неудобства, причиняемые разнообразными и многочисленными забастовками, а над теми, кто жаловался, посмеивались не без высокомерия: буржуа, эгоисты, обыватели, только о своих удобствах и думают, а до других им дела нет!

И с работой, значит, все клеилось, и дома единомыслие, и обеспеченность. А он роптал. Сколько горьких слов я слышала от него за эти годы: «Я не человек. Я машина для зарабатывания денег!», «Да, я своё дело люблю, и все-таки работа для меня наркотик, чтобы не думать, не спрашивать себя постоянно: к чему все это? Зачем я жил? Зачем живу?»

Как он старался, этот человек, расцветить, украсить каждое мое пребывание за границей! Меня возили в замки Луары, катали по Нормандии и Бретани, водили в лучшие рестораны Парижа, развлекали, не жалея ни времени, ни денег, и это стремление всячески меня порадовать я объясняла не только тем, нас связавшим, воспоминанием о шанхайских днях (жара, чердак, флейта, голос радио, наша молодость, наша тревога), но и тем, что я — отсюда. Из страны, куда и он хотел вернуться, но не смог, а я вернулась и прижилась.

И никак он не мог примириться с тем, что я не бывала

в Италии. Желание показать мне Италию превратилось у него в навязчивую идею, последние два-три года, видя меня, только об Италии и твердил, казалось уже, что для него мое свидание с Италией куда важнее, чем для меня самой.

И вот — свершилось. Я лечу в Рим.

3

> Господи, сколько я ожидал себе от этого путешествия! «Пусть не разгляжу ничего подробно, думал я, зато я все видел, везде побывал; зато из всего виденного составится что-нибудь целое, какая-нибудь общая панорама». ...Ну чего ж после таких признаний вы от меня ожидаете? Что я вам расскажу? что изображу? Панораму? Перспективу?

Где-то я читала: первую половину дороги путник еще полон мыслями об оставленном, а затем, со второй половины, переключается на размышления о том, что ждет его на новом месте.

Всласть предаваться этим размышлениям хорошо было тем, кто путешествовал на лошадях. Железная дорога время для размышлений сильно сократила, однако все же удержала постепенность перехода от одного к другому: менялся пейзаж за окном вагона, менялся климат, человек мог привыкнуть к мысли, что он — уехал, что впереди все новое.

А самолет? Летишь над облаками, которые одинаковы, что над Россией, что над Францией, это стюардесса внезапно объявляет, что там, внизу, проносится сейчас Копенгаген, очень может быть, но тебе от этого ни тепло, ни холодно. Много там всего невидимого проносится, пока ты сидишь в кресле, читаешь, ешь, дремлешь, снова читаешь, а за круглым окошком уже и облаков нет, черная тьма, и внезапно табло: «Пристегните ремни, курить запрещается!» И вскоре что-то начинает происходить, что-то меняется в твоем покойном пребывании в кресле, возникают ощущения, похожие на качельные, это длится, это длится, это длится, и наконец толчок — земля. Приехали.

Куда? Стюардесса утверждает, что в Рим.

Аэропорт, паспортный контроль, конвейер с проползающими чемоданами, выхватываешь свой, кладешь на каталку, катишь к выходу, таможенный контроль, а кто мне поручится, что это именно Рим, все точно такое же, как во всех международных аэропортах, вокруг англо-франко-немецкий говор, и японские слова доносятся, а итальянских не больше, чем других, катишь свою каталку, и вот ты уже снаружи, под небом Италии, это ты сама себе внушаешь, что под небом Италии...

В группе встречающих седая голова, очки, очень приятно, что он здесь, очень трогательно, но зачем? В течение августа раз пять звонил мне с острова Корфу (ночью телефон: «вызывает Греция!»), обо всем условились, в аэропорту я беру такси, еду в отель «Рафаэль», площадь Навона, знаменитая площадь, каждая римская собака ее знает, и лиры у меня есть, и с шофером объяснилась бы... Вот я, вместо приветствия, и спрашиваю его: зачем он сюда явился? Вразумительного ответа не получаю, да и не жду его, не до того: он пытается снять с каталки мой чемодан, я не даю (после двух инфарктов чемоданов не таскают!), оба уже начинаем сердиться, к счастью, рядом возникает некто смуглый и чернокудрый, носильщик? Нет, таксист, согласный заняться чемоданом, прекрасно!

Ну — едем. По улицам Рима. Вот именно: по улицам Рима. Бегут высокие темные деревья южных очертаний (кипарисы?), затем мосты, дома, ярко освещенные улицы огромного города, сколько же здесь автомобилей, а, между прочим, это Рим, Рим, но неловко прилипать к окну, отвернувшись от собеседника, едем, говорим о том о сем (хорошо ли мне летелось, холодно ли в Москве), ладно, потом все разгляжу, душит и шерстит воротник свитера, хочется снять куртку (в Москве в день моего отъезда было холодно!), а тут, оказывается, жарко, и очень! Сколько? Двадцать семь градусов. Однако! Ну да, юг. Попади я сейчас, скажем, в Ереван, было бы то же самое. Но я не в Ереване. Я — в Риме. Еще немного, и я, быть может, привыкну к этой мысли.

Наутро, проснувшись в гостиничном номере, сразу кинулась к окну, отдернула занавески — никакого прекрасного вида взору моему не представилось. Напротив серый

каменный дом (отель стоит не на площади Навона, а на узкой улице за площадью), мрачный, высокий дом, слепые, закрытые ставнями окна, спят там, что ли, ведь всего семь утра. Впрочем, за четыре дня пребывания в отеле я так и не увидела открытого окна в этом таинственном доме. Ни стиля его, ни возраста определить не могу, но по этим небольшим асимметрично расположенным окнам понимаю, что он очень стар, этот угрюмый дом. Какая-то надпись по-латыни высечена на его серой и гладкой стене. Полагаю, это что-то католическое, религиозно-нравственное, живущих в доме (а заодно и прохожих) благословляющее, а быть может — предостерегающее... Окно мое на третьем этаже, я смотрю вниз, я вижу веселый пестрый тент над входной дверью, зелень плюща (им сплошь покрыта стена отеля) и лакированные цветные крыши автомобилей, стоящих у подъезда, и уже мелькают прохожие, одетые по-летнему, по-современному, а день сегодня снова жаркий, я — в Риме!

Но это все еще нуждалось в подтверждениях. Значит, так: умыться, одеться и бежать на площадь Навона. Эта овальная площадь находится посреди квартала «палаццо, церквей барокко и светящейся тонкой улыбкой римской народной жизни» (вычитано у Муратова). «Три обильных водой фонтана, движение их статуй в светящихся сумерках, архитектурная игра фасада Сант-Аньезе и горячий рыжий цвет окружающих площадь домов — таково здесь никогда не забываемое видение Рима».

Эту прекраснейшую из всех прекрасных площадей Рима я уже видела накануне поздно вечером: мой друг и его жена тут же, едва я успела сменить осеннюю одежду на летнюю, повели меня на площадь, и там мы часа полтора просидели за столиком кафе. Так что площадь я видела. Но и не видела.

Ни фонтанов я толком не видела, ни фасада церкви Сант-Аньезе, не говоря уже об «архитектурной игре» этого фасада, а «тонкой улыбки римской народной жизни» тем более не ощутила. Жизнь на площади кипела, била ключом, но не римская, не народная, а исключительно туристская: плотная, почти непроницаемая движущаяся стена людей, все от глаз заслоняющая... У домов, окаймляющих площадь, вынесенные на тротуары столики кафе и ресторанов, тротуары едва проходимы, а узкая полоса, отделяющая их от самой площади, тоже едва проходима:

там упорно, настойчиво, преодолевая препятствия в лице постоянно перебегающих эту полосу пешеходов, ползут автомобили... Ну, а весь овал Навоны заполнен гуляющими. Люди, люди, люди, на каменных скамьях сидящие, на месте топчущиеся, фотографирующие, курящие, хохочущие, говорящие; джинсы, юбки длинные и колоколообразные, юбки прямые и узкие, на некоторых женщинах лихие шаровары запорожского вида из легких цветных материй, пестрота мужских рубашек и маек с рисунками, с надписями, волосы до плеч, дремучие бороды — глаза разбегаются, в голове туман, где уж тут рассмотреть фонтаны! Пьем что-то прохладное, жуем сандвичи, жена моего друга и я пытаемся общаться, выкрикивая реплики такого примерно рода:

— Это всегда тут такие толпы?

— Туристский сезон! Он еще не кончился!

— А когда кончается?

— Не слышу!

— А когда...

Беспомощно улыбаемся, нет, говорить невозможно, шум, смех, гудки автомобилей, и вот еще — звуки скрипки. Старик скрипач ухитряется не только ходить между столиками, но еще и играть, ах, Италия, страна музыки, удивительно, что тут еще никто не поет хорошо поставленным лирическим тенором, надо же, я в Италии, в Риме, на площади Навона! Приходится время от времени себе это повторять, ведь всего несколько часов назад я ехала в автомобиле по Ленинградскому шоссе, было пасмурно, дождливо, серо, уныло, и в тот же день, в тот же вечер раскинулась передо мной эта кинопанорама, ослепительная и оглушительная...

Люди за столиками пьют, едят, смеются, звуки скрипки, а что-то я не вижу, чтобы ему деньги давали, бедный старик, от хорошей жизни не заиграешь, и никто головы в его сторону не повернет, и уж конечно мне вспоминается «Люцерн» Толстого, и тут же я вижу, как старик прерывает игру, кланяется, сует в карман пиджака протянутый банкнот и вот уже снова прижимает подбородком скрипку, снова играет, на этот раз в знак признательности непосредственно над нашими головами, ибо кто ему протянул этот банкнот, эти тысячи лир?[1] Мой старый друг, разумеется! Он этим смущен, почему-то, поймав мой

[1] Десять тысяч лир равняется примерно восьми рублям.

взгляд, бормочет по-русски, я едва слышу, но по движению губ догадываюсь: «Не могу видеть, когда старые люди...»

Киваю. Поняла. Согласна. Я тоже не могу видеть. Мы с ним, значит, оба не можем видеть. Остальные могут, а мы — нет. Потому что мы русские.

А боже мой! Стоит мне очутиться за границей, как сразу откуда-то вылезает глупый шовинизм. Что это? Остаточные явления эмигрантской молодости? А, впрочем, Достоевский в своих «Зимних заметках...» утверждает, что русскому человеку чрезвычайно приятно заметить в иностранцах какие-то не слишком их украшающие черты. «Пожалуй, это чувство и нехорошее, но я как-то убежден, что оно существует чуть не в каждом из нас,— говорит Достоевский и добавляет: — О, ради бога, не считайте, что любить родину — значит ругать иностранцев, и что я так именно думаю».

Боже сохрани! И я так не думаю!

Итак, на следующее утро я решила пойти на площадь Навона.

Восьмой час утра, на площади никого! И унесены с тротуаров столы и стулья, впрочем, вот в этом кафе какое-то шевеление, выносят и ставят под ярко-красный тент столики, ждут туристов, вот-вот они явятся пить кофе. Это прекрасно, что их нет. Их нет, но они были. Пустые смятые стаканчики из-под мороженого, пустые растоптанные пачки сигарет, клочки бумаги оберточной и газетной, забытый детский мячик, обрывки веревок, мусор, мусор, урн тут нет, что ли, нет — есть, но мало, да на эти толпы не напасешься, а, впрочем, толпам лень и не с руки кидать мусор в урны, кидают куда попало, и это до сих пор почему-то не убрано, а может, тут вообще не убирают?

Не мое дело. Гляди. Вот он перед тобой, этот овал площади, залитый утренним солнцем, окруженный рыжими и желтыми домами, вот они, знаменитые фонтаны, иду к фонтану «Четырех рек», белые статуи бородатых мужчин, аллегорические фигуры Ганга, Нила, Дуная и еще какой-то реки, барокко, семнадцатый век, автор Бернини. Чудесный фонтан, величественный фонтан, но, боже мой, и тут в его голубой воде плавают размокшие рыжие окурки, пустые сигаретные пачки... На это смотреть не будем.

Муратов советовал любоваться причудливым фасадом церкви Сант-Аньезе в сумерках, ничего, полюбуюсь утром, в сумерках туда не пробьешься, итак — гляди, запоминай, нравится? Сама не знаю. Знаю лишь, что ДОЛЖНО нравиться. А вот площадь определенно очень нравится, рада, что догадалась прийти сюда, когда ничто не мешает ее видеть, мусор мешает, чепуха, надо просто приказать себе его не замечать...

В девять утра, как было условлено, мы встретились все трое на крыше отеля «Рафаэль», куда нам принесли кофе. Как прекрасна эта плоская крыша-терраса, какой вид на Рим с нее открывается! Недаром в цветных рекламных книжках, разложенных внизу на столиках холла, вид с этой террасы занимает главное место, им заманивают путешественников. Но путешественники либо пьют кофе в своих комнатах, либо уже разбежались, на крыше, кроме нас, никого, и это тоже прекрасно. Всего три стола, над ними огромные зонты, кое-как спасающие от уже пробравшегося сюда солнца, шезлонги, плетеные кресла и нечто вроде качелей — натянутый под тентом брезент на веревках и брезентовая же спинка, хорошо тут сидеть вечером, когда солнце уже ушло, но еще не стемнело, и смотреть, смотреть, смотреть...

Черепичные розовые крыши старых домов, зеленые ставни, балкончики с горшками цветов, и колокольни, и купола церквей, и далеко, в голубой дымке, силуэт собора святого Петра (я узнала его, чему рада), другие храмы незнакомы, мне их называют, а рядом монастырь так близко, что можно заглянуть в его двор, а на горизонте полоса зелени, над ней небо без единого облачка, и мне вспоминается: «Под небом голубым страны своей родной...» Хочется произнести это вслух — не произношу, чужой язык для жены моего друга, он же станет спрашивать, что это, откуда, и очень удивится, узнав, что — Пушкин. Скажет: «Странно. Почему ж я не помню?»

Ему, бедненькому, кажется, что он хорошо знает русскую литературу. Но какой же он «бедненький»? Сидит, пьет кофе, любуется этим, давно знакомым ему, зрелищем, но видит его сейчас свежими, моими глазами и этому рад бесконечно, какое счастливое лицо, очень понимаю, сама всегда радуюсь, когда могу поделиться с друзьями тем, что люблю и чем восхищаюсь.

Далее он собирается делиться со мной Ватиканом, Сик-

стинской капеллой, собором святого Петра. Туда мы отправляемся вдвоем: жена моего друга заявила, что слишком жарко, она лучше посидит и почитает где-нибудь в тени.

Это благоразумное решение я оценила несколько позже, когда мы с ее мужем двигались по галереям Ватикана, в такой толпе, что мне вдруг вспомнились подземные переходы нашего метро в часы пик, и я сама удивилась этому неуместному, этому святотатственному сравнению.

Слева немцы, справа американцы, сзади увешанные фотоаппаратами японцы, дети разных народов теснят со всех сторон, я убыстряю шаг, пытаясь оторваться от наступающего сзади японца, чей фотоаппарат ритмично бьет меня по спине. В нишах белые скульптурные фигуры и бюсты, надо ли их разглядывать, мой друг говорит, что не надо, движемся дальше. В одной из галерей посчастливилось идти вдоль стены с настежь распахнутыми окнами, выходившими в папские сады. Боже, что за сады! Тишиной и прохладой дышат зеленые лужайки, великолепны деревья, вековые и мудрые, чего только не повидавшие пинии, сосны, кипарисы, оливы, журчат фонтаны, порхают птицы райского обличья, и — ни единого человека! В сады эти, конечно, не пускают, воображаю, во что бы превратили туристы дивные бархатные лужайки! Ах, туда бы! В тень, в зелень, в прохладу! «За этот ад, за этот бред, пошли мне сад на старость лет...»

Да что это со мной? Я в Ватикане! В Ватикане, где стены, потолки, полы, да все, все — произведения искусства, это надо видеть, а не в окна глазеть, не к покою стремиться. Ведь мы только что начали наши туристские труды, мы еще Сикстинской капеллы не видели, туда и идем, ее и ищем... Мой друг, тут не раз бывавший, знал, как туда пройти, двигался уверенно, но вот неожиданное препятствие, этот проход почему-то сегодня закрыт, о чем нам сообщает служащий Ватикана и растолковывает, как попасть в капеллу другим ходом,— вот я впервые слышу, как итальянец объясняет дорогу («дестра, синистра...»), а сколько еще раз за время нашего путешествия мне предстоит эти слова слышать, мы вечно попадали не туда, вечно что-то искали, то музей, то отель, то выезд из города на автостраду.

Идем в указанном направлении. Мой спутник раздражен, беспрерывно что-то бормочет, я не вслушиваюсь,

однако улавливаю, что гнев его направлен против тех, кто внезапно закрывает привычные проходы и переходы. «Безобразие!» «Совершенно не считаются с людьми!»

Ну, попали наконец! Каждый, войдя, ищет местечко, куда ноги поставить, чтобы не особо налегать плечом на соседа и чтобы на тебя не сильно налегали, и, кое-как устроившись, сразу задирает голову: всем известно, на что следует смотреть, попав в капеллу.

Смотрим, вытянув шеи, закинув головы. Не раз видела «Страшный суд» в репродукциях, теперь сподобилась увидеть оригинал.

— Взгляните на Христа и мадонну,— говорит мой спутник,— а теперь глядите на старика справа, видите, какое движение у этой фигуры, а теперь...

Смотрю. Гляжу. Начинаю видеть. Затекла шея.

Она, шея, затем отдыхает, когда мы, с трудом передвигаясь в толпе, разглядываем настенные фрески. Из них запомнилась и посейчас перед глазами «Вручение ключей апостолу Петру», все остальное слилось в голове, размылось в памяти.

Пытаемся поймать такси, чтобы вернуться в отель. Своей машиной мой друг в городе не пользовался: водить машину по улицам Рима — каторжный труд. Поймать такси нам долго не удается. Не мы одни топчемся на адски раскаленной, открытой солнцу площади, подъезжающие желтые автомобили-такси выхватывают из-под носа другие, а мы оба — растяпы. Он вежлив и застенчив, перед наступающими тут же отступает, я же не сразу оценила обстановку, не сразу усвоила, что никакой очереди не соблюдается, требуются напор и ловкость. Усвоив, проявляю и то, и другое, и мы едем наконец. Блаженно откинулись, отираем пот, и я хвастаюсь, что у нас такого быть не может, люди у нас дисциплинированные, очередность уважают, и светлая улыбка озаряет лицо моего спутника, он так хочет верить в преимущества нашего образа жизни, так рад любой мелочи, эту веру поддерживающую. Впереди его ждала еще одна радость.

Шофер такси нами живо заинтересовался, раза два, подвергая опасности свою и наши жизни, оборачивался на нас посмотреть. У подъезда отеля, у стены его, сплошь

закрытой зеленым плющом, шофер остановил машину и тут уж повернулся к нам всем корпусом.

— Ру́ссо?

Мы подтвердили эту догадку, и наш шофер, римлянин средних лет, заулыбался так нежно, так приветливо, будто мы были его потерянными и вновь обретенными родственниками. Протянутые ему лиры отверг гордым движением ладони (дескать, не обижайте его, со своих не берет!) и с некоторым усилием, раздельно произнес:

— То-ва-рич!

Как был счастлив мой друг! Он сделал еще попытку сунуть шоферу деньги, тот их вновь отверг, на этот раз улыбаясь, улыбался и мой спутник, казалось, еще минута — и они обнимут друг друга!

Так мы и вышли, не заплатив. И еще махали вслед отъезжающему шоферу, а он, оглядываясь, махал нам, чудом избегая столкновения со встречным транспортом.

Эта история была немедленно рассказана моим другом его жене, нас поджидавшей, неоднократно упоминалась в последующие дни («а помните этого милого шофера?») и, полагаю, до сих пор рассказывается в Париже.

Позже, в этот же день, уже втроем, мы отправились на площадь Венеции, оттуда спустились на площадь Испании по знаменитой беломраморной лестнице, не без труда спустились — на каждой ступеньке кто-то сидит, на некоторых полулежат — бороды, джинсы, расписные рубахи, шаровары, юбки колоколом... Добравшись до нижней площади, постояли перед фонтаном, а затем углубились в сеть старинных улиц.

А тут, между прочим, где-то жил Гоголь. Не выяснила перед отъездом, где именно, а здесь у кого выяснять? На некоторых улицах запрещено движение транспорта, и можно было, не толкаясь на тротуаре, без опаски идти по мостовой. Иногда мы вступали в зону магазинов с роскошными витринами (одежда, обувь, драгоценности, изделия из кожи), но самой большой роскошью этих мест были — дворы. Время от времени мы заглядывали в эти чудесные дворы и видели в их глубине дома еще более старые, чем те, которые выходили на улицу, а в одном дворе посидели на скамье перед маленьким фонтаном. Сколько же фонтанов, какое обилие воды в этом городе! Фонтанами, зеленью плюща, покрывавшего старые стены,

зеленью деревьев и кустов, тишиной, отсутствием туристов были прекрасны римские дворы, но главное, думаю, тем, что, отрешившись от роскошных витрин и толп на тротуарах, путник получал возможность хоть как-то прикоснуться к Риму, к старому Риму, к Вечному городу.

Вечером мы ужинали на маленькой площади перед церковью святого Игнатия. Прелесть этой площади пронзила меня. На ней, совсем небольшой и круглой, не было ни единого случайного здания, все — единый ансамбль, все вместе — произведение искусства, каждый из домов, окружавших площадь, был обращен к церковному барочному фасаду, выдержанными в том же стиле характерными окнами и балконными решетками, и, если бы не грузовик, торчавший какое-то время перед глазами, и изредка промелькивающие автомобили, можно было бы вообразить, что мы в Риме семнадцатого века.

Но грузовик, к нашему удовольствию, вскоре площадь покинул, автомобили мелькали редко, и не было тут туристских толп, уж не знаю, почему они сюда не добрались в тот вечер. Вокруг нас, за вынесенными на тротуар столиками, звучала только итальянская речь, и это придавало очарование площади. Сгущались сумерки, в некоторых из характерных барочных окон зажигался свет, кто-то, значит, живет в этих произведениях искусства, а церковь величественна и темна, да и сама площадь темна, ее освещает лишь сноп света, падающий из нашего ресторана. Мы ели спагетти, мы пили белое вино, неторопливо беседовали, мир и согласие царили за нашим столиком; внимание мое, пока еще не окончательно стемнело, обращали еще на это окно, еще на ту решетку, я всем искренне восхищалась, слов восхищения не жалела, и мой друг — мне:

— Как я счастлив! Право, я бы вам не простил, если б вы не оценили этой площади!

Он был счастлив. Жена его была счастлива тем, что он счастлив. Я была счастлива красотой площади, тем, что я в Риме, чувство благодарности к моему другу и его жене переполняло меня, ну, короче говоря, это не вечер был, а майский день, именины сердца!

До отеля решили дойти пешком, благо он недалеко, старинные узкие улицы были почти пустынны и темноваты, не верилось, что через несколько минут на нас обрушится свет и гам площади Навона. Двигались неторопли-

во, иногда останавливались, внимание мое вновь обращали то на дом, то на окно, и еще встретился на нашем пути чудесный маленький фонтан: маска, а под ней круглая чаша были прилеплены к стене старого дома, из уст маски била струя воды...

Говорят, надо время, чтобы проникнуться чувством Рима, а мне в тот вечер казалось, что я уже этим чувством проникаюсь, как все было хорошо, как прекрасно... И внезапно откуда-то все нарастающий грохот, яркий свет фары, как дьявольский глаз, ударил в лицо, ослепил... Мотоциклист, будь он проклят! И как мчится! «Кель аллюр!» — негодующе воскликнула жена моего друга, я же своего негодования выразить вслух не успела — от мощного толчка в плечо рухнула на тротуар. Грохот проклятого мотоциклиста удалялся, затихал, сбил человека и скрылся, ну, а вдруг человек убит, или смертельно ранен, или... Человек убит не был и даже с помощью протянутых дружеских рук мог встать. Сочувственные возгласы, расспросы. Успокаиваю: все слава богу, руки-ноги целы, ну, ушибла плечо, ушибла колено, пустяки. А сумка? Что сумка? Здесь моя сумка!

Я-то думала, что меня просто сбили с ног, проносясь мимо, оказывается, была сделана попытка сорвать с моего плеча сумку. Ремешок, на котором она висела, я, вполне бессознательно, сжимала у бедра ладонью, поэтому попытка не удалась, сумка осталась при мне.

Мне сообщили, что срывание мотоциклистами на ходу сумок у зазевавшихся дам — явление, нынче распространенное в Западной Европе. Как был расстроен мой друг! Он во всем винил себя, ибо забыл, забыл меня предупредить! «Я ведь еще в Корфу тебе напоминала, чтобы ты написал!» — говорила жена, тоже очень расстроенная... Я прихрамывала, болело колено, меня вели под руки и огорчались, что поблизости ни одного такси. Я твердила, что прекрасно дойду, к чему такси, и вообще будем считать, что мне повезло, ногу не сломала, сумка цела. Друг мой, однако, был безутешен. Его вина! Простодушные и доверчивые обитатели страны, где подобные вещи невозможны, должны заранее знать, что их ожидает в джунглях общества потребления с его аморальностью и преступностью...

— Почему же невозможны? И у нас воруют, а случается, и грабят!

Мне ответили, перейдя на русский язык, что в нашей

стране уничтожены причины, порождающие преступность, а поэтому ее у нас становится все меньше.

— Это откуда же вам все так хорошо о нас известно?!

— ...а если преступность и есть еще, то у вас с этим умеют бороться! А здесь не умеют! У преступников находятся адвокаты, которые...

— Вы что же, считаете, что адвокаты не нужны? А может, и суд не нужен?

— Я этого не говорил! Но в обществе, где все продается и покупается...

Ну — поехали! Жена моего друга беспомощно повторяет: «О чем вы? О чем?» — мы не обращаем внимания...

— А у нас, по-вашему, все сплошь святые, что ли?

— Не доводите мою мысль до абсурда! Я только хочу сказать, что...

Немедленно взять себя в руки и прекратить этот бессмысленный спор. Ну почему я не могу оставить в покое этого добряка с его иллюзиями? А потому что злит этот самоуверенный тон! А ты лучше вспомни себя, какой была тридцать лет тому назад! Нет, но до такой наивности я, однако, не доходила! И все же, все же...

Господи! Почему, если человеку не нравится общество, в котором он живет и все пороки которого хорошо знает, то непременно надо воображать общество иное, на иных принципах построенное, каким-то раем, идиллией, скопищем добродетелей? Ведь это глупо, в конце-то концов. И пусть глупо. И оставь его в покое. Пошли мне, боже, терпения и мудрости!

Бог мольбе моей внял, терпение и мудрость мне были посланы (хватило их, правда, ненадолго), но в тот вечер я этот спор прекратила, как-то отшутилась, попросила извинения у жены (она сказала: «Какие же вы, русские, спорщики!»), и мы добрели до нашего уютного отеля, и там мой друг и жена его окружили меня трогательной заботой, в мой номер были принесены какие-то чудодейственные мази двух сортов и еще какие-то таблетки, моя левая рука от плеча до локтя (по ходу сдирания сумки) была покрыта синяками, колено — тоже, но, в общем, все кончилось вполне благополучно.

В мой последний римский вечер, четвертый по счету, я сидела в полном одиночестве на террасе отеля, покачиваясь на диване-качалке, глядела на дальний купол свя-

того Петра, на купола других храмов, на черепичные крыши, на небо. На закатное, еще розовеющее небо. Я пыталась найти в нем тот серебряный блеск, о котором говорил Гоголь. Пыталась, но не находила. «Небо чудное, пью его воздух и забываю весь мир!» — тот же Гоголь. Закатное небо после погожего жаркого дня всегда и везде чудное, ничего такого особенного я в римском небе не видела, а быть может, видеть не умела.

«Вам понравился Рим?» Странный вопрос! Никто и не задаст мне его, и уж во всяком случае мои соотечественники. Всем нам откуда-то еще с детства известно, что Италия прекрасна. В этой уверенности нас вскоре поддержит Пушкин: «Адриатические волны, о, Брента! Нет, увижу вас!..» — так этого и не увидевший! Ну, а Гоголь, Герцен и другие лучшие люди сороковых годов скажут, что страна эта чем-то сродни русской душе, и мы навсегда им поверим. Между прочим, Михаил Погодин, подъезжая к Риму, увидел издали купол собора святого Петра и сообщил затем своим друзьям: «Я вздрогнул, встал и поклонился».

Вон он передо мной, этот купол, а я — ничего. Сижу как ни в чем не бывало, не вздрагиваю, не кланяюсь.

Я рада, что накануне отъезда из Рима мне выпало несколько часов одиночества. Жену моего друга не очень привлекал автопробег по хорошо ей знакомым итальянским городам, она решила нас покинуть и ждать в Париже. Муж уехал ее провожать, условившись встретиться со мной в восемь вечера на террасе отеля.

Предоставленная самой себе, я сначала бродила по улицам, затем, рискуя жизнью, пересекла набережную (бешено мчащиеся автомобили), постояла на мосту над Тибром (Тибра не увидела, он высох за лето), вернулась на площадь Навона, с трудом отыскала место на одной из широких каменных скамей, где люди сидели в два ряда, спинами друг к другу, поглядела на толпу причудливо одетых туристов и отправилась в отель. И вот сижу на террасе.

Когда я ходила по улицам между виа Виктора-Эммануила и набережной, у меня было чувство, что я уже видела где-то эти маленькие площади с маленькими фонтанами чуть не на каждой, и замусоренные тротуары, и обшарпанные стены старых домов, и разноцветное белье у

окон и на балконах (до чего ж тут много стирают!), и женщин, громко переговаривающихся с одного балкона на другой, и довольно грязных, но веселых детишек, бегающих и прыгающих, и задумчивых бородатых юношей, сидящих со своими девушками непосредственно на тротуарах, и бездомных кошек с крадущейся воровской походкой — вся эта непринужденная уличная жизнь южного города казалась мне знакомой: нечто похожее, думаю, мелькало в итальянских фильмах.

Ну, а жить тут я бы не хотела.

Именно эти слова я мысленно произносила, бродя по улицам. Я бы не хотела. А Гоголь — хотел. «Вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить». Но почему я должна думать и чувствовать так же, как Гоголь? Имею я право на собственное мнение?

Но у меня нет этого собственного мнения, своего отношения к Риму я не выяснила, хотя многое успела посмотреть за эти дни. Но что увидела?

«Надо время, чтобы испытать чувство Рима. Оно почти никогда не приходит в начале римской жизни, но зато нет никого, кто бы не испытал его после более или менее продолжительного пребывания» (Муратов).

А мое знакомство с Римом было торопливым, поверхностным, туристским. Друзья мои водили и возили меня смотреть все то, что туристу смотреть положено: явимся, взглянем, мысленно поставим «галочку» и едем дальше. Вот, значит, все, что возможно было посмотреть за трое с половиной суток, я и посмотрела. Рим языческий, Рим христианский, Рим барокко...

Рим барокко специально отыскивать не нужно, он — везде. Все заметные здания, все главные улицы и площади — барокко. Барокко торжествует и на площади Навона, и в соседних кварталах, тут и массивная вилла Мадама (раннее барокко), и фасады церквей, и колоннады, и фонтаны, и полюбившаяся мне площадь Святого Игнатия, и множество других зданий.

А вот знаменитый фонтан Треви, куда туристы бросают монетки: примета — бросивший монетку еще раз побывает в Риме. Вечер. Ярко освещенная маленькая площадь забита туристами. Одни сидят за столиками кафе, другие непробиваемой стеной окружили фонтан. Огромный Нептун, восседающий на раковине, влекомой морскими конями, выезжает прямо из стены старинного палаццо, и еще тут рифы и скалы, с них-то каскадами низвергается

вода, крутясь и пенясь... Смех, говор, грохот воды. Хочу как следует разглядеть эту скульптурную группу, этот причудливый фасад старого дворца, протискиваюсь, бормоча международное слово: «пардон!», и вот я около фонтана и вполне могу кинуть туда монету, однако не кидаю, исключительно из духа противоречия,— все кидают, я — нет. А у подножия Нептуна еще изваяния каких-то обитателей морского царства, за туристскими спинами их прежде не было видно, бурлит и пенится вода, ну ладно, монеты монетами, но зачем они, туристы, еще и окурки в фонтан бросают, и пустые пачки, и даже железные банки из-под пива? Будто нарочно. Будто, вынув последнюю сигарету и швыряя пустую пачку, швыряющий этим объявляет: плевал я на ваш прославленный Треви! Странное отношение к наследию прошлого! Вот у нас бы...

Не надо, не надо, не надо ругать иностранцев. Занятие, быть может, приятное, но вряд ли достойное...

...Все эти картины Рима проплывают перед моими глазами, пока я покачиваюсь на брезентовом диванчике, наслаждаясь тишиной и безлюдьем террасы. Спускаются сумерки, скоро я не различу купола собора святого Петра — он сольется с темным небом. Вот-вот здесь появится мой друг — и мы пойдем ужинать на шумную площадь Навона, где толпы заслонят от меня все фонтаны и церковь Сант-Аньезе, и конец моему уединению, а своего отношения к Риму я так и не выяснила. Ясно одно: ни восторга Гоголя, ни благоговения Погодина, который «вздрогнул, встал и поклонился», я не испытываю. И это грустно! Пытаюсь утешиться тем, что в минувшем веке и даже в начале нынешнего было легче ощутить очарование Рима: ни автомобилей в таком количестве, ни мотоциклов, ни этих безумных туристских толп. И еще вспоминаю для утешения слова Герцена: «Чем дольше живешь в Риме, тем больше исчезает его мелкая сторона, и тем больше внимания сосредотачивается на предметах бесконечного изящества...»

Не было у меня времени полюбить Рим, я не виновата!

И все же мне грустно, и не покидает смутное чувство вины. Перед кем? Не перед теми ли, кто стремился в Рим, но так и умер, не попав, и теми, кто стремится в Рим, но никогда не попадет, а я была в Риме, выпала на мою долю такая удача, но по-настоящему оценить ее не сумела.

4

> *Я был в Берлине, в Дрездене, в Висбадене, в Баден-Бадене, в Кельне, в Париже, в Лондоне, в Люцерне, в Женеве, в Генуе, во Флоренции, в Милане, в Венеции, в Вене... И все это, все это я объехал ровно в два с половиной месяца! Да разве можно хоть что-нибудь порядочно разглядеть, проехав столько дорог в два с половиною месяца?*

На следующее утро мы покидали Вечный город.

Уже были спущены в холл чемоданы, уже пригнали из отельного гаража автомобиль и поставили наготове у подъезда, уже мой друг, застенчиво улыбаясь, раздавал чаевые и тому, кто пригнал машину, и тому, кто снес чемоданы, и еще кому-то (слышались голоса: «грация, синьор, грация!»), а администратор с чувством жал мне руку, желая счастливого пути, как вдруг картина изменилась. Улыбки исчезли. Вопросительные взоры приковались к лицу моего друга — он обшаривал, он выворачивал свои карманы. Что случилось? Исчез ключ от саквояжа, в дороге необходимого. Вернулись в номер и вместе с горничной, собиравшейся начать уборку, обыскали шкафы и тумбочки, осмотрели ванную комнату, лазали под кровать. Возникло страшное подозрение: ключ по ошибке увезла в Париж жена! Что ж: ломать замок? До этого не дошло, ключ был обнаружен в лифте, валялся там в уголке, его нашла горничная с другого этажа, сдала администратору, а тот прислал его к нам в пустой номер.

Можно ехать? Нет. Опять задержка. Мой друг порывается разыскать горничную, чтобы ее вознаградить, за ней куда-то бегают... Наконец мы вышли наружу, уселись на раскаленные сиденья стоявшей на солнце машины и под дружные крики «грация!» отъехали от обвитой плющом стены отеля.

Отъехать-то отъехали, но расстаться с улочкой, где стоял отель, долго не удавалось: поток встречных машин. Выехали наконец на широкую современную магистраль, но все равно едва ползем, в жизни своей не видела такого потока автомобилей. Что это? Час пик или же у них всегда так? Ну — встали! Огромный контейнеровоз, собиравшийся повернуть налево, но не успевший, перегородил всем дорогу. Гудки. Крики. Запах бензина. Жара. Мне бы

напоследок любоваться улицами Рима, но справа машины, они же слева, спереди красный бок контейнера, и вообще не до любования. Тронулись наконец. Снова застряли.

Больше двух часов мы затратили на то, чтобы выехать в окрестности Рима. Дважды теряли дорогу в самом городе, и приходилось останавливать машину, чтобы погрузиться в изучение плана. А так как все места у всех тротуаров были заняты, мы становились вдоль линии автомобилей, кому-то мешали, пока мой друг, сменив очки (дальние на ближние), изучал страницы знаменитого «Гида Мишлен», в спину нам ожесточенно гудели, что, естественно, создавало нервную обстановку. Мне казалось: куда бы проще выйти и расспросить о дороге когонибудь из шоферов, но мой друг упрямо отказывался. Мужчины, я заметила, терпеть не могут спрашивать дорогу. Лучше они будут плутать, не туда сворачивать, ехать в обратном направлении, только бы не спрашивать. Им, видимо, кажется, что расспросы роняют их достоинство. Итак, сохраняя достоинство, мы дважды заезжали не туда в самом городе, а когда наконец удалось вырваться за его пределы, то еще раз заехали совсем не туда, попав вместо автострады, куда стремились, в маленький, из одной улицы состоявший городок. Тут уж пришлось, не посчитавшись с достоинством, из машины выйти и прибегнуть к помощи местного населения. Оно охотно помогло. Слышались крики: «Дестра! Синистра! А диритто!»

Поехали обратно, сделав лишних шестьдесят километров — тридцать туда и тридцать сюда,— и увидели наконец стрелку-указатель с благословенной надписью: «АВТОСТРАДА». Вскоре оказалось, что путь наш перегорожен высокими будками, их четыре (или пять?), между ними может пройти один автомобиль, но проезд закрыт шлагбаумом. Из окошка будки (окошко сбоку) тянется вниз рука с талоном, шофер тянет руку вверх, выхватывает талон (шлагбаум тут же поднимается), а затем, покидая автостраду, надо тем же манером протянуть талон наверх, и из окошка сообщат, сколько следует путешественнику заплатить за им проделанный по автостраде километраж. Так как мой друг при въезде сунул талон мимо нагрудного кармана рубашки, и талон чуть было не унес ветер, но я успела подхватить, а при выезде, уплатив за проезд, уронил сдачу на пол автомобиля (мы подбирали монеты под гудки машин, ожидающих своей

очереди, и тронулись, не подобрав), то я взяла на себя сохранность талона, а полученную сдачу сразу же извлекала из руки моего спутника.

Мне ли, мне ли говорить об Италии, воспетой великими писателями, художниками, поэтами и тонкими знатоками искусства? А к тому же все вышеперечисленные, прежде чем браться писать о стране Данте и Леонардо, не две недели там проводили, а месяцы и даже — годы. Но вот рассказать об автострадах я, думается, имею право.

По итальянским автострадам мы ехали от Рима до французского пограничного пункта (он находится неподалеку от туннеля под Монбланом), заезжая по пути в Сиену, Сан-Джиминьяно, Флоренцию, Пистойю, Болонью, Падую, Венецию, Верону, Бергамо. На все ушло две недели. По российским масштабам километраж, нами проделанный, невелик, а значит, на автострадах было прожито сравнительно мало, но — много пережито.

Какой русский не любит быстрой езды? Я русская, но — не люблю! И еще неизвестно, полюбил бы эту езду Гоголь, очутись он в наших условиях. Вспомним, что успевал рассмотреть Чичиков из своей мчащейся коляски: «...колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, бегущим из постоялого двора с овсом в руке, пешеход в протертых лаптях...» Ну, скажите: при какой такой скорости можно разглядеть самовар, овес и даже протертость лаптей? Километров двадцать в час, а то и меньше, но это-то и казалось нашим предкам быстрой ездой. И нам бы казалось: колеса стучат, ветер свистит, коляска дрожит и подскакивает, движение ощущается всем телом, всеми жилками. А в нынешних автомобилях с их амортизаторами и прочими приспособлениями, на нынешних бетонах и асфальтах ничего не стучит, ничто не дрожит, мягкий резиновый, почти бесшумный бег, тут и сто километров в час не кажутся слишком быстрыми. Если не смотреть по сторонам.

За гребнем автострады мчатся холмы, а бывает, ничего не мчится, только небо и справа и слева, затем вдруг промелькивает нечто, вросшее в утес (то ли церковь, то ли крепость), на секунду открывается вид на какую-то волшебную южную рощу, и мимо, мимо, бывали случаи, когда удавалось кинуть взгляд на очертания дальних городов, которые «из глаз моих могли бы вызвать слезы»,

но которых я не увижу никогда, все летит мимо с бешеной скоростью, а ведь это Италия летит мимо меня с бешеной скоростью...

Стрелка спидометра приблизилась к ста пятидесяти, господи боже! Отрывистая команда слева: «Очки с темными дужками!» Даю. Все его очки держу при себе, научилась их различать, подаю по мере надобности, а он меняет их на ходу, господи боже!

Интересно. Я с моим нормальным зрением и слухом, с двадцатилетним шоферским опытом, никогда не позволяла себе такой скорости, а этот — позволяет! Но ведь у нас нет таких автострад, тут все мчатся как безумные, сама дорога этого требует, к этому призывает. Но я трушу. Однажды, стараясь, чтобы голос мой звучал не столько нервно, сколько шутливо, кричу соседу в ухо:

— Вы не находите, что сто пятьдесят — это слишком?

В ответ прокричали:

— Лучшая скорость! Никакой инвалидности! Конец сразу! — После паузы:— И безболезненный!

Но невысказанной мольбе моей все-таки внял, скорость снизил, а затем, когда мы благополучно достигли (что мне всегда казалось чудом!) придорожного кафе и ели там, сказал:

— А вы, я вижу, трусиха!

С улыбкой сказал, с ласково-снисходительной улыбкой старшего младшему, сильного слабому. Я возражать не стала. И потому, что на самом деле трусила, и потому, что видела: эта женская пугливость нравится моему спутнику, поддерживает его веру в себя, подбадривает, окрыляет. Он опора, он покровитель, он бесстрашен, а значит, не так уж стар, не так уж хвор.

От ста пятидесяти в час, обещавших нам быстрый и безболезненный конец, мой друг с того момента все же отказался, но и сто двадцать, особенно в ненастную погоду, тоже давались мне нелегко.

Из Пистойи в Болонью мы ехали в ливень. Сначала был просто дождь, отельный слуга (в одной руке зонт, в другой чемодан) погрузил наши вещи, мы тронулись, дождь припустил (были надеты подходящие к случаю очки), дождь перешел в ливень, мы же прибавили скорость (автострада требует!), мы мчимся, девяносто, сто, сто двадцать. Щетки делали все, что в их силах, работали, задыхаясь, и все равно прочищать стекло не успевали, то впереди что-то смутно обрисовывалось, то вновь лишь

струящиеся потоки воды. А мы мчимся, куда? Рядом мчались разнообразные виды транспорта и нередко длинные вагоны контейнеровозов. Мой друг, как и все водители легковых машин, считал для себя унизительным быть обгоняемым грузовиками, сам их лихо обгонял, соседство с обгоняемым длилось секунды, но секунды незабываемые. Справа темная, весь мир закрывающая, нескончаемая масса железа, лобовое стекло заливают грязные потоки воды, и тут уж щетки совершенно бессильны, я трусливо зажмуривалась, затем открывала глаза, ну, ничего, обогнали, справа посветлело, впереди что-то стало обрисовываться, щетки свое дело, как могли, сделали, но, боже мой, там, кажется, опять перед нами либо грузовик, либо новый контейнер, идем на обгон, пронеси господи!

Я презирала себя за этот страх, другие же едут — и ничего! Пыталась утешиться фаталистическими рассуждениями — чему быть, того не миновать, суждена гибель на дорогах Италии — погибнем, не суждена — не наша, значит, еще очередь... Это помогало, но не слишком.

Был случай, когда мы попали на автостраду вечером, с ее будками поравнялись в полной тьме. Взяли талончик, помчались. Фонарей нет, слева и справа черно, а дорога перед нами светла — откуда-то сбоку, снизу исходит таинственный свет, да еще цветной, переливчатый. Оказалось: светящиеся краски на краях автострады отражают лучи автомобильных фар, эдакое простенькое обыкновенное чудо, и мне вспомнились наши, тонущие во тьме, подмосковные шоссе, ослепляющие фары встречных... Но тут мое внимание было отвлечено адским холодом — мы, оказывается, мчались с поднятой крышей, ничем не защищенные от ночной сырости, от рожденного движением ветра. Я уже не радовалась остроумному способу светоотражения, мрачные мысли одолели меня. Простудимся, захвораем, либо оба сразу, либо кто-то один, пропадет наше путешествие, а оно едва началось!

— Крышу забыли! — прокричал мой спутник.— Вам очень холодно?

— Ничего! Потерплю!

Голос мой был бодр, утешающ, я знала, что ехать нам не так далеко (километров тридцать), а главное, знала — на этих роскошных автострадах не останавливаются. Сел в машину, поставил ногу на газ и мчишься, мерзнешь — терпи, появилось желание прогуляться в ближайший лесок — терпи, до лесочка, если он где поблизости и есть,—

не дойдешь, дорога с двух сторон замкнута высокими гребнями, обочин нет. Поехал — поезжай без задержек. Одно утешение — терпеть не долго. Все возникшие в пути желания будут скоро удовлетворены: через каждые, не помню сколько именно, километров возникает радующий глаз, веселящий душу плакат: «АРЕА СЕРВИЦИО».

Они прекрасны, эти «ареа»! Тут, конечно, бензозаправочная станция, а рядом, но несколько в стороне, здание из бетона и стекла, где внизу универсальный магазин, а наверху ресторан, кафе, бар. И душевые тут есть, и все прочие удобства.

Передохнув, перекусив, садишься в машину и снова мчишься.

Ну, а если в дороге что-то случилось, тогда как? Тогда на автостраду вызывается техпомощь, и сделать это, видимо, просто: постоянно встречаются на пути автоматы, состоящие из одной лишь телефонной трубки — берешь ее, и сразу же добрый голос спрашивает, куда именно ехать, ты отвечаешь, к тебе приезжают. Так, во всяком случае, я себе это представляла... Куда же деваться автомобилю, с которым что-то случилось? И это предусмотрено: у гребней автострады узкие полосы — прибежище для тех, с которыми что-то случилось. А если поломка внезапна? Скажем, отлетело колесо, а сзади тем временем мчатся? Такого видеть мне, к счастью, не пришлось, а вообразить, как они там выходят из положения, не умею.

Машины мчатся, обгоняя друг друга, сколько их, куда их гонят, домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают? Шоферы сидят, вцепившись в руль, и мчатся, и мчатся, но спрашивается: зачем? Ведь стоит въехать в город...

Стоит этому безумному автомобилю ворваться на улицу итальянского города, сохранившего волшебный облик, созданный строителями треченто и кватроченто, как все кончено. Автомобиль, властелин автострады, окруженный там заботой и вниманием — все для него, все ради него,— среди древних стен, соборов и крепостей превращается в нежеланного гостя, чуть ли не в раба. Тут ему ничего не дозволено. Эта улица вообще для него закрыта, на другой — движение одностороннее, надо делать объезд, бешеный бег сменяется черепашьим ходом.

Итак, примчались, сломя голову, рискуя жизнью, проделав шестьдесят километров за полчаса, для того чтобы час ползать по городу, стремясь либо найти место для стоянки, либо попасть в свою гостиницу.

Но где же выход? И старину надо сберечь, и в ногу с веком шагать, вот автострады и соседствуют с кватроченто. Сочетание противоестественное, но, видимо, необходимое.

5

> Кроме того, я считаю себя человеком совестливым, и мне вовсе не хотелось бы лгать, даже и в качестве путешественника. А ведь если я вам начну изображать и описывать хотя бы только одну панораму, то ведь непременно солгу и даже совсем не потому, что я путешественник, а так просто потому, что в моих обстоятельствах невозможно не лгать. Рассудите сами: Берлин, например, произвел на меня самое кислое впечатление, и пробыл я в нем всего одни сутки. И я знаю теперь, что я виноват перед Берлином...

Туристский сезон не кончился. Гостиницы переполнены. Номера следовало заказывать за месяц, а лучше за два: еще живя на острове Корфу, мой друг хотел этим заняться, но не мог, пока ему не была известна точная дата моего приезда. Поначалу везло: телефонным звонком из Корфу удалось задержать номера в римском отеле «Рафаэль», а оттуда звонили в Сиену, где нас также ожидали два номера в отеле «Италия». Дальше нас ничего не ожидало, хотя служащие и римского, и сиенского отелей, щедро вознагражденные моим другом, беспрестанно звонили во Флоренцию и Венецию.

Таким образом, из «города Мадонны» мы ехали в никуда, в том смысле, что впереди не светила возможность сразу вынуть из машины и разложить вещи, привести себя в порядок и весело, налегке приняться за туристские труды. Это беспокоило моего привыкшего к комфорту спутника, он говорил, что в таком положении не бывал давно; въезжать в город, не зная, где приклонить там голову, терпимо в молодые годы, но не на склоне лет.

И хотя мои молодые годы тоже давно миновали, я не беспокоилась ничуть. Утро было ясное, голубое, золотое, мчались мимо холмы, крепости, стрелки-указатели автострады единодушно утверждали, что мы на пути во Флоренцию, Флоренцию, Флоренцию. «Флоренция, ты ирис нежный...» Если б мне пришлось выбрать какой-нибудь из

городов Италии, где я смогу побывать, а других так и не увижу, я выбрала бы Флоренцию. Почему? Из-за матери, там учившейся и какое-то время жившей? Или потому, что, сколько я помню себя, я знала это волшебное слово «Флоренция»? И вот мы туда мчимся и, по-видимому, домчимся, чего еще я могла просить у судьбы? «Ирис дымный, ирис нежный, благовония струя...»

Мы остановились у последней перед въездом в город бензозаправочной станции. На ее территории помещался деревянный транспортабельный домик с вывеской: «Бюро туризма». Ежеутренне служащий бюро получает сведения из флорентийских гостиниц об освобождающихся там номерах. И быть может, быть может...

Ничего не вышло. Туристы прочно оккупировали отели Флоренции и ее пригорода Прадо. Служащий бюро посоветовал нам искать счастья в Пистойе, и, развернувшись, не доехав до Флоренции, мы отправились в Пистойю.

Пистойя. Маленький тосканский городок, находящийся у входа в ущелья Апеннин, ведущих к Парме и Болонье. Это я узнала позже, а в то утро понятия не имела о том, что представляет собой город, где мы будем искать пристанище.

Встали мы рано, затем была суматоха отъезда из Сиены, затем автострада и мечты о Флоренции, затем Бюро туризма и опять автострада — ну, короче говоря, я не обратила внимания на то, во что одет, как выглядит мой спутник. А тут, в Пистойе, когда мы вошли в первую же, указанную встречными, гостиницу и ждали, когда вернется куда-то исчезнувший администратор, я посмотрела на своего друга и ужаснулась. Рубашка грязная. Седые волосы стоят дыбом. В таком виде не ходят по гостиницам. И с таким лицом — испуганно-просящим, заранее ждущим отказа — тоже не ходят. Привык обеспечивать себе номера заранее, телеграфируя в нужные пункты из разных концов света, приезжал уверенный, что его тут ждут и очень рады. Забыл, как это бывает, когда не ждут.

— Ведь я вас просила надеть чистую рубашку!

— Жена укладывала, я не помню, где они.

— Причешитесь хотя бы!

— Потерял гребéнь! (Ударение на последнем слоге.)

Причесываться, впрочем, было уже поздно. Появился администратор и сообщил, что номеров нет.

Когда мы шли в четвертую гостиницу (в трех было отказано), меня посетило одно воспоминание, «чем-то дав-

ним и горестным тронув», как сказал поэт. Я посоветовала моему другу протянуть паспорт с вложенными в него купюрами в столько-то тысяч лир. Пусть банкноты слегка и ненавязчиво виднеются — это чтобы администратор паспортом заинтересовался, взял бы его в руки.

Взял. Увидел. Просветлел лицом. Окинул нас уже иным, ласковым взглядом. Сообщил, что один номер есть, а другой можно будет достать в гостинице по соседству. И сразу стал звонить туда.

Устроились. Разложились, умылись, привели себя в относительный порядок. Проголодались. Завтракали на маленькой площади около тамошнего Дуомо, которого не помню.

Полдня и две ночи я провела в Пистойе. У меня был просторный, рассчитанный на двоих номер, балкон выходил на узкую, несредневековую улицу с банальными серыми домами, причем в доме напротив помещалось какое-то учреждение, где с утра зажигались лампы дневного света. Внизу на тротуаре спешило по делам местное население: чиновники, дамы с собачками, дамы с корзинками. Я шла вниз в гостиничное кафе, в коридоре меня приветствовали горничные звонкими и радостными голосами, внизу расплывался в улыбке администратор, а если в этот момент говорил по телефону, то жестами выказывал мне свою любовь и преданность. Улыбался и кланялся швейцар. Появление моего друга, прибегавшего пить кофе сюда из своей гостиницы, тоже вызывало всеобщее удовольствие. Он, между прочим, с момента вселения просил администраторов обеих гостиниц звонить в Падую, постараться обеспечить нам номера там, раз в Венеции мы явно устроиться не сможем. И заранее эту услугу щедро оплатил. Но расположение и симпатия к нам персонала объяснялись не только этой щедростью. Они были вызваны и моим паспортом. Судя по изумлению и радости, с какими его рассматривали, я поняла, что советские туристы вряд ли бывали частыми гостями тосканского города Пистойи.

Гораздо позже, вернувшись в Москву, перебирая свои пестрые впечатления, я вспомнила эту гостиницу, улицу, кафе, площадь перед Дуомо, и захотелось выяснить: а где же все-таки я была?

Открыла Муратова. Узнала, что Пистойя пользовалась дурной славой из-за вечных войн полудиких горных помещиков... «Там вырастали поколения крестьян и горных

пастухов, всегда готовых по звону колокола с приходской колокольни сменить заступ и пастуший посох на аркебуз и страшный топор с двумя лезвиями... В прилегающих к городу предгорьях Апеннин крестьяне и пастухи остались по существу такими же, какими они были во времена Данте. Исчезли только их непреклонные, корыстолюбивые и мстительные «синьоры»...»

А еще Муратов сообщает, что эти «синьоры» оставили по себе любопытную память в палаццо дель Подеста, где под сводами внутреннего двора изображены гербы пятнадцатого и шестнадцатого веков флорентийских наместников, эти гербы — «целый мир головокружительной и свирепой фантазии». Пистойя не очень богата живописью, главные сокровища этого города — памятники пизанской скульптуры четырнадцатого века... «У каждого, кто хоть мельком видел все это, непременно останется глубокое впечатление».

Но я и мельком всего этого не видела. Мы не собирались в Пистойю, в нашем путешествии она сыграла роль лишь случайного ночного пристанища, из двух дней, выделенных на Флоренцию, мы и так уже потеряли целое утро на гостиничные хлопоты, на устройство. Не до Пистойи было. Во Флоренцию следовало мчаться, и мы помчались.

«Флоренция колыбель и саркофаг кватроченто... Чтобы проникнуть в дух кватроченто, достаточно жить во Флоренции, бродить по ее улицам, увенчанным выступающими карнизами, заходить в ее церкви, следить взором за убегающими аркадами ее монастырских дворов» (Муратов).

Я понимала, что в дух кватроченто за полтора дня проникнуть мне не удастся. Но хотя бы, хотя бы успеть повидать то, что следует видеть в этом городе... В картинной галерее Уффици — «Весна» и «Рождение Венеры» Боттичелли. В музее дворца Питти — полотна великих мастеров Высокого Возрождения: Рафаэля, Тициана, Тинторетто. На площади Синьория — палаццо Веккио и копия микеланджеловского Давида. Кажется, на этой площади сожгли Савонаролу... Затем палаццо Медичи. Надо туда заходить или нет — не помню, а вот в церковь Сан-Лоренцо — обязательно. Там в стенных нишах похоронены члены семьи Медичи, а перед нишами саркофаги со знамени-

тыми фигурами Микеланджело: «Ночь», «Утро», «День», «Вечер». По словам Муратова, перед этими гробницами испытываешь «чистое и огненное прикосновение к искусству». Где-то там поблизости великолепный собор Санта Мария дель Фьоре: глядеть надо на фасад, на колокольню, а главное — на купол работы Брунеллески, о котором Микеланджело сказал: «Трудно сделать так же хорошо. Нельзя сделать лучше». И еще надо видеть Понте Веккио, построенный римлянами, воспетый Данте... Хорошо бы попасть во Фьезоле, городок на холмах, там вилла Медичи, оттуда можно сверху взглянуть на Флоренцию, но это вряд ли успеем.

Однако мы все успели, везде побывали, включая сюда и Фьезоле. Поднимались мы туда на автомобиле, по бегущему вверх белому шоссе, мимо запертых ворот вилл богачей (какие сады угадывались за оградами, какие виднелись величественные кипарисы и пинии, какие серебряные оливы!), а потом сидели на скамье спиной к белому зданию монастыря и глядели вниз на купола и башни Флоренции в дымке угасающего жаркого дня, и на душе было покойно, и тихо кругом (очень мало туристов), и, вероятно, то была единственная минута за безумные два дня, когда я испытала чувство, которое, быть может, и зовется «прикосновение к искусству». Позже, спустившись в город, оставив машину на набережной, простились с Флоренцией, постояв на одном из семи ее мостов. Не знаю, на каком именно, но там было сравнительно пусто, сравнительно тихо, и река спокойна: темнело, но на фоне неба еще хорошо рисовались полукружия арок следующего моста, и в такие минуты надо бы думать о возвышенном, но во мне внезапно шевельнулся турист — беспокойное, жадное существо, озабоченное тем, чтобы ничего не пропустить из того, что смотреть положено, и я сказала:

— А Понте Веккио? Мы там не были!

— Как же не были? Мы утром шли по нему из дворца Питти!

Так, значит, эта улица, с двух сторон замкнутая ювелирными лавками, по которой мы двигались утром, утесняемые туристами, туристами, туристами, это, значит, не улица была, а мост, тот самый, воспетый Данте!

— Почему вы мне не сказали?

Мой спутник клялся, что — сказал. Так, конечно, и было. Он сказал, но до меня не дошло. Ну а все же, когда я вернусь и кто-нибудь из друзей меня спросит насчет Пон-

те Веккио, я отвечу: «Разумеется, видела!» Неужели же ради этого стремишься видеть все? Как это, господи, несерьезно! Нет, хуже. Недостойно!

...К Флоренции мы подлетели в середине жаркого дня, замедлили ход и поползли по ее улицам — автомобилей не меньше, чем в Риме. Мучительно долго искали место, где оставить машину, нашли наконец, вышли на площадь, оцепленную уличными кафе, рухнули на свободные стулья и пили что-то ледяное и безалкогольное. Это происходило, как я затем поняла, на площади Синьория, ибо там перед входом во дворец возвышалась огромная статуя Давида, а дворец, следовательно, был дворцом Веккио. Затем мой спутник сказал: «О травай! За работу!» Мы мужественно встали и пошли.

Мы шли, толкаемые другими идущими, иногда, забывшись, переходили на мостовую, и тут же раздавался гудок в спину, мы шарахались, мимо проползала машина, иногда — мотоциклист, было очень жарко, надо «бродить по ее улицам, увенчанным выступающими карнизами», вот я как раз и брожу по ее улицам, ирис дымный, ирис нежный, благовония струя, не забыть, посмотреть на карнизы, для этого ступить на мостовую, поднять голову, но в спину опять гудок, «хрипят твои автомобили, уродливы твои дома, всеевропейской желтой пыли ты предала себя сама!..». Боже, а это откуда? А ведь тоже Блок. И тоже о Флоренции. «Звенят в пыли велосипеды...» Это когда же он писал? Итальянские стихи. Год тысяча девятьсот девятый. Ровно семьдесят лет тому назад! Все это, значит, уже тогда начиналось! «...ты топчешь лилии свои, но воскресить себя не сможешь в пыли торговой толчеи».

— Вот Санта Мария дель Фьоре! — сказал мой спутник.

Я собиралась посмотреть на купол Брунеллески, но не собралась, уставившись на ступени храма. Впрочем, ступеней видно не было: на них лежали, полулежали, сидели и стояли — это отдыхали молодые туристы в своих живописных лохмотьях. Одни дремали, положив головы на колени соседей, другие закусывали, третьи загорали, почти совсем раздевшись... «Там, где святой монах сожжен, где Леонардо сумрак ведал, Беато снился синий сон!..»

Мой друг был возмущен безмерно. Утверждал, что в его прежние посещения Флоренции подобного видеть не приходилось, молодежь распоясалась окончательно, до че-

го ж это дойдет? И мы, забыв о куполе, предались бесплодному и, среди пожилых людей всех времен и народов, весьма распространенному занятию: дружно поносили молодежь, для которой нет ничего святого.

Нет, я не испытала чистого и огненного прикосновения к искусству перед гробницами Микеланджело, перед его скорбными фигурами в церкви Сан Лоренцо. Тут, по словам Муратова, предписаны серьезность и тишина. «Есть что-то в этих гробницах, что твердо повелевает быть безмолвным». Кому повелевает, а кому — нет. Вокруг толкались и говорили на многих языках. «Печаль разлита тут во всем,— вдохновляла я себя словами Муратова,— печаль Микеланджело это печаль пробуждения». Мне хочется в это вникнуть, это почувствовать, но от скорбных фигур Микеланджело внимание мое отвлекается иными, живыми фигурами туристов. Одни входят, скользнут взглядом по гробницам, и выходят, другие, более добросовестные, у гробниц задерживаются, глядя то на них, то в раскрытые книжки путеводителей,— видимо, проверяют, нет ли обмана, то ли тут показывают, что нужно. Ах, дали бы мне тихие минуты чистого созерцания, я бы что-то поняла, чем-то прониклась... Но, быть может, я просто себя утешаю. Кто знает, может, и тогда не прониклась бы...

Еще хуже вышло с «Рождением Венеры». Следующим утром мы примчались из Пистойи, вползли в город, долго ездили туда и сюда, гудками раздвигая толпы пешеходов, наконец безумно повезло, освободилось местечко на платной стоянке у самого дворца Питти, поставили машину, отправились во дворец. Малиновый штоф стен, лепная позолота, в музей ювелирных изделий заходить не будем, успеть бы взглянуть на полотна великих мастеров Высокого Возрождения, идем сразу в картинную галерею. Тициан, Тинторетто, Рафаэль, Микеланджело, Бронзино, Андреа дель Сарто. «Мадонна Дони». «Мадонна со щегленком». «Мадонна с гарпиями»... Калейдоскоп красок, глаза мадонн, спины туристов... И почему-то от всего виденного в памяти остались и до сих пор перед глазами две работы Рафаэля, портреты двух кардиналов — один с бельмом на глазу, другой похож на лису. Все остальное размылось, пропало, исчезло.

В картинной галерее Уффици я сразу пробилась к «Венере», гляжу, и тут — голос моего спутника:

— У вас сзади платье порвалось!

Трудно отдаваться наслаждению искусством, если знаешь, что на одежде твоей дыра, да еще сзади. Боже, где именно? На лестнице кто-то зацепил меня за юбку своим не то портфелем, не то чемоданчиком и дернул, вот, видимо, тогда... Что ж теперь делать? Ехать в Пистойю переодеваться?

— Другое купим! — сказал мой спутник.

Мы вышли и купили новое платье. Оказалось очень просто: платьев много, народу — никого. Народ ходил по музеям, площадям и храмам, сидел в кафе и лежал на ступеньках. Истосковавшиеся продавщицы встретили нас, как родных. Этот радушный прием, эта непривычная забота (мною занялись сразу три продавщицы) подействовали на меня угнетающе. Я стояла в боксе примерочной, туда мне подавали платья, я их примеряла, одно оказалось коротко, другое слишком пестро, третье... Было неловко огорчать продавщиц, а когда приоткрывалась занавеска примерочной, я видела моего спутника: он сидел ко мне в профиль, положив ногу на ногу, и нервно ногой покачивал. Терзается, что мы теряем дорогое время,— еще столько надо успеть сегодня увидеть. В четвертом платье тоже было что-то не то, но я решила в нем остаться и вышла из примерочной, доставив этим большое удовольствие присутствующим. Облегчение на лицах продавщиц (очень боялись, что мы уйдем, ничего не купив!), радость в глазах моего друга, дружный хор пропел на двух языках, что платье мне очень идет (я-то знала, что нет!), и вот мы снова в толпе на жаркой улице, и я снова могла повесить сумку на плечо, и тут стало ясно, что новое платье мало, жмет под мышками, я себя в нем чувствовала, как, вероятно, Пугачев в заячьем тулупчике, но надо было терпеть.

Боже мой, господи, и это все, что я могу поведать о Флоренции? Ведь я даже не помню, куда мы пошли из магазина! Теперь, полистав путеводители, знаю, что мы были, например, в Баптистерии, здание восьмиугольной формы против собора, ибо там находится деревянная скульптура Донателло, изображающая Марию Магдалину. И до сих пор перед глазами страшная, изможденная, беззубая старуха — такой Донателло изобразил Марию Магдалину, а я всегда воображала ее молодой и красивой, и старуха поразила меня, потому и запомнилась.

От пыли веков, от музеев и храмов, от автомобилей и туристских толп мы отдохнули под вечер во Фьезоле... «Не

так же ли стучал топор в нагорном Фьезоле когда-то, когда впервые взор Беато Флоренцию приметил с гор?»

В этот последний вечер я вспомнила, что хотела посмотреть на дом, где жили два поэта, Роберт Броунинг и жена его, Элизабет Баррет, и еще тихую церковь, описанную Муратовым и находящуюся где-то на окраине города, но вот я даже название ее забыла, и куда уж тут искать дом Броунингов, и какие могут быть окраины... Ведь и того, что я уже видела, я не переварила. Так что надо сидеть тихо, глядя вниз на купола и башни Флоренции.

И теперь, вспоминая этот промелькнувший город, я именно это, именно дали, открывшиеся с холмов Фьезоле, буду видеть и еще полукружия арок моста, прочерченные на темнеющем небе, над спокойной рекой.

И это — все.

Сидя под вечер в одном из многочисленных кафе под аркадами Прокураций, мы внезапно заспорили о том, кто унаследовал престол тишайшего царя Алексея Михайловича. Было бы куда более естественным затронуть эту тему, скажем, в Коломенском, около церкви Вознесения, а не на площади святого Марка с собором романо-византийско-готического стиля, с голубями и туристскими толпами, но ведь мой спутник, о чем бы ни начинал разговор, непременно сворачивал на Россию: то о литературе ее шла речь, то о быте, то об истории. Дочь Петра Первого мой друг именовал «Элизабетой», «Византию» — «Бизантией», а вместо «свергнуть» употреблял глагол «свернуть». Поправлять его не имело смысла, и я терпела.

Мы сидели в центре Венеции, города с весьма интересной и, я бы сказала, красочной историей, предлагавшей сколько угодно тем для интеллектуальной беседы. Можно было бы поговорить о восемнадцатом веке, веке масок, Гоцци, Гольдони, Казановы... Или припомнить роскошь и жестокость шестнадцатого века — ведь мы только что, уже из последних сил, сделали я не знаю сколько километров по галереям и залам Дворца дожей (плафоны, панно, потемневшие картины), долго искали Зал большого совета (в нем — «Рай» Тинторетто, самая по размерам крупная картина на земле!), дважды заблудились, попав туда, где были уже, я ног под собой не чуяла, я вполне готова была обойтись и без «Рая», и без зала, но молчала, не решаясь огорчить моего спутника.

И вот мы ходили и ходили, и наконец попали в это неслыханное по размерам помещение (чуть не полторы тысячи квадратных метров!) и поглядели на «Рай», что мне ровно ничего не дало: огромное, сильно потемневшее от времени полотно, с массой фигур, к тому же усталость, к тому же спешка — зал вот-вот должны были закрыть. А потом выяснилось, что залы, через которые мы шли, уже закрыты, и обратно пришлось идти через мрачные переходы, соединявшие Палаццо дожей с тюрьмой, и близко видели Мост вздохов: там у преступника, ведомого в тюрьму, была последняя возможность взглянуть на небо... Уже позже я вспомнила, что в этой тюрьме инквизиторы, среди прочих, терзали и Джордано Бруно, этого упрямца, сожженного затем в Риме на площади, носящей светлое, оптимистическое название «Площадь цветов», но, повторяю, это я позже вспомнила, а пока шли, думала лишь о том, где бы поскорее сесть...

И вот мы наконец вышли на воздух, вышли наружу и, пробившись через толпы туристов, торговцев сувенирами, слайдами и бумажными мешочками с птичьим кормом, попали в многоязычный гул голосов, в цоканье шагов по мраморным плитам, в музыку из кафе, во всплески крыльев взмывавших из-под ног голубей, короче говоря, попали на площадь святого Марка. Нашли два свободных стула в кафе, уселись и поначалу молчали, обессиленные. Вокруг нас сидели и ходили туристы, туристы, туристы. Вечный нескончаемый праздник на площади святого Марка, многажды описанный. «Пир чужих людей на покинутом хозяевами месте» (Муратов). Группами, парами и в одиночку прохаживались богатые американские старухи — уже не первую сотню лет гуляют они по этой площади, держа в руках путеводители... Маленькая девочка лет пяти, в длинном, до пят, платье (такова нынче детская мода), попросила подарить ей валяющиеся на нашем столике пробки от вскрытых бутылок кока-колы, нежным голоском произнесла «грация» и сделала низкий реверанс. Приятно видеть хорошо воспитанных детей, но интересно, где ее родители, в этой толпе ничего не стоит потеряться и навсегда лишиться близких. Тем временем юная коллекционерша пробок приседала у другого столика, а может, это не туристское дитя, а местное, знающее тут все ходы и выходы?

Синее вечереющее небо, красная кирпичная колокольня на фоне серых стен Новых прокураций, а мы сидим спи-

ной к Старым, неподалеку часовая башня с бронзовыми фигурами мавров, они иногда двигаются и отбивают время, и вся площадь, задрав головы, на них смотрит, это одна из местных достопримечательностей, пропустить нельзя. В глазах рябит от разнообразия лиц, фигур, одежд; мелькают дамы в шароварах, а вот идет полная женщина средних лет в ярко-зеленом, атласно-блескучем брючном костюме, хорошо обрисовывающем ее округлости, поразительно смелая женщина... Со всех концов земли стеклись эти люди сюда, на эту площадь, зачем? «Кто не любит искусства, тому нечего делать в Италии» (Муратов). Все они, значит, любят искусство и явились к нему на свидание? Не верю. Но каждый, спроси его, непременно скажет, что любит. Музыку, живопись, природу, скульптуру — полагается любить всем. Ну, есть, конечно, в этой пестрой толпе какой-то тонкий слой, истинно искусство любящий и в нем разбирающийся, есть серьезная молодежь, приехавшая сюда чему-то научиться, а большинство находится здесь из соображений престижных. Вы были в Италии? А как же! Разумеется! Ах, Микеланджело, ах, Тинторетто, ах, фрески Джотто, ах, Рафаэль! Я вообразила себе дам, щебечущих об Италии за чайным столом в своем дамском клубе, причем одна, наиболее бойкая и памятливая, начитавшись путеводителей, всех заткнула за пояс, рассуждая об оттенках розового цвета у Тициана и голубого у Тинторетто, нахально выдавая эти сведения за собственные наблюдения...

Такие недобрые мысли бродили в моей усталой голове, пока мы сидели в кафе под звуки скрипок и гул толпы. Разгладилось чело моего спутника. Он утолил жажду, он отдохнул, а главное, был доволен тем, что план первого дня пребывания в Венеции выполнен, все, что было намечено мне показать, показано: Гран Канале, гондолы, мраморные ветхие дворцы с плещущейся у ступеней водой и темными столбами-причалами, мост Риальто, мозаики и колонны собора Святого Марка, напоследок Дворец дожей, все выполнено, никаких иных трудов сегодня не предстоит, лишь поездка на пароходике прямо с этой площади на площадь Рима, а оттуда удобный автобус отвезет нас в Падую, где мы стоим в отеле.

Еще поразительно, как мы все успели, утро началось для нас очень неудачно, долго искали потерянные моим другом триста швейцарских франков, сумма немалая. Эти франки лежали как-то отдельно от других денег, либо в

конверте, либо просто перевязанной пачкой, мой друг мучительно вспоминал, куда он мог этот пакетик засунуть, обшаривал свой номер, я же подозревала, что он деньги выронил, то ли сунул мимо кармана, то ли, что-то из кармана вытаскивая (очки, например), не заметив, вытащил и деньги и — уронил. (Позже выяснилось, что так оно и было, франки нашел на полу в холле служащий отеля и сдал администратору — есть еще на свете честные люди!) Я, во время этих поисков, винила себя: недоглядела, не уследила. Ведь я давно поняла, к каким последствиям привел отъезд жены: в минувшем году, когда мы втроем ездили по Нормандии и Бретани, мой друг не терял ни денег, ни ключей, ни рубашек, ни «гребня». Деньги были счастливо найдены, но подстерегала другая неприятность: автобус, везший нас в Венецию, застрял перед самым городом, на длинном мосту. Застрял весь транспорт, все встало, неизвестно почему, неизвестно насколько, текли драгоценные минуты, уходило время, гибло утро, надо за сегодня столько успеть, а мы сидим в этом проклятом душном автобусе, и смотреть не на что, кроме как на залив, слева и справа! Во всем виновато общество потребления с уродливо разросшейся цивилизацией, с миллионами автомобилей, этим бичом современности,— как он сердился, как он ворчал, мой бедный друг! Наконец вскочил: идем пешком! От встречных пешеходов я узнала, что транспортная пробка вызвана демонстрацией коммунистов, догнала моего друга, унесенного вперед волной раздражения, и добрым голосом поделилась с ним полученными сведениями: дескать, не нам с ним на это роптать! Ответа не получила, лишь головой мотнули и дальше зашагали, а тут внезапно все зашевелилось, задвигалось, и нами покинутый автобус обогнал нас, вот они, плоды нетерпения, могли бы сейчас спокойно ехать, а не тащиться по жаре, так я думала, но молчала, не желая растравлять ран моего спутника, думавшего, конечно, о том же, и вдруг он остановился, обернулся, попросил свое сердечное лекарство, и я — испугалась.

Вот какое было у нас утро!

Но затем все шло как по маслу: мы пришли в себя и отдохнули на пароходике, шедшем по Гран Канале, и затем мой друг показал мне все то, что показать собирался. Правда, осмотр пришлось провести несколько быстрее, чем было задумано, однако все, что положено, я посмотрела, ну, в спешке, ну, в торопливости, но — посмотрела.

И сейчас, под вечер, на площади святого Марка, мой друг наслаждался сознанием исполненного долга и тем, что никаких трудов сегодня больше не предстоит, печать озабоченности исчезла с его лица, и на лице этом появилось вдруг знакомое мне выражение добродушного лукавства, глаза хитро прищурились, все ясно, сейчас мне будет задан какой-то каверзный вопрос. Успокоился, отдохнул, расслабился, и теперь ему охота со мной поспорить, попикироваться — это его бодрит и освежает. Так и есть! Подвинул свой стул вплотную к моему и мне в ухо:

— А кто унаследовал престол после Алексея Михайловича?

Поскольку в голове моей прокручивались в эти минуты исключительно венецианские мотивы (восемнадцатый век с его масками и сумасбродством, шестнадцатый с дожами и инквизиторами, а иногда оба эти века заслонялись двадцатым, а именно — пестрой толпой, шумевшей на мраморных плитах площади), то я, естественно, растерялась. Какой еще Алексей Михайлович? О ком речь?

— Второй Романов. Царь по прозвищу «Тишайший»! — кричали мне в ухо. И торжествующе: — Забыли?

Как же ему неймется постоянно доказывать мне, а главное — себе, что он, хоть всю жизнь и живет в Париже, остался русским, знает историю своей страны, ее литературу, а также в курсе всего, что в этой стране делается сейчас! И еще ему хочется взять реванш, ибо сегодня мы уже спорили, и победителем из этого спора мой друг не вышел...

Спорили мы днем во время обеда, или, по-здешнему, второго завтрака. Все кафе, все рестораны переполнены, но тот, куда мы вошли, пуст, ни единого человека, кроме официантов, похожих на дипломатов, немолодых, элегантных, с грустно-строгими лицами, однако просветлевшими при нашем появлении. Сели. Раскрыли карты меню, роскошного вида, кажется, в сафьян переплетенные. И тут же двое официантов почтительно около нас застыли, слегка наклонившись. Я — моему спутнику:

— Почему тут нет никого?

— А, видите ли, это один из самых дорогих ресторанов Венеции...— Улыбнувшись застенчиво:— Сюда только миллионеры ходят...

— Или — сумасшедшие! — быстро добавила я.— Нет, до чего ж вы любите кидать деньги на ветер!

— Голубчик, а зачем мне они? Жить мне осталось лет пять, ну — шесть. На мой век хватит.

Я выразила желание вымыть руки, и устланную коврами дорогу в полутемную глубь ресторана мне показывали сразу двое ресторанных служащих, семенивших рядом, и почему-то осталось впечатление, что путь мой освещался факелами...

На первое принесли что-то такое изысканное и такое острое, что я не смогла это блюдо доесть, но непременно бы доела, если б могла предвидеть, какой переполох это вызовет. О чем-то шептались, кивая на меня, официанты, делая горестные жесты (кажется, ломали руки), затем промелькнули какие-то новые лица, видимо посланцы из кухни, но их к нам не допустили, а через тех же официантов пытались выяснить, что именно не понравилось синьоре, чем она желает это блюдо заменить. От замены я отказалась, но зато второе блюдо съела все, было оно очень вкусное (жаль, я не записывала, что именно мы ели во время нашего путешествия), а было бы невкусное, все равно бы съела — тягостно быть предметом столь горячих забот! Тем временем подошла и уселась в другом конце помещения пожилая пара, видимо миллионеры, ибо на сумасшедших похожи они не были, и часть персонала переключилась на заботы о них.

Вот в этой обстановке и возник у нас спор...

Мы только что ходили по венецианским улочкам, похожим на коридоры, казалось, разведи руки — и коснешься стен домов слева и справа. Говорили о том, как невесело, как темно и, конечно, сыро в таких домах, особенно в первых этажах, откуда и клочка неба не увидишь, как в подвалах, сказала я, на что друг мой выразил радость по поводу того, что в России не осталось ни единого подвального жителя. Я, разумеется, поинтересовалась, откуда у него эти сведения, но тут мы вошли в ресторан — и подвальная тема была отставлена. Но не забыта. Мой друг вернулся к ней за кофе. Ему, оказывается, кто-то из знакомых сообщил, что в СССР никто уже не живет в подвалах. Я заметила, что этот знакомый явно склонен к преувеличениям: вряд ли уж так-таки и никто! Добавила, что насчет подвалов статистических данных у меня не имеется, но вот коммунальные квартиры у нас, к сожалению, еще существуют. Меня мгновенно перебили:

— Но их уже почти нет!

Снова этот уверенный тон! Нет, откуда этот человек,

изредка к нам наезжающий, постоялец отелей «Берлин» и «Астория», все знает про наши дела?

Убеждаю себя не раздражаться. Говорю спокойно: да, строят у нас много, коммунальных квартир становится все меньше, но утверждать, что их уже и нет почти,— неверно! Меня перебили:

— А вот я слышал, что новые дома у вас иногда сдают незаконченными, и это — хорошо.

Молчу от изумления.

— Да, хорошо, потому что тот, кто въехал, может сам, по своему вкусу, достроить квартиру.

На этот раз мне не удалось сдержать раздражения, раздражаюсь, и из ресторана мы вышли недовольные друг другом.

Снова улочки, затем беготня по Дворцу дожей, площадь, бронзовые мавры, голуби, туристы, я забыла о нашем ресторанном разговоре, но мой друг не забыл, ведь он должен постоянно доказывать, что все знает о России не хуже меня, но уж почему ему взбрел на ум «тишайший» Алексей Михайлович — этого объяснить не берусь.

— Ну, так кто же наследовал престол?

Вникнув наконец в вопрос, отвечаю тоже криком в ухо:

— Иоанн, малолетний Петр, а царевна Софья была при братьях регентшей.

— А вот и нет!

— То есть как нет?

— А вот так! Забыли Федора! — Какое торжество на этом лице, от радости и гордости даже помолодевшем! — Старшего сына. Как не стыдно, свою историю не помните!

Никакого Федора я и в самом деле не помнила, начисто выветрился он из моей головы, жила в уверенности, что — Иоанн, Петр, Софья, а больше и не было никого! А поскольку познания моего друга в отношении России, как прошлой, так и нынешней, всегда вызывали у меня сомнения, я начала глупо спорить, утверждая, что Федора не было...

Синеет над нашими головами небо итальянского вечера, мерцает цветными отблесками величественный собор Святого Марка, играет музыка, шумит разноязыкая толпа, но мы ничего этого уже не видим, уже не слышим, орем свое («Был Федор!», «Не было Федора!»), причем я выкрикиваю сердито, а мой друг уверенно и торжествующе. Но я ощущаю его правоту, сержусь на себя — как мог-

ла я забыть о Федоре, успевшем, оказывается, даже года полтора до этой комбинации — Иоанн, Петр, Софья — поцарствовать!

— Да! — радостно объявляет мой друг.— Не то год сидел на престоле, не то два, я проверю по энциклопедии, когда вернемся в Париж, и вам позвоню! А женат он был на Марте!

Я прокричала в ответ, что никаких «Март» у нас не было, видимо, имеется в виду Марфа? Сама сознавала, что выпад мой мелок и недостоин, но — не удержалась.

А потом мы с помощью пароходика и автобуса вернулись в «хмурый и старинный город Падуя», где жить не собирались, но жили: именно там служащим пистойских гостиниц удалось задержать нам два номера в отеле. «Хмурого и старинного» я, как и Пистойю, не видела, ведь всего два дня на Венецию, туда мы и стремились с утра, и помнятся лишь улицы под низкими аркадами, довольно однообразные, по которым мы ходили от гостиницы до автобусной остановки и обратно. А еще мы посетили мимоходом капеллу Скровеньи, или иначе — «церковь на арене», ибо стоит она на месте арены античного амфитеатра. По словам Муратова, эта церковь дошла до нас в хорошем виде, ибо «ее почти не коснулась опасная заботливость реставраторов».

На зеленой траве сквера небольшое стройное и светлое здание, похожее не на церковь, а на старинный двухэтажный дом хороших пропорций. Он красив издали, приятен вблизи, ну, а внутри — фрески Джотто, их обязан видеть каждый, кто едет в Италию! И вот утром, когда мы шли к автобусу, мой друг заботливо сказал:

— А по дороге зайдем в церковь на арене, вам необходимо взглянуть на фрески Джотто!

И в самом деле: необходимо! Никто не посмеет попрекнуть меня, что я, быв в Италии, да еще в Падуе, не посмотрела Джотто.

На сей раз толпы туристов не мешали соприкосновению с искусством — капелла была пуста. Но мы очень торопились. Всего два дня на Венецию, и в этот, последний, предполагалось еще и посещение фабрики стекла в Мурано, куда мы, впрочем, так и не попали. На Джотто, следовательно, выделялось минут двадцать — мы были связаны расписанием автобуса. Взглянуть я взглянула, попрекнуть меня отсутствием интереса к родоначальнику итальянской живописи никто не сможет, но этим, собст-

венно, и ограничилась вся польза от посещения сокровищницы искусства, прославленной капеллы Скровеньи. Что может дать торопливый, поверхностный осмотр, если голова набита цифрами, никакого отношения к Джотто не имеющими? Автобус в Венецию отправляется тогда-то, ходу до остановки столько-то, значит, сколько у нас еще осталось минут? Ага. Десять.

— Посмотрите на эту фреску, и на эту, и на эту! — хлопотал мой спутник, тоже косясь на часы.

Я смотрела на эту, на эту и на ту, а потом мы вышли и торопливо зашагали к автобусу, и единственное, что в памяти осталось,— фреска «Поцелуй Иуды», быть может, потому, что я была к ней подготовлена: видела репродукции.

Пароходик привез нас на площадь святого Марка, которую мы тут же, продравшись через туристские толпы, покинули и вторично ступили на нее лишь вечером, когда уезжали, а весь этот день провели вдали от Венеции, праздничной и шумной, вдали от этого «пира чужих людей на покинутом хозяевами месте».

Стоило отойти от площади, стоило попасть в лабиринт узких улиц, как стало тихо. Играли и смеялись дети, переговаривались с балкона на балкон женщины, дымили трубками и читали газеты мужчины, сидя в маленьких кафе на маленьких площадях (день был воскресный), и все равно тихо: ни автомобилей, ни туристов, ни мотоциклистов, ни даже, кажется, велосипедов. Лабиринты переулков и каналов, горбатые мостики, почти полное отсутствие зелени, лишь цветнички на балконах и крышах. А кругом — вода, вода, вода, не она ли вбирает в себя звуки, не от нее ли тишина?

В тот день мы решили никуда не торопиться, забыть о музеях, а просто ходить и смотреть, это и делали, останавливаясь около мостиков, глядели на зеленую, спокойную, едва колышущуюся воду. Устав, садились отдохнуть в какое-нибудь кафе на маленькой площади — на каждой либо церковь, либо памятник. Эти спокойные блуждания очень были приятны, и я убедила своего друга не суетиться, не ездить в Мурано. Это бы означало новую спешку, новую зависимость от каких-то расписаний, зачем? К чему?

Второй день отдыхал мой друг от автомобиля, загнанного в подземный гараж отеля, вот пусть и от музеев от-

дохнет, а главное — от спешки и суеты, от беспокойных мыслей, что надо мне показать еще и то, еще и это. Я уверяла его, вполне искренне, что эти неторопливые блуждания, это знакомство с Венецией будничной — мне всего приятнее.

Грустный город. Эта везде присутствующая вода, зеленая гладь каналов, тихо скользящие черные гондолы, все это чудесно, благотворно действует на душу усталого путника, но путник полюбуется и уйдет, а людям тут жить — в окружении этой прекрасной, этой опасной воды. Она лижет ступени мраморных обветшалых дворцов на Большом канале (сохранивших, однако, следы былой красоты, величия и роскоши), она точит сыростью старые дома в узких переулках.

Во время наших блужданий мы говорили, разумеется, о будущем Венеции («вечная российская озабоченность...»), беседа текла мирно, то был самый спокойный, самый тихий и отдохновительный день за наше путешествие — назавтра предстояла безумная автострада, посещение Вероны, ночевка в Бергамо — и каким светлым воспоминанием этот день у меня бы остался, если б не его печальный конец.

В старинный город Падую мы вернулись засветло. Жили мы там в отеле отнюдь не старинном: шестиэтажное, длинное чуть ли не на весь квартал растянутое здание, с изогнутым, повторяющим изгиб улицы фасадом шоколадного цвета, с белыми квадратами бесчисленных окон, эдакая фигуры не имеющая, современная коробка с американским названием: «Отель Плаза». Там не было пистойского уюта, звонких горничных, приветливых швейцаров и улыбок. Непроницаемо-вежливые лица администрации и почти невидимые слуги. Присутствие этих незаметных тружеников можно было обнаружить лишь утром (вносился в номер поднос с кофе), затем они исчезали, а вечером придешь — все убрано, все вымыто, и в ванной чистые полотенца.

Вернувшись, умывшись и переодевшись, решили ужинать не в нашем роскошном, ни лица, ни национальности не имеющем отеле, а в каком-нибудь местном скромном ресторане, куда и отправились пешком. День стоял ясный, солнечный (повезло!), а к вечеру небо насупилось, помрачнело, явно собирался дождь и — едва мы вошли в ресторан — хлынул, будто только того и ждал, чтобы мы

очутились под кровом,— везло, везло! Ресторан оказался премилым, эдакий домашний, еда здесь готовилась на глазах у посетителей, на какой-то жаровне,— в углу что-то шипело, издавая приятные запахи, и языки пламени — блюда разносили бойкие веселые девушки, вокруг одни итальянцы, и говор, и смех, мы заказали спагетти, ну и, конечно, кьянти.

Беседовали мы мирно, как всегда, повысив голоса, все о той же Венеции. На душе было хорошо, я недурно научилась управляться со спагетти, накручивая их на вилку, и вот мы уже кофе попросили, прекрасно начавшийся день мог бы и кончиться прекрасно, но... Господи! Опять, опять мой собеседник завел речь о нашей с ним родной стране, опять хочет мне что-то доказывать... Спокойно! Не обращать внимания, не возражать, не спорить... О чем он, однако? О русском народе. О том, что этому народу, с его мягкостью и добросердечием, нужна именно жесткая власть. Понятно. Сейчас он коснется Ивана Грозного, затем Петра Первого, затем... Так и есть. Коснулся всех трех. Развивает тему. Молчу. На жаровне что-то шипит, издавая чудесные запахи, за окном дождь, веселится за соседним столом молодежь, перед нами дымится в чашечках кофе, а мой собеседник, этот европейский джентльмен, приятно насытившись, решил порассуждать...

Да что он знает о русском народе, где он его видел? Да что он понимает в нашей жизни? А главное — и не хочет понимать! Сколько раз я в этом убеждалась: не хочет, уклоняется. Вцепился в свои иллюзии, ни с единой не желает расстаться, ему так легче, спокойнее, удобнее, приятнее. Прекрасно. Дело его. Но я тут при чем? Я почему должна все это выслушивать, терпеть этот легкий, самоуверенный светский тон? Сидит всю жизнь в своем Париже, мнит себя русским, мнит патриотом, а на самом деле — иностранец. Эдакий зритель, наблюдающий за происходящим на сцене из ложи. А в руке программка, а на бархатном барьере ложи — перламутровый бинокль...

Примерно это я ему и высказала, взорвавшись.

Не помню, какое именно из мною произнесенных слов особенно сильно задело моего друга, в какой именно момент изменилось лицо его, увлажнились под стеклами очков глаза, и он крикнул:

— Перестаньте!

И прерывающимся голосом, почти сквозь слезы, добавил:

— Дура!

Вскочил, швырнул салфетку и выбежал из ресторана.

Стало очень тихо,— видимо, на несколько секунд я просто оглохла. «Дурой» меня не называли (во всяком случае в лицо) много лет сряду, но не обиду я ощущала, а жалость и раскаянье. Не меня обидели. Обидела я. Но чем, чем именно? Кажется, тем, что назвала его «иностранцем», «зрителем», а он, бедный, едва не заплакал! Так обидела, что он, с его добротой, мягкостью, учтивостью, обругал меня и вот сейчас бегает там под дождем.

Выйдя из оцепенения, я убедилась, что никакой тишины не наступило,— говор, смех, звон посуды продолжались. Интересно, между прочим, как отнеслись окружающие к этой сцене? Огляделась. А никак не отнеслись. Никто и не смотрел в мою сторону. Вероятно, происшедшее было воспринято как супружеская ссора, да и как иначе такое воспринять? Супруги поругались, бывает, и никого, кроме них, это не касается. Бегали с подносами официантки, громко хохотала компания за соседним столом, и все равно было слышно, как шумит за окном дождь. Что ж мне теперь? Бежать за ним? Куда? Да и кто меня выпустит, ведь счет не оплачен. Господи, что он там делает, под проливным дождем? А вдруг ушел в гостиницу, бросив меня здесь?

И тут он появился, совершенно мокрый, вытирая лицо и руки платком, и сообщил голосом спокойным и деловитым, что надо попросить официантку вызвать такси, не пешком же идти в отель, на улице ливень... В ожидании такси мы, делая друг перед другом вид, что ровно ничего не произошло, обсуждали программу завтрашнего дня, когда встать, когда выехать, два-три часа на Верону, к вечеру Бергамо... Как я могла, пусть на минуту, усомниться в этом человеке, подумать, что он ушел, бросив меня здесь?

В тот вечер я дала себе слово никогда не вступать с ним в споры. Он хочет считать себя русским. Возвышающий обман ему дороже тьмы низких истин, и пусть. И пусть!

Слово свое я сдержала. Была кротка, как агнец, и те три дня, что нам еще оставалось вместе путешествовать, и во время встреч в Париже.

6

Почему Европа имеет на нас, кто бы мы ни были, такое сильное, волшебное, призывное впечатление?

На другое утро мы мчались по автостраде, поливаемые сверху дождем, а с боков грязной водой из-под колес всевозможных видов транспорта, как обгоняемых, так и обгоняющих, и примерно к часу дня благополучно достигли Вероны. Там мы долго ползали по улицам, отыскивая место, где можно оставить машину, сквозь сетку дождя я разглядывала какие-то удивительные крепостные стены и мосты, что-то много там было мостов, и все мне не верилось, что я в Вероне, что этот город Ромео и Джульетты есть, существует, и я в нем... Наконец нашли стоянку на виа Понте Нуова...

Центр города, куда мы направили стопы, оказался довольно далеко от улицы Нового моста, но дождь смилостивился, перестал, мы шагали через лужи, но хотя бы сверху не поливало, и, слегка поплутав, пройдя через какой-то прекрасный церковный двор, очутились на площади Данте. Была она замкнута со всех сторон старыми домами, а в нижних этажах кафе, рестораны, магазины, на самой же площади расставили свои лотки рыночные торговцы, торговавшие многим — фрукты, овощи, ткани, посуда... Надо всем этим — высоченная мраморная фигура Данте. Резко очерченное тонкогубое лицо, а на голове, вернее, на повязке, голову покрывающей (никогда не приходилось мне видеть портретов простоволосого Данте), сидели два голубя так неподвижно, что я приняла их за часть скульптуры, пока один из них не взмыл в небо. Не тут ли происходила вся эта суматоха с дуэлями, когда сторонники Монтекки обнажили шпаги против друзей и слуг Капулетти, не тут ли был смертельно ранен Меркуццио, из последних сил великолепно танцевавший,— незабываемая прокофьевская музыка, незабываемый танец! Балет Большого театра с Улановой и Коренем давно вытеснил из памяти моей шекспировский текст.

— Прежде всего надо поесть,— говорил мой друг.— И выпить! Вы очень промокли?

Я сказала, что не очень. Я солгала. По дороге на площадь, на что-то заглядевшись, ступила в глубокую лужу и промочила ноги, да так, что туфли мои при каждом шаге издавали чавкающие звуки. Но стоило бы мне в промо-

ченных ногах сознаться, как мой спутник немедленно повлек бы меня в магазин покупать новые туфли. Можно было вернуться к машине, где наш багаж, переобуться, но я знала, что мой друг на это не согласится,— далеко, да и к чему мокрыми ногами отшагивать такое расстояние, не проще ли магазин? Он где-нибудь рядом. И в самом деле проще. И деньги на покупку у меня были, но я знала, что этот человек не позволит мне истратить ни лиры, во Флоренции я мигнуть не успела, как за платье было уплачено, это неловко в конце-то концов, вот я и промолчала.

В уютнейшем ресторане, где из окна второго этажа мы видели мраморные складки одежды на бедрах Данте, я отправилась в дамскую комнату, где, разувшись, вылила накопившуюся в туфлях воду. Вернувшись к нашему столику, застала моего друга чем-то очень довольного, выражение лица радостное и немного хитрое. На столе перед его и моим приборами стояли два небольших сосуда из непрозрачного матового стекла, похожие на аптекарские мензурки, однако с ручками, как у кувшинов. Сосуды были чем-то до краев наполнены.

— Ну-ка, догадайтесь, что это?

— Не знаю.

— Не знаете? — Торжествующе.— Лучшее на свете лекарство от простуды! — И еще более торжественно тоном конферансье, объявляющим имя знаменитости: — РУССКАЯ ВОДКА!

Я выразила восторг, которого от меня ждали, и мы чокнулись мензурками.

Старые кварталы городка Бергамо расположены на высоком холме (какой вид с него открывался!), мы туда въехали, когда солнце склонялось к западу, нас ждали два номера в старинном чудесном отеле «Золотой ягненок» (он и был изображен на потускневшей вывеске, сохранившейся, быть может, с прошлых веков), и можно было сразу принять горячий душ, переодеться, переобуться и побродить по улицам, где не было видно туристов, вокруг звучал итальянский напевный говор, и мы заходили в местный храм любоваться на плафоны, фрески и золотую мозаику, а позже, после ужина в «Ягненке», снова вышли уже в темноту, прохожие были редки, но везде группы молодежи (смех, звуки гитары), и, зайдя в очередной цер-

ковный двор, постояли там, любуясь на величественный черный силуэт колокольни, четко рисовавшийся на темно-лиловом небе.

Внезапно раздались густые и мерные удары колокола. Не знаю, почему он звонил (время было позднее), по ком он звонил, но он — звонил. «Вы помните Сан-Джиминьяно? Как там звонят колокола!» Харбин, детство, молодое лицо матери. Как бы она радовалась, что я побывала в ее любимой Италии! «То, что ты видела,— говорила мать,— это всегда с тобой, этого отнять у тебя никто не сможет». А ведь я много чего повидала за свою пеструю, сложную, трудную, а в общем — хорошую жизнь! Удивительные люди, люди, которым я всем обязана (кем бы я была без них?), встретились на моем пути. «И все они умерли, умерли...»

Ну, а этот вполне живой, рядом со мной сейчас стоящий человек, нелепый и добрый, нередко, прости, господи, меня раздражающий, ему-то разве я малым обязана? Тратит на меня свои деньги, свой досуг, а главное — свои силы, которых у него осталось совсем не так уж много...

Колокол смолк, мы двинулись идти в гостиницу, мне очень хотелось сказать моему другу какие-то ласковые слова, слова не придумывались, да и вряд ли я была способна что-то произнести: растрогалась до слез. И я просто взяла его под руку, а он воспринял это душевное движение как поиски опоры и осведомился — не болит ли у меня нога? Я промычала отрицательно.

Этот внезапный приступ чувствительности объяснялся, думаю, некоторой ослабленностью организма — начинало сказываться длительное пребывание в мокрой обуви. На следующий день я ощутила то, что врачи именуют «дискомфортом», еще хуже было на третий, а приехав в Париж, слегла с температурой.

Утром мы покинули чудесный городок Бергамо, направляясь к Монте Бианко, Белой Горе, или, попросту говоря, к Монблану,— слово, известное всем нам с детства. Город Милан находился от нашего пути несколько в стороне, по словам моего друга, этот город особого туристического интереса собой не представляет: очень современен, забит автомобилями, но — Собор, Собор! Я знала, что нам предстоит проехать двенадцать километров по туннелю через Монблан, знала, что туннели, пусть хорошо освещенные и не столь длинные, нелегко даются моему другу с его слабым зрением. Впереди нас ожидало

трудное испытание, к нему надо прийти с более или менее свежими силами, не стоит растрачивать их на улицы Милана. Вот я и твердила моему другу за утренним кофе в «Золотом ягненке», что прекрасно проживу без Милана и его собора, твердила, вспоминая про себя чеховское: «Жили мы без моста!»

Немного попетляв, мы выехали туда, куда выехать следовало, помчались, и вскоре возникли стрелки-указатели с надписью «Монте Бианко», местность холмистая, слева и справа мелькали виды один прекраснее другого, а затем на безоблачном голубом небе обрисовалась снежная шапка Монблана, казалось — он рядом, впечатление обманчивое, ехали еще долго, но белая шапка не покидала нас, куда бы ни сворачивали, а она тут как тут... Я болтала, восхищаясь красотой пейзажей, громко радовалась тому, что мы миновали полосу дождей («Видите, как нам все-таки везет!»), словом, всячески развлекала и отвлекала моего друга, лицо которого по мере приближения к туннелю становилось все напряженнее.

Болтала, отвлекала, ободряла, а что-то беспокоило, что-то щемило... Страх перед туннелем? И это. Но не только это... Мчимся. Все ближе Монблан, все ближе граница, убегает из-под колес Италия — неотвратимо, невозвратимо. Явилась, как мимолетное виденье, и вот уже становится воспоминанием. Италия. Что же я вспомню о тебе? Так много всего я видела, а что увидела? Пробеги по автострадам, пробежки по музеям и туристы, туристы, туристы — могла ли я толком тебя разглядеть, Италия? Но, быть может, другая на моем месте...

Все исчезло, занавес задернулся, ни солнца, ни неба, черная ночь, мы в туннеле, прости, Италия!

Вот он, этот коридор, прорубленный человеком, не ждущим милостей от природы, сквозь эту гордую земную возвышенность, небось веками мнившую себя недоступной и неприступной,— о человеческий гений, о труд, о цивилизация!

Черная ночь — это лишь в первые секунды, это после яркого солнца, туннель освещен, глаз привыкает, а все же, все же... Ехали молча. Справа от меня бежала стена, на ней время от времени рисовались контуры телефонной трубки (снимешь ее и — добрый голос), не дай и не приведи боже застрять в туннеле, не думать об этом, все обойдется, ведь машина, кажется, в порядке, доедем, доедем, но как он долог, этот путь, как длинна преисподняя,

а мой шофер, мой спутник, мой друг молчит, других очков не требует (держу наготове), внезапно почудилось, что справа нас кто-то обгоняет, чего быть не могло, ехали у самой стены, и все же мне мерещилась рядом мчащаяся машина, а может, то была тень от нашей, а может, это был вообще обман уже утомившегося зрения. Интересно. Если у меня уже утомилось зрение, то как обстоит дело у моего шофера, спутника и друга? Не думать. Перестать глядеть на стену. Глядеть вперед. Еще лучше вообще никуда не глядеть, а закрыть глаза.

До чего же мил божий свет, когда попадаешь в него из туннеля! Как симпатичны показались мне пограничники, которые и осматривать нас не стали, рукой махнули — поезжайте, мол! — и вот мы уже катим по дорогам Франции, и тоже холмистая местность, и тоже прекрасные виды. А совсем рядом, рукой подать,— Швейцария. Стрелки-указатели утверждали: стоит свернуть туда-то и проехать какие-то пустяки — очутишься в Женеве. Это мне почему-то казалось очень смешно, я воображала про себя, как мы заблудились, что с нами нередко случалось, и заехали в Швейцарию. Мала Европа, мила и мала!

К вечеру достигли курортного городка Нантуа на берегу озера, садилось солнце, озеро было розовым, утопали в зелени белые дома, и все кругом было, видимо, очень красиво, но я смутно это воспринимала, мечтала об отеле, о горячей ванне, ах, найдем ли мы тут пристанище?

Нашли, и без труда. Шли самые последние дни сентября, сезон здесь кончился, вода в озере, верно, уж холодная, в первой же гостинице нас ласково встретил сам хозяин («патрон») и сам же выскочил к автомобилю, чтобы внести наши чемоданы и втащить их на второй этаж. Кроме «патрона», молоденькой горничной и двух официанток в ресторане, другого персонала я тут не заметила, не считая, разумеется, невидимых работников кухни. Была тут еще девочка лет десяти (хозяйская дочка), бегавшая с мячом и придававшая еще больше уюта этой небольшой, чистенькой, уютной гостинице. Было очень тихо, безлюдно, казалось, других постояльцев тут нет, в окно моего номера виднелось холодное озеро, что было не так уж приятно: меня бил легкий озноб. Я полежала в горячей ванне, а затем с радостью улеглась бы в постель, но пришлось одеться, пришлось идти вниз, в ресторан гостиницы, где было договорено в восемь часов встретиться с моим другом. Он еще в пути предвкушал, как мы славно

поедим вечерком и какого вина выпьем, сообщил, что данный район славится как-то по-особому приготовленной уткой. Гурман! Я и сама не прочь вкусно поесть, но в тот вечер мысль о хорошо приготовленной утке не доставляла никакого удовольствия (полежать бы!), однако не хотелось огорчать моего друга в этот последний вечер нашего путешествия.

А он уже сидел за столом чистенький, прибранный, в сером костюме и водолазке и, держа перед собой карту вин, отдавал распоряжения официантке. На лице довольство, покой, даже — гордость. Позади нелегкое путешествие — толпы в музеях, жара и дожди, транспортные пробки, бешеные автострады и, наконец, дьявольский туннель,— все преодолено, со всем он, человек немолодой и нездоровый, блистательно справился, оба мы живы, оба целы и завтра, даст бог, будем в Париже. Попросил извинения, что заказал ужин, не дожидаясь меня, а нам уже катили столик, заставленный огромным количеством закусок (больше половины вскоре укатили нетронутыми!), а затем явилась по-особому приготовленная утка, сопровождаемая разными гарнирами и соусами. На моей тарелке очутилась гигантская порция, я ее и будучи здоровой не одолела бы. Обидно видеть, когда напрасно тратится великолепная еда (всегда думаешь, что в эти минуты где-то кто-то непременно голодает!), что я и высказала моему другу, заодно поинтересовавшись: на кого он рассчитывал, о чем он думал, заказывая этот лукуллов пир?

Оказывается, он думал об интересах хозяина гостиницы, этого милейшего человека...

— Взгляните, голубчик, в зале, кроме нас, заняты всего два столика, сезон кончился, надо же как-то поддержать этот отель!

Хозяин, признательный за поддержку отеля, на следующее утро нас грузил, провожал, подробно растолковывал, как выехать из Нантуа, на ведущую в Париж автостраду, и даже план начертил, кланялась, стоя на пороге, горничная, махала рукой девочка, мы отъехали, мелькнуло озеро в утреннем освещении, побежали мимо дома и деревья, мы выехали из Нантуа и сразу же заехали не туда, останавливались, изучали начертанный признательным хозяином план, разворачивались, путались, но наконец попали на нужную дорогу, оповестившую нас указателями, что она-то и выведет на автостраду.

Тут нас ожидало небольшое дорожное приключение.

Мы проезжали через крошечный, из одной лишь улицы состоявший и совершенно безлюдный городишко, когда раздался пронзительный, всем шоферам горестно знакомый, в их сердцах тревожно отдающийся свист, свист представителя закона. Где он был раньше, этот представитель,— неизвестно, дорога казалась совершенно пустой, но откуда-то он возник (весь темно-синий, в ремнях и в кепи) и жестом пригласил моего спутника выйти из машины. Тот вышел, его отвели в сторонку, и я через стекло машины наблюдала за двумя фигурами, друг против друга стоявшими, о чем-то говорившими, а слов не улавливала, в чем обвиняли шофера — не понимала.

Мой друг пытается оправдаться (все мы пытаемся!), лицо испуганно-виноватое, улыбка заискивающая — все мы слегка заискиваем, очутившись в подобном положении, но мне чудилось, что друг мой держит себя уж слишком сервильно...

Боже мой! Его уводят куда-то! Куда? Вглядевшись, увидела бок фургона, полуприкрытый деревьями и кустами, ага, здесь полицейский пост! Минут десять, если не больше, я ждала моего бедного друга, наконец он появился, сел за руль.

В чем же дело? Превышение скорости в населенном пункте.

— Всего-то! А я уж думала, что нас спутали с какими-нибудь разыскиваемыми преступниками. А почему держали так долго?

— Протокол. Ну, и еще разные бумаги...

— Значит — штраф? И сколько?

— Пока не знаю. Пришлют бумагу на мой адрес в Париж.

— Ну так — ничего страшного! Чего ж вы так испугались?

— Голубчик! Они по первым словам моим понимают, что я — иностранец. Ну это... Ну, неприятно как-то...

— Да какой вы иностранец! Вы уже сто лет французский гражданин!

Промолчал.

А местность продолжала быть холмистой, и прекрасные виды бежали мимо. На юге Франции куда красивее, чем в суровой мопассановской Нормандии. Иностранец! Если и тут он иностранец, то где он не иностранец? А вообще, что это значит: «отечество»? Только поскромнее, без громких слов! Земля? Культура? Язык?

Познабливало, видимо, повышалась температура, не страшно, путешествие кончается, в Париже отлежусь у сестры, повезло, что не захворала раньше, а как хорошо кругом, я думала, во Франции не так уж много лесов, а оказывается — много, я думала, нет просторов, а оказывается, они есть, благословляю вас, леса, долины, горы, воды, а ведь она прекрасна, земля Франции... Иностранец! Какая дичь! «Но где мой дом и где рассудок мой?» Мысли путались...

Мое состояние было замечено и встревожило моего спутника, я успокаивала, пустяки, обычная простуда, мы где-то останавливались, искали аптеку, покупали аспирин, позже опять останавливались, чтобы шофер мог отдохнуть и поесть (я в тот день питалась исключительно аспирином и чаем), снова ехали...

Кончились леса и долины, автострада стала все чаще разветвляться, все чаще стали мелькать стрелки-указатели с названиями городов, мы же держались той, на которой написано: «ПАРИЖ», и вскоре стало угадываться его близкое присутствие. Задымили справа и слева высоченные трубы, рисовались на фоне неба очертания гигантских промышленных сооружений, мы подъезжаем, мы — въехали.

Мы въехали в город, имеющий на нас, русских, «такое сильное волшебное, призывное» действие. Мой друг попал сюда мальчиком и дожил до старости: учился, женился, похоронил родителей, трудился. И плоды этих трудов вполне зримы: ряд парижских зданий красуются, упираясь в небо непокорными главами, благодаря его умению, его знаниям, его таланту. Но к делу рук своих он относится холодно: «Терпеть не могу эти современные коробки, а только их и приходится строить!» Вся жизнь его в этом городе, который он любит, знает, как собственную ладонь, и все же считает себя в нем — иностранцем! Но если не здесь, то где его дом? Что ж, оно и в самом деле существует — это химическое соединение человеческого духа с родной землей, от которой не каждому удается оторваться?

Кончилось наше путешествие.

Я больше никогда не увижу Италии — чудесам не свойственно повторяться,— я виновата перед ней, не смогла, не сумела оценить ее сокровища, но хотя бы прикоснулась к ней, ходила по ее земле, видела ее древние камни.

Спасибо моему старому другу.

УРОКИ ГЕОГРАФИИ

1

Гости съезжались на дачу.

Слово «дача» здесь, впрочем, неуместно. «Дача» — бревенчатый дом, клумбы, много берез и тихая речка поблизости, и непременно тоже поблизости — лес, где ранними предосенними утрами бродят грибники в резиновых сапогах, а выйдешь на опушку — поле, размахнувшееся до горизонта... Тут же речь пойдет не о русской даче, а о французской вилле, и совсем будут иные пейзажи, но гости-то и в самом деле съезжались, так стоит ли из-за одного слова отказываться от классического начала? Гениям и тем это начало помогало, мне ли им пренебречь?

Сегодня вечером мы ждем первых гостей: тетю Эдме и дядю Поля. Они живут в местечке Сан Рафаэль, что на Лазурном берегу, прибудут поездом в город Нант, там их встретит на автомобиле Жиль, муж моей племянницы Вероники, и доставит сюда, на эту прекрасную виллу.

Дети (одному семь, другому три) уложены спать, но затихают не сразу. Сразу они не затихают никогда. Выбегают из детской и требуют избавить их от залетевшего комара, или просят пить, или... Желания их разнообразны. Но вот успокоились, затихли, минут десять их не слышно, кажется, уснули, но стоит в это поверить, как вновь появляется младший, эдакий блондинчик в ночном одеянии голубого цвета. Крики взрослых: «Опять он явился!», «Что ему, господи, надо?» А ему, оказывается, надо всех перецеловать. Еще раз со всеми проститься. Без этого он не заснет. Сердитый тон взрослых меняется на ласково-ворчливый: «Ладно, ладно, ну поцеловались — и будет! Ну — иди, иди!» А он, шлепая босыми ножонками, всех обходит, обнимает, чмокает своими розовыми губками, а щечки его атласно нежны, а светлые волосики приглажены после душа, и до чего ж приятно пахнет его маленькое тело, и можно ли сердиться на этого ангела?

Десятый час, темно. Только что завел машину и отъехал Жиль, мы с Вероникой сидим в садовых креслах, перед нами стена дома и настежь распахнутая дверь в освещенную столовую, за нами живая изгородь кустов, закрывающая забор и ограждающая от взглядов прохожих; от их голосов, конечно, защиты нет, но в этот час прохожих мало. Редко-редко звук шагов по асфальту,

обрывки французских фраз, как это странно — жить в окружении французского языка, каждый раз надо заново привыкать... Голоса и шаги умолкают, вновь тишина. Маленькие ангелы выскакивали из детской уже раз шесть, и только что по требованию младшего был проведен повторный поцелуйный обряд (отец еще не уехал, его отсутствие вызвало бы вопросы и дополнительные осложнения). Затихли. Появляется надежда — что до утра. Дети, кто спорит, это прекрасно. Но как хорошо, когда они спят!

Ночь тиха, не шевелятся верхушки деревьев. Хотелось бы для красоты слога добавить, что слышен мерный величественный шум океана, напоминающий о вечности и о бренности всего земного, но нет, не слышен! Он, океан, рядом, ходу до него пять-шесть минут, но нас разделяет множество вилл и множество автомобилей, выстроившихся вдоль обочин. Иногда доносится звук заводимого мотора, кто-то куда-то собрался ехать в этот поздний час. В казино, быть может? Вертящееся колесо рулетки, бледные лица, лихорадочно блестящие глаза, обнаженные плечи женщин, кучки золота на зеленом сукне стола.... Но это — из романов. Золото на столы в наше время не бросают. Насчет обнаженных плеч — точно не знаю. Знаю лишь, что эта грешная жизнь начинается поздно, двери казино распахиваются чуть не в полночь...

Курим. Наслаждаемся сравнительной тишиной, ласковым теплом вечера, радуемся этому дому, этой вилле, мы сюда въехали всего два дня назад, еще не привыкли к ее удобствам, к ее просторам. Есть куда разместить гостей. Вероника давно мечтала побыть хоть ненадолго хозяйкой большого дома, и чтоб у нее по очереди гостили родственники и друзья. И встретятся наконец, и поживут бок о бок две ее тетки, французская и русская: тетя Эдме и я. Тридцать шесть лет знаем о существовании друг друга. Не виделись никогда. Найдем ли общий язык?

Она провела большую часть жизни в Оране, Алжире, там выросла, там замуж вышла. Много чего с Алжиром происходило: войны, мятежи, бурный конец пятидесятых годов, вторичный приход к власти де Голля, еще более бурное начало шестидесятых, и выбита почва из-под ног алжирских французов, там укрепившихся, пустивших корни, разбогатевших,— все это меняло, сотрясало жизнь тети Эдме и ее семьи, меня же столь не касалось, как если бы происходило на другой планете. Не касалось. Не интересовало. Спроси меня, где находится Алжир, я бы...

Ну что в Африке, где-то в Африке, это я бы ответила, но в какой именно части Африки? Что в северной, самой северной, на берегу Средиземного моря,— это уж мне пришлось в атлас заглянуть, чтобы ответить... Как возмущался Александр Александрович моими слабыми познаниями в географии!

Ну, а ее, тетю Эдме, касался ли Шанхай моей молодости, с его войнами, бедами, эмигрантской унизительной неустроенностью, японским господством, чудовищной послевоенной инфляцией, чудовищной спекуляцией, приходом американцев? Моя ли «скачка» была труднее? Ее ли? Кто знает.

Обе мы ныне стары. Она и ее муж (адвокат на пенсии) живут сейчас в Сан Рафаэле. Ее заботы: дом, кухня, сад. Я — москвичка и все пытаюсь писать. Инопланетянки. Найдем ли общий...

Да вот оно, наше общее: эта молодая, красивая, рядом со мной сейчас сидящая женщина и два маленьких ангела, наконец-то угомонившиеся, наши с тетей Эдме внучатые племянники...

Сидим. Курим. Обмениваемся репликами. Интересно будет познакомиться с тетей Эдме. Это произношу я. И добавляю: «Забавно! Нет, до чего же забавно!» Другого слова не нашла (хороши забавы!), но Вероника поняла меня, о, мы с ней давно, двадцать лет понимаем друг друга, с того марта 1961 года, когда она девочкой-подростком вместе с матерью и маленькой сестрой впервые приехала в Москву, впервые увидела свою бабушку и тетку, помню этот застенчивый интерес, с каким глядели на меня ее умные глазенки, и вопрос сестры: «Тебе нравится твоя русская семья?» Эта семья Веронике нравилась. Она стала к нам ездить почти каждый год, совершенствуя свой русский язык, сначала как студентка, затем как преподавательница. «Из этой девочки выйдет толк!» — говорил Александр Александрович, очень Веронику полюбивший... Толк из нее вышел. Ныне она профессор Сорбонны, дядя Саша не дожил до этого...

Сидим, курим. Чувствую, что предстоящее свидание двух теток с разных планет беспокоит Веронику. Гладко ли все обойдется, не возникнет ли взаимной неприязни, прячущейся под любезными улыбками, но вслух мы говорим о другом... Восхищаемся виллой. Тете Эдме и дяде Полю непременно понравится отведенная им комната на втором этаже...

Здешние дома, именуемые виллами, разнообразны. Наша двухэтажная, таких большинство, есть и трехэтажные, много одноэтажных. Различны их стили, рожденные фантазией и средствами владельцев. Приземистые, крепкие, немного хмурые дома, видимо, старобретонского типа, затем имитации средневековых замков (грубо отесанный камень, островерхие башни), испанские гациэнды с плоскими крышами, дома-модерн (ничего лишнего, острые углы, сверкающая белизна, много стекла), ну и уютные, приветливые, обсаженные глициниями и розами английского вида коттеджи, и, если бы мимо них не мелькали автомобили, могло показаться, что там живут герои Диккенса, преодолевшие к концу романа все свои невзгоды, и какая-нибудь прелестная крошка Доррит сидит за пяльцами у окна.

При каждой вилле гараж. Далеко не при каждой сад. Просторны дома. Малы участки. В прошлом году у виллы, снятой моими родственниками, сада не было. Был пятачок земли (куренка не выпустишь!), весь засыпанный рыжей галькой, ни травки, ни деревца. Ну, стояли там две небольшие пальмы, но эти экзотические растения с их шерстяными ногами и жестяными листьями я как-то не мыслю деревьями... Одна из дачных радостей — уединенное кресло в саду, в руках книга, под ногами трава, ну, а над головой чтоб, «вечно зеленея, темный дуб склонялся и шумел». Но там ничего этого не было, и я со своей книгой таскалась в маленький парк при отеле «Рояль», и земля там была, и трава, и деревья (искусно подстриженные, но уцелевшая листва все-таки шелестела), а вот уединения никакого! Мимо ходили, рядом садились — кипела жизнь. Я шла на пляж, усаживалась под тент, моими родственниками оплаченный, в один из трех оплаченных шезлонгов, под ногами песок, дубов, конечно, нет, зато перед глазами море, но жизнь тут кипит еще бурнее, чем в парке... Смельчаки, осваивавшие одиночное катание на парусных досках (виндсерфинг — модный нынче спорт), с хохотом валились в воду, лица, не имевшие оплаченных шезлонгов, сидели и лежали на разостланных полотенцах, громко переговариваясь; шумно играли в песке дети, а за спиной, по набережной мчались машины, их бесконечные потоки...

Нет, не вся набережная отдана в их распоряжение. Миновав отель «Рояль» и почти к нему примыкающее здание казино, несколько метров не доехав до самого тут

роскошного отеля «Эрмитаж» — автомобиль упрется в знак запрета. Постояльцы «Эрмитажа» как раз вот и слышат шум океана и почти не слышат автомобилей, и обитатели вилл, тянущихся по набережной за отелем, тоже избавлены от грохота цивилизации. Виллы на этой заповедной части набережной очень дороги: тишина драгоценна в наше время и все растет в цене...

Нам в этом августе повезло. При нашей вилле сад, прекрасно запущенный сад, забота садовников не коснулась его кустов, его деревьев — растут, как хотят. Сосны, липы, кусты орешника и еще какие-то мощные стволы с мощными кронами (не удосужились узнать их название!), сад обегает вокруг дома, ограда утонула в густых зарослях, и кажется, что сад бесконечен, и я уже облюбовала местечко для уединенного кресла, а облюбовывая, наткнулась на молодую березку, скромно притаившуюся в самом дальнем от дома уголке. Хотелось спросить ее: что она тут делает?

Лишь третьего дня мы сюда приехали. Вместе с нами, сев в автомобили и переполнив поезда, выехал весь Париж — такое, во всяком случае, создалось впечатление. Французы люди организованные. Дружно едят в одно и то же время — святой полуденный час второго завтрака, улицы заметно пустеют. Дружно избрали для отдыха один и тот же месяц — август,— город заметно пустеет. Всеобщий одновременный выезд не у всех проходит благополучно. Легче тем, кто едет на запад (как мы в Бретань), что же касается дорог, ведущих на юг... О том, что на этих дорогах происходило, нам поведают газеты. И местная курортная, и столичные два дня подряд будут полны описанием дорожных мытарств автомобилистов...

За нашими спинами шуршат резиной по асфальту редкие в этот час машины, мы прислушиваемся, вот одна затормозила — насторожились, привстали,— нет, это не у нас, это у соседнего дома, снова сели, еще машина... А это уж точно у нас, хлопанье дверок, голоса, вскакиваем, Вероника бежит встречать гостей, я остаюсь на месте. Радостные восклицания, французский говор, шаги по каменным ступенькам, ведущим с мостовой к нашей калитке, и вот передо мной седая дама в очках, небольшого роста, крепко скроенная, с энергичным рукопожатием, излучающая бодрость, деловитость,— это материализовалась спустя десятилетия тетя Эдме... Следом ступает старый господин, он худ и длинен, раза в полтора выше ростом же-

ны, очки, выражение лица детски-кроткое, известно ли мне было, что его зовут «Поль» и что он адвокат? Забыла я это или не знала никогда?

Стол накрыт, приезжих будут кормить, оживленный говор, да, да, поезда переполнены, путь долог, Поль, возьми еще салату, Поль! Как он глух, боже мой! Дети здоровы? Где? За этой дверью, а мы тут кричим! Ничего, ничего (это врываюсь в разговор я), уж если они заснули — их пушками не разбудишь, и взгляд на меня тети Эдме удивленно-неодобрительный. Быть может, выражение «пушками не разбудишь» их языку непривычно, я перевела дословно, и тетю Эдме удивляет странность моей лексики и не нравится, что слово «пушки» применено к ангельскому сну двух ее внучатых племянников. Застольная беседа вскипает вновь, перешла на детей, родители рассказывают о шалостях младшего, об уме и любознательности старшего (умиленные улыбки, я уж не встреваю), а тетя Эдме все ко мне приглядывается, иногда мы встречаемся глазами и тут же, любезно улыбнувшись, отворачиваемся, я воображала ее совсем другой... Какой же? Да нет, если откровенно, то никак не воображала, при звуке ее имени рисовалось нечто туманно-бесформенное, никогда я не задерживалась мыслями на ней. Ни ее себе не представляла, ни города, где она провела большую часть своей жизни. Оран, Оран — звук пустой, да существует ли на земле это место? Оно слегка обрисовалось во время чтения «Чумы», вот, оказывается, где живет, где жила родня Вероники: город-порт, лежащий «в виде улитки на плоскогорье», влажная весенняя жара, летний мучительный зной, шквальные ветра, быстротечные сумерки, ливневые дожди, мало зелени... Вот такое книжное представление об этом невеселом месте возникло у меня после чтения Камю...

Вероника уносит посуду на кухню, Жиль тащит чемоданы по деревянной лестнице наверх, дядя Поль рвется ему помочь, мы с тетей Эдме одни за столом. Пестренькое, простенькое летнее платье, седые, слегка вьющиеся волосы зачесаны гладко, никакой косметики, она не из молодящихся старых дам, она — какая есть! — откровенно седа, а была брюнеткой, черные брови, карие глаза живые, внимательные, и что-то в этом взгляде, в складке тонких губ твердое, бескомпромиссное. Молчим. Что бы ей сказать эдакое приятно-светское? Не успеваю. Она — мне:

— У вашей матери был удивительный почерк, такого я ни у кого не встречала: острые, длинные, четкие буквы. И прекрасный французский язык. Она нам и про вас писала...

Вернулась Вероника, сбежал сверху Жиль, нам предлагают идти на второй этаж (там наши спальни, три двери, выходящие в гостиную), мы поднимаемся, мы идем, мама ей писала, когда же, когда? Той осенью сорок пятого года, когда и мы, и они (видимо, одновременно и с таким опозданием!) узнали о гибели Пьера и появлении на свет Вероники? Нет, вряд ли тогда. Позже, позже... Тогда, думаю, когда моя сестра привезла семье своего убитого мужа, десятимесячную Веронику и оставила ее на год, на полтора (ничего-то я толком не знаю!) французской бабушке и французской тете, обе в глубоком трауре по сыну и брату, обе обожали его маленькую дочь и баловали невозможно, это мне сестра много лет спустя рассказывала — что баловали невозможно! Вот, вероятно, мама и писала им в Оран, когда там жила Вероника, а маме посылали фотографии ее внучки, как мама мечтала ее увидеть и увидела — но сколько же лет спустя! До сих пор у меня перед глазами фотография: очень маленькая, пышно разодетая девочка (банты, оборки, шляпка) рыдает над валяющейся у ее ног очень большой и тоже пышно разодетой куклой, рядом ствол дерева и перспектива улицы, всегда думала, что улица парижская, теперь понимаю — нет, оранская, как мало я тогда в это вникала, конец сороковых годов, близился мой отъезд из Шанхая...

— Какая чудесная комната,— сказала тетя Эдме.— И огромная!

— Пятьдесят метров,— брякнула я, очнувшись.

— Откуда вы знаете?

Я хотела сказать, что глаз у меня наметанный, да и как ему таким не быть, полжизни провела в снимаемых помещениях, но не знала, как по-французски «наметанный», упоминание же о моих случайных жилищах вообще неуместно, ибо нуждается в объяснениях и, значит, далеко заведет. И я пробормотала, что мне так кажется. Тетя Эдме согласилась: да, пожалуй, что-то в этом роде. После чего мы стали дружно восхищаться комнатой.

Она была красива, обжита и, несмотря на свои размеры, уютна. И глубокие удобные диваны и кресла, и низкий стол перед большим диваном (вглядевшись, видишь — это снятая с петель старая коричневая дверь на подстав-

ках), и лампы, и камин, и встроенные в угол книжные полки — не полированные, не застекленные, но забитые книгами, читаемыми, потрепанными,— все было скромно, лишено претензий, направлено только на удобство здесь живущих. Ни один предмет не настаивал на том, чтобы им любовались, им похвалялись и особо осторожно с ним обращались, трясясь над его лакированными боками и поверхностями. Диваны, кресла, столы, лампы, полки — свое место знали, свое назначение (служить человеку) понимали, от этого, быть может, комната казалась красивой... А в дневные часы, когда отдернешь шторы с окна и двух дверей (одна балконная, другая выходит на каменную лестницу, ведущую в сад), то за стеклами видишь деревья, видишь листву, и кажется, что комната украсилась тремя огромными зелеными картинами...

— Да тут целая библиотека! — воскликнула тетя Эдме.

— И превосходная! — отозвалась я, успевшая на этих полках пошарить и обнаружить там старинные словари и атласы, изданные в начале прошлого века. «Как хозяева не побоялись, что книги растащат!» — хотела я добавить, но вовремя удержалась и, простившись, пошла к себе, а гостей повели в их спальню, комнату с темно-вишневыми обоями, и мне было слышно (стена у нас общая), как гости комнату хвалили.

А у меня обои темно-голубые, на них синие с желтыми гребешками райские птицы и райские цветы с изумрудными листьями, старая удобная мебель — кровать-тахта, комод, секретер красного дерева с множеством ящичков и слегка покатой доской. Легко вообразить, как в начале века здесь писались надушенные записки, приглашения, поздравления, но вот пишущую машинку на эту доску не поставишь, мне же непременно требуется иметь при себе машинку (а вдруг придет в голову что-то гениальное, писать же рукой разучилась давно), и Жиль приволок мне из гостиной стол — красное дерево, сверху потертая замша мышиного цвета. Стол поставлен у окна, за окном сад, ничего, кроме сада, не видно, в комнату тянутся ветки орешника, а со стен, с пестрых обоев глядят на меня старые гравюры.

Придя к себе, я не сразу укладываюсь спать, я сажусь у стола боком к окну (а за ним ночь, кусты орешника), мне хочется упорядочить впечатления вечера, подумать о тете Эдме, о ее недавно скончавшейся девяностолетней

матери, Вероникиной бабушке, о моей странной с ними связи, но мысли разбегаются, глаза бродят по комнате, задерживаются на тахте, на ее покрывале, в точности повторяющем цвет и рисунок обоев, и я некоторое время тупо удивляюсь тому, что людям удалось где-то достать ткань, ну совершенно такую же, как обои...

Пора ложиться спать.

2

Гости продолжали съезжаться.

На следующий день к нам прибыла Катя, дочь моей сестры от второго брака.

В том марте 1961 года, когда я после долгой разлуки встретилась с сестрой, Катя была восьмилетней девочкой, бойко болтавшей по-русски, прелестной и своеобычной...

Вот мы едем в автомобиле через Бородинский мост, сестра спрашивает, как этот мост называется, я отвечаю, добавив, да, да, в честь того самого сражения, вмешивается Катя: «Какое сражение?» — «А это где предки твоей мамы били предков твоего папы». Сестра засмеялась, Катя же примолкла, о чем-то задумалась, а через минуту объявила: «Бедный папа!»

Вот мы в Театре Образцова, утренник, дети, дети, очень много совсем маленьких трех- и четырехлетних, сосут леденцы на палочках, Кате, конечно, потребовался такой же леденец, на сцене спектакль из жизни медвежат, девочка-медвежонок падает в реку, мальчик-медвежонок ее вытаскивает, девочка пищит: «Мне холодно! Холодно!» — маленькие зрители весело смеются, а Катя громко произносит: «Это не смешно! Это жалко!» Взволновалась, покраснела, в поисках сочувствия сжала мою руку липкой от леденца ладошкой, а я тогда впервые в ее детском лице увидела сходство с моей матерью.

С годами это сходство не исчезло, иногда оно незаметно, но вдруг в каких-то поворотах головы, в выражении лица проступает явственно, и мне странно узнавать черты матери в этой высокой, очень тоненькой, очень современной молодой женщине... Господи, чего она не проделывала за эти годы со своими волосами, отпускала ниже плеч, красила пряди так, что одни были темные, другие светлые, носила чёлку, зачесывала гладко, а этим августом, сохранив свой естественный цвет темной шатенки, явилась стриженная под мальчика. Это идет ей, а впрочем, ей все

идет, любые прически, любые одежды... Моя мать, судя по ее молодым фотографиям, такой красоткой не была, но похожи, похожи! Тот же немного вздернутый нос и овал лица, но главное — что-то неуловимое, словами не определимое. Похожи. И до чего непохожи! Мать, в вечном окружении книг, бумаг, бесчисленных тетрадей, до последних дней жизни не утратившая привычки записывать свои мысли по поводу только что прочитанного, и Катя, окруженная портативными магнитофонами, минирациями, телеэкранами, телефонами, Катя, чья профессия, боже мой, брокер! Работа, связанная с биржей, с повышением и падением акций, работа азартная, рискованная, требующая интуиции и я не знаю, чего еще, ибо говорю об этом очень приблизительно... Без телефонов брокер шагу не ступит, и к нам сюда, на виллу, раздавались звонки, просили Катю, на проводе лондонская контора, Катя брала трубку, лицо ее менялось, становилось озабоченным, иногда тревожным — что-то там не ладится? Но она, поймав мой взгляд, улыбается своей сияющей киноулыбкой, маскировочной утешительной улыбкой, все в порядке, не беспокойся! А я не верю.

Живет своей нервной, мне непонятной жизнью лондонская биржа, упали акции фирмы, выпускающей какао, а акции фирмы, выпускающей дверные ручки, поднялись, или наоборот, а может, что-то совсем другое выпускают эти фирмы, откуда мне знать? Могла ли я думать, что капризы каких-то акций меня коснутся? А — коснулись. Мне близка эта девочка, небезразлична ее судьба...

Она была замужем за англичанином, развелась, но осталась жить в Лондоне. К нам сюда приехала из французского города Ним, где провела одну из двух недель своего отпуска, играла там в теннис по шесть часов в день, именно там играет в теннис обеспеченная молодежь Западной Европы, значит, и Катя должна играть в теннис именно и только там.

Вид измученный, лицо серое, подурнела, ну зачем надо было махать ракеткой по шесть часов в день, да еще в эту жару? Тренер считает, что надо играть не меньше, если хочешь чего-то достигнуть. Ты что, в чемпионки готовишься? (Это говорит Вероника.) Нет, но я уже заплатила за шесть часов в день. Господи, она еще деньги платила за эти каторжные работы! — а это восклицаю я. Затем мы обе убеждаем Катю пожить здесь спокойно, спать ложиться рано, и никаких ресторанов, и никаких попыток

проникнуть в казино — нам известна Катина страсть к азартным играм...

Дети бурно радуются появлению молодой тети. Они ее любят вполне бескорыстно, однако некоторая доля корысти к их радости все же примешана: тетя неизменно является с подарками, и с какими! Недремлющая игрушечная промышленность общества потребления дублирует для детей все новинки современной техники: и фотоаппараты, и магнитофоны, и мини-рации, и электронные наручные часы (ни заводить их не надо, ни стрелок на них нет). Очень стало оживленно после Катиного появления. Младший включил свой личный магнитофон (развеселое хоровое пение), старший бегает по саду, вооруженный мини-рацией («уоки-токи») — непременная принадлежность полиции, обмен информацией с любого расстояния. Второй парный аппаратик стоит на садовом столе перед домом, нам что-то сообщают, от нас требуют ответа — очень весело.

Мне всегда казалось, что не следует дарить детям свистки, барабаны, а также гармоники — о магнитофонах и прочих штуках не думала, не предвидела, что и их превратят в игрушки. Не лучше ли занять детское внимание чем-нибудь спокойным и развивающим сообразительность? Каких только «юных конструкторов» не выпускает бдительная игрушечная промышленность, с каждым годом эту продукцию совершенствуя. В доме покой и тишина, когда наши дети, сидя на полу, возводят дома, башни, строят корабли (от парусных до крейсеров и миноносцев), паровозы, самолеты, грузовики, контейнеровозы... Эти «юные конструкторы» — дары дедушек и бабушек, которые, как и я, против свистков, барабанов, мини-раций и магнитофонов. Но мы — поколение отживающее. Катя же — представитель иного племени.

Она и себе купила модную игрушку для взрослых — магнитофон с наушниками. Это еще зачем? Как зачем? Вещь необходимая. Едешь, к примеру, в поезде, летишь в самолете, вокруг шум, разговоры, а ты надел наушники и от всего отключился, погрузившись в мир музыки.

В Бетховена она погружается? В Моцарта? В Брамса? Или в Шопена? Нет, конечно. Какие-нибудь модные сегодня «битлы» взвизгивают в ее наушники под дробь барабанов, но это не обсуждается, о вкусах не спорят, тут уж — кто что любит. Другое беспокоит нас с Вероникой. И погружение в мир музыки, и подарки детям денег сто-

ят, и немалых, не миллионерша Катя ими швыряться, и работа у нее рискованная, но благоразумие чуждо этой широкой натуре. Французская бережливость — тем более. Зато русский размах налицо. Хочется верить, что он сочетается с американской деловитостью. Но — не знаю, не знаю!

Утром я слышу, как мурлыкает, напевая, за стеной дядя Поль — такая у него привычка. Затем топотание детских ног по деревянной лестнице и вопль: «А табль! А табль!» Нас зовут вниз, к столу. И в минувшем году маленький Коля брал на себя функции зазывалы-глашатая, но кричал так: «Ата! Ата!» Ведь было ему всего два года.

Хозяева уже внизу. Жиль успел съездить на рынок, Вероника — сварить кофе. Спуститься вниз предлагают нам троим: тете Эдме, дяде Полю и мне. Остальным спускаться не надо: их комнаты на первом этаже. Одна из них детская, в другой живет юная полька, студентка Агата, приехавшая с нами помогать хозяйке и присматривать за детьми, в третьей — Катя.

Случается, что мы — тетя Эдме, дядя Поль и я — одновременно выйдя из своих комнат, сталкиваемся в гостиной перед лестницей. Обмен приветствиями, затем чичиковско-маниловское топтание (мы с тетей Эдме уступаем друг другу дорогу), затем, слегка теснясь, спускаемся плечом к плечу, за нами журавлиными ногами шагает дядя Поль, напевая: тум-тум-тум-ра-ра-рам... Сошли. Здороваемся. Занимаем свои места, вынимаем из деревянных колец и кладем на колени цветные салфетки. Раскладывать их у приборов, помнить, какая чья,— обязанность старшего. Иногда он помогает Агате и стол накрывать. Бывает, что включается и младший, хватает из буфета одну, а то сразу две тарелки, несет, мы замираем от ужаса, ощущение такое, будто следишь за канатоходцем,— приближается, приблизился, тарелки благополучно извлечены из этих маленьких рук, ну, пронесло, ведь тарелки чужие, вилла сдается и с мебелью, и с посудой.

Не будите Катю! Человек, перенесший каторжные работы в городе Ним, нуждается в отдыхе! Но Катя хоть с опозданием, но является. Все в сборе.

На одном конце большого овального стола, поближе к кухонной двери, Вероника, на противоположном — я. По

бокам все остальные. Слева от меня Жиль. Справа дядя Поль. Как он учтив, как он заботится обо мне, своей соседке! Спасибо, я уже брала сахар, себе возьмите! Да нет, я уже... Позвольте вам положить... Не беспокойтесь, ради бога!.. Да, пожалуйста... Нет, благодарю вас... Спасибо, не хочу. НЕ ХОЧУ! (Он глуховат, дядя Поль!)

Погруженные в эти реверансы, мы не сразу поняли, что случилось на другом конце стола, почему рыдает Коля.. Так и есть. За чем-то потянулся, что-то опрокинул. Его ругают, им недовольны. Он плохо переносит недовольство окружающих. Он за мир, за дружбу, за любовь. Голубые глаза наполняются влагой, губы принимают форму трапеции, и вот он уже рыдает, его просят уйти в детскую и рыдать там, в ответ он рыдает еще пуще и произносит: «Que je suis malheureux!» (Как я несчастен!) Вчера за обедом это заявление вызвало общий смех, Коля нашу реакцию запомнил, взял на вооружение, и сегодня эти слова повторяет, кося, несмотря на рыданья, хитрым глазом (актерская натура!), но мы не поддаемся, храним каменные лица, смеется лишь Катя, она это слышит впервые.

Вероника говорит с детьми только по-русски. Пусть они отвечают ей по-французски, пусть, неважно. Зато все понимают, а старший, если хочет, и поговорить может на нашем языке. Я уважаю упорство Вероники. Не так это просто, живя в стихии одного языка, никогда не сбившись, говорить с детьми на другом. На летние месяцы прибывает подкрепление в лице меня — еще один человек говорит с детьми по-русски и на этом же языке с их матерью. Этим августом «русский лагерь» укреплен еще юной полькой Агатой. Она учила русский в школе, на этом языке ей говорить куда легче, чем на французском, и вот за столом звучат одновременно два языка. С ей свойственной бойкостью включается в русскую речь Катя. Падежи для нее не существуют, забывая название предмета, называет его попросту «эта штука», но чешет, не задумываясь, понять ее вполне можно, и это поражает меня. В детстве Катя, благодаря усилиям моей сестры Ольги, болтала по-русски, но позже никаких попыток расширить и укрепить свои познания не делала, не училась, не читала, редкими приездами в Москву все и ограничивалось, а — говорит! Унаследовала, видимо, способности моей матери, на редкость ухватчивой к языкам,— таинственная штука гены! Ее склонности к интеллектуальным трудам не унаследо-

вала, видеть Катю с книгой удается не часто, но — способна, способна!

Катя помогает Веронике и Агате убрать со стола, мыть посуду не надо, лишь поставить ее в посудомоечную машину, что-то во что-то включить, и машина, тихо жужжа, начнет делать свое полезное дело, а Вероника с Агатой готовят второй завтрак — это отнимает у них час-полтора, не больше. Им помогать не разрешается никому, все свободны, все делают, что хотят, условие одно: в определенные часы без опозданий собираться за столом. Таково распоряжение нашей хозяйки Вероники, таково ее желание: родственники и гости ни во что не вмешиваются, ни в чем не помогают, тяготы быта целиком лежат на хозяевах. Жиль ездит на рынок, Вероника и Агата готовят еду, машины моют и стирают, что же касается уборки помещения и утюжки одежды (машина, умеющая отглаживать выстиранное, еще, кажется, не изобретена, но, думаю, и это не за горами), то ровно в полдень прибывает на собственном стареньком автомобиле уборщица, мадам Авис, а ровно в три — отбывает. За свой труд она берет 24 франка в час. Автомобиль для нее отнюдь не предмет роскоши, а — можно смело сказать — орудие производства, ибо лишь с помощью автомобиля ей удается поспевать ко всем тем, кто в ее услугах нуждается. В эти летние месяцы, на этом населенном курорте в услугах мадам Авис нуждаются многие... Но ведь сезон кончится, осень, дожди, зима, наконец, и снова дожди, и свинцовое море, и темно-коричневый мокрый песок на оголенном пляже, и опустелые улицы (как же здесь, наверное, грустно зимой!) — так вот зимой что делает мадам Авис? Мне хочется спросить ее об этом, поговорить с ней, но — невозможно: она работает. Господи, как она работает! Если в час двадцать четыре франка, то, значит, в минуту сорок сантимов, и совесть не позволяет мадам Авис тратить эти оплаченные минуты на что-то, кроме работы. Ни разу за весь месяц не пришлось мне видеть, чтобы эта худенькая шатенка лет сорока на вид хоть раз бы присела, дух перевела. Жужжит пылесос, мелькают губки и тряпки (уборка ванных комнат), летает по гладильной доске утюг. «Бонжур, мадам!» — говорю я. «Бонжур, мадам!» — откликается она, не прерывая работы, серьезная, сосредоточенная, лишь глаза вскинет, чтобы поздороваться, мелькают тряпки, летает утюг... Куда уж тут соваться с расспросами, и так ощущаешь неловкость, ты шляешься взад

и вперед, бездельница, а человек работает. И как работает! Лишь однажды с помощью Коли удалось кое-что выяснить... При появлении мадам Авис Коля обычно не присутствует (он либо на пляже, либо в бассейне), но, вернувшись, услыхав пылесос, Коля устремляется вверх по лестнице: он должен непременно поздороваться с мадам Авис! Я была однажды свидетелем этой сцены взаимных приветствий. «Бонжур, мадам Авис!» Вскидывать глаза не надо, детский голосок раздается снизу (светлая головенка, голубые глаза, сияющая улыбка), и разгладилось сосредоточенное лицо мадам Авис, и замерла в ее руке кишка пылесоса, и в ответ голосом растроганным: «Бонжур, мон пти!» — ах Коля, покоритель сердец! Вот тут-то я и прорвалась с вопросом, поинтересовавшись, есть ли у мадам Авис дети, услыхала в ответ, что — трое, хотелось еще узнать, есть ли муж, а если да, то где работает, но этого спросить не удалось, кишка пылесоса вновь шевельнулась в руке мадам Авис и заработала энергично, наверстывая потерянную, оплаченную минуту...

Учрежденный хозяевами распорядок дня меня очень устраивал. Хочу — пишу в своей комнате, хочу — сижу в саду или иду в бассейн или на пляж, ни ответственности, ни обязанностей, свобода. Мне это нравилось. Тете Эдме — нет. Без обязанностей, без домашних забот жить она не привыкла. Ее помощь на кухне отвергают. Попытки пойти на рынок — пресекают. Накрыть на стол — и то не разрешают! Не нужно, тетя Эдме, отдыхайте, тетя Эдме, вы и так крутитесь целый год (и дом, и сад, и огород, и магазины), так поживите же, ничего не делая! Но если тетя Эдме не умеет жить, ничего не делая? Если безделье томит ее? И если ей непременно требуется быть в доме полезной, но чем, но чем? Она обожает детей, но у детей уже есть няня, добрая, кроткая и тоже их обожающая — дядя Поль. Он и Жиль ходят с детьми в бассейн, на пляж, и, пока Жиль осваивает виндсерфинг, добрейший дядя Поль присматривает за малолетними. Так что присутствие тети Эдме на пляже возможно, но не обязательно. Обязанностей нет, их приходится изобретать. На столе в качестве непредусмотренного сладкого появляется торт из мороженого (восторженные клики детей, изумление Вероники), а тетя Эдме со скромным достоинством объясняет, что шла мимо «Друга Пьеро» (лучший кондитерский магазин курорта) и подумала, что неплохо бы... В другой

раз на столе появляется прекрасный виноград — это тетя Эдме случайно шла мимо...

Утром Жиль привозит местную курортную газету, а иногда вдобавок и столичную: «Монд» или «Фигаро». Основные читатели, газетных строк глотатели — дядя Поль и я. После кофе мы поднимаемся наверх в гостиную и погружаемся в чтение. Но перед этим — реверансы. Он: «Какую газету вы предпочитаете?» Я: «Мне совершенно все равно!» Он: «О нет, но все же...» — «Клянусь вам!» — «Нет, но...» — «Ну, хорошо, вот эту!»

Однажды случилось так, что газета была всего одна. Я же в столовой задержалась, поднялась наверх, когда дядя Поль уже в газету нырнул. Не поднимись со мною вместе тетя Эдме, я бы, не тревожа дядю Поля, тихо убралась к себе. Но рядом была тетя Эдме. Поль! ПОЛЬ! Ну как же так, овладел газетой, а он тут не один, мадам Наташа тоже любит читать, следовало сначала ей предложить. Вскочил, бедненький, кротко заморгал. Мои ответные крики — мне не срочно, я потом, о, пожалуйста, пожалуйста, не беспокойтесь, нет, я не возьму, я потом! — никакого действия не возымели. Мне всучили эту постылую газету, всучили чуть не насильно, господи боже, воспитанность, учтивость — прекрасны, но не до такой же степени, попроще бы, попроще! Ведь вот с Жилем, представителем иного поколения, простота отношений возникла у меня сразу, а с этими двумя — напряженно, напряженно...

Она обращается ко мне так: «мадам Наташа». Я к ней: «мадам». Как не хватает здесь нашего доброго русского обычая имен-отчеств. И уважительность в этой манере обращения, и тепло, и дружелюбие. Лишь у нас в России... А, впрочем, что я расхвасталась? Это-то у нас есть, а другого, тоже необходимого, другого нет. Я имею в виду французского «месье-мадам», польского «пан-пани». А мы вот не знаем, как обращаться к людям незнакомым! «Улица корчилась безъязыкая» и, помучившись, выход нашла. «Женщина! У вас чулок порвался!» «Мужчина! Сдачу забыли!» Все чаще слышишь эти окрики, и, по-моему, они ужасны, но чем заменить их, чем?

С балкона, выходящего на каменную перед домом площадку, на живую изгородь, я вижу отбывающую на пляж небольшую процессию: дядя Поль, увешанный как елка детскими игрушками, Коля (его рост едва достигает сухого обнаженного колена дяди Поля) тащит за собой на

веревке грузовичок, Дима с ведерком и лопаткой, Жиль, тоже облаченный в короткие штаны и рубаху. Шествие заключает Катя. И на ней короткие штанишки, поверх просторная майка (именуемая «тишерт»), все словно бы очень просто и непритязательно, однако эта стройная фигурка так и просится на страницу модного журнала. Магнитофон с наушниками отбывает вместе с Катей: а вдруг ей захочется, отключившись от шума пляжа, погрузиться в мир музыки?

Прогремел по камням площадки и ступенькам лестницы Колин грузовичок, отзвучали голоса, ушли. Тети Эдме с ними нет. Она внизу. Быть может, делает попытки прорваться на кухню — тетя Эдме, говорят, великий кулинар! — но помощь ее отвергают. Чем ей заняться? Быть может, она пойдет гулять и по дороге что-нибудь случайно купит? Не знаю.

А вот мне чем заняться — знаю. Издавна приучила себя сидеть утром за письменным столом: человеку, избавленному от служебных присутственных часов, без самодисциплины не обойтись. Здесь я на отдыхе, и писать мне нечего, вести дневники не умею, но образовалась привычка, вот я и провожу за столом час-другой. Иногда отстукиваю письма друзьям, иногда, отодвинув машинку, читаю, а бывает, сижу просто так, уперевшись локтями в стол, глядя перед собой.

Окно распахнуто в сад, зеленая лужайка пестра от тени листвы и солнца, на пригорке деревянные, грубо сколоченные тяжелые (с места не сдвинешь!) скамья, стол и стул, мелькнуло пестренькое платье тети Эдме, собирается она, что ли, почитать в саду, впрочем, я не заметила у нее особого пристрастия к чтению, да и жарко сейчас, в саду хорошо ближе к вечеру, так и есть, ушла куда-то... Городок Юэ, городок Юэ... Впервые я узнала, что есть на свете такое место, чуть не сорок лет тому назад из письма сестры, там служил Пьер, там они жили, там был их дом, там Пьер погиб. Городок Юэ. Была фотография, нам с матерью в Шанхай присланная: Ольга и ее муж сняты во весь рост, Пьер в военной форме, плечистый, крепко скроенный, тетя Эдме уверяет, что Коля похож на Пьера, а мне кажется, что Коля очень русский ребенок, но, быть может, мы обе правы: ничего специфически французского нет в немного квадратном лице Пьера с коротким носом и широко расставленными глазами... Почтовая связь Индокитая с нами была очень нерегулярна, а с марта 1945 го-

да и вовсе прекратилась, всего три-четыре письма получили мы с мамой и одну фотографию. Сестра называла мужа то «Пьер», то «Петя», «Мы с Петей», «Мой Петя»... «Петя» учил русский язык. А еще сдавал какие-то экзамены, ему по службе полагающиеся, письменный выдержал, на устном провалился, ему надо было ехать в Ханой пересдавать, и мы, писала сестра, решили ехать вместе... Ездили? Чем это кончилось? Не помню, не помню. Годовщину своей свадьбы они праздновали вдвоем, и вообще им всего больше нравилось проводить время вдвоем. «Мама, видела бы ты, какой у нас чудный дом! Петя им очень гордится. Мы все мечтаем, как ты к нам приедешь!» Была у них собака Тимми, и кошка, именуемая просто «Кошка», и кролики, и куры, и петух. Свой дом, первый свой дом в жизни моей сестры. Наши случайные беженские жилища, комнаты гостиничного типа, ресторанные обеды, разогреваемые на спиртовках, вечные долги, вечные переезды. И вдруг: свой дом. «Это был веселый дом с собаками и детьми...» Дети ожидались. Сестра поехала к друзьям в Сайгон что-то покупать для будущего ребенка. Пьер в ее отсутствие должен был оборудовать детскую. На этом все и кончилось. «Мама, у тебя есть письма Пьера, сбереги их, у меня ведь ничего от него не осталось, ни строчки, ни фотографии!» А что могло остаться у человека, уехавшего на две недели, уверенного, что в свой дом вернется? Поразительно, что сама она уцелела, что ее не было в городе Юэ в тот вечер японского неожиданного нападения, в ту варфоломеевскую ночь! Обратный билет она взяла на десятое марта. А взяла бы на девятое... взяла бы на девятое, ее давно уже не было бы на свете. Ни Вероники бы не было, ни Кати, ни этих двух маленьких мальчиков... Ну, а я не сидела бы сейчас в комнате с французскими гравюрами и синими обоями, перед настежь распахнутым в сад окном. Какие таинственные силы распоряжаются нашими судьбами, нашими жизнями?

3

Гости продолжают съезжаться.

К своим телефонам, телеэкранам и биржевой суете уехала Катя, но еще вернется — обещала провести с нами последние дни нашего здесь пребывания. На уик-энд явились друзья Вероники и Жиля: муж, жена, трое детей. Их

есть куда разместить. Старшая девочка в комнату Агаты, там две кровати, супруги с младшей девочкой (очаровательная блондинка двух с половиной лет) в Катину комнату, где тоже две кровати, ну, а мальчик в детскую к Диме и Коле, там три кровати. Все утряслось на первом этаже, наш верх не затронут, появление новых гостей, новых детей коснулось меня мало, расписания моего не сбило, о моя милая комната, мое чудесное убежище. Я эгоистично живу своей жизнью, появляясь на люди, в столовую лишь в часы еды. Вечером тетя Эдме встречает меня словами: «Вы были совершенно невидимы, мадам Наташа!» Ей непонятно, что я там делаю, уединившись в своей комнате? Ведь у меня, члена семьи, тоже есть какие-то обязанности, ну, хотя бы перед детьми! Вежливость не позволяет тете Эдме это высказать, я же просто киваю с улыбкой, да, была невидима, и все тут.

Обязанности перед детьми... Мое дело, думается, расширять их познания в русском языке, говорить с ними, читать им вслух, в прошлом году, когда мы жили без гостей в маленьком доме, я этим и занималась. Со старшим играла в настольные игры (способный мальчик и в шахматах разбирался), младшему читала стихи из книжки с картинками. Картинки изображали юных пейзанок в платочках на фоне теремов и самоваров, каждой были посвящены рифмованные строчки. «Баю-баю-баю-бай, ты, собачка, не лай, белолапа, не скули, мою Таню не буди!» Это четверостишие особенно пленило двухлетнего тогда Колю, еще ему почитай и еще, а этим летом, увидев меня, радостно вскричал: «Баю-бай!» — и притащил истрепанную книжку с пейзанками. Как бы я, о господи, не связалась навсегда в его памяти с этой «белолапой»!

Я помню свои обязанности перед детьми, но заниматься с ними, читать им сейчас, когда дом гудит людьми, невозможно — и вот уклоняюсь, уединяюсь.

Тетя Эдме свою роль понимает иначе. Именно теперь, когда в доме гости, не родственники, посторонние, две пожилые тети включаются в помощь хозяевам. Гостей следует развлекать, с ними беседовать, и не только во время общих трапез! Дети же, когда их стало пятеро, тоже требуют внимания, особенно двое маленьких. Одному — три, другой — два, то штаны им менять, то на горшок сажать, то вмешиваться в их ссоры, разнимать, утешать... Перевозбужденный многолюдьем, впечатлительный Коля дурно ведет себя за вторым завтраком, капризничает, не ест,

его непременно надо уложить спать, он устал... Не будет он спать! Губы складываются трапецией, рыданья, Колю уговаривают, Колю ведут в детскую и укладывают, этим радостно, с сознанием своей нужности занимается тетя Эдме, и она же остается сторожить спящего, когда все уходят — кто на пляж, кто куда... И она же меняет ему штаны и простынку, ибо во сне Коля тоже нехорошо вел себя, о чем тетя Эдме сообщает вернувшимся такими словами: «Он не успел закрыть свой маленький кран!»

4

Гости уехали, а следующие еще не приехали. Уложив детей спать, сидим в гостиной: кто телевизор смотрит, кто читает. Телезрители занимают небольшой диванчик против книжных полок (на одной из них стоит телевизор), читатели находятся в противоположном конце комнаты, в креслах у балконной двери. На экране комедия редкого идиотизма, никто не пожелал ее досматривать, на маленьком диване лишь мы с дядей Полем. Для меня телевизор — урок французского языка, тренировка слуха на понимание быстрой современной речи, вот я и терплю, а дядя Поль сидит со мной, мне кажется, исключительно из учтивости, не решаясь встать и уйти... Что касается тети Эдме — она читает. Сидит в кресле под лампой, держа перед собой книгу карманного формата в дешевом издании, так называемую «ливр де пош». Поскольку прежде я видела тетю Эдме лишь просматривающей газеты или листавшей журналы, с книгой же не видела никогда — меня заинтересовало: что она читает? Вопрос этот занимал меня, отвлекаясь от экрана, я все поглядывала на книгу, но названия ее издали увидеть не могла. Чтение не слишком увлекало тетю Эдме, минутами она задремывала, голова склонялась на грудь, рука с книгой падала на колени, это пробуждало тетю Эдме, она вздрагивала, встряхивала головой, вновь принималась за чтение... Комедия кончилась, пора спать, прощаемся, идем в свои комнаты, я вижу, что книга оставлена на столике у лампы, делаю маленький крюк, иду мимо, сейчас я увижу, что именно заставляла себя читать тетя Эдме...

«Игрок» Достоевского во французском переводе. Откуда взяла его тетя Эдме, догадаться нетрудно: на книжных полках этой виллы многое можно найти, от совре-

менных детективов до старинных атласов и словарей... А вот чем объяснить выбор тети Эдме?

Кажется, я это поняла.

Мое присутствие, некоторая странность моего поведения, звуки русской речи, постоянно звучащей в доме, ежедневно, настойчиво твердили тете Эдме, что в семье, в ее семье, в дочери любимого брата и его внуках есть часть чужой русской крови. Нация далекая, нация непонятная... Не потому ли потянуло тетю Эдме к Достоевскому, который, как каждому известно, является специалистом по загадочной славянской душе?

А назавтра у нас с тетей Эдме возник долгий разговор, вызванный моей оторванной пуговицей. Дядя Поль, Жиль и дети на пляже. Вероника отдыхает в своей комнате. Агата уехала на велосипеде знакомиться с окрестностями. Тетя Эдме одна в гостиной у распахнутой настежь балконной двери томится над «Игроком». Вечерело, но жара еще не спала.

Я собралась почитать в саду, вышла из своей комнаты, мы с тетей Эдме обменялись вежливыми улыбками, и тут она мне сообщила, что одна из пуговиц моего платья висит на нитке, ее легко потерять. Я оторвала пуговицу, сунула в карман, пришью потом, хотела идти, но меня удержали. Тетя Эдме предложила пришить пуговицу немедленно. Нет, что вы, что вы! Она настаивала, настаивала горячо... Шить я терпеть не могу, иголки мне мстят, падая и исчезая, нитки ехидно закручиваются в узелки... Тетя Эдме продолжала настаивать. Ну что ж, если ей так хочется... Шить решили в саду, я переоделась, спустилась в сад, тетя Эдме со своей рабочей шкатулкой уже поджидала меня. Шила долго. Пришила оторванную пуговицу, остальные стала закреплять...

Обмениваемся репликами о погоде, ну, жарко, но пусть лучше жарко, чем дожди, дети весь день на воздухе, нащупав объединяющую нас тему, на ней задерживаемся, какие разные характеры у мальчиков, да и внешне они разные, один смугл, темноволос, другой беленький... Я вновь услыхала, что Коля — вылитый Пьер, тот в детстве был таким же круглоголовым блондинчиком, существует фотография, это сходство подтверждающая,— двухлетний Пьер в платьице на фоне морских волн, это такой задник был у фотографа, где Пьера снимали...

Иголка послушна, нитки покорны маленькой, широкой, умной руке тети Эдме, долго теперь не оторвутся мои пу-

говицы! Что вы сказали, простите? Нет, никогда. Тетя Эдме кивает. Да, да, она вспомнила, что я не могла видеть ее брата, ведь мы с матерью жили тогда в Шанхае, а Пьер с Ольгой в Индокитае, но это все-таки близко, мы поначалу имели сведения, знали об их браке, об их доме, а тетя Эдме и ее мать жили в Оране, за тридевять земель, и почтовой связи с Индокитаем не было несколько лет. Пьер, нежный сын и брат, писал домой часто, а потом эта проклятая война, все связи разорваны, а когда-то Пьер обещал Эдме, своей старшей сестре, ей первой сообщить, если задумает жениться, но она, но они с матерью, лишь из письма, последовавшего за той страшной телеграммой, узнали, что у него жена и ребенок, ребенок, родившийся через пять месяцев после его гибели...

— Телеграмма была подписана «Ольга», а пока не пришло письмо, мы понятия не имели, кто такая Ольга!

Тетя Эдме вскидывает на меня свои темные глаза, я еще не видела в них такого сурового, мрачного выражения, тридцать шесть лет прошло, а рана, нанесенная гибелью брата, все не зажила?

— Когда я думаю, что лето сорок пятого года мы спокойно жили... Ну, не спокойно, конечно, вы же знаете, что делалось тогда в Оране...

(Ничего я не знаю! Спроси меня тогда, где он находится, этот Оран, я бы не ответила!)

— ...когда я думаю, что мы смеялись, разговаривали, завтракали, ходили в кино, а его уже не было на свете, уже месяц, два месяца, три месяца не было на свете...

Опустила голову, замелькала иголка. Молчим.

Зима, весна, лето сорок пятого года.

Шанхай под властью марионеточного, японцами состряпанного, правительства Ван Цзинвея. Центральное отопление не работало, обогревались буржуйками, морозов в Шанхае нет, но промозглую сырость выносишь не легче, нет бензина, стояли автобусы, не видно автомобилей, в ТАСС я ездила на велосипеде, а на чем еще? Все ездили на велосипедах. Денежная единица марионеточной валюты именовалась «сиарби», чудовищная инфляция, чудовищная спекуляция. За каждый пустяк платили десятки тысяч, затем счет пошел на миллионы, полуголод, холод, но не страшно, но выносимо, немцы изгнаны из России, война вот-вот кончится, кончится победой, но мы тут под властью японцев, чем с нами кончится — это еще неизвестно. И Ольга, Ольга! Что там с этим городком Юэ? Га-

зетные сообщения тревожны, а еще более тревожны слухи. Город уничтожен. Гражданское население вырезано. Мать ходила на работу, сидела над ученическими тетрадями, что-то переводила — она умела владеть собой. Май. Победа. Ликование в Клубе граждан СССР. Обнимаемся, целуемся, поем. От сестры все никаких вестей. Лето. Жара, Хиросима. Война Японии с СССР. Нас, сотрудников ТАСС, сначала держат под арестом в служебном помещении, а затем мы проводим два незабвенных дня и одну незабвенную ночь в японской тюрьме. Тюрьма называлась по-английски «Бридж хауз» (Дом у моста), всякие ужасы рассказывали об этом доме, и вот пришлось там побывать. Заключенные сидят в клетках, три стены нормальные, вместо четвертой решетка, выходящая во двор, размер примерно пятнадцать метров, пол цементный, в углу параша, мужчины и женщины вместе. Нас, четырех сотрудниц ТАССа, от наших мужчин отделили, с нами в клетке сидели два китайца и пятеро европейцев: длинные волосы, бороды, засаленная, изодранная, потерявшая цвет и форму одежда; у одного из пятерых вместо бороды какие-то перышки, борода еще не росла, человеку было восемнадцать лет, его звали Марти. Это мы позже узнали, что его звали Марти, что все пятеро — американские летчики, сбитые над Шанхаем, и сидят они в клетке уже второй месяц. Ни коек, ни нар, спать на полу, сидеть на полу, и велено по-восточному (на пятках, поджав ноги), не шевелиться, не шептаться, взад-вперед, как маятник, ходил часовой, но не одна у него поднадзорная клетка, а шесть либо семь, он отходил, его не было несколько секунд (высчитали, сколько именно), мы разминали затекшие ноги, перешептывались и даже шутить пытались, друг друга подбадривая. О чем думаешь в такие минуты? Оплакиваешь свою молодую, нелепо оборвавшуюся жизнь (уверены были, что живыми не выйдем!), пыток страшишься, ужаса долгого пребывания в клетке страшишься... На второй день, часа в три примерно, увели куда-то двух китайцев, мы думали — на допрос. То было пятнадцатое августа. Японский император признал поражение Японии. Этого мы знать не могли, но вот увели китайцев, и что-то изменилось в тюремном режиме, что-то в нем пошатнулось, часовой исчезал не на секунды, на минуты, вот тут мы и стали переговариваться с бородачами. Поздно вечером загремел замок, дверь в решетке распахнулась, нам, четверым, было приказано выйти — американ-

цев освободили на следующий день, о чем мы узнали позже... Мы шли гуськом по открытой галерее второго этажа, задыхаясь от дыма, внизу во дворе горели костры, жгли бумаги (тюремные архивы, по-видимому), шли, еще не веря, что мы свободны, и дым этот был «нам сладок и приятен». Но вот мы за воротами, грязные, с закопченными лицами, мы свободны, знакомые места, река, мост, джонки, сампаны, серые здания набережной, звездное милое небо, боже, как прекрасна жизнь, и какой свежестью, каким счастьем пахнула на нас душная августовская ночь...

— ...в бога я не верю,— говорила тем временем тетя Эдме,— перестала верить, а прежде была религиозной.

Это когда же, это с чего же она заговорила о боге?

— Его убили, и кончилась моя вера! Если бог допустил гибель цветущего, молодого, полного сил человека, если бог мог такое допустить...

Вновь этот мрачный взгляд исподлобья. Не простила. Тридцать шесть лет прошло, а ничего не забыла и богу не простила. А разве только это допустил бог в нашем веке? Но гибель любимого брата ей заслонила все войны, все концлагеря и все газовые камеры. Семья. Культ семьи. Для таких, как она,— семья превыше всего. Ради семьи, ее чести, ее благополучия — готова на все. А, может быть, я фантазирую, может быть, это мориаковские персонажи мне мерещатся? Может быть, все мы так устроены: то, что коснулось нас лично, наших близких, нашей крови, нам важнее всех мировых катаклизмов?

За эти дни я уже поняла, что тетя Эдме человек твердых принципов, твердых понятий о долге, знаю от Вероники, как самоотверженно в течение многих лет ходила она за своей больной матерью, но вот этого тлевшего в ней огня, этого бунта, этого темперамента — не подозревала.

(Я вернусь в Москву и сразу же кинусь разыскивать моей матерью сбереженное письмо сестры от конца октября 1945 года. Достану и прочитаю книгу об Индокитае, ибо впервые за эти десятилетия проснется у меня желание вникнуть в то, что произошло в «городке Юэ»... Я прочитаю: «Своеобразие положения Индокитая по сравнению с другими захваченными Японией странами Юго-Восточной Азии было в том, что она не сместила французской колониальной администрации». А не сместила она потому, узнаю я, что эту администрацию возглавлял адмирал

Деку, ставленник Виши. Но после июня 1944 года, после вступления во Францию союзных войск, позиция Деку изменилась. Он отказался сотрудничать с японцами. 26 сентября 1944 года Деку заявил, что судьба его администрации будет тесно связана с судьбой деголлевской Франции. Вот тут Япония и решила покончить с французской администрацией... Из этой книги я узна́ю, что «городок Юэ» не городок был вовсе, а город, столица Аннама. И в принятой нами транскрипции название его пишется так: «Гуэ». «Девятого марта 1945 года японские власти в Индокитае разоружили французские гарнизоны, арестовали представителей французских властей... Но японцы встретили ожесточенное сопротивление индокитайского народа, аннамитских и части французских войск, расположенных в Индокитае». Столица Аннама город Гуэ был в числе тех, кто оказал ожесточенное сопротивление...

«В девять часов вечера,— писала сестра,— японцы неожиданно напали, Пьер и его солдаты защищали свой пост. В полночь Пьера убили».

Одна из судеб, стоящая за словами: «оказали ожесточенное сопротивление». Один из тех, кто попадет в число погибших, цифру сообщат газеты, «столько-то тысяч», цифру неточную, приблизительную, газетная строчка, по которой скользнут глаза. А за нею — что? Где он был в момент неожиданного японского нападения, этот молодой человек, на которого похож наш Коля? Дома, вероятно, ведь вечер. Назавтра ждал из Сайгона жену, успел обклеить обоями комнату, предназначенную быть детской, и, быть может, в тот вечер, насвистывая, любовался плодами трудов своих, а под ногами вертелась собака Тимми и громко залаяла, когда раздался... Что именно? Стук в дверь? Сигнал тревоги? Звон колокола раздался, того самого, что звонит по каждому из нас?.. Переоделся, рванулся в переднюю, собака за ним, отогнал ее, выскочил наружу и захлопнул дверь дома, которым гордился и куда ему уже не вернуться... «Эти полтора года мы были очень счастливы... Знаешь, мама, я хотела иметь ребенка, чтобы у него все было, а у нас с ней нет ничего. Она похожа на Пьера, такое же квадратное личико... Беспокоюсь о вас, давно нет вестей из Шанхая. Ты, вероятно, очень устала от этой жизни, моя бедная мама! Боже мой, наступит ли прекрасный день, когда будет мир и не надо будет поминутно дрожать за своих близких...»)

— Ну вот и все,— сказала тетя Эдме,— теперь ваши пуговицы долго не оторвутся!

Улыбнулась. Я тоже улыбнулась и, привстав, сказала, что очень ей благодарна. В ту минуту я и сама не знала — насколько же я ей благодарна!

Она ушла, забрав свою рабочую шкатулку, я осталась в саду. Браться за книгу не хотелось. Да и какая уж тут книга, вон слышны голоса, наши вернулись с пляжа, сейчас мальчиков поведут под душ, иногда это проходит гладко, иногда с капризами, затем в пижамах, с влажными головенками они выйдут в столовую. Сверху, напевая «тум-ту-ру-рум», спустится дядя Поль с его журавлиными ногами, маленькой головой на длинной шее, добрым лицом, умытый, переодевшийся. И усядется за овальный стол наша пестрая семья.

Вечерние длинные тени. С улицы слышны шаги, французский говор, все дружно идут с пляжа, близится священный час вечерней трапезы. Серая стена виллы, крыша из мелкой черепицы грифельного цвета, вон окно моей комнаты, полуприкрытое ветками орешника. Я встала, захватила платье, книгу, обвела глазами сад, вновь радуясь его запущенности, забор тонет в густых зарослях, забора не видно, кажется, что сад бесконечен, а что это тихо белеет в том отдаленном уголке? Березка. А я и забыла о ней! «Гой ты, Русь,— сказала я березке,— моя родина кроткая...»

5

Мы с Жилем отправляемся в концерт. Концертный зал в том же здании, что казино, сдается под гастроли приезжих знаменитостей, а в обычные дни там кино показывают. На стендах набережной висят афиши; в прошлом году они нас оповестили о концерте Святослава Рихтера, гастролировавшего во Франции, мы обрадовались, Жиль кинулся за билетами, билеты еще не продавались, а вскоре из тех же афиш стало известно, что концерт отменен, что до нашего курорта Рихтер не доехал... Жиль любит классическую музыку, часто ее слушает, разбирается в ней, и дома у него магнитофон, и в автомобиле, на кассетах записи симфоний, фортепианных и скрипичных концертов, фортепиано соло... За обедом Жиль сообщает мне, что на днях в зале казино концерт пианиста Жоржа Шифра. Уговаривать меня не надо, слушать фортепиано я го-

това всегда, и вот мы идем, вернее, едем, здание казино от нашего дома довольно далеко...

Жара и к вечеру не спала, в зале душно, кто веером обмахивается, кто — программкой, одежды легкие, летние, но пристойные, явиться на концерт в коротких штанах никому в голову не придет, молодым, быть может, такое в голову бы и пришло, но молодых почти не видно, тут люди среднего и пожилого возраста, много седых и лысых голов. На эстраде рояль с золотыми буквами «ЯМАХА», вижу впервые, привыкла к «Стейнвею». Жиль говорит, что рояль японский, и вот уже несколько лет, как «Ямаха» всех победил, вытеснив с концертных эстрад другие марки роялей. Ну японцы, ну нация! Страна восходящего солнца, цветущей вишни и горы Фудзияма. Полоска земли, омываемая морями, взрываемая землетрясениями. И на этой непрочной полоске такую промышленность развернули, такого высокого качества достигли, что обогнали на мировом рынке своих конкурентов во множестве областей! Корабли, автомобили, бытовая электроника — и теперь вот еще и рояли!

На пианисте, рыжеватом мужчине средних лет, не фрак, а светлый летний костюм и голубая рубашка. Программа концерта облегченно курортная: часто исполняемые вальсы и мазурки Шопена. Эта узнаваемость публике приятна, бьет без промаха, все очень довольны, а какая-то за нами сидящая дама даже подпевает... На требование бисировать пианист сказал: «Ну что? Опять вам Шопена сыграть?» Второй раз бисировать отказался. Распахнул пиджак, продемонстрировав залу потемневшую от пота грудь рубашки: «Пощадите, месье-дам! Сами видите! Жарко!» Смех. Аплодисменты. Очень все непринужденно.

О качестве игры его судить не смею. Тут я доверялась Александру Александровичу, он в этом понимал, сам немного играл на рояле, в музыке толк знал, много ее слушал, в своих вкусах был пристрастен, недостатком это не считал («нельзя быть всеядным!»), в последние годы жизни невзлюбил Шопена («Да разве сравнишь его с Шуманом!»), восхищаясь Рахманиновым-пианистом, к произведениям его был более чем холоден, любил Моцарта и Брамса, а Бетховена — очень выборочно, но самыми любимыми были у него, пожалуй, Мусоргский и Прокофьев.

Мы с Жилем пробираемся к выходу, поминутно извиняясь, выбрались наконец. Перед нами набережная, фонари, блеск в одну бесконечную линию выстроившихся авто-

мобилей, толпа гуляющих, а за этим — океан с серебряной от полной луны дорогой. Меняются времена, меняются люди, жизнь на земле меняется, а ему дела нет, он горд, он вечен, он без внимания к этой человеческо-автомобильной суете. Идем к автомобилю. Его еще разыскать надо среди многих прочих. Этот наш? Нет, не этот. Наш дальше.

В Ялте зал местного театра тоже отдавался под концерты приезжих гастролеров, мы там как-то слушали пианистку Маргариту Федорову (Александр Александрович очень ее игру одобрил!), а выйдя, тоже видели набережную, другую, чем эта, окаймленную пальмами, куда более пустынную, и ни единого автомобиля, путь на набережную автомобилям был закрыт. Только море похоже. Все моря, вероятно, похожи друг на друга, когда они спокойны и освещены луной. Сколько апрелей мы провели в Ялте? Семь? Восемь? А ведь я туда больше никогда не поеду.

Народу-то, народу! Ходят, сидят на парапете спиной к океану, на скамьях лицом к океану, едят мороженое, смеются, переговариваются, окликают друг друга. Иная музыка языка, иные интонации, иные междометия, наших «ой», «ох», «да ну?» здесь не услышишь, тут восклицают, тут удивляются по-своему... Я в Европе с моей русской тоской... Это откуда? Достоевский, конечно. Но ведь тот же Достоевский устами того же Версилова говорит, что «русскому Европа так же драгоценна, как Россия: каждый камень в ней мил и дорог... и даже это нам дороже, чем им самим!». Да нет, мне здесь хорошо, мне отлично, по отечеству не скучаю, скоро я туда вернусь — к своим друзьям, к своим книгам, к своей привычной жизни.

Дом спит. Мы с Жилем осторожно поднимаемся по лестнице, наверху прощаемся, расходимся. Оказывается, спят не все. Легкий стук в мою дверь: Вероника. Она ко мне иногда наведывается по вечерам, когда дом затихает, посидеть, поговорить, выкурить последнюю сигарету.

Я люблю эти вечерние посещения: они вновь подтверждают нашу с Вероникой душевную близость. И с кем еще здесь можно вести русские нескончаемые разговоры о жизни, о литературе, о несовершенстве мира, о политике, наконец? Не на все мы смотрим одинаково, иной раз и спорим, но — близки. Веронике нужны эти беседы, мои приезды, мое присутствие, я не лишняя в ее доме. Сознавать это радостно еще и потому, что помогает мне оправдывать

в собственных глазах ту роскошно-бездельную жизнь, какую я здесь веду...

Наполовину француженка по крови, родилась в Сайгоне, раннее детство в Оране, девочкой жила в Германии, затем Париж прочно и навсегда. В Москву впервые попала пятнадцатилетней, откуда же в ней эта тяга к России, почему ей так сразу по сердцу пришелся Александр Александрович с его страстной любовью к своей науке и своим ученикам, к музыке, к шахматам, к охоте, с его равнодушием к чинам, званиям и прочим внешним признакам успеха, с его шутками, чудачествами и непременными рюмками водки перед обедом и ужином? Человек для западного восприятия нелегкий — чем он пленил эту девочку, пришедшую к нам из иных миров? И сам он расположился к ней с первого взгляда, у них возникла переписка, она обращалась к нему в письмах: «мон шер онкль», он к ней: «ма птит». Изображать французские слова кириллицей — это одно из любимых увеселений Александра Александровича, сразу усвоенное и подхваченное Вероникой, до чего она быстро все схватывает! После того первого раза она стала ездить в Москву почти каждый год, стремилась сюда, ей было хорошо у нас, с нами. «Город, который так любит Вероника!» — сказала однажды моя сестра, идучи со мной по какому-то арбатскому переулку... Гены, гены, их капризы, их затейливые комбинации,— ну как иначе это объяснить?

6

В доме новые гости: родители Жиля.

Пьер (домашнее имя «Дади») немного моложе дяди Поля, а Габриэль — тети Эдме. Эти две пожилые пары друг на друга непохожи, особенно дамы. Тетю Эдме с ее маленькими, широкими, лишенными украшений руками так и видишь в саду (копает, подрезает, поливает) или на кухне — поверх платья фартук с карманами, помешивает в кастрюле, пробует, подливает, подсыпает. Что касается Габриэль с ее золотыми украшениями и элегантными, обманчиво простыми летними туалетами, ее легко себе представить среди дам, приглашенных на очередной показ моделей у Кристиана Диора. Это не значит, однако, что Габриэль ведет беспечную жизнь богатой дамы. Богатство когда-то было, его уже нет, от него осталась лишь хорошая квартира в хорошем парижском квартале. Габри-

эль от хозяйственных забот не избавлена, стряпает, и убирает, и покупает. Но это где-то за кадром. Вид у Габриэль такой, будто она далека от прозы жизни и всегда пребывала в долине роз. Начитанна, образованна. Следит за прессой. Если для тети Эдме наша жизнь так загадочна, что и вопросов не возникает, то у Габриэль какие-то представления имеются, вопросы появляются, ну, несколько поверхностные, светским тоном задаваемые — но появляются. Стройна, подтянута, подвижна, рыжевата, белокожа (руки в веснушках), и всегда эта сияющая улыбка, эта западная светская улыбка — а что за ней — неизвестно. Кое-что, впрочем, известно: роль свекрови выполняет блистательно. Тактична, ни во что не вмешивается и всегда готова, бросив все свои дела, по первому намеку, прийти на помощь Веронике.

Ее муж «Дади» ростом высок (но ниже дяди Поля и в плечах шире), немногословен, очень добродушен, одет всегда как картинка.

Мне очень нравится слушать, как Габриэль говорит с детьми. Без сюсюканья, серьезно, уважительно, как с равными. И никаких окриков, никаких замечаний, если упрек, то в форме вопроса: «Ты не находишь, что этого делать не следует?» И вообще мне нравится слушать Габриэль: прекрасный литературный язык, прекрасная дикция, каждое слово понятно — это говорит мое уходящее поколение, как бы оно, уйдя, не унесло с собой и этот язык! Когда между собой разговаривают молодые французы (бешеный темп, жаргонные словечки), я половины не понимаю, я прихожу в отчаянье, господи, сколько же времени и сил убито на овладение этим языком, и все напрасно, и я — бездарна! Но вот заговорили пожилые французы, и мне понятно все, и можно жить, уважая себя.

Две эти пары объединяет любовь к внукам и еще — Алжир: и те, и другие провели там детство и молодость. Живучи там, знакомы не были, но воспоминания об Алжире — неисчерпаемая тема их бесед.

Семья увеличилась, за большим овальным столом уже не только родственники жены, но и родственники мужа, стол захлестнула стихия французского языка, французских восклицаний, французского смеха, отдельные русские слова (ими обмениваются на том конце стола Вероника с Агатой) потонули в этой стихии... Я-то в нее погружена с головой, справа — дядя Поль, слева — Дади, рядом с ними их дамы, беседа оживленная, тема — Алжир, ну

как же, известный был врач, неужели не помните? Ах, это тот, который жил на той улице, где... Да, да, вот именно!

Время от времени эти диалоги прорезает голос Вероники, она обращается к сыновьям, она говорит с ними только по-русски, произнося слова громко и четко: «Дима, где твоя салфетка? Опять на полу?», «Коля, если ты сыт, можешь встать из-за стола!»

Звуки чужого языка, обращенного к их внукам, Эдме и Габриэль воспринимают по-разному. На лице Эдме появляется выражение некой покорной отрешенности: не знаю, зачем это нужно, но не мое дело, не вмешиваюсь, молчу. А у Габриэль такой вид, будто она впитывает в себя эти непонятные звуки и — восхищена. Делится восхищением со мной — как мелодичен ваш язык! Что-то общее с итальянским, не правда ли? Обожаю, когда при мне говорят по-русски!

Ну, я думаю, тут налицо некоторое преувеличение, но эта любезность мне приятна.

Идем наверх в гостиную пить кофе. Я бы не прочь сразу улизнуть к себе, но порыв этот сдерживаю, надо побыть в семейном кругу, отвечать на светские вопросы Габриэль, быть может, придумаю что-нибудь рассказать им забавное, ну, в общем, надо включаться, надо помогать Веронике развлекать гостей. Болтаем. Мило. Оживленно. Касаемся разных тем, задержались на автомобильной. Автомобилей все больше, много аварий, ездить по Парижу становится пыткой, поставить машину совершенно некуда, а в Москве как? Отвечаю. Эдме автомобилей не любит, автомобилей не водит, вообразите, и Габриэль тоже!

— Мой отец ко дню моего рождения решил сделать мне сюрприз. Отец меня очень баловал! Утром под каким-то предлогом вызвал меня наружу, и там на площадке перед домом — автомобиль! Это было, я хорошо помню, в 1932 году! Сколько же лет мне исполнилось? Постойте, если я родилась в...

И Габриэль называет год своего рождения. Эдме воспринимает это спокойно, я же — изумлена, потрясена и даже восхищена. Нет, не каждая на такое способна! Большинство дам, особенно типа Габриэль, моложавые, элегантные, цифр называть не любят, цифр боятся, в их присутствии не рекомендуется погружаться в воспоминания. Не раз я видела, как расширялись от ужаса глаза женщины, муж которой в присутствии посторонних наивно произносил: «Помнишь то лето, кажется, в начале три-

дцатых годов, когда мы отдыхали в Сочи, и на твой день рождения...» «Остановить его, удержать! — читалось в глазах женщины.— Успеть, пока он не назвал еще одной роковой цифры...» Так же, вероятно, трепетал представитель дикарского племени, если кто-то неопытный допускал в разговоре неосторожность, могущую повлечь за собой произнесение «табуированного» слова... Да что о других говорить! Ведь и сама я, хотя притворяюсь, будто мне все равно, своего возраста я не прячу, на самом-то деле, ну не прямо, а намеком пытаюсь убавить себе год-другой, хотя разумом понимаю, что это, в сущности, ничего, ничего не меняет!

В моей комнате ждет меня томик Тэффи, ее недавно переизданные в Париже «Воспоминания». Любимая писательница моих отроческих и юношеских лет. Ее юмор мне близок особенно, свои ранние фельетоны я писала под ее влиянием. «Воспоминания» я читала очень давно, видимо еще в Харбине, и с тех пор не перечитывала.

В доме тихо, все ушли куда-то, в саду жарко, стол, стул и скамья залиты солнцем, ветки орешника тянутся в мое окно, а оказывается, я кое-что помню из этой книги, антрепренер Гуськин, уговоривший Тэффи ехать на юг (с чего и началась ее эмиграция), оказался старым знакомым, его смешные фразы и словечки из памяти не ушли, я их часто вспоминала, я только забыла, откуда они! Внезапно, вместо французского окна, выходящего во французский сад, я увидела небольшое, почти квадратное окошко, глядевшее на тихую, пыльную харбинскую улицу, ну, конечно, вот где я читала впервые эти «Воспоминания»! В нашей последней приличной квартире из трех крошечных комнат, мы там прожили год с весны 1931-го по весну 1932-го, матери эта квартира была не по карману, съедала все, что мать зарабатывала, я стыдилась своего перелицованного пальто, кроме школьной формы было у меня всего одно платье, думалось, что дальше будет лучше, а дальше было еще хуже... Через это окошко однажды весенним вечером я убежала в театр. Помню, как я переодевалась, испуганно прислушиваясь, как старалась бесшумно открыть, а затем затворить за собой окно, от матери эту эскападу следовало скрыть, но почему все-таки окно? Почему нельзя было с теми же предосторожностями выйти через дверь! Не помню! Недели за две до этого мать взяла меня с собой на спектакль «Осенние скрипки» в Коммерческое собрание, играли лю-

бители, лишь о главном режиссере Орлове было сказано в афишах, будто он «бывший актер московского Малого театра», а о жене его, Сабине Верлен, тоже сказано, что она играла в каком-то провинциальном русском городке. Орлов играл в «Осенних скрипках» адвоката, Верлен — его жену, влюбленную в молодого помощника мужа: последнее чувство стареющей женщины. Помощник был рыжеват, непривлекателен, я не понимала, как можно было его предпочесть сумрачно-красивому Орлову,— как он мне нравился! Верлен (черные с проседью волосы, зелено-серые глаза, цыганский с хрипотцой голос) тоже нравилась. Плакать я начала со второго акта: городской сад, последнее свидание любовников, падают листья, осень, таперша играет печальные вальсы. В антракте мать, встретив кого-то из знакомых, говорила, что Орлов бездарен, Верлен вульгарна, да и пьеса дурна — типичная мелодрама! «И все же в этих ролях я помню Книппер и Вишневского!» Покосившись на меня, мать добавила: «Ведь наши несчастные дети ничего в жизни не видели!» Но я была тем наивным и простодушным зрителем, который все принимает за чистую монету, и попытка объяснить ему, что монета фальшивая, вызывает у него отпор и раздражение. Домой мы ехали в старом дребезжащем «маршрутном» такси, с нами посторонние люди, было темно, я продолжала плакать, стараясь лишь громко не всхлипывать, я вновь слышала голос Орлова: «скрипки осени... флейты весны». Эти слова, этот голос, музыка печального вальса звучали в моих ушах и казались такими нестерпимо, невыносимо, душераздирающе прекрасными... Мы приехали, я, пряча лицо, сразу пошла в комнату, где уже спала Гуля, а мать сказала мне вслед: «В этот театр ты больше не пойдешь!» Но я пошла. Тайком. Хотя никак не вспомню: почему все-таки через окно? Пьеса «Мораль пани Дульской» меня разочаровала, но влюбленность в Орлова и Верлен еще какое-то время продолжалась, и однажды, когда я встретила Верлен на улице (серое пальто в талию, серая шляпка, вуалетка), сердце мое дрогнуло, упало, я повернулась, пошла следом, и ветер доносил до меня запах ее крепких духов. Она вошла в какой-то дом, и позже я не раз делала крюк, чтобы мимо этого дома пройти... Вскоре Орлова и Верлен вытеснил из моего сердца опереточный актер Валин, в театр оперетты мать разрешала мне ходить, давала мне свои, из газет полученные, контрамарки, я не раз смотрела «Сильву», «Баядеру», «Роз-Мари», восхищаясь

Валиным, игравшим роли простаков... Летом 1932 года, изгнанные из той приличной квартиры, мы жили на окраине Модягоу, две комнаты, никаких удобств, зато палисадник с подсолнухами и можно делать вид, что мы живем на даче. Восьмого сентября, в Натальин день, было по-летнему жарко, пришли друзья, бывшие одноклассники, пили чай в палисаднике, мать ни за что не желала отказаться от привычки праздновать дни наших рождений и именин. Не помню лиц друзей, не помню, сколько их было, все прислушивалась к шагам на улице, ждала, не скрипнет ли калитка. Шаги слышались, калитка скрипела, кто-то приходил, но не тот, не тот, кого я ждала... За неделю до этого я написала письмо Валину, хотя не была с ним знакома, приглашая его в гости на именины, писала, надеясь на чудо, на «а вдруг?», скрыв от всех этот поступок. Гости разошлись, стемнело, а я все сидела в палисаднике, знала, знала, что никто не придет, а все-таки сидела, уже стыдясь своего письма, своей нахальной самоуверенности, какое счастье, что о письме никто не знает, кроме Валина, но он ведь никогда меня не видел, имя мое ему ничего не скажет, он забудет, забудет... Моя не сбывшаяся тогда мечта (увидеть любимого артиста у себя, в домашней обстановке) осуществилась через полвека: Валин, живущий в Москве, недавно был у меня в гостях: седой, худой, восьмидесятилетний человек. Все мечты когда-нибудь непременно сбываются, но часто так поздно, так не вовремя, что давно перестали быть мечтами, давно забыты и вытеснены другими... Ну, а в той полудеревенской квартире мы прожили, кажется, до октября, а потом уже стали жить втроем в одной комнате, но мать тем летом все не теряла надежды удержаться на уровне квартир, и бог мой, как она работала! Лишь в воскресенье оставалась дома, могла спокойно почитать в палисаднике с подсолнухами, тихо, зелено, звонят колокола в маленькой церкви при детском приюте «Дом милосердия», кончилась обедня, доносится говор расходящихся богомольцев, снова тихо. Наслаждаться бы матери этим отдыхом, но много лет спустя я прочитаю в ее дневнике запись, сделанную именно тем летом тридцать второго года: «Боюсь воскресений... Девочки скоро уйдут от меня. Одиночество, которое и сейчас начинает угнетать, со временем будет еще тяжелее». Прочитав эти строки, я сразу вспомнила ее лицо, ее слова: «Куда ты? Посиди дома, ведь я тебя совершенно не вижу!» Я бормотала, что иду к подруге, меня там

ждут, но если мама настаивает... Усаживалась с видом жертвы: глядите на меня, здесь я! «Расскажи мне...— начинала мать и тут же — сердито:— Хорошо, хорошо, иди куда шла, иди!» Знаю: на себя сердилась в эти минуты больше, чем на меня: унизилась до просьбы! Ну, а я уходила. Не скажу, чтобы радостно, чтоб с легким сердцем, нет, смутное чувство вины присутствовало, но — уходила. Осенью начались занятия в Ориентальном институте, а дела наши становились все хуже, в дверь комнаты громко, требовательно стучали зеленщики, товарники и прочие лавочники («только тетки и кредиторы звонят в таких вагнеровских тонах!»), мы с Гулей цепенели от этих стуков, годом позже, немного освоив в институте китайский, я пыталась задобрить кредиторов, произнося несколько вежливых фраз на их родном языке, как все это было унизительно, о моя юность, о моя свежесть!

Что за крики доносятся в окно из этого французского сада? А, да они все там, я имею в виду дедушек, бабушек и детей. Дедушки и дети играют, а бабушки сидят на скамейке в роли болельщиков. Игра французская национальная: «буль», что означает — «шар». Этот шар, размером с теннисный мяч, не знаю, из чего сделанный, но довольно тяжелый, швыряют с определенного расстояния, целясь в другие шары, стремясь в какой-нибудь попасть и сдвинуть с места. А как же Коля с его маленькими ручонками? За него, как бы вместе с ним, швыряет шар дядя Поль, согнувшись, сложившись пополам, голова у колен, ну, молодец, другой в его годы, быть может, и согнулся бы, но вот разогнулся бы — вряд ли! Дади пытается швырять за Диму, но Дима самостоятельный и гордый, сам бросает шар, насколько силенок хватает, Коля немедленно делает то же самое (во всем подражает брату, своему кумиру!), падает от чрезмерного усилия, волненье бабушек, нет, Коля не ушибся, Эдме кричит мужу: «Поль! Поль! Следи, чтобы он не уронил шар на ногу!» О, какой удачный удар произвел Дима в компании с Дади, смех, аплодисменты. Чудесное передо мной зрелище — этот запущенный сад в вечернем освещении, эти два старых господина, увлекшиеся игрой не меньше, чем их внуки, азарт и смех детей, и две любящие бабушки: Эдме в своем пестреньком, скромненьком и элегантная Габриэль в полотняном открытом платье желтого цвета и

сандалиях... А ведь именно тем летом тридцать второго года юная Габриэль получила в подарок автомобиль! Происходило это в Алжире, а вот как именно? Утром отец Габриэль таинственно поманил дочь, она вышла на крыльцо и увидела... Да нет, какое там крыльцо, это у нас в Модягоу было крылечко, выходившее в палисадник с подсолнухами, а там... Понятия не имею, что было там! Мне мерещится белая вилла, желтый песок, синее море и хорошенький, красненький блестящий автомобиль, короче говоря, что-то кинематографическое мерещится... Снова визг. Дима, нарушив расстояние, но зато самостоятельно, сбил шар, общий восторг, бабушки аплодируют, Коля обнимает брата, два маленьких француза, две головенки, темная и светлая, внуки Габриэль, внуки моей сестры и правнуки моей мамы, мамы.

7

Днем ожидаем последних гостей: Катю и неизвестного молодого англичанина. Ждали одну Катю, но на днях она позвонила: можно ли привезти с собой приятеля? Вероника удивилась, но разрешила. Тетя Эдме и дядя Поль нас сегодня покинут. Вскоре после второго завтрака Жиль повезет их к поезду. Завтрак будет очень многолюден, соберется напоследок вся семья плюс неизвестный англичанин. После кофе Вероника и Агата удаляются на кухню, всю компанию надо кормить, работы много. Жиль и его родители уводят детей на пляж. Тетя Эдме идет к себе укладываться. Мы с дядей Полем читаем газеты в гостиной.

Я их, впрочем, почти уже не читаю. Я к ним охладела. Я, стыдно сказать, живо интересуюсь лишь погодой, программой телевидения и сообщениями о том, что идет в кино. Все остальное проглядываю «по диагонали», как принято теперь выражаться.

Франко-иранские отношения. Иран требует выдать бывшего президента Бани Садра, сбежавшего в Париж. Угрожает держать заложниками 116 французов, проживающих в Тегеране... Забастовка на американских аэродромах диспетчеров воздушного транспорта, поддержанная их коллегами во Франции. Белфаст. Встреча Рейгана и Садата.

Снова забастовки. Снова терроризм. Розыски убийц, вырезавших в Марселе целую семью. Наследница богатей-

шей немецкой фирмы «Опель» от скуки и ради сильных ощущений занялась контрабандой наркотиков. Ее арестовали, но, кажется, уже выпустили, я не уследила... Юная мотоциклистка, остановленная на улице Парижа за нарушение правил дорожного движения, выстрелила в полицейского. Оказалось: она член какой-то банды и стреляла на нервной почве — думала, что ее опознали... Очередной «холд ап» в парижском банке: двое в масках направляют оружие на служащих и клиентов, третий в маске забирает деньги, затем грабители вскакивают в поджидающий их автомобиль и, отстреливаясь, удаляются. Отстреливаются потому, что к месту происшествия уже подоспела полиция. Ранен случайный прохожий, одна из пуль попала в окно парикмахерской. Все это происходило среди бела дня в том оживленном квартале, где живет Вероника, просто в двух шагах! Счастье, что мы все здесь. Ведь кто-то из нас мог вполне оказаться в роли ни в чем не повинного случайного прохожего! Вторую неделю одно из отделений парижской полиции бьется над расследованием какого-то убийства. Сотрудник отделения жалуется в газетной статье: замучили добровольные свидетельницы! Старушки, живущие в том же квартале, где совершено убийство, жаждут помочь полиции: одна видела что-то из окна, другая, проходя мимо, заметила... Это одинокие старушки. За весь день им не с кем словом перемолвиться. Одно развлечение в магазин сходить, но там не разговоришься, кто тебя слушать станет? Вот они и идут в полицию, где их по долгу службы терпеливо слушают, но толку от их многословных рассказов пока никакого... Беда, когда человеку некуда пойти!

Убийства. Грабежи. Терроризм. Наркотики. Голова пухнет.

Но разве я приехала из страны, где ничего уголовного нет? Но вот принципы журнализма — разные. Об уголовно наказуемых деяниях и печальных происшествиях наша печать сообщает сдержанно, и, думается, далеко не обо всех. Их пресса — наоборот — любит щекотать читательские нервы подробными описаниями разных, мягко говоря, неприятных историй. Я не собираюсь рассуждать о том, какой принцип лучше, к тому же моего мнения никто и не спрашивает, я лишь пытаюсь объяснить, почему пухнет от чтения газет моя голова. Она не привыкла к этому потоку информации...

Сижу в своей комнате, уперлась глазами в сад, в зе-

лень, в лужайку, стараюсь привести в порядок растрепанные мысли. Легкий стук в дверь. «Да, да!» — кричу, уверенная, что это Вероника. Но на пороге тетя Эдме. За ней возвышаются плечи, длинная шея и маленькая голова дяди Поля. Оба впервые переступили порог этой комнаты, оба улыбаются. Вскакиваю. Тоже улыбаюсь. Проститься пришли? Прошу их сесть. Нет, спасибо, им некогда. В руках тети Эдме плоский квадратный пакет, в темно-красную бумагу обернутый, алыми лентами перевязанный. Стоя, держа пакет за края, как поднос, тетя Эдме произносит маленькую речь. Они с Полем рады, что мы наконец познакомились. (Дядя Поль кивает, подтверждая.) Столько обо мне слышали и вот наконец встретились! Бормочу, что тоже очень рада. А это — маленький подарок. (Пакет передается мне, беру растерянно.) Пластинка. Фортепианный концерт Шумана. «Вы как-то сказали, мадам Наташа, что любите этот концерт». Кладу пластинку на стол и обнимаю тетю Эдме. Затем — дядю Поля. Подумать только: она запомнила то, что я сказала! И сказала-то, вероятно, не ей, а в разговоре с Жилем, мимоходом, и сама об этом забыла, а она услышала и запомнила! «Спасибо, спасибо! Как это мило с вашей стороны!» Пустые слова, других не придумаю, а тронута искренне...

Ну что ж, тетя Эдме. Отныне этот издавна мною любимый концерт свяжется с вашим появлением на пороге комнаты, с вашими маленькими руками, державшими пластинку, как поднос, с вашим лицом и с кроткой улыбкой дяди Поля...

Молодой англичанин, привезенный Катей, темноволос, строен и красив. Зовут его Джон. Кто он ей? Жених? Возлюбленный? Мы ничего не знаем. По-видимому, и он о нас ничего не знает. Позже нам стало известно, как было дело. Он спросил Катю, где она проводит уик-энд? У сестры на курорте в Бретани. И если сестра разрешит, он тоже может с ней поехать. Сестра разрешила, они сели в самолет и поехали. Ну хоть бы в самолете ей рассказать Джону, в какую пеструю компанию он попадет! Но, быть может, в самолете оба надели наушники и, от всего отключившись, погрузились в мир музыки. Не знаю. Во всяком случае, выражение растерянности не покидало лица Джона во время второго завтрака. Обилие пожилых

родственников. Кто, кому, кем приходится? Это ему сообщили, знакомя, но где ж запомнить! А главное — за столом одновременно звучат два языка, и на второй, уж совершенно Джону непонятный, откликаются маленькие дети!

По правую руку Джона — Катя. По левую — я. За столом звучат уже три языка. Не семейный завтрак, а заседание Организации Объединенных Наций!

Джон был мил, вежлив, улыбался, а в глазах растерянность: господи, где я, куда я попал? Я решила ему все объяснить, но еще больше его изумила. Из Москвы? То есть как из Москвы? Вы там постоянно живете? Да, я там постоянно живу. Никогда еще не приходилось Джону близко видеть человека, постоянно живущего в Москве. Интересно. Даже экзотично, но он просто не был к этому готов! Чтобы немного его отвлечь, я стала спрашивать, чем он занимается (брокер, как Катя), живы ли его родители? Да. Живут в Гонконге. А сам он живет в Лондоне. Но родился в Бангкоке. В течение нескольких неприятных секунд я не могла вспомнить, где он находится, этот Бангкок. Вспомнила. Таиланд. Отлегло. И все же, и все же... Мало мне Орана, Гуэ, Сайгона, Парижа, Лондона! Ведь если Катя вздумает выходить замуж за этого юношу, к моей жизни еще и Бангкок с Гонконгом примешаются!

Всей компанией идем на улицу проводить тетю Эдме и дядю Поля: Жиль везет их в Нант к поезду. Было много восклицаний, трогательного прощания с детьми, поцелуев, объятий, обещаний писать, все, включая Колю, сидевшего на руках у Дади, махали вслед автомобилю. Махал и Джон, с тем же выражением растерянности. Он, по-моему, так и не взял в толк: кто именно уехал, куда и почему.

Под вечер сижу в саду с книгой. Тишина нарушается смехом, английским говором, доносящимся с площадки перед домом. Откуда-то вернулись Катя и Джон. Окликаю по-русски: «Катерина! Поди-ка сюда!»

Явилась. В теннисном облачении: белые шорты, белая рубашка, кеды, носки.

— Да, тетка? (Ей нравится так меня называть.)

— Скажи, кто он тебе, этот Джон?

— О! Просто знакомый.

— Давно ты его знаешь? Где познакомилась?

— Одна неделя. Встретила у друзья.

— Замуж за него не собираешься?

— О, нет, тетка. Он хорошо играет в теннис.

— Ладно. Беги.

Итак: знакома всего неделю, притащила его сюда в качестве партнера для тенниса. Отплыли, значит, от меня Гонконг, где он родился, и Бангкок, где живут его родители. Ах, нет. Наоборот. Родился в Бангкоке, а родители живут в Гонконге. Впрочем, зачем я напрягаюсь? Теперь мне это все равно. Эта география меня уже не касается. И, по-видимому, не коснется.

Но откуда мне известно, что коснется меня, а что — нет?

И кому из нас вообще дано это знать?

РЕФОРМАТСКИЙ

А под утро мне снилась тоска. Это очень трудно объяснить словами.

(Из дневников А. А. Реформатского) [1]

I

Разбирая папки с бумагами в поисках чего-то внезапно понадобившегося (чего так и не нашла), я наткнулась на запись:

«Весь вечер читала Блока и о Блоке. Тут же, как это со мной обычно бывает, захотелось о прочитанном поговорить, и вопросы возникли, и я рванулась в соседнюю комнату. Где было пусто. Где его нет. Не могла же я забыть о том, что его нет. Сработала многолетняя привычка устремляться в соседнюю комнату, когда надо чем-то поделиться, о чем-то спросить. Автоматическое движение. Голова, занятая Блоком, в этом движении не участвовала. Ноги сами понесли...»

Под этими неизвестно зачем написанными строками — нет даты. Но я вспомнила, когда это было: декабрь 1978 года. Зима жестоких морозов. Первая зима после его кончины. Ещё эта соседняя комната, его кабинет, оставалась такой, какой была при нем. Лишь большой письменный стол

---

[1] Все последующие эпиграфы взяты оттуда же.

очищен от загромождавших его бумаг и книг. И поблескивало под лампой покрывавшее стол стекло. Оно было поставлено на пол и прислонено к стене в те первые два дня, когда на столе стоял гроб с его телом, а потом мы снова положили стекло на непривычно пустой стол. Всю поверхность стола оно не покрывало, да и вообще не сравнить его было с тем первым прекрасным толстым стеклом, где углы были скруглены, в точности повторяя форму крышки стола, его — стекло — сделали по заказу летом 1957 года, когда все переселялись в этот только что отстроенный дом, въезжали фургоны, привозившие новую мебель, грузовики, перевозившие старую, по двору бродили русские умельцы, предлагавшие свои услуги, вот один из этих умельцев и достал нам стекло, и разрезал его. Пусть под бумагами и книгами стекла не так уж было видно, но его прелестно закругленные края видны были и очень мне нравились, я просто гордилась ими. Это было мое первое прочное пристанище за всю жизнь, первая своя мебель, мне все нравилось, я всем гордилась, но этим стеклом даже как-то особенно. Погордилась не слишком долго... Как я помню этот резкий, остро-звенящий звук и горестное восклицание, донесшееся из соседней комнаты! И эту у стола застывшую фигуру — в одной руке молоток, в другой — ботинок. Виноватая усмешка: «Ну, дурак, ну, сукин сын, разбил вот... Только не кричи, пожалуйста!» Но разве я умела когда-нибудь не кричать? Да еще такой случай представился! Забивать молотком гвоздь в башмаке, положив башмак на стекло, нет, такого нарочно не придумаешь, такое не поддается... О чем ты думал? О чем? О своих фонемах? (Морщится, не любит, когда небрежно, походя касаются его «святого ремесла».) И все же, идучи на кухню за молотком, мог бы по дороге опомниться, сообразить, что ты собираешься делать? Склеить? Кто это будет склеивать? Ах, ты сам! Не смешите меня, ради бога! Да что тут можно склеить? Дыра в центре, от нее лучи и трещина во всю ширь! Выбросить, и все тут! Да, я люблю выбрасывать! Все, что не нужно, все, что загромождает... Это ты копишь всякую дрянь, в ящики твоего стола заглянуть страшно! Господи! Где я теперь достану такое стекло? Не нужно? Что значит «не нужно»? Воображаю, во что ты превратишь этот полированный стол, если не стекло! И опять все на мне: доставать, хлопотать. А мастер этот исчез, где его искать теперь? Не нужно? А я говорю: нужно!

Он всегда утверждал, что ему ничего не нужно, кроме

МЕСТА ДЛЯ КНИГ. Было два стеллажа, занимавшие полстены и доходившие до потолка, книжный шкаф, угловая этажерка, еще две в потолок упиравшиеся узкие полки в передней, против них — застекленные румынские на подставке (в те годы все их покупали!), и еще полки в коридорчике у кухни, и еще две, повисшие у потолка, а места все равно не хватало. Книги размножались. И ежемесячно приходили журналы «Советская музыка», «Охота...», два шахматных, это, конечно, не считая научных языковедческих. А бесчисленные, набитые бумагами папки? Ими загружалась поверхность старого дедовского бюро (все его 12 ящиков тоже забиты), а менее нужные попадали на книжный шкаф, и вид у этих менее нужных с оборванными шнурками и вываливающимися оттуда бумагами был ужасен. Под этажеркой — коробки из-под обуви, сношенной много лет тому назад и выброшенной, а коробки выброшены не были: могли пригодиться. Пригодились: в них держали карточки для будущих словарей, так и не оконченных. Делались они без всяких договоров в интересах чистой науки. Один — охотничьи слова и выражения, другой... Наш язык, как известно, очень приспособлен для «сквернословий и молитв», и пройти мимо этого факта Александр Александрович намерен не был — составлялся словарь сквернословий. Обувные коробки с карточками надо было выдвигать, чтобы подмести за ними, под ними, и делать это в его отсутствие, ибо: «Я прошу у меня ничего не трогать!»

А газеты? Их выбрасывать разрешалось, но лишь после того, как они были прочитаны, размечены и сделаны вырезки. Вырезки делались для себя, для меня, для учеников, родственников и друзей. Каждому соответственно его интересам. Мне — все касающееся дел литературных и автомобильных. Работа по вырезыванию велась обычно вечером (отдых после трудового дня), затем меня звали к себе либо появлялись на пороге моей комнаты. Протягивалась пачка вырезок: «Это тебе должно быть интересно». Иногда это мне было интересно, иногда — не слишком, но в любом случае я все это выбрасывала. Потихоньку — иначе обида. Сначала пыталась кое-что сохранить, совала в конверты, складывала в папки, быстро забывала ГДЕ ЧТО, а главное — ЗАЧЕМ, и наконец стала выбрасывать. Ну, а свои вырезки А. А., конечно, копил. А поскольку круг его интересов был обширен (язык, музыка, театр, шахматы, охота), то вырезки в конвертах и без (соединенные скрепками)

забивали ящики стола, вкладывались в книги... Как-то, доставая с полки том давно мною разлюбленного, давно не перечитываемого Хемингуэя (понадобился зачем-то!), я обнаружила там кучу вырезок — статьи и заметки, этого писателя касающиеся. Вырезки в первом томе сочинений Чехова. Вырезки в томе Тургенева. Вырезки...

А еще он хранил программки театральных представлений, чем-то памятных, и концертов — иногда билеты. Билеты наших с ним пароходных путешествий — как он любил пароходы! После его кончины, разбирая ящики письменного стола, я обнаружила билеты на электричку (туда-обратно), две маленькие картонки, прикрепленные к машинописным страницам — описание похорон Пастернака. Этюд под названием «Где-то в Переделкине» был написан тогда же, по горячим следам в июне 1960 года, о чем я понятия не имела — свои литературные опусы предлагал мне читать редко: гордость не позволяла. Опасался моего наспех брошенного: «Ладно, положи, потом посмотрю», опасался, что посмотреть — забуду (и такое случалось!), эта небрежность оскорбляла его, вот и не предлагал... Лишь спустя много лет я изумлюсь сбереженным поездным билетам и прочту на этих страницах:

«Думаю, что если сейчас судьба двух гениальных поэтов нашей эпохи — Маяковского и Пастернака — так далеко разошлась, то через сто лет они сравняются славой... Все преходящее прейдет, как говорил Досифей в «Хованщине», и многая мишура Маяковского померкнет, а его алмазы будут гореть еще ярче, а скромный убор Пастернака и его «ребусы» будут понятны каждому школьнику, как стала понятна диковинная гармония, мелодика и ритмика Прокофьева».

Я прочту эти строки, и в памяти моей возникнет далекий светлый день начала июня, нежная юная зелень, и звуки рояля из открытых окон дома, и толпы людей...

Много чего возникнет в моей памяти, когда заговорят набитые бумагой ящики письменного стола, когда настанет мой черед их выслушать.

Итак, обработанные газеты выбрасывать разрешалось. Необработанные — ни в коем случае. Книжно-бумажное бедствие в тесноте двухкомнатной квартиры. Как бороться с этим? Ну, хотя бы так: истребить все «под» и все «над». Загнать все внутрь, и пыли меньше, и глазу легче. Эту операцию удалось провести летом 1966 года. Мебельная фабрика соорудила деревянную стенку (светлый ясень) во

всю длину моей комнаты; тут и секретер (его доска до сего дня мой письменный стол), тут и комод, и гардероб, и книжные полки. Другое сооружение (темный орех), но исключительно для книг и папок, в кабинете А. А. Сооружение образовало угол, заняв сплошь одну стену комнаты и половину другой. Одни полки открытые, другие прикрыты стеклом, третьи — деревянными шторками. Верх сооружения, упертый в потолок, закрывался дверцами. Вот куда перекочуют обувные коробки и прочие, не радующие глаз предметы. Верх до потолка, низ — в пол. Ничего не положишь сверху, не подсунешь снизу — победа.

Далась она мне нелегко. Мне говорили с напускной кроткостью: «Дождись моей смерти, а там делай что хочешь». И: «Апре ма мор!» Очень любил это выражение: «апре ма мор»[1]... В моем распоряжении было два аргумента. Взгляни: сколько места пропадает между верхом книжного шкафа, верхом этажерок и — потолком. Эти пространства будут заполнены книгами. БУДЕТ БОЛЬШЕ МЕСТА ДЛЯ КНИГ! Улавливала в глазах некоторый интерес, но знала — этого недостаточно, и пускала в ход оружие куда более действенное: МНЕ это нужно! Это нужно МНЕ!

На его воспитанность и благородство было нацелено это оружие, а потому било без промаха. Выносить кошмары перестроек, да еще связанные с немалыми расходами ради себя, ради своих будущих удобств, ни за что! Но, если это нужно мне,— пожалуйста. Он готов. Вынесет. Вытерпит. Просит лишь не трогать двух старых любимых полок, полстены занимавших, до потолка доходящих. Соглашение достигнуто. Кошмары начинаются. Старая мебель увозится в комиссионный, груды книг на полу, ни работать, ни жить, в обещанный срок сооружения, конечно, не готовы.

Как часто за эти месяцы я взрывалась, выходила из себя, кричала в телефон, громко жаловалась друзьям, а А. А. нес это бремя без слова упрека или жалобы, а так — с легкими насмешками по моему адресу. Ты этого хотела. Tu l'as voulu, Georges Dandin![2] А он вот обещал терпеть и терпит молча. Проявлялась его характеру свойственная театральная жилка. Он ИГРАЛ в терпенье и покорность.

Пережили. Все установлено, смонтировано, посторонние покидают квартиру, теперь надо самим все расставить и уложить — приятный, созидательный труд! Исчезли загнан-

---

[1] После моей смерти *(фр.)*.

[2] Ты этого хотел, Жорж Дандэн! *(фр.)*

ные наверх обувные коробки и старые папки, красота, благолепие, восхищение друзей и знакомых — некоторые мечтают последовать нашему примеру, просят походатайствовать за них на фабрике. Я счастлива. Я горда. Вся стена перед глазами А. А. (когда он сидит за столом) сплошь покрыта книгами, полстены — старыми полками, полстены новыми. А за спиной — частично открытый, частично дверцами закрытый невысокий шкаф, специально сделанный фабрикой для многочисленных папок, по их росту сделанный. И все как будто поместилось. Но прошло время, и стоило открыть одну из дверок шкафа, как оттуда вываливались папки, которые лежали. А между теми, которые стояли, уже ни единой не втиснешь. И снова стала загружаться поверхность шкафа, и вновь вырастала гора на дедовском бюро. Там уже и стопки книг возникли. Потому что ДРУГОГО МЕСТА ДЛЯ НИХ НЕТ! И про сооружение, которым я гордилась, друзьям и знакомым: «Да нет, что вы! Совсем неудобно. На простых полках, как эти мои старые, куда больше места. Все Наталья Иосифовна со своими западными фантазиями!»

Меня нередко упрекали в «западничестве». В минуты раздражения бросали: «Лишь бы порядок, а на науку наплевать!» Долго не могли простить, что я отдала, уж не помню кому (детям, собиравшим макулатуру?), тонкую книжку, отдельное издание мопассановского «Милого друга», и на мои оправдания, что этот «Друг» у нас есть в полном собрании сочинений Мопассана, отвечали: «Но там же другой перевод!» Возражать бесполезно, а про себя я думала: ну и что? И по-французски есть у нас этот «Милый друг», и по-русски, зачем же еще один, да при такой тесноте? Вслух это произносить смысла не имело, слишком разные у нас взгляды на то, что нужно, а что — нет. Ну зачем он хранит все им получаемые письма, а нередко и копии своих ответов? Верхний средний ящик стола, набитый этой бумагой, с трудом выдвигается, с трудом задвигается, разобрать бы, выбросить бы хоть часть! Мне отвечали: «Тебе бы только выбрасывать!»

В моей комнате относительный порядок. Иногда устраиваю чистку, от ненужных бумаг отделываюсь, из писем храню лишь самые интересные. Папки сложены в порядке, но где именно лежит та, которая мне вдруг понадобилась — не знаю, не помню, часы уходят на поиски. И видимо, утрачены навсегда три дорогих мне письма: М. Л. Лозинского, А. Т. Твардовского и самое первое ко мне письмо

Александра Александровича — ответ профессора на вопросы студентки. Как я была, помнится, изумлена, что этот ученый с его занятостью откликнулся немедленно! Изумлена была, а письма нет. Двух других — тоже. Куда они делись?

Выброшены, разумеется! — говорили мне. Да ты что! Не могла я их выбросить! Очень могла. Сгребла все в кучу, а как следует разобраться в этой куче — терпенья не хватило. Порывистость и нетерпеливость! (Как часто и как справедливо упрекали меня в «порывистости и нетерпеливости»!) Утраченные письма мои акции сильно снизили, и нелегко мне было с этой подмоченной репутацией убеждать от чего-то «ненужного» отделаться! Тем более что в «божественной смуте» своих бумаг, в своем беспорядке А. А. ориентировался великолепно, куда свободнее, чем я в своем порядке...

Теперь, когда его нет уже так давно, всего легче мне вообразить его фигуру у стола: профиль, рыжевато-русая, постепенно на моих глазах седевшая и редевшая борода, локоть на столе, кругло согнутая спина, драповая в крупную клетку домашняя куртка по кличке «бековка». Была она когда-то куплена женой писателя А. А. Бека для мужа, оказалась ему мала, досталась нам. Поначалу была, разумеется, отвергнута (новые непривычные вещи терпеть не мог!), год или больше провисела в шкафу, но я ухитрилась ее подсунуть во время нашей очередной поездки на пароходе. Вечер, сентябрь, отрывистые слова команды, заглушаемые свистом ветра, плеском воды, пароход идет под арку моста, зрелище многажды виденное, а пропустить нельзя (любил мосты!), замерз, попросил пальто, я же несу отвергнутую куртку (на этот случай и уложила!), подала в надежде на темноту, на увлеченность зрелищем, слов «Что это ты, матушка, мне суешь?» не последовало, продел руки в рукава, запахнулся. Если потом и заметил, ЧТО на нем — промолчал. А назавтра и сам надел. Молчала и я, зная, что преждевременной радостью по поводу того, что куртка пригодилась, могу все испортить. Упрямство и норов этого человека! Лишь много позже позволила себе сказать: «А ведь ты не желал ее носить!» Не желал носить. А потом не желал расставаться. Громовой голос: «Что такое? Где моя бековка?» — «В чистке».— «Зачем? Мне это не нужно!»

Постоянно повторял, что ему ничего не нужно, кроме МЕСТА ДЛЯ КНИГ. Которого никогда не хватало.

Той ледяной зимой я лишь успела с места вскочить, шаг сделать — и тут же остановилась, осознала, но в ту комнату все же вошла. Она еще оставалась такой, какой была при нем. Почти такой. И совсем другой. Не только потому, что было пусто приставленное к столу кресло (дешевое, старое, с высокой прямой спинкой, обитое дерматином, истершимся на подлокотниках, кресло следовало ремонтировать, но — «мне это не нужно!»), не только потому, что был странно пуст стол и обнажено стекло на нем, все остальное еще тронуто не было, загромождены дедовское бюро и поверхность стоявшей за креслом полки, а все книги, а все журналы стояли на своих местах, но почему-то казалось, что выстроены они более аккуратно, чем прежде, и не было ощущения, что эти папки, высящиеся на поверхностях, вот-вот рухнут на плечо мимо идущего. Все будто замерло, застыло, словно эти вещи, утратив ощущение своей нужности, присмирели, притихли в ожидании другой жизни.

Многим из них и в самом деле предстояло свои насиженные места покинуть. Ну что, например, мне делать с шахматными журналами, с номерами «Охота и охотничье хозяйство», накопленными за много лет, загромоздившими верхние доски старых полок, куда девать комплекты «Советской музыки», начиная с номеров, вышедших в тридцатые годы и по наши дни — этими комплектами забиты антресоли коридора и частично верх сооружения? Ему все это было необходимо, при нем — ни одного журнала не тронь, а мне — к чему? И мысли, передуманные всеми, кто ударялся о смерть близкого человека, мысли о том, что все нужное вчера перестает быть нужным сегодня, и уже только «три аршина земли»,— такие мысли бродили в моей голове в тот вечер, в той комнате.

Тогда мы только-только приступили к разбору всего этого хозяйства. Начали с малого: с верхнего ящика дедовского бюро. Я примерно представляла себе, что там может оказаться, но действительность превзошла мои ожидания. Старые, вышедшие из строя шариковые ручки (зачем?), мотки бечевок (авось пригодится!), потрепанная колода карт (откуда? Карт много лет в руки не брал!), жестяная белая коробка с надписью: «Пастилки ментоловые», набитая гвоздями и шурупами (а это зачем? На кухне есть ящик для инструментов и гвоздей!), кем-то подаренный детский кошелек в виде ярко-голубой фигуры полисмена с молнией на боку: там, раздувая живот полисмена, храни-

лись железные рубли, копил их, собирал, а вдруг в доме не окажется наличных денег, и тогда — торжествующее: «А вот у меня, пожалуйста!» Рубли вытряхивались, полисмен становился плоским, но скоро толстел вновь... «Томсойеровский ящик,— говорила я,— только дохлой кошки не хватает!» А еще был обнаружен распухший от газетных вырезок конверт, о боже мой, и тут вырезки, о чем, к чему? Извлекаем несколько. Многие узки, как ленточки. На каждой фамилия. Фамилии курьезные. «Нетудыхата», «Мокриевич», «Безсмертная» (подчеркнуто «з»), «Розыграев», «Крапивнер», «Рыбоволов», «Симою»... На полях каждой вырезки название газеты и дата. Еще вырезка: чье-то предположение, что слово «осина» произошло от слова «осень». На полях краткий комментарий красным карандашом: «Дурак!» Целый ряд вырезок за разные годы, касающиеся переименования старых московских улиц и переулков. Это — постоянный источник тревоги и возмущения. Обрывки, клочки бумаги, исписанные его почерком. Размышления о фонемах «Ц» и «Ч» с примерами: «Целиков — Челиков», «Цебриков — Чебриков», «Цаплин — Чаплин»... А это что за документик, валяющийся рядом с конвертом? Неровно оборванный лист скверной бумаги (газетный «срыв», служивший мне для черновиков) и мой собственный почерк: записка без даты, извещавшая, что я буду дома к четырем часам. Это-то зачем хранилось? Едва не скомкала, но взгляд упал на оборот, а там — его почерк: «О фамилиях у Ильфа и Петрова. Лейбедев — смешно! Казалось бы: только «й» вставили? Но ведь само «й» не смешно! И сочетание «ей» «йб» тоже не смешно? Значит, дело-то поглубже: в контаминации значений ЛЕБЕДЬ, произведенной от него типичной русской фамилии ЛЕБЕДЕВ и еврейского имени ЛЕЙБА, что уже находится на другом уровне! (Ср. Кукушкинд, Пушкинд, а так же Борисохлебский)».

Итак: пришла в голову мысль, схватил первый попавшийся обрывок, записал — характерно, что на обороте уже использованного обрывка: вечно, вечно экономил бумагу, трясся над бумагой!

Хотел этот обрывок вложить в конверт с вырезками, что-то помешало, что-то отвлекло, сунул рядом, задвинул ящик и — забыл. Не забыл бы, спрятал бы, если б вновь туда заглянул, но, видимо, это был последний раз, что он выдвинул ящик дедовского бюро...

Сколько таких обрывков в конвертах и в папках мне еще предстояло найти в его столе, написанных рукой, напе-

чатанных на машинке, имеющих заголовки, вроде «мысли, мыслишки и мысленки», и заголовков не имеющих! Недели за три до кончины, когда ноги отказали ему и он уже не вставал, вдруг попросил меня записать что-то пришедшее ему в голову (голова мыслить продолжала!), и я писала под его диктовку, о, не на обрывке, на чистом листе (как ни учила меня жизнь, а экономии не научила!), но ЧТО я там записала, но ГДЕ этот лист? Не знаю. Куда-то сунула. Не нашла никогда.

Той зимой, приступив к разборке, мы обнаружили, что письменный стол забит его перепиской и его сочинениями. Переписка полуделовая, полуличная, с друзьями-учеными, с учениками занимала верхний средний ящик стола. В тумбах стола — сочинения смешанного характера, в основном не научного.

И были тут стихи, сочиняемые для собственного развлечения, в большинстве своем очень слабые, и я не могла понять, зачем он их сочинял... Когда он писал: «Жена моя шагала на выставку Шагала», или бормотал, как бы пробуя на ощупь такой диалог: «Есть, тесть, вино?» — «Естественно!» — это я понимала, это были словесные игры, языковые упражнения. Понятна мне была и склонность его к каламбуру. Каламбурный юмор всегда мне казался юмором уровня невысокого, и я рада была услышать однажды от А. Т. Твардовского такие слова: «Каламбур годится для домашнего употребления, для застолья, не больше!» Но то, что А. А. каламбуры любил, умел их придумывать, я же, фельетонист-профессионал, никаких способностей тут не проявляла — тоже понятно. Реформатский иначе слышал, иначе воспринимал слово...

Стоило мне, с негодованием отозвавшись об одном человеке, добавить: «...а сам такой пост занимает!», как А. А. немедленно откликался: «Да, постылый тип!» Стоило одной его старой приятельнице, которую А. А. знал с детства и звал «Дуней», увлечься изучением новой китайской философии, как она получила прозвище «Маоцзедуня». Один из сотрудников А. А. мне рассказывал, что во время ученого спора Реформатский сказал своему оппоненту: «У нас с вами не разногласие, а разноглаЗие!»

Были у него каламбуры удачные, были менее удачные, но ведь публиковать их он не собирался. Что же касается стихов... Многие из них вообще никуда не годились! Меня изумляло, что Реформатский с его лаконизмом, точностью, выверенностью и взвешенностью каждого слова в работах

научных, в стихах позволял себе что угодно: и слова первые попавшиеся, и рифмы, за волосы притянутые, лишь бы рифма. Ну, например, вернувшись откуда-то, нахожу на своем столе клочок бумаги со строчками:

...Таким сидел, читал, писал
Ну хошь бы это вот посланье,
Пустынен был его весь зал,
Но он не чувствовал страданья!

И эту чепуху с непонятным «залом», который почему-то «пустынен», сочинил не графоман с неоконченным средним образованием, а просвещеннейший Реформатский! Полюсы этой натуры! Я высказывала свое неодобренье вслух. В ответ слышала: «Но это же экспромт! Сразу на машинке и за три минуты!» «А кому какое до этого дело? — думала я,— важен ведь только результат!» Вслух не говорила — бесполезно! К тому же он обижался, когда я ругала его вирши. И я стала относиться к этому сочинительству так, как относятся к слабостям, к чудачествам близкого человека. Каждый отдыхает по-своему. Кто сидит у телевизора, кто в карты играет, а вот А. А. развлекается экспромтами. Пусть его!

Выяснилось: все хранил! Среди его стихов попадались удачные, но он не пожелал расстаться и с самыми слабыми. А ведь все это писалось на машинке, под копирку, каждый опус имел две-три копии. Этим бумажным ворохом забиты два или три выдвижных ящика левой тумбы стола. В правой же, на полке, и под полкой — сплошные папки. Дневники. Воспоминания о друзьях и любимых наставниках — школьных и университетских. Мемуары.

Той зимой мы начали разбирать и сортировать письма, одновременно занимались нагромождениями папок на поверхностях бюро и «заспинной» полки — там ничего личного, там — наука (его работы; работы, присланные на отзыв), ближе к весне коснулись комплектов журналов, кое-что раздали желающим, большую часть свезли в комиссионный, а тумб письменного стола, набитых «личным», не трогали, открыли дверцы, увидели ЧТО там, снова закрыли: это позже, это потом... И когда декабрьским вечером я бессмысленно рванулась в соседнюю комнату, я еще не знала, что из бумаг, хранимых письменным столом, хлынет на меня его жизнь, до тех пор мне ведомая лишь отрывочно, пунктирно, в рассказах «к случаю», в устных мемуарах.

...Обедали мы чаще всего вместе, и разговоры велись серьезные, пустых — не любил. Темы затрагивались разные — говорили о музыке, о писателях прежних и нынешних (не прощал мне моего равнодушия к Лескову и Островскому, пытался заставить меня их полюбить — не удалось, а вот музыку Прокофьева — удалось), как-то, помнится, коснулись темы дуэли в русской литературе, не раз возвращались к волнующему всех вопросу о совместимости гения и злодейства (с упоминанием реальных имен как покойных, так и здравствующих писателей и композиторов), обсуждали феномен, очень А. А. занимавший, а именно: отсутствие музыкального слуха у некоторых талантливых людей и присутствие его у бездарных, у «средних»... Изредка чем-то поразившие меня слова А. А. я записывала на листках перекидного календаря (дескать, потом перепишу), но переписать забывала, календари — выбрасывала...

Сохранились лишь вот такие записи: «А к теме против самодержавия прямое отношение имеет Алексей Константинович Толстой: и «Князь Серебряный», и «Князь Репнин», и «Василий Шибанов», и «История от Гостомысла»... До чего ж ненавидел Ивана Грозного этот поэт с его лозунгом: «Двух станов не боец, а только гость случайный!» И музыкант он был чудесный, и человек исключительный. Гнул подковы, был егермейстером Двора и создал маску Козьмы Пруткова! А сколько жемчужин в его стихах!» (Наши с А. А. литературные вкусы совпадали не всегда, но к А. К. Толстому мы оба относились с восхищением, и оба знали наизусть множество его стихов.) «Удивительная страна Россия! Исторический скачок из 18-го века в 19-ый — чудо уникальное! И ведь не потеряла она, матушка, самобытности, хотя и политесу выучилась на западный манер!» И еще запись: «1 января, 74 года. Обедаем вдвоем. Поднимает рюмку: «Выпьем за науку, которая позволяет забыть о человеческой скверне! Искусство — не позволяет. В науке настоящего минимум на 15%, в искусстве — максимум на 5%!» Выпили. Усмехнулся: «Вот вообрази: сидит кандидат наук, а рядом с ним какой-нибудь...» (Тут было названо имя одного поэта, Александром Александровичем не уважаемого.) Бывало, что я, по женской склонности к болтовне и сплетням, пыталась оживить застольную беседу наблюдением, касающимся интимной жизни наших знакомых. Тема не поддерживалась. А. А. холодно произносил: «Дело хозяйское». После чего замы-

кался, всем своим видом показывая, что его это не касается и, между прочим,— меня не касается тоже...

Последние два-три года своей жизни полюбил вспоминать вслух какие-то случаи из давних времен (годы двадцатые, годы тридцатые), этим устным мемуарам предавался вечером, за ужином, а ужинали мы (если без гостей) нередко врозь. Особенно с тех пор, как я взяла себе за правило ежевечерне с шести до восьми заниматься французским языком. После моего первого посещения Парижа, связанного с «муками немоты», я решила этот язык выучить. Господи, всю жизнь, а особенно вторую ее половину, я гонюсь за убегающим временем, часы тикают не во вне, а внутри меня, день распределен, все по плану, ни минуты напрасной, вечно тороплюсь — черта для окружающих утомительная, близких — раздражающая. «Первая ученица!» — называл меня А. А. иногда тоном добродушным, иногда — сердитым.

Он требовал свой ужин в семь вечера, ну, а я в этот час — учусь. И вот ставлю ему на стол еду, отмериваю в графин две рюмки водки, собираюсь уйти к себе, продолжить занятия, и вдруг мне вслед: «Ну посиди же. Поговори со мной». Так. Нужен слушатель. А мне, между прочим, некогда. Но — садилась. Ведь я уже знала, ЧЕМ он болен, а он — не знал. Садилась, старалась слушать его, а не тиканье своих внутренних часов, вникать в его слова, а не прикидывать мысленно, сколько мне еще осталось сделать, успею ли выполнить урок, на сегодня себе назначенный... О чем он? Ага. Крутится пластинка на тему: двадцатые годы. Какие-то фрагменты из нее я уже, кажется, слышала...

Много позже я прочитаю в его записках:

«Это была переоценка ценностей, отход от символизма, борьба с эмпирическими методами в науке, поиски «философии» как строгой науки (Гуссерль), различные «опоязы», где что не за, то — против. В то время я был студентом московского университета и одновременно: то делопроизводителем ОКОТОЦУСА, то работником Студии I театра РСФСР, основанного Мейерхольдом, то лектором Губполитпросвета на фабриках и заводах, то рентгенотехником, снимавшим даже самого М. Н. Покровского, тогдашнего главу вузов, поскольку Нарком просвещения больше занимался балетом... При всей пестроте событий и моих профессий — это были незабываемые двадцатые годы! Годы исканий и дерзаний, что могло быть только после и во

имя революции, хотя и во многом вопреки тому, что эта революция велела».

Пройдут годы, я буду читать эти записи с вниманием и с интересом, а в те вечера на кухне слушала его устные рассказы вполуха, из вежливости слушала, что мне, боюсь, не всегда удавалось скрыть, иногда — прерывала: «Это ты мне уже рассказывал!»

«Ну посиди же. Поговори со мной!» — эти слова, их интонация по сей день мне слышатся, и жгут меня, и будут жечь до смерти.

2

> Ах, как бы хотелось, ничего не зачеркивая, снова пожить! Но рок сулил иное.

Свою жизнь до нашего с ним знакомства он называл насмешливо «анте-натальный» период. Долгий, почти полвека длившийся период. Мне о нем рассказывали, разумеется, но пестрота этой биографии (смена профессий, смена увлечений — театр, музыка, литературоведение, лингвистика), помноженная на пестроту событий, происходивших в стране, где меня не было, жизнь которой я представляла себе книжно и смутно, мельканье имен любимых наставников и друзей — все это оседало в моей голове разрозненными кусочками. Выскакивал кусочек с изображением венецианской площади, голуби, собор Святого Марка... Ага, до революции ездил с родителями в Италию. Год? Не знаю. Дошкольником, школьником? Не помню. Выскакивает изображение классной комнаты: окна, доска, парты, хор мальчиков встречает учителя французского языка песней. В песне — неприличные слова, учитель в ужасе. Это куда поместить? Гимназия Залесской? Гимназия Флерова? Начал учиться в одной, затем, когда она закрылась, перешел в другую. Кончил-то флеровскую, это помню... Покровское. Кинешма. Обжериха. С Покровским ясно, о нем слышала часто, это маленькое имение любимого деда, отца матери, А. А. Головачева, врача по профессии. Семья каждое лето проводила в Покровском, а затем там была какая-то колония молодежи, с этим не все ясно, многое забыла... А Обжериха причем? Этот кусочек висит в воздухе, не знаю, куда приткнуть. Вот собор в Кинешме вижу хорошо, его мне показывали во время наших пароходных путешествий, там был протоиереем другой дед, отец профессора

химии А. Н. Реформатского. Куда поместить Кинешму — ясно, в самый дальний угол картинки, Кинешма — это до рождения А. А. Родился он в Москве, в Савеловском переулке близ Остоженки. Родился в Москве и умереть мечтал в Москве, часто это повторял — исполнилось.

Вся пестрота жизни, увлечений, профессий — Москва. «Арбат, по которому я хожу всю жизнь!» И мальчиком в школу, и студентом университета, и учеником театрального училища. Это когда же? Одновременно, что ли, с университетом? Из мелькавших в рассказах фамилий («...учился у Брика, Габричевского, Якобсона, Форрегера») лишь фамилию Форрегера знаю куда поместить — период учения в театральной школе. Остальные — не знаю. Университет?

Нет, не университет. Записки, извлеченные из тумбы письменного стола, многое прояснили. В самом начале 1920 года в красноармейской шинели, гимнастерке и обмотках втайне от родных и друзей вышел на пробу в бывший театр «Зон» на прием в Театральную школу РСФСР № 1. Плохо прочитал стихи Лермонтова, хорошо — басню Крылова и всех насмешил этюдом, предложенным для импровизации. В школу приняли. Поэтику там читал Брик. Античный театр — Габричевский. Русский язык — Якобсон. По театральной практике три группы: Бебутова, Зонов и Форрегер. Был в группе Форрегера. А с осени 20 года возобновил университет. «В дальнейшем я ограничивался домашними шарадами и режиссировал постановкой детской оперы Модеста Робера в бывшей гимназии Репмана, где преподавала моя мать... В те же годы участвовал в дивертисменте, придуманном П. А. Марковым: пародия на постановку последнего акта «Дяди Вани» в театрах — МХАТ, Мейерхольда, Камерном, балете и оперетке... Чувствовалось приближение «эпохи Турандот», которая у Вахтангова родилась из домашних шуток и шарад».

Часто я слышала от него: «Какие там носильщики? Сам отнесу! (Хвастливо.) Я же — бывший грузчик!» Куда, в какие годы приткнуть эту картинку с грузчиком? А вот куда: «В 1918 году поступил в Университет и одновременно на Гос. службу, для нашего круга несколько необычную — грузчиком на книжный склад «Коммунист» при ЦК РКП(б).

Это надо было ради карточки на хлеб первой категории, а парень я был сильный. Смешно, что дворники в переулке имели лишь вторую категорию, и когда надо было зачем-то выбирать «комитет бедноты», то взоры обратились

ко мне, единственному, кто имел первую категорию. Позже меня назначили заместителем заведующего Агитотделом. Одновременно избрали в местком и сделали председателем, а мне всего 18 стукнуло, да и дело с месткомами было новое. Шел я в местком от «низов», от грузчиков, упаковщиков и мелких служащих. Я был рьяным председателем месткома! Ездил с санками в Кремль, в Чудов монастырь за кониной, привозил ее вечером на склад».

Москва, по которой он ходил всю жизнь... Мальчиком с мамой за руку, школьником, студентом, грузчиком... А со мной ходил по Москве уже пятидесятилетним. Был он росту среднего, широкоплеч, широкогруд, высоколоб и лыс — рыжевато-русые волосы, полувенцом у лысины, до смерти не поседели, седела лишь борода. Щеки брил, борода недлинная, ее форма была однажды одобрена любимым наставником Д. Н. Ушаковым и уважаемым ученым Л. В. Щербой и не менялась с тех пор никогда. Усеченный перевернутый треугольник — основание почти слито с усами, а «верх» закрывает шею... Сколько московских улиц и переулков было нами исхожено в первой половине пятидесятых годов, когда мы еще не поселились под одной крышей, в период моего бездомья, снимаемых углов, снимаемых комнат... Я слушала его тогда развесив уши. Людей такой широкой разносторонней образованности мне не приходилось встречать никогда. Позже я этим пользовалась совершенно беззастенчиво, в соседней комнате сидел живой справочник: если, работая, в чем-то сомневаешься, чего-то не знаешь,— выйди, спроси. Справки любые: история, литература, театр, музыка, и, разумеется, ответ на вопрос: «А правильно ли так по-русски сказать?»

Вот интересно: кем бы я была без него, без его неустанной помощи в моей работе, без его подсказок, советов, критики? Хвалил сдержанно: «Ничего. Получилось. Бойкое перо, бойкое!» Ругал резко. Карандашные заметки на полях моей рукописи: «И не стыдно так плохо писать?», «Сколько раз говорено: ПОКАЗЫВАТЬ надо, показывать, а не рассказывать!» А были и такие краткие надписи: «Ну и ерунда!» Он, впрочем, не «ерунда» писал, он предпочитал выражения более энергичные. Я сердилась, спорила, но — задумывалась. А потом переписывала, переделывала.

Итак: выскакивала, спрашивала, отрывала от работы. Отвечал терпеливо. Изредка взрывался: «Возьми словарь! Учись, наконец, пользоваться словарями!» Научилась. Теперь. Когда его нет.

Его огорчало, что я так далека от его интересов, не разбираюсь в его науке. Иногда на мой вопрос восклицал: «Ведь это же есть в моем «Введении...»! Забыла? Господи, зачем я тебя учил?» А иногда и так: «Поразительное невежество!»

В начале пятидесятых годов подарил мне тоненькую книжку, свой первый печатный труд: «Опыт анализа новеллистической композиции» — разбиралась новелла Мопассана «Петух запел». Книжка была издана московским кружком ОПОЯЗ в июне 1922 года, когда ее автору еще 22 лет не исполнилось. Тогда же попыталась ее читать, увязла в первых же страницах, и слов много непонятных, а главное — какие-то математические формулы. Продраться сквозь это не смогла, бросила. Где теперь эта книжка с его мне сделанной надписью? Не знаю. В доме есть другие экземпляры из его архива, а где мой? Не помню.

Но застряло в памяти имя Михаила Александровича Петровского, по-видимому сначала встретившееся именно в этой книжке (ему благодарность в предисловии), а затем многажды упоминаемое в устных рассказах. Его называли «учителем», иногда по имени-отчеству, иногда просто «Миша Петровский», но неизменно с уважением, восхищением. Чему ж он учил и когда? Кусочек этот висел в воздухе, куда его вставить —понятия не имела, о том, что имя Петровского связано с книжкой «Опыт анализа...», забыла, ибо книжку не открывала лет тридцать, и лишь записки, извлеченные из тумбы письменного стола, помогли это выяснить.

«Очевидно, от моих друзей Л. Н. Галицкого и Д. Е. Михальчи я узнал о том, что в университете есть человек, который болеет тем же, чем и я: морфологией новеллы. А тут еще вышел номер журнала «Начало» со статьей М. А.: «Композиция новеллы у Мопассана», где было уже многое нащупано... Это был незабываемый семинарий по Мопассану, вернее по морфологии его новелл! В уютном маленьком зальчике в Шереметьевском переулке, с его плюшевыми красными диванчиками и, кстати, с доской (мы ведь любили формулы и схемы, а без доски этого нельзя!), сидел в шубе с бобровым воротником Михаил Александрович, а мы — вокруг. Кто-нибудь докладывал у доски с мелом в руках и с убежденностью во взоре... М. А. натолкнул меня на «Петух запел». Я сделал анализ и вывел формулу. Было это в феврале — марте 1922 года... С 1924 года мы стали встречаться с М. А. либо в ГАХНе, где он был руко-

водителем Секции теоретической поэтики, а я — внештатным научным сотрудником, либо в домашней обстановке в Шереметьевском переулке, где были и шахматы, и рояль, и водочка, и, наконец, сам М. А.! Я очень любил бывать в этом доме, где у нас музыка, семиотика, мировая культура и водочка не мешали друг другу, а шахматы помогали!»

Дальше идут горькие строки о том, как ГАХН (Государственная академия художественных наук) «лопнул под мощным натиском тогдашнего пролеткульта и в то же время был закрыт журнал «Шахматы» — чудесный журнал! ...И мне, ничтожному деятелю официальной науки того времени, т. е. старшему научному сотруднику Научно-иссл. ин-та ОГИЗа удалось помочь М. А. и редактору журнала «Шахматы» Н. И. Грекову устроиться на должность техредов в БСЭ... Итак, крупнейший теоретик литературоведения Петровский и первоклассный шахматный писатель Греков превратились в техредов! Разве это уважение к культуре? Разве этому учил Ленин?»

Итак, роль Петровского в жизни А. А. прояснилась, стало понятно, куда этот кусочек девать: соединить с книжкой «Опыт анализа...», вложить все в те же двадцатые годы.

«Опыт анализа новеллистической композиции...» Очень маленькая книжка, размером чуть побольше современных «карманных изданий», и очень тоненькая: всего 20 страниц. Бумага скверная (типа газетного «срыва»), переплет, конечно, мягкий. Эдакая незаметная брошюрка, дитя тех трудных лет. Первый и единственный выпуск Московского кружка ОПОЯЗ. Тираж: одна тысяча экземпляров.

Я не раз слышала слово «ОПОЯЗ» из уст А. А., в значение слова не вдумывалась, как эти буквы расшифровываются — не интересовалась. А расшифровываются они так: «Общество изучения поэтического языка». Что касается незаметной брошюрки,— я ее, конечно, потеряла. Могла ли я тогда предположить, что эта маленькая книжка окажется такой весомой?

Ровно через полвека после ее издания, а именно — в 1972 году, она вновь увидела свет в чужой стране, на чужом языке. Гуманитарный факультет Кентского университета в Кентербери один из своих сборников посвятил «Русскому формализму». Там статьи Шкловского, Якобсона, Эйхенбаума и других ученых, и среди них — «Опыт анализа...». Кто-то сообщил об этом А. А., он был взволнован, я звонила моей сестре, жившей тогда в Лондоне, сестра

сборник достала, прислала. Этот сборник (обложка белая глянцевитая, бумага хорошая) некоторое время не покидал письменного стола А. А., и я вижу его фигуру, склоненную над раскрытой, полученной из Англии книгой — читает, перечитывает, никак не может с ней расстаться. В самом деле, как, должно быть, приятно старому человеку узнать, что его юношеская работа через полвека кому-то зачем-то понадобилась. Кому и зачем — я, разумеется, не понимала. Читать сборник мне и в голову не пришло.

А была в нем статья, предпосланная работе Реформатского, где говорилось, в частности, и вот что: «Автором этой работы ясно сформулировано требование, предъявляемое русскими учеными к композиционному анализу, состоявшее в том, что точное ОПИСАНИЕ литературного произведения предпочтительнее свободных и притянутых за уши толкований...» И еще в этом сборнике было сказано, что работы молодых русских ученых пересекли «национальные барьеры и внесли крупный вклад... в эстетический кодекс Западной Европы и Америки». Все это я могла прочитать еще тогда, в начале семидесятых годов, но у меня не возникло этой потребности. И было в моем отношении к радости А. А. нечто снисходительное, типа дружеского похлопывания по плечу: ты рад, я за тебя рада, вот и хорошо!

Ну, а о чем думал, что вспоминал А. А., склонившись над английским сборником, через полвека опубликовавшим его труд? Москва начала двадцатых годов. Уютный «зальчик» в Шереметьевском переулке. Холод. Михаил Александрович Петровский, руководитель семинара, кутается в шубу. Кое-как и кто во что горазд утеплились и молодые энтузиасты, чертившие на доске схемы и выводившие формулы. Постукиванье мела о доску, изредка голос Петровского, делавшего замечания. Морфология новеллы, а значит, систематическое описание ее структуры — формы и строения — этого держаться! Никаких домыслов, никаких выходов за пределы изучаемого объекта! Чертовски увлекательно, и холод, и голод, и залатанные штаны — все нипочем!

Это скоро кончилось, семинар Петровского распался. И некому было издавать труды молодых энтузиастов. В кабинете старого Реформатского, вспоминавшего те «баснословные года», на полках шкафа хранились так никогда и не опубликованные работы: анализ «Игрока» Достоевского и «Структура сюжета у Л. Н. Толстого».

Реформатскому не дано было узнать, что его юноше-

ская работа, все тот же «Опыт анализа...», вторично увидит свет на родном языке, в родной стране. В 1983 году издательство «Радуга» выпустило сборник «Семиотика». Я узнала из этого сборника, что Реформатский в своем этюде рассматривает композицию художественного произведения как некое динамическое целое, развертывающееся по законам языка. И еще там сказано, что из определения «мотива», сформулированного Реформатским, видно «...теперь, но, наверное, не тогда,— что это нечто чрезвычайно близкое к понятиям пропозициональной функции и «мотива в смысле Проппа», которым было суждено сыграть столь важную роль для семиотики в дальнейшем».

Пусть я не понимаю, что такое «пропозициональная функция», а также «мотив в смысле Проппа», не моего ума это дело, но основное, думается, я схватила. То, что зародилось в холодной и голодной Москве начала двадцатых годов, эти схемы и формулы, казавшиеся каким-то современникам и смешными, и ненужными, и от чего-то более насущного уводившими,— эти ростки не погибли! Не только не погибли, но послужили истоками развития семиотики!

И вот что еще я прочитаю в этом сборнике:

«Идеи русской формальной школы не были забыты. Сначала они были усвоены и распространены в Европе Пражским лингвистическим кружком, затем, начиная, примерно, с 1940 года, благодаря личному влиянию и преподавательской деятельности Романа Якобсона, их восприняли в США... Тем не менее Якобсон — хотя учение его ни в каком смысле не может быть названо «формалистическим»,— не терял из виду ни исторической роли русской школы, ни ее подлинного значения. Перечисляя предшественников структурализма, он всегда отводил этой школе почетное место».

Если бы Реформатский был жив и прочитал эти строки — ничего для себя нового он в них не нашел бы. Прекрасно знал, чем занимается Якобсон, за деятельностью его следил.

Переехавший в Прагу в начале 20-х годов Роман Якобсон привез с собой дух Московского лингвистического кружка. Вместе с Вилемом Матезиусом Якобсон основывает Пражский кружок. Находившиеся в Праге русские ученые (Н. С. Трубецкой, С. О. Карцевский и другие) обогатили кружок идеями, благодаря которым он превратился в крупнейшую лингвистическую школу мира. Связи с этой школой Реформатский не терял. До сего дня на его книж-

ных полках, мною не тронутых, стоят труды этой школы. Их посылал профессор Иозеф Бахек. Стоит и сборник статей Якобсона. И его книги. Их посылал сам Роман Осипович. Начиная с 1958-го и до 1982-го (последнего года его жизни) Якобсон несколько раз приезжал в Москву. Он был на три года старше А. А. и на четыре года его пережил.

Они были на «ты». Выпивали. Шутили. Вспоминали.

А что знала о Якобсоне я? Ну, профессор одного из американских университетов. Сто лет тому назад тоже был членом этого самого ОПОЯЗа. И чему-то когда-то учил А. А. Вот они и радуются, встречаясь. Друзья молодости.

Не странно ли, что я лишь сейчас открываю для себя то, что известно сегодня если не каждому, то многим любознательным студентам филологических факультетов? Идеи русских ученых, лингвистов и литературоведов пересекли национальные барьеры — это знают сегодня многие. А я — не знала. В мои студенческие годы этого не «проходили». Что меня оправдать не может. Ведь рядом с Реформатским, одним из этих ученых, я провела без малого тридцать лет!

Иногда на какой-то мой вопрос А. А. восклицал: «А ты возьми и прочитай мою «Структуру сюжета», там все это есть!» О существовании никогда не опубликованных работ «Структура сюжета у Л. Н. Толстого» и анализ «Игрока» Достоевского мне было известно. Я даже знала, где они лежат. Брала. Пыталась читать. Бумага сквернейшая, края оборваны, кое-где подклеено, почерк не всегда разборчив, текст трудный, продраться сквозь все это... А собственно, ради чего? Ответы на возникшие у меня два-три простеньких вопроса — и без этого найду. Тихо возвращала папку на место.

А. А. мог бы спросить меня: «Ну, прочитала?» Не спрашивал. Знал, что не прочитала.

«Не любознательна». «Неспособна к научному мышлению». Так характеризует он меня в своем дневнике. В устных беседах иногда попрекал меня «бизнес-установкой». Этими словами он называл мою прагматичность. Время деньги. Нет, время дороже денег! Беречь его, тратить лишь на то, что пригодится для ДЕЛА, и, бога ради, не навязывайте мне ничего лишнего. К чему загружать голову тем, что мне не нужно? Расширять свой кругозор так вообще, постигать ради постижения — это роскошь, я слишком занята, чтобы себе это позволить.

А вот теперь, когда я пишу о Реформатском, мне оказалось нужным вникнуть в то, чем он занимался в своей молодости. Это я и попыталась сделать с таким опозданьем!

Однажды — видимо, года за два до кончины,— когда он вечером за ужином на кухне предавался устным мемуарам, а я их слушала из вежливости, слушала невнимательно, он, заметив мой отсутствующий взгляд, сказал:

— Ладно, иди, если тебе так некогда!

И добавил в спину мне, уже радостно вставшей, уже уходившей:

— Вот я умру, и ты поймешь, что я был Дымов!

Какой он Дымов? Разве его можно вообразить в роли Дымова, кротко и бессловесно исполняющего прихоти легкомысленной Ольги Ивановны, в роли Дымова, предлагающего закусить ее гостям, людям для него чужим и непонятным? «Мой милый метрдотель!» — восклицала Ольга Ивановна. Реформатский, с его нелегким нравом, и Дымов — все сносивший, все терпевший! А я? Похожа я на эту бездельницу Попрыгунью? Ведь ничего же общего!

Да. Ничего общего. И все же. И все же.

Вслух свои обиды высказывал редко, таил. Если же высказывал — то не сразу. Приходит оттиск с его новой статьей. Спрашиваю из вежливости: «Ну, а я тут что-нибудь пойму?» — «Думаю — поймешь».— «Тогда непременно прочитаю. Вечерком. Когда будет время». Вечерок наступал, время освобождалось, я читала, но только не оттиск, об оттиске — забывала. На следующий день ко мне обращались только по имени-отчеству и на «вы», на вопрос — не пора ли обедать? — отвечали: «Как прикажете». Обед проходил в молчании. Такое могло длиться несколько дней. Я томилась. Приставала. Чем я виновата? Что я такого сделала? В ответ слышала: «Ничего-с». И лишь спустя какое-то время выяснялось: дело в оттиске, который я забыла прочесть. И в тот вечер забыла, и потом не вспомнила. Потому что мне наплевать на его труды. Да не наплевать! Я просто не понимаю! В ответ — молчание.

О, разумеется, не на то, что я чего-то не понимаю, он обижался. Ему были известны мои границы, он знал, что я ему «не в рост», знал, что поделиться со мной он может не всем, что его интересует, тревожит, беспокоит. Оскорбляло его мое легкомысленное невнимание. Все годы нашей совместной жизни я пеклась о его удобствах, о «кон-

форте» (как он презрительно это слово произносил), а к духовным его потребностям внимательна была далеко не всегда. И вот что я прочту в его записках спустя много лет: «Н. И. очень добрый и заботливый человек. Но то, что мучает меня — ей чуждо и непонятно».

С музыкой он был связан едва ли не с трехлетнего возраста. В доме был кабинетный рояль «Мюльбах», на котором играла мать. Сам стал учиться музыке в десять лет, в 15 уже начал «бурно сочинять, написал несколько романсов, прелюдий...». Позже музыку пришлось оставить, играл уже только для себя, и один, и в четыре руки с близким другом, «который сердился, что я плохо читаю с листа и неровен в ритме. Странно: так точно ориентируясь в словесном ритме, понимая до чертиков его нюансы, я в музыкальном ритме был дилетант и профан!».

С 1956 года, с той поры, что мы поселились вместе — сначала в снятой комнате, затем в доме, где я живу по сей день, А. А. расстался с роялем, на котором играла его мать, он сам, его дочь, а сейчас играют внуки... Об оставленном рояле не поминал никогда, на его отсутствие не жаловался, но я чувствовала, как не хватает ему музыкального инструмента, и решила, что при первой же возможности... Эта возможность представилась: в середине 60-х годов мы купили маленькое пианино известной марки «Циммерман». А. А. этому приобретению радовался чрезвычайно, изучал приложенную к нему инструкцию — куда поставить, как ухаживать... Радовался. Но — не играл. Десять лет руки не касались клавиш, беглость игры была утрачена. Однако, оставаясь дома один,— играл. Случалось, что, вернувшись откуда-то, выйдя из лифта, я слышала звуки фортепьяно, но, стоило мне войти в квартиру, звуки замирали. Ну в чем дело? Ну продолжай же! Нет. Крышка пианино захлопывалась. Такое самолюбие. Такой нрав.

Меня это сердило... И вот он снова вздыхает, что некуда ставить книги, вновь я слышу, что угловое сооружение в его кабинете, быть может, и красиво, но совсем не так удобно, на старых полках куда больше книг помещается, а я — на это: «Что ж. Одно остается: продать пианино. А на его месте соорудим еще полку». Знала: ответа не последует, молча пожмут плечами, и — продолжала, распаляясь: «В самом деле: ну к чему нам пианино? Я вообще не играю, а ты — не желаешь! Так что давай продадим!»

Уже не вспомнить, что на это отвечали и отвечали ли вообще. Но помню, что сетований по поводу отсутствия места для книг я какое-то время не слышала. Имея в виду именно эту цель, я и действовала таким нечестным приемом — прекрасно ведь знала, как он любил свое маленькое пианино, как им дорожил.

Оно и сегодня стоит на прежнем месте.

В устных рассказах мелькало имя одного из прежних друзей: «Борис Ильинский». Кем он был, чем занимался — не помню, а вот куда кусочек с этим именем прикрепить — знаю: к той части картинки, где — шахматы. Когда-то А. А. часто игрывал с Ильинским и любил вспоминать, как тот, теряя пешку, приговаривал: «Что ж. Не с пешками жить, а с добрыми людьми!» Увлечение шахматами, начавшееся у А. А. в школьные годы, продолжалось до конца дней. Выписывал два журнала, покупал учебники и книги, следил за состязаньями, сердился, когда я называла матч турниром и турнир — матчем (мне объясняли, в чем разница, но я тут же забывала!), иногда вечером ставил фигуры и доску на стол, решал задачи, имел определенные мнения об известных шахматистах, одних любил «за глубокие идеи и блестящую игру», других «за вдохновенье, парадоксальность и романтизм», третьих «за мудрость», «за гармонию», «за элегантность», но четвертых (не менее, кстати, известных и среди них одного побывавшего даже чемпионом мира) — не любил: скучно они, по его мнению, играли...

Решал шахматные задачи, играл сам с собой, а с партнерами на моей памяти — редко, то ли подходящих партнеров не находилось, то ли боялся, что «потерял хватку», а позориться не желал. Иногда играл со мной, обыгрывая всегда, мне, однако, удавалось заставить его подумать, голову поломать, чем я гордилась, и все же была чрезвычайно удивлена, найдя в его записках такие слова: «Н. И. играет недурно, но увлекается. Если б не бабий оппортунизм, могла бы достигнуть некоторого совершенства. Но не работает, полагается на интуицию и азарт в технических разветвлениях миттельшпиля. А не поняв начал, постановки дебюта и основ эндшпиля, а главное, понимания позиционной игры,— далеко не уедешь!»

Известно, в какую часть его жизни вплетаются некоторые имена, мелькавшие в устных рассказах: писатель М. Пришвин, художник А. Древин, врач В. Соколов и некто,

прозванный «Скипидаром» — фамилию забыла. Это товарищи по охоте того периода, когда я еще не знала А. А. И при мне он уезжал на охоту, как только ее разрешали (вторая половина августа), а весной — на тягу. Однажды и я была с ним на тяге. Апрель, остатки тающего снега, лужи, резиновые сапоги, узоры черных ветвей на вечернем розовом небе, сижу на пне, что-то подстелив, вот она среднерусская природа, о которой столько читано, столько мечталось, вижу ее близко, даже как-то прикасаюсь к ней, и Тургенев, разумеется, вспоминался, от полноты чувств решаю закурить, щелкаю портсигаром... Как мне влетело за это! На тяге следует соблюдать полную тишину.

Однажды была на охоте и осенью... Едва мы вселились в этот дом, А. А. купил собаку, английский сеттер, «сеттериха», кличка — Лада. Попала она к нам не слишком юной (семь лет), зато обладала охотничьим опытом, медалями, дипломами, длинной родословной. В августе мы с А. А. обычно расставались: я ехала в какой-нибудь «дом творчества», он же с ружьем, собакой и рюкзаком — в свои охотничьи места: поезда, пересадки, автобусы, километры пешком. Но вот у нас появился автомобиль, водила его я, и в августе 60-го года мне удалось убедить А. А. взять меня и автомобиль с собой. «Подумай, насколько это будет удобнее и проще».— «Я за удобствами не гонюсь,— отвечали мне,— а вот тебе, матушка, там будет скверно, никакого «конфорта», ни ванных, ни душей, и ночевать неизвестно где!» Он прекрасно знал, что не было в моей жизни не только комфорта, но и дома своего долго не было (углы, комнаты, унизительная зависимость от хозяек!), однако его забавляло изображать меня эдакой капризной иностранкой, что объяснялось, конечно, моей многолетней оторванностью от России, моими о ней книжными, нередко его смешившими представлениями. «А это — изба рюсс! — объявлял он, когда мы выезжали куда-нибудь за город,— ну-с, а это сконапель нужник!» Будто я не видела изб, будто в Находке, в Казани не сталкивалась близко с этими промороженными дощатыми строениями...

И вот — поехали. Сначала в какое-то местечко под Костромой на берегу искусственного моря: пристанище охотников, оттуда затем расходившихся, разъезжавшихся, крыши, впрочем, у пристанища не было, ночь — на открытом воздухе, некоторые — под перевернутыми лодками, мы — в машине, одолевали комары, умываться пришлось с мостков речной водой, я уронила туда мыло и сама едва

не свалилась... Наутро предстал перед нами высокий красивый бородатый человек, известный костромской охотник, полковник в отставке, несмотря на еще молодой сорокалетний возраст, А. С. Лавров — дружба с ним, тогда завязавшаяся у А. А., продлилась до конца его жизни. Лавров, А. А. и оба сеттера (у Лаврова рыжий «ирландец») тут же исчезли, другие охотники — тоже, я бродила, читала, день был печальный, серенький, и не нравилось мне это искусственное море... Охотники явились без дичи, надо мотать отсюда, едем в Жарки! Приветливо беседовавший с А. А. и с собаками («Ну что, Лада, тяжела, брат, служба?») — Лавров со мной был сух, отдален. Распорядился, на меня не глядя: «Машину оставите здесь, с собой возьмете только самое необходимое дня на три!» Поехали на моторке Лаврова. Накрапывал дождь, вздымались серые волны, наш берег исчезает, противоположного не видно, куда это мы едем, взяла ли я с собой «самое необходимое» (и вообще, что это значит «самое необходимое»?), вокруг вода, мрачно, холодно, со мной никто не говорит, баба на охоте — обуза, так несомненно воспринимал мое присутствие Лавров (позже он ко мне смягчился, мы даже подружились!). Вон на горизонте стал рисоваться силуэт церкви, значит — берег, значит — мы туда. Но заглох мотор. Вернуть его к жизни Лаврову удалось не сразу. Какое-то время покачивались на волнах вдали от всех берегов (мысли одолевали невеселые), наконец — желанный рокот мотора, двинулись, едем, причалили. Тоской, одиночеством сразу повеяло от этого места, то ли потому, что церковь, издали такая милая, оказалась полуразрушенной, и крест погнут, и каркали в пустой колокольне вороны, то ли потому, что пуст был этот остров Жарки, в поле зрения всего два бревенчатых дома, один заколоченный, в другой нас повел Лавров. На первом этаже жила жена егеря с маленькой дочкой, их комнату мы миновали (в открытую дверь я увидела герани на окнах, чистые марлевые занавески, любопытные детские глаза), поднялись по скрипучим ступеням на чердак. Нас встретил мощный храп. На сене отдыхали три или четыре охотника. Их собаки заворчали, залаяли, но тут же успокоились и пошли знакомиться с нашими собаками. Полутьма. Пахло псиной, сеном, охотничьим трудовым потом. Лавров — мне: «Вон там в углу свободно, располагайтесь, а мы с Сан Санычем на разведку пойдем. Саныч, готов?» Саныч-то был готов, но располагаться здесь я готова не была! Они ушли, а я — вниз, к жене егеря Тоне, уго-

ворила ее приютить нас у себя, комната просторна, поставили две раскладушки, нашлось чистое белье, жить можно. Охотники исчезали на рассвете, появлялись вечером, я предоставлена самой себе. Печальный пустынный остров весь зарос высокой травой, а деревьев мало, я так и не поняла, куда проваливались, куда бесследно исчезали охотники. Дважды в день мы с маленькой Тамарой ходили купаться, около берега под церковью, я внушила девочке, что мы с ней — помощники, я — дяди Сашин, а она — мамин, и вот мы, взявшись за руки, идем вниз, к воде, Тамара громко поет: «Два помощника пошли купаться!» Дни стояли серенькие, иногда накрапывал дождь, а вода — теплая. Я плавала, следила, чтобы не утонул ребенок, плескавшийся у берега, и все поглядывала на эту церковь, хранящую следы былой величавости, былой красоты, под вечер там было особенно грустно — погнутый крест, ободранный купол, зловещие крики ворон — и думала, что здесь, до этих искусственных морей было село. Судя по церкви — именно село, а не деревня. Бормотала про себя Эдгара По: «И каркнул ворон: невермор!» Являлись охотники, разувались в сенях (там же отряхивались собаки), умывались, сами ощипывали настрелянную дичь (кулики?), Тоня стряпала, я — не умела, что еще больше роняло меня в глазах Лаврова, ужинали, пили водку очень умеренно: завтра — охота, укладывались спать. Спать было душно, а окошек открыть нельзя, одолевали комары.

А затем мы на той же моторке вернулись к нашему автомобилю и отправились в какой-то торфяной поселок. Недавно прошли дожди, и по российскому бездорожью ехали мы долго и мучительно, проваливались в лужи, застревали в грязи, Лавров и А. А. в своих резиновых, выше колен сапогах выходили, подкладывали под буксующие колеса ветки, толкали машину, весело крича: «Раз, два, взяли!», выталкивали, ехали дальше, оба были в прекрасном настроении и уже называли друг друга на «ты». Реформатский рассказывал о своем покойном пойнтере по кличке «Икс», хвастался Ладой. Лавров — о своей гончей, с ней он охотился зимой: «Работала прекрасно, взял из-под нее несколько зайцев и двух лисиц»... «И вот вообрази: собака запустовала, брать ее на охоту, конечно, нельзя, попросил приятеля поохотиться из-под его сеттера...» Я же — молча страдала. Голубая «Волга», предмет моей радости и гордости, была создана для легкой жизни на асфальтах и совершенно не рассчитана на этот ужас, подстерегавший нас

около каждой деревни. Ибо если дорожное покрытие между деревнями было еще терпимо, то километров за пять до деревни неизменно кончалось, и когда вдали рисовались контуры «населенного пункта», сердце мое падало: о, господи, опять! Сейчас увязнем в грязи, провалимся в лужу, погубим мою красавицу, оторвем ей какую-нибудь почку, а этим двум — наплевать, им лишь бы до своего охотничьего места добраться. К вечеру добрались, чудом не сгубив машины. У Лаврова был в поселке знакомый егерь, он устроил нас с А. А. на постой в избу, хозяева уступили нам горницу (кровать с горой подушек и подзором, герани, вышитые коврики, тучи мух), а сам устроился еще где-то. Костромские темные леса полукольцом окружали поселок, я бродила там со своей книжкой, боясь особенно углубляться, ходила с хозяйкой по грибы (впервые в жизни!), научилась узнавать белые, отличать подосиновики от подберезовиков (их хозяйка называла «серые»)... Насколько А. А. и Лавров в своих старых куртках, кепках и сапогах, оба бородатые, были в этом поселке уместны, будто век тут жили, настолько неуместно выглядела я, эдакая дачница с несмываемым клеймом горожанки, и в отношении хозяйки ко мне проглядывала добродушная снисходительность, смешанная с любопытством... А. А. был на охоте неутомим, от Лаврова ни в чем не отставал, был способен пройти пешком бог знает сколько километров, а вот к прогулкам ради прогулок — неприспособлен совершенно. Позже, куда бы мы ни приезжали (Малеевка, Ялта, Дубулты, Пахра), — немедленно приковывался к письменному столу, мог провести за ним, с перерывами на еду, весь день, слова «гулять» не признавал вообще, чтобы выгнать его на воздух, надо было изобретать предлоги — что-то купить, о чем-то разузнать...

Погода стояла сухая, наш путь из торфяного поселка в Кострому был сравнительно легким, а затем мы отправились в сторону города Галича, не доезжая, свернули налево к старинному селу Антипово, проехали его и по зеленой траве, как по ковру, докатились до одинокого хутора.

Там у самого темного леса жили старик со старухой. Старик мастерил колеса, а старуха пасла свою корову... До ближайших деревень — до одной шесть, до другой восемь километров — на отшибе стояли эти три избушки (жилая, колесная мастерская и банька), старик длинно- и седобород, молчалив, и все он что-то работал, строгал, пилил, старуха — сухонькая, суетливая, платок на ее голо-

ве то и дело сбивался набок, то она корову окликала: «Малинка, Малинка!», то старика за что-то корила, а вот с дурачком Пашей, у них гостившим, была тиха и ласкова — «божий человек». Керосиновые лампы, темные лики святых в углу, лампада, ярко-розовые бумажные цветы, украшавшие засиженные мухами пожелтевшие фотографии, среди них портрет задолго до первой мировой войны повенчанных хозяев избы (каменные лица, каменные на коленях руки) — было для меня во всем этом что-то нереальное, что-то из читанных в детстве сказок... Дни конца августа были погожими, теплыми. Лавров ночевал на сеновале, мы — в машине (в избе старуха не советовала: «клопики обеспокоют»!), ели на воздухе, умывались в речке, и, поднимаясь с полотенцем на плече по склону, я каждый раз как бы сызнова видела эту сказочную картинку (три избушки у темного леса) и думала, что мы вот скоро уедем, а надвигается осень, дожди и ветра, а там — зима, и буря мглою небо кроет, и снегом занесены крыши изб и эта зеленая, ковровой мягкости трава, а из леса, быть может, вой голодных волков, и как же они тут, эти двое восьмидесятилетних? «А ничего — живем!» — говорила мне старуха. Старик целые дни проводил у распахнутых дверей своей мастерской, строгал и пилил, дурачок Паша грелся на солнышке, сидя на пороге избы. Уже не помню, во что он был одет и обут, помню его кроткое, лишенное возраста и почти лишенное растительности лицо и то, как он беспрерывно что-то бормотал... Проходя мимо, скажешь ему: «Хорошая сегодня погода, Паша!» — и он надолго заведется, повторяя: «Хорошая, милая, хорошая, ох, хорошая погода, хорошая...» Вот старуха длинным ухватом вынимает из печи горшок щей, я из любопытства кручусь около, другим концом ухвата меня бьют по плечу (отскакиваю, извиняюсь), является старик, вешает кепку на гвоздь, следом — Паша, оба осеняют себя крестным знамением, садятся за стол, берут ложки... Один сын стариков был председателем колхоза деревни Хмелево, другой — егерем, жил в деревне Зады. Накануне отъезда мы егеря угощали (водку и консервы с собой привезли), застолье на воздухе перед избой, старуха зовет меня в сторонку: «Осиповна! Ты Иванушку не больно потчуй! Слаб он!» За хлебом я хаживала в деревню Хмелево, однажды меня подвезли на телеге, я ехала разувшись, свесив босые ноги, дорога шла лесом, ветки норовили хлестнуть по лицу... «Лихих людей» (как выражалась старуха) в этих местах можно было не опасаться,

машина наша весь день стояла с открытыми дверцами...

Но яснее всего мне помнится, как мы с А. А. сидим на высоком холме, прямо на траве, у ног наших, вытянув передние лапы и уткнув меж них морду, лежит собака, солнце идет к западу, очень тихо, и с холма открывается вид... Поля, луга, чернеющие вдали леса и еще какая-то полоска на горизонте, присмотришься — видишь: деревенька. Но как описать именно этот вид, именно эти поля, эти луга? «Над печалью нив твоих...»? «Твой простор...»? Либо чужие слова приходят в голову мне, книжнице, мне, горожанке, либо — истертые, банальные, общие. Своих — не найду. Но вот пока мы так молча сидели, молча глядели, что-то внутри у меня щемило, щемило, и почти до слез... Потому ли, что земля подо мной, передо мной была родиной далеких по отцовской линии предков, живших когда-то на этих галицких и костромских землях, и, значит, голос крови? Однако похожее чувство (почти до слез) я испытала двумя годами позже, около речки Сороть в Михайловском (и тут уж предки были ни при чем!), а больше — нигде и никогда, хотя много я с тех пор ездила, много чего видела...

В декабре 1963 года погибла от рака наша Лада, мы были к ней привязаны, заводить другую собаку и в голову не приходило, какое-то время А. А. охотился с ирландским сеттером Лаврова, шли годы, все труднее давались А. А. долгие охотничьи переходы и ночевки где попало, и сейчас мне уже не вспомнить, когда он был на охоте в последний раз... Вот запись из его дневника, сделанная ранней весной 1975 года, в поезде — мы ехали в Ялту: «Снега под Москвой почти нигде нет, после Тулы чуть больше в овражках и канавах. Глядя на мелочá, чуть не плакал: ведь вот прилетят вальдшнепы. А у меня с ними — все кончено. Живу этим словом «кончено» во всех смыслах».

А в следующем, 1976 году, в письме из Ялты к С. С. Высотскому, фонетисту и диалектологу, А. А. пишет: «Дорогой моему сердцу Серега! Странная погода и запоздавшая необычная весна! Распустилась «Тюлия бабилоника», плакучая ива, а березки (их тут две лишь!) только вчера дали первые листочки. По старой примете, как распустится береза, кончается ток глухаря. Все это грустно еще и потому, что я больше никогда не послушаю токующего глухаря. «Не тот я стал теперь, все миновало!» — поет Григорий

Грязной в «Царской невесте». Да что тут толковать, жизнь-то прожита...»

Вслух же о том, что тоскует по охоте, не говорил никогда. Не в его привычках было жаловаться на старость, на болезни, на потери. Последние годы жизни его мучили боли в ногах — спондилез, так мы с ним думали... Боли А. А. переносил мужественно, громко не стонал, лишь морщился вставая, а на мой утренний вопрос «как ты спал?» отвечал с усмешкой: «Нога болела у меня, нога болела»...

Из друзей его молодости, его сверстников и коллег я застала в живых В. Н. Сидорова, П. С. Кузнецова, С. И. Ожегова, но в шестидесятые годы они один за другим — умирали. Со старым приятелем Р. И. Аванесовым, А. А. пережившим, отношения на моей памяти были отдаленные, в основном телефонные. Пережила А. А. и Ирина Сергеевна Ильинская, тоже друг молодости, сотрудник Института русского языка. А. А. относился к ней нежно, называл ее «Микки», виделись они редко, но их телефонные беседы бывали долгими и задушевными, темы затрагивались и деловые, и личные. Из далеких «опоязовских» времен тянулось знакомство с В. Б. Шкловским. Жили мы с ним в одном доме, но общались они с А. А. главным образом во время «ялтинских апрелей». Были на «ты», беседовать друг с другом любили. «Многие из нас,— говорил Шкловский,— обращаются с языком как с половой тряпкой. А присутствие Реформатского подтягивает!» Запись из ялтинского дневника А. А.: «Вечером заходил Витя Шкловский. Толковали об Эйзенштейне, Иване Грозном, опричнине, Петре Первом, об арабах, о Наполеоне... Забавный у Вити ум — как воробей!» Иногда А. А. записывал ему понравившиеся высказывания Шкловского. Например: «Выше едешь — тише будешь!»

А. А. часто вспоминал Л. Н. Галицкого и Г. О. Винокура. В дневнике А. А. рассказано об одной незабвенной ночи, проведенной ими в ресторане «Прага» — было это в начале тридцатых годов... «Лев Галицкий собеседник был классный, сколько знаний из области литературы, театра, истории, языка! А про Григория Осиповича и говорить нечего: его образованность и уменье найти нужный тон разговора — всем известны. Сидел я весь тот вечер и почти всю ночь как будто бы я в компании Соболевского и Вяземского — так это искрилось умом и остротой. В четыре

утра нас попросили вон. Допив «Имеритинское», мы изошли. Лева сел в трамвай (тогда так рано они ходили), а Гр. Осипович затащил меня к себе, где мы пили чай и пели дуэт из первого акта «Евгения Онегина»: «Слыхали ль вы...» Винокур пел Татьяну, я — Ольгу. Не помню, когда я ушел от Винокура... 17 мая 1947 года внезапно умер Винокур. 12 июля 1948 года умер от долгого туберкулеза Галицкий. Это была потеря и Вяземского и Соболевского и еще очень многого: потеря людей своего поколения!»

Последние лет пятнадцать своей жизни из людей своего поколения и своей профессии Реформатский теснее, чем с другими, был связан с ленинградским ученым А. А. Холодовичем. Приезжая в Москву, он иногда останавливался у нас. Переписка с ним занимает значительную часть верхнего ящика письменного стола.

Другие друзья, Александру Александровичу преданные, бывшие с ним рядом до его смертного часа, были людьми иных поколений — его ученики.

3

> Думал о смерти и бессмертии. Оно конечно грустно. Но мысль-то шла мудрая. И пришел я к выводу, что физическое бессмертие не нужно. Бессмертие может быть не в себе и не в кровных детях, а лишь в верных и последовательных учениках.

Были у меня как-то в гостях две милые женщины, обе лингвистки (востоковедка и русистка), не помню, почему разговор коснулся конференции, происходившей в Институте философии в семидесятые годы. Там выступал с докладом Реформатский. Его слова: «Фонология — это то, чем я еще живу!» — вслух вспоминали мои гостьи. А затем одна из них рассказала о том, что было в раздевалке после окончания конференции:

— В жизни своей не видывала ничего подобного! Пальто ему подавали сразу двое, облачили, он, не глядя, протянул руку, в ней появилась кепка, протянул другую — появилась палка, оперевшись на нее, сделал шаг, его окружили, повели вниз по лестнице, не под руки, а шагая рядом, страхуя, двое сзади, двое впереди, двое по бокам (споткнется — подхватим, удержим, спины подставим), незабываемое зрелище, сколько лет прошло, а до сих пор перед глазами, потому что — такого не видывала! А впро-

чем, что я говорю? Вы же сами там были! Вы за ним заезжали.

— Заезжала, но наверх не поднималась. Ждала в машине.

К середине семидесятых годов А. А. был уже серьезно болен, ходил с палкой, лестницы метро стали для него неодолимы, я отвозила его в Институт языкознания на Волхонку, приезжала за ним, эта беспомощность, эта зависимость угнетали его, хотя мои «милости» (как он выражался) выносить ему приходилось всего раз в неделю, по четвергам, чаще появляться он обязан не был (профессор-консультант), а мог бы и реже, мог бы раз в месяц, так поступали другие консультанты, а он так — не мог. В исполнении своих обязанностей был он педантично-пунктуален.

(Во время войны он исполнял обязанности декана Городского педагогического института и читал лекции в институте Литературном. Первую военную зиму с женой и маленькой дочкой он провел в Салтыковке, откуда и ездил в Москву. Однажды ехать было не на чем, поезда не ходили, и А. А. отправился в Москву пешком, прошагав свыше 25 километров. Он мне этого никогда не рассказывал, я об этом узнала в случайном разговоре с его близкими уже после его кончины.)

Институты философии, экономики и языкознания Академии наук СССР помещались в бывших владениях князя Голицына, два первых — в барском доме, а языкознания — во флигеле. Не в этом флигеле, а по соседству, находились когда-то княжеские конюшни, но А. А. нравилось называть «конюшней» именно флигель, так смешнее.

Поначалу он еще сидел за своим столом в Секторе структурной и прикладной лингвистики, который прежде возглавлял (в 1971 году ему предложили выйти на пенсию), а потом, кроме кресла в коридоре, деться было некуда — теснота тогдашнего помещения! Я вводила машину во двор, выходила, поднималась на второй этаж, шла по длинному, узкому, извилистому коридору и там, в конце его последнего закоулка, видела спины стоявших людей, они образовывали полукружие, подкову. Подкова при моем приближении раздвигалась, обнаруживался в облаке сигаретного дыма А. А., сидевший в кресле, вид оживленный, в глазах веселость, а иногда то ласковое ехидство, какое по-

являлось на его лице, если он не был согласен с собеседником, оспаривал его, неизменно в этом случае прибегая к словоерсу — «Нет-с, извините-с, не так-с!» Подкова раздвигалась. А. А. останавливался на полуслове. Все замолкало. «Господи,— говорила я,— опять весь в пепле! У вас что, тут пепельниц нет?» Чья-то услужливая рука еще ближе подвигала к колену профессора пепельницу на длинной ножке. «Едем домой!» — объявляла я непреклонным голосом, делая вид, что не вижу огорченных лиц, не слышу робких умоляющих возгласов: «Еще минуточку!» «Жду в машине!» — добавляла я и удалялась твердой поступью. Быт, проза, повседневность в моем лице врывались в духовную жизнь, бившую ключом в коридорном закоулке, нарушали ее, разрушали. Я это сознавала, но уступать намерена не была. Всему свое время.

В «конюшню» мы являлись к одиннадцати утра, при всей разнице характеров и привычек наших одинаково ценили точность во времени. Мы въезжали на просторный двор, и в дверях институтского флигеля нас уже поджидали, кидались к машине, помогали А. А. выйти, подхватывали мною протянутую палку, и вот А. А. идет, хромая, рядом с ним люди, я могу спокойно уезжать. Выходил — тоже окруженный. Иногда мне приходилось его ждать. В этом случае к машине высылался нарочный: «Еще пять минут! Просит не сердиться!» Высылался второй нарочный: «Идет! Ведут!» Приводили и помогали сесть, протягивали палку. Едем по двору, огибая клумбу, я, разумеется, гляжу перед собой, но краем глаза вижу — А. А. приветственно кивает провожающим. Они стоят у низкого заборчика, окружавшего флигель, они не уйдут, пока мы не скроемся за воротами.

Кто же эти «они»? Его бывшие аспиранты, сотрудники Сектора, все те, короче говоря, кто у А. А. учился, кто с ним близко соприкасался, независимо от Сектора и от института. Ибо в соседнем Институте русского языка тоже были и те, кто рядом с ним работал, и те, кто у него учился,— бывшие студенты, слушавшие лекции Реформатского в Горпеде. Еще в первой половине пятидесятых годов А. А. ушел из Горпеда и из Литинститута, работал только в системе Академии наук.

Во вступительной статье к сборнику «Фонетика, фонология, грамматика» (М., 1971), посвященному семидесятилетию А. А. Реформатского, Р. И. Аванесов и М. В. Панов пишут: «Реформатский-лектор, Реформатский-экзаменатор,

Реформатский — наставник и воспитатель лингвистов окружен легендами, воспоминаниями, воспет в устных студенческих преданиях. Судя по этим легендам — в основе своей они правдивы,— Реформатский мог поставить за шпаргалку... пять. Он, наверное, единственный экзаменатор, который позволяет во время подготовки пользоваться учебником... Любимый и крайне требовательный учитель. Это ведь у Реформатского ходят сдавать «Введение...» до «энного раза». Это он твердой рукой ставит тройку в зачетную книжку, сверкающую пятерками. И не менее твердой — «пять» в зачетку уныло троечную. Убеждение, что студент понял «основ основное» (самое трудное) — только это — основание для отметки. Конечно, так и должно быть. Да, должно. И все же это — резко отличительная черта Реформатского-педагога».

Среди читательских откликов на мои произведения (а их получает каждый печатающийся литератор!) есть и такие, где речь идет не столько обо мне, сколько об А. А. Реформатском. Это письма бывших студентов, ныне уже немолодых людей, в чьей памяти до сего дня жив Реформатский-лектор, Реформатский-экзаменатор... Одна моя корреспондентка сообщает, что хранит «счастливую брошку» (в виде деревянной головы бульдога), которую 35 лет тому назад она надела, идучи на «страшный экзамен», сдала удачно, и теперь, глядя на брошку, каждый раз вспоминает тот весенний день, похвалу Учителя, его брошенный на «бульдога» взгляд и слова: «Какая у вас собачка милая!» В одном из писем речь идет о первом знакомстве с профессором: «Он вошел в аудиторию, брякнул на стол портфель и сказал: «Если кому в баню надо или в кино,— идите. Никого не задерживаю». Все очень удивились, и, конечно, никто не ушел». А вот цитаты из других писем: «Не на все вопросы экзаменатора мне удалось ответить, и все же я получил «четверку». «За блеск в глазах, за интерес!» — так мне объяснил это профессор». «Лекции Реформатского, Бонди и концерты Рихтера мне кажутся явлениями одного и того же порядка. Пропустить лекцию одного из этих двух профессоров, не попасть «на Рихтера» было для меня в те годы почти трагедией!» «Еще в сороковые годы я училась у профессора Реформатского и, читая Вашу повесть, грустила и радовалась, словно вновь увидела А. А.! И вспомнилась мне его трогательная дружба с проф. П. С. Кузнецовым. Хорошие, настоящие были люди!»

Я цитировала сейчас слова бывших студентов Горпеда,

ставших впоследствии преподавателями и научными работниками, то есть тех, кто до сего дня имеет дело с фонемами, морфемами, фузиями и всем тем, чему учил Реформатский. Что касается нас, студентов Литинститута... Я, к примеру, училась прилежно, и все понимала, и отстающим объясняла, но вот институт окончен, прошли годы — и все выветрилось из головы! Забыла, что означает слово «агглютинация», ничего не помню о «вариантах и вариациях фонем»...

Полагаю, впрочем, что те, кто вместе со мной слушал лекции Реформатского в стенах Литинститута, находятся не в лучшем положении. Однако то, что мы забыли многие языковедческие термины,— это, думается, нормально. Идут годы, и память постепенно отсеивает то, что человеку в его деятельности как бы и не нужно. Термины забыты, но живое, горячее отношение к языку, которое внушал нам Реформатский, это у нас осталось. Он учил нас чувствовать слово, обращаться с ним бережно и внимательно. А слово — это инструмент, которым мы работаем, инструмент нашего ремесла.

Но не только о своей науке говорил нам на лекциях Реформатский. В лекциях нередко бывали отступления. И эти отступления не забыты нами.

Семь лет подряд мы с А. А. каждый апрель проводили в Ялте, в Доме творчества. Там Реформатский встречал своих бывших студентов Литинститута, ставших членами Союза писателей. Вот выдержки из ялтинских дневников А. А., или, как он называл их, «итинерариев» (от латинского «itinerarium» — описание путешествий):

«Боря Б. сегодня вспоминал, как я говорил им на лекции о том, что такое Художественный театр в истории нашей интеллигенции и как мне грустно, что у них, молодых, не будет этой радости. Спасибо Боре, что он — помнит!» (1974 г.)

«Заходил ко мне сегодня Нема Г. и вспоминал день, когда умер Качалов и я рассказывал о нем студентам. А ведь верно! Свою лекцию в тот день я начал с поминального слова о Качалове. Кончил, кажется, так: «Каждое поколение должно иметь своего Качалова, и не только как незабываемого артиста, но и как личность, как идеал!» (1975 г.)

А уж теперь, в годы восьмидесятые, пожилая писательница, живущая со мной в одном доме, вспоминает: «До

чего ж мы любили, когда он рассказывал нам о театре, о музыке, о литературе! Бывало, с этого и начинал, а уж потом переходил к фонеме. Но и о фонеме он рассказывал увлекательно!»

«Он порождал вокруг себя мощное силовое поле русской культуры!» — слова одного из бывших студентов Реформатского.

Эти «прививки» русской культуры, получаемые на его лекциях, до сих пор с нами.

«Но и о фонеме он рассказывал увлекательно»! И для нас в те годы пропустить лекцию Реформатского было не меньшей потерей, чем для студентов Горпеда. В чем же была сила этих лекций?

«Навыки актерства,— пишет А. А. в своем дневнике,— уменье владеть голосом и интонацией — очень мне пригодились в моей лекционной деятельности».

Голос и интонация — пригодились. Но никакого актерства, никакой театральности в его лекциях не было. Напротив. Полная непринужденность и почти домашняя разговорность речи. Этим он нас поначалу и огорашивал. В те годы в Литинституте были и другие превосходные лекторы, но, думается, именно эта непринужденность отличала Реформатского от всех. Он с первого взгляда внушал симпатию своим добродушным видом (обманчивым, между прочим!), своей веселостью, шутками и даже хитрым прищуром небольших проницательных глаз. Навыки ли актерства ему помогали, или же прирожденная артистичность натуры, но аудиторию он чувствовал удивительно, контакта с ней не терял ни на минуту. Заскучать на его лекции, отвлечься, думать о постороннем — было невозможно. Видимо, он точно знал, ощущал ту секунду, за которой внимание начнет падать, и умел его взбодрить шуткой, каламбуром, неожиданным экскурсом в иные, не языковедческие сферы — шахматы, музыка, охота, театр...

«Ибо все его увлечения существенно помогали ему в главном деле его жизни — проникновении в тайны Языка,— вспоминает один из сотрудников А. А. по Сектору структурной лингвистики.— Изучая речь в пении, Реформатский постигал особенности лингвистических артикуляций; принцип избыточной защиты, известный в теории шахмат, использовался им при объяснении организации текста; размышления о терминологии базировались на собственном охотничьем опыте, и тому подобное».

Любимый наставник А. А.— Дмитрий Николаевич Уша-

ков, слушал в свое время лекции Фортунатова. Как-то Фортунатов заявил студентам: «Все, что я изложил вам на прошлой лекции,— неверно. Я это понял за неделю. Прошу зачеркнуть эту запись, а я изложу эти вопросы сегодня совсем по-другому». Вспоминая этот случай, Д. Н. Ушаков добавлял: «Вот, даже если в пустяке ошибешься на лекции, непременно надо об этом сказать студентам, чтобы они — зачеркнули!»

Следуя завету учителей, и Реформатский не боялся, ошибившись, в этом признаться и изложить по-новому. «А в прошлый раз я вам, братцы, наврал. Не так это надо понимать, а вот эдак!» Мысль о том, что подобное признание может как-то «пошатнуть авторитет», Реформатскому и в голову прийти не могла. Такие мысли посещают, думается, лишь тех, кто сам в свой авторитет не слишком верит...

Ошибиться Реформатский мог, ибо излагал свой предмет не по писаному, а — вдохновенно. «Это был преподаватель-энтузиаст. Мы уважали его, ценили. И лишь спустя годы догадались, что он не только «вводил» нас в науку о языке, но сам развивал ее» [1].

Как он эту науку развивал, в чем была ценность Реформатского-ученого — не мне об этом говорить. А вот Реформатский-учитель до сих пор своими учениками не забыт, и объясняется это не только его педагогическим даром...

«Сервилизм — болезнь дурная и заразная,— пишет А. А. в письме к одной из бывших учениц.— Как с этим бороться? А вот как: честность, честность и еще раз честность!»

«Страстный и пристрастный Реформатский вносил дух относительности в застывшие классические нормы, вдруг переставал понимать (прикидываясь простачком) давно, казалось бы, понятные вещи и, играючи, переворачивал на попа привычные истины»,— вспоминает один из друзей-сотрудников.

Эта его манера все подвергать сомненью, ставить «на попа привычные истины» шла иногда вразрез с официально принятыми, утвержденными взглядами.

Тысяча девятьсот сорок девятый год. Ругают учебник Реформатского — ту самую светло-коричневую книжку

---

[1] Бременер М. В сб.: Воспоминания о Литературном институте. М., 1983, с. 217.

«Введения...», изданную двумя годами раньше (и сколько же раз с тех пор дополненную и переизданную!), книжку, по которой мы учились, над которой страдали. А он, войдя в аудиторию первокурсников, поднимал свой учебник над головой и, слегка паясничая, произносил: «Вот книга. Многажды разруганная. Но — другой нет-с!»

За что ж она была разругана?

В официальном языкознании тех лет единственно правильной была признана теория Н. Я. Марра, называемая так: «Новое учение о языке». А. А. Реформатский не был сторонником этого «учения», а его книга «Введение в языковедение» была антимарровской по самому своему духу.

Январь тысяча девятьсот пятидесятого года. Сданы экзамены за первое полугодие второго курса, мне необходимо ненадолго съездить в Казань. Повезло: соседки по купе — две дамы интеллигентного вида. Разговорились. Дамы оказались лингвистками, преподавательницами Казанского университета, возвращались домой после какой-то московской конференции. Я похвасталась, что учусь в Литинституте. А кто читает языкознание? Реформатский. Дамы переглянулись. Какой Реформатский? Ну — тот самый. Известный. Одна молча всплеснула руками, другая, более темпераментная (и по званию старшая — завкафедрой), вскричала: «Известный? А вы знаете, что о нем пишут? Геростратова у него известность! И он смеет преподавать по своему учебнику? Вы слышите, Марья Петровна? (Марья Петровна слышала, но не верила своим ушам!) Это что ж они в Москве себе позволяют, нет, вы только подумайте, Марья Петровна! (Марья Петровна закатывала глаза и пожимала плечами.) Мы-то в Казани уже давно этот учебник...»

Что именно? Изъяли и сдали в макулатуру? Или сожгли по примеру упомянутого Герострата? Не помню! Знаю лишь, что тогда в вагоне мне сразу вообразилось, как темпераментная, разрумянившаяся завкафедрой с проклятьями швыряет учебники в весело пылающий костер, а тихая Марья Петровна, сидя на корточках, деловито помешивает кочергой... Нет, разумеется, до этого дело вряд ли дошло, но я так и не могу вспомнить, что они там сделали в Казани с этим учебником. Зато хорошо помню, как разрывалось мое бедное сердце. Профессор, любимый даже теми студентами, кто на его экзаменах проваливался, и все обожают его лекции, а он, оказывается, что-то не то и что-то не так! Что ж теперь? Кому верить?

Себе верить. Внутреннему своему голосу верить. Простенькая истина, но как же бывает трудно до нее дойти!

Весна того же года. Обстановка напряженная. Реформатский продолжает читать лекции, но известно, что положение его шатко, и не последний ли год преподает он? Позже я спрашивала А. А.: «И что бы ты делал, если бы...» — «Стал бы егерем!»

Егерем он не стал. Он и его единомышленники, не признававшие «Нового учения о языке» Н. Я. Марра,— победили. Радоваться бы! Поначалу и радовались. Маятник качнулся туда, куда следовало, однако раскачка оказалась чрезмерной. То, что все принялись изучать антимарровскую брошюру, из которой школьники декламировали отрывки на экзаменах, а лица, никакого отношения к языкознанию не имевшие,— на семинарах,— такое радовать уже не могло.

Учебнику Реформатского, еще вчера разруганному, открылась «зеленая улица». Интересно знать: как себя чувствовали в этом незабвенном июне 1950 года мои соседки по купе? Вечером заснули убежденными «марристками», а утром сожгли все, чему поклонялись? Легко ли им это далось? Не знаю. Но есть люди, которым подобные «перестройки» даются без особых терзаний.

Середина пятидесятых годов. «Вместе с П. С. Кузнецовым он первым среди русских лингвистов откликнулся на вызов, брошенный лингвистике машинным переводом»,— вспоминает один из бывших сотрудников Реформатского. Речь, следовательно, идет о прикладной лингвистике, а это новое направление в языковедческой науке поначалу не приветствовалось. Реформатского вновь ругают.

И это прошло. И он создал и возглавил свой любимый Сектор структурной и прикладной лингвистики. В тесноте тогдашнего помещения Института языкознания сектор ютился в комнатушке первого этажа. Слева от входа, перед маленьким пыльным окном, глядевшим на двор, на штакетник, на деревья, то зеленевшие, то облетавшие,— письменный стол и кресло Реформатского. Справа, боком ко второму окну, еще два стола поменьше, все это завалено бумагами, папками, книгами, а открыв дверь, с ходу натыкаешься на стул. На нем сидит некто (он или она) явившийся к профессору либо за консультацией, либо проситься в аспиранты. Другому, явившемуся за этим же, не только сесть, но и войти невозможно,— ждать придется в ко-

ридоре. У сотрудников сектора присутственные дни разные, ибо всем одновременно находиться в этом помещении возможности не было. Работали кто дома, кто в библиотеке, но забегали в сектор нередко и не в «свои» дни и, если стул был занят кем-то посторонним, присаживались на край стола Реформатского, ибо дело к нему срочное! Молодые сотрудники именовали главу сектора «шеф», «метр», «учитель», а себя — его «сюжетами» (от французского «sujet» — подчиненный, подданный). И работали в этой тесноте весело и дружно.

Позже институт выделил сектору комнату на втором этаже, там было светлее и просторнее. Покоя, однако, не наступило и наступить не могло. Реформатский сам был человеком беспокойным.

Диссертаций он не защищал никогда. Чем даже несколько бравировал: не с руки на это время тратить, других дел полно. Эту точку зрения разделяли и два его близких друга: В. Н. Сидоров и П. С. Кузнецов. Стремление к званиям, к степеням было всем троим органически чуждо. Доктором наук «гонорис кауза» (без защиты) Реформатский стал лишь в 1961 году, о чем позаботился не Институт языкознания, а Институт иностранных языков.

В 1968 году А. А. узнал, что его выдвигают в члены-корреспонденты Академии наук, и хотел протестовать: к чему? Все равно ничего из этого не выйдет! Убедил его остаться в списке кандидатов А. Т. Твардовский, сам в это же время выдвинутый в Академию. Мы жили той осенью в маленьком доме на Пахре, А. Т. к нам иногда заглядывал. «Ну не выберут,— говорил А. Т.,— вполне возможно, что нас с вами и не выберут, а из списка уходить не следует!» Как я помню это утро, остывшую печку (только собирались ее растапливать), мокрые стволы обнаженных берез за окном и первые снежинки, падавшие на желтые листья, покрывавшие землю,— была середина октября, мы надолго задержались на Пахре в том году... Сколько воспоминаний и светлых, и грустных связано у меня с этим местом! Больше — грустных. Ведь многих там встречавшихся милых мне людей уже нет.

Я думаю об Александре Александровиче, и на ум приходят слова Достоевского: «Направление! Мое направление то, за которое не дают чинов!»

Ему их и не давали.

Огорчало его это? Нет. Цену себе он знал, свой вес в науке понимал, и была у него та внутренняя свобода, ко-

торая позволяла ему спокойно обходиться без внешнего признания, этому весу соответствующего. Жил своей фонологией, любовью и преданностью сотрудников и учеников. Другое задело его: предложение выйти на пенсию, означавшее отлучение от его любимого, им созданного Сектора структурной и прикладной лингвистики. Ему исполнилось семьдесят лет, возраст пенсионный, но не для ученого, во всяком случае не для каждого ученого. Разумеется, он не унизился до объяснений, не стал доказывать, что еще вполне в силах руководить сектором. Пенсия так пенсия, как вам будет угодно! Но был глубоко оскорблен, угнетен. Мне иногда кажется, что это угнетенное состояние духа повлияло на его болезнь, ослабило сопротивление организма.

Я делала все, чтобы убедить его: так оно лучше. С институтом не разлучили, он остается профессором-консультантом, а ответственность уже не та, значит куда больше времени для своей работы. И, ради бога, пусть его не волнуют соображения материальные. Утрачено не так уж много, сто рублей в месяц, проживем, обойдемся. Убеждала. Он делал вид, что соглашался. Но его оскорбленное самолюбие проявлялось в паясничанье, столь часто меня раздражавшем. Объявлял: «Нищ, сир и наг!» Не был ни тем, ни другим, ни третьим. Нам иногда не хватало денег, но это объяснялось моей расточительностью и его бескорыстием. Сколько разных работ он выполнял даром! (Я: «Платить тебе за это будут?» Он: «Не знаю».— «Ты бы хоть поинтересовался!» — «Не так воспитан!») Щепетильность его вообще доходила, с моей точки зрения, до крайности. Вот явилась к нему новая аспирантка из Ташкента. А. А. открывает на звонок дверь, и до меня доносится краткий диалог из передней: «Оставьте ваши восточные штучки! Уберите это!» — «Но, Ал. Ал., куда я это дену?» — «Куда хотите. Жду вас, но без этого!» Входная дверь захлопывается. Я выскакиваю из своей комнаты. «В чем дело? Что она тебе принесла?» — «А бог ее знает. Корзинка какая-то. Яблоки там, или что...» — «Ну и почему ты не взял?» — «Не так воспитан!» Не скрою: спустя какое-то время эта аспирантка, предварительно убедившись в том, что А. А. нет дома, принесла арбуз и две дыни. Я их взяла. Потом меня ругали. Но — вернемся к паясничанью. Очень любил повторять, что он «коечник», на том основании, что наша квартира в кооперативном писательском доме на мое имя. «Я здесь никто. Я — коечник!» Любил время от времени надевать мас-

ку эдакого никому не нужного, всем надоевшего тихого старика, который готов без всего обойтись. Цитировал строчку Некрасова: «Ну и без щец поснедаю я, грешный!» Это были, в основном, спектакли домашние, разыгрываемые для меня, для близких друзей.

Хотел ли он, чтобы его убеждали в обратном: и не нищ он, и не сир, и не коечник, а многими ценим, а многими любим? А главное: нужен, нужен, нужен. Многим нужен, и мне в первую очередь? Хотел. Господи! Ведь каждому из нас необходимо знать, что он нужен! Вот я и убеждала — иногда. А иногда сердилась: «Хватит. Перестань. Типичный Фома Опискин!» Или: «Ну, опять начинается фомизм-опискизм!»

У этого человека, такого на первый взгляд к себе располагающего, такого на вид добродушного, легкого, простого,— характер был совсем не легкий и очень не простой. И добродушным он не был. Он был добр.

Среди читательских писем, посвященных не столько моим творениям, сколько Реформатскому, один из бывших его студентов, ныне живущий в Одессе, пишет: «Сколько же лет прошло, а Александр Александрович жив в моей памяти, будто я видел его вчера. И особенно часто вспоминается его бурный демократизм!»

Бурный демократизм... Чувство равенства с окружающими — одна из характерных черт Реформатского. Никогда не требовал для себя никаких привилегий и возмущался, если их требовала я — со мной такое случалось... Он как все. Очередь так очередь, попытки ее нарушить, сославшись на возраст, на болезнь, на хромоту,— считал унизительными. С лифтершами нашего дома, со сторожами, слесарями, гардеробщиками и гардеробщицами — говорил не менее уважительным тоном, чем с людьми, занимавшими «посты». И всегда по имени-отчеству. Не помню, чтобы он кому-нибудь сказал «здравствуйте» или «до свиданья», не добавив имени-отчества. Мы с ним живали в писательских Домах творчества, и А. А. коробило, когда он слышал, как некоторые члены Союза писателей позволяют себе обращаться на «ты» к уборщицам, нередко пожилым, называя их «Катями» и «Машами». Сам он обращался без отчества лишь к тем, кто был его много моложе (да и то если они его об этом сами просили!), и к тем, кого он давно знал... Не забывал благодарить за каждую мелкую услугу. Умел приветливо и «на равных» побеседовать с людьми совсем иного, чем он, уровня. В дневниках его нахожу такую за-

пись: «Люблю разговоры о погоде. И на правду похоже и не обидно никому!»

Некая Клавдия Ивановна, моя сверстница, уже много лет ходит в наш дом (при жизни А. А. чаще, теперь — реже), помогая мне по хозяйству. Недавно мы с ней разговорились об А. А., и она вдруг сказала: «Сколько же раз он меня одевал!» И в памяти моей возникло то, о чем я стала уже забывать: сцены прощанья с Клавдией Ивановной. Закончив работу часам к двум-трем дня, она нас покидала, и, если в эти минуты А. А. заставал ее в передней, он подавал ей пальто. Я тут же вспомнила эти смущенно-протестующие крики, доносившиеся в мою комнату: «Да вы что, Александр Александрович! Да я сама!» — «Нет уж, извините, Клавдия Ивановна!»

В течение пяти лет, вплоть до начала 1960 года Реформатский заведовал фонетической лабораторией филологического факультета МГУ. Уйти оттуда ему пришлось «волею закона о совместительстве», как он выражался. В лабораторию посылали иностранных студентов, изучающих русский язык,— ставить произношение. Из них мне запомнились трое французов: Розлин, Люсиль и Жак. Потому, видимо, запомнились, что они и дома у нас бывали.

Однажды в присутствии Розлин (сидели на кухне, чай пили) зазвонил телефон в кабинете, подошла я, а затем позвала А. А.— звонила одна из его аспиранток. Мы с Розлин остались вдвоем, но беседа не клеилась. Розлин не столько слушала меня, сколько голос А. А. — его баритон с отличной дикцией ясно доносился на кухню. И вот Розлин уже вообще обо мне забыла, повернулась в профиль, вся устремившись к этому голосу — интересно, что так взволновало ее? «Четвертая в палате? Ну что ж, это неплохо. И ездить вам недалеко!» «Дело в том,— обратилась я к Розлин,— что этой аспирантке долго не удавалось устроить мать в больницу. Теперь, значит, ей это удалось...» «А диагноз подтвердился?» — доносилось на кухню. Розлин повернула ко мне свое молодое лицо с расширенными от удивления голубыми глазами. «Она — кто? Ваш друг?» — «Да нет, я же сказала: аспирантка. Из недавних. Я ее видела-то, кажется, всего раз...» — «Incroyable!» [1] — воскликнула Розлин на родном языке, и — перейдя на русский: «Ученица! И он с ней так! У нас это не может бывать!»

[1] Невероятно! *(фр.)*

«Да и у нас это не так уж часто «может бывать»!» — подумала я, поняв в эту минуту, почему Розлин, хорошо владевшая русским, заговорила неправильно. Она была выбита из колеи. Изумлена и растеряна.

Это я давно привыкла к тому, что все те, кого А. А. учил когда-то и кто ожиданий его не обманул, все те, с кем он близко соприкасался по работе и кому симпатизировал,— становились чуть ли не членами семьи. Он вникал не только в их научные дела, но и в домашне-бытовые заботы, беспокоился о них, стремился им помочь...

Еще в 1950-м году я слышала от него имя Наташи Е., его студентки из Горпеда: А. А. был высокого мнения о ее лингвистических способностях. Рассказывая о ней, добавлял: «Гамлет в юбке! Вечно не уверена в себе, вечно пребывает в сомненьях! Эльсинорский характер!» После окончания аспирантуры Наташа была направлена в Уфу. В марте 1955 года А. А. писал ей туда: «Как вы устроились и влезли в трудное дело? Очень прошу срочно сообщить о себе все!» Она сообщила, и он отвечает: «Вижу: с начальством Вам не повезло. Терпите. Читайте. Думайте. Пишите. Но вот чем особо огорчен: неужели же не дает никакого удовлетворения ни один момент работы в каком ни на есть вузе? Ведь они-то, студенты, люди???» (июль 55 г.) «Получил Ваше большое, тревожное и грустное письмо. Ломаю голову: в чем дело? Ведь научно Вы на голову выше многих! Педагогически? Да, у Вас мало опыта, на Вас сразу навалили очень много всего. Но ведь в небольшом масштабе Горпеда Вы не один год занимались с первым курсом и успешно? Значит, что же? Дело, быть может, в уровне студентов, которым не нужна наука, а нужен только «свод правил» без различения знаков и букв? Не в этом ли загвоздка? Думаю, однако, что Ваш эльсинорский характер здесь тоже играет роль!» (ноябрь 55 г.)

Позже Наташе удалось вернуться в Москву и поступить на работу в Институт русского языка. Жизнь ее гладкой не стала. Во всех перипетиях этой нелегкой судьбы А. А. горячо участвовал, стремясь помочь чем только мог.

Выражаясь словами Маяковского, А. А. не жалел на человека «ни одеяла, ни ласки». Случилось однажды так, что одному из его иногородних аспирантов некуда было деваться, и он полгода жил у нас. Московской прописки ему добился сам А. А.

Стоило ему полюбить кого-то из учеников своих или сотрудников, как он начинал к ним относиться как к род-

ным, участвуя во всех их заботах — и деловых, и бытовых. «Помни: если что,— я всегда рядом, и поддержу и помогу!» — пишет он одному своему аспиранту. Они и во сне ему снились. Из ялтинских дневников: «Снился Витя, будто мы с ним едем куда-то...», «Снилась Симочка, что — служит!» («Симочка», бывшая аспирантка А. А., была в то время без работы.)

Кого же он любил?

Преданность своей профессии, честное отношение к своему делу, проявленные к нему способности и стремление делать это дело как можно лучше — вот что превыше всего ценил в людях Реформатский. Этим определялось его отношение к человеку. Все остальное — мил, добр, симпатичен — играло роль второстепенную. А занимаемый пост, влиятельность, чины и звания — вообще никакой роли не играли. Взгляд на человека с точки зрения «а чем он может пригодиться?» был А. А. органически чужд. Так называемых «нужных людей» в нашем доме не бывало никогда. Тут мы были едины. Кое в чем, однако, расходились.

Звонит по телефону молодой лингвист. На днях он будет защищать кандидатскую. К делу своему способен, дело свое знает, его работы одобрялись Реформатским. Но незадолго до телефонного звонка нам стали известны недостойные поступки этого человека. Чему А. А. старался не верить. Как же ему было трудно, как ему не хотелось верить дурному о тех, к кому он хорошо относился! Останавливал мои пылкие разглагольствования: «Перестань!» Нахохлившись, произносил угрюмо: «Я этого не знаю». А уже знал. А уже верил. Но вслух в этом признаться ему было тяжело.

И вот нам звонят. Приглашают на защиту, а затем — в ресторан. А. А. разговаривает любезно, однако шутками беседу не сдабривает, от приглашения вежливо отказывается, сославшись уж не помню на что. Кладет трубку. Я, во время разговора торчавшая рядом и делавшая знаки (дескать — ни в коем случае, дескать — откажись!), восклицаю: «Очень надеюсь, что его провалят!» В ответ слышу: «А ты — фашистка!» К этому обвинению добавлено ничего не было, но суть его была понятна. То дурное, что мы знаем о человеке, к ДЕЛУ отношения не имеет. Если ученой степени он достоин, то никакие иные соображения участвовать тут не должны. Этих взглядов Реформатский держался упорно. Я уважала их, стремилась их разделять, но удавалось мне это не всегда.

...За месяц, что мы с А. А. проводили в Ялте, я получала два, от силы три письма, а к Реформатскому письма шли почти ежедневно. Иногда по нескольку в день. «Сегодня рекорд,— записывает А. А. в своем дневнике,— сразу семь писем!» Писали ему, в основном, его ученики — и бывшие, и настоящие. А. А. находился вдали от своих молодых друзей, но отрываться от них не желал, ему требовалось быть в курсе их жизни, их дел. В его отсутствие одна молодая лингвистка защитила докторскую, ему об этом сообщают, но этого — мало! И вот он пишет С. С. Высотскому: «Дорогой Серега! Сегодня получил Вашу реляцию о 100 процентов Лиды, за что благодарю Вас. Ей уже написал приветственную грамоту с вопросами, так как в Вашей реляции мало «мяса» для умов восторженных, к коим я имею честь принадлежать. Меня же интересует, что было дальше, кто что сказал, кто что ел, кто упился и плясал, кто мирно опочил в упитии. Вообще люблю «как»! Надеюсь, что оная дева — доктор мне отпишет про все. Ничего Вы не пишете также о Федотовых хоромах и о моей конюшне. Что там творится? Здесь восемь моих учеников из разных вузов. Спаси бог!»

«Федотовыми хоромами» А. А. окрестил Институт русского языка по имени его тогдашнего директора. Сотрудницы этого института (некоторые из них бывшие ученицы А. А.) именовались «русские девки» — просторечные слова в устах Реформатского грубо не звучали никогда.

О чем же писали ему, чем с ним делились? Ему рассказывали и о работе своей, и о поездках в экспедиции, и о том, как отдыхалось...

«С 1 по 9 апреля ездила в Архангельскую область. Путешествие прошло блистательно. Была на «краю света», как называют поселок Нижнее Устье за Кенозером его жители... Это лесопункт, бабы тут боевые, огонь, поют и пляшут замечательно — снимала и записывала. Была и в деревне Почозеро: шатровая церковь на холме, озера, холмы, леса. И все белоснежное... Рыжики соленые, брусника моченая, картошка рассыпчатая, хозяйкины рассказы о дурном и хорошем глазе, о водяном, о соседке-ворожее, и все это под мирный шум самовара — хорошо!»

«В Ленинграде пробыл прекрасно. Доклад мой прошел удачно, потом рассказывал о своей работе тамошним структуралистам. Дни стояли отличные, солнце, ни единого облачка, безветренно. Много гуляли по городу, ездили в Старую Ладогу, Выборг, Комарово».

«В горах шел дождь, сапог не было, кеды промокли, и все-таки в моем настроении главенствовала лирика, а не физика. Карпаты красивы при любой погоде, а серый цвет и рваные ползучие облака придают им особое очарование в духе Коро».

На письма А. А. отвечал незамедлительно. К тому же и в Ялте много работал, и, входя к нему, я почти неизменно видела его у стола, но эта склоненная над столом фигура рисовалась не в окружении журналов, папок и книг, а на фоне настежь открытой на балкон двери, а за ней сиянье и свет крымской весны, небо, верхушки кипарисов, полоса моря, и не пылью своих фолиантов дышит А. А., а целебным для его нездоровых легких спасительным воздухом, это и утешало меня. Да еще то, что время от времени он выходит на балкон, сидит там в плетеном кресле, читает, думает, наблюдает за жизнью птиц, а значит — дышит, дышит, дышит...

То, над чем он работал, отражено в его «итинерарии» и в письмах к друзьям.

«До обеда сидел над «транс...» Написал три страницы. Осталась «...крипция».

«Сейчас болею морфологией, но, конечно, на базе фонологии, плюс свои регалии: парадигма, регулярность, всякие «тантум» и прочее. Глаголом пока заниматься не буду: это омут, в котором потонешь, а ограничусь сюжетом попроще».

«Сумел вчерне написать «О реальности модели». Недоволен в целом, хотя кусочки есть».

«Еще до завтрака писал этюдик о «нынешний — нонешний», «номер — нумер», «ноль — нуль». Касательно нулей... Насколько нуль плох в жизни, настолько он важен в мысли. Без нуля мыслить нельзя... Нули бывают разные. Бывает истинный нуль в любой системе счисления. «Система нуждалась в нуле, чтобы стать еще совершеннее»,— приводил из индийских мудрецов чудесный В. Н. Топоров. Бывают и иные нули. «Для вас он (Козулин) ничтожество, нуль, ну а для нас... он велик, всемогущ и великомудр» (Чехов, «Торжество победителя»). А бывают и в лингвистике нули,— они-то и не «идеальные», и не «козулины», а необходимый инвентарь системных отношений, о чем еще когда-то пеклись Фортунатов, Бодуэн и Соссюр. Нули в любой семиотической системе необходимы — это прямое следствие знаковости, где даже при двух возможных в качестве одного

бывает нуль. То же при трех и более. Собственно, вся дихотомия построена на отношении к нулю».

«Делал выписки из Лескова, в частности, слово «стукач», якобы неологизм XX века! А у Данилевского, в «Княжне Таракановой» нашел «приболела». Вот тебе и неологизм, а ведь это 1882 год!»

«Получил с почты бандероль из Праги: корректура «Словаря»! Читал все шесть столбцов на шести языках: русский, украинский, белорусский, английский, французский и немецкий. Ошибок мало. Какие чехи молодцы! Как они умеют работать! Скоро конец, но до печатанья далеко. Доживу ли? Ведь на эту работу, на которую всем наплевать, я истратил более 15 лет».

До печатанья Словаря — не дожил.

Письма Реформатского к ученикам и коллегам — это характерная для него смесь: наука, быт, шахматы, музыка, шутка. Одному из своих давних студентов, ставшему незаурядным ученым, А. А. пишет: «Вообще-то самое главное уметь слушать, слышать и мыслить фонологически! Скажите: убеждает Вас мое доказательство, почему надо писать «танцовать», а не «танцевать»? Основой его служит гиперфонема. Вл. Ник.[1] с некоторыми добавками Пети[2] и моими». И так далее. Письмо сугубо деловое. Но обращается А. А. к своему корреспонденту так: «Глубокочтимый и Втрактироненаправляемый Михаил Викторович!» Дело в том, что этот ученый в рот не брал спиртного. Подпись такая: «Ваш неофициальный метр, друг, соратник и поклонник».

В ялтинских письмах 1970 года мелькают имена Спасского, Смыслова, Петросяна, Фишера, Ларсена, Таля. Шел шахматный матч мира, за ним А. А. следил по газетам, чертил какие-то мне непонятные схемы, возмущался поведением Фишера, а в письмах делился этим со своим любимым учеником, к которому относился как к сыну, вечно о нем тревожился — эта тревога отражена в дневниковых записях: «Не верю я в прочность сделанного им шага!», «Нет у него чутья на людей!» Вот с ним А. А. и беседовал в письмах о матче и радовался тому, что их оценки талантов и поведения участников матча — совпадают.

[1] В. Н. Сидоров.
[2] П. С. Кузнецов.

В письмах к одной из своих бывших учениц, любившей и понимавшей музыку, А. А. делится своими раздумьями о симфонии, которую, по его словам, начал «подтачивать Бетховен своей Девятой, продолжил затем Берлиоз, довел до чего-то Малер и завершил Шостакович».

Реформатский не разделял увлечения американским пианистом Ван Клиберном, охватившего в свое время многих москвичей, в том числе некоторых его учениц. «А девки-то вопят!» — сокрушенно говорил мне А. А. И вот одной из них он пишет в 1962 году: «Итак, В. К. сыграл Пятый концерт Бетховена. Не что-нибудь, но и ничего! Вообще играл он очень чистенько. Но не кажется ли Вам, что он сентиментален? Согласен: мил, способен, музыкален, но это не Лист, не Рахманинов, не Рихтер!»

Письмо отправлено на Институт русского языка, а на конверте к фамилии адресата добавлено: «ван Клиберн». Получалась как бы двойная фамилия. Обратный адрес лаконичен: «От меня». Бог знает что позволял себе изображать на конвертах Реформатский! Одну молодую женщину, фонетистку-диалектолога, работавшую в Институте русского языка, прозвал «Беатриче» — относился к ней нежно и романтически. Говорил про нее: «Женственна, скромна, толкова, умна и столько всего знает! Вот у кого учиться!» На конверте одного из адресованных ей писем написано: «Ее высокоочарованию». На конверте письма к Наташе Е., которую А. А. называл «Гамлетом», адресованного все в тот же Институт русского языка, в скобках добавлено: «В Эльсинор»... Однажды, во время нашего с ним речного путешествия, мне пришлось из Ростова-на-Дону самолетом отправиться в Москву, и на пароходе А. А. возвращался в одиночестве. Вскоре я получила от него письмо с таким обратным адресом: «Каюта люкс. Денег нет». (Денег я ему оставила в обрез.) Не знаю, что думали по этому поводу работники почтовых отделений, но письма — доходили.

К тому времени, что мы с А. А. поселились под одной крышей, студентов у него уже не было. Были аспиранты. Кого же он соглашался взять себе в аспиранты? Вот запись из его дневника:

«Что ж такое ученики? За сорок лет я пришел к некоторым выводам. 1) Не бери на вакантное место блуждающего соискателя. 2) Повидайся и расспроси: у кого учился, что читал, о чем думает? И — чего хочет? 3) Выпей с

ним водочки и проверь все. 4) И если все сойдется, бери его в ученики, а коли нет — гони в шею!»

В 1960 году у А. А. появились два новых аспиранта, оба одного возраста, оба — не москвичи, а жители от Москвы не близких провинциальных городов. Звали их Сима и Витя. Их одаренность, их незаурядность А. А. ощутил сразу же. Радостно мне говорил: «Вообрази, приехал малый из города М., привез четыре работы, одна другой интереснее! Вот еще поговорю с ним и в ученики, видимо, возьму!» Что-то в этом роде говорилось и о Симе. О переводе их в Москву А. А. хлопотал сам. В письме от 9 октября 60 года он сообщает Симе, что она зачислена в очную аспирантуру. «Сие есть факт, не подлежащий пересмотру. Ждите официального извещения, лейте слезы, прислонясь плечом к сердцу родителей, и — айда в Москву! Жду Вас бодрой, целеустремленной, здоровой, веселой и трудолюбивой!»

Новые ученики поселились в общежитии аспирантов АН в Черемушках. Теперь Реформатскому требовалось знать, как они там живут, как устроились, хорошо ли им... Влекло его также желание пообщаться с ними в обстановке неофициальной, выполнить одно из своих условий: «Выпей с ними водочки и проверь все!»

Вот запись из его дневника:

«В субботу 3 марта я проник глубоким рейдом в затылй молодой науки, сиречь в общежитие аспирантов. Интерес меня преследовал а) культурный; б) педагогический; в) географический и вообще... Сначала был в «Ж» (пур для дам). Понравилась площадь, понравились шкафы и ихняя дамская вежливость — пытались погрузить меня в ароматный «Абрикотин» и в торт-с. Но я был горд, выпил рюмку водки (своей, из кармана) и закусил ихним черненьким хлебом...»

Сегодня, через столько лет, мы с Симой каждый раз смеемся, вслух вспоминая эту попытку угостить Реформатского «Абрикотином». Да еще — тортом! Визита профессора ожидали, к нему готовились, совещались: как лучше принять, чем угостить? Решили, что ликер и торт — угощение к случаю подходящее. Откуда было девочкам знать, что такого рода угощение и Реформатский — несовместимы? И могло ли им прийти в голову, что профессор (профессор!) явится с бутылкой в кармане?

В общежитии «М» вкусы Реформатского были угаданы лучше: там его ждали с горячей картошкой, салом, колбасой и «лук о натюрель» и пивко охлажденное,— пишет А. А.

в дневнике,— о прочих напитках говорить не буду, я их не пробовал, пил принесенное с собой. Толковали на темы разнообразные: от университета до милиции, от проблемы НУЛЯ до Гамлета. Все было попросту и интересно. В компании: математик, литературовед, физик, химик, лингвист и зубр — это я. Очень мне все понравилось. И разговоры, и закуска!» И затем: «Да, заботиться надо, хлопотать, выдвигать, толкать этих юных гениев! Для этого силы нужны!»

Он и заботился, и толкал, и выдвигал своих «юных гениев», пока были силы. А когда силы кончились, те, кого он учил, кого толкал, кому помогал, стали заботиться о нем.

Зима 1977/78 года. Последняя зима его жизни. Он уже не ездил в Институт. По квартире передвигался с двумя палками. Боли в ногах усилились. Незадолго до этого он писал одному из своих друзей: «Рентген показал отложение солей, «усы», и «шипы». И больно, и немощно». На самом же деле рентген показал метастаз в крестцовый отдел позвоночника, о чем я узнала лишь годы спустя, после кончины А. А. Врачи от меня это скрыли, считая: достаточно и того, что я уже знаю. Вероятно, они поступили правильно: ничего изменить, ничем помочь было нельзя.

С трудом двигался. С трудом поднимался с места. Но еще сидел за письменным столом, еще писал свое, еще читал чью-то работу, собираясь давать на нее отзыв. Я с ужасом глядела на две толстенные папки, я видела, как с каждым днем он слабеет, голова клонится к столу, сейчас упадет на рукопись, но вот он встряхивается, выпрямляется, снова читает, что-то для себя записывая, ну как можно было соглашаться на этот ему сейчас непосильный труд, да еще там сроки какие-то поставлены, и он, с его адской добросовестностью... «Отдохни,— говорила я,— полежи!» — «Да, да, хорошо, еще немножко...» Настаивать бесполезно. Упрям. Требовать, повышать голос — еще хуже. Ответит: «Оставьте меня в покое!» Значит только одно: время от времени заглядывать в его комнату, потому что он скоро задремлет, непременно задремлет, вот тут-то и можно будет легонько потрясти его за плечо, сказать ласково: «Видишь, тебе непременно надо полежать. Отдохнешь, а потом продолжишь!»

Ах, нет! Не всегда хватало у меня терпенья, не всегда я выдерживала тон кроткой сестры милосердия, и взрыва-

лась, и голос повышала. «Неужели ты сам не понимаешь, что нельзя было брать эту работу?» Или — хуже. Оправляя ему постель, подтягивая нижнюю простыню: «Неужели ты не можешь хоть капельку подвинуться, помочь мне?» А он — не мог. Господи. Как теперь вспомнишь эти мои «неужели»!..

Однажды... Было это в апреле, но в какой именно день, в какое утро — не помню, сказал мне с удивленно-извиняющейся улыбкой: «Понимаешь, я никак не встану!» Вот с этого дня он уже и не вставал. Звонили из Академической поликлиники, предлагали госпитализировать. Поблагодарила. Отказалась. Болеть (когда нет нужды в операции), а тем более умирать — лучше дома. Если рядом врачи. Если есть уход.

Врачи были: в нашем доме поликлиника Литфонда.

Уход был. Помощь рвалась к нам таким мощным потоком, что приходилось его сдерживать. «Нет,— говорила я в телефон,— спасибо, сегодня не надо. Сегодня придут такие-то. А вы...» — «Завтра?» — «Нет, завтра я уже обещала таким-то, а вы...» Я старалась соблюдать очередность: рвущиеся помочь обижались, если им долго не давали нагрузок и поручений.

На ролях санитаров, прачек, уборщиц и посыльных трудились в нашем доме люди в ту пору уже немолодые, в большинстве своем кандидаты филологических наук, мелькали и доктора...

Мужчины по очереди являлись до своих присутственных часов, чтобы помочь мне совершить утренний туалет больного, женщины приходили вечером. Лица «со скользящим графиком» (в том числе дочь Маша, лектор университета) забегали в разное время, а Маша нередко у нас ночевала. В одиночестве мы его не оставляли.

А он все равно был одинок, как одинок каждый, кто находится на краю гибели и знает это. А он — знал. Недели за три до кончины, усмехнувшись, объявил двум своим бывшим аспиранткам: «Ну, что, девки, помирает ваш учитель?» Хотел добавить что-то веселое — видно было по выражению лица — но не смог, шутливый огонек погас, глаза померкли, он их закрыл. Мне — в ответ на бодрый тон, которым я произносила: «А сегодня тебе надо будет...» — «Ни к чему это. Разве ты не видишь, что я умираю?» Знал. Не было у него и того утешения, какое некоторые находят в религии. «Вы верите в загробную жизнь?» — вопрос одной из учениц. «Нет. Финита ля комедиа!»

К мыслям, что вот он был, он еще есть, а скоро его не будет, и куда? и что ТАМ? — примешивалось унижение от беспомощности, от зависимости, и это, пока были хоть какие-то силы, он пытался прикрывать шутками, иронией («мой хладный труп-с!»), врачу Берте Михайловне целовал руку, говорил: «До чего я дожил! В каком я виде при даме!»

Еще пытался читать. На ночь он любил перечитывать Лескова, Чехова, Островского. А тут попросил «Записки Пиквикского клуба», к этой книге прибегал в болезнях и горестях. Однажды — это было в двадцатых числах апреля — я увидела, что он держит книгу вверх ногами, вынула ее из его рук (руки бессильно упали) и ушла к себе, чтобы немного поплакать. С тех пор большую часть дня он проводил в полудремоте, шутить перестал, еще все сознавал, всех узнавал, утром своим слабым, изменившимся голосом еще спрашивал меня: «Как твои рученьки?» (За полтора года до этого у меня начался полиартрит, ударивший по мелким суставам.)

То, чего я боялась, то, чего с ужасом ожидала каждый день — мук, от которых человек криком кричит, кричит, как кричал толстовский Иван Ильич,— этого не случилось, эта чаша нас миновала. Он тихо угасал. Настало утро, когда я не услышала вопроса о своих «рученьках» и поняла, что близится конец. Он погружался в прошлое, бредил, вспоминал детство, пасхальную заутреню, и как отец читал вслух «Легенды о Христе», вспоминал свою мать, ехал с ней куда-то... Приходил в себя, но с нами почти не говорил, отвечая на вопросы кивком или отрицательным движением головы, от нас отрешился, был сух, отдален и уже не стеснялся своей наготы, своей беспомощности. Но какая-то автоматика работать в нем продолжала, за каждую услугу благодарил («спасибо, спасибо»), еще накануне смерти — благодарил. Лишь последний свой день промолчал сплошь и глаз не открывал, и, кроме воды из поильника, в рот ничего не брал.

Конец наступил третьего мая без четверти девять вечера.

Первые две ночи у меня ночевала Маша, последнюю, накануне похорон, ее мать, Надежда Васильевна.

Четвертого и пятого мая гроб с его телом стоял на письменном столе, и мне уже не вспомнить тех, кто приходил проститься. Дверь в квартиру вообще не запиралась.

В чем-то я принимала участие, что-то делалось помимо меня, но все — как должно.

Было чем накормить тех, кто ездил выбирать место на кладбище, договариваться о похоронном транспорте, и в церковь, заказывать панихиду. Он не просил о панихиде, он об одном просил — не жечь его, а положить в землю, но мы с Машей непременно хотели панихиду, хотя обе религиозностью не отличаемся, и все же, уважая обычай предков, непременно хотели панихиду, и отслужили ее вечером пятого мая в церкви Ильи Обыденского, где А. А. был когда-то крещен... Я вспоминаю эти дни как сплошной калейдоскоп лиц, тех, кто любил А. А., и лица эти казались мне прекрасными.

Шестого мая с ним прощались в зале Института русского языка. Менялся почетный караул, из магнитофона звучал квинтет Шумана. («Хороните меня под этот квинтет»,— говаривал А. А. Запомнили. Исполнили.) Из слов, произносимых над гробом, в памяти остались отдельные кусочки... «Мы пришли в его сектор в середине пятидесятых годов, мальчики и девочки, ничего толком не умевшие, а он делал из нас ученых... Собираясь домой, он брал портфель и говорил: «Ну, дети мои, я пошел!» Мы и в самом деле чувствовали себя его детьми...» «Наша жизнь разделилась на два периода: до встречи с Реформатским и после встречи с ним. Этот второй период с нами до смерти».

Я была чрезвычайно озабочена своим внешним видом. Однажды, вернувшись с чьих-то похорон, А. А. сказал мне: «Вдова была растрепана и в спущенных чулках. Нехорошо. Вдовы должны держаться достойно и вид иметь пристойный». Я очень старалась быть такой, какой он хотел бы меня видеть.

Удивительная погода стояла в тот день, ясная, безветренная, и небо без единого облачка, нежаркое, доброе солнце, свет, голубизна и первые листочки на кладбищенских деревьях, и я обрадовалась, увидев большую березу над ямой, вырытой для могилы. Она тут будет шелестеть листвой в летние ветреные дни и ронять сухие листья на могильный холм осенью, осенит своими ветвями его последние аршины земли, и белочки тут, конечно, бегают, он их очень любил, если видел белку из своего окошка на Пахре, всегда звал меня посмотреть и уверял, что ему веселее работается в тот день, когда он видел белку...

На помосте гроб. И последние слова, обращенные к

тому, кто там лежал, и которых слышать он не мог, а как хотелось бы верить, что — слышал! В 50-е годы у него были одновременно две аспирантки Тани, и еще были Тани среди друзей и коллег, одна из Тань вслух припомнила его шуточное четверостишие к Татьяниному дню:

Завтра утром встану рано,
Выпью водки, закушу,
За которую Татьяну?
Тут же я себя спрошу!

И улыбки на всех лицах, и даже — смех.

Знаю: он был бы рад этим улыбкам, этому смеху, этому свету в день своих похорон.

Спасибо нашим предкам за их обычай поминального стола — разве может человек после ЭТОГО вернуться один в свой опустелый дом? Мы вернулись, и все было готово, к письменному — накрытому, уставленному закусками — столу было придвинуто еще два, не знаю, откуда взявшихся, а так как стульев явно хватить не могло, была добыта длинная скамья, тоже не знаю откуда, и человек тридцать смогли кое-как усесться, а остальные толпились в дверях, ожидая своей очереди. Пили, не чокаясь, его светлой памяти, пили, чокаясь, друг за друга, были тосты, были слезы, и было много смеха. Вслух вспоминали шутки и разные выходки Ал. Ал — ча... В конце 50-х годов, когда заграничные поездки были еще редки, один из ученых Института языкознания, вернувшись из командировки в Рим, довольно беспомощно делился впечатлениями с залом, переполненным сотрудниками Института. «Пролетаем Копенгаген. С птичьего полета — море огней! Летим над Парижем, с птичьего полета — море огней!» И — громкий вопрос Реформатского: «Скажите, а Италия с птичьего полета похожа на сапог?» И зал грохнул от смеха. И наш поминальный стол тоже грохнул от смеха. О. Г. Верейский, старый друг, с которым А. А. вел на Пахре оживленную стихотворную переписку, выступил в роли певца: шуточные слова, написанные на заунывный мотив известной песни «А в степи глухой...». Реформатский и Верейский это пели дуэтом, стоя в обнимку, что было очень смешно, а тут Верейский исполнил песню соло, и мы снова смеялись... Вот так, в слезах и смехе, мы провели время до ночи, и было это вполне в духе того, кого мы поминали, того, кто так ненавидел «всяческую мертвечину».

А потом потянулись дни, месяцы и годы без него.

Их выносить мне помогали те, кто любил А. А.

Они делили со мной все выпавшие на мою долю заботы, а забот поначалу оказалось много. Чего стоили одни только хлопоты о памятнике, эти бесчисленные поездки в кладбищенскую мастерскую... (Однажды мы угодили в обеденный перерыв, в центре мастерской, на столе, который вплотную обступили памятники, рабочие «забивали козла». Кепки, сдвинутые на затылок, азарт, раскрасневшиеся лица, стук костяшек, а рядом золотые на мраморе надписи: «Спи спокойно, дорогая мамочка!», «Незабвенному мужу и отцу от жены и сына» — было в этой сцене нечто шекспировское...)

Они помогали мне разбирать набитые бумагами папки и ящики стола, сортировать письма. Они навещали меня в больнице, куда я попала летом 1979 года, заботливо привозя в авоськах творог, соки, яблоки и ягоды... И разве могла бы я без их помощи провести давно необходимый ремонт квартиры, требующий передвиганья мебели, выноса ее на лестничную площадку и прочей мужской работы... Да что тут говорить! Я вообще уже плохо представляю себе, как бы я жила без них! Из работников «моего цеха», моей профессии есть у меня два-три близких друга, но после кончины А. А. моими главными друзьями, постоянными посетителями дома стали работники его цеха — лингвисты. Некоторых из них я считаю уже членами семьи.

Он бывал в своем Институте по четвергам. Когда бывать там не смог — приезжали к нему. Беседы лингвистические и иные велись и в кабинете, и на кухне за рюмкой водки.

Седьмой год его нет на свете, а четверги продолжаются. За кухонным столом усаживается человек пять-шесть, а то и больше. Со мной на лингвистические темы не побеседуешь, это они иногда между собой пытаются, но, вспомнив о моем невежестве, не продолжают, однако, четверги проходят оживленно. Нам есть что друг другу рассказать, что обсудить. Много чего с каждым из нас случалось за эти пробежавшие годы — и печального, и доброго — всем делились, все переживали вместе.

Я смотрю на их лица и думаю о том, как я богата. Бесценное наследство оставил мне Александр Александрович.

4

Мог бы я быть добродетельным, почтенным, заслуженным и даже на всю жизнь? Мог. Но тогда я не был бы самим собою.

Снова весна. Весна ранняя, деревья зеленеют еще робко, и из своего окна я вижу дом, который напротив, весь целиком, а скоро его первые этажи будут закрыты буйной зеленью лип, ясеней и кленов. Вот они-то и начали покрываться первыми листочками, липы вступят позже. Когда мы поселились в нашей квартире, этих деревьев не было, их привезли на грузовике в виде саженцев, в виде тонких прутиков, и мы с А. А. с высоты шестого этажа смотрели, как все это выгружали, разбирали, закапывали, притоптывали, утрамбовывая землю. Жильцы того дома работали весело, помогали и дети, среди них — сын наших знакомых, ему было тогда лет одиннадцать, и А. А., наблюдая за ним, восклицал: «Ну, Федец! Ну, молодчина! Гляди, как он действует!» К вечеру все посаженное поливалось из резинового шланга, детям шланг не доверяли, справедливо опасаясь, что они, вместо саженцев, начнут поливать друг друга. Слышались крики: «Это вам не игрушки! Отойдите!» Но Федцу шланг доверили, заслужил, и он в течение нескольких минут гордо направлял шланг туда, куда следовало. Потом все разошлись, уселись, вероятно, ужинать с приятным сознанием свершенного хорошего дела, и нашим глазам открылись эти никем теперь не заслоненные, только что всаженные в землю прутики, такие тонкие, такие беспомощные, такие незащищенные... Казалось: стоит подуть ветру... А уж если гроза... А буря... Все было. И ветры, и грозы, и бури. Прутики устояли. Сейчас они превратились в прекрасные молодые деревья, они тянутся ветками до третьего этажа, иные — до четвертого, и я, работая у своего окна, люблю смотреть на их листву.

Боже мой, а ведь этому Феде, который их сажал, сейчас уж, верно, за тридцать? Он давно женат. Ну да, ну да, эти деревья посажены уже больше двадцати лет тому назад. Как давно! Как недавно!

С возрастом время бежит все быстрее. Сперва костяшками на счетах отщелкиваются месяцы, затем годы, а потом уж и десятилетия. Боюсь, я подошла к той черте, ко-

гда и двадцать лет не кажутся таким уж огромным сроком.

Ну, а сколько лет я вижу из окна этот дом напротив, построенный одновременно с нашим? Почти тридцать. Между прочим: у меня два окна и еще балконная дверь. О такой роскоши я когда-то и мечтать не смела.

В начале моей московской жизни мечты мои не простирались дальше комнаты в коммунальной квартире. Я шла по вечерней улице, видела чужие окна, за каждым желто-оранжевый уютный свет (то было время шелковых абажуров), и мечтала о том, чтобы какое-нибудь из этих окон стало моим. Моим собственным. Вот я вхожу в коридор, где стоят чьи-то сундуки, где над головой повисли велосипеды, и одна из дверей коридора — моя. Я вошла, я закрыла дверь, я — у себя! Ну конечно, рядом люди, с которыми придется делить кухню и все прочее, но тут уж мы на равных. Они мои соседи, я их соседка. А не бесправная жиличка, которой каждую минуту могут предложить освободить помещение, под предлогом... Да и без всякого предлога! Что-то сегодня мрачна моя хозяйка. Не на меня ли сердится? Ну, слава богу, гора с плеч, я ни при чем, это у нее на работе неприятности, к вечеру оттаяла и мне рассказала. А я киваю, поддакиваю, соглашаюсь — короче говоря: заискиваю... Одна из моих хозяек любила, ворвавшись ко мне в любое для нее удобное время, вслух вспоминать молодость. О том, как она была хороша. Как подруги завидовали ее красоте, ее уменью одеваться, ее жениху. Жених был тоже хорош собой и занимал ответственный пост. Вокруг шептались: «Надо же! Какого бобра убила!» Я старалась не коситься тоскливо на раскрытую машинку, я улыбалась, где надо, а где надо — возмущалась или сочувствовала, и, господи, как я в те минуты ее ненавидела эту женщину, как мечтала, чтобы кто-нибудь либо в дверь позвонил, либо по телефону, тогда она уйдет, оставит меня и, быть может, не вернется... Эти чувства следовало изо всех сил скрывать, дама обидчива, в любую минуту от нее можно услышать: «Ищите себе другое что-нибудь!» А попробуй найти «что-нибудь» в Москве того времени!

...Четыре года из семи моих московских бездомных лет я провела в полуподвале трехэтажного дома, стоявшего в одном из арбатских переулков.

Под арку во двор. В тылу дома — пристройка под дощатым навесом и маленькая дверь. Четыре ступеньки вниз

ведут на кухню. Дощатый навес — потолок кухни. На кухне — температура улицы, в потолке щели, через них наведываются соседские кошки, мы с хозяйкой моей, Еленой Ефимовной, держали провизию в кастрюлях, придавив крышки камнями. Были и еще две двери. Одна — в крошечную уборную — любила сама собой распахиваться, если не была заперта изнутри, и тогда взору вошедшего открывался унитаз. Это беспокоило Елену Ефимовну: «Нехорошо! Вид больно маральный!» Другая дверь, обитая войлоком, вела в помещение жилое, разделенное добротной перегородкой на две неравные части. Малая — вытянутый прямоугольник — передняя. Слева умывальник, справа, там, где окошко, железная кровать с тощим матрасом и маленький стол. Эту часть передней Елена Ефимовна и начала сдавать, когда муж умер, а дети разъехались. Остальная часть помещения — метров 14 — комната хозяйки. Дверь туда — непосредственно напротив двери из кухни, и мне легко было сразу обособить свой угол занавеской. С сентября 1950-го по декабрь 1954 года я прожила в этой странной квартирке бок о бок с Еленой Ефимовной. Простая, едва грамотная женщина из владимирских крестьян, была она умна, тактична и с чувством юмора.

В длину мое помещение соответствовало длине кровати. В ширину... Тот, кто сидел на стуле, приставленном к торцу стола, непременно должен был соприкасаться коленями с тем, кто сидел на кровати, чтобы этого избежать, сидевший на кровати отодвигался к самому окошку. Размером с мою теперешнюю ванную комнату был этот угол, отделенный занавеской из другой части передней. Но я держала там еще книжную полку, стоявшую, как и стол, вдоль перегородки. На полке — книги, фотографии, нередко — цветы. Вот только абажура не было, свисала с низкого потолка голая лампочка. И все же мне там казалось уютно. «Лакмейская!» — объявил А. А., впервые увидев мое жилище,— горазд он был давать прозвища людям и местам! «Лакмейская» — соединение двух слов: «лакейская» и «Лакме». Именно в то время опера «Лакме» шла в Большом театре, я ее слушала вместе с приятельницей, музыковедом из Казани, поэтому-то догадалась, откуда взялось слово «лакмейская». Так и прилепилась эта кличка. Годы спустя она мелькала в наших разговорах. «А помнишь, когда я жила в лакмейской...», «Это было еще в «лакмейскую» эпоху...»

Институт на Волхонке находился недалеко от «лакмей-

ской» и А. А. наведывался ко мне почти ежедневно. Нередко мы вместе обедали за этим узким столом, я сидела на кровати, А. А. на стуле, напротив окошка. Часть окна ниже уровня земли, но большая часть — выше, иногда видны были ноги бегающих детей и в форточку слышны их веселые голоса. «А ведь они,— сказал как-то А. А.,— увидят двадцать первый век, жить в нем будут!» И поднял рюмку и произнес торжественно, обращаясь к окну: «Люди двадцать первого века! Будьте вы хоть в чем-то... (усмехнулся)... ну, хоть в картах, счастливы!»

За этим же столом я работала. Училась. Писала разные мелочи и литературные консультации для журнала «Крокодил» — отвечала на письма начинающих сатириков и просто графоманов. Зимой 1952/53 года, студенткой пятого курса, в этой же «лакмейской» начала писать роман «Возвращение». Сидела лицом к окну, боком к кровати, машинка занимала всю узкую торцовую часть стола, напечатанные страницы откладывались на кровать. В поисках нужного слова устремляла взгляд в маленькое окно. Двор, куда выходили все три окна нашей странной квартиры, обычно бывал пуст и тих. Дети там резвились не часто, а вечером — не видно ни души. Это был двор посольства одной из социалистических стран. Тишайший двор! Тихо и за перегородкой у моей хозяйки. Радио она не включала, либо шила, либо вязала, иногда — читала. Она работала в больнице уж не помню кем, но график ее помню хорошо: трое суток дома, сутки на работе. Целые сутки я оставалась одна, была полной хозяйкой этой квартирки, и думаю, что человеку, своего крова не имевшему, лучшего пристанища в Москве тех лет и найти было невозможно. «Тишина подводного царства!» — говорила моя тогдашняя приятельница Таня Айзенман. После смерти родителей она жила одна в 20-метровой комнате, а работать часто приходила ко мне, спасаясь от разнообразных шумов плотно населенной коммунальной квартиры в Мансуровском переулке.

Шла памятная зима 1952/53 года. За стенами «подводного царства» происходили события, всю глубину и трагизм которых понять тогда я не была в состоянии. С Александром Александровичем мы говорили о многом — о литературе, о музыке, рассказывали друг другу разнообразные случаи из своих жизней, а тем политических не трогали. Я-то пыталась, но отклика не находила. Слушал, не перебивая, говорил: «так, так...» (интонация загадоч-

ная, но как бы — отметающая!), затем менял тему. Недавно, разбирая нашу с ним переписку тех времен, им сбереженную, я была изумлена, найдя в одном из его писем с охоты такую фразу: «Очень мне не хватает такого собеседника, как ты!» Сегодня мне трудно понять, почему я тогдашняя, с моим невежеством и ригоризмом, с моей наивностью,— казалась ему интересным собеседником.

К тому, что я писала для «Крокодила» (сатирические заметки на международную тему), А. А. относился с полным равнодушием. А вот мое стремление написать роман, рассказать о моей жизни ТАМ — поддерживал всячески. «Тебе непременно надо об этом написать, непременно!» И добавил: «Жить у нас трудно, и труднее, чем тебе это представляется. Но для русского человека другого места нет!» Никогда больше он этих слов не повторял — видимо, они казались ему «громкими», а он этого не любил, всякой торжественности избегал,— но я с тех пор их часто вспоминала, ища и находя в них поддержку.

Дипломной работой студента Литинститута должно было быть его, пышно выражаясь, творчество. Сатирических заметок и маленьких фельетонов, опубликованных в «Крокодиле», на диплом бы хватило. Фельетонисткой я была с юных лет, а на защите диплома мне хотелось предстать в ином качестве, в качестве романиста. А. А. это стремление одобрял. «Ты пиши, пиши, пиши свой роман о Тане!» — строчка из его стихотворения, застрявшая в памяти. И я писала.

До чего ж я была тогда работоспособна! Засиживалась до глубокой ночи, бывало, что за два вечера успевала написать целую главу! Сил было гораздо больше, а требовательности к себе — гораздо меньше.

Уже тогда А. А. помогал мне в работе: читал мои черновики, критиковал, советовал. О героине романа Тане мы говорили как о живом существе, и опять мне вспоминаются обрывки стихотворных строк А. А.: «...наша Таня, ты да я! Ах, не смейтесь ради бога, маленькая — но семья!» Я назвала роман «Возвращение» — в мои намерения входило рассказать и о том, как Таня вернулась на родину. «А вот этого не надо,— сказал А. А.,— это потом когда-нибудь. Пиши о том, что ты хорошо знаешь. Пиши о ТАМ!»

Бегала на лекции, ездила в «Крокодил», вечерами с головой погружалась в писание романа, торопилась, надо было успеть к защите диплома, благословляла тишину своего жилища.

А в стране тем временем назревали перемены, которые всех тревожили, меня же — не слишком. Наконец-то я живу в своем отечестве, наконец-то я там, где вокруг говорят по-русски, отныне у меня общая судьба с теми, кто окружает меня, что со всеми — то и со мной!

Все ближе экзамены, все ближе судный день диплома — вот к чему надо быть готовой, вот что занимало мои мысли. И горячо поддерживалось Александром Александровичем: «Надо дуванить свой дуван!» Это означало: стремиться делать свое дело как можно лучше, не отвлекаясь на то, в чем твоего участия не требуется, на то, что ты изменить не в силах. Эту фразу с татарским словом «дуван» и самовольно произведенным от него глаголом «дуванить» — тогда я услыхала от Реформатского впервые, а предстояло мне ее слышать еще множество раз! Спустя годы и годы я прочитаю в его дневнике: «Но главное это то, что сказал у Вольтера Кандид: «Каждый должен возделывать свой сад!» То есть — в чужой сад не лезь, а занимайся тем, что тебе дадено, тем, на что ты способен. Так и стараюсь жить». Так он старался жить и меня хотел этому научить. Я и занималась «возделываньем своего сада» той памятной зимой, той памятной весной.

...За четыре года, что я провела в странной полуподвальной квартирке, много событий произошло в нашем отечестве. Кое-что произошло и в моей жизни. Я успела дописать всю «харбинскую» часть романа «Возвращение» и представить ее как дипломную работу. Не раз еще я к этой части вернусь, не раз перепишу, но для диплома она сгодилась и даже получила оценку «отлично». Я окончила институт. После семилетней разлуки свиделась с матерью. Покинула я этот полуподвал такой же бездомной, какой вошла в него. Но внутренне в чем-то другой. Работая над романом, собирая для него материал (часами просиживала в Ленинской библиотеке, читая старые газеты), я многое осмыслила, многое стала видеть иначе. А рядом был человек, никогда не пытавшийся ничего мне навязывать, но, как я теперь понимаю, учивший меня думать.

Откуда мы с ним, оба загруженные, находили время на длинные прогулки — мне уже сейчас не вспомнить. Парки — Останкинский, Сокольнический, парк имени Горького, их скамейки, их кафе. Поездки за город на электричках. Речные прогулочные трамвайчики — вот когда я позна-

комилась с пристрастием А. А. к рекам, к пароходам, к мостам. Но кончился проведенный вместе день или полдня, вечер, надо расставаться. Расставаться всегда было грустно.

Мы с ним тогда не знали, что впереди у нас еще много всего, и пароходные путешествия, и длительные поездки на автомобиле, что мы вместе впервые увидим и Святогорский монастырь, и Псков, и Новгород, и Закарпатье, и прибалтийские города, и остров Валаам, а главное — проведем под одной крышей свыше двадцати лет, ничего этого мы тогда не знали, о будущем не говорили. Он этих разговоров боялся. Останавливал меня: «Будущего нет. Есть только прошлое».— «А настоящее?» — «Тоже нет. Оно сразу превращается в прошлое». Боялся. Уклонялся. Уже тогда, на этапе «лакмейской», понимал, что дело обстоит серьезно, рано или поздно предстоит выбрать — либо семья его, либо я, а его сама мысль о такой неизбежности ужасала. Вопреки разуму надеялся: а вдруг окажется возможным и семью не рушить, и меня сохранить, ведь как было бы славно! И почему бы нет? Люди все хорошие, могли бы подружиться! Этими розовыми мечтами пытался убаюкивать себя А. А. Покинуть семью, обидеть ее, устроить «фейерверк из своей жизни» (его выражение!) — и думать об этом трудно! Еще менее возможным казалось ему расставанье со мной. Он и тянул, и уклонялся, и пусть все идет, как идет. Мысль о том, что выбор неизбежен,— А. А. отгонял. Если ему это не удавалось, затуманивал себя водкой.

Время от времени приезжали гости — хозяйкины земляки из владимирского села. Являлись по двое, по трое, ночевали кто на полу, кто на диванчике, убегали за покупками, возвращались, чтобы купленное оставить и вновь бежать налегке. Вечером пили чай и рассказывали, где что «дают». Мелькало слово «штапель». «И себе на платье набрала, и Нюшке на сарафан!» Это длилось недолго. Это имело сроки: я знала, через три-четыре дня все уляжется, успокоится, земляки с мешками своими и сумками покинут нас, и вновь — тишина. Были они людьми славными, добродушными, а с сестрой Елены Ефимовны, старенькой «тетей Клашей» — мы даже подружились. А. А. нравилась ее владимирская речь, прибаутки, поговорки...

Первым толчком, показавшим всю шаткость, всю не-

прочность моего пребывания в этой квартирке, которую я уже ощущала своим домом, куда стремилась в зимние вечера («Сейчас чайку попью с Еленой Ефимовной, потом засяду работать!»), этим толчком было появление Зины. Зина, дочь Елены Ефимовны, окончив педагогический институт, попала по распределению в северный город и была этим довольна — на севере зарплата выше.

Она ничем не напоминала свою мать. Та — кругленькая, невысокая седеющая шатенка, нос вздернутый, глаза карие, живые, и всегда на голове платок. Зина ростом высока, худа, смугла, лицо с прямым носом, какое-то плоское, и тонкие неприятные губы. Голос громкий, авторитетно-дидактический. «Мама! Что это ты все в платке? Надо тебе шапку меховую купить!» — «Не надо, дочка. Не привыкла я».— «Мама!..» Вечно она маму поучала, а та отбивалась, тихо, но упрямо. Переступив порог квартиры, Зина тут же включила радио и по своей инициативе не выключала его никогда. Оно говорило, пело, играло на разных инструментах, хохотало и рыдало актерскими голосами. «Вам что, тоже не нравится? — удивилась однажды Зина.— Это некультурно! Ну мама — понятно, человек без образования, но вы-то учитесь где-то?» Окинула хозяйским глазом мой угол: «Полка чья? Мамина? Ваша? А зачем это вам литературы столько?» К ней приходили гости, бывшие институтские или школьные подруги, все они были замужние, что явно тревожило Зину, которая замужем еще не была. За перегородкой пили чай и Зина говорила, не снижая голоса: «Жиличка мамина. Учится где-то. В ее возрасте все уж отучились давно, а эта — учится. Не разрешала я маме койку сдавать, чужих пускать, а она слышать не хочет, говорит, скучно ей одной!»

Елена Ефимовна пыталась поделиться с дочкой деревенскими новостями. «Тетя Клаша тут гостила. Федя у нее хворает все...» — «Мхм»,— откликалась Зина. «Пашина сноха собирается к нам денька на три...» — «Только пусть без меня! А то наедут со своими мешками!»

Она презирала их с их мешками, с их заботами и горестями. Она любила повторять: «Я, как человек с высшим образованием...» Или: «Мы, представители интеллигенции...»

Однажды по просьбе Елены Ефимовны, не то разбившей, не то потерявшей очки, я читала письмо «представительницы интеллигенции», и изумилась обилию орфографических ошибок, и пожалела беззащитных детей север-

ного города, которых Зина учила... Чему? Кажется — географии.

Мысленно сравнивая мать и дочь, я часто вспоминала мудрую поговорку: «Недоученный хуже неученого».

Уже в первый приезд Зины на зимние каникулы (мы с А. А. скитались по улицам, мерзли, отогревались в кафе и ресторанах, ходили в кино) стало ясно: мне с ней не ужиться. Летом следует отсюда исчезать. Исчезала. Одно лето я провела в Трубниковском переулке. Там, в глубоком подвале (14 ступенек вниз), жила старинная подруга моей матери Анна Евгеньевна Стратоницкая, двоюродная сестра М. Л. Лозинского. Стены в разводах сырости, ни луча света не проникало в слепые окна, выходившие в подвальную яму, электричество не выключалось никогда. Анна Евгеньевна и семья ее (дочь, муж дочери, внучка и старая няня) с этим мирились — ведь квартира отдельная, няня полновластная хозяйка кухни, и было тут три маленьких комнаты, четвертая побольше (столовая) и еще пятая совсем уж без окна — эта пятая и была моим самым первым московским пристанищем: там, переселившись из Казани в Москву, я поначалу и жила, там и была, на правах студентки, прописана. Другое лето я провела в Гагаринском переулке в комнате Булыгиных, уехавших на дачу. Затем удалось снять какой-то сарайчик в Звенигороде. А в 1954 году с июня по середину сентября жила в Голицыне. Незабываемое лето: знакомство с Ахматовой и с чудесной Марьей Сергеевной Петровых!

Александр Александрович ездил ко мне в Голицыно каждую среду. В августе он неизменно уезжал на охоту, его не было целый месяц, в жизни моей образовывалась пустота, уже стало необходимым его видеть, всем с ним делиться, я писала ему на машинке длинные письма, а он писал мне... «Жизнь эта тебе, алмаз души моей, мало понятна. Я чищу ружья, щиплю дичь, беру воду из колодца, выношу объедки собакам и курам... О тебе думаю постоянно».

В декабре 1954 года «лакмейской» наступил конец. Зина вышла замуж. О том, что замуж собирается, сообщила матери такими словами: «Образование высшее: инженер. Зарплата средняя, но обещают прибавку. Да что там «люблю», «не люблю»! Мне тридцать скоро. Время!» Этого мужа с высшим образованием я не помню. Видимо, приезжал летом, когда исчезала я. Но вот Зина явилась неожиданно, одна, вне каникул — был какой-то экстрен-

ный повод. Вид гордый, на пальце обручальное кольцо. За это время она стала завучем, жизнь ее изменилась к лучшему. Ну,— а у меня все по-старому. Институт, правда, я уже кончила, высшим образованием с Зиной сравнялась, но в остальном все то же. Сидит жиличка в своем углу, чего-то все на машинке стучит, и посещает ее, который уж год, профессор, между прочим — женатый. И если Зина могла закрывать на это глаза прежде, то теперь, состоя в законном браке, мириться с таким положением дел не желала.

«Разговор к вам есть... Я вас не гоню, живите пока, мама к вам привыкла, но чтобы профессор ваш сюда не ходил. Учтите: аморалки я у себя не потерплю!»

Я сидела, как всегда на стуле, лицом к окну, перед машинкой, когда меня окликнули — обернулась, а она стояла, приподняв край занавески. Впервые я услыхала слово «аморалка», но всю выразительность его оценила позже, а тогда... Что тогда? Я даже не помню, как я ей ответила! Быть может, просто сказала: «Хорошо»— и отвернулась. Ну потом, разумеется, я все пыталась придумывать разные гордые ответы, а они не придумывались, ибо в моем положении их и быть не могло! Зина — хозяйка, я — угловая жиличка, она — честная замужняя женщина, я... И вообще, со своей точки зрения она была совершенно права. Работала в школе на ответственной должности завуча, надеялась стать директором, служила примером подрастающему поколению, и ей следовало блюсти свою репутацию. Но были тут, конечно, и иные, к делу не относящиеся соображения...

«Подумайте, какое удовольствие ей доставило вам это сказать!» — слова Анны Андреевны Ахматовой, которой я эту историю поведала.

Достойного ответа у меня не было. Достойный выход был: тут же навсегда покинуть «лакмейскую». Уйти. Куда?

В том же декабре приехала из Шанхая моя мать. Семья Анны Евгеньевны Стратоницкой согласилась поселить и прописать маму в подвале Трубниковского переулка. Там уже не было Анны Евгеньевны — она скончалась. Двум старым подругам, расставшимся в 1918 году, свидеться больше не пришлось.

Об оскорбительных словах Зины я могла рассказать Ахматовой, с которой лишь недавно познакомилась. Непременно пожаловалась бы Анне Евгеньевне. А матери — ни за что. Так издавна сложились наши отношения. А в

тот период они вообще были прохладны — матери не нравилась неустроенность моей жизни.

В Трубниковском переулке места для меня не было. И все-таки мне удалось в тот же день навсегда уйти из «лакмейской». Меня приютила Татьяна Семеновна Айзенман — вечная ей за это благодарность! Мало того что приютила — и прописала у себя! Моя временная студенческая прописка за год до этого истекла. Получить постоянную помогла редакция «Крокодила».

Полтора месяца я пользовалась гостеприимством Тани. Затем мне удалось переехать на улицу Кирова, где я прожила год. Затем — улица Обуха. Всего на два месяца сдали мне там комнату — ее хозяйка на этот срок уехала на юг погостить к родным.

Все дальше удалялась я от Волхонки, где работал А. А., и от Дурновского переулка, где он жил. Это не мешало ему приезжать ко мне почти ежедневно, после присутственных часов в Институте.

Ну и морозы стояли в том феврале 1956 года: тридцать, а то и тридцать пять градусов ниже нуля! От метро «Кировская» надо было еще три остановки ехать трамваем — как я помню эти звонкие промороженные вагоны, днем полутемные от навсегда замерзших окошек, надпись, кем-то процарапанную сквозь мохнатую изморозь на трамвайном окне: «Граждане! Мужайтесь! Скоро весна!» А еще можно было ехать до станции «Курская», но оттуда довольно долго шагать пешком. Входы и выходы всех станций метро были окутаны облаками пара, и огромная красная буква «М» просвечивала сквозь этот пар, этот туман, как маяк, веселя глаз замерзшего путника.

Комната моя, уставленная чужой и разнообразной мебелью, была тепла, была просторна. Два высоких окна, выходивших во двор, вечером можно было прикрыть ставнями. Я смотрела на часы, вот-вот появится А. А., и вскоре видела в окно его коренастую фигуру. Он шел по двору в старой черной шубе, подбитой енотом (шуба была еще дедовская!) и в каракулевой папахе — тоже дедовской! Никогда, ни до, ни после, не приходилось мне видеть Реформатского в этом облачении; все зимы ходил в демисезонном пальто и в кепке, никаких шапок, а тем более шляп — не признавал. Лишь чрезвычайные обстоятельства той зимы заставили его извлечь из сундука пропахшую нафталином дедовскую шубу... Где-то она теперь?

Входил, вытирал платком заиндевевшие усы и бороду,

мы садились обедать. Иногда с нами обедала Ахматова. То был период ее бездомности: у Ардовых, где она в свои московские приезды останавливалась, жила родственница.

Я с наслаждением слушала беседы Ахматовой и Реформатского (литература, театр, двадцатые годы), сколько они, господи боже мой, знали, и какая я невежда рядом с ними!

А. А. обычно уходил первым, я провожала его в переднюю, возвращалась к Ахматовой. Однажды она сказала: «А ведь так, как говорит Реформатский, не говорит уже больше никто!»

Имела ли она в виду его прекрасное московское произношение? Да, но не только. Реформатский блестяще владел искусством беседы, и тут проявлялась одна из характерных его черт: уменье совмещать казалось бы несовместимое. Элементы разноплановых языковых стилей — русское просторечье и «иностранщина» (латынь, немецкий, чаще — французский), слова высокие и торжественные, а рядом — шутка, каламбур,— сплавлялись в его устах не только свободно, но органично. А еще голос. А еще интонация. В его речи была магия, которую я, привыкнув, скоро перестала замечать.

Вечером я вызывала по телефону такси и провожала Ахматову в тот дружеский дом, где она ночевала.

Это раздражало соседок, мать и дочь, живших за стеной моей комнаты. Комнат в квартире было всего две, а стены старого дома, построенного в начале века, так добротны, так толсты, что ни я соседей не слышала, ни они меня. Дочь работала, днем отсутствовала, мать хлопотала по хозяйству. Она за что-то крепко не любила мою уехавшую хозяйку, все пыталась выведать, сколько с меня «содрали» за комнату, я врала, что нисколько, а просто мы старые друзья, и вот я живу, пока ее тут нет. Мне, конечно, не верили. И часть ненависти была перенесена на меня, на моих посетителей. Кто-то наследил в передней. Кто-то плохо завернул в умывальнике кран... Не было дня, чтобы мне не делали замечаний! Первую книгу романа я к тому времени закончила, продолжала работать для «Крокодила», с осени мои фельетоны-пародии начали появляться на страницах «Литературной газеты». И была я уже принята в члены Литфонда. Трудилась я дома, что тоже, видимо, раздражало моих соседок. Почему это, скажите пожалуйста, человек, возраста далеко еще не пенсионного, не ходит на работу, как все добрые люди?

Я старалась быть тише воды, ниже травы... Такси для Ахматовой заказывала чуть ли не шепотом; ожидая ответного звонка, от телефона не отходила, хватала трубку, едва он успевал подать голос... Нет, не верю, что это кому-то мешало, кого-то будило — комната соседок в тылу квартиры, моя же — непосредственно против коридорного телефона и рядом с входной дверью, однако на следующее утро мне говорили: «Опять вы вчера вашей старухе машину вызывали, разбудили нас с дочкой!» Я подозревала, что пожилая соседка спать и не думала, из одного только зловредства не ложилась, и дверь к себе не закрывала — ждала: вот-вот я пойду к телефону, чем дам возможность еще раз попрекнуть и меня и «мою старуху». Я могла бы сказать, что время было еще не позднее, около одиннадцати, мне бы возразили, что это — как для кого! Для бездельниц, может, и не позднее, а вот для тех, кто работает, рано встает и рано ложится,— очень даже позднее. Ну, и заодно еще какой-нибудь не так завернутый кран мне припомнили бы... Меня бесило, что Ахматову осмеливались называть «старуха». Но проще было молчать.

«Прости им, господи,— думала я, стараясь настроить себя на высокий евангельский лад (а что мне оставалось?),— прости! Ибо не ведают, ЧТО творят!»

Был и вот какой случай.

Однажды вечером, когда мы с Анной Андреевной мирно пили чай, в дверь постучали и на пороге вырос милиционер. В комнату не вошел, остался в дверях и вежливо попросил показать ему мой паспорт. Обернувшись, чтобы взять сумку, я увидела выпрямившуюся в кресле, окаменевшую Ахматову. Протянула паспорт милиционеру, и тут за плечом его в коридоре мелькнуло лицо старшей соседки — она выглянула из полуоткрытой двери, ведущей в ванную комнату. Выглянула не вовремя. Думаю, что своего участия в этом деле обнаруживать ей не хотелось, но скрыть его все равно не удалось, ибо, ознакомившись с паспортом, милиционер обратился в сторону ванной комнаты с такими словами: «Да у гражданки прописка московская, по закону имеет право...» Тем временем я протянула милиционеру еще и красную книжечку, корреспондентское удостоверение «Крокодила». Милиционер мне улыбнулся. Я улыбнулась ему. Затем, взяв под козырек, он нас оставил, было слышно, как покинувшая ванную комнату соседка закрывала за ним входную дверь, гремя засовами, я взглянула на Ахматову — лицо ее не было

окаменевшим. Оно было гневным. К тому времени мне уже приходилось видеть это лицо во гневе: сужаются глаза, трепещут ноздри. «Не удалось доставить ей удовольствия!» — весело заявила я, кивнув в сторону соседкиной комнаты. Но Анна Андреевна оттаяла не сразу.

В последних числах марта 1956 года я переехала на улицу Щукина, в дом актеров Вахтанговского театра, к вдове писателя Эсе Львовне Леонидовой. Она жила одна в трехкомнатной квартире и сдала мне кабинет покойного мужа. Лучшее из всех моих случайных пристанищ! Эся Львовна, женщина умная, острая, немного жесткая, уважала мои занятия, отношения у нас сразу установились дружеские. Прожила я у нее немногим больше года, и был этот год для меня полон событий.

Летом журнал «Знамя» и издательство «Советский писатель» почти одновременно заключили со мной договоры на издание первой книги романа «Возвращение». А осенью был, наконец, разрублен узел: Александр Александрович поселился вместе со мной в комнате на улице Щукина.

Как нам было трудно вначале! Ему — в особенности.

Однажды утром, когда он только что проснулся, я увидела на его лице ужас, именно — ужас. «Что с тобой?» — «Окно...» Тут же опомнился, согнал с лица это выражение, спросил обычным голосом: «Час который? Вставать пора!»

Десятки, десятки лет, просыпаясь, он видел перед собой угол рояля, синие обои, карандашный портрет Прокофьева, книжные полки, справа — свой огромный письменный стол, а окна не видел, спал головой к окну, здесь же — окно перед глазами, а его тут быть не должно, и вокруг все чужое, куда он попал и что он сделал со своей жизнью? Но — что случилось, то случилось. Вставал, умывался, пил кофе, брал портфель, шагал в институт... Работали мы за столом покойного Леонидова, сидя напротив друг друга, и не было у А. А. книг, книг, книг, без которых он не мог, а вот теперь надо было без них обходиться.

Но главной мукой того времени были мысли о семье, чувство вины перед ней — да простят ли его когда-нибудь? Так все наболело, все было так напряжено, что казалось — не простят никогда!

Будущего не знает никто, и не знал тогда А. А., что многое перемелется. Для этого потребуется время, но — все перемелется. Если б он мог видеть тогда картинки будущего, они облегчили бы ему ту тяжелейшую осень.

В самом начале шестидесятых годов он в гостях у своей оставленной семьи, его принимают радушно, называют «дед Санчо», семья увеличилась, у Маши муж Глеб, сын Петя, деду разрешают и коляску внуку подарить, и навещать его. Потом появляется внучка Катя. И счастливый А. А. время от времени проводит вечера в кругу своей прежней семьи, а летом на дачу к ним наведывается. Вскоре и меня допускают, и к нам в гости ездят.

Внуки растут, радуют деда своей музыкальностью, а Петя еще и любовью к опере. А. А. оперу ценил, понимал, написал воспоминанья о всех им в жизни слышанных оперных артистах, но не так часто удавалось ему найти собеседника, который разделял бы его любовь к этому виду искусства. А тут с мальчиком, с внуком родным («мой друг Петя» — называл его А. А.), на эту тему можно долго, сладостно разговаривать и — петь. Они и пели, закрывшись в кабинете А. А., один голосом высоким и чистым, другой — сильно постаревшим баритоном. «Дед, а ты помнишь из «Гугенотов»?» — «Постой, брат, а это ты знаешь?»

А вот еще картинка из будущего, совершенно во вкусе Диккенса, награждавшего своих героев за все ими вынесенные испытания такими вот розовыми финальными сценками... Жаркое лето 1972 года. А. А., я и гостившая у нас моя французская племянница Вероника сидим на скамейках в саду Салтыковской дачи за деревянным, в землю вбитым столом, рядом Надежда Васильевна, Маша, Глеб, тут же бегают дети, мы только что пообедали, едим малину, шутим, смеемся. Надежда Васильевна, седая, с необыкновенно живыми темно-серыми глазами (она способна позвонить по телефону около полуночи, чтобы сообщить: «Только что перечитала Розанова и совершенно в нем разочаровалась!»),— так вот Н. В. расспрашивает Веронику о порядках в Сорбоннском университете, а Вероника — отвечает. Ей очень нравится семья «дяди Саши», ну а салтыковский скромный деревянный дом куда милее этой полуфранцуженке, чем каменные хоромы Пахры... «Тут все такое русское!» — умиленно говорит Вероника...

И уже не только Маша с Глебом, но и Надежда Васильевна приезжает к нам в гости, а побывав в поликлинике Литфонда, отдыхает у нас.

А. А. называл ее «мама». Она его: «дед».

Их последнее свидание...

Было это за пять дней до его кончины, когда он от всех

нас отключился, почти не говорил, дремал, открывал глаза, но казалось — никого не видит. Ее же, когда она вечером вошла к нему — увидел. Взгляд стал живым, осмысленным, лицо осветилось. «Мама! Как я счастлив, что ты здесь!» Выпростал из-под одеяла изменившуюся, ставшую почти восковой руку, Надежда Васильевна сжала ее в своих ладонях, и я, перед тем как уйти к себе, видела склонившуюся над изголовьем седую голову Н. В. и ее худые сцепленные пальцы, обнимавшие эту беспомощную руку.

Но все это происходит в будущем, которого знать никому не дано, а той зимой 1956/57 года мы жили в чужой комнате на улице Щукина, и я делала отчаянные попытки вступить в кооператив писательского дома. Но поздно. Все квартиры распределены. Помог случай. Моей доброй знакомой О. М. Зив двухкомнатная квартира оказалась не по карману, она согласилась разделить ее с нами, и в мае 1957 года мы с А. А. переехали в 20-метровую комнату, которую могли считать собственной и обставить по своему вкусу. Было радостно покупать письменный стол для А. А. (ровно двадцать один год предстояло ему работать за этим столом!), секретер для меня, книжный шкаф, тахту, кресло, стулья... И вот А. А. привозит из своей прежней квартиры старые книжные полки и огромное количество книг, журналов, альбомов, строим в передней добавочные антресоли, куда многое поместилось, а в комнате все равно тесно, но неважно, но терпимо — мы у себя!

Все постепенно утрясется, все перемелется. Извлекаю маму из глубокого подвала, сняв ей пристойную комнату, а спустя еще полтора года она получает комнату собственную в новом доме на Кутузовском проспекте. Квартира трехкомнатная, соседи прекрасные, к маме относятся уважительно, за семь лет, что она там жила,— конфликтов никаких. Она занимается переводами, дает уроки английского и французского языков, а летние месяцы проводит в Голицыне.

Сбываются мечты...

Всегда было грустно расставаться с А. А., особенно когда я жила в Голицыне и виделись мы всего раз в неделю. После проведенного вместе дня я провожаю А. А. на электричку. Поезд ушел, перрон опустел, я иду обратно, вечер, ветер, шумят деревья над головой, улица темна, тоска, одиночество. Теперь этих расставаний не будет, мы вместе, мой дом — его дом. Мечтала, чтобы одно из осве-

щенных московских окон стало моим, моим собственным — исполнилось. Писала роман, веря и не веря, что он увидит свет. Увидел. «Желаю вам только досуга, все остальное у вас есть!» — телеграмма Ахматовой ко дню моего рожденья.

Но вскоре оказалось, что всего этого мало. Мало одного окна, мало одной комнаты, А. А. ездит в институт не каждое утро, когда он дома — ему беспрестанно звонят, он дает телефонные консультации, я страдаю над раскрытой машинкой, да господи, да скоро ли кончится эта ученая беседа, не выдерживаю, делаю знаки, в ответ хмурятся, пожимают плечами, а положив наконец трубку,— сердитым голосом: «Я, матушка, не трепней занимаюсь, как некоторые, я о ДЕЛЕ говорю!»

И это прошло. Через три года освободилась в нашем доме двухкомнатная квартира, мы туда въехали, прожили там вместе 18 лет, я живу там по сей день. Есть в доме двухкомнатные квартиры побольше, получше, но досталась нам эта, мы ее полюбили, и кроме нее нам уже ничего никогда не было нужно. «И ты палкой чертишь палаты, где мы будем всегда вдвоем». Не было в этих палатах ни спальни, ни столовой, было два рабочих кабинета, мала передняя, зато просторна кухня, там едим, там гостей принимаем. Говорят, что людям всегда не хватает еще одной комнаты, но нам и мысль о такой роскоши в голову не приходила, боже мой, да и то, что мы имеем,— прекрасно. Диван в кабинете А. А. находился против двери, если днем изредка А. А. ложился отдохнуть, и я спрашивала: «Закрыть к тебе дверь?» — он отвечал: «Нет, нет. Я хочу любоваться просторами!» С этого дивана наша квартира просматривалась во всю ее ширину: была видна передняя с බруснично-красными стенами, часть ведущего на кухню коридорчика, и, наконец, задняя кафельная стена ванной комнаты, если туда дверь не была закрыта. И вот А. А. лежит, закинув руки за голову, на животе — книга, позже, быть может, почитает, а сейчас не хочется, он любуется «просторами», и лицо его светло и ясно.

И не было утра в течение многих лет, чтобы, проснувшись, я не ощутила толчка радости. Что такое? Ну да, ну да, мы тут одни, мы дома, мы у себя, в своей квартире!

Настала другая жизнь.

* * *

Чуть не каждый сентябрь мы отправлялись в пароходное путешествие: Москва — Пермь и обратно, Уфа и обратно, дважды Ростов-на-Дону, и уж не помню сколько раз Астрахань и обратно. Очередной шлюз, пароход либо поднимают, либо опускают, А. А. это непременно нужно видеть, зовет меня на палубу, иду, через пять минут ухожу, нет, лучше я почитаю, сто раз я это уже видела, все одно и то же... Города — другое дело, Углич, Кинешма, Ярославль, Кострома, тут двигаешься, тут ходишь, но бывали дни без городов и я себя чувствовала на пароходе в клетке, в тюрьме. Задавала себе уроки: сорок минут гулять по палубе, хожу быстрым шагом, однообразие прогулки надоедало, сколько еще там минут, сколько кругов осталось? Пассажиры глядели на меня недоуменно.

А Реформатскому пароходы не приедались никогда. Созерцатель. Писал в своем дневнике: «Созерцанье влечет к мысли, мысль — к созерцанию. Это родные сестры». Ползущая по столу муха и та занимала его внимание. «Трудно человеку состязаться с природой. Возьмем хотя бы муху: сколь тонки ее ножки, а как она ими передвигает, сколько в них мускулов запрятано! А что робот? Никогда он у неусталого гроссмейстера не сможет выиграть, и Декарта из него не выйдет, и Шекспира. Даже меня из робота не получится, не угнаться ему за парадоксами головы моей!» Он мог, оставив работу, наблюдать за кошкой: «Если откроешь форточку, то кот Тимофей тут как тут, сядет на подоконник и думает, что ли? Сидит тихо и вскидывает голову к форточке. И так — несколько раз. Потом — р-раз на ребро форточки и опять застыл. Съежился, хвост опустил вниз и опять вроде думает. А дальше еще одна «мыслительная примерка», и кот уже снаружи на огороженной решеткой полочке для цветов, которых нет. Полежит там на солнышке, подышит свежим воздухом и — прицелился обратно. До чего ж он это изящно и точно делает, но каждый раз примеряется как инженер, прежде чем прыгнуть!»

В Ялте, на территории Дома творчества был маленький водоем, я ходила мимо, не обращая на этот водоем никакого внимания, и то, что там — рыбки, узнала лишь от А. А. Он как-то ушел в «Бык-аллею» (так был окрещен магазин с вывеской «Бакалея») и исчез. Вернулся наконец. «Почему так долго? Очередь там, что ли?» — «Нет.

У водоема стоял. Вообрази...» Последовал рассказ о рыбках. Я могла бы его забыть, если бы он не был запечатлен в ялтинском «итинерарии».

«...девять рыб, из них семь золотых (красных), одна темная и одна — метис: перед золотой, зад темный. Так вот, за этим метисом гоняются золотые как белые за негром. Они его окружают, он ныряет, они его за хвост цапают, он отмахивается хвостовым плавником (ведь другим рыба не может двигать вбок), и так все время. В чем тут дело? Иная порода? А почему же эти золотые совсем темного не трогают? Надо бы у кого из ихтиологов спросить!»

Эти рыбки так и мелькают на страницах ялтинских дневников:

«У рыб сегодня такая картина: «метис» стоит почти вертикально, чуть шевелит хвостовым перышком. А стервозы-златорыбки гоняют «черного». Но стоило Метису поплыть, как устремились за ним. Нет, в чем же тут дело?»

«Пойду взгляну, что там сегодня с рыбками? Заботит меня сей вопрос!»

Он не любил южной природы с ее яркой, олеографической, навязчивой красотой. Но вот весной у него стала подниматься температура, связано с легкими, рекомендовано климатическое лечение — с этого и пошли наши ялтинские апрели. Нелегко мне было уговорить его поехать в Крым в первый раз. «Выбирай: либо Ялта, либо больница!» Выбрал Ялту, разумеется. В конце апреля мы вернулись, а в первых числах мая отправились на Пахру, где уже начали зеленеть березы. Усевшись в кресло, вынесенное на воздух, А. А. объявил: «Ах, до чего ж хорошо!» И — из Некрасова: «...ни замков, ни морей, ни гор! Спасибо, сторона родная, за твой врачующий простор!» Это с легкой насмешкой по моему адресу — ведь я его заталкивала в Ялту. А ему поначалу там все не понравилось. Вернувшись после своей первой прогулки по ялтинской набережной, мрачно мне объявил: «Собачек видел. Дам — нет».— «Ну, а море?» — «Что море? Море, как сказано у Чехова, «было большое». И все тут!»

Ну, а потом примирился, привык. Он вообще был человеком привычек, человеком дела. Весенние поездки в Ялту вошли в распорядок жизни, стали делом, а уж раз дело — то делать его следует хорошо. С педантизмом, ему свойственным, за месяц до отъезда печатал на машинке список вещей в дорогу, два экземпляра, один себе, другой

мне, в список вносилось все вплоть до последней мелочи. В течение предотъездной недели чуть не ежедневно заставлял меня читать этот список вслух и докладывать, что уже уложено, а что — еще нет, и против уже уложенного ставил в списке галочки. «Господи,— говорила я,— как ты мне надоел!» — «Дело есть дело!» — отвечали мне.

Привык к крымской природе, к «Иудиному дереву», к морю, которое окрестил почему-то «избавителем», к южной комнате на третьем этаже, в которой неизменно жил. «Любовался с балкона, как там «разошлись в море корабли». Их три штуки, море тихое и очень синее, корабли белые, белые. Красиво!», «Следил за флиртом дроздов на кипарисах перед заходом солнца. Изящно. А главное — вежливо!», «Вновь ходил к избавителю. По дороге видел черного дрозда. Петь они еще не начали. Стоя на берегу, долго следил за воробушком, как он кусок ваты перекувыркивал и искал пищу, почесывая себе грудку. В море плавали утки, штук 15: серые крылья и белый подгрудок. Это не нырки, и колер не тот, и повадки не нырецкие!»

Я же не видела ни уток, ни дроздов, ни того, как воробушек почесывал себе грудку, ни драмы, разыгрывающейся в маленьком водоеме. Проходила мимо. На иное был нацелен мой глаз. Он мгновенно схватывал так называемые «отдельные недостатки». А мимо них проходить я намерена не была. То я наводила порядки в нашем Доме творчества, то ввязывалась в дела покрупнее. В один из апрелей вместо того, чтобы писать очередную главу в свою будущую книгу «Судьбы», я занималась исключительно вопросом доставки отдыхающих из Симферополя в Ялту. По распоряжению откуда-то «сверху» таксистам было запрещено довозить пассажиров до их санаториев, а только лишь до ялтинского автовокзала. Там следовало искать другое такси, «городское», и пересаживаться вместе со всем своим багажом. Такие пересадки далеко не всем были под силу, носильщиков на автовокзале не водилось. Распоряжением этим все возмущались, ну а я — действовала. Бегала в местную газету — там со мной горячо согласились, добавив, однако, что изменить ничего нельзя,— написала фельетон, никогда не увидевший света. А. А. меня не удерживал, лишь вздыхал и посмеивался. Запись из его дневника: «Н. И. с ее неукротимой энергией опять занимается какими-то хозяйственно-экономическими вопросами. Чем бы дитя ни тешилось!» (Последние лет десять жизни он вообще называл меня «дитя». Я так и слышу

его голос из соседней комнаты: «Дитя! А не пора ли обедать?»)

И такая запись: «А в сущности я очень одинок. Но ведь рядом Н. И.? Да. И очень. Но во многом я ей чужд и даже противоположен. А надо ли вообще иметь конкорданс на все сто? Может, и не надо. Чем одиноче, тем умнее».

Созерцатель и Деятель — какой уж тут «конкорданс на все сто». А еще он меня называл «Савонаролой». Сам же никогда не стремился проповедовать, навязывая другому свои взгляды. Знал: чужой опыт мало чему научит. Собственным умом, собственным опытом должен доходить человек «до самой сути». Единственно к чему стремился А. А.— это расширять мой кругозор, пополнять мое образование.

Несмотря на полярность наших натур — мы уживались. Расставаться не любили. Он писал мне в Париж, где я гостила у сестры: «Скучно мне без тебя, плохо мне без тебя!» Мне же Париж, увиденный впервые в 1965 году, был «не в Париж» без А. А. Все эти набережные, бульвары, дворцы, каштаны и мосты, мосты — я вижу без него, не могу ничем с ним поделиться, это отравляло мою радость и даже рождало какое-то чувство вины... «Ну как там Бульмиш? — спрашивал он меня потом.— А Понт Нёф? А букинисты на набережной? А Лувр?» Делал вид, что это ему не так уж важно, прекрасно обойдется без всяких Парижей («Ну и без щец поснедаю я, грешный!»), но я-то знала о его любви к Стендалю, к Мопассану, к Мериме, знала, как хотелось бы ему увидеть места, ими описанные! Моя сестра порывалась пригласить его вместе со мной, он об этом и слышать не желал. Да и я не могла вообразить его с его самолюбием, щепетильностью, независимостью нрава в чужой квартире, в обстановке ему совершенно чуждой. Он был готов ночевать на сеновалах, в избах, в любых, пусть тесных, жилищах друзей-лингвистов, друзей-охотников, туда он «вписывался», а в западную, ему далекую жизнь — никак. Слова: «коктейли», «приемы», «джины», «виски» — произносились с неизменной насмешкой. Меня он именовал «западницей», себя «славянофилом». Тем не менее в одном из мне посвященных стихотворных его опусов были такие строчки: «Ведь ты же русская, ма бель [1], от головы до пяток!»

---

[1] Моя красавица *(фр.)*.

Роман «Возвращение», фельетонная деятельность принесли мне некоторую известность. Обычно это выражается в частых телефонных звонках и в читательских письмах.

Нравилось ли это А. А.? С одной стороны — да. Подарил мне папку для читательских писем с надписью: «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца!» К тому, что я пишу, относился с вниманием чрезвычайным, держал мои корректуры, читал рукописи. На полях я находила такие записи: «Филе есть. Жаркого пока не получилось!» Или: «КАК! Самое главное в искусстве — КАК! Это помни!» А с другой стороны, его беспокоило, что похвалы вскружат мне голову, что я возомню о себе — был поэтому к писаньям моим строг как никто другой и время от времени осаживал меня насмешками. Не ленился сочинять маленькие фельетоны, где высмеивал и мое стремление жестко распределять весь день по часам (спорт, работа, обед, отдых, вечерние занятия французским и т. п.), и мою вспыльчивость. И вот в 1973 году он преподносит мне маленький опус: «Дневник писательницы Н. И. Ильиной. День первый. С утра выругала А. А. за что-то — не помню, за что. Писала о своих родственниках. За обедом опять ругала А. А. и опять за то же (а за что «то же», не помню). Спала, унеся телефон в клозет... (и так далее). День второй. Утром ходила в бассейн. Вернувшись, не велела А. А. входить ко мне — не до него. Продолжала писать о родственниках. За обедом заявила А. А., что он меня выводит из себя. Спала, унеся телефон в сортир... День третий. Прыгала в спортзале. Вернувшись и увидев А. А. работающим, изругала его. Писала... Спала, направив телефон в нужник». На четвертый день я уже «отправляю» телефон в «отхожее место». Финал такой: «Ходила гулять. Поругалась со всеми».

Разумеется, ни в какие «нужники» я телефон не «направляла». Ложась отдохнуть, я прятала аппарат в ванную комнату и накрывала халатом, чтобы не слышать звонков. А писала я в то время и в самом деле о «родственниках» — главы из будущих книг «Судьбы» и «Дороги».

Ну, а что касается некоторой моей популярности... «ОНИ этого не любят!» — говорила Ахматова, имея в виду представителей мужского пола.

В архиве А. А. я нахожу такую шутливую страничку, написанную в 1974 году и мною прежде не читанную:

«Материалы к мемуарам об Н. И. Ильиной. Вначале,

когда Н. И. была бездомной студенткой-репатрианткой, меня пленяли ее скромность и милое обхождение... Но потом, когда она оперилась, добилась, приобрела имя, квартиру, автомобиль,— куда девались милая непринужденность, наивная вера во все хорошее? Она стала хозяйка, всемогущая властительница тех, кто ее окружает и кто готов оказать ей любую гуманитарную помощь. А человек не без способностей и подававший раньше надежды, ставши ее сожителем по квартире, потерять должен был свое, довольно еще симпатичное лицо и превратиться в то, что французы удачно назвали: «мари д'эль»![1]»

Эта игра в «мари д'эль» началась, помнится, с нашей первой совместной поездки в писательский Дом творчества. А. А. с его скрупулезностью непременно сам проверял и путевки, и билеты как пароходные, так и железнодорожные (эти он рассматривал на свет!). Кладу перед ним наши путевки в Малеевку, знаю: он будет их читать и перечитывать — правильно ли там даты указаны и все прочее; ждать, пока он это проверит, не собираюсь, иду к себе — и в спину мне раздается смех. Смех несколько деланный, смех мефистофельский. «Ну слава богу, наконец мне объяснили, кто я есть! Полюбуйся!» На путевке против фамилии «Реформатский» стояло: «муж писательницы». Отсюда и пошла эта игра в «мари д'эль».

Игры любил и не жалел на них времени. На внутренней стороне двери уборной висела у нас стенгазета под названием «Унитаз» с шутливыми стихами и рисунками, смешными и вполне пристойными (у нас часто бывала моя мать, а Реформатский хорошо знал, ЧТО при ком можно, а чего — нельзя!), но летом 1964 года я ждала в гости сестру и младшую племянницу из Франции и убедила А. А. стенгазету убрать. «Все-таки французы,— говорила я,— к тому же девочке только 11 лет!» Когда я училась водить автомобиль, А. А. украсил все двери квартиры знаками дорожного движения. На моей двери знак: «Внимание: опасность!», на его — так называемый «кирпич», означающий: «Въезд воспрещен», а уж что было на дверях кухни, ванной и уборной — забыла! Вот на это он, вечно экономивший бумагу, бумаги не жалел, досуга своего — тоже, корпел весь вечер, работая цветными карандашами, а затем, узнав, что кнопок в доме нет, достал молоток, гвозди и все это прибивал, портя двери. Что-то пытался

---

[1] Ее муж *(фр.)*.

прибить и на кухонный буфет, прекрасный финский буфет, крашенный белой эмалевой краской, уже пристраивал гвоздь, уже замахивался молотком, но мне удалось это вовремя пресечь. С поразительной свободой (чтобы не сказать «с небрежностью»!) обращался этот человек не только с вещами — им он вообще значения не придавал! — но и с книгами. Лесков, Тургенев, Чехов, Толстой, Достоевский, Мопассан, Мериме — короче говоря, все собрания сочинений, в нашем доме имеющиеся,— испещрены и подчеркиваньями, и заметками на полях. Иногда — карандашными. А бывало, этот въедливый читатель работал шариковой ручкой. Не попался под руку карандаш — берем ручку! А то, что следы, оставленные пером, как известно, не вырубишь топором,— Реформатского не заботило. Ему важно было запечатлеть мысль, возникавшую при чтении, иногда поспорить с автором, иногда — восхититься им. Без карандаша в руке — он вообще читать не любил. «Имей в виду!— кричала я,— это не наша книга. Осторожно с ней!» Вздыхал, откладывал карандаш.

Однажды, когда у меня гостила племянница Вероника, мы с ней и с А. А. были в гостях у близкого нашего друга, Н. М. Жарковой, живущей в нашем же доме, но в другом подъезде. За ужином почему-то разговор зашел о преступности, каждый старался перещеголять другого страшными рассказами, лишь А. А. помалкивал и, извинившись, ушел раньше других — ему еще поработать нужно. Глухой зимней ночью мы с Вероникой вернулись домой, поднялись на наш этаж, открыли дверь лифта, шагнули и вскрикнули: на лестничной площадке лежал человек. Лица не видно, на лицо надвинута кепка, кашне, поднятый воротник пальто, вытянутые ноги в черных ботинках... Чрезвычайно знакомые ботинки, да и кепка знакома, да и пальто! Это лишь в первую минуту, от неожиданности, могло показаться: лежит человек. Лежало чучело, кое-как слепленное из скрученных одеял, вдетых в пальто, двух палок в брюках, а вместо головы — мяч. И мы с Вероникой уже смеялись, подбирая вещи, смехом, впрочем, нервным — ну можно ли так пугать? И я уже сердилась. Как это похоже на дядю Сашу — разбросать по пыльной лестничной площадке свою одежду, ничем он не дорожит, штаны, между прочим, новые, пальто — почти новое... Дверь в кабинет закрыта. Врываюсь. Невинно спит на своем диване, слегка похрапывая. Зажигаю свет. «А? Что? — Разыгрывается внезапное, насильственное пробуж-

дение.— Что случилось?» — «Послушай, ну как ты мог...» — «Оставьте меня, я сплю!» Не признался и позже. Делал вид, что не понимает, о чем речь.

Моя сестра, приехавшая в Москву с группой туристов, хочет привести ко мне в гости двух своих приятельниц-француженок. Конечно, пожалуйста, очень рада. Но знаю: А. А. рад не будет. Чужие люди. Чужой язык. Да и вообще ему некогда. Веду подготовительную работу. От тебя ничего не потребуется. Выйдешь в переднюю, поцелуешь дамам ручки, скажешь что-нибудь приветственное и уйдешь к себе. Потом выйдешь проститься. Поужинать успеешь до их прихода. Они придут не раньше восьми. Были у Реформатского две любимые фразы, которые он поочередно бормотал в подобных случаях: «Я на все согласная!» Или: «Для бедной Тани все были жребии равны!»

Дамы пришли. Им помогли снять пальто, поцеловали ручки, сказали какие-то вежливые фразы и удалились. Месье должен работать — объясняю я. Из кабинета в подтвержденье этих слов раздается стук машинки. Идем на кухню. Легкий ужин, затем чай, прием проходит в теплой и дружественной обстановке, я сижу спиной к двери и вдруг вижу: мои дамы замолкают, улыбаются и смотрят поверх моей головы. В дверях Реформатский — туфли домашние мягкие, шагов слышно не было. «Почему у тебя такое испуганное лицо?» — спрашивает сестра по-русски. «Разве?» — неискренне удивляюсь я. Ну зачем он явился? Ну что он собирается выкинуть? «Медам! — любезно произносит А. А.,— в вашем прекрасном языке есть глагол, который меня давно смущает...» Так и есть. Чего-то в этом роде я и ждала! Упомянутый глагол имеет два значения, одно из них неприличное, это Реформатскому прекрасно известно, об этом глаголе толковал со своими учениками, он попросту хочет поставить дам в неловкое положение, а главное, а главное — меня помучить! Дамы оказались на высоте. Одна из них спокойно и серьезно разъяснила оба значения глагола, Реформатский слушал, почтительно наклонив голову, с видом ученика, а затем рассыпался в благодарностях, и, боже мой, как я его в эти минуты ненавидела! Удалился. Дверь в кабинет закрывается, вновь слышен стук машинки. Сидим некоторое время в моей комнате, затем дамы собираются уходить. «Посидите еще!» — восклицаю я, стараясь не выдать своей радости — уходят и, быть может, все еще кончится благополучно. Сестра делает шаг в сторону двери кабинета —

проститься с А. А. «Не нужно,— говорю я,— он работает, не будем его отрывать!» — «Не будем!» — соглашаются француженки, вежливо понижая голос из уважения к занятиям месье. Ушли. Закрываю за ними входную дверь — ну, пронесло,— посуду вымою потом, а сейчас хочется спокойно посидеть, отдохнуть от пережитого... Сижу у себя, курю, машинка за стеной замолкла, а, теперь мне это уже все равно. Слышу — распахивается дверь кабинета. В ту же минуту на пороге моей комнаты появляется Реформатский — он бос и облачен лишь в черные сатиновые трусы. «А где твои дамы? Мне надо было еще кое о чем их спросить!» Этот спектакль разыгрывается уже только для меня, конечно же он слышал, что дамы ушли, в таком виде не появился бы, его отругать надо, а я — хохочу. Это не педагогично: он именно и хотел заставить меня смеяться, смехом я его как бы награждаю за его проделки, но ничего не могу с собой поделать, хохочу до слез. А он стоит на пороге в позе Льва Толстого, кисти рук за поясом (за резинкой трусов), старается сохранить на лице выражение удивления и разочарования (дескать, возник вопрос, а ответить некому, ушли!), но глаза веселые и видно, что собой доволен чрезвычайно! Я сквозь смех: «Не валяй дурака! Ты прекрасно знал, что их тут нет! Ты слышал!» — «Откуда я мог слышать? Я на машинке стучал!»

Так никогда и не признался.

Как часто он раздражал меня своими выходками, чудачествами, небрежностью в одежде, утром дала ему чистую рубашку, а на ней уже пятно. Кофе? Хуже. Томатный соус. Переодеться не заставишь, кое-как замываю на нем, пятно на вид уже менее отвратительно, побледнело, расползлось, но оно есть, а Реформатскому наплевать, будет жить в этой рубашке до вечера, терзая меня своим видом. И происходит это в каком-нибудь Доме творчества, среди людей посторонних, которые его (и меня!) за это пятно осудят... Как мне иногда хотелось его пригладить, обтесать, сделать более обычным, более похожим на других, гулять с ним чистеньким, отутюженным по дорожкам парка, как гуляют другие отдыхающие, я прекрасно сознавала идиотизм этих мечтаний, ругала себя «мещанкой», но было такое, было, что ж скрывать!

А бывало ли у меня желание отречься от Реформатского, сделать вид, что я его не знаю? И это случалось.

Конец июля 1963 года. Ленинград. Приехали сюда на

автомобиле, три дня прожили в Европейской гостинице, сегодня собираемся в Таллин. В гостинице оживление: предстоит международная конференция писателей. Съезжаются делегаты. Они стоят группами в холле, стоят у подъезда, среди них у меня есть знакомые. Нашу машину я поставила против подъезда, перпендикулярно к фасаду отеля, задние колеса упираются в противоположный тротуар. С большим трудом умолила Реформатского не таскать вещи в машину самому, а воспользоваться услугами швейцара с его тележкой. Погрузились. Но А. А. хватился своего мундштука — вечно терял мундштуки! Надо вернуться в номер и поискать. Небо хмурится, плащи не уложены, они наготове, А. А. забыл сунуть плащ в машину, идет в гостиницу с плащом на руке. Кричу вслед: «Оставь плащ!» — не слышит, идет сквозь группу у подъезда, сквозь громкий говор, смех, восклицанья. Жду, стоя у машины, небрежно прислонившись к ней плечом, вон еще кто-то из знакомых писателей, увидел меня, приветственно помахивает рукой, помахиваю и я; мне кажется, что я хорошо выгляжу около моей голубой «Волги» и одета недурно: дама, путешествующая в собственном автомобиле,— картинка, не лишенная элегантности (а куда он, между прочим, так надолго исчез?)... Кто-то выходит из крутящихся дверей отеля, группа расступается, это идет А. А., глядя прямо на меня, вытянув вперед правую руку (ЧТО в ней — я еще не вижу!), и укоризненно качает головой. Он в плаще (видимо, боялся забыть его в номере), но зачем он застегнул его, да еще криво (верхняя пуговица в средней петле!), а в руке... А в руке у него — манерка, охотничья фляжка, железная, с вмятинами, когда-то крашенная в коричневый цвет, но краска наполовину облезла, жуткого вида фляжка, мне давно хотелось от нее отделаться, нарочно оставила ее в номере, он бы до Таллина не хватился, а там уж поздно, не обратно же ехать, а я бы сделала вид, что чрезвычайно огорчена... Нашел ли он свой мундштук — не помню, а вот что фляжку нашел — это очень помню. Да и как забыть? Как забыть эту фигуру в перекошенном плаще, торжественно на вытянутой руке несущую, как факел, эту позорного вида фляжку? Мне кажется, что делегаты международной конференции, замолкнув, смотрят на него, переводят недоуменные взгляды на меня, но, быть может, это мне только кажется, я тут же исчезаю в автомобиле, двух-трех секунд хватило, чтобы вобрать в себя эту картину, ужаснуться и

спрятаться. Я не знаю этого человека! Я не имею к нему никакого отношения! Но человек усаживается со мной рядом, едва он захлопнул дверцу, я трогаю с места, скорее уехать, скорей, скорей... Упреки: ты сказала, что фляжка уложена, тебе, значит, верить нельзя, самому надо все проверять! Что-то вру в ответ. К счастью, внимание скоро отвлекается на дорогу, я ориентируюсь плохо, лоцман — он, в перчаточном ящике полно карт и справочников, а сейчас предстоит самое трудное — выехать из города на нужное нам шоссе. Фляжку, однако, не простил, попрекал меня ею позже — злопамятен!

Зачем она была нужна ему, почему вечно таскал ее с собой — неизвестно. Равнодушный к вещам вообще, к некоторым он питал пристрастие, чаще всего к старым и уродливым — к такой вот фляжке, к чугунной дедовской пепельнице в виде лаптя, к стаканчику для бритья из неизвестного металла...

Когда-то мы ходили с ним в концерты, в театры, на выставки, изредка в кино. В своем дневнике А. А. писал: «Каждое искусство имеет свою знаковую систему в смысле знаков — диакритик[1], без материальных «дат» информация невозможна. Эти знаки — диакритики разнствуют от искусства к искусству и обязательно базируются на каком-то из пяти чувств (разумеется, «au fond»[2] — шестое чувство, связанное с пониманием). Так что ж такое кино? Прежде всего это ИЗОБРАЖЕНИЕ, рассчитанное на зрительное восприятие. Отсюда следствия: слово не нужно для кино, это не его забота, музыка может быть только в «чуть — чуть», чтобы не переключать зрительное в слуховое. В кино информация должна быть передана ЗРИТЕЛЬНО и в ДВИЖЕНИИ — в отличие от иных искусств с другим каналом восприятия и в отличие от фотографии, принципиально СТАТИЧНОЙ. Вмешательство иных каналов должно быть максимально ограничено. Кино — это кино, а не литература и не фотография. У кино свои каналы, возможности и обязанности!»

Он не любил фильмов, где было мало движения, и совершенно не выносил таких, где действие происходило в четырех стенах и персонажи много говорили. Француз-

[1] Диакритики — дополнительные знаки в алфавитах некоторых языков, указывающие на передачу буквой иного звучания. В русском языке, например, две точки над «е» (ё), и знак над «и» (й).

[2] В основе *(фр.)*.

ский фильм «Мари-Октябрь», мне показавшийся очень интересным, А. А. смотрел со скукой, а затем и вовсе заснул, даже всхрапнул слегка, я толкнула его в плечо, он открыл глаза и сказал: «Ну зачем ты меня сюда привела?» Зато много лет с нежностью вспоминал фильм, случайно увиденный нами в Уфе, где пароход стоял весь день, а город мы уже осмотрели... В моей памяти от этого фильма (кажется, американского) остались сплошные скачущие лошади...

А. А. помнил и любил старый Художественный, старый Малый и старый Вахтанговский театры, но старых, там игравших актеров, становилось все меньше, новые же Реформатскому нравились редко... Он любил Булгакова, его прозу, его драматургию, и согласился пойти со мной в один из московских театров на постановку «Бега». После этого от посещения драматических театров А. А. отказался наотрез... В начале семидесятых годов, когда он уже ходил с палкой, был в последний раз в Большом, слушал оперу, какую — не помню. Вскоре эти «выходы в свет» стали ему не под силу. Вот тогда я купила телевизор.

Вечерами мы уже никуда не ходили вместе, каждый сидел в своей комнате, занимался своим делом, изредка смотрели телевизор. Мне хотелось разнообразия, хотелось развлечений, убегала в кино, в театр, убегала в гости. Он меня не удерживал, но каждый раз пел: «Опять я как прежде один!» И каждый раз спрашивал: «Когда прикажете ждать?» Я называла приблизительный час и стремилась его соблюсти, а если это не удавалось, звонила по телефону, что опаздываю. «Ты ложись, не жди меня!» — добавляла я, стремясь отвоевать себе немного свободы, чтобы не сидеть в гостях как на иголках, постоянно поглядывая на часы: вот уже стрелка приближается, надо бежать, пусть тут весело, пусть меня удерживают — надо бежать. Ведь я знала, что, не дождавшись меня, спать он не ляжет, сидит, на часы смотрит и скоро начнет беспокоиться, воображая разные кошмары — убили, зарезали, под машину попала... Как странно мне было в первые годы после его кончины не торопиться, на часы не глядеть — никто обо мне не беспокоится, никто меня не ждет,— свобода. Но не всякая свобода хороша, оказывается, эта — угнетала меня, я долго не могла к ней привыкнуть...

Запись из его дневника: «Вчера Н. И. вернулась поздно и ругала фильм. Я радовался сему».

Радовался. Оставили его одного, побежали развлекаться, ан не получилось, лучше б дома сидела, читала б что-нибудь полезное... Он ревновал меня к чужим влияньям, к впечатленьям, получаемым без него, да, я уже не та бездомная студентка, для которой он был единственным светом в окошке, и он не тот — стар, немощен, часто мрачен. Ему было приятно, когда я, вернувшись откуда-нибудь, говорила: «Ты прав. Лучше б я дома осталась. С тобой мне интереснее, чем с кем-нибудь!» Я не утешала, не льстила, я говорила правду. По сравненью с ним люди и милые, и неглупые, и мне симпатичные казались (за редкими исключениями!) — пресными. Не хватает соли, не хватает перцу, а главное — не хватает глубины. Я говорила ему это, он делал вид, что не верит.

И все-таки, думаю, верил. Он знал меня. Он все про меня знал.

Вот уже и не стало видно первых этажей дома напротив, они закрыты густой листвой ясеней, кленов, берез и лип — все оттенки зеленого цвета — чудесное зрелище, радующее глаз.

Дом, на который я смотрю скоро тридцать лет. Из окна дома, где я живу скоро тридцать лет. А вот нашего двора из своих окон я не вижу. Как же он был некрасив, когда мы переезжали, хотя деревья и тогда в нем были, но не полностью убран строительный мусор, не разбит еще сад, и не было забора со стороны 2-й Аэропортовской — оттуда-то и являлись грузовики и фургоны с мебелью. А сейчас у нас прекрасный сад, отделенный низенькой оградой от асфальтовой дорожки двора, чудесный сад с молодыми и очень старыми деревьями, кустами сирени, клумбами. Особенно там прелестен один уголок с березками, весь заросший травой, летом в конце пятидесятых годов туда выносили раскладушку, и там часами лежала одна из обитательниц нашего дома, начавшая поправляться после тяжелой болезни, такой тяжелой, что никто не верил, что эта женщина выживет, но она выжила, и сейчас стара, как мы все, кто тогда бодро, молодо, счастливо, покинув коммунальные квартиры и снимаемые комнаты, вселялись в этот дом.

Я иду по асфальтовой дорожке двора мимо старых дубов, лип, ясеней, молодых берез, мимо кустов, клумб и скамеек (летом на них всегда кто-то сидит), поминутно

здороваюсь, ибо все знают меня, и я знаю всех. Но скольких уж нет, скольких нет! И как изменились те, кто еще есть! По их лицам, по их походкам я ощущаю всю жестокость бегущего времени. Кто слепнет, кто глохнет, кто хромает, кто располнел, кто высох, все уж не те, все не те, прихрамываю и я (ах, где мой быстрый, легкий шаг?), однако тешу себя надеждой, что я изменилась меньше, чем другие,— о себе так всегда хочется думать!

Но кто стал совершенно неузнаваем — это дети. Те двух-, трех и четырехлетние, которые играли тогда в песке под присмотром давно скончавшихся бабушек. Тот малютка Никита, которого я однажды чуть не задавила, разворачивая автомобиль! Ускользнув от бабушки, он ползал по асфальтовой дорожке, мне его видно не было, господи боже, какое счастье, что кто-то успел это заметить и ужас был предотвращен, но забыть это, забыть предостерегающий вопль и все то, что в эти секунды пронеслось в моем воображении,— такого не забудешь. Этот Никита теперь значительно выше меня ростом и женат уже по второму разу. А младенцы, которых тогда возили в колясках, сейчас возят в колясках собственных детей.

Дом, в котором я живу. Дом, где я впервые смогла сказать: «Я у себя!» И дом этот стоит на родной земле. Как же мне не любить его? Первое в моей жизни прочное пристанище. И последнее — надеюсь. Хочу верить, что последнее.

Я иду по нашему двору, мимо площадки, где играют дети, племя и в самом деле незнакомое, ведь я многих не знаю. Я иду и мысленно говорю им всем слова Александра Александровича:

«Люди двадцать первого века! Будьте вы хоть в чем-то счастливы!»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Наталия Иосифовна Ильина

ДОРОГИ И СУДЬБЫ

М., «Советский писатель», 1985, 560 стр.
План выпуска 1985 г. № 58

Редактор *И. Ю. Ковалева*
Худож. редактор *Н. С. Лаврентьев*
Техн. редактор *Н. Н. Талько*
Корректор *С. Б. Блауштейн*

ИБ № 4919

Сдано в набор 04.10.84. Подписано к печати 20.03.85. А 10705. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 29,4. Уч.-изд. л. 32,8. Тираж 200 000 экз. Заказ № 640. Цена в пер. № 7 — 2 р. 40 к.; в пер. № 5 — 2 р. 20 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11.
Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109.